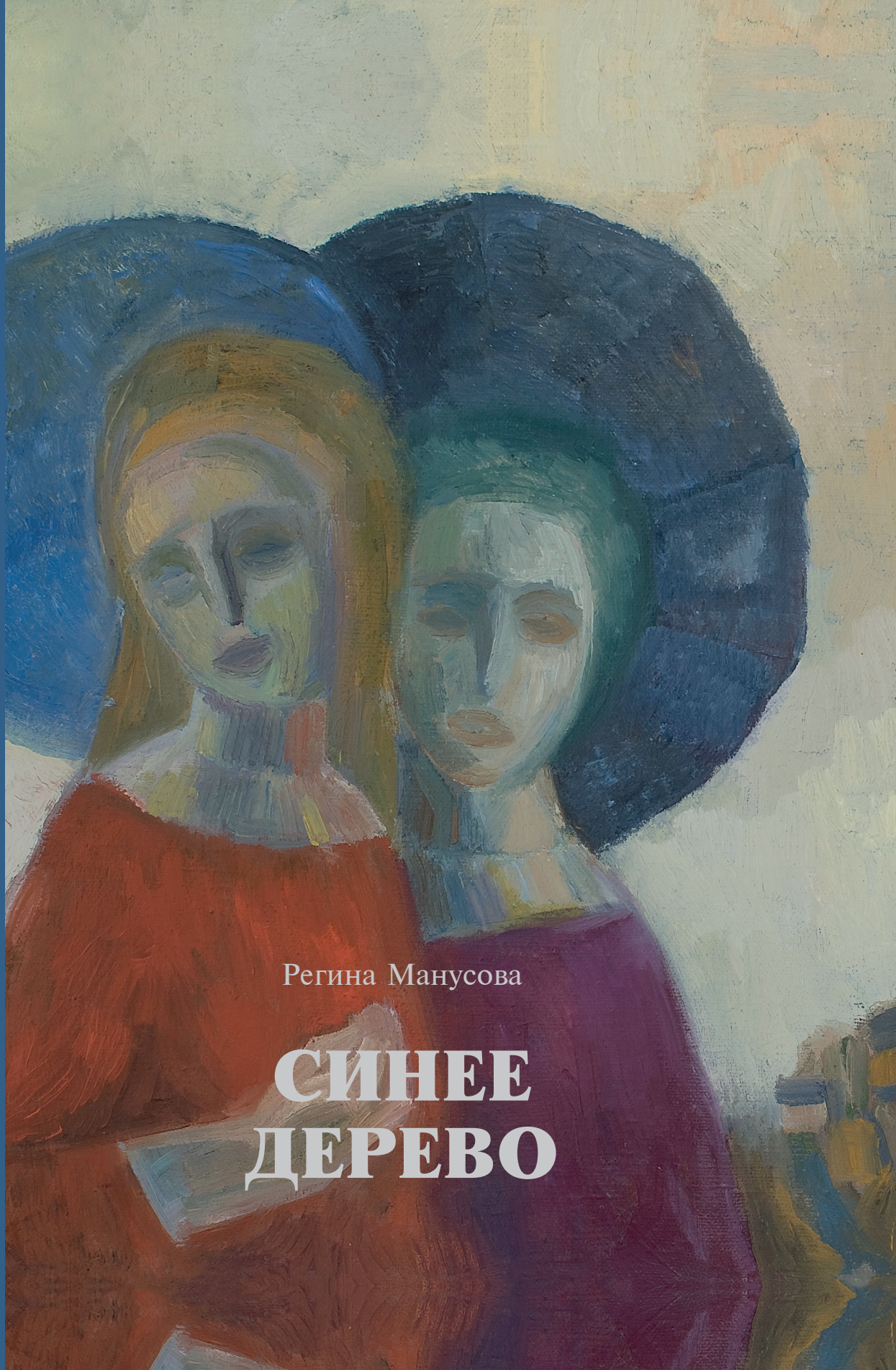
Регина Манусова

СИНЕЕ ДЕРЕВО



Регина Манусова

СИНЕЕ ДЕРЕВО

Регина Манусова

СИНЕЕ ДЕРЕВО

Санкт-Петербург
2015

ББК 85.143(2)6
М 24

Выражаю глубочайшую признательность
Елене Фигуриной
за ее неустанное дружеское сотрудничество в работе над
книгой и верность памяти Александру Манусову

На обложке:
А. Манусов. Прогулка с зонтиками, 1975,
х., м., 47 х 40 (фрагмент)

На фронтисписе:
А. Манусов. У дерева, 1983,
бум., офорт, 14,5 х 14,5 (фрагмент)

ISBN 978-5-905942-90-7
©Регина Соловьева, 2015

О КНИГЕ

«Синее Дерево» — книга, посвященная памяти художника Александра Манусова, названа по имени одной из этапных работ в творчестве мастера.

«В историю искусства Манусов вошел не только как удивительный живописец, тончайший колорист, обладающий редкой для нашего времени профессиональной чуткостью, но и как автор, углубленно и оригинально трактующий библейскую историю, умеющий увидеть органичную связь между событиями Ветхого Завета и современной нам действительностью», — писала историк искусства, философ-эстетик Татьяна Шехтер.

Искусство Александра Манусова развивалось в сложнейших условиях неофициальной культуры, ему пришлось на личном опыте постичь трагический смысл современной ему эпохи. Он был участником двух первых бунтарских выставок ленинградских художников-нонконформистов во Дворцах культуры им. И. Газа (1974) и «Невский» (1975). Творчество Александра Манусова, с его далекими от конкретики персонажами и глубоко философичными пейзажами, находилось в стойкой оппозиции к существующему режиму. Самому же художнику всегда было присуще спокойное, далекое от эпатажности отстаивание своего человеческого и профессионального достоинства.

Книга, автором которой является вдова художника, включает в себя не только рассказ о последнем этапе жизни и творчества Александра Манусова. В ней затрагиваются вопросы о судьбе его творческого наследия, прослеживаются выставки его произведений, состоявшиеся при жизни и после ранней смерти художника. Все это на фоне сложного переходного времени в истории страны.

Жизнь Александра Манусова оказалась тесно связанной с художниками-нонконформистами, не являющимися членами Союза художников и не относящимися к привилегированным представителям советского официального искусства. Органы госбезопасности страны держали этих художников под неустанным пристальным наблюдением.

В книгу включены небольшие эссе о друзьях-художниках Александра Манусова. Имена многих из них теперь вошли в обойму видных представителей российского изобразительного искусства.

В книге также представлены несколько рассказов автора разных периодов творчества.

ОТ АВТОРА

Я окончила институт имени Герцена, факультет русского языка и литературы, заочное отделение, и еще тогда же там функционировал так называемый музыкально-педагогический факультет, на котором я занималась по классу рояля и хорового дирижирования несколько лет. До этого я окончила музыкальную школу.

Жизнь была трудная. Трудной и даже мучительной она была до того момента, когда я оказалась рядом с Сашей Манусовым. После этого была сплошная, но короткая радуга жизни. Именно тогда я плотно вошла в среду художников, которых считаю до сих пор самыми близкими и любимыми людьми (кроме дочери, естественно).

Эту книгу я посвящаю памяти моего мужа Александра Манусова. Он уникальный художник. Впрочем, я никогда в первую очередь не воспринимала его как художника. Только как очень близкого человека. Тяжелая ноша — звание вдовы художника — свалилась на меня, когда его не стало. В этой, другой жизни без него, год за годом, шаг за шагом, приобретался горестный опыт вдовы хорошего художника.

Никакой панорамы художественной жизни в моих писаниях нет. Это просто эпизоды из собственного жизненного опыта, в этих эпизодах не один только Александр Манусов, но и ряд людей, как-то связанных с ним или же имеющих отношение, даже по касательной, к его работам.

Вытягиваешь одну ниточку, за нее цепляется другая, и оказывается, что несть этому числа.

Глава Pacific написана раньше, чем первые четыре очерка, почти сразу после описываемых испытаний. Это документальное изложение событий, которые воспринимались с понятной эмоциональностью. Отсюда художественная форма. Этот рассказ строится от третьего лица. Имена моей

дочери и мое собственное заменены на близкие по звучанию. Все остальные имена и фамилии подлинные. Первоначально у меня не было намерения публиковать этот текст. Поэтому несколько фрагментов из него использованы в очерках о художниках. Однако, по размышлении, я решила поместить его в сборник. Считаю эту главу принципиально важной, поскольку речь в ней идет не только о моих личных перипетиях борьбы за возвращение украденных работ А. Манусова, но также и о возвращении работ немалого количества ленинградских художников, членов ТЭИИ[1].

Поэтому приношу извинения гипотетическому читателю, если таковой появится. Хотя, как утверждает создатель «Митьков» Владимир Шинкарев, повторы могут нести в себе положительный эффект.

Короткие тексты о художниках, скорее, силуэты, пунктирные линии. Я не искусствовед и не претендую на анализ их творчества. Это просто дань моей благодарности друзьям-художникам и судьбе, которая пересекла наши дороги.

Часто употребляемое в текстах слово «работа» в ущерб общепринятому «картина» вызывает протест радетелей русского литературного языка. Но ни разу не слышала я от серьезно работающих художников гордые высокопарные слова «моя картина». Они всегда употребляют именно слово «работа». Что до Александра Манусова, то он, возвращаясь из мастерской, иногда говорил: «А я картинку нарисовал».

«Неортодоксальные заметки» — размышление удивленного человека, не отягощенного профессиональным искусствоведческим образованием.

Я также сочла возможным включить в книгу несколько рассказов.

Выражаю самую искреннюю благодарность Ираиде Протасьевне Петровой за ее неоценимую помощь в издании этой книги.

И в заключение — низкий поклон моей дочери Анне, без самоотверженной поддержки которой было бы очень трудно подготовить книгу к печати.

[1] ТЭИИ (1981–1991) — Товарищество Экспериментального Изобразительного Искусства — содружество независимых художников Ленинграда. В 1991 году преемником Товарищества стал арт-центр «Пушкинская-10».

ЧАСТЬ I

НИЧЕГО ОСОБЕННОГО

Знакомая американка прожила у нас в Хьюстоне с коротким перерывом две с половиной недели. Вела себя, как дитя блокадного Ленинграда. Оставшуюся после еды пищу рассовывала по баночкам и коробочкам и потом заставляла нас доедать. В морозильник засовывала хлеб и оставшиеся куски кекса. Как-то спросила меня, не глядя:

— Вы были когда-нибудь бедны? Я имею в виду — по-настоящему.

Я знала, что у нее была очень тяжелая жизнь с тремя детьми и пьяницей-мужем, американцем русского происхождения.

Позже я рассказала ей историю с двумя кусками сыра.

* * *

Ко мне решила приехать жена американского консула, очень популярная среди ленинградской интеллигенции красавица кореянка Ин-Ми. Сама она работала в консульстве в отделе культуры. Она хотела посмотреть Сашины работы и обещала приехать в час дня, во время ланча. Накануне я пошла в наш шикарный универсам что-то купить к завтраку. Я долго колесила вокруг корзины с голландским сыром. Брала кусок, смотрела на цену и клала его обратно. И так довольно долго. Потом решилась и последний кусок уже не отбросила в корзину, а понесла домой. Ин-Ми приехала вовремя, элегантно одетая и с великолепным неброским макияжем. Я решила сразу же напоить ее чаем. Я небрежно открыла холодильник, свободно и опять же с небрежной раскованностью вынула сыр, развернула хрустящую обертку,

положила сыр на доску и, довольная собой, стала нарезать его толстыми кусками, как это делал всегда, когда у него водился этот продукт и были гости, наш с Сашей любимый друг, художник Женя Тыкоцкий.

Ин-Ми молча и внимательно смотрела на эту процедуру, а потом вдруг спросила:

— Регина, а как вы живете?

— Я живу хорошо, — сказала я по-дурацки и по-дурацки же спросила: — Может, вам не нравится этот сыр?

— Нет-нет, он мне очень нравится, — поспешно ответила она.

Потом мы долго смотрели работы. В конце, перед самым уходом, она сказала:

— Я знала, что увижу что-то необычное, но такого я не ожидала. Спасибо.

После этого визита мы очень подружились.

Но, как ни странно, ситуация с кусками сыра не изменилась. По-прежнему вынимаю его (кусок) из общей кучи, смотрю на цену и кладу обратно. Даже живя в Америке.

* * *

Я забыла цены и названия сыров в Ленинграде 70–80-х годов. Сыр, о котором я сейчас говорю, был тогда из самых дорогих, назывался, кажется, швейцарский и стоил 3 рубля 90 копеек за килограмм. Не помню, какой это был день и почему я сидела дома. Может быть, была на больничном. Но хорошо помню, что это были весенние школьные каникулы, и Аня уехала с классом на несколько дней в Новгород. Где-то в районе двенадцати зазвонил телефон.

— Регина Иосифовна, — сказали мне приятным голосом, — я звоню вам из Фрунзенского исполкома. Нам нужно срочно с вами поговорить. Через 10 минут у вашего подъезда будет стоять наша машина, черная «Волга» за номером... И обязательно захватите паспорт.

Этот звонок не был неожиданностью, я ждала его уже несколько дней. Почему-то я стала объектом интереса органов.

Так называли КГБ — органы государственной безопасности. Это длинная и противная история, которую я собиралась увековечить под названием «Автобус ведет стажер». Такие надписи часто можно было видеть на ветровом стекле городских автобусов, где сидели начинающие водители. Здесь тоже был стажер, молодой человек лет двадцати семи, который называл себя Валентином Валентиновичем. Чем не Владимир Владимирович? И вот вопрос, но уже к Владимиру Владимировичу. А настоящий ли он В. В.? Может, кличка приросла к нему, как новая кожа на болячке, и снять ее никак невозможно? Мой Валентин Валентинович изучал историю в Ленинградском университете, а, может быть, был уже аспирантом. Он поделился этим с одной из моих приятельниц, которую они пытались вовлечь в это дело. В чем и преуспели. Но это позже. А сейчас про сыр.

— Я не могу сейчас никуда ехать, — сказала я. — Я больна и, кроме того, только что вымыла голову, а с мокрой головой в мороз я никуда не поеду.

— Хорошо, Регина Иосифовна, — все еще приятно сказали мне, — машина будет у вас через 30 минут, и вы успеете высушить волосы. И повесили трубку.

Я знала, что они уже успели допросить моего племянника, мою родную сестру, моего знакомого, историка Когана, Сашину мать Надежду Владимировну, его жену Саню и еще одну близкую знакомую, переводчицу Лию Симоновну Горбовицкую. И наступил кульминационный момент моего выезда в тот свет.

Я ринулась в ванную и поспешно вымыла голову. В то время по той же причине, по которой куски сыра бросались обратно в корзину, у меня не было не только фена, но даже и понятия, что его можно иметь. Поэтому я включила газ, чтобы сушить голову примитивным методом, и поставила чайник.

И тут позвонили снизу в домофон.

— Кто там? — спросила я.

— Из районного отделения комитета госбезопасности, — был ответ.

Я нажала кнопку.

Через полминуты раздался звонок уже в дверь. Рослый мужчина в штатском вежливо со мной поздоровался.

— Почему вы приехали так рано? — набросилась я на него, — мне обещали полчаса. Голова у меня совершенно мокрая, и я собираюсь пить чай. И почему вы меня компрометируете перед жильцами, громко заявляете, что вы из КГБ?

— Там никого не было, Регина Иосифовна, — терпеливо сказал он. — Вы не торопитесь, пейте чай, я подожду.

— Вы можете ко мне присоединиться, — сказала я агрессивно, — у меня есть сыр, хороший, за три девяносто килограмм.

Он не отказался. Потом мы вышли вниз, сели в эту просторную машину с шофером и, игнорируя светофоры, на предельной скорости понеслись по назначению.

* * *

Рослый представитель спецслужб эскортировал меня на не помню какой этаж и завел в небольшую комнату. Тут-то и выскочил мой личный Валентин Валентинович, молодой человек в обязательно аккуратном костюмчике, с волнением в глазах. Он кинулся принимать от меня предмет моей гордости, искусственную шубу, посланную мне тетей Леной из Канады. Я в состоянии некой потусторонности ситуации все же ощутила удовлетворение, сбрасывая ему на руки это изделие жестом кинозвезды, выходящей из кадиллака, — небрежно и привычно.

Усадив меня в кресло, он сел напротив и откашлялся.

— Регина Иосифовна, — сказал он сурово, но проникновенно, — я буду с вами предельно откровенен. Дело в том, что нам известно про вас восемьдесят процентов правды. Нам неважно, скажете ли вы нам оставшиеся двадцать процентов. Того, что мы знаем про вас, вполне достаточно, чтобы осудить вас по статье 190 за антисоветскую пропаганду. Это грозит вам сроком заключения от 5 до 7 лет. Ваша

дальнейшая жизнь зависит от того, проявите ли вы благоразумие в данной ситуации.

Он сделал паузу, во время которой я успела подсчитать, сколько же мне стукнет через семь лет.

— Кстати, Регина Иосифовна, — спохватился он, — пожалуйста, достаньте ваш паспорт.

И протянул руку с садистской уверенностью.

— У меня нет паспорта, Валентин Валентинович, — сказала я почтительно. — Он в милиции, я отдала его поменять. Он будет готов через неделю. Вы можете проверить.

И, глядя в его перекошенное лицо, благословила друзей, которые убеждали меня не брать с собою паспорт.

— Он заберет у тебя паспорт, — говорили они, — а потом начнет шантажировать, скажет, что не отдаст, а без паспорта тебя выселят на какой-то там километр и т.д., это у них старая отработанная методика.

Иногда я смотрю на фотографию, которую я тогда сделала в спешке, забежав в срочное фото. Всегда ненавидела фотографии на документы. Но эта мне нравится. Свитерок в косую клетку, ворот рубашки, тоже в клетку, выглядывающий из-под него, и то, и другое, посланное подругой Верой из Канады. Это не ассоциации с клеткой, которая как бы маячила на горизонте, это просто фрагменты из той же оперы, что и вышеупомянутые куски сыра. И над всеми этими клетками разметавшиеся волосы и глаза попавшей в силок птицы.

* * *

— Мы не карательные органы, Р.И., — вел мальчик свою тщательно подготовленную партию, — мы проводим профилактическую работу. Нас интересует поколение людей возраста от 35 до 50 лет. Поколение людей, которые в 60-е годы прониклись неверными, даже вредными идеями и которые сейчас приносят большой вред нашему обществу. Мы стараемся вести с этими людьми разъяснительную работу. Вы не должны нас опасаться. А теперь приступим к делу.

Чеканными и отрепетированными движениями он открыл ящик стола и, изъяв оттуда стопку моих писаний, широким жестом и явно упиваясь моментом, веером плеснул их на стол, так что я на секунду возомнила себя Александром Исаевичем Солженицыным.

— Вы узнаете эти произведения, Р. И.? — произнес он, окрасив сарказмом слово «произведения».

— Конечно, Валентин Валентинович, это мои рассказы.

— Очень хорошо, Р. И. Мы направили ваши рассказы на экспертизу в Горлит, — продолжил он с расстановкой, — и в ходе этой экспертизы было установлено, что в них содержатся антисоветские высказывания. Это очень серьезное обвинение, Р. И. У нас также есть данные, что вы распространяли эти антисоветские произведения среди ваших знакомых. Вот о них теперь давайте и поговорим.

* * *

Я работала музыкальным педагогом в детском саду и стеснялась этого. Но меня устраивало, что я была занята два-три утра и два вечера в неделю. Поскольку моя дочь Аня часто болела, а детский сад был виден из окна моей кухни, я во время ее болезней могла выскакивать с работы и уделять ей больше внимания. И отпуски были по 36 рабочих дней, куда прибавлялись выходные, что вместе составляло 42 дня. Это расписание давало возможность подрабатывать уроками музыки, заниматься переводом в семинаре выдающегося ученого-филолога Ефима Григорьевича Эткинда, вести летом и по выходным дням автобусные экскурсии по городу. Аня часто проводила лето на Украине с отцом, с которым мы к тому времени развелись, но остались в добрых отношениях. Вечерами, уложив ее спать, я урывками, кусочками пыталась что-то писать. Как я теперь понимаю, это были чисто экспрессионистские зарисовки по впечатлениям. Увиденное в Литве разрушенное еврейское кладбище сидело занозой в сознании. Мне казалось, что лучше всего этот грустный образ можно представить на холсте. Но знакомые художники

не собирались ехать целую ночь и тратить не существующие у них деньги, чтобы срисовывать с натуры это раздирающее мне душу зрелище. Тогда я сделала это сама на бумаге. Мне нравится этот коротенький рассказ, который впоследствии очень плохо перевела известная американская переводчица Мириам Шварц[1]. Потом под впечатлением первого посещения синагоги в праздник Йом-Киппур я написала «В проеме памяти». И несколько еще. Из переводческого семинара Ефима Григорьевича Эткинда я осознала, насколько важно звучание, ритм и смысл каждого слова, и как-то бессознательно билась над тем, чтобы не допустить вызывающего дремоту многословия. Сегодня вдруг вспомнила роман Бруно Ясенского, как мне кажется, совершенно забытого теперь писателя. По-моему, он сгинул в сталинских лагерях или его расстреляли. Роман его под названием «Человек меняет кожу» начинается так: «Глаз солнца смотрел в подзорную трубу улицы». Тогда это показалось мне откровением. Мы не имели понятия о таких писателях, как Андрей Белый, почти ничего не знали о Марине Цветаевой. В моей повести «Старик» я долго билась над первой фразой «Неман извивался и блестел, как огромная тугая рыба». И еще там же есть фраза «Автобус фокусником пожирал ленту дороги». Это ведь, как я поняла теперь, прямая ритмическая и образная калька с Ясенского. Писала я мало и, как уже упомянула, каждый день укладывалась спать с ощущением совершаемого преступления, но с бумагой и карандашом в головах. Это помогало выживать. Помню, на одной из своих лекций блистательный Наум Берковский как-то сказал, что творчество поднимает художника над реальностью и делает его сильнее. Я показывала эти рассказы некоторым литературным знакомым, и те вроде бы одобряли. И именно эти рассказы органы положили в фундамент своей тщательно разработанной операции. Которую я так и не описала по свежим следам.

[1] Рассказ «Кладбище» опубликован во второй части настоящего издания.

* * *

Как-то мне приснился сон. Я выхожу из трамвая и спускаюсь в подземный переход к станции метро «Электросила». Со мной рядом идет молодой, темноволосый, очень спокойный, невысокий человек.

Он говорит:

— Сейчас я переставлю тебе мозги, и ты все будешь понимать правильно. Правую долю мы поставим влево, а левую, наоборот, вправо. — Он разнимает, и это все на ходу, мою черепную клетку и делает свои перестановки. И все это спокойно и не останавливаясь. Когда я записала этот поразивший меня сон, я закончила его следующим: «Неопознанный, он идет рядом с моим удивлением». Полную перестановку моего восприятия и реакций позже сделал Саша. Не ведая того. А тогда мне только оставалось гадать, кто бы это мог быть.

Отъезду художников

Какая пепельная скука
Смотреться в лаву злой тоски.
Красивой подлости науку,
Мой Бог, осилить помоги.

Ее манеры превосходны,
Ее осанка так стройна,
В пансионате лжи отборном
Была воспитана она.

Любимцы музы современной,
Вас не согнуть, не обойти,
Вы бастионом неизменным
На всем воздвигнуты пути.

Продать себя — с глюкозой штука,
Продать других — с горчинкой сласть,
Нет горше, сладостнее муки,
Чем душу походя украсть.

О, муза века, ты спокойна,
Ты так пристойна и скромна,
Ты од Горация достойна
И ложью слов напоена.

Пить сок души, пьянить словами
И, гимны рабству отзвеня,
Уйти неспешными шагами,
На полотне создав себя.

Лишь вдохновение лелея,
Исчезнуть, презирая плач,
И каменеют Ниобеи
Там, где оставил их палач.

Это было написано 19 декабря 1983 года после того, как я побывала на отвальной Бори Берлина. Один из многочисленных Сашиных друзей, очень талантливый дизайнер, он, учась в Мухинском училище, женился на красивой однокурснице. Брак оказался счастливым, но беда была в том, что у молодой жены было очень плохое зрение, и оно все ухудшалось. На Бориса была возложена огромная ответственность, он делал курсовые и все прочие работы за свою жену. Не говоря уже о бытовых вещах. У них, насколько я помню, были два ньюфаундленда. Саша со смехом рассказывал, что эти собаки совершенно не давали Борьке купаться, лезли за ним в воду и пытались вытащить на берег. Интересный был Борька человек. В то время масса иностранных девочек крутилась вокруг наших творческих молодых людей или, наоборот, интерес творческих молодых людей к западным девочкам был на высоком уровне. Не знаю, вписывается ли сюда история Шемякина, уехавшего в Париж благодаря натурщице скульптора Майоля Дине Верни, о чем мне рассказывал Саша, но карьера его на Западе началась именно с этого. Правда, знаменитая француженка уже никак не подпадала под категорию «девочки». Молодые заезжие иностранки были без ума от элитных мальчиков. Я смутно помню трех юных итальянок, две из них с прелестными именами — Франческа и Патриция. В наших

ушах это звучало магическими заклинаниями. Люди оттуда, милые и раскованные в своем поведении, лишенные каких бы то ни было комплексов... Неважно, что они чего-то там не знали. Конечно, было немного странно, что жительницы Милана не знали, что там есть театр Ла Скала, например.

Один из этих элитных мальчиков, скульптор, совершенно забыла его фамилию, но звали его Юра, женился, кажется, на Франческе, которую к тому времени переименовали во Франю, и отбыл в Италию. А что касается Бори Берлина, то он познакомился с молодой датчанкой, звали ее Мария, то есть Машка. Она давала уроки плавания пожилым людям и немного говорила по-русски, была некрасива, но очень симпатична. Небольшого роста, с каким-то мятым, как казалось тогда, лицом. Состоялся роман, все проходило с огромными трудностями, Боря оставил свою жену. Помню, как он очень убедительно объяснял мне, что устал все время обслуживать супругу, хотя он и прекрасно к ней относится и собирается остаться с ней в дружеских отношениях. Но теперь наступил предел его силам. После длительных мучений с советскими инстанциями он, наконец, получил разрешение ехать в Данию. У него был прекрасный английский. Он говорил, что хочет иметь четырех сыновей. Сейчас у него, насколько я знаю, трое сыновей. Говорили, что он живет в Копенгагене в квартире с окнами на андерсеновскую русалку. Позже выяснилось, что это не так.

На отвальной я смотрела на его бывшую жену, которая пришла с группой ребят из общей компании. Она улыбалась. Все выглядело так интеллигентно, достойно и непринужденно, что перехватывало горло. Наверное, приведенные выше стихи звучат запальчиво. Болевые интонации появились вследствие ряда наблюдений за образом жизни представителей этой свободной профессии.

Много позже кто-то из оставшихся вдруг начал говорить, что перед отъездом Борьку много таскали в КГБ, и он якобы всех продал и предал, чтобы получить разрешение на выезд. Мне трудно в это поверить, и я не собираюсь все это комментировать. Но помню, что в разгар своих усилий по отъезду, а условия органами создавались самые садистские, Боря как-то очень серьезно и долго объяснял мне, что следует меньше болтать языком и что в каждой компании обя-

зательно имеется завербованный стукач. Их тогда называли «дятлами». Думаю, что в чем-то он был хорошо осведомлен, потому что провокации против меня могло бы и не быть, если бы я действительно поменьше говорила как о своих рассказах, так и об окружающих меня людях.

* * *

Как-то вечером раздался звонок в дверь, и вошел мой племянник Сергей. Всегда его появление сопрягалось с ощущением праздника, легкой бравады и юмора. Он был младше меня на 14 лет, и тусовались мы с ним не как тетка с племянником, а, скорее, как сестра с братом. На нашу купчинскую окраину редко можно было добраться без проблем, и он не появлялся часто и никогда без телефонного звонка.

— Сережка, заходи, — обрадовалась я, но, вглядевшись в его лицо, спросила: — Что-то случилось?

— Случилось, — он влетел в кухню, забыв переодеть обувь, — я сегодня лежал в этой квартире на полу, — он снял на время пустую квартиру для решения очередных разногласий с родителями. — Почему лежал? Температура высокая уже два дня, но сейчас лучше. И вдруг звонят в дверь, я открываю, входят вежливые молодчики, трое, и говорят: «Нам надо проехать в одно место, Сергей Борисович». И документами машут перед носом.

— Это в честь чего?

— Не торопись. Повезли меня на черной «Волге», представляешь, на Фонтанку, во Фрунзенский исполком, и по задней лестнице подняли наверх. А там молодой субчик комсомольского возраста завел меня в кабинет. И знаешь, что там лежало на столе?

— Откуда мне знать, что там лежало на столе? — завибрировала я еще в неведении, но уже полная гадких предчувствий.

— Твои рассказы, — выпалил он.

— Как?

— А вот это я не знаю — как. Но он их мне показал, я уверен, что это были ксерокопии, и спросил, читал ли я и что я об этом думаю, а потом начал выспрашивать все о тебе и твоих знакомых.

— О каких моих знакомых?

— О всех почти. О художниках, как вы встречаетесь, о чем говорите. Но от меня он ничего не добился. Могу гордо сказать, что ничем тебе не повредил, говорил, что почти никого не знаю, не вижу никогда, рассказы бегло просмотрел, но не прочел. Три часа он эту волынку тянул. И пришлось им меня везти обратно. А я сразу к тебе, но уже без телефона.

— А как они узнали твой новый адрес? Ты ведь там всего одну неделю живешь!

— Вот это и меня очень интересует.

Мы долго тупо смотрели друг на друга и вдруг хором выпалили:

— Белла!

* * *

Наделенный обаянием, мягкими манерами, чувством юмора и очень ясным аналитическим умом, он нравился дамам. Его жена, красавица-блондинка Ирина, неплохой математик, отличаясь природной непосредственностью девочки из Курска, доставляла нам массу приятных минут. Трудно удержаться и не процитировать хоть что-то из ее перлов.

— Ты была вчера в филармонии? — как-то спросила она меня. — И что там было?

— «Реквием» Берлиоза. Приезжала армянская капелла.

— Берлиоз! Какая прелесть! — восхитилась Ирина. — Я слышала его «Фантастическую симфонию». Там дирижировал какой-то японец. Так ты знаешь, он так извивался, что весь вспотел.

Сережка тихо покраснел и вышел из кухни, где мы варили кофе.

Как-то мы втроем приехали в Таллинн и провели ночь в очень аристократическом доме. Утром хозяин дома Олег Тютрюмов, меломан и владелец фантастической по тем временам библиотеки, к тому же потомок старинного дворянского рода с XII века, второй человек в Таллинне, как его называли, приготовил кофе. Мы сидели за столом и ждали Ирину. Наконец она вошла и, одарив нас прелестной улыбкой, присела за стол.

— Я не буду завтракать, — заявила она. — Меня ночью так пронесло!!! Я всю ночь бегала в туалет. Разве вы не слышали? — обратилась она к Олегу. — Но знаете, это хорошо, я очень люблю, когда меня несет, это так полезно для здоровья.

После чего Олег именовал ее не иначе, как «femina vulgaris». Их брак медленно, но неуклонно распадался.

* * *

Белла как-то появилась в моем доме с Сергеем. Разведенная молодая женщина, жившая с сыном восьми, кажется, лет, стройная, но какая-то блеклая по сравнению с ошеломляющей яркостью Ирины. Жила она за несколько трамвайных остановок, и я пригласила ее заходить почаще. Мы обе были словоохотливы, она рассказывала о своей работе и сыне, я, соответственно, об Ане, друзьях и о своем увлечении переводами и написанием маленьких историй. Она жаловалась на трудности с работой, и я попросила соседку по дому и близкую приятельницу Галю Залесскую помочь ей устроиться агентом в страховую компанию. Сама Галя, инженер по образованию и гений общения, как она говорила, процветала в этой сфере. У Беллы же не получалось. Что-то чудилось в ней некомфортное, напряженное и даже склизкое. Ее ускользающий взгляд в сочетании с некоей угодливостью вызывали отрицательную реакцию у собеседника.

Весной, до всей этой чертовщины, я собралась лечь на пару недель в Институт кардиологии на обследование.

— У меня к тебе просьба, — сказал Сергей незадолго до этого.

— Давай выкладывай.

— Можно Белле у тебя пожить это время? Она сдала квартиру немцу из ФРГ, хочет хоть какие-то деньги получить. Ей так трудно с ребенком.

Я не задумалась ни на секунду:

— Конечно, почему же нет?

Позже, летом, Белла еще прожила у меня в квартире около полутора месяцев. Мы с Аней отдыхали в Литве, в Бирштонасе, уютном дачном городке недалеко от Каунаса. Было ясно, что на протяжении этого времени для нее не состави-

ло никаких трудов вытащить рассказы и отнести их в органы. Мы только задним числом поняли с Сергеем, что в то время сдать квартиру немцу из Западной Германии было чревато неинтересными, мягко выражаясь, последствиями. И ее визиты в милицию, якобы по делу об убийстве на лестнице, были просто рабочими визитами с отчетами о проделанной работе, в частности, обо мне. По возвращении в квартиру, которую чистюля Белла привела в полный порядок, началась булгаковщина. Сама она еще оставалась с нами около недели, так как ее собственная квартира все еще была занята, а ребенок находился на даче. Никаких моих внутренних протестов ее проживание не вызывало. В совместной жизни она отличалась редкой необременительностью. Вечерами происходили совместные ужины и разговоры, она лихо готовила, мгновенно наводила порядок и находила необременительные же темы для разговоров. Но уже на следующее утро по приезде раздался телефонный звонок и кто-то долго и вдумчиво слушал мои «алло», а потом положил трубку. Звонки эти происходили несколько раз в день и несли в себе какую-то дрянную ауру, какой-то гнусный заряд, словно сама телефонная трубка вдруг стала источать бациллы грядущего, нечеткого пока ужаса.

— Эти звонки уже целую неделю, — сказала Белла, — мне они не нравятся.

— Вы звонили на телефонную станцию, чтобы узнать, откуда звонят?

— Нет, мне не пришло в голову. К тому же эти дни меня все время вызывают в милицию, помните, я вам говорила, у нас на лестнице весной было убийство, и с тех пор они опрашивают всех жильцов, теперь и до меня дошло. Так что я побежала.

Я сняла телефонную трубку. Никакого вразумительного ответа из справочного я не получила. А потом пришла осень, зима, и все улеглось.

* * *

На следующий день после явления племянника позвонила Лия Симоновна Горбовицкая. Мы очень дружили, несмотря

на разницу в возрасте. Она была прекрасным переводчиком. Мы познакомились на семинаре Эткинда, куда меня рекомендовал Григорий Юльевич Бергельсон, мой преподаватель на курсах немецкого языка, работавший редактором в издательстве «Иностранная литература». Фамилия Лии Симоновны была мне более чем знакома. Ее дядя, профессор медицины Самуил Ефимович Горбовицкий, был близким другом моего отца. Жили мы с ней относительно недалеко друг от друга, и я часто у нее бывала. Она была замечательным тонким профессионалом в переводческом деле и преподавала немецкий язык в техникуме. Это была маленького роста, уютно округленная женщина с вечно неуверенным взглядом выцветающих глаз. Голос ее по телефону показался мне странным.

— Я должна к вам приехать, — сдавленно прозвучало в трубке.

Я растерялась. У меня в гостях сидела Надежда Владимировна Манусова. Она приехала по моей просьбе и теперь сосредоточенно слушала мой рассказ о племяннике.

Лия Симоновна появилась довольно скоро. С выражением робости и как-то заискивающе она поздоровалась с Надеждой Владимировной, что меня удивило. Когда-то вместе они учились на филфаке Ленинградского университета: Надежда Владимировна на арабистике, а Лия Симоновна на отделении германских языков.

Однажды Лия Симоновна в буквальном смысле слова бросилась передо мной на колени, узнав, что я дружу с Надей Манусовой и ее сыном.

— Я вас умоляю, бегите от этих людей, — причитала она. — Это страшная женщина. Если бы вы знали, сколько людей по ее милости отправились в лагеря. Да, у нас были стукачи на факультете, но их вынуждали это делать, Надя же Манусова делала все добровольно, со страстью, она наслаждалась этим. Вы не должны с ней общаться.

Потом она рассказала мне про свою приятельницу Вику, которая во время блокады оказалась в одной квартире с Надей Манусовой.

— Вика до сих пор не может слышать это имя. Какой чудовищный характер у этой женщины. Какую ужасную

жизнь она всем устроила, — пухловатое лицо Лии Симоновны было в красных пятнах, она зябко потирала руки.

— Лия Симоновна, — говорила я тогда, — в это трудно поверить, Надежда Владимировна замечательный человек, а Саша вообще не нуждается в комментариях. К тому же он так болен. Откуда вы узнали, что Надежда Владимировна этим занималась?

— Когда наши бывшие друзья, не все, конечно, вернулись из лагерей, они рассказали про Надю. Им на допросах показывали ее письма-доносы.

И вот теперь обе они сидели у меня на кухне. Маленькая Лия Симоновна с ее еще более, чем всегда, виноватой улыбкой и тоже маленькая Надежда Владимировна с ее твердо очерченным лицом, которое каждую секунду ее жизни было исполнено величайшего, переходящего в манию достоинства.

— Сегодня ко мне приходил молодой человек из органов, — сказала Лия Симоновна, даже не отхлебнув из поставленной перед нею чашки. — Он принес ваши рассказы и много о вас расспрашивал. Он заставил меня написать про вас всякие вещи. Я сделала что-то нехорошее, что-то очень плохое, — всхлипнула она, — простите меня, он обвинял меня в том, что я принимала участие в распространении антисоветской литературы, потому что печатала ваши рассказы на своей машинке. Он сказал, что они конфискуют мою машинку, — она стиснула руки и так и осталась, словно вдев их в невидимые наручники, — но я же не смогу без нее существовать... Мне пришлось написать заявление под его диктовку и подписаться.

— Лия Симоновна, — вступила своим низким контральто Надежда Владимировна, — почему вы согласились все это написать? Я никак не могу этого понять. Ведь вам никто не вгонял иголки под ногти. Сейчас не тридцать седьмой год. Вы вполне могли отказаться.

Она говорила очень медленно, музыкально меняя интонации и каждым словом будто впечатывая в скрижали вечности историю грехопадения собеседницы.

— Завтра меня тоже вызывают, — торжественно изрекла она. — Туда. Я, конечно, пойду и скажу им все, что я думаю о Регине, — веско произнесла она, акцентируя каждое

слово и твердо глядя мне в глаза. — А думаю я о ней только самое хорошее.

Через два дня позвонил мой знакомый Володя Коган. Речь о нем впереди. Он только что вернулся из Фрунзенского исполкома.

— Ну и друзья у тебя, — клокочущим от негодования голосом сказал он.

— Кто? — спросила я. — Кто именно?

— Надежда Владимировна, — был ответ.

* * *

— Это Шекспир, Регина Иосифовна, — говорил мне Юра Александров, сидя у себя на кухне и поглаживая огромного дога, прильнувшего к холодильнику, — это подлинный Шекспир.

Дог сердито гавкнул на холодильник, куда Юрина жена только что положила смачный брусок колбасы. Похожий на ассирийца, Юрий Самуилович Александров был Аниным учителем рисования и одним из многочисленных друзей Саши Манусова. Он считался лучшим детским педагогом города и вел кружок рисования в Доме пионеров, в трех минутах ходьбы от нашего дома. Преподавание его было далеко от ортодоксальности.

Так, он говорил мальчику лет семи:

— Ты такой большой дядька. Пора уже красками рисовать.

Или:

— У тебя тут штаны, мешок, пальма — все одним цветом покрашено. А цветы растут, кусты меняются и пальма тоже. Это интересно. А у тебя тут как в парикмахерской. И не мусоль одно место. Крась все дальше, но не как курица оставляет следы.

И еще (мальчику):

— Ты ведь знаешь, что карандаши можно смешивать так же, как краски. И, кстати, а где же у тебя Робинзон?

— В шалаше, — конфузясь, грустно отвечал ребенок, — я людей не умею рисовать.

После всей этой истории Юрий Самуилович прекратил со мной отношения, о чем речь впереди.

И если вернуться к Владимиру Когану... Он возник у меня на пути довольно странным образом.

Он явился в детский сад, где я работала, и сказал заведующей, что он журналист и готовит серию статей, связанную с нравственным воспитанием детей и тем, какое воздействие музыка оказывает в этом направлении. Несколько раз он появлялся для бесед со мной с тщательно подготовленными вопросами и черновым вариантом предполагаемой статьи. Он жил с постоянной бедой: зрение его было на грани катастрофы и становилось все хуже. Он был историком и журналистом одновременно и занимался историческим исследованием России до татаро-монгольского нашествия. Он считал, что нашествие татар было благом для Руси, иначе киевские князья просто перерезали бы друг друга, чем они все время и занимались. Он достаточно серьезно увлекся мной и попросил разрешения иногда заходить ко мне домой. Читать самостоятельно он не мог. Визиты его проходили странным образом: в основном он сидел с Аней в комнате, и она с увлечением читала ему неоконченный роман Диккенса «Тайна Эдвина Друда», по которому на телевидении был только что снят многосерийный фильм. Аня была счастлива тем, что может озвучить любимый тогда роман, он тоже выказывал признаки удовольствия. Его характер был далек от нордического, он легко, в доверительном тоне общался с людьми и умел не быть обузой, несмотря на свою, очевидную всем, проблему со зрением. Он интересно, но и с некоторым раздражением, рассказывал о своем двоюродном брате, известном театральном художнике Ефиме Капелюше.

Однажды он спросил меня, очень небрежно, не знаю ли я кого-нибудь, кто ездит на Запад и мог бы передать туда его историческое исследование о Древней Руси. Я беспечно ответила, что я сама никого не знаю, а вот у Аниного учителя, Юрия Самуиловича, может быть, кто-то есть. Я имела в виду итальянских девочек, а также уже отъехавшего Борю Берлина. Мне казалось, что горизонты художников и их возможности гораздо шире моих, а Володя Коган так горестно умолял меня помочь ему с этим делом.

— Ведь здесь это никогда не будет напечатано, — уверял он.

Узнав, что, возможно, Юра Александров как-то сможет помочь, Володя сказал, что очень заинтересован так же и в том, как Юра ведет кружок рисования, и начал регулярно присутствовать на Юриных занятиях, которые тот проводил в Доме пионеров, опять же за три минуты ходьбы от нашего дома.

— Странненький это человечек, Регина Иосифовна, — сказал как-то Юра незадолго до начавшейся вакханалии, — все ходит и ходит и так аккуратно задает разные вопросики...

Володя явился ко мне после похода в КГБ в истерическом состоянии.

— Мне показали письмо твоей приятельницы Надежды Владимировны. Он мне его прочитал сначала, а потом дал посмотреть, у меня было увеличительное стекло. Она заявляет, что ты пишешь антисоветские рассказы и даешь ей печатать. Какова! Как ты можешь доверять таким людям! Сначала эта переводчица, а теперь твоя любимая Н. В.

Он кипел благородным негодованием и был, как мне казалось, очень искренен. Мне и теперь, через гору лет, так кажется.

— Как ты думаешь, они могут прийти сюда с обыском? — спросила я, даже не спросила, а почти прошелестела.

— Они могут все. У тебя что, есть самиздат?

— Почти нет, но надо еще раз посмотреть.

Я притащила кучу бумаг, и мы начали их перебирать. Ничего крамольного не обнаруживалось, кроме известного письма Солженицына 3-му съезду писателей.

— Я разорву и выкину это в туалет, — сказала я, — и больше, кроме этого письма Солженицына, у меня ничего нет. А теперь пойдем выпьем чаю.

Глядя, как он с суетливой заботливостью придвигает мне чашку, я вдруг вспомнила Юру Александрова.

— Скажи мне, пожалуйста, как ты попал к нам в сад? Ты живешь в центре. Зачем тебе тащиться на край города в незнакомый детский сад и беседовать с незнакомым тебе педагогом? — выпалила я в каком-то внезапном прозрении.

— Мои друзья живут здесь недалеко, — он звучал очень убедительно. — О том, какой ты педагог, они прекрасно знают, тебя очень хвалили, и дети тебя любят. Если хочешь, я могу дать тебе их телефон, они тебе все сами скажут, — и он достал из верхнего кармана пиджака записную книжку.

— Положи ее обратно, я никому звонить не собираюсь. Но твое появление здесь, оно искусственное, мне все время это казалось странным. Именно после этого началась вся эта бесовщина, — я была почти в исступлении.

— Неужели ты можешь такое про меня подумать? Ты же прекрасно знаешь, как я к тебе отношусь, — взмолился он.

— Могу. И не только я.

— Кто же еще? — почти плакал он.

— Юра Александров, — сказала я твердо и с наслаждением, — он давно заметил в тебе и в твоем поведении определенные странности. Зачем ты ходишь к нему на занятия и все время выспрашиваешь всякие рискованные вещи?

На следующем же rendez-vous мальчик небрежно и, явно наслаждаясь моментом, бросил:

— Я понимаю, что вы не держите самиздат, Регина Иосифовна. Вы же не принесете мне письмо Солженицына 3-му съезду писателей.

Он еще издевательски улыбался, когда я в своем ошеломлении все же осмыслила очевидное: я разбирала бумаги, сидя рядом с телефоном, который, бесспорно, прослушивался. Если они и сделали какой-то «заказ» Когану, то он, по всей вероятности, не оправдал их ожиданий.

— Зачем он вам, Регина Иосифовна? — брезгливо спросил как-то Валентин Валентинович, когда, задавая вопросы о моих друзьях, добрался, наконец, и до Володи. Было очевидно, что он очень раздражен.

Юра Александров позвонил мне через несколько дней.

— Регина Иосифовна, — сказал он, — ко мне приходил ваш знакомый, Владимир Коган. Он позвонил и сказал, что очень срочно хочет со мной поговорить. Он пришел ко мне домой, долго мялся и потом сказал, что он знает, что я думаю про него всякие нехорошие вещи, но что он ни к чему не имеет отношения, и уверяет меня, что это не так, и просит меня ему поверить. Он выглядел очень жалко.

Юра помолчал и осторожно спросил:

— Регина Иосифовна, а вы ему ничего не говорили про мои сомнения?

Почему я поспешно ответила «нет»? Может быть, чувствовала Юрину категоричность и просто побоялась признаться. Это был мой последний разговор с Юрием Самуиловичем.

* * *

В общей сложности мои «беседы» с Валентином Валентиновичем свелись к четырем посещениям кабинета на верхнем этаже Фрунзенского исполкома. Но это уже было без помпезного выезда на черной «Волге». Я добиралась на трамвае до метро «Электросила» и потом ехала несколько остановок с пересадкой до «Владимирской».

Кажется, во второй визит В. В. начал обсуждение моих рассказов.

— Вот здесь у вас, Р. И., допущены совершенно недопустимые высказывания. Вы пишете в этом своем «Транзите» недоброжелательно о словах «документ», «удостоверение» и т.д. Вы утверждаете, что эти слова засоряют русский язык. Как вы можете так писать и, главное, так думать? Вот здесь у меня удостоверение, Регина Иосифовна, — ударив себя в грудь на уровне сердца, где находился нагрудный карман пиджака, патетически произнес он: — и это для меня святое.

— А вот здесь, давайте посмотрим ваш «Фрагмент из дневника». Что вы здесь пишете про собак? Что они гомосексуалисты?

— Здесь нет этого слова, В. В.

— Но смысл остается, Р. И. Разве можно об этом писать или даже намекать? Вы должны внимательнее следить за содержанием ваших рассказов. Вы советский человек, а для советских людей главное — это нравственный и чистый взгляд на нашу действительность.

А теперь посмотрим ваш рассказ, который называется «Кладбище». Ну это уже, извините, Регина Иосифовна, ни в какие ворота не лезет. Вы пишете о том, что в наших, со-

ветских исполкомах сидят убийцы, что они ездят на шикарных машинах и т.д. Как вы могли такое сказать, Р. И.?

— Это написано о послевоенной Литве, В. В., и это слова моего персонажа. Это не авторский текст.

— Давайте предоставим Горлиту заниматься этими исследованиями, Р. И., — раздражился он, — они лучше нас с вами во всем разберутся. А мы сейчас вернемся к вашим знакомым.

Имя за именем он выспрашивал все о моих друзьях. Это были именно те имена, которые я упоминала при Белле, именно те безо всяких добавлений: ряд художников, мой приятель-литератор, друзья из Москвы, Ефим Друц и Алексей Гесслер, Олег Тютрюмов, известный таллиннский диссидент.

С каждым именем он добавлял в интонации все больше и больше экспрессии, что явно вело к какому-то пику, своеобразному катарсису. И этот момент наступил, когда голос его неожиданно окреп и исполнился подлинной ненависти:

— А теперь, Регина Иосифовна, поговорим о вашем знакомом, которого зовут Александр Манусов.

И тогда все стало на свои места.

— Нам стало известно, Регина Иосифовна, что у Александра Манусова имеется канал связи с Западом. Мы знаем, что ему делали операцию на сердце в Вильнюсе и что ему из Америки через этот канал связи был доставлен клапан. Что вы можете об этом сказать? Что это за канал и как осуществляется связь?

Что я могла ему сказать? Что, будучи с детства тяжелым сердечником, Саша подошел к черте, когда жить с таким сердцем было уже нельзя? Что было решено ехать в Вильнюс, где сердечная хирургия считалась самой лучшей в стране? Что друзья собрали приличные деньги, чтобы облегчить ему существование в больнице, а его матери дать возможность жить это время в Вильнюсе? Что Саша лежал в этой больнице, куда я приезжала четыре раза, в ужасных условиях, в переполненной палате, ожидая операции три месяца?

Врачи, исходя из ситуации с его сердцем, категорически не советовали ему использовать клапан советского производства. Нужен был американский клапан. Было написа-

но заявление в Министерство здравоохранения с просьбой предоставить такой клапан. Ответа не последовало, и тогда через старания друзей, живших в Израиле и в Америке, жительница Калифорнии Реджина Волдман, несколько лет назад вдохновившая нескольких ленинградских художников на создание группы «Алеф», достала клапан и с огромным трудом упросила знакомую американку, которая ехала в СССР с группой туристов, передать клапан друзьям в Ленинграде. Помню, мне позвонил Юра Александров и ликующе произнес:

— Все в порядке, Регина Иосифовна.

Не знаю, кто и на каком углу встретился с этой замечательной дамой, но уже в тот же день Боря Берлин выехал в Вильнюс, и через пару недель состоялась операция. Еще через месяц пришел ответ из Министерства, что они готовы предоставить клапан. Саша пытался устроить так, чтобы этот клапан передали одному из соседей по палате, но разрешения не дали, и человек этот, насколько я помню, умер после операции. Его фамилия тоже была Берлин.

— Я ничего не знаю об этом, Валентин Валентинович, и помочь вам здесь не могу, — сказала я, с внутренней дрожью вспоминая, как рассказывала Белле во время чаепития эту одиссею, а также о шумном ликовании широчайшего спектра Сашиных друзей, когда клапан, наконец, прибыл.

* * *

Муж моей сестры, которую тоже вызывали во Фрунзенский исполком в тот же день, когда приехали за моим племянником Сергеем, принял активное участие в ситуации. После каждого визита на Фонтанку я приезжала на Петроградскую. Это называлось «навестить маму». Мы закрывались с ним на кухне, и я в деталях рассказывала ему ход беседы, вопросы «юного следователя» и мои ответы. Его старый друг, всю жизнь проработавший в органах и только что вышедший на пенсию, согласился проследить ход ситуации и дать кое-какие советы. Так что после каждого моего посещения Борис ехал к нему и получал рекомендации, как мне себя вести. Он советовал тянуть время, ни на что не соглашаться, но вести себя спокойно и интеллигентно.

И, главное, не бояться. Он считал, что у них ничего нет на меня и что это провокация, видимо, с целью вербовки через серию запугиваний.

Я думаю, что это была неоценимая помощь. Страх перед органами был у всех в крови. А я себя чувствовала совершенно беззащитной и загнанной в угол.

— Прочитайте это, Р. И., — сказал где-то на третий визит В. В. и широким жестом протянул мне через стол письмо. Письмо было написано красивым четким почерком моей сестры и гласило, что я, Соловьева Р. И., часто вела в ее присутствии антисоветские разговоры.

Я отпила воды из стакана и попыталась сосредоточиться. Мы никогда не были в хороших отношениях с сестрой, скорее, наоборот. Ее раздражало, что я не живу так, как ей казалось необходимым, что я не экономлю деньги, что я плохая мать, что я дурно влияю на ее сына и т.д. Это были всего лишь издержки семейных отношений. Но подписать письмо-донос на родную сестру — это уже было деяние, окрашенное ароматом настоящей подлости. К которой ее принудили. Я мгновенно осознала, что письмо это вынужденное, написано под диктовку и объясняется въевшимся в кожу советского человека страхом перед «органами». Понимая, что не имею права обвинять сестру, я растерянно сидела напротив наслаждающегося ситуацией В. В.

— Вы не разочаровались в людях, Р. И.? — вкрадчиво спросил он.

— Нет, В. В. Мне даже становится интересно, в какую сторону все развивается. Хотя как беллетрист (никогда себя таковым не считала, но они сами организовали для меня эту ситуацию пишущей дамы-антисоветчицы) не нахожу ничего неожиданного в этих людях. Это все было предсказуемо и до нашей с вами встречи.

Моя бедная мама страшно зарыдала, когда узнала о письме сестры. Она пережила ссылку отца в тридцать седьмом году, его травлю в пятьдесят третьем в ходе провокации с делом врачей-евреев, после чего он прожил очень мало. Она была затравленным робким человеком. У меня же не хватило силы пощадить ее и промолчать.

* * *

Один мой приятель, видный тогда и особенно сейчас ленинградский литератор, согласился встретиться со мной на улице и что-то посоветовать. У него был наработан большой опыт в отношениях с КГБ. Ему неоднократно предлагалось выбрать поезд либо на Запад, то есть покинуть страну, либо на Восток, то есть в лагерь. Но его мощная ненависть к этому воинству и знание существовавших даже тогда законов о реальном статусе КГБ держали его в хронически бесстрашном противостоянии бесовщине.

— Это же как царская охранка, тайная полиция, — говорил он ненавистно, — они не имеют права на существование, они противозаконны, их просто нет.

Мы встретились у станции метро «Маяковская» и немного прошлись по заполненному людьми Невскому. Ссутулившись больше, чем обычно, что странным образом сразу перечеркивало его высокий рост и невероятную худобу, он внимательно выслушал мой рассказ.

— Так тебе и надо, — мстительно сказал он, когда я закончила объяснять ситуацию с Надеждой Владимировной. — Зачем ты всем все рассказываешь, влезаешь в дурацкие истории? Я всегда говорил, что тебя с твоей одержимостью когда-нибудь не просто побьют, а убьют где-нибудь в подворотне. Нашла себе друзей.

Мы вошли в метро и примостились в уголке.

— Кстати, за тобой хвост ходит, ты что, не заметила? Сейчас за тобой пойдет парень в синей куртке, а до того был другой, в коричневой. Они сейчас поменялись.

Он устремил взор куда-то вдаль, за мою спину, и громко возгласил:

— Тебя оклеветали, это подсудное дело, надо принимать меры. Ты ни в чем не виновата.

Когда мы расстались, я побрела к метро «Площадь Восстания», где с тревогой в глазах меня ждал Саша. Я обернулась. Почти вплотную за мной, индифферентно и нагло, двигался парень среднего роста без особых примет, но в синей куртке. Мы с Сашей вошли в пельменную, кажется, там было это заведение и взяли по тарелке неаппетитных серых

отходов кулинарии. Есть совсем не хотелось, но надо было поговорить. И тут в пельменную спокойно вошел парень в синей куртке, взял себе порцию и пристроился за соседним столиком.

— Посмотрите, Саша, — сказала я так же громко, как несколько минут назад мой приятель в метро, — вот он, тот, который в синей куртке. Он пришел нас с вами подслушивать.

Парень, не отреагировав ни единым жестом, спокойно жевал пельмени и пошел за нами, когда мы двинулись к выходу.

* * *

Наши отношения с Сашей были высшей степени сложности, и об этом не хочется здесь говорить. Это были странные, очень целомудренные и чисто дружески доверительные отношения, продолжавшиеся до тех пор, пока Саша не пришел ко мне, я бы сказала, в состоянии легкого алкогольного опьянения и не сказал, как он на самом деле ко мне относится. Я была хорошо старше его и всегда воспринимала его как замечательного друга, с которым можно поделиться своими проблемами. У него же проблем было больше, чем у меня, и они были чисто личного характера.

* * *

— Регина Иосифовна, — приступил, наконец, к сути дела В. В., — мы получили ответ из Горлита. В ваших рассказах не обнаружено клеветы на советскую действительность, а также антисоветчины, просто они написаны в каком-то болезненном состоянии духа. Вас оклеветали, Р. И., — просветленно заключил он, — вы не хотите написать об этом заявление?

— Нет, спасибо, В. В., — отвечала я, — ничего на эту тему я писать не буду.

— Ну тогда напишите, что вы, когда писали это, находились в психологически болезненном состоянии, и подпишитесь.

— Я не была в психологически болезненном состоянии, В. В., — доверительно возразила я, — просто я очень уставала за рабочий день, и, когда дочка ложилась спать, я еще сидела какое-то время в другой комнате и немного писала, а потом тоже шла спать.

И тут мальчик не выдержал:

— С кем спать, Р. И.? — собрался, видимо, устрашающе взреветь он, но голос его вдруг сорвался, и он проверещал это кикиморой. Его крысиное личико внезапно озарилось вспышкой той же ненависти, с которой было произнесено имя Манусова.

— Этот вопрос, В. В., — сказала я с расстановкой, — я считаю совершенно неуместным.

* * *

— Ты видишь, как они схватились за мою идею, что тебя оклеветали, — обрадовался мой приятель, — теперь они сменят тон и попробуют тебя вербовать.

— Р. И., — торжественно сказал В. В., — примите, пожалуйста, мои извинения за то, что я допустил непозволительный тон по отношению к вам последний раз. Я тоже, знаете, устаю, я ведь еще учусь в университете, я аспирант на кафедре истории. Я обещаю, что это больше не повторится.

— Хорошо, В. В., — сказала я.

Я знала, откуда произошел этот всплеск политкорректности. В прошлый раз, перед тем как писать затребованную бумагу о моей психологической неполноценности, я попросила разрешения выйти в туалет. Хотелось выиграть время и обдумать, как и что сформулировать. Давать им козыри в руки и оставлять бумагу такого содержания было категорически нельзя.

— Конечно, Р. И., — засуетился В. В., — я сейчас вас провожу.

На атомной скорости мы выкатились в коридор. Дверь следующего кабинета была открыта, и там за столом, на котором расположено было записывающее устройство явно самого допотопного образца, сидел пожилой человек с лицом такой невыразимой мерзости, что, когда он движением разбуженного и взятого врасплох в берлоге медведя, повернулся и посмотрел на меня, мне показалось, что меня уже расстреляли и что В. В. с его маленькой головкой и пристальным злобным взглядом рептилии — просто ангел-хранитель, спасающий меня от натурального убийцы. А это, видимо, был его тренер, тот самый, который велел ему извиниться. Может быть, он сказал ему, что чекисты не должны опускаться до подобных выпадов и что выплески благородных чувств лишь увеличивают сопротивляемость объекта.

Сейчас, когда я распутываю этот клубок, я вижу, что все это впечатано уже в мое подсознание, я помню жесты, фразы и припоминаю всю гнусную методологию этого фарса. И думаю: надо ли все это вспоминать? Ведь со мной ничего не сделали и ничего особенного не произошло, просто была реставрирована ситуация тридцать седьмого года. Я прекрасно понимала, что, будь это тридцать седьмой год, меня бы уже давно не было на этом свете по причине чисто физической хилости.

Но что меня по-прежнему продолжает съедать, когда я вспоминаю все происшедшее, это поведение моих близких. Моя любимая и самая близкая подруга Лена Б. жила в коммунальной квартире на Кировском проспекте. Я приехала к ней с некоторыми бумагами, какими-то полузапрещенными книгами и попросила подержать это у себя. Я ждала обыска. Но подруга отказалась. Не помню, какие причины она привела, так же как не помню, куда я все это потом дела.

Сашина жена Саня пришла ко мне поделиться тем, как прошел ее допрос в местном отделении КГБ. Мы сидели в кухне за чашкой чая.

— Все было ничего, — говорила она, округлив глаза, и создавалось впечатление, что она только что приобщилась святых тайн, — но потом они спросили, когда же точно к нам на дачу приезжали девушки из Италии, и я так испугалась, что потеряла дар речи. Это же связь с иностранцами.

— Но что же здесь страшного, Саня?

— Вы еще там не были, но там так все неприятно, — продолжила она, почему-то понизив голос. — Я, когда говорила, все время глазами искала окошечко, за которым они подслушивают. И вообще, я больше так не выдержу. Если меня вызовут еще раз, я все скажу.

— Но что вы скажете?

— Все. И про книги эти, что Саша приносит, и про все разговоры. Вы поймите, Регина, мне ничего этого не надо, я могу спокойно жить и так. У меня есть моя музыка. (Саня вела класс фортепиано в музыкальной школе опять же рядом с моим домом.) Я хочу жить спокойно, общаться с учениками и не знать ничего об этих неприятных вещах.

В повседневной жизни она была очень милым и порядочным человеком. И замечательным музыкантом.

* * *

До сих пор я не могу избавиться от чувства глубинного изумления: почему они все меня предали? Ведь им, действительно, не втыкали иголки под ногти. С другой стороны, что-то во мне пытается их понять. Лия Симоновна, одинокая и запуганная женщина, как-то рассказала мне, что они самозабвенно строили социализм, в который верили всем сердцем. Я готова принять это как происходящее в 30-х годах. Но это ведь были уже 80-е, уже давно прошла хрущевская оттепель, все, казалось, встало на свои места. Все, кроме въевшегося в клетки тела зоологического страха. И она много лет была в тесном контакте с Ефимом Эткиндом, ученым-филологом и гениальным переводчиком, человеком неисчерпаемого нравственного мужества, который вошел в конфликт с властями, защищая Бродского, Солженицына. Его лишили права преподавания и вынудили уехать. Но наша история случилась много позже его отъезда. Скорее всего, именно угроза изъятия пишущей машинки подкосила ее окончательно.

Что касается моей сестры, с которой у нас сейчас превосходные отношения, что же заставило ее написать под диктовку это заявление? Боязнь за сына? Но Сергей ни в каких

диссидентских «злодеяниях» замечен не был. Она была напугана еще и тем, что В. В. не дал ей упомянуть в бумаге, что я ее сестра. Он хотел получить свидетеля, не связанного со мной родственными отношениями. Видимо, она сочла, что помощь ее мужа и была формой извинения. Приехав к ним домой сразу после того, как В. В. показал мне это письмо, я спросила ее даже как-то растерянно:

— Что же это такое ты про меня написала?

Сестра, пряча глаза, молча вышла из комнаты.

Что касается Надежды Владимировны, Сашиной мамы... Она никогда не скрывала, по крайней мере, от меня, что во время войны работала переводчицей в НКВД. Что может быть страшнее этой аббревиатуры? Она демонстративно не извинилась передо мной.

— Я не стану извиняться перед вами, — драматическим тоном, словно со сцены МХАТа, заявила она, как всегда ставя повседневность, даже такую гнусную, на котурны высокой трагедии, — вы не знаете, что они мне говорили. — И она сделала эффектную паузу.

А говорили они ей, скорее всего, что очень навредят ее сыну, если она не напишет эту бумагу. И не исключена возможность, что они угрожали обнародовать данные о ее работе в органах.

Помню, в разгар всего этого мы вышли из моей парадной вместе с Лией Симоновной, которая, все же терзаясь совестью, приехала сказать мне, что, по ее мнению, листки с моими рассказами, которые ей показали, были явными ксерокопиями. Это означало, что Белла, украв их, отнесла в органы, где и сделали эти копии, а потом вернула подлинники домой. Я тогда даже не знала, что можно что-то копировать. Когда мы вышли на воздух, то обнаружили сидящего на скамейке Сашу. Он неловко поднялся.

— Вы мне сейчас не звоните и не появляйтесь у моего дома, — сказала я, когда Лия Симоновна, бормоча слова прощания, засеменила прочь. Эти несколько дней сделали свое дело, и я переставала владеть собой.

— Почему, Регина? — как всегда мягко, спросил он.

— Потому что вы можете предать.

— Регина, вы считаете, что я могу вас предать? — еще мягче и спокойнее спросил он. — Почему вы так думаете?

— Потому что ваша мама это уже сделала, а вы ее сын, и ничего не будет удивительного, если вы тоже окажетесь предателем.

Не знаю, как он воспринял это заявление, но через пару дней Н. В. отправилась во Фрунзенский исполком якобы отказываться от своих показаний. Но, как она говорила позже, ее не пустили в заветную комнату.

Итак, о страхе. Никто из них не извинился, кроме Лии Симоновны. Но и она позже, видимо, с кем-то посоветовавшись, сказала, что не считает себя виноватой, у нее не было другого выхода.

И теперь мой любимый племянник Сергей. Когда я металась в поисках выхода, я придумала дурацкий план написать в органы, что Белла, их сотрудник, решила отомстить Сергею за то, что он не выказывал желания с ней соединиться и что этот путь отмщения должен был ударить по его любимой родственнице, то есть по мне. Я поговорила с Галей Залесской, моей соседкой и приятельницей, которая помогла Белле устроиться на работу, и мы договорились, что Галя напишет о том, что Белла как-то поделилась с ней своими намерениями. Этот план, который мог родиться только в горячечном воображении преследуемой женщины, предполагал, что Сергей подпишет это письмо и что-то туда добавит.

Мы сидели с ним за чашкой кофе, и я излагала ему ситуацию, нисколько не сомневаясь в его согласии.

— Нет, — сказал он, спокойным тоном пытаясь прикрыть нарастающее в нем напряжение. — Я не могу это сделать.

— Почему? — спросила я, тоже стараясь соблюдать полное спокойствие и чувствуя, что никаких физических сил у меня не осталось и я парю невесомости в ипостаси призрака.

— Потому что у нее ребенок. Я не могу повредить ей.

Он не смотрел на меня. С одной стороны, ему было некомфортно, с другой — он явно упивался своим личным нравственным стоицизмом.

— А мой ребенок не считается? — спросила я, теперь уже обескровленная окончательно.

Мы так любили друг друга тогда и так любим друг друга сейчас, и мы так не хотели поссориться. Никогда больше мы к этому не возвращались.

* * *

Недавно я написала своей замечательной подруге Татьяне Шехтер. Она философ и искусствовед, а также выдающийся мыслитель нашего времени. Ее философский взгляд на природу искусства привел ее к нам с Сашей много лет назад. Она была поражена Сашиными работами, выставленными в Манеже в 1988 году, и нашла возможность с ним познакомиться. Это человек первозданной порядочности и чистоты.

— Что такое страх? — написала я ей в недоумении. — Что заставляет людей предавать друг друга?

В ответ я получила следующее эссе:

В философии страх не считается таким уж беспросветным состоянием, хотя в жизни к нему трудно (практически невозможно) относиться философски. По Кьеркегору, «страх» и «трепет» такое же «знание», как и любое другое, достигнутое интеллектуальным путем. Его важнейшее отличие в том, что это знание не требует доказательств. Если человек боится, трепещет, он получает реальное знание о мире. Потому в культуре и придавалось такое значение трагедии, ибо только она обеспечивает подлинный катарсис, достигаемый через страх. Считалось, что испуганная душа не внемлет и остается глухой к каким бы то ни было воздействиям, а под влиянием страха она становится податливей и восприимчивей.

И если у Аристотеля страх ведет к универсальному постижению трагического, то уже в XX веке экзистенциализм полагает, что страх есть путь к постижению самой сути бытия. Самым важным открытием экзистенциализма многие считают, что он понимает страх (и его оттенки) как самую фундаментальную связь человека с реальностью, потому что предельное, что можно сказать о человеке перед лицом мира, — это то, что он стоит перед бездной, в ужасе, в безысходности, в тоске. Помнишь «Отражение» Фигуриной? Так

что страх считается продуктивным состоянием, несмотря на все неприятности, с ним связанные. Многие считают, что страх — важная составляющая любви. Найти же путь внутри себя — задача невероятно трудная для простых смертных. Молись — я уверена, что это единственный выход. Бог откроет тебе путь.

Является ли предательство одним из продуктивных составляющих страха? — вот что меня занимает. Есть ли в этом смысл и какой-то высший урок для того, кто предал и кого предали? Для меня определенно есть.

Почему-то отлично помнится сочувствие их стыду и неловкость, испытываемые в их обществе. Словно не они меня предали, а, наоборот, именно я и совершила какое-то мерзкое деяние.

* * *

На финишную прямую мальчик вышел уже на третьей встрече. Видимо, сочтя артобстрел из доносов, открытой слежки и прослушивания телефонных разговоров достаточной аргументацией, чтобы сломать субтильную дамочку, он на полной скорости погнал свой автобус к финишу. А, возможно, у них наклевывалась следующая добыча.

— Регина Иосифовна, — проникновенно произнес он, наполнив стакан водой из графина и протягивая его мне через стол, — вот в прошлый раз вы сказали, что вам, как беллетристу, даже интересны такие психологические ситуации. (Что-то во мне замурлыкало в каком-то кошачьем удовольствии при слове «беллетрист».) У меня есть к вам одно предложение, Р. И., — темп его речи постепенно замедлялся, и не надо было гадать, что он близится к торжественному завершению, некоему апогею всей выстроенной ситуации. — Вы не хотите работать с нами? — здесь он сделал многозначительную паузу и, не дождавшись ответа, продолжил:

— Я уже говорил вам о наших стараниях проводить профилактическую работу среди людей, поддавшихся вредным западным влияниям. Нам очень важно знать настроения этих людей, их образ мыслей, чтобы в случае обнаружения

вредных тенденций провести с этими людьми разъяснительную работу. Мы считаем своим долгом помочь людям, которые были введены в заблуждение вражеской пропагандой.

— Но здесь мы испытываем определенные трудности, Р. И., — поделился он доверительно, — я, к сожалению, не могу появиться в компании этих людей. Я работаю в исполкоме, меня могут узнать и при мне они не будут выражать свои истинные взгляды. А вы, Р. И., вы там свой человек. К тому же и возраст у вас подходящий. Кроме того, у вас удобное рабочее расписание, вы работаете и утром, и вечером, мы узнавали. Нам будет легко встречаться с вами, всего раз в две недели, и вы будете со мной делиться тем, что услышали. Конечно, не здесь. Это будет квартира, о которой будете знать только вы, ну и я, естественно. Там можно будет спокойно поговорить. Что вы об этом думаете, Р. И.?

— Это очень серьезное предложение, В. В., — сказала я, — я не могу на него так сразу ответить, мне нужно время, чтобы подумать.

Если он шел по проработанной стезе, то я тоже была напичкана советами бывалого чекиста. И основной совет был — не бояться, тянуть время и оставаться предельно вежливой.

— Нельзя соглашаться ни на что, — наставлял меня Борис, — ни на какую малость. Мой друг говорит, что, если ты протянешь им палец, они оттяпают у тебя всю руку. — И он с треском рубанул правой рукой по левому плечу.

— Я вас вполне понимаю, Р. И. Сколько вам нужно времени?

— Не меньше недели.

— Но это слишком долго. Давайте встретимся здесь через три дня. Это очень хороший срок, вы вполне успеете все обдумать.

* * *

— Я долго думала над вашим предложением, В. В. И боюсь, что у меня ничего не получится, к сожалению.

— Но почему, Р. И.? — это прозвучало раздраженно. Видно было, что он из последних сил сдерживает злобу.

— У меня слишком слабое здоровье для таких ответственных задач. И у меня дочка, я хочу ее вырастить.

Накануне того момента, когда истекали данные мне еще три добавочных дня, я пошла в районную поликлинику и взяла больничный. Имитировать ничего не пришлось, давление вздыбилось до невероятных цифр.

Мальчик начал звонить через полчаса после назначенного срока, предлагая прислать машину.

— У меня больничный, В. В., — кротко твердила я, — вы можете проверить в поликлинике.

— Я посоветовался с начальником, Р. И., он сказал, что это не является уважительной причиной для неявки в органы государственной безопасности.

— Извините, В. В., я не могу долго разговаривать с вами, я себя плохо чувствую.

Он звонил каждый час:

— Так вы будете с нами работать, Р. И.? — уже кричал он.

— К сожалению, у меня не получится, В. В. Помимо того, что я вам сказала последний раз, я по чисто психологическим причинам не справлюсь с вашим поручением, у меня не получится доносить на друзей.

К вечеру он выдохся.

— Ну что ж, Р. И., — сказал он ненавистно, — мы предоставили вам все возможности. Теперь, если вам что-то не понравится, пеняйте на себя. Если же вы передумаете, то наш телефон вы знаете.

— Конечно, знаю, В. В., — отозвалась я, — у меня очень хорошая память на телефоны.

Больше я не видела В. В. Операция «Автобус ведет стажер» закончилась для него бесславным провалом.

Интересно, что Сашу они тогда не затронули. Боялись международного резонанса? Вряд ли. Они тогда не боялись расправляться с гораздо более известными людьми. Просто это была первая часть их плана. А продолжения последовали, когда мы с Сашей соединились.

* * *

Щуплая фигурка Володарского притулилась на постаменте. Обращенная спиной к Неве, в развороте раскидистой площади, она смотрелась случайно вброшенной в пространство нелепостью.

По правую сторону, если смотреть в лицо скульптуре, был расположен неказистый сквер с приземистыми очертаниями кустов, а слева, словно стыдясь своей незначительности, виднелось унылое административное здание постройки тридцатых годов.

Когда они вышли из троллейбуса, заморосил редкий дождь, не предвещавший скорого конца.

— Ты поезжай домой, — спокойно сказал мужчина, — это долго не продлится, я сразу вернусь. Он перекинул через плечо коричневую, видавшую виды спортивную сумку и двинулся к скверу.

День, вернее, полдень, обволакивал дремотной истомой, ветра не было, шлепанье редких бегунов доносилось из аллеи. «В такой день хорошо бы побродить по Павловскому парку», — подумалось ей. Задумавшись на минуту, она посмотрела на аллею, чтобы еще раз глянуть ему вслед, как было всегда, когда они расставались даже на краткий миг, и окаменела. Его удалившаяся уже на приличную дистанцию фигура двигалась в обрамлении двух высоких плотных спин в идентичных добротных плащах. Невозможно было постигнуть, откуда, из какой субстанции материализовались эти дородные спины с заложенными за них руками. Все трое, словно спрессованные мощным магнитным притяжением, двигались единым нерасторжимым монолитом. Группа эта будто сошла с голубого экрана. Тщедушный незабываемый Евстигнеев — профессор Плейшнер из классики советского кино «Семнадцать мгновений весны», влекомый к трагическому финалу в такой же точно рамке дородных спин, но принадлежащих агентам гитлеровской разведки. Оцепенев, она стояла в аллее. Листья с редких здесь деревьев неторопливо парили в воздухе, изредка пикируя на плечи его спутников. Дождь уже не моросил, набирая высоту. Струйки его со

все большей уверенностью поливали землю почти под прямым углом.

— Они что, не знают, что он болен? Конечно же, они знают, просто им наплевать. — Она знала, что овладевшее ей сейчас чувство бессилия было предвестием полной паники. — Они же, вернее, один из них, с потугами на дружественный непринужденный разговорчик, когда звонил к нему в художественную школу, сказал, что это ненадолго и что он должен прийти и выразить тем самым заботу о своей семье. — Кажется, ваша дочь собирается поступать в институт? — ласково осведомился он. — Как бы чего не вышло, Александр Николаевич, — заключил блеющий голос.

Они свернули в аллею, продолжая неторопливое шествие и скверную имитацию дружественной беседы.

Она осмотрелась. Из-за почти полного отсутствия деревьев сквер казался плоским и отлично просматривался. Возле остановки троллейбуса стояла древняя телефонная будка с болтающейся дверью. Она нащупала монетку и набрала номер.

— Оля, — сказала она, — мы тебе вчера говорили, что Сашу заставили прийти на встречу. Мы у моста Володарского, в сквере, двое шуриков зажали его с двух сторон и водят по саду, здесь приличный дождь, ему же нельзя простужаться, а он без зонта. Может хоть кто-нибудь из ребят приехать? Я боюсь одна.

— А ты не можешь позвонить кому-нибудь еще? — послышался с другого конца спокойный голос. — Я, скорее всего, никого не застану дома.

Выйдя из будки, она раскрыла зонт и пошла по аллее. Красный полог реял над ней сигналом SOS. Бегуны с прежней отрешенностью проносились мимо, только шаги их утеряли прежнюю звучность. Аромат прелой листвы вновь напомнил ей о радости осенних ленинградских пригородов.

Группа все тем же монолитом продвигалась вперед сквозь сетку дождя, только теперь спины в плащах были повернуты к нему с обеих сторон под одинаковым углом. Они казались набухшими и раздавшимися вширь от влаги, в то время как его спина словно истаивала и суживалась в размерах в серой вязкой пелене.

Она шла параллельно фарватеру троицы, открыто и вызывающе имитируя все их остановки, повороты и торможения, пытаясь держать красный ореол зонта как можно выше и стараясь войти в чеканный неспешный ритм их шагов. И с каждым таким шагом ничтожное существо, поселившееся в ней, съеживалось в размерах, почти готовое покинуть ее сознание. Она взглянула на часы. С момента выхода из тролейбуса прошло уже больше часа. Дождь все требовательнее стучал по крыше зонта, бегуны исчезали в его мареве один за другим.

В композиции группы произошли изменения. Теперь все трое стояли под одним из редких здесь деревьев. Его спутники развернулись к нему, рьяно жестикулируя. Они нависали над ним мощными столбами, еще более подчеркивая его хрупкость и уязвимость.

Она повернулась и направилась в их сторону. Выйдя в аллею, она еще раз всмотрелась в группу. Мужчины стояли к ней лицами. Они в чем-то страстно убеждали его. Темп жестикуляции убыстрился, губы беспрерывно двигались, уже были слышны, но неразличимы звуки речи.

Она двигалась на пределе скорости, почва под ногами становилась более вязкой, запах прелой листвы бил в ноздри. Она уже подошла к ним вплотную, а они все продолжали кричать, не видя ее.

— Вы извините, пожалуйста, — сделав глубокий вдох, вежливо и ужасаясь себе, выговорила она, — но он совсем больной человек. Если он еще хоть пять минут простоит под дождем, то потом минимум месяц не выйдет из постели.

Он, наконец, повернулся к ней, и она увидела его измученное лицо. Двое, оторопев, смотрели на нее. Один из них был бы даже симпатичен, если бы не глаза необъяснимо гнойного оттенка. Второй, по своей обширной, но тем не менее явно спортивной плоти, напоминал объемистый, похожий на сундук чемодан. Реакция их была молниеносной.

— Мы уже уходим, мы очень сожалеем, мы уже предлагали Александру Николаевичу пройти в исполком, это совсем рядом, — почти симпатичный мотнул рукой в сторону неказистого административного здания, — а он отказался. Всего хорошего, до свидания.

Они нелепо взмахнули руками и, пятясь, испарились с феерической скоростью булгаковских персонажей.

* * *

Все это случилось после того, как Саша начал свою жизнь с нами, в южном районе Ленинграда, то есть в Купчино. Я описала свои ощущения этого момента. Это жило во мне долгие годы, пока не возникло властное желание как-то отобразить случившееся. Все настолько прочно впаяно в сознание, что не составило ни малейшего труда вызвать к жизни эту страницу.

Если продолжить, то после того, как парочка испарилась, мы долго шли молча, а потом я спросила:

— Что это было?

Странно, но предыдущий мой опыт с В. В. меня ничему не научил. Саша ответил с неожиданной для него резкостью:

— Как что? Ты что, ничего не поняла?

И, остановившись, выдохнул: «Вербовка».

Мы прошагали до остановки троллейбуса в осознании невероятной гадливости происшедшего. На нашей Бухарестской улице в том же универсаме купили бутылку водки, искренне полагая, что цели у нас чисто лечебные. Дома я включила проигрыватель и поставила скрипичный концерт мало нам известного композитора Макса Бруха. И стояли, уткнувшись друг в друга, пока музыка не отзвучала.

Женщина, которой я звонила из телефона-автомата, наивно полагая, что сейчас нам кинутся на помощь, — художница Ольга Шмуилович. Где-то в середине 90-х годов она переехала в Бостон.

Два опера, составившие Сашин почетный эскорт в приснопамятном скверике, опять появились на горизонте через очень короткий промежуток времени.

Мы прозвали их в соответствии с внешностью. Тот, что с гнойными глазами, именовался Фурункул, а кряжистый и прямоугольный — Кофер (от слова «кофр», что, как я где-то давно вычитала, означало просто-напросто объемистый чемодан, похожий на сундук).

Вся акция в сквере возле памятника Володарскому была проведена с невероятной топорностью. Сначала они стращали его всевозможными бедами, ожидающими в будущем семью, если он откажется сотрудничать с ними, после чего пошли разглагольствования о любви к Родине с сакраментальным: «По какую сторону баррикад вы хотите быть, А. Н.?» — «А ни по какую», — был ответ.

— Вы должны помочь Родине, — голосили они, — у вас так много знакомых иностранцев. И среди них есть люди, которые приезжают сюда с определенными целями, Александр Николаевич. Некоторые из них имеют грязные пропагандистские цели. Мы не можем этого допустить. Мы должны знать о них все.

Потом пошли биения в грудь и экскурсы в собственные биографии — честные труженики на производстве, они были вынуждены бросить любимую работу, чтобы помочь Родине в трудную годину. И сетования на свою непростую, нелегкую судьбину. И обещания путевок в Крым, если А. Н. внемлет голосу нуждающейся в нем державы.

— Почему ты не вынул зонт? Я знаю, ты его всегда носишь в сумке, — накинулась я на него с упреком.

— Если бы я вынул, то пришлось бы предложить им тоже прикрыться, а этого я не хотел, — прозвучало в ответ.

* * *

Надежда Владимировна Манусова была очень сложным человеком. Не могу сказать, что она в штыки встретила наш с Сашей союз. Она, правда, боялась, что после означенной выше истории я буду к ней плохо относиться, чего не случилось. Несколько лет до этого мы с ней интенсивно дружили. Я приезжала из своей купчинской дали на Гороховую, где в просторной коммунальной квартире жили вместе с ней еще две пожилые интеллигентные женщины. Когда-то Саша познакомил нас в филармонии.

— Это моя мать, — сказал он, — маленькая, но заметная. Определение было исчерпывающе точным. Она стояла посреди бурлящей лавы посетителей одного из филармониче-

ских гала-концертов и смотрелась эпицентром этого людского вращения. Маленькая точеная фигурка, гордо вздернутая голова и невероятная энергия, сфокусированная во взгляде карих глаз. Было очевидно, что эта женщина четко ощущает свое особое место в жизненном пространстве. Она приняла меня благосклонно и немедленно пригласила к себе. Так и началась наша дружба. Я приходила к ней, как в театр. И это действительно был театр. Но одного актера.

Говорила она короткими фразами, подкрепляя мимикой кажущуюся недосказанность. Темы были в основном филологического характера. Ее любимыми авторами были Фолкнер, Лев Толстой и Салтыков-Щедрин. После дня работы с детьми и решения родительских и хозяйственных проблем беседы с ней за чашечкой кофе необычайно освежали. Правда, временами она отклонялась от высокого и принималась рассказывать о Саше. Она исступленно любила сына и ревновала его ко всем появлявшимся на его пути женщинам. Этот материнский комплекс, давно прокомментированный Фрейдом, присущ всем матерям. Но что касается еврейских матерей, то размеры этого феномена безграничны. Я знаю тому массу примеров, в основном, комического характера, но есть и подлинные веяния трагедии. И все это красиво прикрывается сентенциями на тему, что она хочет счастья сыну и гораздо лучше его понимает, что ему надо. Происходит это бессознательно, на каком-то чисто физиологическом уровне.

Меня она ревновала неистово, хотя временами рассудок побеждал.

Вот ее письмо ко мне, написанное много позже, уже в 1998 году. Я в это время гостила у дочери в Америке.

Дорогая Регина!

Вы знаете, что Саша приблизил во многом свой ранний уход. Но ему многие и помогли в этом. Сашу любили многие, у него было много друзей, и они искренне желали ему добра. Но они не понимали, да и не задумывались над этим, вероятно, что ему можно, а что нельзя и что ему надо помочь.

И единственный человек, который это понимал и делал, это были Вы. Отношения наши с Вами складывались по-разному, но не об этом речь.

Я бесконечно благодарна Вам за все, что Вы делали для Саши, когда он был и когда его не стало. Я не знаю, когда мы встретимся и встретимся ли, поэтому я и написала, я хочу, чтобы Вы знали об этом, а, может быть, когда-нибудь и вспомнили. Разумеется, я Вам благодарна за то, что Вы с Аней делаете для меня. Но ведь речь не обо мне.

Целую Вас
Н. В.

Я адресовала это Вам. Просто я хотела, чтобы Вы прочли это сначала одна.

Я считаю Надежду Владимировну трагической фигурой этого ужасного века. Она была наделена сильнейшим характером. Смерть сына она приняла без единой слезинки.

* * *

Когда возобновились телефонные призывы блеющего голоса еще раз встретиться с Александром Николаевичем всего лишь на пять минут, мы отправились к Надежде Владимировне. На этот раз на встречу к метро «Владимирская» с Сашей пошла она. Саша сопротивлялся изо всех сил, но ничего сделать не мог. Второй раунд закончился комически. На свидание явились те же самые Кофер с Фурункулом. Они ринулись к Саше с радостными приветствиями, заботливо осведомляясь о здоровье и заталкивая его в угол недалеко от кассы. Они нависли над ним, как и раньше, плотными столбами. И тут в небольшую брешь внизу втиснулась птичья головка Надежды Владимировны:

— Скажите, пожалуйста, — по-светски произнесла она.

— Да-да, конечно, с удовольствием, — любезно воскликнули они в унисон, радуясь, что даже в пылу охоты могут продемонстрировать свою любовь к ближнему и сказать, например, сколько сейчас времени или где находится река Фонтанка.

— Скажите, пожалуйста, — проникновенно пропела моя свекровь, — за что вы хотите погубить моего сына?

В этот раз изгнание нечистой силы произошло в считанные доли секунды. Раствориться в толпе для опытных оперативников ничего не стоило.

* * *

Мы с Леонидом поселились в нашем девятиэтажном кирпичном доме за два месяца до появления Ани на свет. Это был первый всплеск кооперативного строительства в городе. Волны интеллигенции переселялись из центра города, оставляя комнаты в престижных центральных районах, на окраины, где почти не было транспорта, зияли котлованы будущих строек, а до ближайшего магазина приходилось добираться, утопая в грязи. Но зато это были собственные стены, собственные кухни и ванные. Потрясающая слышимость поначалу тревожила, но потом свыклись и с ней. Жители кооперативных домов называли себя «раздеты камнем» в пику названию исторического романа советской писательницы Ольги Форш «Одеты камнем». Кроме кооперативного взноса, взятого обычно в долг, приходилось еще ежемесячно выплачивать огромные деньги в счет стоимости квартиры. Многие дома строились от какого-то определенного предприятия. Наш дом, в частности, строился от ГОИ, весьма престижного в Ленинграде Государственного оптического института. Подавляющая масса наших соседей работала именно там.

Семья Залесских жила в первой парадной нашего дома. Галя стала моей близкой приятельницей уже после развода. Именно она помогла пресловутой Белле с работой. Ее муж Витольд, в то время еще кандидат наук, физик-лазерщик, был старшим научным сотрудником этого института. Дом был нафарширован интеллигенцией, и, как я говорила тогда, для интересного времяпрепровождения из дома можно было просто не выходить. До сих пор там живет немало моих великолепных друзей.

Семья Залесских была классическим образцом семьи шестидесятников. В хорошее время года они с двумя девочка-

ми отправлялись на Карельский перешеек на скалы, плавали на байдарках. Зимой с многочисленными друзьями мчались в Кавголово, тогдашнюю ленинградскую Швейцарию. Вечерами, собираясь с друзьями, пели песни под гитару. Витольд, к тому же, был очень сильный скрипач, и мы часто играли с ним дуэтом. Вспоминается, как смешно мы выплясывали греческий танец сиртаки, выстроившись в шеренгу и положив друг другу руки на плечи.

Кареглазая, небольшого роста Галя полыхала энергией. Нервы ее находились в превосходном состоянии, несмотря на горькое сиротское детство, которое она провела с сестрой в детском доме. Она любила повторять выражение «не делайте из еды культа», часто разражаясь при этом громким жизнерадостным смехом и демонстрируя ровные красивые зубы поразительной белизны. Витольд же, с его серыми, глубоко посаженными глазами, в противовес ей казался человеком сдержанного темперамента и загорался лишь в моменты игры на скрипке или же в политических спорах. Поразительно, что, обладая прекрасной интуицией, они не имели ясной картины о том, что происходит. Самиздатовские вещи не доходили до них. Иногда в спорах возникало тягостное недопонимание. Они были готовы к принятию окончательной истины, но базы для этого не было. Тогда я попросила Борю Берлина еще раз дать мне «ГУЛАГ».

— Есть прекрасные люди, — сказала я ему, — но разговаривать с ними невозможно, они ничего не читали.

Мы встретились с Борькой в магазине «Чай. Кофе», что находился на Невском, недалеко от Московского вокзала. Невысокий крепыш Борька пришел с франтоватым рюкзачком за плечами. Вынув оттуда завернутый в газету пакет, он картинно бросил его на контрольные весы, стоящие недалеко от входа. Я же, содрогаясь от ужаса и дивясь его бесстрашию, приняла пакет и отвезла Залесским. Этого оказалось более чем достаточно.

* * *

В то время я дружила с Надей Ивановой, о которой речь впереди. Более разных людей, чем мы с Надей, трудно было

отыскать. Но мы находили большое утешение в общении. Мы обе были одинокие женщины с детьми одного возраста. Только у нее подрастал мальчик Миша. Мы обе бились за существование, и здесь уравнивалось все: и сколько книг прочла каждая из нас, и кто к какому кругу принадлежал. И когда я смотрю назад, мне кажется, никто не дал мне столько тепла, любви и самой искренней заботы, как Наденька, с ее пшеничного цвета волосами, синими доверчивыми глазами и интонациями Золушки в незабываемом фильме с Яниной Жеймо. Надя работала инструктором лечебной физкультуры в поликлинике МВД, расположенной на Дворцовой площади. Она глубоко переживала мою эпопею с В. В. Видимо, ее тоже дергали в это время, потому что она как-то сказала мне горестно:

— Ты знаешь, они такие тупые...

Только крайней тупостью и можно объяснить следующую неудавшуюся попытку органов с вовлечением туда семьи Залесских.

* * *

Однажды в самом начале лета, без звонка появилась Галя. У нас были гости из Москвы и дом ходил ходуном. Но обычно рвущаяся к общению Галя выглядела странно. Притихшая и побледневшая до удивления, она сказала, что хочет со мной поговорить.

Она рассказала нечто, что никак невозможно было воспринять как должное. В этот день Витольда вызвали в отдел кадров института. Сидевший там незнакомый мужчина представился майором КГБ. Речь его сводилась к следующему. В ГОИ происходит утечка информации. Подозрение пало на Витольда Юльевича Залесского, жена которого этой зимой ездила в Венгрию, где тайно встретилась со своей подругой, живущей в ФРГ. Органы уверены, что она через подругу передала на Запад секретную информацию. Ему, Витольду, грозят огромные неприятности, так как он имел доступ к секретным документам. Только одна вещь может облегчить его вину — он должен написать бумагу, что Соловьева Р. И. — антисоветчица. И Витольд что-то написал.

— Ты знаешь, он пришел белый, как полотно. Мы были дома с Надей. Он все нам рассказал. Мы никак не могли понять, зачем он это сделал. Он уверял нас, что старался помочь тебе этим письмом, что ничего плохого не написал, а только самые невинные вещи. Тогда Наденька ему сказала: «Лучше бы ты повесился». Представляешь, услышать такое от дочери. Он тогда лег на кровать, повернулся лицом к стене и так лежит уже два часа и молчит.

— Ну что, Галя, — сказала я растерянно, — передай ему от меня спасибо, скажи, что я благодарна ему за то, что он старался меня защитить.

На другой день ранним утром Саша побросал в рюкзак самиздатовские книжки и отправился с ним к другу, жившему совсем недалеко от нас.

Я посмотрела некоторые сохранившиеся бумаги. Это произошло 5 июня 1985 года. Как раз то время, когда начинающаяся перестройка набирала обороты.

На следующий день Витольд написал заявление на имя замдиректора ГОИ Макурова, по всем данным начальника отдела кадров. Под шапкой «заявление» стояло следующее:

Мои показания, изложенные в моем объяснении по поводу заданных мне вопросов от 5 июня 1985 года и касающиеся Регины Иосифовны Шпарберг[1] (Соловьевой), прошу считать недействительными и лишенными каких бы то ни было оснований, поскольку они продиктованы лишь страхом потерять работу. Считаю, что на самом деле Регина Иосифовна Шпарберг — прекрасный человек и обвинение ее в антисоветизме — явная ошибка. Прошу довести это заявление до сведения соответствующих органов.

06.06. 85 г. Ст. н. сотрудник ГОИ Залесский

Поскольку начальник отдела кадров закрытого института автоматически считался сотрудником органов на месте, он счел возможным никак не реагировать на эту бумажку. Ответа не последовало, и тогда Витольд позвонил по данному ему телефону в Большой дом на Литейном, сказав, что

[1] Шпарберг — моя фамилия по первому браку.

хочет дополнить свои показания на тему Регины Иосифовны Соловьевой. Предложение было принято благосклонно. Заместитель директора института по режиму привез искомое сочинение обратно. Когда Витольд зашел к нему в кабинет, чиновник с некоторым колебанием передал ему показания, написанные ранее, и удалился. Витольд разорвал бумагу в мелкие клочки и рассовал их по карманам.

— Вы знаете, чем это Вам грозит? — спросил появившийся через десять минут кагэбэшник.

— Знаю, — ответил Витольд.

Через неделю его выгнали, предварительно ошельмовав на производственном собрании.

* * *

Позднее по моей просьбе Витольд воссоздал написанный им текст. Вот он:

Обсуждались события текущей жизни, произведения киноискусства, живописи, литературы. Подвергались критике некоторые негативные стороны нашей жизни (нехватка некоторых дефицитных товаров, неблагополучное положение в сельском хозяйстве, необходимость участия городского населения в сельскохозяйственных работах, где городские профессии мало пригодны). Будучи в гостях у Регины Иосифовны, ни разу не слышал, чтобы в ее высказываниях прозвучали издевательские или пренебрежительные отношения к советскому народу, к русским людям. Говорилось об ущемлениях прав евреев при поступлении в вузы, но тут же приводились примеры, подтверждающие этот вывод. После того, как мне стало известно о неприятностях Р. И. в связи с вызовом в КГБ, я решил приглядеться к ней. Недавно я, как мне кажется, убедился, что ее обвинение в антисоветизме ошибочно. Я слышал, как она восхищалась М. С. Горбачевым и высказывала опасения за его жизнь, когда он свободно ходил по городу. Не может так реагировать на слова и поступки Горбачева антисоветски настроенный человек. Не все взгляды Р. И. Я разделяю. Например, я не согласился

и вступил с ней в спор по поводу картин И. Глазунова, фильмов «Мой друг Иван Лапшин», «Небывальщина». Поскольку общее направление разговоров меня не интересовало, после наших с Р. И. домашних концертов я задерживался в гостях недолго и уходил домой раньше жены.

Этот театр абсурда, в котором мы жили тогда и наивно считали, что с этим будет, наконец, покончено, возродился и царствует на политических подмостках нынешней России. И в гораздо более страшных ипостасях. Но даже из данной реальности дикой кажется ситуация, когда талантливый ученый из-за уничтожения жалкой, ничего не значащей бумажонки лишается возможности работать.

Через пять лет в газете «Смена» была помещена статья Витольда Залесского, теперь уже доктора физико-математических наук, старшего научного сотрудника ИХС АН СССР, под заголовком «Помощь? Нет, донос», в которой он описал всю эту ситуацию. В частности там было изложено то, о чем я уже упоминала:

Летом 1985 года, будучи старшим научным сотрудником Государственного оптического института (ГОИ) я стал объектом шантажа со стороны работников УКГБ Б. А. Смирнова и Э. И. Макурова с целью вынудить меня написать донос на хорошо знакомого, порядочного и уважаемого человека, ленинградку Р. И. Соловьеву. После моего отказа по настоянию заместителя директора ГОИ Э. И. Макурова мне пришлось уволиться.

Ленинградский КГБ сделал тогда все, что требуется, чтобы меня отказывались принимать на работу по специальности в Ленинградский университет и другие научные и учебные институты, несмотря на имевшиеся договоренности с научными руководителями соответствующих лабораторий и рекомендации других ученых. В то же время дважды за полгода, пока я был безработным (до февраля 1986 года), сотрудник КГБ, назвавшийся Андреем Васильевичем, встречался со мной, чтобы предложить помощь в устройстве на работу на «хорошую должность» в Ленинградском универси-

тете. Взамен требовалось мое согласие периодически информировать его о разговорах и настроениях среди университетской профессуры.

В феврале 1986 года друзья помогли мне устроиться на временную работу инженером, на этой должности и, конечно, не по специальности я проработал более трех лет.

Потом руководство Ленинградского УКГБ в лице полковника О. В. Гаврилова в ответ на мое письмо признало, что занимавшиеся мной сотрудники КГБ действовали неправильно, за это они получили взыскания. Однако поверить в искренность этих признаний трудно: Э. И. Макуров попрежнему является заместителем директора института, попрежнему чинились мне препятствия в предоставлении возможности защиты докторской диссертации в ГОИ (успешная защита состоялась в университете).

И заканчивается это письмо следующей цитатой из заявления Центра общественных связей КГБ СССР:

Что касается причастности сотрудников органов безопасности к мерам, принимавшимся в отношении так называемых диссидентов, то следует подчеркнуть, что эти меры осуществлялись по противоправным действиям конкретных лиц на основании существовавших тогда законов. Эти законы были приняты высшими органами государственной власти и действовали в русле политической обстановки того периода. Поэтому претензии в адрес конкретных сотрудников вряд ли морально обоснованы, не говоря уже о юридической стороне.

Очерк В. Залесского «Мой опыт общения с КГБ» был опубликован в журнале «Звезда» в 2011 году, № 11.

* * *

Взгляд на сегодняшнюю Россию у многих окрашен разочарованием. Каждый проходящий с начала перестройки год я даю еще сто лет России. «Через сто лет, — говорю я, —

начнется настоящее возрождение страны. Не может страна, давшая миру столько гениев, оставаться на пещерном уровне сознания». Прошло уже двадцать лет, но аванс в сотню лет все еще остается незыблемым.

Доблестные поручики никак не могли и, конечно, не хотели остановить эту дребезжавшую, уже катившуюся с горы телегу.

* * *

Этим самым летом Аня уехала с отцом на Кавказ, в Туапсе, где недалеко от города была расположена база отдыха от какого-то краснодарского предприятия, с которым сотрудничала организация Леонида. Он ехал с ней на срок в две недели, а я должна была приехать и сменить его. Второе лето мы снимали дачу в Сосново по настойчивому требованию Н. В. Она хотела, чтобы лето сын проводил на воздухе.

Это было 10 июля. Накануне Саша приехал из Сосново с тем, чтобы утром поехать и сдать анализ крови на протромбин, который приходилось повторять раз в месяц, а потом проводить меня на вокзал. Обычно он делал это в Институте кардиологии на улице Пархоменко, куда приходилось добираться на трех видах транспорта и не менее полутора часов. На кухне у нас барахлил кран, и я ждала водопроводчиков. После девяти в дверь позвонили. Я открыла и с изумлением, наверное, с полминуты лицезрела две широкоформатные фигуры, в одной из которых узнала человека из сквера возле памятника Володарскому. Они приятно улыбались.

— Доброе утро, Регина Иосифовна, извините, пожалуйста, — умильно произнесли они в унисон и винтом внедрились в узкое пространство прихожей. Один из них вынул и расправил бумажку, на которой я смогла разобрать слово «повестка»:

— Нам нужно с вами проехать на Литейный, где с вами побеседуют по очень срочному вопросу.

— Я никуда не поеду, — сказала я, — вы ведь прекрасно знаете, потому что прослушиваете наш телефон, что я сегодня уезжаю на юг. Днем. И никакого времени у меня нет.

— Регина Иосифовна, — нежно ворковали они, — это очень быстро, всего несколько минут, мы обещаем привезти вас обратно. Вы прекрасно успеете к поезду. А кстати, где же Александр Николаевич?

— Вы опять-таки прекрасно знаете, что он уехал в Институт кардиологии, — отвечала я.

— С ним тоже нужно побеседовать, — лебезили они, — возможно, вы его встретите на Литейном.

— На Литейном? — теперь уже я испугалась всерьез.

— Ну да, на Литейном, 4, — все еще ворковали они.

— Я никуда не поеду. У меня очень уважительная причина. А вы могли предупредить заранее.

— Так сложились обстоятельства, Регина Иосифовна. Но раз вы так решительно настроены, нам придется позвонить начальнику и посоветоваться.

Человек из скверика, тот, что с гнойными глазами, прозванный нами Фурункулом, набрал номер и, понизив голос, сообщил, что Регина Иосифовна отказывается ехать и передал мне трубку.

— Вы обязаны приехать и дать показания в качестве свидетеля, — голос был низкий, с уверенными интонациями человека, привыкшего повелевать, — это ваш гражданский долг, и вы должны его выполнить. Со своей стороны я обещаю, что вы успеете к поезду и не потеряете времени на поездку. Вас доставят домой вовремя.

Фурункул с напарником разрешили мне позвонить Гале Залесской и попросить ее посидеть у нас в квартире до прихода Саши.

Садясь в машину, я сказала с отчаянием, имея в виду Беллу и будучи уверена, что это опять ее дела:

— Сколько можно из-за этой гадины мучиться...

— В этот раз это не из-за нее, Регина Иосифовна, — почему-то негромко сказал Фурункул, — это другое.

И он был абсолютно прав.

Мы вошли в Большой дом со Шпалерной улицы, где вмиг ставший официальным Фурункул предъявил мой паспорт и по лестнице, лишенной лифта, где все межлестничное пространство было заблокировано сетками, смахивающими на огромную комбинацию океанских неводов, поднялись

наверх. Очень скоро в комнате, куда меня посадил и оставил Фурункул, появилась высокая фигура человека в штатском, в ловко сидящем на нем светлом костюме.

Мы прошли по этим историческим длинным коридорам, перемоловшим столько жизней, и он открыл дверь в большую светлую комнату. Человек посадил меня за столик у дверей, где уже стояли стакан и графин с водой, а сам устроился на почтительном расстоянии за небольшим столом, где находились телефон и пишущая машинка.

После ряда формальностей он приступил к допросу. И тут все стало ясным. Несколько месяцев назад был арестован Коля Толстых, один из Сашиных друзей еще со времен художественной школы. Тогда его звали Кока, и это имя сохранилось за ним на все времена. В свое время Коля три года учился на юридическом факультете университета, а потом то ли его отчислили, то ли он сам ушел. Когда-то я спросила его, почему он бросил университет, и он с тоской ответил тоже вопросом:

— Разве можно быть юристом в этой стране?

Его мама, Нина Александровна, очень красивая даже в свои годы женщина, была когда-то актрисой Александринского театра. Дома на столе у нее стояла в рамке фотография Блока с его надписью. Видимо, это была семейная реликвия. Коля тоже был красив, с его продолговатым, благородно очерченным овалом лица, мягким взглядом карих глаз и шевелюрой темных волос. Он был очень интеллигентен, по-настоящему добр, сверх меры начитан, и даже легкая его картавость казалась породистой. Спорил он часто, но как-то необидно, и даже его запальчивость, которая проявлялась зачастую в спорах, не уязвляла собеседника.

Все было в нем хорошо, кроме ужасного порока. Он был алкоголиком и, временами впадая в запои, превращался в другого человека. У него была жена Валентина и похожий на маленького эльфа сын Алеша. Семья жила в двух комнатах коммунальной квартиры на Петроградской. Коля самозабвенно ненавидел существующую власть. У него была масса запрещенных книг, и, начиная очередной запой, он провозглашал свои идеи в любой компании, где оказывался

в это время. Удивительно было, почему они добрались до него так поздно. Представляю, сколько стукачей угодливо докладывали о его спичах и выплесках откровенной ненависти в адрес властей. Мне казалось, что его постоянно точил червь досады на неудавшуюся жизнь, к тому же психика под влиянием алкоголя неотвратимо разрушалась. Ему хотелось компенсации и в собственных глазах, и в мнении друзей. Но вместе с тем знания его были действительно обширны, и память его не подводила. Он обладал блестящей эрудицией и в литературе, и в юриспруденции, прекрасно знал сам-и тамиздатовскую литературу.

Он часто появлялся у Саши в мастерской, в неизменно хорошем настроении и нередко в легком подпитии. Разговаривать с ним было интересно. Зловещими признаками некой деградации было то, что, находясь в запое или чувствуя его приближение, он мог прихватить ценные книги с полки одного из друзей и продать их на черном рынке. Но, когда ему предъявлялись претензии, он с неимоверными усилиями добывал эти книги и возвращал потерпевшему.

В один прекрасный день нам позвонила его жена Валентина и сказала, что Колю арестовали и ее уже несколько раз допрашивали.

— Я все списала на то, что он просто пьяница, — сказала она Саше, — и что этому нельзя придавать значения, это несерьезно.

На Колю человек за столом вышел почти сразу. Однако весь допрос продолжался более полутора часов. Я, впадая временами в панику, взглядывала на часы. Он скрупулезно печатал на машинке все мои ответы и в конце дал мне прочитать и подписаться. Меня поразила грамотность и прекрасное литературное изложение хода допроса.

— Как вы замечательно написали, — не удержалась я.

Он промолчал.

Несмотря на то что это был человек совершенно другого уровня, чем злополучный В. В., ему явно пришлось со мной непросто. На этот раунд я вышла полностью подготовленная предыдущей разминкой во Фрунзенском исполкоме.

Однако на протяжении всего этого времени он был безукоризненно корректен.

— Я почти не знаю Николая Толстых, — отвечала я на вопросы, касающиеся личности Коли, его знакомых, книг, которые он нам давал читать. — Иногда я видела его в мастерской у Манусова, но довольно часто он был в небольшом подпитии, я не могу сказать, что пьян, но не особенно трезв, и мы почти не разговаривали.

В конце, уже подписав бумагу, где мои ответы были изложены кратко и без малейшего искажения, я спросила:

— Вы можете мне сказать, где сейчас Манусов?

— Я не знаю, — как-то искренне сказал он, — я озадачен вами.

Он отвел меня в ту же самую комнату. По тем же самым коридорам. Я чувствовала, что где-то здесь должен быть Саша, и наивно полагала, что мы столкнемся в коридоре.

Я прождала в комнате минут десять. Человек опять возник в дверях, слегка запыхавшись.

— Извините, что пришлось ждать, — сказал он с некоторой неловкостью, — но у нас не было транспорта, машина только что пришла, сейчас вас отвезут домой.

Улыбающийся Фурункул появился через пару минут.

— Я же говорил, что это не она, Р.И., — опять проворковал он у машины. — Сейчас мы вас отвезем, а потом я поеду на дачу к семье, вы знаете, сколько хлопот в дачный период, одни проблемы.

Саши дома не оказалось. Галя сказала, что он не приходил. Я провела ужасные пару часов, понимая, что они его достали и не зная, что делать с поездкой. У нас была договоренность с Леней, что он с дочерью будет ждать меня в определенное время возле автобусной остановки. У него был обратный билет на тот же самый день.

И тогда я поехала в полном неведении. Сев в вагон, я сразу принялась за письмо. За окном вагона уплывали огорченные физиономии Сашиного ученика Павла и его сестры Танечки, которые проводили меня на вокзал.

Через короткое время я получила письмо от Саши:

Дорогая, видишь, как все вышло. Почти так, как ты хотела. Но только я, конечно, лапоть березовый, расспросив все о тебе у Кофера, его прислали за мной, все-таки согласился ехать, а не отложил на завтра. Надеялся тебя там застать, но мы, видимо, разминулись буквально в минутах. На допросе присутствовал врач из Бехтеревки. Анестезиолог-реаниматолог. Пригнали ко мне психушную реанимацию. Милая моя Регина, ты только не нервничай, а отдыхай и купайся в этом Черном море. Я все это время, что общался с ними, думал о тебе и уже скучал. Не беспокойся, завтра я еду в Сосново, куда они кстати приехали утром в 8 часов, разбудив Лену и посетовав на меня, что, мол, пригласил, а сам уехал в город, и ты, конечно, понимаешь, что мать, которая спит сейчас в Аниной комнате, приехав туда около 12 дня, почти сразу же вернулась в город и где-то около двух часов ждала меня возле дома. Сюзи там прекрасно живет в компании соседских котов и даже сегодня стукнула Кнопу, прогнавшую одного из котов. Яков на самом деле победитель, так как живет сейчас там на правах главной хозяйки среди зверей.

Мне не хватает слов, чтобы описать мою грустную тоску по тебе. Но больше не буду, а то скучно тебе, наверное, будет все это читать. Все вздохи да охи. За квартиру я попросил заплатить Галю, так как приехал домой около половины восьмого. Уж очень долго он печатал протокол. Я даже боялся, что ты не уедешь сегодня, но это я уж слишком о себе возомнил. Ты забыла взять краски для Ани, а кисти я ведь привез, но забыл вытащить из сумки, и еще ты забыла «будильник без чашек». Ох и будет тебе от Вепри. Ей от меня и от Н. В. большой привет. Очень беспокоюсь, как ты доберешься до места. Но это все еврейские штучки опять. Тебе сегодня звонила твоя подруга из Киева, передавала привет. Она недавно вернулась из своей командировки.

Ну вот, пошел спать.

Целую и скучаю, твой Саша

P. S. Протромбин 59%. Это хорошо. 00 часов 45 минут 10 июля 85 г. СПб.

(Сюзи и в то же время Яков Спиридонов — это наша кошка, существо с очень, я бы сказала, ядреным характером. Мне сунул ее молодой человек как-то в белую ночь, когда я сидела в машине с племянником. «Ее зовут Сюзанна, — сказал он обезоруживающе, — потому что она родилась, когда по радио играли эту песню. И еще у нее есть кличка Джинсовая, потому что она написала на джинсы». Позже мы окрестили ее еще и Яков в честь героя-большевика из уже не помню какого фильма, которого с большим запалом играл Александр Збруев.)

* * *

Не буду описывать наш «отдых» на этой базе отдыха «Восход» в поселке Бжид Туапсинского района Краснодарского края. Этот адрес сохранился благодаря приведенному выше Сашиному письму, хранящемуся в конверте с этим адресом. Хотя само по себе описание этой базы отдыха заслуживает того, чтобы остаться в памяти потомков тех самых трудящихся, которых гуртом загнали на крошечный каменистый, замкнутый скалами кусочек побережья, где они, размещаясь со своими подстилками буквально на телах друг друга и толкая друг друга пятками и локтями в малюсенькой бухточке, доверчиво полагали, что вкушают райское блаженство.

Они допрашивали его почти восемь часов. В присутствии сконфуженного человека с дипломатом в руках. Врача-кардиолога из психиатрической больницы им. Бехтерева.

Сашино сердце было в четыре раза больше нормы. Существовал специальный термин для этого явления — «бычье сердце». Левое легкое не работало совсем. Несколько раз в году у него случались ревматические атаки, когда сильно распухали и болели колени и приходилось длительное время оставаться в постели. Он прекратил ходить в филармонию, потому что соседи то и дело осведомлялись, не у него ли так громко тикают часы, которые мешают им слушать музыку. Это были не часы, а клапан, вживленный во время операции и отсчитывающий его жизненный срок. И до и после операции он жил на лекарствах. Раз в месяц он должен был

сдавать анализ крови на протромбин и раз в год проверяться и проходить курс лечения в кардиологическом санатории.

Маленькая блондинка Надя Иванова, с ее голубыми слегка выпуклыми глазами и Золушкиным голосом актрисы Янины Жеймо, несомненно, принимала некое пассивное участие в моем деле. Помню, как мы стояли с ней на Невском у того же магазина «Чай. Кофе», где Борька Берлин бросил когда-то на весы томик «ГУЛАГа», посреди обтекающей нас в самый пик рабочего времени толпы людей, и я рассказывала ей о предложении В. В.

— Ты будешь ездить на дорогих машинах и красиво одеваться, — сказала Наденька с грустным восхищением.

Что-то во мне простучало в этот миг.

— Надя, — произнесла я, — передай им, что я работать на них не буду.

Через день после моего отъезда Надя позвонила Саше.

— Она сказала, что они очень злы именно на тебя, — говорил Саша, когда мы вернулись с этой базы отдыха. — Ты знаешь, я, когда положил трубку, то ходил по квартире и орал. Долго. Что им от тебя надо, сволочам?

И это он, Саша, поражающий всех своей выдержкой...

В повестке, которую я бережно храню, сказано, что я должна явиться для допроса в качестве свидетеля к 10 часам 10 июля 1985 г. к сотруднику Федорову. Но допрашивающий меня человек отрекомендовался Черкесовым. Помоему, он тогда был майором. Ныне это имя известно всем в моем городе. Это бывший наместник Путина в Петербурге генерал Виктор Черкесов, который после оставления этого поста возглавил комиссию наркоконтроля и прославился преследованием ветеринаров. Его опричники врывались в операционные, приказывая врачам остановить операцию, если обнаруживали, что те употребляют какое-то определенное лекарство. Сколько собак погибло из-за них на операционном столе... Женой его была известная в городе Наталья Чаплина, редактор газеты «Час пик». Что-то в его лице и в манере себя вести смутно подсказывало мне тогда, что

он достоин лучшего применения. Но это уже из области Достоевского.

* * *

Одним из самых счастливых моментов моей жизни явилось знакомство с тремя женщинами, проживавшими в квартире на улице Петра Алексеева (ныне улице возвращено старое название Спасский переулок), в трех шагах от Сенной площади, а тогда площади Мира. Надежда Владимировна называла их кратко: «подруги». Она печатала на машинке статьи одной из них, Софьи Викторовны Поляковой. Кроме нее в квартире проживала ее двоюродная сестра Елизавета Леонидовна и их приятельница, знаменитая переводчица Надежда Януарьевна Рыкова. Сейчас в просторной трехкомнатной квартире на четвертом этаже здания с окнами в чахлый скверик осталась одна Елизавета Леонидовна. Софья Викторовна была крупным филологом — специалистом в области древних языков. Незадолго до смерти она завершила свой блистательный перевод книги на среднегреческом языке о византийских святых. Она создала ряд глубоких исследований о поэтике Мандельштама. Особое место занимает ее книга о переписке Марины Цветаевой и Софьи Парнок. Это была миниатюрная, экспансивная, седовласая женщина с очень острым языком, обожающая собак и пригревающая дома бездомных беспородных бедолаг. Надежда Януарьевна, напротив, обожала кошек, которых в доме тоже было две или три. Она патетически называла их «ангелы». Это была гренадерского роста широкоплечая женщина, как ни странно напоминающая Петра Первого в зрелости, но с очень кротким взглядом и слегка трясущейся головой. Крупнейший филолог, близкая знакомая Анны Ахматовой, член издательства детских книг, расположенного в «Доме книги», где она работала с Корнеем Чуковским, Надежда Януарьевна перед началом войны была арестована и провела десять лет в тюрьме. Однажды кто-то из друзей спросил ее:

— Надя, а где вы были во время войны?

— Как где? — громогласно удивилась Надежда Януарьевна. — В тюрьме, конечно.

Елизавета Леонидовна, последняя из «подруг», юрист по образованию, вела хозяйство, стоически выдерживая наплывы гостей и капризный, взрывной характер Софьи Викторовны. Их квартира, заполненная книгами, живописью начала века, обставленная старинной мебелью с фотографиями в старинных же рамках, казалась, да и была таковой, реальным воплощением давно исчезнувшего мира. Сидеть у них в кухне за незатейливой трапезой и слушать их разговоры, интеллектуальные перепалки, обсуждение событий дня или просто обмен остротами было ни с чем не сравнимым наслаждением. Временами Надежда Януарьевна прерывала ученую беседу громовым воплем: «Ангелы по ногам ходят!», что означало появление под столом обтирающихся об ее ноги кошек.

Как член Союза писателей, она имела право нанимать секретаря. Однажды она воспользовалась этим правом с тем, чтобы помочь попавшему в неприятную ситуацию филологу Михаилу Мейлаху, сыну известного пушкиниста Бориса Мейлаха. Неприятности младшего Мейлаха закончились тем, что он был арестован. В центре внимания оказалась проблема запрещенной литературы.

В один прекрасный день, вернее, утро, Софья Викторовна с двумя собаками раскрыла дверь своей квартиры и, выйдя на площадку, обнаружила себя окруженной кучей, как она потом рассказывала, людей. Один из них, видимо, старший по званию, с вежливой непреклонностью сказал ей, что они из органов госбезопасности и у них есть ордер на обыск с целью изъятия запрещенной литературы. Он категорически отклонил ее просьбу дать ей возможность выгулять собак, и ее затолкали обратно в квартиру. Обыск продолжался более четырех часов. Старший отрекомендовался майором Черкесовым, и Софья Викторовна была им совершенно очарована.

— Это такой интеллигентный человек, — восхищалась она с изумлением, — никогда бы не подумала, что в органах могут быть такие подлинно воспитанные люди. И вы подумайте, он попросил Лилю (Елизавету Леонидовну) открыть бельевой шкаф, она открыла и с ужасом увидела, что там на полке, на куче полотенец, лежит книга Конквеста «Большой

террор». Лилю просто парализовало от страха, она смотрела на эту книгу и не могла вымолвить ни слова. Тогда он сам закрыл шкаф и сказал своим подчиненным:

— В этой комнате я все посмотрел. Здесь чисто.

Позже он вызывал их на допросы к себе на Литейный.

— Я не сказала ни одного слова правды, — лучезарно улыбалась Софья Викторовна.

И еще ее очень подкупило, что, обнаружив ее книгу «Поэтика Мандельштама», выпущенную в Америке издательством «Ардис», он ограничился тем, что ласково пожурил ее, сказав:

— Ай-яяй, в каких нехороших издательствах вы печатаетесь.

И поставил книгу на место.

После Сашиной смерти, когда в квартире у меня над головой начал функционировать притон и более двух лет я не спала ни одной ночи, так как милиция, естественно, ничего не делала, кроме редких выездов ночью по моим отчаянным звонкам, мне пришла в голову бредовая мысль — отправиться на Литейный и найти там генерала Черкесова. Я знала, что хочу ему сказать. Что действия его и других сотрудников, несомненно, помогли Сашиному раннему уходу. И не хотел бы он компенсировать хоть в крошечной мере то, что они творили тогда, и разобраться с притоном и дать мне и другим жильцам возможность спокойно жить.

Вечный идеализм. Но, как ни странно, он иногда помогает. И даже спасает.

А генерала Виктора Черкесова спустя сколько-то лет я видела несколько раз по телевидению и окончательно убедилась, что маска «хорошего человека» из КГБ была всего лишь удачной мимикрией. Она быстро сползла с непредназначенного ей места. С экрана телевизора на меня смотрела расползшаяся физиономия близкого к престолу и обласканного подачками плутократа.

* * *

Осенью того же 85-го года начался процесс над Колей, куда Сашу вызвали в качестве свидетеля. В производстве его

дело находилось около девяти месяцев. Кока вспомнил свой незаконченный юрфак и решил защищать себя сам. Он являлся в зал под конвоем, ослепительно трезвый и подтянутый, с кипой бумаг под мышкой. Мне кажется, мы были там с Сашей не меньше трех-четырех раз. Кокина мама, Нина Александровна, как к родным, кидалась с вопросами к нашим Коферу с Фурункулом, которые смотрелись организаторами этого действа. Они бегали по залу, расточая счастливые улыбки, озабоченные тем, чтобы всех усадить соответствующе. Все это смахивало на уютный междусобойчик, где все друг друга прекрасно знают и общаются почти по-семейному. Нас с Сашей усадили в центре на «хорошие места», чтобы ему удобнее было пройти к свидетельской трибуне. Меня им в качестве свидетеля прихватить не удалось. Не самый большой зал был забит привезенными с предприятий рабочими. Если не ошибаюсь, было представлено не менее 90 томов дела. Перфоманс проходил в лучших традициях сталинских обличительных процессов, но в сильно подгнившем варианте. И тем не менее, в какой-то момент мне показалось, что я спиралью ввинчиваюсь в черную дыру, что немеют и атрофируются все органы чувств и есть лишь одно желание — орать, выть звериным воем от убийственной нелепости происходящего фарса.

Я смутно помню свидетелей — оставаться до конца заседаний я не могла, приходилось уезжать на работу. Но отлично помню одного из них, соседа Коки по квартире, который, навалившись своим упитанным телом на трибуну, добросовестно перечислял, что говорил Коля и какие запрещенные книги он видел у него в комнате. «Я воспитан моей мамой в лучших комсомольских традициях», — провозгласил он напоследок.

Кстати, формальным поводом для преследования Саши послужила краткая помета в Кокиной записной книжке: «„Верный Руслан“ Владимова. Вернуть Манусову». Уже и тогда возник вопрос: зачем, играя в героического подпольщика, подставлять тяжелобольного друга?

Коле дали, если не ошибаюсь, шесть или семь лет колонии, то есть лагерей, где-то далеко, то ли на Севере, то ли на Урале.

Следующей весной очередной блеющий голос сказал, что Саше необходимо подъехать в исполком Ленинского района, что у моста Володарского.

— Мы вас долго не задержим, Александр Николаевич, — любезничал голос. — Только мы вас очень просим, приезжайте без жены.

Я ждала его в уныло освещенном коридоре очень недолго.

Он пересказал мне тему «беседы».

— Там были двое в кабинете. Один мне вежливо так говорит: «Ваш друг Николай Толстых отбывает наказание в лагере. Он уже завел там много друзей. Некоторые из них выходят из лагеря, так как истек срок. Мы ожидаем, что кто-либо из них может приехать в Ленинград и прийти к вам с поручением от Толстых. Мы просим вас, Александр Николаевич, оказать содействие органам и поставить нас в известность, если подобная ситуация возникнет».

— А потом, — продолжил Саша мрачно, — он посмотрел на меня и говорит: «Я вижу, Вам это претит, Александр Николаевич».

И кратко завершил: «Вот гад! И слова знает».

Мне хочется довершить рассказ о Коле Толстых. Процесс над ним замышлялся серьезный, некий парафраз фарсов с участием Вышинского, но с небольшой порчей, случившейся по причине совершенно изменившегося времени. Из лагеря Коку выпустили очень скоро, кажется, через год. Валентина развелась с ним, и он довольно долго жил у Саши в мастерской. Он выучился на вагоновожатого и какое-то время возил ленинградцев по городу на 34-м трамвае, но уже намечались признаки возврата к прежней болезни — алкоголизму. Его мать, приезжая к нам, умоляла повлиять на него. Он опять раздражил органы, по-прежнему бегая с книжками и общаясь с кем попало, продолжал чехвостить власти. Ему было предложено уехать, и он согласился.

Мы встретились с ним в Нью-Йорке, когда возвращались после нашей первой и последней совместной поездки в Америку по случаю выставки группы «Алеф». Мы сидели у наших друзей в Бруклине с неосмотрительно выставленной на стол водкой. Вечер, начавшийся мирно и ностальгически,

по мере уменьшения уровня жидкости в бутыли закончился чем-то вроде мощного торнадо, неожиданным взрывом агрессии с громовыми воплями и побагровевшим в горе и отчаянии лицом. Потом он нам писал милые письма с юмором, а после Сашиной смерти позвонил мне и мы долго разговаривали. Он был тогда совершенно трезв. И потом все закрутилось в бешеном ритме тарантеллы. Он метался в Нью-Йорке, то пытаясь лечиться и работать, то опять срываясь, звонил матери, часами держа ее на телефоне. Потом звонки прекратились, телефон был отключен. Спустя какое-то время незнакомые мне люди сказали моей приятельнице Саше Дышленко, что видели его на улице с протянутой рукой. Но они не подошли к нему, и след его полностью затерялся. Он сгинул на улицах Нью-Йорка. Я не знаю, что стало теперь с ним и его великомученицей мамой Ниной Александровной. Много позже она еще звонила мне и рассказывала про внука Алешу, который, по ее словам, из эльфа превратился в грубого подростка и который причинял ей дополнительные страдания.

* * *

И, наконец, финальная страница этой непривлекательной саги.

В эту июньскую субботу 1989 года было знойно и сухо. Дом казался вымершим к середине дня. Девяносто процентов жильцов блаженствовали на дачах. Я была дома одна, вернее, с нашим псом Тоби, который три года назад брошенным щенком попался Саше на глаза. Сам Саша с утра уехал в мастерскую. Неожиданный звонок взорвал тишину квартиры, и Тоба разразился азартным лаем. За дверью стояла девушка, почти девочка с округлым овалом лица и блестящими шоколадными глазами. Мне было знакомо это милое лицо, она жила несколькими этажами выше.

— Извините, пожалуйста, — смущенно сказала она, — но вы забыли этот пакет.

И она протянула мне незнакомый полиэтиленовый пакет.

— Но это не мой пакет, я его никогда не видела, — изумилась я.

Девочке явно было неловко, но она настаивала:

— Мама сказала, что там очень важные бумаги. И они ваши.

— А где вы его нашли?

— Он висел на двери в парадную.

— Изнутри?

— Нет, снаружи.

Все с тем же смущением она вручила мне пакет и двинулась вверх по лестнице.

Я заглянула внутрь. Там лежали официальные приглашения Саше и мне для поездки в Америку.

Это лето 89-го года оказалось неожиданно бурным и насыщенным событиями. Из своей первой поездки в Америку вернулись художники Елена Фигурина и Валентин Герасименко. Они привезли потрясающие новости. Кто-то из американцев, узнав о существовании группы «Алеф» и будучи в восторге от перемен в России, предложил собрать всех художников группы «Алеф» и в рамках контекста обширного фестиваля русского искусства в городе Луисвилл, штата Кентукки, устроить их выставку. Нам обещали прислать официальные приглашения.

В один прекрасный день к нам приехал Борис Кельман. Это был тот самый человек, через которого неизвестные нам тогда еще люди хотели переслать бумаги. Сам Кельман тоже собирался в Америку, но на постоянное место жительства. Он присел за стол в кухне, которая в силу приличного размера служила нам в качестве гостиной, и с отчаянием сказал, что получил бумаги для нас и что в ту же секунду их украли.

— Это невероятно, — каялся он. — Понимаете, я сидел в холле гостиницы «Ленинград», и знакомый передал мне бумаги. Я их сразу же положил в дипломат, который стоял на полу у моих ног, и, понимаете, это какая-то чертовщина, но дипломат исчез в ту же минуту. И никаких следов. То есть следы, понятное дело, есть, но как вернуть приглашения? У вас же не так много времени. Простите меня, ребята.

Винить его было невозможно, и мы дали знать в Америку, что нам нужны новые приглашения. И эти новые при-

глашения были уже получены. И вдруг, по мановению понятно чьей руки, растворившиеся в специфическом воздухе нашпигованной «шуриками» гостиницы бумаги оказались у меня. Я, оцепенев, смотрела на пакет. Значит, сатана попрежнему правит бал. И всевидящее его око, насмехаясь, надзирает над нами даже сейчас. Я одела Тобу и выбежала на улицу. Пусто было и на скамейке возле парадной, и на аллейке, обычно перегруженной прохожими и забитой машинами. Спокойное, стабильное в это лето солнце освещало пыльные кусты.

Я вернулась в квартиру и позвонила Залесским. Они, конечно, уехали за город, но дома оказалась их младшая дочь Надя.

— Надя, — сказала я честно, — я боюсь. Ты можешь выйти на улицу? Мне нужно с тобой поговорить.

Надя последнее время занималась у Саши в мастерской вместе с другими ребятами, которые собирались поступать в Мухинское училище.

К моему рассказу она отнеслась до удивления спокойно.

— Так и должно быть, — сказала она, как мне показалось, в чересчур замедленном ритме. — В этом нет ничего удивительного. Для меня, по крайней мере.

— Почему ты так считаешь?

— А мне Юля уже довольно давно говорила, что к ней подкатываются какие-то «шурики». Они ее как-то настигли, когда она шла из мастерской, и стали ее расспрашивать про Сашу, ну, Александра Николаевича. Они сказали, что она должна им все рассказывать, кто к нему приходит и о чем говорят, ну и так далее. Она, конечно, не согласилась. Тогда они сказали, что у нее брат работает в милиции, и у него могут быть крупные неприятности. И еще они сказали, что если она хочет попасть в Муху, то ей лучше проявить благоразумие.

— Но почему же она не сказала сразу об этом Саше?

— Она просто не хотела волновать Сашу, то есть Александра Николаевича, она думала, что сама справится.

В эти дни Саша обратил внимание на молодого мужчину в куртке, каждый раз попадавшегося на пути в мастер-

скую. Он просто сидел на одном и том же месте, на витрине книжного магазина, и в упор рассматривал его.

Юля сдала все профессиональные экзамены по искусству на отлично. Но они запороли ее на сочинении, где она схлопотала двойку. В Муху она все же попала, но через год. Саша ездил туда во время экзамена, чтобы поговорить и морально поддержать девочку. Это было где-то в июне.

А двадцать восьмого августа он умер.

* * *

Я не хочу здесь подводить мораль, потому что и так все ясно. Эти мелкие бесы не в силах были испортить ничего ни в Сашиной жизни, ни в его творчестве. Вились и вились вокруг, являя в полном цвете свою никчемность и гадостность. И проявляя в окружающих нас людях их истинную суть. Так что можно им даже быть благодарным за это. У меня есть запись, которая была сделана в его мастерской молодым поэтом Валерием Слуцким по возвращении из Америки. Саша там говорит о своих впечатлениях и, в частности, приводит слова одного из американцев, что, должно быть, он чувствует себя несчастным, живя в этой стране.

— А я ему говорю, — слышится Сашин голос на пленке, — я никогда не чувствовал себя несчастным, я всегда чувствовал себя счастливым.

И рассмеялся радостно, по-детски.

2005 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Ранены созвездья памяти моей.
Млечный Путь усыпан оттисками дней,
Где ликуют миги, вечность победив,
И рыдает вечность, миг испепелив.

Саша умер 28 августа 1990 года. Накануне, в середине дня, мы вернулись из Усть-Нарвы. Вез нас мой племянник Сергей. Он очень торопился и здорово гнал машину. Вечером мы выгуляли Тобу. Где-то после девяти вечера позвонила Лена Фигурина и предложила ему выставиться в редакции журнала «Аврора». По идее это должна была быть выставка ее мужа, талантливого графика Валентина Герасименко, но по каким-то причинам он не захотел это делать. Саша долго обсуждал с Леной детали и, положив трубку, сказал нам с Аней:

— Тетки, слушайте меня. Валя предлагает выставку в «Авроре». Было бы здорово выставиться. К тому же и немецкие галерейщики собираются вскоре приехать. (Речь шла о персональной выставке в Гамбурге.) Что вы скажете?

— Отлично, — обрадовались мы, — а когда открытие?

И тут оказалось, что открытие было запланировано на ближайшую субботу, а это был уже вечер понедельника. Работы были готовы, он до изумления плодотворно работал этим летом, но их надо было оформлять. Договорились, что мы с Аней купим специальную ленту, чтобы обтянуть работы по периметру, так как о рамах не могло быть и речи, а сам Саша утром поедет в Институт кардиологии на Пархоменко и сделает анализ крови на протромбин.

Утром он позвонил из автомата и сказал Ане (я в это время выгуливала Тобу), что купил ей новую книгу Стругацких,

сейчас поедет на почту выписать журналы для художественной школы, где он работал библиотекарем, но в основном замещал отсутствующих педагогов, а потом вернется домой.

Около двух часов дня раздался звонок.

— Это опять Саша, — сказала я и сняла трубку.

Это звонила женщина, бухгалтер художественной школы.

— Регина Иосифовна, — сказала она, — Александр Николаевич умер.

— Куда вы звоните?— спросила я.

— Я вам звоню, Регина Иосифовна, нам только что позвонили с почты на Гончарной улице и сказали, что Александр Николаевич там умер. Вам надо туда подъехать.

Когда мы вбежали в это мрачное небольшое почтовое отделение, все еще заплаканные женщины сказали нам:

— Он сидел, заполнял карточки, мы смеялись и шутили с ним. Вдруг он встал, подошел к окошечку и сказал: «Дайте мне воды. Мне плохо». И сразу упал.

— Где это было? — спросила я. Словно это что-то значило.

— Там, где вы сейчас стоите, — был ответ.

Сашин друг, талантливый художник кино Виктор Иванов, нарисовал в эти дни работу, где над городом мчится желто-туманный корабль.

— В это время над городом пролетал какой-то плохой корабль, и он забрал Сашку, — сказал он.

Фельдшер, кажется, 4-й подстанции скорой помощи по фамилии Глухова, сняла с тела дешевые часы, купленные им в Америке. Из его сумки исчезло все, более или менее представляющее интерес в то скаредное, еще советское время. В том числе и книга Стругацких.

Мне вскоре приснился сон.

Я сижу в помещении этой самой художественной школы. Вокруг людская сумятица, все взбудоражены. Напротив меня открывается дверь и появляется Саша. Он стоит. Не просто бледный, а какой-то белый. И отрешенный.

— Ты же ушел, — говорю я.

— Никуда я не уходил, — отвечает он твердо, — я никуда и не собирался уходить. Я всегда с тобой.

Каждый день я пишу и получаю письма от Татьяны Шехтер[1]. Я уже писала о ней. Тоненькая, невысокая женщина с удивительно вдумчивыми глазами, она является ипостасью мудрости, когда дело касается высоких философских материй и отличается редкой наивностью и чистотой в обыденной жизни. И это совершенно естественно. Она мне уже написала краткое эссе о страхе. Но мне хочется спросить ее также о том, что же это такое — шок, шоковое состояние. Что оно приносит с точки зрения философии? Почему многие люди, будучи в шоковом состоянии, не ведают, что творят? Неизбежно ли это? Значит ли это, что они имеют право не контролировать свое сознание или же это просто еще одно проявление их личности?

Когда Саши не стало, каскадом посыпались парализующие сознание моменты. С самого начала.

Прямо на кладбище ко мне подошла Нина Костылева, известный коллекционер, с которой я не была знакома, и сказала проникновенно: «Регина, я восхищаюсь вами». Позже, уже дома, она подозвала меня и сказала, указывая на портрет, где Саша изобразил нас обоих в одном лице: «Простите меня, Регина, я держала на вас камень за пазухой. А сейчас я хочу извиниться перед вами. Я считала Вас разлучницей. Но, глядя на этот портрет, я все поняла. Простите меня». Она буравила меня небольшими карими глазками, в которых проблескивала истинная печаль. Камень за пазухой означал, что, будучи знакома с проблемами, возникшими в Сашиной личной жизни еще до того, как мы с ним познакомились, она считала, что, уйдя от жены (которая, терзаясь горем, сама предложила ему уйти), он должен был поселиться совсем у другой женщины, а не у меня. У женщины, с которой не хотел соединить свою жизнь. И которая родила от него ребенка примерно за год до того, как он пришел к нам с Аней.

Я сейчас не буду вдаваться в суть всего этого. Это печальная история, которую Саша глубоко переживал и в которой некоторые его бывшие друзья не очень ему помогли.

---

[1] Т. Е. Шехтер — доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Скончалась в 2010 г. Этот текст был написан при ее жизни.

Та же самая Нина Костылева, у которой было в коллекции много Сашиных работ (среди них знаменитая «Семья в саду», купленная мною при поддержке американских друзей и задешево проданная в музейную коллекцию миллионера Нортона Доджа для того, чтобы начать работу над альбомом), через, я бы сказала, обескураживающе долгое количество лет позвонила мне и почему-то спросила, была ли я старше Саши. Интересно, как много людей было обеспокоено этим фактом.

— Вам надо было сказать: да, старше. На двадцать пять лет, — гневно отчеканила моя свекровь, когда я поделилась с ней своим изумлением.

Сказать, что мы с Сашей очень любили друг друга, значит не сказать ничего. Это было такое осознанное и выстраданное счастье, такое единение всех мыслей и помыслов, такая бережность по отношению одного к другому и такое пророческое, что ли, расставание даже на краткий срок, что все это казалось неправдоподобным. Когда-то Саша сказал, что я его ангел-хранитель, на что я отвечала: «Твой ангел-хранитель умрет раньше тебя». Ответ был: «Мы умрем вместе». После его смерти я долго чувствовала себя обманутой.

Вот одна из его записей, сделанная во время моего пребывания в Тарту, куда я ездила на несколько дней навестить Аню. Это было время, когда пошел бум на картинки наших художников и по мастерским забегали толпы уезжанцев. Заметки эти, набросанные зеленым фломастером, я нашла случайно в тетради для записи наших занятий по йоге.

Странно. Никак не спится. Беспокойство. Внутри. Прямо из самой середины. Отчего? Не понять. И в то же время тоска. Мы повязаны. Всего несколько дней, а ощущение, что давно один. Хотя и картинки сдвигаются с места. Но это не связано между собой никак. Я это чувствую. Приходящие коммивояжеры вызывают какую-то отрыжку, когда речь заходит о практических целях их прихода. Маланичев[1] не спасет. Да и не надо спасаться. Раньше я никогда не думал, что со мной может произойти помешательство, а сейчас в этом

[1] Маланичев Владимир Иванович — наш наставник на занятиях йогой.

не уверен. Вместо спокойствия с возрастом приходит, правда, иногда, тягучее беспокойство. Даже стих написал. Дожил. Ораторствующая разрешенность прежней запрещенности вместе с покаянными речами палачей выводит из равновесия.

Хорошо Стасу[1], он никогда не интересовался современностью, кроме музыки и Вейсберга. Он спокоен внутренне и поэтому может заниматься все теми же проблемами. Живописью. Правда, на мой взгляд, он кондов. Но, может, таким и надо быть, чтобы добиться совершенства? Черт его знает. Вот написал и немного утих. Может, лягу и усну. Хотя в голове какая-то турбинка крутится. Надо же, насколько раньше матери. У нее это беспричинное беспокойство началось, видимо, намного позднее. Видимо, ускорение генов.

Моня, Моня, скорее бы ты приехала[2].

Написано это было весной 1990 года. В перестроечную еще пока эйфорию уже вползала фальшь. Хорошо помню немереное количество верховных жрецов павшего на время режима, обосновавшихся на телевизионном экране. Они вещали о своем скрываемом доселе диссидентстве и хронической ненависти к тирании коммунистической партии.

* * *

Вскоре после Сашиной смерти в Манеже состоялась выставка частных галерей Санкт-Петербурга. Их к тому времени было немного, и одной из ведущих оказалась галерея «Анна», нареченная именем ее владелицы. Эта перекрашенная в блондинку холеная еврейская дама, как рассказывал Саша Гуревич, когда-то работала маникюршей при исполкоме и позже прославилась умелой политикой по отношению к членам городского исполкома. Эта политика, видимо, не ограничивалась лишь бутылками дорогого коньяка, всегда стоявшими в баре ее кабинета, и поэтому в то зыбкое время обеспечивала ей свободу действий в новом бизнесе. Однажды эта наделенная бурным темпераментом дама ворвалась

[1] Стас Бородин — художник.
[2] Моня — прозвище, данное мне Сашей.

в мастерскую к Саше Манусову в сопровождении мужа, врача-гинеколога, на роли статиста. Первоначальные варианты «Библейских сюжетов»[1], вскоре переделанные Сашей, произвели глубокую выбоину в недрах ее коммерческой души.

— Робэрт! — кричала она, мечась в тесноте мастерской. — Робэрт, я это беру. Я это продам евреям в Израиль.

«Робэрт» глубокомысленно молчал.

И без того тесное пространство мастерской словно сплющилось и приняло форму ее кургузой маленькой фигуры. Художники, Саша Манусов и случившийся там Саша Бихтер, взирали на нее с чувством ощутимо накатившейся физической дурноты. Когда она шаровой молнией, наконец, выкатилась из помещения, оба ринулись открывать окна, словно к этому моменту весь кислородный запас мастерской оказался исчерпанным.

— Мы просто физически ощущали, как эта жуткая субстанция, которую она за собой оставила, вытекает в окно, — рассказывал Саша.

Этот визит был, видимо, одним из тех, о которых Саша упоминал в предыдущей записке. Мне кажется, что «племя коммивояжеров от искусства» бессмертно так же, как и само искусство. В то далекое постсоветское время они, только что вылупившиеся, набирались своего постыдного опыта.

Эта самая Анна позвонила мне вскоре после Сашиной смерти.

— Я никаких слов говорить не буду, — мужественно заявила она. — Я хочу сказать, что вскоре в Манеже будет выставка ленинградских галерей. Я хочу выставить работы Саши. Рядом с его друзьями, с Леночкой Фигуриной, Сашей Гуревичем, Женей Тыкоцким. Это будет прекрасная экспозиция, — заключила она, тщетно пытаясь придать металлу в голосе оттенок задушевной теплоты.

Я малодушно сказала: «Я дам вам знать позже, а сейчас у меня в гостях Сашины друзья». Больше мы не общались.

[1] Подробнее об этих работах говорится в главе «Из памяти».

* * *

А теперь хочется еще раз изумиться неосознанному человеческому цинизму. И осознанной жестокости. Жила-была некая Таня Менакер, крупная женщина, закончившая философский факультет университета. У нее был муж, Витя Глиннер, инженер. У Вити был брат, Боря, или, как его все называли, Боренька, потому что это был прелестный, мягкий и красивый человек. Я пыталась его как-то изобразить в рассказе «В проеме памяти». Он долгое время был в отказе, то есть ему не разрешали уехать в Израиль, куда он давно стремился. Таня Менакер страстно влюбилась в Бореньку, он в нее, и вспыхнул роман, который объясняли непобедимой пылкой страстью с обеих сторон. Роман длился какое-то время. Но при этом Таня оставалась женой Вити Глиннера, не отличавшегося яркой Бориной внешностью. Как-то Саша сказал мне, что Таня с мужем эмигрируют в Америку и для этого устроили фиктивный развод и фиктивно же оформили два брака с американцами, чтобы без проблем уехать. Перед самым отъездом, из аэропорта, Таня позвонила по нашему телефону и, когда я взяла трубку, попросила позвать Сашу. Саша говорил с ней недолго и, когда положил трубку, был очень бледен. Он не комментировал разговор, просто сказал, что Таня Менакер была очень язвительна и сказала ему нечто неприятное на ту тему, что он не живет у другой женщины, которая родила от него ребенка. Меня изумило, что Татьяна Менакер, при данном раскладе ее личной жизни, сочла, что является достаточно последовательным поборником морали и может судить взрослого и смертельно больного человека, о чем все прекрасно знали. И это за несколько минут до отправки самолетом в другую жизнь. Кстати, в этой другой жизни она осталась столь же последовательной. Обосновавшись в Бостоне, культурнейшем городе на восточном побережье Атлантики, она очень быстро написала статью в газету, где объясняла, что все евреи должны ехать только в Израиль. Больше я про нее ничего не знаю.

И если еще раз обратиться к осознанной, тщательно скалькулированной человеческой жестокости, придется

вспомнить художника, с которым Саша много лет делил мастерские.

Александр Окунь был заметен в городе. Он вырос в состоятельной по тому времени семье, обладал хорошей внешностью и отличным музыкальным слухом. Постоянно фонтанировал энергией, словно только что открытая бутылка шампанского. На второй, разрешенной властями выставке нонконформистов во Дворце культуры «Невский» он прославился портретом своей жены, работой в модильяниевском ключе, которую он назвал «Портрет девушки». Художник отбыл в Израиль где-то в 78-м году, писал Саше и остальным друзьям пронизанные энергией новой жизни письма. Саша дал мне прочесть одно из его писем, когда лежал в клинике Вильнюса в ожидании операции на сердце. Окунь экзальтированно описывал прибытие в квартиру новой мебели. Они не виделись одиннадцать лет. Встреча казалась несбыточной мечтой, но она осуществилась в Америке, в городе Луисвилле, штат Кентукки, где в угаре перестройки была организована выставка группы еврейских художников «Алеф», к которой они оба принадлежали.

Выставка проходила в рамках фестиваля советского искусства. В Луисвилле, небольшом спокойном городе в центре Америки, ежегодно проводились фестивали, посвященные развитию искусства, под названием «Классика в контексте». 1989 год, объявленный ЮНЕСКО годом России, здесь решили посвятить советскому искусству. Фестиваль, начавшийся 8 сентября, имел подзаголовок «Искусство и Россия в революции» и оказался очень представительным. Жители Луисвилла увидели пьесу Людмилы Петрушевской «Чинзано», представленную одним из московских театров, выставку «Русский конструктивистский театр» 20-х годов, балет Римского-Корсакова «Шехерезада» с декорациями Бакста, пьесу Чехова «Чайка». Здесь впервые прозвучал ряд оркестровых произведений композитора Софьи Губайдуллиной, прошел показ восьми советских фильмов, два из которых были поставлены Сергеем Эйзенштейном.

Выставка группы «Алеф» проходила под девизом Creativity under Duress («Творчество под давлением»). Сама группа сформировалась на гребне еврейской эмиграции в 1975

году после выставки в ДК «Невский» и состояла из одиннадцати человек. Позднее семеро из них уехали, и в Ленинграде из группы остались лишь четверо. Художники приехали из разных стран — Америки, Израиля, Италии и России. С самого начала возникла непонятная нам, тогда еще советским, напряженность отношений с «израильтянами». Они наглядно ревновали нас к американцам, которые осыпали вопросами именно ленинградцев, явившихся из свежеперестроечной, как они полагали, страны. Это были Саша Гуревич, Саша Манусов, Ольга Шмуилович и Леонид Болмат. Американцы, курировавшие выставку, предложили мне сопровождать Сашу. Наша группа была робкой, мы не привыкли к вниманию, не могли связно ответить на вопросы на английском. Инициатива мигом перехватывалась израильтянами, в основном, Окунем, который отвечал за нас, апеллируя к советским реалиям одиннадцатилетней давности. Мы были смущены суперактивностью израильтян, какой-то их дерганностью, непонятной нервозностью и временами агрессивностью. С ними приехал замечательный пианист Яков Якулов, который неизвестно по какой причине остался во время гастролей на Западе.

— Я просто почему-то решил сойти с подножки автобуса, — говорил он, словно изумляясь невиданному доселе явлению природы.

Он был сыном известного цыганского музыканта-гитариста и явно сожалел о своем поступке.

На одном из приемов он подошел к нам с Сашей и спросил:

— Вы удивлены их поведением?

Ответить мы не успели, потому что он сразу продолжил:

— Но они еще очень прилично себя здесь ведут. Вам повезло, бывает много хуже. Они стали представителями малого народа, а это очень угнетает. Для них не существует теперь еврейской диаспоры, они отрицают все ее достижения. Они купаются в своих комплексах.

Справедливости ради стоит сказать, что очень мирно себя держал Анатолий Басин, приехавший с женой Наташей. Толя был великолепным живописцем, вышедшим из студии

Сидлина[1]. Вместе с ним там занимались такие художники, как Игорь Иванов и Евгений Горюнов. Толя в основном просвещал Сашу на тему западных галерей, считая, что все они проводят гангстерскую политику. Жена его Наташа была классическим представителем боевой группы израильтян, возглавлял которую Александр Окунь. Надо сказать, что они были наиболее агрессивны. Никогда не вступали в политические дебаты-перепалки ни Евгений Абезгауз, считавшийся вожаком группы, ни Сима Островский. Сима был тяжелым сердечником и умер вскоре после Саши. Кроткий в жизни и мощный в живописи Алек Рапопорт оставался любимцем группы. Он говорил раздумчиво, всегда тихим голосом и к нему прислушивались. Алек полагал, что в Луисвилле была предпринята попытка реанимации группы «Алеф» (он даже говорил — «эксгумации»), и она не удалась. Очевидно было, что жизнь в эмиграции оказалась для него неожиданно горькой. Он считал, что творчество его в американский период жизни оставалось практически невостребованным.

В Луисвилле мы почти все время проводили в автобусах, и здесь начинались незабываемые дуэли трех остроумцев, а именно тех же Абезгауза, Островского и Рапопорта. Особенно они изощрялись на тему недавно полученных символических наград и званий, которыми добросердечные американцы щедро осыпали художников. Например, в католическом Беллармин колледже мы присутствовали на лекции по искусству, где женщина-лектор выпрыгивала из себя, представляя искусство Ренессанса. Она, действительно, совершала прыжки по стульям перед индифферентными студентами в аудитории, расположенной амфитеатром. Мы сидели на самом верху и очень боялись, что в результате она сломает себе шею. После лекции в кабинете ректора всем художникам вручили красиво оформленные почетные грамоты, где было указано, что с этого момента они являются почетными профессорами данного заведения. Кроме этого, художники получили звания почетного полковника Кентукки и почетного гражданина графства Джефферсон. Все эти титулы поз-

[1] О.А. Сидлин (1909–1972) — художник, ученик А.А. Осмеркина, руководитель изостудии в ДК им. Капранова.

же аккуратно разместил на своих сайтах Александр Окунь, не преминув отметить, что «почетный полковник Кентукки» — самое престижное звание штата.

Фестиваль российского искусства происходил в сентябре, тогда еще сохранялась исключительно жаркая погода. Это было тяжело для Саши, и мы облегченно вздохнули, когда оказались по приглашению в Калифорнии.

Алек Рапопорт со своей хрупкой, как драгоценная фарфоровая чашка, женой Ирочкой жил в Сан-Франциско. Однажды мы с Сашей заночевали в их крохотном домике. Вечер был замечательным, веселым и родственным, с бутылкой вина и винегретом. Мы с Ирочкой вскоре отправились спать, а Саша с Алеком еще долго, по-российски, сидели в кухне и, кажется, даже что-то пели.

Финал этого знаменательного вечера оказался затянувшимся и грянул где-то в конце года, а именно в декабре.

Саша получил письмо от Александра Окуня. После прочтения письма он перестал произносить это имя.

Я привожу текст письма полностью.

2.12.89

Милый Саша!

В сутолоке и в суматохе в Louisville нам не удалось толком пообщаться, да и последнее приключение (когда мы потерялись) добавило в этот бордель свою лепту. Кстати, я из-за этого так и не повидался с Кокой, так как не было у меня его телефона. В общении же нашем, как ты помнишь, было всякое: были чудные минуты, весь этот автобусный цирк, где у ковра выступала тройка клоунов — Абезгауз, Островский, Рапопорт, какие-то мгновения в вашем номере. Но было и другое: напряжение в отношениях между советскими и остальными, непонимание (временное, по-видимому) и даже известное недоверие. Общий язык мы в какой-то степени утратили. Тому есть причины, которые, мне кажется, достаточно понятны, и мне нет охоты на них останавливаться. В нас, по-видимому, было что-то раздражающее вас, а в вашем поведении, в свою очередь, были некоторые черты, вызывающие наше «фэ». И я вряд ли сел бы за это письмо только из-за этого: увы, жизнь такая, как есть, что

толку предъявлять счет друг другу, тем паче, что делить нам нечего, да и шансов на частое общение немного. Остается вежливо не замечать каких-то вещей и быть комильфо.

Однако Алек Рапопорт написал мне, что Регина говорит, что-де «израильтяне носят маски, скрывающие определенные неудачи». Если Алек передает точно и это именно то, что Регина сказала, то я считаю своим долгом отреагировать, ибо это публичное заявление (сделанное, кстати, за спиной тех, о ком говорится).

Итак,

1. Мне хотелось бы знать, какие неудачи скрывали израильтяне все вместе и по отдельности.

2. Ношение маски подразумевает желание выдать себя за кого-то другого, т.е. обмануть собеседника.

Мне хотелось бы знать, в чем именно я обманул ну хотя бы тебя, чтобы не говорить о Регине.

Для того чтобы не было недоразумений, сейчас я попытаюсь сформулировать свое положение (как я его вижу) с использованием понятий «удача», «неудача», раз уж они сюда привнесены.

Итак, что же можно отнести к неудачам?

1. Я живу не во дворце, не в вилле, а в четырехкомнатной квартире (я когда-нибудь утверждал что-нибудь обратное?).

2. Для того чтобы сводить концы с концами, я должен работать, преподавать, равно как и Вера.

3. У меня нет автомашины, поскольку новую покупать мне дорого, а старую я, ничего не понимающий в технике, покупать не хочу.

4. Ни Лувр, ни Прадо, ни даже израильский музей не стоят передо мной в очереди за свежеиспеченной картинкой.

5. Ротшильд не презентовал мне 100 миллионов долларов. Никто другой тоже.

6. ????

7. ???? Что еще? И когда что-либо я скрывал и какую маску носил?

А теперь:

1. Я живу в стране, которую люблю и УВАЖАЮ, и не хотел бы жить ни в одной другой.

2. Каждый год практически (а иногда и несколько раз в год) я и Вера ездим за границу, куда хотим.

3. При всех трудностях я имею возможность ни в чем не отказывать своему ребенку, включая поездку в Оксфорд пополировать английский.

4. Я общаюсь, с кем хочу, а люди, с которыми я общаюсь и дружу, люди высшей человеческой пробы.

5. Я живу (и знаю наизусть) в одном (если не самом) из удивительных городов мира.

6. За несколько лет через мои руки прошли более полутысячи студентов, каждый из которых понес дальше то, что я ему дал. Три года подряд я получаю ВЫСШИЕ оценки от студентов в Академии и колледже и получаю звание лучшего педагога, поверь — это такая честь, что Вам и не снилась, ибо это не ваши студенты.

7. Я не являюсь гостем (часто непрошеным) в чужой культуре. Я имею честь быть одним из отцов-основателей израильской культуры. От меня зависит (и от тех, кого я учу), какой ей быть.

8. Любая моя выставка получает критику практически во всех газетах Израиля от правых до левых.

9. Я живу среди себе подобных, не навязывая своего общества тем, кто его не очень любит.

10. Я имею возможность содержать 100-метровую мастерскую.

11. Я, приехавший из бог знает откуда, в страну со своими уже устоявшимися отношениями и выстроенной иерархией, уже второй год подряд попадаю в число троих членов жюри одного из самых престижных иерусалимских призов. В этом году (три дня назад) я был в компании главного куратора израильского музея и одного из самых видных израильских искусствоведов.

12. Из всех поступков, совершенных мною в жизни, я считаю, что два наиважнейших (отъезд из России и выбор места, куда ехать) я совершил правильно.

13. Впрочем, довольно. Я, избави бог, не ставил целью ни доказать что-либо, ни сводить счеты. Я счел необходи-

мым написать тебе это письмо, потому что считаю, что есть некоторые поступки (изречение слов — поступок), на которые необходимо реагировать.

Люди любой страны обладают некими определенными свойствами. Среди черт, свойственных советским людям, одна из самых характерных: обладание патентом на истину в последней инстанции. Ей, как правило, сопутствуют полнейшее отсутствие чувства благодарности и густое хамство, замешанное на комплексе неполноценности. А над всем висит облако собственной советской гордости, суррогат человеческого достоинства, снобизм филистеров.

Разумеется, это обобщение, как и любое, не верно и не распространяется на всех людей, живущих в России, и я не хотел бы, чтобы ты принял его на свой счет.

Алек мне писал, что ваше пребывание в Сан-Франциско было удачным. Желаю тебе всяческих благ и процветания.

Дружески
Саша Окунь

Ко времени получения этого письма Саше было отмерено прожить менее девяти месяцев.

Александр Окунь, приезжая в Ленинград, ни разу не позвонил его матери, Надежде Владимировне.

Зато, как с придыханием рассказывали его друзья той же Н. В., он посетил кладбище и закопал что-то в землю. Из их торжественного молчания было понятно, что в землю, где покоится прах Саши Манусова, Александр Окунь поместил камень с Иерусалимской стены плача.

* * *

Все школьные годы я просидела за одной партой с очень хорошенькой девочкой, которую звали Таня. Она была невероятно начитана и временами блестки ее эрудиции давали себя знать в школьных сочинениях.

Так, например, в сочинении на тему пьесы Островского «Гроза» она писала о Катерине: над ней, как дамоклов меч, висела рука Кабанихи.

А в сочинении на тему «Войны и мира» Толстого она написала о князе Андрее Болконском следующее: когда князь Андрей входил в общество, он надевал маску.

Комической фразы об израильтянах, носящих маски, естественно, никогда не было. Скорее всего, а я уверена, что это так и было, я пересказала Алеку характеристику, данную им Яшей Якуловым на одном из приемов. Я не знаю, зачем бедный кроткий Алечка, как я его называла, что-то написал Окуню.

Уже после Сашиной смерти на мой, болью звучащий вопрос, зачем он это сделал, Алек дал мне самый достойный ответ: он промолчал.

Как полагает автор эпистолы: «есть некоторые поступки (изречение слов — поступок), на которые надо ответить».

Публикация этого письма таким ответом и является. Александр Окунь, как и все художники, наверняка создал какое-то количество автопортретов. Мне думается, что приведенный выше текст его письма — наиболее удачный из них. Макияж в нем отсутствует.

Когда-то Окунь был классным живописцем. Саша говорил, что имеющийся у него натюрморт Окуня, где был изображен букет сирени, — роскошная живопись. Но с тех пор многое поменялось. То, что представил художник на выставке в Луисвилле, ничем не напоминало его прежние работы. Живописное начало исчезло, и это не мог оспорить даже глубоко симпатизирующий Окуню Саша Манусов. Позже Саша, который никогда в жизни не был способен кого-то огорчить, как мог мягко написал:

Рисунки Александра Окуня под названием «Иерусалимский рынок» и наполненная мистицизмом серия «Души в огне» контрастны к работам, которые можно назвать условно живописными, так как в этих объектах, соединяющих в себе разные манеры (живопись, деревянный рельеф, сложную линию силуэта), художник ищет нетрадиционные пути выражения своей идеи[1].

[1] *Соловьева Р., Манусов А.* Снова Алеф // Век. 1990. № 2 (5). С. 49–51.

Как у человека с возрастом на физиономии отпечатываются наиболее весомые черты его личности, так и, глядя на работы художника, можно поставить точный диагноз состояния его души. Поздние работы Александра Окуня не пленяют зрителя. Изображенная мастерски, но с вызывающим садизмом стареющая, разлезшаяся до масштабов Вселенной человеческая плоть с резкими, временами, акцентами на половые признаки, отталкивает. Сам же художник говорит о сострадании к своим героям.

Он обаятелен, красноречив, популярен и окружен множеством друзей и поклонников. Но душа его замусорена. Как художник, он выживает за счет профессионализма. Человеческие качества убили его талант.

* * *

На Сашины похороны приехали наши литовские друзья из Вильнюса, Ирена и Гедиминас Жукаускас. Мы с Сашей давно отметили, что литовцам присуща какая-то особая энергетика, и по сути своей они жесткие и очень приспособленные к земной жизни люди. Гедиминас был блестящим хирургом. Но, когда мы познакомились, он ставил опыты на собаках в психиатрической больнице Вильнюса, где заведовал лабораторией и писал докторскую диссертацию. Он был человеком очень арийского вида, крепкого сложения, с крупной круглой головой, куда были вкраплены серые, очень добрые глаза, и удивительным казался тот факт, что он являлся внучатым племянником знаменитого литовского художника Чюрлениса, который, судя по старым фотографиям, выглядел чахлым брюнетом с туманным и мечтательным взором. Ирена, литовская Юнона и мать троих детей, прекрасный кардиолог, работала в санатории городка Валькининкай, где Саша проходил реабилитацию после операции. Они примчались из Вильнюса на машине и привезли с собой венок из сосновых веток, собранных в том самом лесу, где Саша так любил бродить, и который вдохновил его к написанию первого, ошеломляющего «темного» триптиха. С ними также приехал и Йонас Жибуркус, о котором пойдет речь в очерке «Из истории Сашиных работ», высокий,

худой и очень элегантный. В день похорон, к вечеру, они все отправились к Саше в мастерскую, чтобы увидеть его последние работы. С ними поехали Саша Бихтер, которому Саша как-то предложил приют в своей мастерской, и Леша Смирнов (Саша называл его Леха), старинный друг еще со школы. Они вернулись в восторге, совершенно ослепленные. Потом Саша Бихтер признался мне, что его потрясло их безудержное туристическое ликование, шквал активности при виде работ, мажорный коллективный настрой. Я понимаю литовских друзей: они, бросив все, примчались проводить человека, которого успели глубоко полюбить. И они очень любили живопись. Мне хочется думать, что Саша это видел и радовался вместе с ними. Бедный же Леха, будучи в подпитии, начал развивать идею дележки теперь почти уже освободившейся, как он полагал, мастерской. Леха — добрый, но робкий человек. Именно к нему Саша отнес самиздатовскую литературу, когда добрались до Витольда Залесского. И вот теперь, зачем-то в день похорон друга, он, пытаясь прослыть крутым, пугает интеллигентнейшего Сашу Бихтера проектом раздела мастерской. В то время считалось неслыханной удачей иметь мастерскую любого размера и в любом месте. Это ли не бессмертная булгаковщина?

Меня все это удивило. Я знаю, что наши восприятия трагедии находились на совершенно разных уровнях. Естественно, никаких претензий ни к кому из них нет. Я веду это к тому, что, если здесь я всего лишь слабо удивилась, то потом мне пришлось несколько раз испытать подлинное изумление.

* * *

Сразу после Сашиной смерти еврейская газета «Народ мой» решила напечатать о нем некролог. Сказал мне об этом Валерий Слуцкий, поэт и переводчик, который интервьюировал Сашу после поездки в Америку. Написать некролог попросили Любовь Гуревич, которая как раз в тот самый период «всеобщей разрешенности» (по выражению Саши) появилась из ниоткуда и забегала по мастерским художников с блокнотом в руках. Позже она сконцентрировалась на художниках

старшего поколения — Рихарде Васми, Владимире Шагине, Шоломе Шварце и Валентине Громове. У Саши она бывала очень часто, мне казалось, даже слишком часто, так как работала в библиотеке при Доме культуры им. Шелгунова для слепых людей, расположенном в пяти минутах ходьбы от Сашиной мастерской. Она не была обременена семьей и нашла себя в отслеживании и фиксации самого факта неофициального искусства в Ленинграде. Художники, не избалованные вниманием, щедро делились с ней своими размышлениями на тему искусства, рассказывали о своей жизни.

Как-то Саша познакомил нас, когда мы столкнулись на Петроградской. Помню ее отчужденность, когда мы все вместе, стоя, пили кофе в ближайшей забегаловке. Плохо заретушированные эмоции обозначились на ее лице. Это был единственный человек, вызвавший у меня чувство немедленного и безусловного отторжения. Может, она испытывала некоторые чувства к Саше, что неудивительно. И этим объяснялась ее враждебность ко мне, к женщине старше его и не имеющей, по ее мнению, права быть с ним вместе. В этом меня уверяла моя подруга, которая встречалась с ней у общих знакомых, и помнила ее выступления на тему нашей разницы в годах. В один из своих редких приездов в Ленинград Боря Берлин со своей датской женой Марией и двумя детьми навестил Сашу в мастерской. «Вам удалось с Борькой поговорить?» — поинтересовалась я.

— Нет, к сожалению, — был ответ, — приходила Люба Гуревич, и она осталась пить чай.

— Кто же это такая, эта Люба Гуревич, — озлилась я, наконец, — ведь когда теперь приедет Борька? Вы даже не смогли пообщаться толком. Ей что, было непонятно, что надо удалиться?

Помню, мы ужинали котлетами, которые приготовил из привезенного им фарша Боря Борщ, закадычный Сашин друг, ныне один из сильнейших пейзажистов Петербурга. Боренька, с его ореховыми глазами, лучившимися какой-то растерянной добротой и оттеняемыми копной каштановых волос, был на все руки мастер, мог сшить себе и другим куртку и связать красивый свитер очень индивидуальной внешности. Он приехал из Могилева, белорусского города, обме-

няв квартиру там на комнату в коммуналке, и всегда являлся благодатной добычей для хищно настроенных женщин.

— Борька, ты подумай, — возликовал Саша, — она ревнует! Она никогда не видела Любиньку, — и он залился своим обезоруживающим смехом.

* * *

Валерий Слуцкий позвонил мне поздним вечером и сказал, что Любовь Гуревич задерживает свою статью, которую она с таким подъемом согласилась написать, уверяя, что у нее есть все материалы о Манусове. Сдавать статью в номер надо было на следующее утро, и Валерий предложил мне переделать совместно с ним что-либо ранее написанное о Саше. Я выбрала статью искусствоведа Татьяны Шехтер, и мы полночи просидели с телефонными трубками в руках, корректируя текст и стараясь сделать его короче. Могу сказать, много раз за этот промежуток времени я испытывала почти физическое ощущение, что нахожусь в пыточной камере. Когда мы с дочерью приехали с готовым текстом в редакцию газеты, находившуюся недалеко от Ковенского переулка, редактор, смущаясь, сказал, что Любовь Гуревич тридцать минут назад привезла свое произведение и что мы можем выбрать к напечатанию любой из некрологов.

* * *

Саша никак не мог бросить курение. Положив очередной мазок на работу, он отходил от картины на расстояние, которое позволяли крохотные размеры мастерской, садился на стул и, затянувшись, созерцал полотно. Потом, что-то решив, поднимался и либо исправлял, либо продолжал начатое. Этот допинг, без которого не могут обойтись многие художники, приводил меня в ужас. Мне казалось, что каждая выкуренная им папироса «Беломор» означает физически видимое, ясно осязаемое сокращение его пребывания в этой жизни. Дома свое курение он обставлял в виде performance. Как раз в это время данное слово вошло в моду, якобы облагораживая и придавая смысл странным действам ряда стран-

ных художников. Сашин же performance был сугубо юмористическим. Застигнутый у форточки в кухне с «Беломором» в руке, он делал бармалейские глаза, вставлял дымящуюся палочку в нос, затем, убедившись, что мы уже хохочем, перемещал ядовитую субстанцию в ухо и, дурашливо приплясывая, завершал процесс отравления своего организма. Однажды, когда я, сокрушаясь, в шутку сказала, что, если он не бросит курение, я просто умру от ужаса, он вдруг очень спокойно и даже рассудительно сказал: «Нет, Осиповна, вы сначала должны меня похоронить. Есть такая музыка, „Магнификат“ Вивальди. Это потрясающая музыка, я тебе принесу пластинку. Так вот, ты вруби ее на полную катушку. И больше ничего, никаких соплей». Все казалось таким далеким, что я лишь слегка опешила. Но когда через несколько дней он принес и опять же спокойно и даже деловито вручил мне эту, взятую у Надежды Владимировны пластинку, я испугалась уже по-настоящему. Это было в самом начале его последнего лета.

Его слова «и чтобы никаких соплей» я приняла как завещание и старалась на похоронах сделать все так, как он хотел. Здесь, в Хьюстоне, есть широко известный музей современного искусства, основанный и до сих пор поддерживаемый богатейшей техасской семьей де Менил. Они все приобрели и построили на свои деньги, включая знаменитую часовню Ротко[1] и церковь, где размещено собрание фресок с острова Кипр. За посещение этих музеев посетители не платят ничего. Глава семьи оставил завещание, которое висит в музее на почетном месте. Он просит похоронить себя так, как он считает нужным, оговаривая все детали, вплоть до цвета кожи церемониймейстера. Он должен был быть чернокожим. Вместо машин катафалк должны были везти лошади. Думаю, что семья выполнила все в точности. Упомянутая мною в начале этих очерков наша милая подруга Нита Левисон с благоговейным восторгом переписала от руки эти строчки. Она, конечно, считала это необыкновенным проявлением силы духа. Я согласна. Но какова все же сила зацикленности на

[1] Марк Ротко (1903–1970) — американский художник, выходец из Латвии (г. Даугавпилс), работавший в стиле абстрактного экспрессионизма.

себе. Насколько эгоцентризм мешает человеческому сознанию. Это то, чего никогда не было у Саши. Все на похоронах прошло, как он хотел. И лишь два человека, искусствовед Юрий Новиков и художник Михаил Иванов, не выдержали и произнесли несколько слов. Но оба, насколько я помню, всегда пикировались на собраниях ТЭИИ и были записными ораторами.

А слова Юры Новикова я помню до сих пор.

— Саша, — сказал он, — прости нас. Когда мы занимались руганью на собраниях, мне было невозможно смотреть на твое лицо, столько там было боли и стыда за нас. Прости нас, пожалуйста.

Юрий Новиков, талантливый искусствовед, начавший работу в Русском музее с намечающейся блестящей карьерой и вдруг все бросивший и ушедший к неофициальным художникам, кажется мне заблудившимся, втянутым в воронку мутного времени.

* * *

Если вернуться в редакцию газеты «Народ мой», то в ту же минуту, когда мы с Аней начали читать текст Любови Гуревич, стало ясно, что это именно те самые «сопли», которые так ненавидел Саша. Здесь акцент ставился на идее мученичества. Саша был мученик сразу по трем ипостасям: как тяжелобольной человек, как еврей и как неофициальный, к тому же нищий художник. Все было пропитано слезливой интонацией и ясно ощущаемыми бабьими придыханиями. Мы с Аней взглянули друг на друга и без слов поняли, что это невозможно.

В этот же день, посетив Надежду Владимировну, мы из центра города автобусом поехали на уже открытую злополучную выставку в редакцию журнала «Аврора». Автобус остановился у Летнего сада, и в него немедленно вошла Любовь Гуревич. Бывают в жизни такие определяющие встречи, и мне на них почему-то везло в моем городе. Она угрюмо кивнула мне и, подойдя, так же угрюмо сообщила, что написала статью и она будет помещена в ближайшем номере газеты. Я сказала, что у меня есть для нее одно сообщение

и не могли бы мы обсудить его немедленно, выйдя из автобуса. Отлично помню, как мы стояли на углу возле Института культуры напротив Марсова поля, и я, подбирая самые лестные и теплые слова, сообщала ей, что ее статья превосходна и обязательно должна быть опубликована. Однако в этой замечательной статье есть моменты, противоречащие Сашиным взглядам, он не хотел и никогда не любил ни в ком вызывать жалость, и наша обязанность соблюдать это, как его завещание. Поэтому в данный момент мы остановились на тексте Татьяны Шехтер как более нейтральном. Хочу заметить, что чуть больше недели прошло со дня Сашиной смерти. Лицо Любы пугающе и мгновенно исказилось. Оно налилось цветом раздавленной клюквы, глаза извергли гневные молнии, и она, искусно войдя в состояние транса, начала кричать, что ее всегда обижают и всегда обходят стороной, что она всегда пишет, когда ее просят, а в последний момент ей предпочитают профессионалов. Контраст между спокойным сентябрьским днем, начинающей наливаться красками осени листвой Марсова поля, ажурными очертаниями Троицкого моста и искаженным лицом вопящей женщины был как нокаут. Мы без слов выслушали все, что она успела выкрикнуть и еще какое-то время изумленно обозревали ее удаляющуюся в сторону Невы короткую фигуру в короткой же куртке и джинсах.

Это, бесспорно, клинический случай. Но тогда я это не осознавала. Я считала и считаю всегда, что человек, у которого произошло горе, должен жить под знаком «табу». Это как святое животное корова в Индии. Человека с горем в душе никогда нельзя обижать. Никогда в жизни. Не упоминая того, что никого и не надо обижать. Жизнь сама потом все объяснит.

С тех пор Любовь Гуревич вышла на тропу войны со мной и ряд лет в одиночку вела это сражение, не интересуясь моей реакцией и не зная, отвечаю ли я ей взаимностью. Сталкиваясь иногда с ней на Невском или на Пушкинской улице, я ловила на себе ее демонстративно горящие ненавистью взгляды. Последнее время она, кажется, смягчилась или отвлеклась. Я с удивлением обнаружила ее изображение почти вплотную рядом с собой на ряде фотографий. Может,

она успокоилась и что-то сдвинулось в ее сознании. Дай Бог. Но мое мнение остается тем же. Нельзя обижать никого. Никогда нельзя обижать детей, беззащитных животных, людей, у которых горе. Я до сих пор не могу сделать скидку на тогдашнее болезненное состояние ее психики, потому что видела людей с абсолютно расшатанными нервами и все же управляющими собой.

* * *

Через очень короткое время после похорон мне позвонила женщина и сказала, что ее зовут Людмила Минина и что она «висела» с Сашей в выставочном зале на Охте. Меня всегда радовала эта терминологическая роскошь. Вопрос художника художнику «С кем ты висишь?» никогда не сопровождался лексическими изысканиями. Я вспомнила это имя. Действительно, Саша говорил, что висит в этот раз рядом с Людой Мининой. Он выставил тогда три большие пастели на цветной бумаге, купленной им в Калифорнии. Помню, он принес эти три довольно дорогих бумажных листа разного цвета и нежно разглядывал их какое-то время. На другой день три роскошные пастели с изображением деревьев уже лежали в его мастерской. У меня есть фотография, где он в синем свитере стоит на фоне этих работ в выставочном зале Союза художников на Охте.

— Здравствуйте, Люда, — поздоровалась я с никогда не виденной мною женщиной. — Да, я помню, Саша говорил о вас.

И остановилась, выжидая.

— Вы помните, Регина, — бойко продолжила Людмила, — тогда на Охте у Саши были работы на цветной бумаге. Меня интересует, у вас еще осталась эта бумага?

И еще одна дама, надо вспомнить ее имя, кажется, ее звали Ирина Александровна, по профессии геолог, когда-то работавшая вместе с женой Александра Окуня, Верой. Она боготворила Окуня и весь этот мир художников. Когда мы отмечали девять дней, она подошла к моему стулу, присела на корточки и, пристально глядя мне в глаза, ласково и до-

верительно спросила: «Регина, вы помните, Саша обещал подарить мне картинку?»

— Нет, — сказала я так же ласково, — не помню.

* * *

Боря Борщ не слышал ничего о Саше, пока не вернулся в раннем сентябре из своей Белоруссии. Он приехал ко мне с цветами в руках, горем и недоумением в глазах. Мы посидели у Сашиной могилы и направились на Пушкинскую. Мы почти не разговаривали, но, сойдя с трамвая, решили выпить кофе в том самом магазине «Чай. Кофе», где незабвенный Боря Берлин бросил когда-то на чашу весов «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Боря передал мне чашку с кофе и остался у кассы, чтобы расплатиться, а я побрела сквозь высокие столики, плотно облепленные стоящими людьми.

— Идите сюда, здесь еще есть место, — махнул мне рукой молодой мужчина. Я подошла, поставила чашку. Их было только двое за столом. Второй был значительно старше, и находились они в состоянии отчетливой эйфории — то ли уже опохмелялись, то ли еще напивались. Боря подошел с затуманенным лицом, поставил свой кофе на стол.

— А чего это вы такие мрачные? — агрессивно вопросил молодой и, взглянув на нас совсем уже внимательно, вдруг выкрикнул: — А вы кто?

— Евреи, — мгновенным и громким унисоном выпалили мы с Борей и сами удивились.

— Ну что, побьете теперь? — устало, но вызывающе осведомилась я, ибо это был пик антисемитизма, когда у метро «Василеостровская» собирались адреса, где проживали еврейские семьи, а в Румянцевском скверике возле университета по четвергам собиралось пресловутое общество «Память», и уже было намечено число для проведения еврейских погромов.

— Да вы что, ребята, — как-то даже испугались они, — нам так стыдно за то, что происходит по телевизору, за все эти вонючие передачи. А вы, ребята, мы вас очень просим, не уезжайте отсюда в Израиль, не селитесь на оккупирован-

ных территориях. А если вас кто обидит, приходите сюда, мы здесь каждый день с утра, мы вас защитим, — заверил нас молодой.

— Ребята, у меня горе, — зачем-то сказала я, — у меня муж умер.

И тут к нашему столу медленно подошел художник Слава Шевеленко, один из команды художников, обобранных Мигдалом[1]. Но мы тогда этого еще не знали. Слава, высокий, темноволосый и худой, стоял у нашего стола с чашкой кофе в руках и прицеливался, куда бы пристроить чашку, и был он в очевидном пасмурном настроении, может быть, из солидарности с нами.

— А ты кто? — опять агрессивно вопросил молодой.

— Еврей, — громко и безбоязненно прокричал Слава и поставил чашку на стол.

Через короткое время семья Шевеленок с двумя детьми переехала в Голландию, где они живут с тех пор.

Сейчас, как и всегда, антисемитизм в зените. Правда, в неожиданные союзники добавились лица «кавказской национальности», узкоглазые или узкопленочные, как «мило» именуют жителей Востока, и чернокожие жители нашего города и даже всей планеты. А в то время ненавидеть приходилось только евреев.

* * *

Анина подруга, Таня Дмитриева, аспирантка биофака университета, стояла как-то в четверг на остановке автобуса на набережной. Она болтала с одним из друзей, красавцем Артемием, когда подошел автобус, и она в него вскочила.

— Девушка, не выходи за него замуж, — послышался за ее спиной маловыразительный голос, — а то ты испортишь генетический фонд русской нации. Таня обернулась. Говоривший оказался мужчиной немного старше сорока с таким же, как и голос, невыразительным лицом.

— Я бы с удовольствием вышла за него замуж, — весело сказала девушка, — если бы он не был мужем моей лучшей подруги.

[1] См. главу Pacific.

— Мерзавка, — взревел мужчина, и это было самое интеллигентное слово из последующего затем текста. Клокочущие звуки вырывались из его перекосившегося рта, вены на шее набухли веревками, как у слабого певца. Пассажиры переполненного автобуса номер семь безмолвствовали.

— Вы говорите, как какой-то черносотенец, — бесстрашно сказала Таня, понявшая, что это было время, когда участники очередного митинга «Памяти» разъезжаются по домам.

— Что ты знаешь о черной сотне, дура? — возопил мужчина. — Это рыцари, это чистейшие люди, лучшие представители русского народа.

Автобус, наконец, причалил к остановке на Дворцовой площади, и два взаимоисключающих друг друга людских потока, один внутрь, другой наружу, сошлись в рукопашной схватке. Вопли стихли.

Именно в это время как-то вечером к нам зашел Витольд Залесский. Я не могу до сих пор ни объяснить, ни осознать цель его прихода. Он выпил чашку кофе, поговорил о том, о сем и вдруг сказал:

— Регина, ты знаешь, что на ... октября назначен еврейский погром?

— Кто же этого не знает? — ответили мы с Аней удивленно.

— Я пришел вам сказать, — значительно и зачем-то напыщенно продолжил Витольд, — что я не смогу вас защитить.

— Но мы и не просим тебя это делать. Мы совсем не ждем этого, — сказала я. — Почему ты волнуешься?

Он ушел. Что это было — человеческая, присущая ему недалекость? Или чувство первозданной порядочности и желание честно предупредить? Или смесь того и другого? Его жена Галина, по паспорту Соломоновна, а в просторечии Семеновна, нуждалась в защите так же, как и мы.

Двумя этажами выше проживала семья Комлевых, Маша и ее мама, Людмила Николаевна. Людмила Николаевна была родной племянницей ректора консерватории и замечательного пианиста Павла Серебрякова. Муж ее умер не-

задолго до того, почти как Саша — упал на работе и через минуту его не стало.

Как-то я поднялась к ним. Люся, которую я всегда называла «аксакал» за ее природную мудрость, добрый и интеллигентный человек, открыла мне дверь с заплаканными глазами.

— Люсенька, что случилось? — всполошилась я.

— Мы сейчас с Машей смотрели телевизор, знаете, одну из этих передач. И впервые в жизни нам стало стыдно, что мы русские, — горько сказала она.

Когда пошли слухи о погромах, она сказала:

— Я возьму топор и буду стоять в дверях, я не дам этим сволочам даже войти в нашу парадную.

Об этом много позже мне рассказала подруга ее дочери, тоже живущая в нашем доме.

* * *

Галерейщицу Хайди Нойхофф из Нью-Йорка привела ко мне в дом уже упоминавшаяся в очерке «Ничего особенного» жена американского консула красавица Ин-Ми. Крупное фламандское тело Хайди, казалось, заполонило все пространство моего жилища. На этом фоне миниатюрная фигурка Ин-Ми казалась еще более хрупкой. Честные голубые глаза продавщицы овощного отдела смотрели на меня проникновенно. В них читалась накипающая слеза восторга перед силой Сашиного искусства. Пока она допивала кофе в кухне, Ин-Ми увлекла меня в комнату и закрыла за собой дверь.

— Она хочет повезти Сашины работы в Нью-Йорк и сделать там выставку, — сказала она почему-то пониженным голосом, как будто Хайди могла не только услышать, но и понять то, что произносилось по-русски.

Я смотрела на нее, не понимая.

— Она хочет напечатать альбом Сашиных работ в Америке, — продолжила Ин-Ми, не осознавая, что произносит волшебные слова из арабской сказки об Аладдине. К тому времени уже были отсняты слайды всех доступных мне Сашиных работ. Первые слайды с выставки в издательстве «Ав-

рора» сделал фотограф, которого прислал художник Володя Овчинников. Это были крупные слайды, размером 9 х 12, вполне годные для публикации. Когда я собралась рассчитываться с фотографом, он сказал, что Володя Овчинников все оплатил и ему от меня ничего не надо. Позже я пригласила другого фотографа, выпросила Сашины работы у всех коллекционеров, из которых ни один мне не отказал, и этот человек, много раз приезжавший ко мне с аппаратурой, наконец завершил работу. Надо сказать, не совсем безупречную.

После этого началась долгая маета в попытке сделать альбом. Ни денег, ни опыта в подобных делах у меня не наблюдалось. Я неукоснительно прислушивалась к советам друзей-художников. Еще не начался процесс присвоения плохо лежащих государственных капиталов, еще не было речи о том, что можно напечатать альбом на свои деньги, которых все равно не было.

Я отправилась к свекрови, и на военном совете двух непрактичных и ничего не ведающих женщин было решено согласиться на предложение Хайди[1].

Вот так история с первым куском сыра привела к появлению Сашиных работ на американском континенте.

* * *

Тусклая очередь из уезжавших на постоянное место жительство за границу людей, преимущественно интеллигентного вида, подпирала свободные стены в тесном закутке комиссии по вывозу культурных ценностей из страны. Немногочисленные стулья были хронически заняты. Вывозились семейные реликвии, какая-то посуда, столовые приборы, предметы мебели. Все это должно было быть сфотографировано в нескольких экземплярах, предъявлено к оценке, после чего отъезжавшие занимались оплатой пошлины. Художники, залетавшие сюда, чувствовали себя патрициями. Они всего лишь отправляли работы на выставки или же помогали оформить вывоз кому-то из здешних сидельцев.

[1] Естественно, никакого альбома сделано не было, Хайди интересовала только продажа работ. Позже все работы я забрала.

Богиней Изидой, верховным божеством этих мест была Тамара Токарева. Достаточно молодая и грузная, она сидела за столом в центре основного помещения. Ее от природы насупленное лицо иногда обретало игривое выражение. Появление художников, входивших без очереди и без признаков робости, действовало на нее, как свежий бриз на приувядшую было зелень деревьев. Она была владелицей огромной коллекции работ, подаренных ей мастерами кисти с небрежным издевательским подобострастием.

Однажды Тамара со своей оруженосицей Асей, высокомерной дылдой, посетила мастерскую Саши Гуревича.

Встреча с дамами из комиссии по вывозу культурных ценностей была необходима, так как Саша собрался уезжать в Израиль. Он совсем этого не хотел, но почти взрослому его сыну Мише грозила армия, где уже вовсю цвела дедовщина. Хрупкому еврейскому подростку, с лицом, словно списанным с одного из фаюмских портретов, явно было нечего там делать.

Приглашение оформить работы на вывоз прямо в мастерской было принято с энтузиазмом.

В то время работы Гуревича были из наиболее востребованных для вывоза устремившимися из страны людьми, а сам Саша с его кротким характером являлся тогда некоей боксерской грушей, на аморфной поверхности которой вылупляющиеся один за другим российские галерейщики оттачивали свое мастерство по пригибанию художника к ногтю.

Прием должен был непременно пройти по high-классу и готовился трепетно и скрупулезно. Несколько дней подряд Саша Гуревич таскал в мастерскую на Казначейской улице напитки и фрукты. Жена его, Женя, очень милая женщина, волшебно готовила. Я участвовала в спектакле на ролях партнерши, так как мы с Аней собрались ехать на выставку в Калифорнию с частью Сашиных работ и несколькими работами Гуревича. Приличное количество работ Саши Манусова было им оставлено в Америке.

Не знаю, как оценить с позиции времени эти приемы — как нечто срамное, фарсовое с оттенком кафкианской вакханалии или же как чисто развлекательное юмористическое действо. Зашельмованное и никому не нужное неофи-

циальное искусство (если иметь в виду государственные институции) оказалось вдруг перспективным и выгодным для таможенников и работников комиссии по вывозу культурных ценностей. Процедура состояла из нескольких стадий. Вначале оформлялись бумаги. В утыканных печатями листах проставлялась стоимость каждой работы и потом с общей суммы уплачивалась пошлина. Затем вручались конверты с пока еще советскими рублями, а также дарилась работа. И третьим этапом шли возлияния с шикарными по тем временам яствами.

Дамы к Гуревичу, помню, крупно опоздали, жаловались на обилие работы, плохой транспорт, на то, что пришлось ехать на такси. Лукуллов пир длился бесконечно. Вручение наград производилось в отдельной комнате.

* * *

Когда в аэропорту мы подволокли два любовно сколоченных ящика с работами к таможенному прилавку, в глазах дежурного зажглись сигнальные лампочки. Он сказал, что сейчас позовет искусствоведа, и через короткий промежуток времени явился с дамой. Лицо ее озаряло садистическое предвкушение грядущего удовольствия, и оно ее не подвело. Просмотрев бумаги, дама с тем же выражением лица заявила, что работы оформлены неправильно, там проставлены заниженные цены на картины этих «двух художников, которые находятся в особом списке и составляют гордость ленинградского искусства».

После того как она победно удалилась, таможенник пробурчал:

— Даже я знаю Гуревича.

— Ну, это я Гуревич, — отозвался Саша и, повесив свой внушительный нос, стал похож на Маленького Мука из сказки братьев Гримм.

Работы, как я уже упоминала, бедный Гуревич повез обратно.

* * *

Как-то Саша позвонил домой с работы. Он работал библиотекарем в художественной школе Невского района, где часто замещал преподавателей.

— Здесь привела девочка щенка, — сказал он, смущаясь, — родители его выгнали из дома. Он помесь эрделя с овчаркой, он сидит в классе, но я его еще не видел.

— Так пойди посмотри, — предложила я.

— Я боюсь смотреть на него, могу не удержаться и возьму его. Как ты на это смотришь?

В этот вечер мы встречали его около дома. Он вел на веревке крупное тощее существо с жалобными глазами. Существо двигалось вприпрыжку, левая задняя лапка его горестно повисла. Оказалось ее прищемили дверью. Это был смешной милый пес. Саша очень гордился его благородными овчарочьими пометами: бородавками на щеках, торчащими ушами и солидным хвостом. При этом у него висела бородка и были крупные эрдельи глаза. Таких бедолаг один наш знакомый окрестил д'Артаньянами.

Мы назвали его Тоби, но не в честь шекспировского героя. Для нас он был дядюшка Тоби, герой романа английского писателя Стерна. Когда Саша умер, я в наступившие бессонные ночи, открывая глаза, сразу натыкалась на испытующий взгляд Тоби. Полулежа на своей подстилке, он не сводил с меня глаз. Это не был вопрос, это было знание, соучастие в горе, приятие его и поддержка. В эти ночные часы он казался сверхъестестсвенным существом, пришельцем из глубин сознания.

Казалось, сама Вселенная с ее нехитрой истиной смотрела на меня.

Мы все вместе приехали в Америку — Сашины работы, Тоби и я.

* * *

В одну из таких ночей мне вспомнилась другая, летняя ночь. Ирка Кулешова, внучка бывшего президента Академии художеств Бориса Иогансона, плясала в ночи с Сашей на

кухне под песню «Кто-то с горочки спустился». Плясала она лихо, а внешне была «цыганухой». Дочь корифея советской живописи родила ее от какого-то цыганского человека, который вскоре после этого события исчез. Ирка много пила и в соответствующем состоянии любила пророчествовать. Пел и играл на гитаре ее муж, высоченный, худой, гривастый и кроткий Лешенька Гесслер. Смотреть на них было приятно. Ирка мастерски орудовала наплечным цветастым платком, Саша ладно смотрелся, выделывая коленца, Тоба экстатически подвявкивал.

Когда я взмолилась, что надо пощадить соседей, Ирка отвела меня в комнату.

— Ты живешь со смертью в душе, — распевно сказала она, усаживаясь и буравя меня маленькими пронзительными глазками. — Скоро его не будет, он уйдет, когда ты еще не будешь к этому готова...

— Что ты замерла? — вскинулась она. Округлые поптичьи глаза вперились в меня, но при всем этом она вдруг почему-то показалась мне незрячей. — Ты что, боишься смерти? Ты когда-нибудь прыгала с парашютом? Или ныряла с вышки? Почему нет? Страшно? Страшно, потому что это переход из одного состояния в другое. И смерть — это тоже переход в другое состояние. Там будет прекрасно. Мы все там встретимся. Там лучше, чем здесь, — монотонно, словно в трансе, бубнила она.

Она раскачивалась из стороны в сторону, платок нехотя сползал с плеч:

— Ты создана, чтобы нести свет и радость, но ты живешь со смертью в душе. Ты пройдешь через этот ужас, но ты выживешь, ты должна быть его вдовой, чтобы полностью ему отдаться, чтобы посвятить себя ему окончательно. Твоя жизнь уже состоялась. Ты будешь черная, страшная, седая, но ты выживешь.

Они приехали к нам из Москвы всего на три дня. Леша привез Ирину, работавшую в АПН[1], познакомиться с городом, в котором она никогда не была. В день приезда они

[1] Агентство печати «Новости» — информационный и публицистический орган советских общественных организаций.

отправились во Дворец молодежи, где была выставка ТЭИИ. Мы ожидали их к вечеру, так как ехать туда приходилось через весь город и с несколькими пересадками. Но они вернулись почти мгновенно. У них были озаренные лица, в раздутой сумке бренчало стекло.

— У вас тут вино дают, — выдохнул Леша, ставя сумку на пол. — У нас в Москве ничего подобного нет. Это было в разгаре борьбы Горбачева с алкоголизмом. Хмурые мужики в очередях за водкой с тусклой ненавистью называли его «папа». В сумке оказалось семь бутылок портвейна. Все три дня гости не выходили из кухни. В день отъезда они вышли из дома за три часа до отхода поезда.

— Почему так рано? — удивились мы. — От нас до вокзала полчаса на трамвае.

— Надо же Ирке город показать, — рассудительно отвечал Лешенька.

Это было за год до Сашиной смерти.

Сам Леша Гесслер погиб через пару лет после этого, попав в центре Москвы в нетрезвом виде под автобус.

После того, как Саши не стало, я много раз пыталась связаться с Ириной. Но это не удалось. Они поменяли квартиру, а нового адреса у меня не было. Ефим Друц, которого я просила соединить меня с Ириной, наотрез отказался это делать. Он считал ее виновной в трагической Лешиной смерти.

* * *

Друг Сашиной юности, человек гигантских параметров, Иосиф Храбрый сказал мне после того, как Саши не стало:

— Тебе не повезло.

И в ответ на невысказанный вопрос пояснил:

— Потому что Сашка и человек прекрасный, и художник обалденный. Это уникальное явление. Я лично не знаю никакого другого художника с такими качествами.

Саша не раз повторял в тревоге: «Ну почему я всем нравлюсь? Почему?»

И с расстановкой отвечал: «Наверное, во мне есть что-то очень гнусное».

Его мать, Надежда Владимировна, не страдала отсутствием снобизма. Она часто раздраженно говорила:

— Почему Саша такой простой? У него всякие разные друзья, много самых обычных людей, он всем пытается что-то сделать, как-то помогать. И почему он, когда приходят покупатели, сразу их отправляет к друзьям? Другие художники его круга ведут себя совершенно иначе.

Она сидела за чашечкой дымящегося кофе, мастерски сжимая сухими точеными пальцами длинную тонкую трубочку сигареты. Угольного цвета глаза прожигали собеседника воинствующим недоумением.

* * *

Когда мы взяли нашего Тобу, круг общения расширился до беспредельности. Произошло это за счет собачников, так мы называли владельцев собак. Появились друзья и некоторые на всю жизнь. Саша ходил делать уколы заболевшим собакам. Как-то его попросили посидеть пару часов с внучкой одной знакомой. С ребенком случилась «детская неприятность», Саша убрал за девочкой, постирал детское бельишко и повесил сушиться.

Художник Валентин Герасименко отмечал после его смерти: «Думаю, главным его глубинным человеческим качеством была удивительная способность доброжелательного общения. Мне кажется, что каждый, кто хоть раз общался с ним, начинал воспринимать его как товарища, о котором невозможно ни говорить плохо, ни думать дурно».

Саша говорил:

— Во мне спокойно живут сразу два человека. Они совсем разные. Один, который в мастерне, он суровый, мрачный и хочет быть один. Это когда работа идет. А другой — совсем домашний, любит готовить, гулять с Тобой, мыть посуду и особенно гладить.

— И вообще — что это за фамилия у меня такая? Бесцветная. Совсем не звучит. То ли дело — Орлов, Бихтер, Тыкоцкий, Гаврильчик, — перечислял он знакомых художников. — А то — Манусов. — И он присвистывал, словно проколотый воздушный шарик.

* * *

Выводя нашего Тобу-д'Артаньяна на прогулку, мы подружились с преподавателем института им. Бонч-Бруевича. Называли мы его коротко — Сан Саныч. На выгуле принять его за институтского педагога было невозможно. Для прогулки со своей красавицей колли Лаймой он обряжался в древнюю хламиду прабабушкиных времен, такие же брюки и что-то вроде бот на ногах. Богатырского сложения, с грубым лицом, он поражал нежнейшим нравом и заоблачной любовью к своей собаке, у которой была нездоровая печень. Он зорко следил за отправлениями ее организма и после каждого основательного ее приседания бежал осматривать очередную кучку. Он изготовливал и поил ее травными отварами, выгуливал трижды в день, готовил ей диетическое питание. Однажды в споре с милиционером, который требовал штраф за выгуливание собаки без поводка, он что-то нелестное выразил в адрес блюстителя порядка. Разозлившись, тот схватил Сан Саныча за рукав его хламиды и играючи оторвал его, после чего, слегка сконфуженный, удалился без принятия специальных мер. Сан Саныч отправился домой, принял душ, переоделся в лучший костюм, надел щегольской плащ и, взяв в руки дипломат, отправился в участок. В дверях он столкнулся с этим самым милиционером.

— Вы к кому, товарищ? — почтительно спросил тот.

— Я пришел выслушать ваши извинения, — отвечал Сан Саныч, — Вы только что грубо напали на меня, нанесли оскорбление действием и порвали мою куртку.

Извинения он получил мгновенно. Они перемежались жалобами на невыносимую нагрузку, маленькое жалованье и неблагодарное население.

Сан Саныч обожал Сашу. Прогулки их отличались информационным накалом, как того и требовало время — середина 80-х, — однако всегда проходили в гармонии.

После Саши мы частенько встречались на выгуле с Сан Санычем. Мажорный заряд начала перестройки сменился у него горечью. Зарплату им перестали выдавать, жизнь словно обуглилась. Кормить собаку мясом не было возможности. Очереди к мясным прилавкам заполняли магазины. Народ

смотрел на владельцев собак ненавистно, говоря, что собаки съели все мясо и людям ничего не осталось. Сердце в широкой груди Сан Саныча тосковало и тоже обугливалось. Однажды на выгуле он начал рассказывать мне о происках евреев, которые, оказывается, во всем виноваты. Он сыпал именами и почерпнутыми где-то фактами злодейских деяний представителей этого племени. Я, онемев от неожиданности, вяло возражала, но его будто завели ключом, как говорящую куклу. Глаза его зацепенели, превратившись в два медяка, текст изливался из него бурля, словно вода из перекрученного крана.

— Сан Саныч, ну что же вы такое говорите? — наконец взмолилась я. — Вы же умный человек.

И тут он как споткнулся и в глазах его тающей радугой мелькнула нежность.

— Вы давно были у Сашеньки? — спросил он, опомнившись. Он имел в виду кладбище.

С тех пор национальный вопрос никогда не поднимался.

* * *

Наш строгий гуру Владимир Иванович Маланичев в самом начале последнего Сашиного лета читал нам лекцию о космических знаках. Нам, как и всем многочисленным его последователям, нравилось общение с ним, мы любили его занятия и непреходящую строгость в отношении тренировок и питания. Нам казалось, что, следуя его указаниям, мы становимся сильнее. Но Саша провидел иное. Я уже упоминала его запись в блокноте с маланичевскими советами, где он написал: «Маланичев не спасет».

Закончив лекцию, наш гуру предложил на пару минут закрыть глаза и сосредоточиться на том, что мы увидим, какая картинка возникнет в нашем внутреннем зрении. После этого полагалось записать увиденное.

Бумаги под рукой не оказалось, и я, сидя рядом с Сашей, написала на полях газеты: «Я вижу сад, где земля засыпана цветами».

Именно это я и увидела через два месяца в день его похорон.

Саша похоронен на Волковском кладбище, у решетки, граничащей с Литераторскими мостками. В его ряду с левой стороны могила архитектора Тона, автора Московского вокзала и церкви на Литераторских мостках, смотрящей на могилу. А через три-четыре захоронения в том же ряду, но уже за решеткой, лишь недавно приведенной в порядок, исчезает могила последней любви Тютчева, юной Денисьевой и ее новорожденного ребенка. Наземная плита с испаряющимися буквами не привлекает внимания.

2005 г.

* * *

Все над кровлею сводчатой
Ждали зова и зодчего.
И поэты и летчики —
Все отчаивались.
Ибо бег Он — и движется.
Ибо звездная книжица
Вся: от Аз и до Ижицы —
След плаща Его лишь[1].

Марина Цветаева

Айна Любарова, 13.09.1990,
студентка Тартуского университета

Эта выставка — продолжение жизни Александра Манусова.

Его внезапная смерть — лишь порог, за которым, надеюсь и верю, наступает новый этап жизни его души в его прекрасных картинах — чистых и светлых.

Михаил Петренко
07.09.90

[1] Две последние строфы из цикла Марины Цветаевой «Бог». Автор отзыва отсылает к работе А. Манусова «Композиция», 1990, х., м., 70 х 60, в альбоме на стр. 88, в каталоге № 102.

Благодарим за выставку. Потрясены смертью...

Александр Некрасов[1]
Михаил Албегов
Руководители общественной организации
«Галерея», г. Пушкин

Очень хотели бы приобрести (если возможно) для нашего города работы. Тел. 466–04–60

Несомненный талант, причем только входивший в лучший период.

Особенно удивляет тонкий баланс между реальной композицией и абстрактно-экспрессионистическим обращением с цветом.

Подпись неразборчива

Самое сильное впечатление о цвете я встретил у Саши.

Евгений Орлов

Пришли к тебе, дорогой, и ушли потрясенные. Совершенство твое ослепило нас, увы, после твоего ухода, внезапного, нелепого и ужасного.

А. Бихтер
В. Ривлин
12.09.90

Увидимся, когда-нибудь...

Борщ

Спасибо, что есть такие люди, как ты.

Верцинские Юля и Евгений
13.09.90, 15:30

[1] Александр Некрасов — создатель и бессменный директор музея «Царскосельская коллекция», г. Пушкин.

Прекрасная экспозиция картин А. Манусова последнего периода. Большой талант.

Прощайте, Саша. Мы всегда помним и ценим встречи с Вами и Вашими замечательными произведениями.

Л. П. и А. М. Сухотины

Дорогой Саша!
Спасибо, что ты был...
Спасибо за твое искусство!
Потрясены...

Дашковский
Малеваная
17.09.90

Здесь все пишут о смерти. И действительно, эта мучительная внезапность света, безраздельность тьмы, сгорание жизни в последних Сашиных работах, конечно же, не случайны. Зная путь художника, замечу, что никогда, пожалуй, до этого не звучал его голос так определенно, отчетливо. С такой резкостью выговаривается последнее и насущное. Есть и новая для Саши тема в этих последних работах (например, работа, висящая над выключателем) — не двое, не обычная группа, но толпы людей, какая-то человеческая стихия, трепещущая над бездной, стекающая в нее...

Все это подлинно, крупно. И в который раз стыдишься зажатого, не сказанного другу при жизни.

С любовью, с душевной теплотой и болью о Саше ухожу отсюда.

Михаил Иванов

Эту выставку Саша хотел и готовил.

Она — последний его нам подарок и первая в осмыслении его завершенного творческого пути.

Остается надеяться, что значение этой выставки, как исторической, не останется незамеченным.

Николай Благодатов

Спасибо, Саша, что ты был и остался светлым хорошим человеком. Это видно по твоим картинам.

М. Терешенкова

Прощай, очень добрый и славный человек. Спасибо за твои картины.

Будем тебя всегда помнить.

Подпись неразборчива

Всегда будем помнить доброго светлого талантливого человека — Сашу. Спасибо за светлое творчество, за вдохновение, за радость, которые ты оставил людям.

Амосова

Очень много слышали о Вас, но впервые увидели Ваши картины.

Не хочется верить, что Вас нет с нами!

Столько доброты, подлинного, светлого таланта, радости, яркости в Ваших работах! Становится легче жить нам. Низкий поклон Вам за это!

Полонская

Когда мне прислали приглашение на выставку, вторая дата — 1990 год — меня только удивила. Мысли не было, что это смерть. Саша — ровный, светлый, живой, жизнерадостный, добрый и сейчас во мне, я могу с ним говорить, видеть его. Мне страшно было идти сюда. Только позавчера мне сказали о его смерти. Смотрю в смятении. В таком ярком полете жизнеощущения и самовыражения ушел художник. Так рано!

Пути Господни неисповедимы.

Началась у Саши дальнейшая, неведомая нам жизнь. Надеюсь, что ему хорошо. Тьмы в нем не было.

А у картин будет долгая жизнь. И свое место в искусстве. Они будут нести свет, радость, нежность...

Символична «неоконченная» картина. Уходит цвет... И перед людьми яма.

Жизненный путь кончается...

Ленина Никитина

Саша! От твоих работ невозможно уйти. С ними невозможно расстаться. Они стали частью моей жизни.

Татьяна Шехтер

Любим. Давно. Всегда.

Дубровин
Гершт

Прекрасные работы; настоящая живопись, просветленное восприятие жизни (деревья, день, вечер, прогулка — все подлинное); не выдуманный, а подлинный, но настоящим художником увиденный и, конечно, преображенный мир.

Как жаль, что Саши Манусова уже нет и не будет продолжения этих работ.

Спасибо.

Л. Шраго

Спасибо! Очень интересные картины, производят очень сильное впечатление. Думаю, что у них будет долгая жизнь.

Р. Новик,
20 сентября 1990 г.

Саша! Твоя вторая жизнь — жизнь твоих картин, прекрасна и вечна, как вечно дерево жизни, как прекрасен и вечен гимн солнца, цвета и любви в твоих произведениях.

20 сентября 1990 г.
Светлана Ильинская

Мне сегодня особенно грустно расставаться с Вашими, Саша, картинами. Я их полюбила, узнав на этой прелестной выставке. Жаль, что ее не дождался Саша.

А я, его и ее (выставки) скромный хранитель — дежурная, полюбила Ваши картины и, пока нахожусь еще на этой земле, буду их помнить всегда...

Низкий поклон мой Вам.

Картины же Ваши останутся вечно...

Г. Новикова[1]
20 сентября 1990 года

Очень понравились работы. Потрясающие цветовые сочетания.

20.09.90
Подпись неразборчива

Прекрасный цвет.
Сколько души и мысли.
Спасибо Тебе.

20.09.90 г.
Татьяна Агабабова

Спасибо учителю.

С благодарностью. В. Куликов

Цвет и сила... жизнь...
Такая прекрасная...

Подпись неразборчива
20 сентября 1990 г.

[1] Галина Васильевна Новикова — мать художника Тимура Новикова.

* * *

Это выдержки из книги отзывов с выставки Александра Манусова в редакции журнала «Аврора». Выставка открылась 7 сентября 1990 года, через десять дней после смерти художника. Длилась она две недели.

В дальнейшем будут приводиться отзывы зрителей с других выставок.

Но именно здесь, именно эти голоса потрясенных внезапностью ухода художника и человека душ сливаются в высокий хорал.

И это камертон к тому, о чем пришлось рассказать выше.

ИЗ ПАМЯТИ.
КОЕ-ЧТО ИЗ ИСТОРИИ САШИНЫХ РАБОТ

Говорят, что нет пророка в своем отечестве, но нет и эпохи, которая не нуждалась бы в таком пророке — в личности, способной увидеть и прояснить для своих современников уникальность происходящего здесь и сейчас, раскрыть связь уже проявленного, видимого и еще неявного, глубоко сокрытого в духовных глубинах эпохи. Всегда культура нуждалась в том, кто сумеет соединить опыт прошлого и предчувствие будущего, раскрыть человеческий смысл этого сопряжения. Способность выразить эти смыслы и означает сотворить пророчество.

Именно такое содержание и определяет уникальность творчества Александра Манусова — художника, которому открылось его время, как если бы он преодолел физическую ограниченность жизни и увидел современный ему мир «космическим взором», озаренным светом и знанием Вечности. Замечательно и то, что он сумел вернуть своему современнику — пленнику утратившей ценностные ориентиры эпохи — ощущение собственной подлинности, понимание своего предназначения, путь к которому лежит через жертву, раскаяние и покаяние.

Работы Манусова можно назвать эмоционально-психологическим эквивалентом эпохи. В них неразрывны драматизм и вера, люди и природа, космос и дух человеческий.

Ландшафты в его произведениях воплощают в себе библейскую сущность бытия, а его «деревья» воспринимаются как голос этого мира, как мольба, обращенная к людям и к небу...

Можно с уверенностью утверждать, что понимание нами культуры XX века не может быть полноценным вне знания и изучения творчества А. Манусова, без проникновения в смысловые слои его произведений. В общении с творчеством Манусова нуждаются современные зрители, ис-

кусствоведы, философы, ведь его искусство — одно из самых ярких явлений второй половины XX столетия.

Татьяна Шехтер,
искусствовед, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой искусствоведения СПбГУП, зав. сектором специальных программ Государственного Эрмитажа, заслуженный деятель науки Российской Федерации

Мы не можем еще в полной мере осознать эту трагедию — потерю художника. Но если о человеке можно сказать: Бог дал, так Бог и взял, то плоды человеческой жизни вечны, если они, конечно, не будут уничтожены другими людьми.

Александр Манусов
о смерти художника Евгения Михнова-Войтенко

* * *

Время, казавшееся бесконечным, вдруг обернулось кусочком шагреневой кожи, оставив, однако, свои подретушированные пометы. И когда думаешь об этом, осознаешь, что оно не имеет права исчезнуть без следа.

Я не знаю, насколько целесообразно это пафосное вступление.

Близкая подруга предложила мне зафиксировать историю ряда Сашиных работ. В основном тех, судьбу которых оказалось недоступным даже отследить.

И в свете этой полудетективной работы памяти выявились факты, характеризующие ряд личностей и ситуации, которые можно было бы обобщить и дополнить. Это всего лишь наброски, работу над которыми, если получится, хотелось бы продолжить... Словно входишь с фонарем в забытую кладовую памяти, стираешь пыль в темных углах и обнаруживаешь неожиданные сокровища...

На холме

Эта работа (в каталоге[1] № 52) была представлена в выставочном зале музеев Ленинградской области на Литейном, 57 в 1985 году. Работа относится к так называемому «темному периоду». Ее размер 65 х 55 см, масло, холст. Она была выставлена вместе с другими работами, в частности, серией «Старики» (в каталоге № 207, воспроизведена на стр. 72–73), работой «Купальщицы» 1983 года (в каталоге № 44, воспроизведена на стр. 74), «Купание» 1984 года (в каталоге № 50, воспроизведена на стр. 81), «Под деревом» (в каталоге № 58, воспроизведена между стр. 48 и 49).

Работа «На холме» привлекла внимание художников и зрителей. Там была изображена группа тесно прижавшихся друг к другу, почти слившихся в единое целое человеческих фигур, стоящих на возвышении. У Саши есть серия работ на эту тему, небольших набросков и зарисовок. Одну из них очень одобрил художник Гольдштейн, позже покончивший с собой самым жестоким образом. Эту небольшую пастель Саша включил в экспозицию американской выставки группы «Алеф» в Луисвилле, штат Кентукки, в 1989 году. Но та работа, о которой идет речь, холст «На холме», отличалась от всех каким-то особым напряжением, невероятной скомпонованностью цвета и композиции. От нее исходил заряд скрытой, но мощной энергии. Один из художников ТЭИИ, Алик Тагер, который вел группу детского рисунка в Доме народного творчества на улице Рубинштейна, привел как-то на выставку группу детей.

— Что вы видите на этой картине? — спросил он.

— Мы видим людей, — ответил кто-то из детей.

— Кто эти люди, как вы думаете?

— Это семья.

— А что они делают?

— Они ждут кого-то.

— А кого же они ждут?

— Они ждут отца. (Сейчас мне подумалось: а, может, Отца?)

---

[1] Александр Манусов. Живопись. Графика. Санкт-Петербург: «НП-Принт», 2001. (Серия «Авангард на Неве».)

Алик сам рассказал об этом Саше. Позже Тагер уехал в Германию со своей женой, Натальей Батищевой, тоже художницей. Алик, высокий эффектный человек, рисовал тогда казавшиеся мне странными огромные физиономии на холсте, что-то вроде целковских, вернее, слабое их отражение. Коллекционер Николай Благодатов позже с огорчением говорил, что сверхталантливая жена Тагера, Наташа, перестала работать после отъезда.

Через довольно короткое время эту работу купила пара молодых людей, собравшихся уезжать в Америку. Это было время, когда картины известных художников были более чем востребованы, так как перестройка вызвала бум на русское искусство, и работы их шли буквально с молотка. Выезжающие на постоянное место жительство в Америку в то время считали, что покупка работы художника с именем — это выгодное капиталовложение и что на Западе их расходы окупятся сторицей. Саша горько называл их «коммивояжерами от искусства, вызывающими отрыжку». В то же время он, смеясь, рассказывал, что работы Александра Гуревича оказываются проданными, не успев еще высохнуть. А молодых людей, купивших «На холме», привел к Саше в мастерскую художник Михаил Иофин, который сам позже оказался в Сан-Франциско. Осенью 1989 года мы с Сашей были в Америке на выставке группы «Алеф», после чего по частному приглашению приехали с Гуревичем в Калифорнию. Мы встретили хозяев Сашиной картины в крошечной квартире Миши Иофина. Они ворвались в несколько истерически веселом, как нам показалось, настроении, радостно повторяя, что сейчас едут в зоопарк.

После Сашиной смерти знакомые американцы пригласили нас с Аней в Америку, полагая, что мы сможем устроить выставку его работ. Но таможня не пропустила эти работы, и они вернулись в Купчино. В Сан-Франциско я встретилась с Мишей Иофиным и попросила встречи с хозяевами работы «На холме», чтобы сделать слайд, так как такового не было, а мы уже начали подготовку к альбому. Миша, потупясь и испытывая явную неловкость, сказал, что эти люди отдали картину в галерею, он не сказал в какую, и что она не вернулась, пропала самым таинственным способом.

Я очень любила эту работу и, когда Саша сказал, что продал ее, немедленно заплакала. Случилось это на улице, когда мы торопились на трамвай. Возможно, это нескромно прозвучит, но мне хочется, наконец, выговорить то, что тогда произошло. Мы уже переходили трамвайные рельсы. И Саша негромко сказал: «Не переживайте, Осиповна, все равно все ваши будут». И на мой ошеломленный, ухнувший в бездну взгляд он спокойно ответил: «Потому что вы организатор и вдохновитель всех наших побед». И, разряжая буффонаду этого дежурного лозунга сталинских времен, вдумчиво и чересчур спокойно добавил: «Правда, правда».

От этой работы осталась только черно-белая фотография.

Работа, проданная академику Мигдалу

Однажды вечером Саша пришел домой в очень приподнятом настроении. Его знакомые, коллекционер Рубен Павлович Сеисян с женой, которую звали Женя, привели к нему в мастерскую знаменитого академика Мигдала. Академик оказался очень простым в общении и приятным человеком. Саша продал ему работу за символическую цену, они посидели, выпили чай и разошлись. Позже Саша сказал: «Это неважно, за какую цену я отдал работу, главное, что она будет в коллекции такого человека, как академик Мигдал». После Сашиной смерти я позвонила друзьям академика Мигдала и сказала, что хочу узнать подробности об этой работе и, по возможности, сделать слайд. Рубен, который был доктором физико-математическим наук, профессором и заведовал лабораторией в Физико-техническом институте АН СССР им. Иоффе, грустно сказал, что академик увез эту работу к сыну в Америку, где и умер.

Так как моя американская подруга Айрин Голдман знакома с сыном академика Мигдала, который живет и работает в Принстоне, я через приличный промежуток времени попросила у нее телефон этого человека. Я говорила с его женой, Татьяной, которая сказала мне, что они в полном недоумении и никакой картины художника Александра Манусова не знают и никогда не видели.

Много позже мы посетили с Айрин особняк (по-другому я не могу обозначить это здание), принадлежащий сыну академика. Расположен он в Принстоне, одном из престижнейших университетов Америки, и сын академика, являющийся тоже видным ученым, живет там с семьей. Мы присутствовали на концерте российского певца, с блеском исполнившего ряд басовых партий. Публика, в основном бывшие российские граждане, была подстать дому, со знаком качества: степенные, хорошо одетые интеллигенты. После концерта был прием с умопомрачительно вкусной едой, приготовленной матерью хозяйки. На стенах гостиной, где происходил журфикс, висело множество работ российских художников. Сашиной работы там не было, да я и не ожидала ее увидеть.

Сама я не знаю, какая это была картина, и очень жалею, что она канула в неизвестность, хотя поначалу ее судьба казалась такой многообещающей.

О работе, принадлежавшей Льву Борисовичу Каценельсону

Лев Борисович Каценельсон, известный ленинградский коллекционер, жил в центре города, у Пяти углов, на Загородном проспекте. В молодости, насколько мне не изменяет память, он был учеником Филонова. Он писал мемуары и дал мне как-то почитать одну часть из них, но я, к сожалению, не помню подробностей. У него была очень хорошая коллекция картин ленинградских неофициальных художников. Среди них была и Сашина работа под названием «Прогулка». (В нашем альбоме она находится на стр.70, в каталоге № 43.) Это одна из немногих Сашиных работ «темного периода», где в центре происходит какая-то волшебная мистерия цвета и где группа женских фигур движется под кроной деревьев. Это уже его поздний парафраз темы «Зонтики». Таинственный мистический свет, переходящий в сияние, создает особый, неповторимый колорит этой работы.

Мне кажется, что эта работа перекликается с работами «Дорога в лесу» (стр. 76 в альбоме и № 61 в каталоге), а также «У ручья», моей любимой, где тот же непостижимый источник света поражает наше зрение (воспроизведена на стр.

78, в каталоге № 68). Я называла ее мерцающей, что очень забавляло Сашу. Эта работа кажется мне шедевром. И не только мне. Именно после этой работы художник остановился в творчестве на полгода. Он уже все сказал на данную тему и не мог больше двигаться в том же направлении.

После полугода терзаний и самообвинений в бездарности он создал оглушающую синевой работу «Купание» (стр. 94 в альбоме и № 71 в каталоге). Но об этом позже.

Когда Саша умер, в редакции журнала «Аврора» была организована его посмертная выставка. Она не должна была быть посмертной, так как планировалась давно, но случилось другое. В организации выставки принимали большое участие Е. Фигурина и В. Герасименко. Работа «Прогулка» не была включена в экспозицию, там были представлены позднейшие работы. Но Лев Борисович привез ее с собой и держал в руках так, чтобы все могли видеть.

Мы несколько раз бывали в гостях у Льва Борисовича после этого и неоднократно встречались там с художницей преклонных уже тогда лет. Но она всегда была в прекрасной форме, тщательно одета и причесана. Ее звали Ия Алексеевна Кириллова. Позже кто-то сказал, что у них давно были романтические отношения и, может быть, они даже были женаты какое-то время. Группа «Митьки» считала Ию Кириллову одним из своих членов, она иногда выставлялась с ними вместе. Я не понимала и не понимаю «своеобразия» ее творчества. Что-то вроде коллажей или аппликаций с изображением женских фигур и еще какими-то вкраплениями из блесток. В работах чувствовался явный псевдонациональный акцент. Она называла Льва Борисовича Левушка или Левочка и вела себя очень по-светски. После смерти Льва Борисовича я через друга Саши, художника Александра Бихтера, нашла телефон Ии Кирилловой и спросила, можно ли одолжить эту работу для выставки. Ответ был запальчивый и раздражительный. Она сказала, что вся коллекция теперь принадлежит сыну Каценельсона и что она не может и, более того, не хочет его беспокоить и поэтому не даст никакой информации об этих работах. И что сын Льва Борисовича просил ему не досаждать вопросами о коллекции. Не только я, но многие питерские художники и коллекционеры были

потрясены и озадачены ее поведением. С питерского небосклона исчезло прекрасное собрание работ. Видимо, сын Льва Борисовича, которого никто никогда не видел, решил извлечь коммерческую выгоду из дела всей жизни своего отца. Очень надеюсь, что это ему не удалось.

Работа, присвоенная Георгием Михайловым

Среди слайдов Сашиных работ есть конверт, внутри которого находится маленький попорченный старый слайд одной из его ранних живописных работ. Там изображен двор многоэтажного дома, посередине стол и скамейки и группа людей за столом. Я никогда не видела эту работу, только ее репродукцию в небольшом каталоге, изданном в 70-е годы в Америке под названием Twelve from the Soviet Underground. Имеется также графический ее вариант, находящийся в собрании Государственного Русского музея.

Однажды вечером Саша пришел домой из мастерской. Работал телевизор на кухне. Мы в это захватывающее тогда перестроечное время смотрели его обычно за ужином. На экране было интервью с Жорой Михайловым, как его называли художники, и Георгием Михайловым, как его именовали тележурналисты, расточая дифирамбы борцу-диссиденту, пострадавшему от советского режима.

— А эта сволочь что здесь делает? — будничным голосом спросил Саша, отличавшийся удивительной толерантностью ко всем и вся. И помпезное величие фигуры на экране как-то сразу скукожилось, потускнело.

— Он украл целую выставку, набрал у всех прекрасные работы и потом никому ничего не отдал, какие-то грязные дела были с КГБ. И моя работа там тоже.

Позже Георгий Михайлов получил огромное помещение в центре города на Литейном проспекте и открыл огромную же галерею. Коллекционер Николай Благодатов, иногда из-за денег дежуривший там ночами, дал мне номер телефона, и я договорилась с Михайловым о встрече. Я шла туда, прекрасно зная, что никакого намека на то, что работой он владеет незаконно, делать нельзя. В галерее было собрание громадных и, на мой взгляд, в большинстве ужасающих тво-

рений на холсте. Имена нескольких художников были очень известны еще с периода Газа-невских выставок.

Владелец галереи вышел ко мне через какое-то время ожидания. Он оказался гораздо помпезнее в жизни, чем когда-то на экране телевизора, так как отличался огромным ростом и атлетическим телосложением. Голос его был без интонаций, а говорить с ним приходилось, постоянно задирая голову. Я спросила, знает ли он что-либо о судьбе данной работы, сказала, что мы работаем над альбомом и хотелось бы получить слайд.

Ему, и это очевидно, было как-то неуютно разговаривать со мной. Но деться было некуда.

— Да, — сказал он, — эта работа сейчас в Германии. Я туда довольно скоро поеду, зайдите сюда месяца через полтора.

Я сказала, что зайду, и никогда этого не сделала. Иметь с ним дело казалось чем-то аморальным.

Эта работа называется «За обеденным столом», 1973–74, х., м. Размеры неизвестны. В каталоге она стоит под № 2.

Георгий Михайлов скончался 10 октября 2014 года. Жизнь его была переполнена странными, зачастую авантюрными событиями. Он оставил коллекцию, состоящую из 14 тысяч работ, хотя ранее, в 2007 году, упоминалась цифра в 24 тысячи. Это количество поражает. В конце семидесятых и в восьмидесятые годы он был дважды осужден за спекуляцию работами неофициальных художников. Этим процессом активно занимались почему-то органы КГБ. Коллекционер приобрел репутацию диссидента, борца с режимом. За него успешно хлопотали два президента Франции и президент Америки Джимми Картер. В 1989 году он был реабилитирован Верховным судом РСФСР. В нулевые годы нового столетия на него, как он говорил, было совершено несколько покушений, одно из них со взрывом бомбы. В числе доверенных лиц коллекционера оказалось много нечистоплотных личностей; его адвокат был осужден на двадцать два года тюремного заключения за убийства. Галерея Михайлова на Литейном проспекте в конце концов оказалась выселенной властями. В 2008 году из его квартиры на Гороховой украли наиболее ценные работы. Отношение к нему и к его коллекции в Санкт Петербурге было неоднозначным.

Уважаемый мною правозащитник и художник Юлий Рыбаков написал после смерти коллекционера, что он «притягивал несчастья». Но мне кажется, что в основном он притягивал темные личности, которые и сеяли эти несчастья.

Но теперь его земная жизнь закончилась. И пусть он покоится в мире.

Пейзаж с красным деревом

— Когда он вошел, я сразу понял, что это мошенник, и твердо решил, что никакого дела с ним иметь не буду, — сказал Рихард Васми. — Но, представь себе, я через довольно короткое время подпал под его обаяние. И согласился отдать работы. Надо сказать, что при очевидной для всех натуре жулика он оказался довольно неплохим психологом. И к тому же пришел с очень красивой женщиной. Самое противное, что я и Шалю уговорил, и Грома. И они тоже отдали ему работы. А Шали уже нет. Я считаю себя его наследником и хочу получить его работы обратно. Мы на тебя очень надеемся. Помоги вызволить хотя бы Шалины работы. Этот негодяй не имеет права их задерживать.

Рихард повернул к окну свою скульптурно очерченную голову римского патриция и нервно затянулся дешевой сигаретой.

Так начиналась эпопея борьбы с человеком по имени Марк Мигдал, вывезшим в 1989 году около двухсот работ ленинградских художников.

Речь о Мигдале еще впереди. Скажу лишь, что большинство работ после трех лет изнурительного труда удалось вызволить. Из шести Сашиных работ вернулись пять. И лишь одна осталась висеть у Мигдала в его доме в Пало-Алто, Калифорния. Это «Пейзаж с красным деревом», 1988 г., х., м., 98 х 78. В каталоге работа значится под № 77. Мне хотелось одно время, чтобы это красное, горящее пламенем дерево обожгло этого человека.

Летний сюжет

На похоронах Рихарда Васми не было много народа. Пришел осунувшийся Валя Громов с женой Ларисой, «Митьки»,

Лена Фигурина с Валей Герасименко, Люба Гуревич, художник и критик Михаил Иванов, который потом произнес не совсем уместную речь, двоюродная сестра Рихарда.

Позже всех появился и сиротливо притулился в углу корпулентный лысоватый человек с огромным букетом простых полевых цветов. Он не подходил к художникам и так и стоял в отдалении с этими цветами, которые, по моему разумению, очень бы понравились Рихарду.

Лена Фигурина ойкнула с каким-то почтительным изумлением и сказала мне, что это новый коллекционер живописи.

Сразу после похорон он исчез. И только много позже я поняла, что это был Исаак Кушнир, на счету которого ныне более двадцати прекрасно изданных альбомов, посвященных лучшим художникам Ленинграда—Петербурга.

Он давно и страстно влюбился в некоторые Сашины работы, в частности, в работу «Летний сюжет».

— Я вижу здесь себя, — говорил он с дрожанием в голосе, — простого мальчика из далекой молдавской деревни.

Интересно, что известная содержательница московского салона живописи 1970-х годов, неприкрыто курируемого КГБ, Ника Щербакова, увидев ту же самую работу, спросила, как удивленно рассказывал Саша:

— Так это украинский художник?

Когда мы уже в разгаре работы над альбомом, сделав полный макет и отсняв все слайды, поняли, что денег на цветной вариант просто нет, я, по предложению Саши Бихтера, позвонила Кушниру. Прием по телефону был замечательный, мы договорились о встрече, и, тем не менее, сидя в троллейбусе, я позорно внутренне проплакала и промолилась всю эту недолгую поездку.

Просмотрев макет, Исаак немедленно сказал:

— Региночка, конечно, я помогу.

В день презентации альбома Сашина мама Надежда Владимировна, к которой он заехал за картиной «Летний сюжет», чтобы отвезти ее на выставку, сказала:

— Вы мне эту работу назад не привозите, она ваша.

Теперь «Летний сюжет» находится в огромной коллекции Кушнира, в его огромной же квартире на Кронверкской улице Петроградской стороны.

Я считаю Исаака Кушнира замечательной личностью, сверкнувшей вдруг на тусклом питерском небосклоне. Благодаря ему, правда, вопреки желанию Елены Боннер, около Библиотеки Академии наук (БАН), на Стрелке Васильевского острова, установлен памятник академику Сахарову работы скульптора Левона Лазарева. Ленинградско-петербургская культура очень ему обязана. А шероховатости его характера я не хочу расшифровывать.

* * *

Сашина неприхотливость в еде была восхитительна. Он ел все, что подавалось, любил готовить незатейливые блюда, любил мыть посуду и почему-то гладить. Он делал это с большим энтузиазмом и безукоризненно. При этом напевал.

Однажды, когда мы одновременно заболели гриппом, позвонила соседка Галя и спросила, не нужно ли нам что-нибудь из еды.

— Спасибо, Галя, нам ничего не надо, не беспокойся, — сказал он, — крупа у нас есть.

Чем потряс Галину на всю оставшуюся жизнь.

«Библейский сюжет» (№ 1, желтый)
«Библейский сюжет» (№ 2, синий)

История создания этих работ тоже относится к пику отъездов состоятельных людей на Запад. Еще раз повторю, что на волне открытия Западом современного русского искусства зажиточные еврейские уезжанцы (а было их немало) сочли выгодным вкладывать деньги в покупку работ современных хуложников в надежде, что «там» все сторицей окупится. Как же они ошиблись! Но до осознания ошибок было очень далеко, а пока что они бегали по мастерским известных художников. Некоторые мастерские превратились в фабрики по рекордно быстрому изготовлению работ. Их пекли, как пирожки из готового теста. Ничего не хочу сказать плохого про любимую мною Елену Фигурину. Ее работы шли нарасхват и спешно увозились. Помню, как Паша, сын Валентина Герасименко, позже ставшего ее мужем, по просьбе Лены

высушивал ее работы феном. Редкие из именитых художников не увлекались этим марафоном.

Однажды Саша пришел домой озадаченный и сказал, что к нему привели женщину из Австрии, и она заказала ему две работы на библейскую тему. При этом было поставлено условие: все персонажи должны быть с лицами. А на тему персонажей с лицами Саша, смеясь, рассказывал следующее: кто-то из его друзей, членов Союза художников, взял его как-то с собой на комиссию по отбору произведений для очередной союзовской выставки. Знатные мастера кисти долго разглядывали Сашины работы, а потом один из них раздраженно сказал: давно пора научиться рисовать лица.

Дама, заказав работы, уехала обратно в Австрию, пообещав приехать за ними через два или три месяца, и Саша начал мучиться. Он просил приятелей позировать ему для этих работ и проводил массу времени в мастерской, добиваясь портретного сходства. До сих пор у меня есть эскиз портрета Леши Смирнова, друга Саши по Мухинскому училищу, которого Саша потом изобразил на переднем плане синего «Библейского сюжета». Леша, обернувшись через левое плечо, со своим всегдашним болезненным изумлением взирает на зрителя. До сих пор поражаюсь, как художнику удалось передать это ощущение хронического страдания души своего давнего друга. Я видела эти два больших полотна в их первозданном виде и поразилась академичности исполнения.

— Так ты, оказывается, умеешь рисовать лица! — вскричала я.

— Осиповна, кончайте язвить, — устало сказал Саша, продолжая с сомнением разглядывать новорожденные «картинки», одна из которых была на мольберте, а вторая прислонена к стене. Две людские группы были изображены в лучших традициях русского и советского изобразительного искусства. Словно все самое ценное, что он почерпнул на уроках живописи в Мухе, оказалось отображенным в этих полотнах.

Но жизнь им была отмерена предельно короткая. Некоторое время Саша прожил в режиме озадаченности и какого-то смутного отвращения. Как-то он сказал:

— Я хочу переделать эти картинки. И почти уже знаю как.

Через совсем короткий промежуток времени я уже смотрела на эти новые, неузнаваемые полотна.

Дама из Австрии приехала в назначенное время. Саша сказал ей:

— У меня не получились эти работы. Извините меня.

На желтой работе он оставил следы от предыдущей. Это вкрапления черного цвета на общем желтом фоне.

* * *

В апреле или мае 1991 года Татьяна Юрьева, искусствовед и директор Центра искусств им. Дягилева, предложила сделать Сашину выставку в Мраморном дворце. Это была большая ретроспективная выставка, занимающая более половины этажа огромного дворца. Выставка получилась внушительная, в ней было более ста работ, и она простиралась на много залов. Экспозицию делали Сашины друзья-художники: Евгений Орлов, Евгений Тыкоцкий, Елена Фигурина, Валентин Герасименко, Александр Гуревич, Александр Бихтер.

Каждый день на посту сидела дежурная. Мы с ней подружились. Она недавно вышла на пенсию, а до того всю жизнь проработала на каком-то заводе. Она сидела в самом последнем зале, в то же самое время считавшемся и первым по порядку. Но на этой ретроспективной выставке первые работы в хронологическом порядке были расположены далеко от нее, через еще один большой зал и анфиладу нескольких, меньших по размеру залов. Эта женщина, кажется, звали ее Валентина Ивановна, день за днем проникалась настроением выставки. Она ревниво наблюдала за посетителями, очень радовалась, когда к ней подходили с вопросами, объясняла, где что расположено, записывала часто для себя, что ей говорили о работах. Это был ее первый опыт в сфере искусства, и от того все происходящее ей казалось чудом. Как-то раз она сказала мне, указывая на висящий напротив ее стола «Библейский сюжет» № 1, тот самый, где Саша оставил темные вкрапления в желтом фоне и который так и не получила австрийская дама:

— А эту работу я видела во сне.

— Вы видели ее после того, как открылась выставка? — спросила я, не сомневаясь в ответе.

— Нет, — сказала она. — Я видела ее еще до того, как пришла сюда работать. Я, когда пришла и стала смотреть картины, сразу подумала: а эту работу я смотреть не буду, я ее уже видела.

— И вы видели ее в цвете, Валентина Ивановна?

— Да, вот совсем, как сейчас, — спокойно ответила она. — Все, как и есть.

Через какое-то время я ехала в трамвае с Женей Орловым, который так много сделал после Сашиного ухода и для него и для меня. Женя боготворил Рериха, дружил с его учеником, Николаем Алексеевичем Смирновым-Русецким, которого он позже похоронил на Волковском кладбище, недалеко от Саши. Я рассказала ему об этом странном случае, и Женя сказал:

— В этом нет ничего странного. Саша, когда работал, выходил в космос и брал оттуда свои работы. А эта женщина во сне тоже вышла в космос и там увидела то же самое.

Он глянул в окно, где слабо перемещались тусклые купчинские пейзажи:

— Саша ведь говорил, что если Библию изобразить, то не показом стада овец. Вот ему все и показали.

Однажды Валентина Ивановна встретила меня многозначительным взглядом.

— Я теперь все про Вас знаю, Регина Иосифовна, — сказала она торжественно.

— Что именно, Валентина Ивановна?

— Сегодня приходила очень пожилая дама, она долго ходила по выставке, потом подсела ко мне и сказала, что она потрясена всем, что увидела, и что она хорошо знала Сашеньку.

— Она сказала, как ее зовут?

— Да, ее зовут тяжело — Наталья Эдуардовна. Она сказала, что ее муж был Сашенькин учитель рисования и что он уже умер. Так вот, эта женщина, когда я сказала про вас, говорит: «Я не люблю разводы, мы с мужем прожили массу лет вместе и никогда ни о чем таком не помышляли. Когда Саша развелся, я его осуждала. А он пришел ко мне и сказал:

„Наталья Эдуардовна, я никогда не думал, что человек может быть настолько счастлив“. Я тогда на него посмотрела, у него были такие глаза... И я его простила».

Это была жена Соломона Давидовича Левина. После того как Саша переехал к нам, через какое-то время он пошел к Наталье Эдуардовне, чтобы отметить день рождения учителя. Вернувшись, он сказал: «Я был у Натальи Эдуардовны и все ей сказал».

— Что именно? — удивилась я.

— Все, — твердо ответил он и больше к этому не возвращался.

Ирина Николас, американская художница русского происхождения, родившаяся в Харбине, говорила Саше:

— Саша, вы не должны курить, вы должны беречь себя. Потому что вы — художник. А художник — это душа мира.

* * *

Всю жизнь боялась недоспать. Когда работала в России, приходилось ложиться спать в положенное время и всегда с ощущением, что совершаешь что-то дурное. Нечто вроде преступления. Против самой себя. Брала листочек бумаги и ручку и, если приходило в голову что-то в полусне, записывала в темноте, вернее, не записывала, а что-то такое нашкрябывала обрывающимися строчками. Потом расшифровывала. И использовала. И старалась не выбрасывать эти листочки.Теперь иногда читаю и думаю: зачем столько этой самой пассионарности? Какая саморастрата! И никто не мог научить. Но ведь у Саши эта самая пассионарность бьет ключом. Но она не создает напряженность. Она как бы озвучивает пространство вокруг вас и обволакивает вас, вбирает в себя.

Сегодня встречали знакомую в аэропорту Хьюстона. Выходили из-за черты, определенной здешними правилами, разные самые люди, спешили. Я в них вглядывалась. И представила очень красочно, что идет кто-то из самых близких и самых неожиданных. А если вдруг Саша? Такой, как всегда? Так остро это примерещилось... Мне кажется, я бы не удивилась.

* * *

Деревья Манусова — бездонная тема. Это фантом и образ, символ жизни и стихия, объединяющая землю и небо, это метафора, выражающая стихийный дух и созидательную мощь мироздания. И, наконец, дерево «означает индивидуальную жизнь и развитие самого субъекта. Образное отражение дерева указывает на ситуацию, в которой находится субъект либо кто-то другой, обладающий ясновидением». (См.: Антонио Менегетти. Мир образов. М., 2002. С. 111).

В полотнах Манусова деревьев гораздо больше, чем просматривается в сюжетах. Можно сказать, что дерево — некий гештальт, феномен сознания автора, спонтанно «подкладываемый» в качестве структурного и образно-символического основания во все полотна его зрелого периода. Деревья Манусова сродни знаменитой сосне Сезанна, украшающей экспозицию Государственного Эрмитажа. У Сезанна почва у подножия Сосны превращается в живую массу, в которой бурлит и рвется наружу энергия роста. Устремляясь по стволу к кроне, она разливается по краевым зонам картины и сообщает эту силу обновления и роста всей плоскости холста. У Манусова такой силой наполнена крона дерева. Мало что может в современной живописи сравниться с предельной концентрацией энергии, страсти и красоты, которая выплескивается в небеса в последнем жизненном усилии деревьев, вспыхивающих и сгорающих у порога неодолимого Небытия.

У Манусова Дерево врастает в структуру неба и, отражаясь мощным цветным аккордом в его напряженной синеве, становится водоразделом между светом и мраком, ослепляющим солнцем и непроницаемой тьмой, миром праведным и миром грешным. Оно указывает границу, на которой сходятся контрасты бытия, сохраняя тайну этой встречи. Или сгорает, как факел, в котором столько страсти, как будто вместе с ним сгорают тысячи человеческих сердец. Вот еще одно — гигантское, мощное, с густой, низко нависающей кроной. Оно осеняет фигурки теснящихся у его основания людей, предоставляя приют, убежище тем, кто стоит на пороге своей судьбы. Кто-то среди них, несомненно, я. Мы слиты в единую живую форму, из которой невозможно никого вычленить, и в то же

время каждый в этой толпе — отдельно читаемый персонаж. В этой точке пересечения сил исчезает время, сходятся измерения пространства и пронзает душу беззвучный, но никогда не умолкающий зов человека, обращенный к небу.

Татьяна Шехтер

* * *

Темный триптих «Прогулка в лесу. Деревья», 1985 г.

Я знаю, что деревьям, а не нам
дано величье совершенной жизни.

Николай Гумилев

Когда Саша умер, Ирена пригласила меня в Литву. Ирена Жукаускене — его врач, мать троих детей, красивая, статная литовская Юнона. Знаменитый литовский скульптор Стасис, то есть Станислав Кузма, тоже человек с больным сердцем, у которого уже тогда были поставлены два сердечных клапана, питал к Ирене ярко выраженные нежные чувства, но в пределах разума, так как он был счастливо женат и восхищался ею только как художник. Саша, смеясь, показывал мне во время поездки с Ireной по окрестным местам уютный туалет, который Стасис соорудил возле ее дома в деревне. Ирена дешево купила это неказистое строение, чтобы дать больше простора для отдыха своей многочисленной семье. Стасис сделал несколько скульптурных портретов Ирены из бронзы. Лик Ирены всегда можно видеть в центре Вильнюса на фасаде театра драмы, расположенного на бывшем проспекте Ленина, а ныне — Гедиминаса. Это Ирена в трех ипостасях — трагедии, комедии и драмы. Бывая в Вильнюсе, увы, теперь уже совсем редко, я всегда прихожу к этому месту полюбоваться работой мастера и еще раз ощутить прилив огромной любви к Ирене.

Она работала главным врачом в санатории поселка Валькининкай, а Саша там подлечивался каждую весну, лет пять подряд. Я там бывала раньше несколько раз. И знала

хорошо лес, который Саша очень любил. Там все было окружено лесами. Многие леса в Литве напоминают парки. Высокие сосны, целебный вкусный воздух и чистота. Мы гуляли с ним в лесу возле санатория много раз. Он делал небольшие наброски, уже без меня, и как-то нарисовал Ирену прямо в ее кабинете в санатории. Упросил ее посидеть немного. У нее было лишь двадцать минут. Этот портрет теперь висит в доме Жукаускасов в Вильнюсе и признан всеми замечательным психологическим отражением всегда внешне спокойной Ирены.

Темный триптих он сделал в Ленинграде неожиданно для всех. До сих пор он не делал таких больших работ, к тому же состоящих из нескольких частей. Работы Саши на репродукциях несопоставимы с тем, что есть на полотне. Думаю, это относится ко всем стоящим художникам. Если сопоставить это с хорошей музыкой, то, наверное, это будет как некачественная запись на СД. Глядя на его работы, словно купаешься в море цвета, и выйти из этой стихии не представляется возможным. Но, кроме моря цвета, ты все время находишься во власти какой-то мощной идеи. И кажется она настолько необъятной, но в то же время ясной, как само бытие, что из этого дивного гипноза выходить тоже не хочется. Потому что понимаешь, что вот она здесь, перед тобой, та самая настоящая насущная реальность и истина, которая существует в тебе и во всех. И которая открывается не тебе, а в тебе каким-то волшебным ключом. И ключ этот всегда с тобой. Почему же ты им почти никогда не пользуешься?

И тогда нисходит на тебя состояние мира, печали и той самой благодати, приобщиться к которой могут лишь самые истово и искренне верующие люди.

Темный триптих («Прогулка в лесу», воспроизведение между стр. 48—49, в каталоге под № 59) был сделан неожиданно для всех, после первой поездки в литовский больничный санаторий в поселке Валькиникай. Когда я пришла в мастерскую и увидела эту огромную работу, я обомлела от неожиданности и масштаба этого произведения.

Триптих был выставлен в ДК Молодежи на выставке Товарищества и тоже был воспринят с изумлением. Случившийся тогда в Ленинграде армянский художник Камо Ту-

масян сказал мне, что эта работа «вымученная». Он снисходительно признавал Сашин талант, говорил, что у него «интересная рука», но опять же мельком и как бы походя говорил о салонности его ранних работ. Здесь же салонностью совсем не пахло. Уже после Сашиной смерти, когда триптих был выставлен в Центральном Выставочном Зале Ленинграда (Манеже), Иосиф Храбрый, друг юности Саши и позже руководитель объединения «Вернисаж», рассказал мне, что он ходил по выставке с каким-то человеком, искусствоведом из Англии, и тот был поражен этой работой, говоря, что это «смесь Рембрандта и Кандинского». И, возвращаясь к любимой нами обоими Литве: когда я через короткое время бродила в лесу Валькининкая одна, узнавание пришло ко мне. Меня осенило вдруг, что это то, что показано на темном триптихе. Громады деревьев, сплетающиеся кроны их, закрывающие небо, и призрачные фигуры под их сенью, разрозненные и бродящие в явной растерянности, в рассеянии, хочется добавить. В реальности моей прогулки время от времени вдали возникали эти смутные фигурки людей в больничных халатах и пижамах, бродящих под деревьями, приходящих в себя после операции на сердце, которую им сделали в Вильнюсе блестящие литовские хирурги. Им был дан еще один шанс жизни. В больнице, где Сашу оперировали, около пятидесяти процентов больных не выживали после операции. И вот эти, оставшиеся жить, казались каким-то символом человечества, какими-то пралюдьми, только что пришедшими в этот мир и растворившимися под кронами деревьев в чеканной живописной полутьме.

Перед самой Сашиной смертью Иосиф Храбрый купил очень-очень дешево этот триптих и еще одну замечательную работу из новых. Купил на деньги, данные ему дирекцией завода им. Свердлова, где в восьмидесятых годах прошлого века функционировало объединение «Вернисаж». Я уже упоминала, что Иосиф Храбрый руководил этим объединением, которое проводило однодневные выставки ленинградских художников.

Он сказал Саше, что скоро откроет музей современного искусства и повесит там эти работы. Идея, против которой ни один художник не мог бы устоять. Он вывез их из мастер-

ской за пару дней до того, как Саша упал на пол в почтовом отделении на Гончарной улице и через минуту его не стало. Несколько раз по моей просьбе Иосиф давал эти работы на выставки в Ленинграде–Петербурге. Остальное время, насколько я знаю, они стоят в его большой благоустроенной квартире в центре города за шкафом.

* * *

Операцию Саше делал блестящий литовский хирург Марцинкявичус. К нему в Вильнюс ехали люди со всей страны. Туда приезжали больные из Сибири, Бурятии, с Урала. Их принимали почти всех. Я хорошо помню эту клинику, казавшуюся тогда преддверием то ли ада, то ли рая. Там были огромные палаты, масса больных и единственный лифт, на котором по очереди возили трупы скончавшихся после операции людей и обеды для больных. Однажды в супе, рассказывал Саша, они нашли одновременно рыбий глаз и свиной зуб. Саша подружился со многими из больных, и первое время они активно переписывались. Некоторые из них скончались через два-три года. Тогда их жены сообщали Саше об этом.

В подарок Марцинкявичусу Саша отвез замечательную работу из ранней серии «Зонтики». Маститый хирург рассмотрел ее и одобрительно сказал: «Модерн».

От этой работы осталась цветная репродукция со слайда, который делал фотограф Геннадий Приходько. Работа стоит на мольберте, а внизу на корточках сидит Саша. Вид у него усталый. Очевидно ему, с его больными коленями, было не так просто принять эту позу.Эту репродукцию художник Александр Гуревич когда-то приклеил к старому картону, и она к моменту работы над альбомом была уже в плохом состоянии. Картон прогнулся с годами. Слайд найти я не могла. Наталья Козырева, заведующая отделом рисунка Русского музея, активно занимавшаяся нашим альбомом, очень высоко отозвалась об этой работе. Она хотела поместить репродукцию ее в альбом.

Геннадий Приходько, которому я позвонила с просьбой найти дубликат этого слайда, звучал неприветливо, и было

ясно, что ничего делать он не намерен. В свое время он сделал массу фотографий художников-неофициалов. Думаю, это как-то вознаграждалось. Во всяком случае, Сашин сосед по мастерской, художник Александр Бихтер, позже сказал мне, что в тот день, когда Приходько отснял слайды, он ушел из мастерской с Сашиной работой подмышкой. Позже я с радостным изумлением обнаружила еще один дубликат искомого слайда в материалах, которые Саша передал искусствоведу Татьяне Шехтер. Фотография эта опубликована на оборотной стороне буклета к выставке, состоявшейся в августе–сентябре 2010 года в Петербурге в Музее истории города — Петропавловской крепости.

Саша очень долго разрабатывал серию «Зонтики». Работал и на бумаге, и на холсте. В основном, это происходило где-то с середины семидесятых годов. Последние работы этого цикла датированы началом восьмидесятых. Работы быстро исчезали: кто-то покупал, кому-то дарились. Назывались они, как всегда, незамысловато — «Прогулки с зонтиками». У меня осталась одна из первых работ этой серии. Эта небольшая работа всегда завораживала меня своим матово-жемчужным колоритом, заставляя вспомнить некоторые картины старых итальянских мастеров. Две тесно прижавшиеся друг к другу женские фигуры словно пытаются укрыться под куполами зонтов от жестокости мира. Кажется, что они существуют в каком-то надмирном, нездешнем пространстве, на пике космического одиночества.

Татьяна Шехтер писала о серии «Зонтики»:

Беззащитность, созерцательность, тонкая эмоциональность и необыкновенная нежность художественного языка «зонтиков» превращают это цикл работ Александра Манусова в одну из самых проникновенных лирических линий в русском искусстве XX века.

Немногочисленные работы, которые можно отнести к этому циклу, объединяет глубокое переживание духовного единства, чистой преданности и затаенной мечты, которой не суждено сбыться. Отзвуки «зонтиков» пройдут по всему творчеству Манусова. Мы найдем их в «купаниях», «натюрмортах», «портретах», «библейских сюжетах». Именно в «зонтиках»

найдено отношение, которое развивается во всех последующих работах художника, — прикосновение живой человеческой души к равнодушию бескрайнего мира, противостояние беспредельной мощи Вселенной и уязвимого, но бесконечно глубокого и в этой своей глубине созвучного миру человеческого духа. Можно сказать, что «зонтики» раскрывают поразительную способность автора говорить о человеческом, сокровенном на мощном «оркестровом» языке мироздания.

* * *

У меня есть фотография, на которой Саша стоит и держит в руках портрет Карла Маркса. И вид у него сомневающийся. Маркс, с его седой гривой и такой же бородой, представляется мне лже-Санта-Клаусом коммунизма. Сколько лет многие ждали подарков в виде реализованных плодов его учения. И получили. Сашин сосед по мастерской, тоже Саша, но Бихтер, как-то принес ему несколько таких портретов радетелей коммунизма для утилитарных, т.е. творческих целей. Саша за неимением холста решил использовать то, что было под рукой. На портрете Брежнева он написал замечательный натюрморт, использовав в качестве фона часть пиджака Брежнева. В альбоме эта работа воспроизведена на стр. 90, в каталоге № 109. Это очень светлый, легкий, дышащий натюрморт. Справа оставлен черный фон — часть пиджака советского лидера застойного периода.

Йонас Жибуркус. Триптих «Путь»

Саша познакомился с Йонасом в Вильнюсе после операции. Йонас, сын героического литовского генерала Жибуркуса, сражавшегося во время войны вместе с советской армией, жил на тихой улице в центре Вильнюса в шикарной по тем временам пятикомнатной квартире. На фасаде дома красовалась доска, извещавшая, что здесь проживал Герой Советского Союза генерал Жибуркус. Маму же Йонаса звали Циля. В первом браке она, как говорил Саша со слов Йонаса, была замужем за раввином. Позже оказалось, что это не так. Была она очень красива. Я видела ее уже пожилой,

очень холеной и избалованной дамой. Кроме Йонаса у нее еще была дочь Ингрида, впоследствии страдавшая душевным расстройством. Йонас, высокий, очень европеизированный, отличался стремлением к аристократизму в его собственной интерпретации. Когда я впервые вступила в эту квартиру, меня охватило состояние паники. В длинный, поражающий чистотой и увешанный картинами холл вышла очень опрятная женщина средних лет с нарочито лишенным эмоций выражением лица. Она производила впечатление образцовой прислуги, но это оказалась мать хозяйки квартиры, Лаймы. Ее звали Альбина. Затем вышли сам Йонас, чопорный, худой, в очках с изысканной оправой, одетый в дорогой, свободный пуловер, и светловолосая, тоже высокая Лайма в одном из тех нарядов, которые в то время казались мне недосягаемыми. Сначала нас угостили напитками в высоких элегантных бокалах. Мы сидели в гостиной, тоже увешанной работами. Дверь окаймляли два вертикальных длинных полотна, на одном из которых было мастерски написано полуразложившееся (как мне показалось) человеческое тело, унизанное драгоценностями. Картина эта, так же как и другая, приковывала внимание. Это были работы Шарунаса Сауки, литовского художника, человека с явными психическими отклонениями. Позже довольно много его работ я увидела в знаменитой коллекции Нортона Доджа в музее Зиммерли.

Йонас был хирургом очень высокого класса. Он, как опять же говорил Саша, проходил артерии каким-то суперсложным способом и был замечательным специалистом. Через несколько лет по Сашиной просьбе он очень помог мужу моей сестры, у которого были серьезные проблемы с сосудами. Но основной его страстью была живопись. И разбирался он в ней очень хорошо. В числе его друзей были многие известные художники и музыканты. Сашу он оценил сразу, и они подружились. У них с Лаймой было двое детей, Раса и Йокубас. Раса, закончившая когда-то скандинавское отделение Ленинградского университета, теперь живет в Норвегии, работает в издательстве при норвежском телевидении в Осло, а Йокубас, профессор биологии, работает в Америке. С этой семьей у нас связано очень многое, но это как-нибудь потом. А сейчас я веду речь о Сашином триптихе. Мы тогда,

ни я, ни Саша, будучи абсолютно наивными в сфере продажи работ (а я и сейчас временами веду себя по-идиотски, когда речь идет о Сашином искусстве), не знали, что Йонас занимается бизнесом, связанным с художниками. Он часто по работе бывал в европейских странах, совмещая служебные командировки с торговлей картинами. Он сделал очень профессиональное портфолио на каждого художника и, видимо, преуспевал в этом деле.

Любимая нами вильнюсская художница Белла Биндлер, даже при произнесении имени которой просто хочется встать на колени и возблагодарить судьбу за то, что мы были знакомы, как-то узнала, что мы дружим с Йонасом. Лицо ее сразу потемнело, и она сказала слова, которые явились для нас откровением. Она не хотела даже упоминать лишний раз это имя. «Он спекулирует работами наших художников, он их обманывает, — сказала она, — покупает за копейки, вывозит и получает огромный барыш. Как вы, Саша, такой честный, нежный человек и дивный художник, можете иметь с ним дело?» Сейчас, получив от жизни после Саши все, что причитается вдове прекрасного, но не «раскрученного по-шемякински» художника, я спокойно воспринимаю эти мерзостные реалии. Не то чтобы спокойно, но, умудренная опытом, не заламываю руки, не причитаю и не теряюсь в догадках, почему все это происходит. Искусство — тот же бизнес, вот что я постигла после Сашиного ухода. И, может быть, более жестокий бизнес, чем какой-либо другой, потому что здесь торгуют душой мастера-созидателя. Сама Белла писала щемяще нежные акварели старого Вильнюса, где во время войны было еврейское гетто. Насколько я поняла из последней поездки в Вильнюс в 2009 году, следы гетто полностью уничтожены и домики в этом районе окрашены в радостные акварельные тона. Белла скончалась от тяжелой болезни. Светлая-светлая ей память. Как я жалею, что нет у меня ни одной ее работы.

Кстати, в связи с Беллой вырисовывается удививший меня эпизод. Уже после смерти Саши, в одно из моих посещений Вильнюса (а я всегда останавливалась у Ирены и Гедиминаса), мы с Иреной зашли навестить Беллу в ее мастерской. Мастерская была в симпатичном месте старого города.

Визит оказался кстати, так как Белла чем-то повредила руку и Ирена оказала ей необходимую помощь. Мы приятно побеседовали и выпили чаю. Когда церемония чаепития подходила к концу, Ирена вдруг задушевно спросила Беллу, почему толпы евреев покидают Литву. Белла начала очень просто:

— Вы знаете, Ирена, — нежно сказала она, стараясь звучать нейтрально, ни на йоту не привнося личностное отношение к вопросу, — когда многие еврейские люди вернулись сюда, в Вильнюс, после войны, они не нашли своих родных, никого из них, в живых. Ну и потом как-то само по себе выяснилось, что многие местные жители принимали участие в расправах над евреями. И эти люди жили долгое время с этой раной в душе. У них не оставалось другого выхода, они просто жили, зная эти страшные вещи. Ну, а теперь, когда двери открылись, многие решили уехать.

Это было сказано без обличающих нот, простой ответ на простой вопрос. Белла очень уважала Ирену, которая к тому же лечила ее мужа, тяжелого сердечника.

Когда мы, распрощавшись с Беллой, вышли на улицу, я увидела, насколько потрясена Ирена. Остановившись, она срывающимся голосом произнесла несколько резких слов. В этот момент она была похожа на ребенка, которого незаслуженно наказали. Но это не было потрясением человека, узнавшего правду о своих соотечественниках. Это были боль и обида порядочного человека, перед которым озвучили то, что она и так знала, но о чем не хотела думать.

И уж если здесь вдруг проявилась эта больная тема, то многие литовцы последующих поколений действительно не знали, что творили их соотечественники.

Однажды, когда я рассказала одной из подруг Ирены с балетным именем Раймонда, милой матери троих детей, что мой двоюродный брат был заживо сожжен в Литве во время войны перед глазами матери, она доверчиво спросила:

— Это сделали немцы?

— Нет, — пришлось мне ответить ей с той же бережной нежностью, которую продемонстрировала Белла по отношению к Ирене, — это сделали литовцы.

Тишина, воцарившаяся после этого, прозвучала ударом грома.

Но теперь опять к Йонасу. Саше нравился Йонас.

— Он мой друг, — говорил он. — Ну, он такой, какой есть. У них прекрасная семья, замечательные дети. Они с Лаймой очень хорошая пара.

В этой фешенебельной квартире, где в ванной комнате, отделанной красивыми изразцами, был подогретый пол, жила собака, эрдельтерьер, девочка Айри. Жила она в коридоре, в комнаты ее не допускали по причине гигиенической, чтобы не запачкала, не роняла бы шерсть при линьке и т.д. Думаю, что это было по женской инициативе.

И, наконец, триптих. Саша отдал его Йонасу, я боюсь сейчас соврать, либо в подарок, либо по такой низкой цене, что это все равно оказалось подарком для состоятельного Йонаса. (Этот триптих в нашем альбоме находится между стр. 80 и 81. Он называется «Путь». В каталоге № 73.) Йонас его практически сразу же продал в Австрию. Вот тогда мы с Сашей, сидя в сквере в центре Вильнюса, вспомнили слова Беллы Биндлер. Саша был растерян, он не хотел ничего дурного говорить о своем друге Йонасе, но давалось это ему нелегко. Остались от триптиха три очень маленьких слайда, по которым он и воспроизведен в альбоме. В одну из наших последних встреч в Вильнюсе Лайма показала мне фотографии дома, где находится триптих. Йонас продал его даме, своему деловому партнеру. Позже они поссорились, и теперь дама не хочет ничего о нем слышать. Саше он сказал, что триптих находится в какой-то галерее в Вене. Но на фотографии просто интерьер дома, где висит множество работ. Там я заметила только две части Сашиного триптиха, висящие далеко друг от друга, а третьей на снимках не было.

Не помню, видела ли я этот триптих в мастерской у Саши. Скорее всего, нет. В альбоме он воспроизведен с ужасающе маленьких слайдов, предоставленных Йонасом, и выглядит искаженным. Это очень интересный триптих с его штрихами, вторгающимися в плоть Деревьев и очертания неба. Они придают тревожный окрас всему произведению. В других триптихах эти штрихи отсутствуют. Здесь очень много синего, но, воспроизведенный в альбоме, цвет этот кажется мутным и плоским. И нет возможности получить нормальные слайды этой замечательной работы.

Эх, Йонас, Йонас, зачем ты это сделал? Неужели из-за денег?

Йонас как-то заказал Саше свой портрет, дал ему фотографию, по которой Саша тщился сделать достойное изображение. Но получился на полотне неприятный, ухмыляющийся человек.

— Вот видишь, — сказала я ошарашенно взирающему на портрет Саше, — художник не может врать на полотне, не получается.

И через очень уж большое время Йонас ушел из семьи, влюбившись в молодую женщину, почти ровесницу своей дочери. Это тоже заслуживает особого внимания, поскольку эта дама творческого плана и, как она говорила, когда-то питерская, в девяностых годах была любовницей чеченского мафиозо, которого взорвали прямо в машине, где сидела также и она сама, однако осталась цела и невредима, поскольку небольшое взрывное устройство было подложено под сиденье водителя. Мы с Иреной, к которой Йонас был тоже явно неравнодушен, встретили его в компании этой дамы. Втроем мы сидели в модном вильнюсском погребке, где подавали, помимо лучших напитков, совершенно неземные блюда, и ждали ее. Она явила нам себя наилучшим образом, неторопливо спускаясь по лестнице и давая время рассмотреть ее стройность и продуманную элегантность одежды. Она писала стихи и была замужем за богатым датским бизнесменом. Бросать его и выходить замуж за Йонаса она не собиралась.

Йонас теперь торгует медицинским оборудованием, у него фирма, создать которую ему помогала Лайма, и он попрежнему богат, но здоровье ожидает желать лучшего. У него новая квартира в центре Вильнюса, обставленная с вызывающим шиком странной белой мебелью и увешанная картинами. Мама Лаймы, Альбина, умерла вскоре после этого, как я понимаю, от горя. Лайма живет одна в этой огромной квартире. Она справилась с горечью случившегося, преподает попрежнему английский язык в школе и выглядит спокойной и счастливой. Йонас помогает ей оплачивать квартиру.

Хотелось бы завершить историю о Йонасе, забежав хронологически на много лет вперед. Летом 2004 года я приеха-

ла в Вильнюс в гости к Ирене и Гедиминасу из Петербурга. Визит, как всегда, проходил замечательно. Но хотелось повидать и Лайму с Йонасом, в этот раз по отдельности.

Йонас купил, как уже упоминалось, просторную квартиру в старом городе на последнем этаже массивного красивого дома. Вильнюс, к которому я прикипела на все обозначенные для меня жизни, все же был и остается провинциальным городом, и провинциальность эта больше всего обнаруживается в сознании его жителей. Не всех, конечно.

Йонас встретил меня мрачно. Одной из причин его настроения было обострение болезни почек, о чем он мне сказал еще до встречи, по телефону. Вторая выяснилась позднее. Долговязый и очень худой, он отправился приготовлять коктейли на кухню, элегантно вмонтированную в огромную гостиную-салон с белыми креслами и диванами, музыкальной супераппаратурой, невероятной величины телевизором и новым фортепиано.

— Я вижу, ты купил пианино, — полюбопытствовала я. — Ты играешь?

— Нет, — насупился он. И продолжил агрессивно: — Ко мне приходят лучшие музыканты Вильнюса и дают здесь концерты. У меня звучит такая музыка, которая тебе и не снилась.

— Йонас, — спросила я, — к нам в Блумингтон (университетский город в штате Индиана, где мы жили с дочерью) приезжала из Вильнюса певица Мария Круповец. Ты ее знаешь?

— Знаю, — отрезал Йонас.

— Ты можешь дать мне ее телефон? Я его потеряла.

— Нет, — еще раз отрезал он, — я ее не люблю.

Месяца два назад литовская певица Мария Круповец приехала на конференцию в Индиану. Это была конференция по еврейской, уже исчезнувшей культуре в прибалтийских странах. Она прекрасно спела еврейские песни на идиш и сделала маленький доклад. Она-то как раз говорила о Йонасе с огромной симпатией.

— А я привезла Гедиминасу водку «Русский стандарт» из Питера, — поделилась я озадаченно, — это сейчас лучшая водка в России.

— Это плохая водка, — снова огрызнулся Йонас.

Он сидел в белом кожаном кресле возле немыслимого дизайна высокой лампы, его долговязая, однако немощная фигура продолжала излучать воинственную капризность ребенка, избалованного богатыми родителями.

— Как тебе понравился Сашин альбом? — спросила я.

Альбом мы послали ему из Америки первому, и я знала, что он никому его не показал, даже Лайме.

— Почему ты не поместила туда работы, с которых я тебе посылал слайды? — выпалил он, и тогда все стало понятно.

Владелец целого ряда Сашиных графических, а также живописных работ, он по собственной инициативе прислал мне мастерски сделанные, как он говорил, слайды. Слайды были самого крошечного размера. Работы в его коллекции были прекрасные, но не основополагающие, и Наталья Козырева, составитель альбома, поместила лишь некоторые из них.

И здесь я поняла, что он был кровно обижен. Его коммерческая натура жаждала, чтобы все имеющиеся у него работы были репродуцированы в альбомах. Это был вопрос стоимости. Все Сашины работы, за исключением уже упоминавшегося триптиха, осевшего у неведомых австрийских владельцев, были ему подарены. Не поместив их в альбом, я сбила ценность его коллекции.

Уйдя от Лаймы, он оставил ей часть своей коллекции. Но Сашины работы, которые он пылко любил и понимал, он забрал с собой. Однако на стенах его апартаментов среди множества работ я не заметила ни одной Сашиной. Что это было? Обида бывшего барчука или трезвый расчет коммерсанта от искусства?

Уходя, я задала ему последний вопрос.

— Как поживает Лена? — спросила я, имея в виду предмет его страсти. — Она уже превзошла Беллу Ахмадулину?

Вопрос был ехидным, но ответ...

— По сравнению с ней Ахмадулина барахло, — последний раз выдал он детскую обиду на весь враждебный ему мир.

А сейчас я вторгаюсь в это повествование со свойственной мне неорганизованностью. Здесь речь идет о хронологии. Ведь это уже 2010 год. Я опять посетила Вильнюс. Это

был поздний декабрь 2009 года. Приехала я из Петербурга, где Евгений Орлов сделал выставку графических работ Саши в Музее нонконформистского искусства при арт-центре «Пушкинская, 10». Но об этом немного позже, потому что я хочу вспомнить Лайму. Вспомнить в прямом смысле этого слова, потому что ее больше нет на этой земле. Она умерла от рака поздней осенью 2009 года, и написала мне об этом Ирена. Позже я узнала, что она очень мучилась, и ее дочь Раса неотлучно была с ней последние две недели ее жизни. Случился трагический исход Лаймы и ее матери Альбины из земной юдоли. И одним и тем же жестоким образом. И сразу мысли обратились к Йонасу. И это были не лучшие мысли.

Помню, как в один из последних приездов в Вильнюс я приехала к Лайме, когда его уход только что совершился. Обе женщины, Лайма и ее мать, тоскливо смотрелись на фоне богатой ухоженной квартиры. Да и сам победительный облик квартиры как-то сник, полинял. Особенно жалко было смотреть на Альбину. Выстроенный ею идеальный порядок жизни ухнул вниз лавиной. Служение богу семьи, которому была посвящена ее жизнь без остатка, растворилось в мироздании. Она с трудом поднимала дочь. Ее муж-пьяница давно оставил семью, и Альбина работала официанткой в столовой. Она идеально готовила, мастерски накрывала на стол (что потом переняла Лайма), поддерживала в квартире чистоту операционной. И теперь она оказалась на обломках благоденствия и душевной стабильности. Ведь дети уже давно были на Западе, а Лайма много работала в школе, преподавая английский. Женщины без перерыва рассказывали о предательстве Йонаса, о том, как разлучница впервые пришла к ним в дом и как она оглядывала себя в зеркале, явно лелея злодейские намерения.

Если вернуться к Йонасу, которого мы с Иреной посетили в этот приезд в его временной крохотной, однако двухэтажной квартире в самом сердце Вильнюса, возле костела святой Анны, то он объяснял свой уход душевным порывом, тем, что общение с Леной доставляет ему невероятное наслаждение, так как говорят они по-русски, а русский был его первый язык, ведь у него была русская няня. Он показывал нам стихи своей любимой и ажитированно объяснял, что она великая

поэтесса. Мы же зачарованно оглядывали его обиталище, поражаясь, как мастерски, с любовью и вкусом он оформил свое временное жилище в доме почти средневекового периода на одной из самых узких и извилистых улочек Вильнюса.

И вот теперь, когда я оказалась в Вильнюсе, раздраженность Йонасом возрастала, тем более когда выяснилось, что он женился опять. Ничем иным, кроме его внезапной измены, я не могла объяснить себе трагический уход Лаймы.

— Давай я позвоню ему, — предложила Ирена. Йонас откликнулся на звонок из Паланги, где он проводил weekend с новой женой. Он пригласил нас на концерт в музыкальный клуб, который принадлежал ему. «Мы имеем здесь очень престижный клуб, — сказал он Ирене по-русски. — Я удивлен, что ты о нем ничего не слышала».

Мы долго брели с Иреной от места, где она запарковала машину, пока не присоединились к узкой цепочке приятных людей, направлявшихся к месту концерта. Здание, в темноте показавшееся неказистым, было внутри отделано с современной роскошью и размахом, легко обличающими личность Йонаса. На стенах зала громоздились огромные работы литовских художников. Они поражали обилием самой разнообразной краски, даже не вылитой, а вышвырнутой из ведра на полотно в творческом экстазе. (Вспомнились слова замечательного скульптора Стасиса Кузмы: был в Австрии, в Вене, шли по анфиладе музея. Думал, что там ремонт, а это была экспозиция современного искусства.) Ближе к роскошному роялю висел интересный портрет.

— Это Стравинский, — позже объяснил появившийся Йонас. — А рояль итальянский, это сейчас лучшие рояли в мире.

Сам он показался мне гораздо более изношенным, чем прежде. Плешь на голове увеличилась, а окаймляющие ее вкрапления редких седых волос вызывали неожиданное сочувствие.

— Йонас, — сказала я, когда мы дружески обнялись, — я хочу выразить тебе мое самое глубокое соболезнование...

Секундная судорога пробежала по его лицу.

— Лайма, — сказал он, как отмахнулся.

Он усадил нас с Иреной на места во втором ряду и твердо произнес:

— После концерта я познакомлю вас со своей женой.

Концерт был уникальным.

Крепкий, достаточно молодой мужчина исполнял свои произведения. У него была отличная техника, которую он демонстрировал с пылкостью юного самца. Все произведения строились по одной и той же схеме. Сначала мирная экспозиция, потом развитие темы в среднем темпе, после чего следовал нарастающий вопль аккордов и пассажей, приближающих к кульминации. И, наконец, извержение его творческого семени: набухшее красной ягодой лицо, руки, вцепившиеся в клавиатуру, лавина грохота, обрушившегося на несчастный инструмент, и долгожданная кода. Каждая пьеса завершалась вертикально воткнувшимся в клавишу большим пальцем правой руки, который пианист терпеливо выдерживал в этом положении, словно притушивая сигарету.

Мысли во время избиения красавца инструмента возникли предельно ясные:

— Интересно, как часто они меняют рояли?

И вторая:

— Человек этот явно не страдает наличием воображения.

И еще вопрос: так это и есть та самая «потрясающая музыка», которую я никогда не слышала, как ранее утверждал Йонас?

По окончании экзекуции Йонас подвел к нам очень молодую, очень высокую и красивую темноволосую женщину.

— Знакомьтесь, моя жена Эгле, — уже знакомым твердым тоном сообщил он.

В литовском фольклоре Эгле — это королева ужей.

— Знаешь что, — сказала мне вдруг Ирена на следующий день, — пусть он живет как живет. Ну хочет он жить красиво, и это у него получается, так пусть так и будет.

— А ведь она права, — подумалось мне с грустью, — у Йонаса патрицианство в крови. Он эстет по призванию. Это особый талант. Вот только...

И в памяти нарисовалась та, огромная по советским масштабам квартира, стены, увешанные картинами, и светловолосая Лайма с высоким бокалом в руке.

Лайма позвонила мне из Вильнюса в день открытия самой большой Сашиной выставки в Дягилевском цен-

тре, помещавшемся тогда, весной 1991 года, в Мраморном дворце.

— Мне приснился сегодня Саша. Он говорит мне счастливым голосом:

— «Лайма, посмотри, какой свет!»

Я ему говорю:

— «Где, Сашенька? Я ничего не вижу».

А он мне опять, настойчиво:

— «Лайма, ну посмотри же, какой свет!»

Я ему опять говорю:

— «Но я же ничего не вижу, Сашенька».

— И ты знаешь, Регина, он мне тогда сказал с таким разочарованием:

— «Какая же ты, Лайма, глупая».

* * *

Саша мечтал побывать в Израиле. Он уверенно говорил, что друг его, Сашка Окунь, ныне крупная фигура в художественной жизни страны, обязательно пошлет ему приглашение, о котором он просил в письмах. Но такового не последовало.

Однажды дочь Йонаса Жибуркуса и Лаймы, темноглазая Раса, посетила нас года через два после Сашиного ухода. Работа «Красное дерево», висевшая над нашими головами, заревом холста освещала узкую комнату.

— А я это видела, — сказала она небрежно.

— Ты не могла это видеть, ты к этому времени, когда Саша ее закончил, уже уехала в Вильнюс, — удивились мы.

— Разве вы не знаете, что я была в Израиле? — в свою очередь удивилась Раса. — Там все точно такое же — розовый песок, красное небо.

Мы глянули на работу. Да, розовый песок, разящая краснота неба. В центре — дерево, полыхающее разноцветным снопом, от жгучей зелени до клубящегося соцветия красок, влепленные в ствол дерева, растворяющиеся в нем в поисках спасения фигуры людей.

Я вспомнила, как мы шли с Сашей августовским вечером, накануне его исхода, нашим купчинским двором. Он

великолепно выглядел после приезда из Усть-Нарвы и был настолько хорош собой, что встретившаяся нам соседка не сказала, а возопила:

— Сашенька, от тебя хочется зажмуриться, до чего ты красивый сегодня!

— Что это во мне усматривают какую-то красоту, ничего я такого не вижу, глупости все это, — посетовал Саша и вдруг тревожно сказал:

— Посмотри, какое красное небо.

Я взглянула в сторону точечного девятиэтажника, осененного нестройными верхушками деревьев. Далеко за ним набухала, формировалась недобрая краснота, предвестие завтрашнего ужаса.

Работа «Красное дерево» не позволяет долго на себя смотреть. Она жжет. И чем дальше, тем больнее[1].

Здесь мне хочется рассказать о некоторых работах, хранящихся у меня, а не ушедших в другие руки и не канувших в небытие. На мой взгляд, есть большая разница в судьбе произведений, находящихся в частных коллекциях, и тех, которые попали в музейные отделы хранения. Последние, никем не востребованные, лежат там десятилетиями.

Работа «Переход»

Фрагмент этой работы помещен на обложке альбома, а полностью, но в малом формате она репродуцирована на внутреннем клапане издания. Кстати, когда я впервые увидела альбом с этой палящей работой на обложке, выставленный на стенде в Доме книги, то немедленно заплакала от топорности ее воспроизведения.

Я не видела эту работу при Сашиной жизни. Мы жили это лето в Усть-Нарве, и Саша наезжал туда и временами оставался на неделю. Но его все время тянуло в город, в мастерскую. Работать. Он никак не назвал эту картину, не успел. Мне пришлось придумывать название самой. Группа людей

[1] Работа «Красное дерево» в каталоге помещена на стр. 85, в каталоге № 94. Воспроизведение работы, сделанное со старых слайдов, я нахожу неудачным.

опять же нерасторжимым целым стоит спиной к огромному темному дереву. За ним — фантастический и лаконично очерченный пейзаж с неизбежной полосой воды, мрачный, несмотря на кипение цвета, и заряженный невероятной энергией, как мощный органный аккорд. Людская группа обращена к следующей, правой части полотна, она открыта шафранному сиянию, исходящему оттуда. Словно эти люди, символ человечества, как я понимаю, перешли какую-то роковую черту; позади грозное и величественное, что должно уйти в забвение, но пока еще очень стойко держится, а впереди — океан ослепляющего света, в который они, оцепенев от неожиданности, не решаются вступить. Ибо он тоже по-своему грозен.

Я назвала эту работу «Переход». Может, это равносильно переходу, который совершил Мастер у Булгакова? Может быть, это, как, волнуясь, говорила своим прелестным нежным голосом Наталья Козырева[1] на презентации альбома, — знак и предостережение всему человечеству? Может, это сам Саша, прошедший сумрачный, но непередаваемо красочный и насыщенный период, тщетно пытается остановиться, не желая войти в это пугающее сияние, но чувствуя неизбежность перехода?

Полотно это среди других Сашиных работ последнего периода было выставлено в Центральном Выставочном Зале, то есть в Манеже, в 1990 году на выставке «Небо и твердь». На эту выставку пришла группа людей, с которыми мы вместе занимались йогой. Пришли они во главе с нашим учителем Владимиром Ивановичем Маланичевым. Этот худой человек со сверкающими синими глазами поставил нас напротив именно этой работы и сказал, что от нее идет энергия чудовищной силы и что только одна небольшая картина в Эрмитаже, по его мнению, может соперничать с этой работой. Я не помню, сказал ли он, какая именно. Нам же он советовал становиться на определенном, не маленьком, расстоянии от этого полотна и по центру.

Сашин друг, художник Володя Михайлов, которого не стало через год после Саши по причине тоже очень больного сердца, пришел на Сашину выставку в Мраморный дворец

[1] Наталья Михайловна Козырева — заведующая отделом акварели и рисунка Государственного Русского музея.

в мае 1991 года. Мы договорились с ним встретиться внутри здания. Володя тяжело поднимался по лестнице, я видела его лысоватую макушку и понимала, каким трудом дается ему каждый шаг.

Мы медленно прошли по залам и остановились в предпоследнем, напротив работы «Переход».

— Какой все-таки Сашка колорист, — сказал Володя. (Я заметила, что с уходом Саши художники не перестали говорить о нем с приятельской небрежностью, называя его Сашка, как при жизни, и мне от этого становилось легче, словно они общались с ним напрямую.) — У нас, почти у всех, работы — просто раскрашенная графика, — продолжил он своим красиво окрашенным пушистым баритоном, — а у него естественное восприятие настоящего колера. Он работает цветом. А эта работа какого времени? — спросил он, указывая на «Переход».

— Практически последняя.

— Молодец, — восхитился Володя, или Вольдемар, как называл его Саша, а также все ученики Н. П. Акимова, студенты постановочного факультета театрального института. Он поцокал языком:

— Ты смотри, тут все пылает, словно на плакате «Берегите лес от пожара»... А что он сотворил! Ай да Сашка!

— Ты знаешь, Шварцман говорил когда-то, — Володя отступил от работы на пару шагов, — что живописцу нужно каким-то образом мобилизовать для одного полотна энергетику всей вселенной. И вот здесь — наглядное пособие к словам мэтра. Сашка это сделал.

* * *

Здесь я помещаю несколько писем зрителей. Интересна реакция самых обычных людей на Сашины работы. Первое письмо Саше передали после обсуждения его однодневной персональной выставки на объединении «Вернисаж» в Доме культуры им. Свердлова. А последующие записи — это выдержки из книги отзывов с его наиболее представительной посмертной выставки, проходившей в Мраморном дворце.

Письмо зрителя на листочке в клеточку из школьной тетради.

Ваши картины передают необычное ощущение, кажется, что зритель — я в данный момент, ТАМ — у того ручья, что нарисован всем существом. Чувствую холод ручья, приятную прохладу тени деревьев, чувствую жару и воду кожей.

Как Вам это удалось?

Картины — например Левитана, изображают все, но они «прохладны», не говорят. И Тернер мне приятен, но только Вы передали свое состояние в тот момент, когда рисовали одним цветом.

Встреча 80 г.; Купание 76 г.; У ручья 85 г.

Остальное сказали другие.

Просто зритель

Художник чрезвычайный, Богом нам подаренный и Богом призванный.

Ухожу с радостью и силой к жизни.

16 мая 1991 г.

Мощь, сила, огромная энергия, удивительное чувство цвета. Если полотна художника продолжают волновать, радовать, удивлять — значит, он жив, значит, он оставил свою душу здесь, на земле, для людей, для будущего.

Спасибо ему за это. Это прекрасно и удивительно.

Какие удивительные глаза, какая улыбка у тебя! Эти картины говорят, поют, вещают. Деревья, женщины, старики — это все ты. Банальные слова, но это так — невольно хочется сказать, что «припадаешь к живительному источнику».

Просто потрясает тема трагедии, боли, но одновременно радости, ярости, божественности. Настолько ясен этот язык, настолько богат, удивителен, неповторим!

Саша — Мастер, талант, Богом данный. Хорошо бы выставку сделать здесь постоянной. Спасибо устроителям выставки за возможность увидеть и почувствовать душу картин.

Отличная выставка.
Не хочется уходить.
На прощание последний взгляд.

Твой однокурсник Н. С. (Николай Сычев)

Еще раз смотрел работы!
Саша — большой мастер!

Твой друг Женя Орлов, художник

Явление Мастера почти всегда проходит незаметно для людей. Саша, прости их за это.

Евгений Тыкоцкий, художник

Сашенька! Спасибо за жизнь! За песнь живописи! За праздник, который никогда не кончится! Спасибо!

Какой удивительный шаг Сашенька сделал! До него никто за эти пределы не заходил. Художники идут другими путями, больше проторенными. Сашенька — совершенно неординарное явление. Он начинал как все, осваивал школы какие-то... А потом вдруг вырывается на такой свет!

Ленина Никитина, художник

Светлому художнику
извечное спасибо.
Как хочется видеть
его душу и, что бы ни было, закрыть
глаза на то, что
мешает нам.

Пусть помнит поколение о нашем друге художнике Саше Манусове.

Владимир Лисунов, художник

Удивлена, потрясена! Уникальный, неповторимый мир художника! Он сразу входит в душу и там остается навсегда. Цвет — гениальный!

Спасибо, Регина Иосифовна!

Л. Д. Фураева

Какой удивительный художник! Как жаль, что его нет с нами, но остались его работы, которые не могут оставить никого равнодушным!

Изумительные, необычные сочетания цветов, в них есть что-то космическое, в его импровизациях звучит музыка. Хотелось бы увидеть, познакомиться с как можно большим количеством его полотен.

Каждая встреча с таким художником — радость!

Послание Саше — для меня он ЕСТЬ.

Дорогой Саша! Как всегда, поздно приходит понимание. Мне десять лет назад показалось, что ты живешь в мире тех ощущений, которые мне — убежденному жизнелюбу — казались неблизкими (темными, смутными и т.д.).

Этот путь твой — это путь к свету — ИЗУМИТЕЛЬНОМУ, который как свет Бога и доброго Космоса (вернее — мудрого). Ты пришел к самой прекрасной ИСТИНЕ БЫТИЯ, к великой идее ВЕЧНОСТИ, КРАСОТЫ, ГАРМОНИИ. Это — великий прорыв накануне ухода с земли туда, откуда озарил тебя этот Свет.

СПАСИБО! ЭТО ОСТАНЕТСЯ!

Элла Фрадкина, музыковед

Чувство цвета жизни уникальное, только внутренний свет огромной силы дал эту возможность.

Спасибо, Саша!

Елена

Не хочется уходить с выставки. В каждой работе кусочек Саши. И впечатление от увиденного постепенно проникает в тебя, пропитывает и уже не отпускает и не хочется расставаться с выставкой, с этими, такими разными и удивительными работами, так напоминающими Сашу.

Может быть, эта выставка — лучший подарок тебе, Саша!

А. Амелин

Эта выставка —
радуга жизни.
Радуга жизни,
которая продолжается
Поскольку продолжается восприятие и высокая оценка! Всеми!

Подпись нрзб.

Деревья, растущие из земли, переходящие в облака, сливающиеся с небом, уходящие в Космос... Написанные яркими огненными красками, пламенеющие деревья-люди...

Мне показалось, что в них — разумеется, не весь, но главный смысл искусства прекрасного художника.

Среди библейских сюжетов, излюбленных им, — его жизнь, его творчество подобны легенде о неопалимой купине. Он рано сгорел — его фосфоресцирующий след остался в мире. Настоящее, подлинное — несгораемо.

И. Райскин,
редактор журнала «Искусство Ленинграда»

И вот еще один отзыв без подписи:

Я на выставке была
Видела картины я
Краски в них совсем иные
Краски яркие, живые
Много света и тепла
В них вся радуга видна
Много смысла, глубины
Много вложено души
В них открыл ты мир чудесный
То, что было на душе
Написал на полотне
В них нашла я мир другой
Мир души твоей прекрасной
Чистой светлой и большой
Так спасибо, дорогой

Знаю я, что нет тебя,
Но душа твоя жива,
И картины будут жить
Радость людям приносить[1].

* * *

Художник Владимир Лисунов был очень оригинальным человеком. Говорю с грустью «был», потому что он из плеяды трагически и таинственно погибших художников. К ним относятся Вадим Овчинников, Юра Гуров и ряд других. Володя отличался неимоверной элегантностью облика, граничащей либо с безумием, либо с сознательным дерзким вызовом окружающему царству унылости и однообразия. Он носил туфли на каблуке с пряжкой и красивым орнаментом. Обязательным атрибутом его стильного черного пальто был перекинутый через плечо длинный красный шарф. Шляпа тоже была черной и удивительно оттеняла его крупное, хорошей породы лицо. Лицо это казалось и, видимо, было изрядно напудренным. Мне думалось почему-то, что именно так выглядел знаменитый актер начала века Мамонт Дальский. Появление Володи всегда отличалось бравурностью. С ним было легко и мажорно. Саша рассказывал, что в молодости на всех крупных вечеринках Володя и его жена появлялись одетые в черные свитера. Они обычно стояли у стены или в дверях со сложенными на груди руками и суровым выражением лиц. Они ни с кем не разговаривали. Объяснялось это тем, что они «накапливают энергию».

Через год после Сашиной смерти Володя принес мне листочек с текстом, отрывками из которого мне хочется пока закончить письма посетителей выставки.

Тонкий, проникновенный Александр говорил всегда спокойным голосом, в котором, как шум отдаленного, слова были заменены ощущением глубины истинного восприятия жизни. Всегда в его глазах играла приветливая улыбка, он настолько был всегда добр, весь его облик говорил о его уверенности, что жизнь прекрасна.

[1] Пунктуация оригинала сохранена.

Но почему Он вдруг был опечален, так безысходно переживал за неосмотрительность человечества? Глаза его работ — бездна пожарищ и бездна скорби. Душа Саши в отчаянии за нас, за жизнь, за неизвестность того, что вершится, за несостоятельность. Он хочет поднять нас до осознания неизбежности пламени, о той ошибке и бездуховности, извечной неосведомленности.

Будьте ни тем, ни этим, как сонм, развивающийся в нем, скорбите о случившемся, помогите друг другу только добром, не это ли тайна духа?

Стань тончайшей чуткостью, увидь его глазами в этих пожарищах, вознесись в равновесии, в беспредельном осознании, взывая к умам и отчаявшимся...

Столь ясно увидеть ошибку и корни ее.

Вскрыв истину, Александр ею дышал, сжигая себя, говорил, как молитву. На самой границе божественного откровения, что может поднять все человечество перед тем, как стать в беспрерывном хорале чистых душ — Ангелов.

Отдал все, оставив только ступени по дороге Добра.

Владимир Лисунов
Июнь 1991 г.

* * *

Когда Надежда Владимировна, Сашина мама, пришла к нему в мастерскую за месяц до его смерти и он показал ей свои последние работы, она ощутила приступ страха. Позднее она сказала, что у нее возникла четкая мысль: после таких работ ничего уже не может быть.

Евгений Тыкоцкий сказал мне: «Я был у него летом и ничего не понял в силу своей тогдашней замордованности. Хотя следовало понять одно: в этих своих последних работах Сашка перешел черту, после которой художник не может больше жить».

Когда я вошла в мастерскую после смерти Саши, мне бросился в глаза огромный рулон холста. Уже загрунтованного. Счастливый Саша купил его в Лавке художника на Невском проспекте. Тогда это считалось неслыханной удачей.

Все кончилось, все было позади, а я все равно пребывала в ужасе от мысли, что на седьмой этаж он волок рулон на себе. Саша Бихтер успокоил меня: рулон тащили молодые художники из Литвы, муж и жена, Раса и Сигитас.

Раса, дочь наших вильнюсских друзей, не вполне соответствовала стереотипу литовской женщины, сложившемуся у нас. Все литовские дамы и девушки, которых мы знали, поражали неизбывной динамичной силой: речь, походка, смех — каждая из них словно жила с вживленным при рождении генератором, при любом сопротивлении вырабатывающим пучок мощной защитной энергии. Раса же была тиха, с бледноватым личиком, производила впечатление красивого, легко бьющегося сосуда. Она очень соответствовала своему имени. «Раса» — по-литовски роса. Ее первые, еще отроческие работы были нежно фиалковыми, как и она сама. Выйдя замуж за Сигитаса, она вдруг ушла в крутой экспрессионизм.

Как раз грянула перестройка и случилась эта трагедия Литвы, Вильнюса, когда ночью мне позвонили обе мои подруги — Лайма и Ирена. Лайма, жившая в центре, кричала: «Регина, у нас стрельба на улицах, они перекрыли все улицы, на них войска. Сообщи всем, кому можешь, немедленно, они везде отключают телефоны, мы скоро будем отрезаны».

И через два часа позвонила всегда на удивление выдержанная Ирена и сказала с отчаянием:

— Регина, они нас убивают.

Голос ее, как всегда, был полон энергии, на этот раз энергии отчаяния. Они только что примчались из Вильнюса в свой затаившийся в лесу волшебный Валькиникай.

Положив трубку, я выложила это все в помертвевшее лицо ночевавшей у меня близкой подруги, и мы кинулись звонить, кому могли. Никто не снял трубку. В том числе и депутат городского собрания художник Юлий Рыбаков. (Но сейчас я вторгаюсь не совсем туда, куда хотела. Литва — моя давняя боль и любовь и об этом следует говорить подробнее и не сейчас.) Случилось это в январе девяносто первого года, в правление Горбачева, когда в Вильнюсе при штурме телевизионной башни советскими десантниками погибло четырнадцать человек и около ста сорока получили ранения. Тог-

да много крови пролилось в бывших советских республиках, и почему-то ныне все это плотно забыто. Однажды приехавший ко мне по вызову аварийный водопроводчик, крепыш лет тридцати пяти, вдруг рассказал, что был десантником в Молдавии и что в данный острый период его опять могут потащить обратно, а он не хочет, потому что уже «напользовался» саперными лопатками. На лице его было отвращение.

Литовские же ребята, погибшие у Вильнюсской телебашни, а также группа убитых на границе с Белоруссией литовских таможенников похоронены на старом Антакальнеском кладбище Вильнюса. Могилы здесь изобилуют польскими фамилиями. По проекту Стасиса Кузмы воздвигнут мемориал, где могилы расположены по дуге и кажутся слигованными нотами с мощным аккордом Пьеты в центре.

* * *

Однако здесь я слишком отвлеклась в сторону литовской трагедии (но возможно ли забыть об этом?), а начала я с двух невинных художников, Расы и Сигитаса, которые в конце XX столетия оказались героями готического романа в духе Анны Радклиф. Случился какой-то взрыд судьбы, выплеск кармы, если выразиться еще похлеще.

Где-то в начале 90-х годов они познакомились с парой канадских художников из Торонто, девушкой и молодым человеком. Художники приезжали всем квартетом в тогдашний перестроечный Ленинград, где мы и встретились. Объединившись в группу, они обозначили ее каким-то названием, сочинили манифест. Позже Раса и Сигитас по приглашению родственников отправились в Чикаго, где все проходило более чем удачно. Мама Расы, Даля, модный вильнюсский дизайнер по мебели, ликовала по поводу их успехов. После Чикаго они направились в Торонто к друзьям. И там все произошло...

Раса упала с шестого этажа. Она осталась жива. В состоянии комы ее привезли в больницу, где она пребывала до приезда родителей, которые забрали ее в Литву. Там она и находится сейчас. У нее совершенно отключены все фунции мозга, она стала растением. Насколько я понимаю, Сигитас, пробыв какое-то время рядом, ушел в свою другую жизнь.

Примерно в 1995 году в Торонто я встретилась с канадской половиной несостоявшегося квартета. Темноволосый и привлекательный мужчина, чуть после тридцати, и милая молодая его подруга. Может быть, позже придут на память их имена.

— Торонто очень скучный город для художников, здесь нет никакой атмосферы для творчества, — говорил он.

Мы сидели на берегу озера Онтарио, предельно вычищенного несколько лет назад от промышленной грязи. Много-много раньше окрестности этого символа куперовской эпохи были столь же тщательно вычищены от присутствия индейцев. День сверкал гигиеническим набором: чистотой тротуаров, белизной чаек, стелющихся над прозрачностью воды, и кокетливостью камушков на дне озера. В противоречие с этим вступала только его машина, облезлым Росинантом стоящая на полупустой парковке.

— Мы очень страдали из-за того, что случилось с Расой, — продолжил он. — Мы много раз писали Сигитасу, он сначала отвечал коротко, писал, что не хочет больше заниматься искусством, а потом совсем не отвечал.

— Как это могло случиться? — спросила я. — Как она оказалась одна так высоко?

Сначала был знак. Они сидели у него в мастерской на последнем этаже высокого здания. Была гроза. Шаровая молния влетела в открытое окно и, с треском очертив параболу вокруг головы Расы, вылетела наружу.

На другой день они опять находились в мастерской. Раса выразила желание посмотреть вид с крыши. Она ушла одна. Через короткое время раздался ее крик...

— Я поменял мастерскую, — сказал он. — Мне было невмоготу даже думать о ней. Позже он показал мне это неприютное, индустриального вида здание в центре города.

Я не знаю, что с ним теперь стало. Он был красив, мягок, но с неким мефистофельским акцентом, с примесью чего-то настораживающего, неведомого ему самому. А может, я измыслила этот нюанс? Мне почему-то кажется, что нет.

* * *

Почему художники, не желающие шагать в ногу с меркантилизмом эпохи, относятся к касте эквилибристов на проволоке? И при этом без всякой страховки? Конечно, в их число не входят ни Шемякин, ни Комар с Меламидом, живущие в Америке, ни российский гранд Церетели.

То, что на вершине славы покончил с собой знаменитый американский художник Ротко, еще можно понять — он был неизлечимо болен. Но зачем гнобили себя Александр Арефьев и Анатолий Зверев? Почему повесился талантливый художник Вадим Богомолов и трагически покончил с собой вернувшийся из Парижа Евгений Горюнов? Почему после открытия выставки в Этнографическом музее, возле города Себеж был найден убитым Юра Гуров, только что приехавший из Парижа? Почему дали себя зарезать в своих квартирах Владимир Гоос и Володя Лисунов? Почему многие лета занимается собственным геноцидом Вадим Воинов? Почему в городе Хьюстон на юге Америки покончил с собой Яков Виньковецкий?

Я когда-то, в период еще раннего знакомства, убеждала Сашу, что надо быть аккуратнее к себе.

— Зачем Вам все эти постоянные сходки до утра, курение и бутылочные радости с друзьями? Они ведь здоровы, а Вам ничего не стоит развалиться в какой-то момент, и тогда все будут бегать вокруг Вас, забыв о себе. Это ли не эгоизм? — рассуждала я.

— Иначе скучно жить, Регина, — был ответ.

* * *

Много позже, примерно в 2003 году, случился комический эпизод, имеющий отношение к Сашиной работе, помещенной в альбоме на стр. 80, в каталоге № 93. Это из его последних работ, она вся пронизана нежностью и называется «Двойной портрет». Здесь воплощен мотив, который преследовал Сашу всю жизнь, — библейские сестры Рахиль и Лия. Две прильнувшие друг к другу фигуры, которые словно не могут отъединиться. И в то же время в этом слиянии чувствуется мощный заряд отчужденности.

Репродукция работы не имеет ничего общего с подлинником, висящим у меня в комнате. Нежное сочетание сине-голубых, желтых и зеленоватых тонов в лице одной из сестер в альбоме предстает ядовитой смесью. Таковы горести репродуцирования работ художников-колористов.

Время, которое мы с Аней провели в Блумингтоне, штат Индиана, было благотворным в том смысле, что мы узнали массу интересных людей. В основном, американцев. Среди наших соотечественников выделялась профессор университета Нюся М., бывшая москвичка. Она преподавала русский язык. Яркая, тогда еще очень полная женщина, с солнечным, открытым характером, она была обуреваема неистребимым желанием устроить свою личную жизнь. В конце концов она преуспела в этом, уехав из засасывающего в провинциальность милого городка. Но в то время она интенсивно обрыскивала Интернет в поисках своей половины.

Как-то, придя к нам, она детально описывала перипетии своего очередного эксперимента. И вдруг случилась ситуация, где, как модно сейчас говорить, Фрейд отдыхает.

— Вы представляете, — горько жаловалась она, — он сказал, что позвонит в четверг, ничего подобного не было, никакого звонка, а когда я сама позвонила, мне сказали, что он уехал еще во вторник. Наверняка, к какой-то бабе, — провидчески добавила она, — у него ведь только одно на уме.

И тут взгляд ее упал на данную работу.

— Здесь что, — спросила она деликатно, — женская попа нарисована?

— Где, Нюся? — изумилась я.

— Да вот здесь, — подошла она к работе и продолжила, указывая на шею второй сестры, — вот это голая коленка, а здесь выше, — обвела она руками голову, — это попа. Я вижу здесь женскую попу, — убежденно закончила она.

Какая жалость, что это случилось не при Саше.

* * *

Саймон Мосс, крупнейший американский физик, с которым мы очень подружились в Хьюстоне, был маленьким жизнерадостным человеком. Бытие его в этом знойном

городе было стереофоническим. Уйдя в отставку, ученый продолжал активное руководство аспирантами. Он был музыкальным фанатом, что нам очень нравилось. И еще гастрономическим, что нас тоже весьма устраивало, так как он показал нам лучшие заведения города, где можно было вкусно и недорого поесть. Сколько опер и симфонических концертов было прослушано с ним в Хьюстоне и сколько прекрасных фильмов просмотрено! Он показал нам второй оперный театр города, расположившийся в здании бывшей церкви, — полную противоположность парадного оперного, где был выделен специальный овальный зал для меломанов — спонсоров, в основном, с миллионными состояниями. В антрактах оперные благодетели пили шампанское в этом зале, сидя за овальными же, с белыми хрусткими скатертями столами, которые обслуживали элегантные официанты. В опере же, открытой для нас Саймоном, в тесном зале, подавшись к маленькой сцене, бывшей когда-то церковным амвоном, сидели скромно одетые люди, похожие на завсегдатаев петербургской филармонии.

У Саймона были великолепные книги и собрана немаленькая коллекция живописи, странная на наш взгляд, но вызывающая уважение тем, как трепетно все это хранилось в его крохотном домике.

Как я уже отметила, жизнь его после ухода на пенсию оставалась бурной и насыщенной. Ее омрачало лишь одно, но более чем значительное обстоятельство. Саймон, когда-то в детстве переболевший полиомиелитом, вдруг в преклонном возрасте получил осложнение давно, казалось, ушедшей болезни и оказался в инвалидном кресле. Временами он пользовался ходунком. Каждый шаг физически отпечатывался на его румяном круглом лице. Голубые глаза темнели, пальцы коротковатых рук впивались в поручни ходунка, когда он волок свое изрядно округленное тело к машине. Он взбирался с нашей помощью на водительское место, некоторое время мрачно свыкался с ситуацией и брался за руль с уже просветленным в ожидании музыкальной радости лицом.

С Саймоном связана еще одна, исчезнувшая с нашего горизонта работа. Она изображена в альбоме на стр. 24. «На берегу», холст, масло, 50 x 50. Мне кажется, что это следующий

шаг, развитие темы солнечной работы «Люди в пустыне», которая стала визитной карточкой выставки в Русском музее в 2009 году, а также выставки в Музее истории города в следующем, 2010-м, и о которой петербургский художник Иван Оласюк говорил, что в ней цвет переходит в свет. Мне кажется, в этой картине по сравнению с гипнотически блещущей светом работой «Люди в пустыне» явственнее прозвучали ноты трагедии, рвущиеся навстречу зрителю с последних холстов. Здесь резче звучат мазки, немилосерднее обведены белыми штрихами застывшие по обеим сторонам пропасти фигуры людей. Они как бы застыли, но это обман. Они движутся прямиком в пропасть, и неведомо, устоят ли на краю обрыва. Когда-то на вопрос искусствоведа Татьяны Шехтер, как это понимать, Саша буднично ответил: «Просто люди перешли через овражек». А овражек этот — пропасть нашего бытия.

Саймон купил эту работу, чем как-то облегчил мне сделку с Русским музеем, который требовал с меня 10 000 долларов за право выставить Сашины работы. Я знаю, я не была исключением в музейной политике. Милосердия не ожидалось, но на снисхождение в цене я все же надеялась. Его не последовало. Еще нужны были деньги на упаковку и доставку работ в Россию, авиабилеты, оформление картин к выставке.

Купив работу, Саймон поместил ее в центре своей, как я уже говорила, странноватой коллекции. Это была единственная живописная работа во всем собрании. Он очень гордился ею. Но однажды неожиданно для нас попросил обменять эту работу на любую другую того же размера. Я нашла ему нейтральное милое полотно «Дерево и лодки». Это было незадолго до моего отъезда в Петербург, где должна была состояться выставка Сашиных работ в Музее истории города.

— Я сделал ошибку, — сообщил Саймон по моем возвращении. — Можно мне получить эту работу обратно?

К тому времени он уже переехал из своего крошечного домика-сказки в пансионат для пожилых людей, в основном, инвалидов. Это место для меня отождествлялось с гробницей. Совершенно нелепым дизайном оно напоминало саркофаг. Тоскливые фигуры отторженных обществом людей, в основ-

ном выглядывающих из инвалидных кресел, круглосуточная медицинская опека никак не вязались с раблезианской солнечной натурой нашего друга. Он и сам заметно увядал, искорки юмора в глазах поселялись нечасто, мы старались уверить его, что в арендованной им квартире сохранен тонус и дух его дома, что он все равно мобилен, у него миллион друзей, он ездит и в оперу, и на концерты, смотрит в кинотеатре прямую трансляцию оперных премьер из Метрополитен в Нью-Йорке, обедает с бывшей женой, с которой в большой дружбе. Когда мы привезли ему работу, он указал нам специально подготовленное для нее место в гостиной.

— Вы уверены, что это именно та картина, которую вы хотите? — спросила я, когда работа засияла с центральной стены.

— Абсолютно уверен, — отвечал он. — Эта работа всегда движется, она постоянно меняется, она живая. Меня только беспокоит эта пропасть посередине. И всегда беспокоила, вот почему я попросил другую работу. Эта пропасть ведь означает separation, разъединение, отчужденность, а это пугает.

— Саймон, — сказала я — а если посмотреть на это подругому? Эти люди движутся навстречу друг другу.

— Но между ними разверзлась пропасть, — последовало возражение, — им не соединиться, меня это пугает, — повторил он.

— Они преодолеют это препятствие, они хотят быть вместе, они стремятся друг к другу, смотрите на это так, они будут единым целым.

В дверях мы оглянулись, не зная, что это прощанье навсегда. Сидя в кресле и вновь обретя свою лукавую улыбку, он помахал нам рукой. Поодаль мрачно стояла чернокожая усталая женщина, помогавшая ему жить. В нелепую в этом климате, полностью стеклянную стену его гостиной рвалось немилосердное солнце. Кондиционер с жужжанием источал химический воздух.

Саймон скоропостижно скончался ночью, один на один с этой нечеловеческой квартирой через несколько дней после нашего визита.

Он был гений общения, легко воспламеняющийся при виде красивых творческих женщин, что стоило ему развода

с женой, родившей ему четырех сыновей. Один из сыновей трагически погиб. Три оставшихся брата, приехав с семьями в Хьюстон, устроили ему, если можно так выразиться, красивые похороны. На мемориальной встрече мы услышали его любимую музыку. Скорбный голос Джоан Сазерленд с ее несравненной Casta Diva из оперы Беллини «Норма» звучал музыкой высших сфер.

Саймон тяжело переживал отрыв от семьи. Все его сыновья жили на Восточном побережье страны — в Нью-Йорке, Филадельфии, Вашингтоне. Никто из них не последовал по жизненному пути отца. Один из них, Джейкоб, озабочен распространением кухонных плит в странах Африки. «Эти плиты, — уверял он нас с горящими глазами, — экологически чистые, они не засоряют атмосферу африканского континента дурным топливом». Другой сын занимается написанием речей для среднего ранга политических деятелей и сочиняет посредственные сценарии для фильмов. Что делает третий, мы так и не поняли.

Мы написали Джейкобу, который получил работу, что мы хотели бы в память о Саймоне выкупить ее. Нам казалось, что никакого интереса к живописи никто из сыновей нашего друга не проявляет. Однако Джейкоб приятно нас разочаровал. Он глубоко прочувствовал рассказ о том, как воспринимал работу его отец. Работа осталась в семье.

Художники говорят, что у каждой работы своя жизнь, своя судьба. Нам жаль, если эта картина будет жить среди равнодушия. Но, может, кто-нибудь из подрастающих детей вдруг остановит на ней взгляд, всмотрится в нее, озарится стихией, несущейся с полотна, задумается, и что-то повернется в его жизни.

Мне не хочется думать, что данная работа повлияла или как-то способствовала уходу Саймона. Но мысль иногда закрадывается. Измученный постоянной болью, Саймон был готов к уходу, сам того не подозревая. Тема жизненного исхода прочно поселилась в завершающих Сашиных полотнах. И Саймон с его обостренным мироощущением не мог не воспринять этот мотив. Он резонировал в унисон с флюидами предчувствия, струящимися с полотна. Глядя на работу, он тоже выходил в тот Космос, который принимал Сашу

во время написания последних работ. Может быть, они там встретились? У них было так много общего...

Портрет Ефима Друца[1]

Портрет Ефима Друца далек от портрета Дориана Грея. И все же... Когда наш литовский друг Гедиминас Жукаускас, являющийся, как я уже упоминала, внучатым племянником национальной литовской иконы — художника Чюрлениса, увидел эту работу, он тут же вскричал:

— Саша, я дам тебе деньги, только ты меня так не рисуй!

Ефим Друц — примечательная личность, знакомство с которым случайно состоялось на Литейном проспекте в Ленинграде. Я куда-то направлялась с его ленинградскими друзьями, и они ринулись к пробегавшему Ефиму с радостными криками. Невысокий, рыжеволосый, сверхэгоцентричный, с пульсирующим лицом библейского пророка, он многие годы занимался цыганским фольклором. Работал он не один, а с Алексеем Гесслером, кротким, длиннющим, худее жерди человеком, очень одаренным музыкально. Он прекрасно играл на гитаре, пел, встряхивая русой гривой, сочинял свою музыку и многие годы был Санчо Пансой при Друце. Тот виртуозно управлял Лешей в их общих делах. Все звали его не иначе как Лешенькой, поскольку это был необычайной кротости и милоты человек, особенно по сравнению с Мессиром, как мы нарекли его босса. Они издали несколько сборников цыганского фольклора, непрестанно ездили по таборам, что было опасно, но приемлемо, поскольку Ефим Друц когда-то был женат на цыганке, дочери вожака одного из таборов. Как я понимаю, это была вполне цивилизованная женщина, журналист по профессии, что не помешало ей быть зарезанной в таборе ее собственным двоюродным братом за нарушение каких-то цыганских законов. Ефим красочно описывал, как они познакомились в одном из московских ресторанов, где молодая, с копной черных волос женщина взлетела на эстраду и, оттолкнув скучную певицу,

[1] Ефим Друц — поэт, прозаик, этнограф, исследователь цыганского фольклора (в этой сфере работал вместе с Алексеем Гесслером).

спела знаменитую цыганскую песню «Хасиям», что означает «Пропал я». Песня оказалась знаковой. С тех пор Друц превратился в ее раба, ушел с ней в табор и подвергся обряду посвящения в цыгане, о чем он красочно потом рассказывал. Его цыганский был безукоризненным. Много-много позже уже в московском обиталище Друца мы с Сашей увидели общую фотографию его и Черген, как звали эту женщину. Двадцатичетырехлетний Ефим смотрелся тоненьким стебельком рядом с грузной, с плотоядным выражением лица супругой. Почему-то эта фотография заставляла вспомнить о хищной птице, несущей в когтях забитого ею птенца.

Друц и Лешенька Гесслер часто останавливались в нашей тесной купчинской квартире. Ефим блестяще и беспроигрышно импровизировал в кухонных дискуссиях.

Когда мы впервые познакомились и они рассказывали нам о цыганских эпопеях, я ехидно спросила: «Ну что, нашли себе лазейку?» Ибо это были семидесятые, расцвет застоя, когда все было прижато и сплющено и казалось вечным и незыблемым, как гробницы египетских фараонов.

— Сынок, а ведь это наш человек, — ответствовал Лешенька.

И с этого началась наша многолетняя дружба.

Плодовитый поэт и прозаик, Друц был более чем женолюбив. Сразу несколько женщин, принадлежавших к различным религиозным конфессиям, родили ему детей. В Москве у него подрастали двое сыновей. Один из них пел в церковном хоре, другой учился на раввина. Еще один мальчик, по имени Висенте, определенно католик, проживал в Барселоне. Естественно, никакой помощи детям, кроме моральной, от папаши не исходило. Зато сейчас он, как Иаков, пожинает плоды. Дети распределились по всему глобусу, у него куча внуков и есть уже правнуки.

Тщеславный, весьма живописно оформленный внешне Ефим демонстрировал на стене большой, расположенной в центре Москвы комнаты на Якиманке несколько своих портретов кисти московских художников. Солидное выражение «принадлежащих кисти таких-то художников» здесь не звучит, так как слово «кисть» все же предполагает наличие живописного дара, а в этих работах, как отчетливо помнится,

такового не обнаруживалось. Это были фотографически четкие, временами льстивые зарисовки хозяина дома в его еще молодые годы.

Саша долго обдумывал идею Фиминого, как мы его называли, портрета.

— Я сделаю его на фоне дерева, — говорил он, — я уже почти нащупал, как надо.

Я не думаю, что Саша руководствовался здесь любимым выражением Друца «Я — другое дерево», которое тот часто изрекал одолевающим его дамам, когда хотел прекратить отношения. Это выражение, принадлежащее французскому поэту Преверу, что умалчивалось, он многократно произносил в компаниях, приняв, как он говорил «пять капель бравинты», то есть водки на цыганском, и раскуривая одну сигарету за другой.

Мне кое-что удалось записать за всегда солирующим в застолье Друцем. У него была масса знакомых художников, а говорил он о них следующее:

— С ними можно спать, говорить, любить, ругаться, делать, что хочешь. Кроме одного — нельзя пускать их в душу. Они собираются только для приятного времяпрепровождения. Вроде вместе, но никто ни для кого пальцем не шевельнет. Все они одиноки. Каждый только для себя и за себя. И нельзя делать им добро. Добро никогда не остается безнаказанным.

Никогда в жизни не соглашусь с этим утверждением. Ни от кого я не видела такой всепоглощающей поддержки, как от Сашиных друзей-художников все те годы, что его нет среди нас.

Но вот опять Ефим:

— Я предпочитаю цыганский способ общения. Они тебя сразу рентгеном просвечивают. Ты пришел — они тут же увидели, какой ты есть. Хоть ты вертись, как червяк на сковородке, они тебя увидят. У них нет проблемы долга. Взял ты в долг двадцать или тридцать тысяч — никаких бумаг не существует. Это их нравственный кодекс.

— А есть вещи ритуальные. Попробуй, обидь его коня — смерть, сразу. Попробуй, скажи, что у него плохая лошадь. Да чувак тысячу раз подумает, прежде чем пасть откроет. Отношения мужчины и женщины... Это две правды, иначе поле

трупов уложат. Помню, раз жрать было нечего, бабы ходили в деревню гадать. У них ведь, когда женщины идут на дело, то в стороне, вроде незаметно так, их мужчины стоят, приглядывают за своими. Вдруг одна тетка деревенская, религиозная, дала цыганке золото. Она его тут же спрятала. А закон такой, что все надо делить поровну. Они выходят из деревни и тут же делят. Я включил это в книгу, но как сказку. Они приходят все в табор, отдают добытое, как положено, вожаку, и ему говорят, что у нее было золото, а она своему мужику отдала. Что делать? Собирают цыганский суд. Она должна поклясться и выпить из черепа. Короче, она говорит: ничего я не брала, чтоб мне не разродиться. И она умирает при родах. А золото потом находят. Мужик приходит, падает на колени. Его бьют и позорят. Она могла ведь себя казнить таким образом и задохнуться от страха.

— Когда человек долго верит в какую-то вещь, она для него становится куском жизни. Они же у костра без конца проговаривают все это между собой. А дети в этом варятся. Там есть девчонка, которая угли ест, горящие. Жуть какая-то. Нам же дико. Представьте себе, какая она будет, когда вырастет, она же еще маленькая была.

— Для них нужна природа. В городе они вянут. В городе есть ослабление мистической силы. А там — ветка шелохнется, тень мелькнула, а им черт знает что чудится, мерещится.

А какие ромалэ музыканты! Их учат гитаре с трех лет в таборе самым жестоким образом. Есть такой Федя Канденко, он гений гитары, я с ним много песен записал. Они, цыгане, всегда отличаются тем, что все понимают. Им ничего не надо объяснять. Это цыганские дела, в чистом виде. Я ему даю свою тему, чистую городскую тематику, никаких репетиций, ничего не надо. Все роскошно.

Он, Федя, часами напролет в таборе им играет. Они рыдают. Старики рыдают, как дети. Старики, видевшие все. Федя — это Джанго на русской почве. Джанго Рейнхардт, который играл с Дюком Эллингтоном, — гениальный музыкант, легенда.

— Что такое удача? Представление об удаче расплывчатое. Это не парадокс. Злые не видят удачи. Искусство начи-

нается тогда, когда человек преодолевает страдание. Западные люди завидуют, что у нас сплошная трагедия. Страдание облегчает им путь в искусстве. Они сублимируют свое страдание. А отними его от них — у них ничего не останется. Талант (возьмем Достоевского) существует отдельно от человека. Временами бывают периоды, когда он берет человека за горло и тащит его куда-то.

— Каждый из нас одинок в данной жизни и одинок внутри себя. Мой удел — дорога, только путь. Я не принадлежу никому, даже себе. Цыгане, когда я прихожу к ним, они мне рады. Рады, что я так много для них делаю. Они говорят между собой: он так много для нас делает, это хорошо. А теперь я чужой для них, я ушел в городскую жизнь.

— Мы все разобщены, каждый тянет в свою сторону. Я хочу сделать еще пятнадцать детей, хочу собрать наших людей и ткнуть их друг в друга.

И вот еще, напоследок:

— Я учился в школе. Антисемитизм был страшный. Матери учеников, толстые, мордатые, буквально утопали в нем. Я учился плохо по всем предметам, но в королеве моей, литературе, мне не было равных. Я писал только на вольные темы. Мои сочинения всегда читались перед классом. Однажды мы писали такое сочинение. Я, как всегда, писал на вольную тему. Я не мог действовать в прокрустовом ложе заданных тем. И вот, когда я как-то на другой день после сочинения мчался по коридору, ко мне подошла мать моего одноклассника, член родительского комитета, они все вечно там болтались. А эта, холеная, жена адмирала, они жили этажом выше. Он сейчас запойный алкоголик, брошенный детьми, она давно умерла. И вот подходит ко мне эта баба с руками в кольцах, в бриллиантовых подвесах в ушах, смотрит мне в глаза и говорит: «А у вас по сочинению двойка».

Я смотрю на нее. Я не дрогнул ни одним мускулом, верите, но внутри у меня все сгорело, ничего не осталось.

— Да, я был хулиган, подонок, мерзавец, меня трудно было чем-то смутить. А эта тварь нащупала мое единственное больное место. И вонзила туда нож. И повернула его.

— Я пришел домой, рассказал родителям. Мать сразу собралась и поехала в школу, ей там сказали: «У вашего сына

единственная пятерка в классе». Она вернулась домой, рассказала это. Потом, естественно, послала проклятия по адресу этой бабы.

И вот что поразительно. Эта тварь была тупее пробки. Но ее чутье антисемитки подсказало ей самый верный, самый быстрый и самый беспощадный путь.

С тех пор я никогда не подхожу к людям на расстояние, когда можно вонзить нож в сердце.

И вот этого человека Саша решил нарисовать.

Портрет оказался разящим. Он относится к тому же «темному периоду», что и знаменитый триптих «Деревья». На фоне рембрандовской живописной мглы распятое хрящеватое лицо с мертвенностью лба в проплешинах и рыжиной оставшихся волос, сливающейся с сумеречной листвой Дерева. А Дерево тоже неотчетливо на полотне, там лишь листва, вбирающая, поглощающая лицо. Приоткрытый маленький рот персонажа неожиданно плотояден. Любовный экстаз или мука предсмертия? Скорее второе.

Портрет весьма далек от равнодушной комплиментарности московских изображений нашего героя. Литовский Сашин друг Гедиминас каким-то наитием, заложенным еще в генах знаменитого и никогда не виденного им родственника, художника Чюрлениса, как я уже упоминала, уловил послание той силы, которая водила рукой автора. Друц всегда панически боялся мертвых. Лешенька рассказывал, что, когда умерла мать Ефима, тот отказался зайти в зал крематория. Дрожащий и жалкий, он просидел на воздухе всю процедуру прощания. Навеян ли этот ужас перед покойниками годами общения с цыганской мистикой, не знаю. На Сашины похороны ни он, ни Алеша не приехали, послав вместо себя сына Лешиной жены Ирины.

Друц появился в Ленинграде, когда портрет был закончен. Он бегло глянул на на работу, и стало очевидно, что он раздражен.

— Ну что ж, правильно, сынок, все правильно, — скучно изрек он, и его рыжеватая, уже отцветающая бородка вывернулась в другом направлении[1].

[1] Портрет Е. Друца находится в альбоме на стр. 76, в каталоге № 54.

* * *

Миллионер Нортон Додж был похож на добродушного моржа. Круглое лицо, усы, округлое же небольшое тело. Он всегда лучился благодушием, во всяком случае, в те считаные разы, когда я его видела. Он напоминал дитятю, обретшего свои любимые погремушки и уверенного, что никто их не отнимет. Погремушками после его первого посещения Советского Союза в 1970-х годах стали для него работы бунтарских неофициальных художников. Они явились смыслом его существования и причиной огромных расходов. Он финансировал издание гигантских каталогов, на его деньги был построен целый корпус для музея при университете Ратгерс в штате Нью-Джерси, где «упокоились» работы множества художников из разных республик Советского Союза. В том числе и выдающиеся Сашины работы: «Семья в саду», «Прогулка» (обе работы 1976 года), «Купание» 1986 года, а также более поздняя работа «Закат», подаренная музею ее владелицей Барбарой Хазард.

Нортон очень хотел заполучить Сашину работу «Семья в саду», ставшую фирменным знаком его раннего творчества. Я же хотела продолжать работу над изданием альбома, так что интересы наши совпали по времени. Когда-то картина принадлежала Нине Костылевой, маленького роста брюнетке с колючими темными глазками и тягучими интонациями школьной учительницы. Она работала в ленинградской Публичной библиотеке и совсем давно скупила целый блок Сашиных работ, чем на время очень поправила его финансовое состояние. У нее была основательная коллекция ленинградских неофициалов, включающая работы Окуня, Басина, Игоря Иванова и других звонких художников, впоследствии почти полностью ею распроданная.

Саша ничего не знал о своем отце.

— А ты спрашивал у Надежды Владимировны? — однажды осведомилась я.

— Нет, — сказал он, — мне это неинтересно.

Это не было бравадой. Он не умел притворяться.

— Я всегда завидовал людям, у которых большая семья, — как-то поделился он, — ну что мы с матерью вдвоем

телепаемся — ни два ни полтора. А вот у Сашки (он имел в виду Александра Окуня, к тому времени эмигрировавшего в Израиль) семья большая, у него бабушка была совершенно замечательная, а мама тоже такая личность значительная. Да у него еще двоюродный брат Венька с Нонкой, женой, отличные ребята. Ну, я часто заходил к ним в Сосново, у них большая дача с садом, а мы снимали комнату не очень далеко. У них всегда полно народу околачивалось, весело так было, живо.

— Ну я и сделал эту картинку. Я тогда здорово под Филоновым был. Еле вылез...

Мне очень нравилось это слово «картинка», занижающее пафосность момента.

— А я картинку нарисовал, — часто говорил Саша, вернувшись из мастерской. И кидался к раковине в кухне, если там виднелась хоть одна невымытая чашка.

Работа «Семья в саду» 1975 года много позже оказалась широко представленной в первых робких изданиях, освещавших неофициальную культуру Ленинграда. Ко времени знакомства с Доджем я с помощью американских Сашиных друзей выкупила эту работу у Нины Костылевой.

Эта работа завораживает. Группа людей с девочкой посередине на фоне цветущего сада. Фигуры выписаны с филоновской тщательностью, но мягко, милосердно, без его чеканности. Вроде бы невинное собрание родственников. Но работу пронзает напряжение, люди спаяны какой-то одной эмоцией, не осознанным ими предвидением чего-то глобального, смутным ожиданием. Группа звучит органным хоралом, многотоновым фортепианным аккордом, и звуки эти не распадаются, когда ты отходишь от нее.

Торговались мы с Нортоном смешным образом: он забавлялся процессом, весело поигрывая со мной, как кошка с загнанным мышом; я, заранее сдавшись, вяло сопротивлялась. Это был мастер-класс высокого уровня. Жесткий по содержанию и мягкий по форме. В результате он получил за весьма убористую цену два этапных полотна. Фактически он купил две работы по цене одной. Вторая картина — «Прогулка» того же периода. Эта работа представляется мне праматерью библейских работ, созданных художником в по-

следний год его жизни. А простенькое название ее — всего лишь отражение Сашиных мучений с определением имени для очередной «картинки».

— Ты относишься к живописи как к любовнице, — внушала я Саше, заскучавшему, загнавшему себя в тупик совершенством последней работы «темного периода» «У ручья». (В альбоме она представлена на стр. 78, в каталоге № 68.)

Он полгода после этой работы ничего не писал, слоняясь по дому и заявляя, что он «не художник, а г...».

— Ты прибегаешь в мастерскую, делаешь свои дела, развлекаешься по мере сил и ускакиваешь. А ты относись к этому как к жене. Тебе от нее не отвертеться. Работай с сознанием, что никуда тебе не деться.

Зима создания работы «Купание» была лютой. Я прозябала с бронхитом. Саша тоскливо сидел дома и вдруг решился и отправился в мастерскую. Мастерская его была на Петроградской, куда из нашего купчинского далека, к счастью, шел трамвай за номером двадцать пять. Тащился он через весь город около часа, но зато доставлял к самой мастерской. Саши не было три дня. В дом он влетел поздним вечером и, еще не раздеваясь, выпалил:

— Я картинку нарисовал. Ты, когда увидишь, ни за что не поверишь, что это я...

— Что ты сделал?

— Я вышел в открытый цвет, — ответил он ошарашенно.

И, действительно, увидев эту работу, которую он назвал опять же просто — «Купание»[1], я захлебнулась ее синевой. Картина, где в космос воды погружены несколько фигур, сделана на цветном грунте. Этот скачок от необычайно тонкого, уже привычного Сашиного цветного моделирования к чистому локальному цвету ошеломляет. Художники считают, что техника работы по цветному грунту имеет определенную специфику, она очень сложна и требует высокого класса от автора. Как сказал один критик, это была ошеломляющая попытка работы на цветном грунте.

После «Купания» была создано «Синее Дерево», картина, которую художник считал более сильной и репродукция которой сразу попала в журнал «Юность» за 1986 год, № 2.

[1] На обороте, однако, написано «Купальщицы».

Печалило меня то обстоятельство, что «Купание» оказалось «Титаником», затонувшим в дебрях Нортоновской коллекции. Он выбрал именно этот холст из нескольких предложенных ему, в числе которых был желтый триптих. Картина была послана в латифундию Нортона в штате Вирджиния, о которой один из его агентов, описывая ее размеры, говорил, что от ворот к дому Доджа надо ехать не менее десяти минут. Мы с моей приятельницей Айрин ехали несколько дольше. На плоской равнине паслось несколько лошадей. По правую руку громоздилась цепь старых амбаров. Дом Доджа отличался почтенной старостью и беспорядком. Его жена Нэнси жила в другом доме, построенном на этой же территории. Кроме нас там оказалась молодая пара реставраторов из Минска. Сидя возле размашистой реки под названием Делавар, вошедшей в историю американской революции, мы все ели ланч, купленный Доджем заранее (коробочки с салатом он с трудом нашел в своем холодильнике), и пили вино из выращенного здесь же винограда. Все это очень походило на идиллию в поместье русских дворян, почтенном по возрасту и милом по содержанию. Так я его и воспринимала до того момента, пока Нортон не повел нас в один из амбаров, и я с ужасом увидела, что там хранятся картины из его коллекции. Одну из этих работ и реставрировала молодая пара из Минска. Хорошенькая Милочка, как нежно воркуя, называл ее Додж, и ее супруг сидели над останками огромного полотна. Мне показалось, что работа находится в состоянии глубокого распада. Вглядываться в нее долго не позволяли приличия, но следы плесени, расползшиеся по холсту, придавали картине видимость больного тяжелой экземой. Никаких мер по сохранности работ здесь, в сараях начала века, не предпринималось. Холсты «закалялись» в практически естественных условиях климата штата Вирджиния.

«Купание» было отправлено именно на этот, домашний адрес Доджа, а не прямо в музей Зиммерли. До сих пор страшно подумать о судьбе работы, посланной на заклание в старый амбар, — вирджинский климат с его летней жарой и сырыми снегопадами зимой не щадил хрупкие работы, как я наглядно убедилась[1].

[1] Не так давно, к моему огромному облегчению, было получено подтверждение администрации, что работа находится в музее.

Это был запоминающийся визит.

Додж радостно водил нас по своим владениям, завел в маленький садик, где на грядках выращивались ароматные травы, вырывал тонкие стебельки, давал нам попробовать, подарил бутылку вина со своей фирменной этикеткой.

Когда мы вернулись к дому, на крыльце лежал объемистый пакет.

— Это работа Евгения Рухина[1], я ее ждал, — взволновался хозяин и схватил пакет со страстью матери, которой только что вернули похищенного ребенка. Он рвал твердыню крепчайшей бумаги (крафт) своими пухлыми пальцами, которые вдруг обрели силу орлиных когтей. В разверстую полость ухнули кубышечки, толстенькие, невесомые, угодливо сжимающиеся при нажатии и рабски охраняющие содержимое пакета от ранений при перевозке, и вольготно разместились на всей плоскости крыльца. Позже, ползая по этому крыльцу и толкая друг друга, мы собрали все колобашки и сложили их в пакет.

Нортон вытащил небольшой холст, простер с ним руки и застонал от счастья. Он боготворил Рухина, с которым познакомился в Ленинграде еще в 70-годах прошлого (как нелепо это звучит — прошлого) века. Он особенно любил художников, которых знал лично. Трагически погибший Евгений Рухин был здесь в первых рядах. Додж очень уважал Юрия Дышленко, который проживал в Нью-Йорке, и ощутимо помогал семье Юрия после его смерти.

Судя по всему, Нортон не очень разбирался в живописи. Но его влек к себе мощный динамизм, энергетика, рвущаяся из работ неофициалов. Он предпочитал внятные сюжетные работы, на которые реагировал с детским энтузиазмом. Он был химик по профессии и свое состояние сделал сам. Он помог массе художников выжить в голодные дни перестройки.

Скончался он совсем недавно.

Светлая ему память.

---

[1] Евгений Львович Рухин (1943–1976), Ленинград, художник, представитель неофициального искусства. Погиб при пожаре собственной мастерской. Обстоятельства пожара остались невыясненными.

Что касается работ Саши, находящихся в музее Зиммерли, они, повторяю, упокоились там навечно. Ни одна из них не экспонировалась, кроме небольшого холста «Закат». Произведения, собранные Нортоном, котировались, в основном, степенью их эпатажности. Среди постоянной музейной экспозиции царствуют колоссальные инсталляции Владимира Янкилевского и Вадима Воинова, «Золотые унитазы» которого, как рассказывал сам Вадим, Нортон купил по максимальной для него цене.

Работы, поменявшие адрес

Завершающую, прощальную работу цикла «Купание» Саша написал в свой последний, 1990 год. Работал он над ней необычайно долго, никак не мог положить финальный мазок, говоря, что в этой работе встретились два основополагающих периода его творчества — так называемый «темный» и неожиданный прыжок в открытость цвета, начало которому положило синее «Купание» 1986 года.

В 2003 году Татьяна Шехтер написала лирическое проникновенное эссе (к сожалению, пока не опубликованное) об этом цикле работ. О последней работе она пишет: «Вот оно, подлинное творческое достоинство, соединившее экстатичность „деревьев“ и мифологическую романтику ранних „Купаний“. В их сопряжении раскрывается необъятность духовного Космоса. Это и есть тема картины. [...] Словно духовным зрением мы видим медленное рождение Купальщицы, ее величественно-спокойное стояние, с которым в нашу жизнь приходит светлая сила мира, даруя нам надежду, растраченную в суете».

Эту работу я подарила Айрин Голдман[1], которая самоотверженно заботилась о Сашиных картинах, гостивших у нее в доме на протяжении нескольких лет. Она была куратором выставки манусовских работ в галерее университета Райдер, штат Нью-Джерси в 2005 году.

В альбоме работа эта репродуцирована на стр. 95, в каталоге № 90.

[1] Подробнее об Айрин Голдман в главе Pacific.

И короткая справка о трех работах, принадлежавших Надежде Владимировне Манусовой. Работу «темного периода» «Дорога в лесу» (1986, х., м., 70 х 100, репродуцирована в альбоме на стр. 78, в каталоге № 61) Саша подарил Н. В. на день рождения. После смерти Н. В. работа попала к ее племяннице Соне. Фамилию ее я никогда не знала. Дочь Сони, Ольга, после смерти Саши через какое-то количество лет сменила свою прежнюю фамилию на Манусова.

Работа «Дорога в лесу» из цикла немногочисленных работ Александра, написанных в период 1983–1986 годов.

На мою просьбу предоставить работу для выставки в Музее истории города в 2009 году родственницы Н. В. ответили отказом.

Еще одна работа Н. В. под названием «Ветер» перешла в собственность племянницы Надежды Владимировны. Это небольшая работа в каталоге представлена на стр. 51, № 8.

Надежда Владимировна говорила мне, что Саша почему-то не любил эту работу. Скорее всего, это эскиз к чему-то большему, что не было реализовано.

И, наконец, третья из работ, сменивших место жительства, под названием «Трое» — эскиз к работе «Купание» (в альбоме репродуцирована на стр. 48, в каталоге № 14) — была мною ошибочно подписана на обратной стороне как «Ветер». Перед самой смертью Надежда Владимировна подарила ее Исааку Кушниру, который в этот день привез ей один из выпущенных под его эгидой каталогов. При этом присутствовала жена Сашиного друга, художника Виктора Иванова, Тамара.

Летом 2012 года в Музее истории города, в его филиале на Галерной улице, состоялась выставка работ ленинградских неофициальных художников из собрания музея и также была представлена огромная коллекция работ нонконформистов, ранее принадлежавшая известному ленинградскому коллекционеру Сидорову. Среди этих работ я с изумлением увидела работу Саши, подаренную Надеждой Владимировной Исааку Кушниру. Здесь она называлась «Ветер», что, повторяю, было моей ошибкой. Но это был тот самый эскиз на холсте к работе «Купание». Сотрудница музея сказала мне, что вся эта коллекция продана семье Березовского (не пе-

чально известного всем олигарха, а его однофамильца, живущего в Петербурге). Не берусь расшифровывать этот ребус с появлением работы в коллекции, к которой она не имела отношения. Сотрудница показала мне большой альбом, выпущенный под руководством И. Кушнира, и сказала, что он лично с какими-то помощниками развешивал эту огромную экспозицию. Рассматривать работы было трудно, так как в зале с высоченными потолками они были развешены немилосердно, чуть ли не в пять этажей.

* * *

Когда-то молодой искусствовед Павел Герасименко в статье о выставке Манусова 1991 года в Центре искусств имени Дягилева написал, что работы художника обязательно нужно видеть «вживую» — только тогда можно понять, что они из себя представляют. Мне кажется, с любой работой любого художника лучше всего знакомиться лично. Как с человеком, о котором много слышал и которого видел лишь на фотографиях.

Если вдруг сыщется читатель этих заметок, я надеюсь, он простит мне, если я скажу, что работы Саши — это особый случай. Ты можешь надолго удержать в памяти звучание мощного оркестра, исполняющего симфонии Малера или Брукнера. Можешь мысленно воспроизвести нежность камерного звучания Моцарта или Баха, особенно если у тебя хороший музыкальный слух и натренированная память. Но возможно ли воспроизвести ту колористическую оркестровку, переливы цветового звучания, дерзновенные схватки несовместимых вроде бы красок в поздних полотнах и проникновенное, любовное использование каждой пяди холста в ранних работах? Один из зрителей назвал эти работы «коллекцией драгоценных камней, которой хочется любоваться, хочется дотронуться до каждой из них».

Приятельница Сашиной мамы, композитор Наталья Обольская, говорила убежденно, что Сашина поздняя живопись — это воплощенная на холсте симфоническая музыка.

Он почти всегда работал с музыкой и, придя домой, рассказывал, что именно он сегодня прослушал.

В 2005 году титаническими стараниями Айрин Голдман в университете Райдер штата Нью-Джерси была открыта Сашина выставка. Во время проведения выставки там прошла серия концертов камерного оркестра. На одном из них я присутствовала. В программе были произведения Моцарта и Вивальди.

После концерта я сидела в зале, где была выставлена графика, и здесь ко мне подошла женщина, небольшого роста американка средних лет. Глубочайшее изумление было нарисовано на ее лице.

— Вы знаете, — ринулась она в беседу, — со мной произошло невероятное. Я ведь пришла на концерт. Это очень хороший профессиональный оркестр, я никогда не пропускаю их выступления. На стены я не смотрела. И вдруг, не знаю почему, но я взглянула на одну из работ, потом посмотрела на все сразу картины и на меня со стен ринулась ожившая великолепная музыка. То есть эти работы слились с музыкой полностью. Я потрясена. Раньше со мной ничего подобного не случалось.

Женщина эта понятия не имела, что я вдова художника.

* * *

Когда открылась выставка Сашиной графики в музее нонконформистского искусства в Петербурге — а было это апокалиптически снежной зимой 2008–2009 года — я познакомилась с красавицей Настей. Девочка эта училась на искусствоведческом отделении у Татьяны Юрьевой[1] и брала уроки живописи у Николая Сычева, Сашиного соученика и бессменного и незаменимого оформителя всех выставок музея.

[1] Татьяна Семеновна Юрьева — доктор искусствоведения, директор Музея современных искусств имени Дягилева при СПбГУ, профессор кафедры методики и теории преподавания искусств и гуманитарных наук, заслуженный деятель искусств РФ.

«Тут есть одна девушка, — говорил седобородый, похожий на Санта-Клауса Николай, — ей очень понравились Сашины работы, она хочет по ним писать свой диплом».

Я решила подарить Насте Сашин альбом, пригласила ее к себе. Она примчалась в Купчино из далей Комендантского аэродрома и уселась за стол. Невыразимо стройная и высокая, с прозрачными обволакивающими глазами, робкая в своей прелести, не сознающая ее и неуверенная, она сидела за кухонным столом.

— Настенька, — сказала я, — я сейчас принесу вам альбом, а вы можете мне рассказать, чем вам так понравились работы Александра?

И остановилась в дверях, от нее подальше, потому что красавица полыхала смущением.

— Когда Николай развесил работы в музее, он предложил мне посмотреть их. Мы пришли, никого там не было. Я смотрела, одна, — здесь она споткнулась.

— И они мне так в душу запали, — закончила она тихотихо и заплакала.

Я не стала вторгаться в подробности, так как сама смутилась от неожиданности. Мы выпили чаю, и она уехала с альбомом в руках.

Я отмечаю эти детали, потому что более двадцати лет прошло со времени Сашиной смерти и выросло совершенно новое поколение. Мною непознанное. На открытии той же выставки графики ко мне подошли двое парней, приехавших из провинции.

— Здесь так мало написано о художнике, — сказали они, — вы можете нам что-нибудь рассказать? Мы ничего подобного никогда не видели.

— А что вам больше всего понравилось? — поинтересовалась я.

Они подвели меня к серии пастелей, созданных Сашей накануне его ухода, и указали на работу «Двое». Именно о ней в книге отзывов позже появилась запись: «Картина „Двое“ — шедевр. Я влюблена. Спасибо, Александр».

Сашина графика, как он сам говорил, отличается от живописи тем, что здесь проработаны лица и фигуры, а в живописи он работал корпусно.

Экспозицию в малом зале музея великолепно продумал и разместил Евгений Орлов.

Музей нонконформистского искусства, более популярный под индексом Пушкинская, 10, активно посещается молодежью, проявляющей интерес к эпатажным мероприятиям, таким, скажем, как День Пушкинской в последнее воскресенье июня. Этот день приурочен к оптимистической дате, когда власти города официально признали право художников на часть дома. В этот день ряд художников с удовольствием разрисовывает обнаженных девушек. Николай Сычев с восторгом рассказывал, как это популярно на Западе. И ходят в музей, помимо интеллектуальных старцев моего поколения (увы, уже!), простенькие ребята, чтобы потусоваться в модном месте, зайти в храм Джона Леннона, почти четверть века влекомый неистовым Колей Васиным[1], или в джазовое, не так давно открытое здесь кафе. Выставки меняются каждые три недели. Здесь толкутся ребята, приехавшие в Северную Пальмиру из провинции, благо Московский вокзал, с которого текут потоки алчущих Питера туристов, находится напротив подворотни, ведущей в урочища реликтового дома.

И вот множество именно таких ребят посетило выставку, которая открылась в зимнее каникулярное время. Не думаю, что они были отягощены излишними искусствоведческими познаниями. Я уже приводила ряд отзывов с ранних посмертных выставок Саши. Там были люди, знакомые с его творчеством, или знающие его лично друзья. Здесь же, на выставке, в основном, черновых его работ, которые я привезла в стареньком рюкзачке, в книге отзывов были записи неискушенной в высоких материях ребятни.

Вот некоторые из них.

Глядя на подобные шедевры, понимаешь, что искусство живет. Это радует.

---

[1] Николай Иванович Васин, 1945 г.р., — коллекционер, писатель, историограф, создатель музея группы The Beatles, учредитель «Храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона».

Волшебно! Будь то краски или тушь, везде чувствуются эмоции, мысли, глубина. Понравились все работы, понравились, «зацепили», заставили задуматься, запали в душу. И мне, пожалуй, сложно выделить среди них фаворитов. Они чудесны, гениальны. В такие моменты хочется сказать спасибо людям, которые творят (без искусства жизнь сера и посредственна), и огромное спасибо тем, кто доносит творения.

Пусть над нами всегда светит солнце!

Выставка оставила потрясающие и приятные впечатления.

Особенно затронули рисунки пастелью. Создается впечатление, что они светятся изнутри.

Спасибо за впечатление и необычные эмоции.

Спасибо за экспозицию. Ничего подобного никогда еще не видел. Манера исполнения картины — для меня это новое свежее впечатление.

Выставка приятно удивила. Мне казалось, что на Пушкинской 10 выставляются работы молодых амбициозных художников, делающих карьеру и наводящих эпатаж. Наверное, я просто не знала. А здесь — работы музейного уровня. Очень многие из работ я хотела бы повесить у себя в комнате — не агрессивные, не давящие — лирические и спокойные.

Спасибо.

Алла Мартыненко

Выставка — замечательная. Спасибо устроителям. Насыщенность и сила цвета в живописных работах особенно меня привлекла. И рисунки очень интересны.

Жаль, что все оборвалось так рано.

Сергей

Спасибо Вам большое за картины.

Такие нежные.

Смотрю, улыбаюсь.

Варя

Окунулась в бесподобный мир графики. Сколько пространства и воздуха в пейзажах. Ах!
И яркие контрасты. И краски. И жизнь!
Спасибо!

Элена Зентерова

...и вдруг среди зимних скользких улиц и наползающей темноты нашлось — чудо.
Выставка волшебная.
Нам очень понравилось. Ярко и тепло тут!

Панова

Слепо ощупываю.
Учусь видеть, до мозолей всматриваюсь.

Андрей

Картина «Двое» — шедевр.
Я влюблена. Спасибо, Александр.

Марина

Спасибо за выставку!
Выставка оставила потрясающее впечатление!
Больше таких картин еще ждем.

Валерий

А вот отзыв профессионала, одного из Сашиных соучеников.

Я даже не ожидал, что один художник может в совершенстве владеть таким разнообразием техник. Акварель, уголь, перо и тушь, сангина, пастель... Никогда не видел графики в подготовительных набросках такого качества. Раньше

считал Сашу выдающимся живописцем. Мне нравились его идеи и композиции.

Удивительно, что графика сохранилась. Хоть и на нехорошей советской бумаге... Но все очень впечатляет. Думаю, что Саше очень бы понравилась выставка в целом. Как она развешена и как она оформлена.

Большая благодарность Регине за то, что, не раздумывая, она согласилась представить работы для выставки. Год начинался с подготовки выставки Манусова в залах Русского музея. И год заканчивается его выставкой на Пушкинской, 10.

Хочется отметить, что характер работ и их исполнение не устарело до сегодняшнего дня. Молодежь с удивлением и большим интересом разглядывает представленные вещи.

Задаются хорошие и интересные вопросы. Что особенно приятно, молодежь хочет больше знать о художнике.

Спасибо всем организаторам выставки.

Николай Сычев, однокурсник

Как я уже упоминала, зима этой выставки была апокалиптической по количеству и уровню без остановки выпадавшего и неубиравшегося снега, по множеству застрявших в сугробах машин, а также «сосулей», как окрестила огромные ледяные торосы под крышами зданий, убившие немало горожан, тогдашняя «охранительница» города губернатор Валентина Матвиенко.

Мы сидели с дежурной по выставке в самом конце выставочного времени и смотрели на женщину лет пятидесяти с небольшим, которая нервно и стремительно расхаживала по залам. Когда в очередной раз она поравнялась с нами, мы увидели, что лицо ее в слезах.

— Вам понравилась выставка? — спросила я ее испуганно.

Она затормозила возле нас и глубоко, словно пытаясь выйти из гипноза, вдохнула воздух:

— Я... — сказала она, — я живу рядом и сюда зашла случайно... я сюда перестала ходить давно, здесь всегда такие плохие выставки. И вдруг такое... откровение.

— Вы хотите написать отзыв? — спросила я.

— Я не могу сейчас, это невозможно. Я приду еще...

И вот слова немолодой женщины, искусствоведа по профессии, которая появилась в музее на следующий день. Посмотрев выставку, она отозвала меня в сторону:

— Мне не хочется просто так уходить. Я должна вам сказать, что я не люблю современное искусство. Недавно внуки потащили меня в Эрмитаж на выставку современных французских художников. Не знаю, как я выжила там. А здесь я испытала катарсис. Спасибо вам.

Да простят мне мои любимые друзья, начальники Пушкинской, следующее: через несколько дней после этого я зашла в большой выставочный зал, где одновременно с Сашиной открылась выставка художника Валерия Мишина, достаточно известного в Питере члена Союза художников. По центру помещения висело огромное полотно, где красноречиво выделялись два крупных фаллоса. В маленькой афишке к его выставке под названием «Сложение и вычитание» был помещен непонятный текст, в котором мне с трудом удалось различить слово «геморрой».

* * *

Уже ушли лучшие люди после Саши. Ушел художник Рихард Васми, ушла мудрая страдалица-бунтарка Ленина Никитина. Не стало кроткого Витеньки Иванова, замечательного художника кино и школьного друга Саши. Остальные смиренно стоят в очереди.

Невыразимая печаль навсегда открылась для меня с уходом очень близкой моей подруги Татьяны Шехтер. Когда-то я шутки ради попросила ее подписать очередную статью всеми титулами, которыми она обзавелась в процессе своей деятельности. Это было впечатляющее зрелище. В середине восьмидесятых начинающим искусствоведом она пришла к нам в Купчино знакомиться с Сашей. Принесла коробочку с пирожными. Поразила ясностью облика и хрустким чистейшим голосом. Легкая картавинка придавала ему терпкость породистого вина. За чаем она простенько сказала: я родилась в концлагере. Это было на Севере возле города Печоры, где в лагере познакомились ее родители. Мама до

сих пор жива. Отца не стало очень давно. В этом лагере отбывал срок знаменитый тенор Печковский. Мама ее мужа, Володи Шехтера, работала там врачом. Печковскому она оказывала максимальную поддержку, освобождая от тяжелых каторжных работ. Собственно говоря, она спасла ему жизнь. Когда ее сын Володя приехал поступать в ленинградскую консерваторию в класс вокала, один из экзаменующих его педагогов спросил, не знает ли он Асю Моисеевну Шехтер, которая спасла великого певца.

В замкнутом мирке поселка при концлагере дети были хорошо знакомы. Но потом пути их разошлись, и много лет спустя они встретились в ленинградском автобусе, где Таня ехала со своими сокурсниками и куда красавец одессит Володя, уже поступивший в консерваторию, вскочил почти на ходу.

— Не знаю почему, — рассказывал он позже, — когда я увидел эту девушку, я совсем ее не вспомнил, но почему-то начал к ней приставать.

А Танечка рассказывала так: «Мы встретились с Шехтером в автобусе. Мы не виделись шестнадцать лет. Я его совсем не узнала. Он начал ко мне приставать. Из себя выходил. Я посмотрела на него и говорю: „Шехтер, это ты, что ли?“»

Она всегда называла его по фамилии, и до чего же мило звучала зазубринка на последнем звуке.

Интеллект и познания Татьяны парили в недоступных для нас сферах. Она закончила искусствоведческий факультет Академии художеств, а обе диссертации, кандидатскую и докторскую, защитила на философском факультете Ленинградского университета.

Когда неофициальные художники в перестройку начали «подниматься с колен», она, тогда еще не титулованная, оказалась практически единственным профессиональным искусствоведом, осветившим творчество лучших из них.

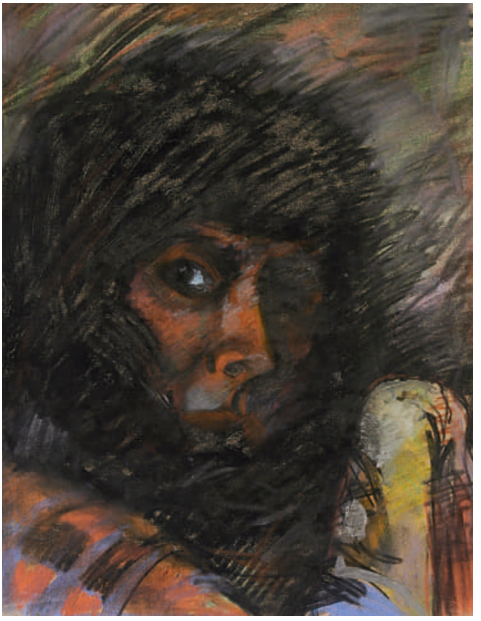
Позже она стала заведующей кафедрой искусствоведения в Университете профсоюзов, должность, которую она приняла, потому что ей была дана полная независимость и свобода в отборе нужных преподавателей. Она также заведовала особым сектором Эрмитажа, занимавшимся научными

Синее Дерево. 1986. Х., м. 145 х 120. Частное собрание

А. Манусов в мастерской, 1988 г.

Семья в саду. 1975. Х., м. 70 х 100. Собрание музея Зиммерли, США.

Прогулка. 1976. Х., м. 93 х 100. Собрание музея Зиммерли, США.



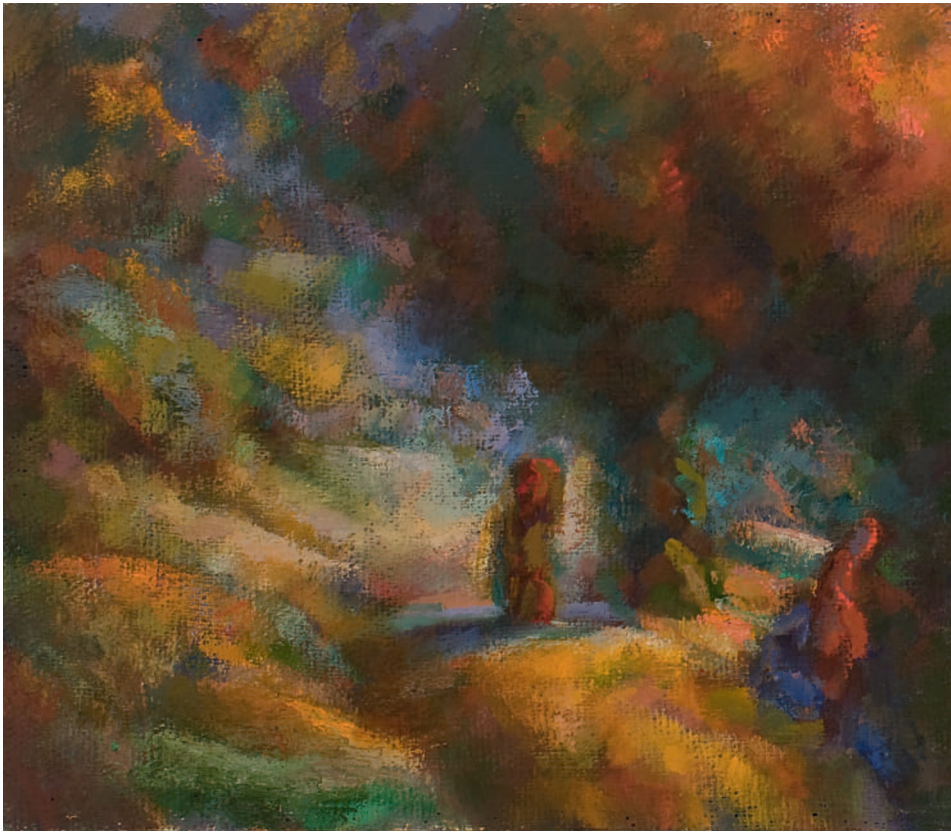
Двойной портрет. 1985. Бум., пастель. 40 х 30. Частное собрание.

Беседа. 1981. Х., м. 50 х 60. Частное собрание.

Вечерняя беседа. 1980. Х., м. 50 х 50. Частное собрание.

Библейский сюжет (синий). 1990. Х., м. 120 х 140. Частное собрание.

Двое. 1990. Бум., пастель. 28 х 43. Частное собрание.



У ручья. 1986. Х., м. 55 х 123.
Частное собрание.

Александр Манусов и Борис Борщ, 1986 г.

А. Манусов, А. Бихтер, Б. Борщ за чаем в мастерской, 1987 г.

У незаконченной работы «Библейский сюжет» (желтый), 1988. Х., м. 120 х 140. Частное собрание.

А. Манусов с портретом К. Маркса, на котором позже была написана работа «Композиция. У реки».

Работа «Композиция. У реки», написанная на портрете Карла Маркса. 1990. Х., м. 56 х 67. Собрание Государственного Русского музея.

У работы «Купание» на выставке в Луисвилле, США, 1989 г.
(1986. Х., м. 126 х 150. Музей Зиммерли, США.)

В детской начальной школе «Marin Country Day School», Корте Мадера,
Калифорния, 1989 г.

А. Манусов и А. Гуревич в Калифорнии, 1989 г. (Pacific).

В аэропорту Сан-Франциско, 1989 г. Перед отлетом.

Ирена и Гедиминас Жукаускас. Вильнюс, 2006 г.

Лайма Жибуркене. Вильнюс, 1996 г.

Мужской портрет. (Ефим Друц), 1985. Х., м. 60 х 40. Частное собрание.

А. Манусов в мастерской у работы «Дерево и люди». 1990. Х., м. 120 х 150. Частное собрание.

Александр Манусов, Алексей Гесслер, Ефим Друц. Ленинград, 1985 г.

Джон М., «спаситель» работ А. Манусова (Pacific).

Алек Рапопорт у своей работы «Неверие Фомы», Сан-Франциско, 1993 г.

Надежда Владимировна Манусова, 2000 г.

Коллекционер Нортон Додж у своего дома в Вирджинии, 2003 г.

У только что законченной работы «Шабат»,
Strawberry village, Калифорния, 1989 г. Х., м. 100 х 120.

С дочерью Анной у работы «Шабат» в доме Рувима Брауде,
Сан-Франциско, 1992 г.

разработками на тему влияния произведений искусства на здоровье человека. Она извергала идеи с легостью птички, переливом рулад приветствующей очередное солнечное утро. Мыслить для нее было так же естественно, как и дышать. Ее научный руководитель, крупный философ Моисей Каган, признавался, что завидует блеску ее мыслительных процессов. В быту ей было свойственно рыцарское бесстрашие. Мы очень сблизились с ней после Сашиной смерти.

В ее писаниях не было щегольской терминологии и стилистических изысков маститых искусствоведов. Ее интересовало искусство как часть мироздания, как прямое выражение процессов и проблем соответствующего времени. Ее необычайно «зацепило» и крепко держало творчество Саши, от начала и до конца его жизненного пути и позже до ее собственного ухода. Танечка долго и тяжело боролась с жуткой болезнью, не теряя ясности разума и продолжая руководить своей кафедрой, вести нескольких аспирантов и заниматься научными исследованиями, фонтанируя идеями с прежней, атомной скоростью.

— Ты часто общаешься с Сашей? — спросила она как-то.

Она была мистиком.

Одна из ее книг вышла при жизни, в самый разгар болезни, три другие появились потом. В проекте остаются еще несколько сборников.

В один из моих приездов в Петербург я привезла и подарила ей несколько Сашиных рисунков. Володя немедленно оформил их в рамки и повесил над ее кроватью.

— Не смей менять экспозицию, не трогай Сашины рисунки, — строго говорила она мужу, который стоически боролся за ее жизнь до самого последнего мгновения, — они мне хороши для здоровья.

С ее обликом весталки, она всегда была строго женственной, следила за собой до тех последних моментов, когда стала похожа на догорающую свечу. Фитилек такой свечи вспыхивает с особой яркостью и красотой в последние миги свой жизни. Когда я последний раз видела Танечку, она отказалась от парика, который маскировал ее изувеченную химией голову, и стала похожа на египетскую царицу Нефертити с ее продолговатым куполом головы и впадинами

щек. Только она была красивее Нефертити, потому что глаза ее по-прежнему светились космическим разумом, сопряженным теперь с болью и страданием.

В этот самый последний раз я обедала у них дома. Она потрясающе готовила, всегда откликаясь на мои вегетарианские запросы.

И когда мы заговорили о Саше и реакции молодежи на его работы, она вдруг, разливая по тарелкам потрясающей вкусноты овощной суп, простенько сказала:

— В этом нет ничего удивительного. Саша нащупал уникальное сочетание духовных клеток в современнике и через этого современника открыл исторический код человеческой духовности.

Я не знаю, во что могло вылиться это ее озарение, если бы она задержалась на этой земле. Я, со своим скудным разумом, не справляюсь с анализом этого высказывания. Ведь Саша ничего не пытался открыть, думаю я. Он просто в соответствии с какими-то волнами проецировал свою глубокую нежную сущность на бумагу или холст. Вибрации, которые исходили тогда от него, каким-то сверхъестественным образом никуда не делись, остались на той же бумаге или холсте и теперь несут нам тот самый духовный заряд, который был в нем в момент созидания, тот самый код, о котором говорила Танечка. И нынешний молодняк это уловил. Человек в сути своей не изменился в угоду времени.

В предыдущей главе я писала о подруге моей дочери Тане Дмитриевой, незаурядной, как я ее понимаю, личности. Жизненный путь ее оказался сложнее, чем у многих. Однако она пришла к согласию с собой и с миром. После открытия выставки в Музее истории города (Петропавловская крепость) она пришла ко мне с мужем. Этот симпатичный человек совсем неожиданно для меня произнес речь:

— Я не искусствовед, Регина Иосифовна, — сказал он, — более того, я очень далек от искусства. Признаюсь сразу, я совсем не собирался идти на выставку. Таня меня затащила силком. Я ходил, смотрел, ничего, вроде, не чувствовал, не понимал. И меня вдруг ударили эти работы. Ведь сейчас, в это жуткое время, я увидел, что они про нас про всех, про меня лично, что они к нам взывают, кричат, просят

осознать это время, преодолеть его надрыв и напряженность. Ваш муж, Регина Иосифовна, брал на себя огромный груз. Непосильный, я бы еще добавил — непереносимый. И получилась такая связь между поколениями. Я понял, что сейчас только искусство может что-то сказать. Меня особенно потрясла работа «Переход». В ней заложено все, о чем я только что сказал. А деревья — это просто атомный взрыв. Сколько там выплеснуто эмоциональной силы, какие мощные... Спасибо вам, низкий поклон за то, что помогли мне это понять, спасибо за выставку.

* * *

Выставка, о которой говорил этот молодой мужчина, состоявшаяся в Петропавловской крепости, в Музее истории города, тоже совпала с периодом апокалиптическим — на этот раз фантастической в этой части полушария жарой. Это был конец августа. Температура воздуха зашкаливала за 37–38 градусов. Когда я в куче туристов плелась по мостику Петропавловки, чайки с режущими ухо воплями совершали дежурный облет в поисках людей, которые швыряли им остатки своих пирожков. Нижний пляж был забит купальщиками. Мальчишки ныряли в воду с огромных деревянных свай.

Выставка монтировалась трудно. Все сделали друзья-художники. Музей предлагал помощь опять же за огромные деньги. Каждый день монтажного периода туда регулярно являлся Евгений Тыкоцкий, блестяще «сочиняющий» экспозицию, приходили красочно одетый в тельняшку Борис Борщ, сдержанный в манерах Александр Лоцман, по-юношески поджарый, реактивный в движениях Иван Оласюк. Он же помог с отличным оформлением этикеток к работам и с доставкой работ на территорию музея. На открытии выставки я сказала о своей вечной им признательности словами Бродского: «И пока мой рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность». Выставку я посвятила светлой памяти Татьяны Шехтер. Муж Тани, Владимир Львович Шехтер, помог организовать стенд, где были размещены биографические данные о ней, фотографии и книги, ею написанные.

В летнее время Петропавловка запружена туристами. В основном, иногородними. И здесь еще раз подтвердилось,

что эта живопись и графика вонзаются непосредственно в душу современного человека.

Вот некоторые отзывы:

Выставка — откровение!
Для меня новое, удивительно счастливое открытие.
Всем организаторам огромное спасибо!
Очень жаль, что не смогла приобрести альбом (не было).

Гостья г. Санкт-Петербурга из города Калининграда

Большое спасибо за эту прекрасную выставку. Если будет время, придем еще 28 августа в субботу, приведу свою сестру-художницу свободной живописи.
Еще раз спасибо и дай Бог Ему памяти людей на долгие годы.

Без подписи

Большое спасибо за выставку. Для нас она явилась открытием внутренней жизни художника, человека неординарного, глубоко чувствующего и тонко мыслящего. Я имела удовольствие знать его в первые годы его творчества, вместе работали на ВСЗ им. Егорова в группе дизайна. В 1974-м посещали его выставки в ДК Газа, куда было трудно попасть. Это был очень ранимый тонкий мальчик, тонко все воспринимающий.
Спасибо.

Макурина

Совершенно потрясающая живопись — противоречивая, жизнерадостная, с малой долей трагизма. Графика живая, точная, очень легкая, филигранная.
Жаль, что очень рано ушел такой мастер.
Спасибо организаторам выставки.

Малаева (архитектор, Н. Новгород)

Выставка очень интересная.
Талант художника проявляется ярко в великолепной графике, трактовке цветовых решений. А. Манусов интересен своим глобальным мироощущением, оригинальным и уникальным подходом к трактовке библейских сюжетов. Яркие, чистые

и звучащие тона и композиции делают его работы запоминающимися навсегда.

Спасибо организаторам выставки.

Полуэктова Л. Р.,
преподаватель английского языка, СПб.

Выставка произвела впечатление, с которым еще долго буду разбираться.

Спасибо большое.

Шитко О. В.

Мы открыли для себя этого художника с его необычным восприятием красок, которые, видимо, все решали в его творчестве. Сильные сочетания ярких, очень ярких красок захватывают своей необычностью.

Спасибо!

Г. Хартманн
Еще две подписи

Спасибо организаторам выставки за это знакомство с замечательным художником, так рано ушедшим от нас в 42 года.

Жаль... Как много он мог бы еще сделать.

Александр Манусов — поистине художник штриха, кисти, цвета. Его произведения музыкальны! Жаль, что он так рано ушел из жизни. Его талант — красочный, сентиментальный, чувственный.

Белла Засепская, СПб.

Был в восторге от неизвестного мне художника-нонконформиста.

Подпись нрзб.

Приехавши в Петербург, я была приятно удивлена тому, что в историческом центре, Петропавловской крепости, я смогла открыть для себя творчество Александра Манусова. Настроение многих работ почему-то ассоциируется в моем сознании с творчеством поэта Александра Башлачева. Уверен-

ность и тоска, эмоциональность и отрешенность будто бы сошлись в одной точке и были воплощены на холстах.

Спасибо за чудесную возможность — испытать настоящий восторг.

Мария Малеева, Москва,
студентка педуниверситета
Вторая подпись нрзб.

Огромнейшее спасибо за уникальную выставку. Ты разговариваешь с «живыми картинами».

Сколько в этих картинах жизни, радости и стремления к новому.

Познать непознанное.

Васильева О. Г. СПб.

Спасибо за выставку!

Высший признак мастерства — умение обыгрывать один и тот же объект, придавая ему разный смысл. И зонтики, и деревья, и даже характер сестер — все это с легкой руки А. Манусова превращается в нечто большее, чем материальный знак.

С уважением, Екатерина
(юрфак СПбГУ)

Спасибо за организацию выставки такого талантливого самобытного художника, к сожалению рано ушедшего из жизни. Жаль, что выставка закроется, и кто увидит эти полотна?

Лично мне особенно понравились «Летний сюжет», левая часть триптиха «У воды» «Утро» и, конечно, «Синее Дерево».

С уважением,

Татьяна Сушко

Очень красиво, жизнерадостно, оптимистично настолько, что кажется жизнь и была и будет прекрасной.

Подпись нрзб.

Насыщенно и ярко.

Творчество А. Манусова — это его жизненное восхождение к Исходу.

Подпись нрзб.

Потрясающее видение цвета.

Реально понимаешь, что переживал автор, когда писал свои полотна.

Безумно понравились последние картины (1990 г.) «Люди» («Переход), «Исход», «Библейские сюжеты».

Хочется жить дальше, мчаться навстречу Свету.

Спасибо! Потрясающе!

(Этот отзыв оставили четыре молодые женщины, не петербурженки.)

В работах конца 80-х поражает взрыв колористики, цветовая мощь.

Подпись нрзб.

С того момента, когда работал А. Манусов, прошло не так много времени, но за этот период мировоззрение и взгляд людей на авангардное искусство поменялись. Авангардное искусство стало более понятным. Тем не менее работы А. Манусова отличаются необыкновенной символикой, и они полны загадок, не поддающихся разгадке. Может быть, это признак настоящего искусства.

Подпись нрзб.

Выставка очень сильная и дает представление о развитии художественной мысли автора от классических сбалансированных пластических созвучий до мощного, на грани шока, художественного эксперимента.

Заславский

Замечательная выставка!

Всегда испытываю потрясение от встречи с этим художником, удивительно самобытным, ни на кого не похожим.

Картины как будто светятся изнутри.

А. Резникова

Александр Манусов — удивительно, как он поднялся к высотам цвета и сюжета и как грустно, что прервался этот полет ввысь. Как хороши его «Сестры» — шеи, овалы и как притягивают его библейские темы.

С благодарностью.

«Не говори с тоской — их нет, но с благодарностию — были».

Без подписи

Рады, что успели посетить выставку перед закрытием, прикоснуться к творчеству художника, который и через 20 лет кажется выдающимся явлением XXI века.

Низкий поклон людям, берегущим полотна.

Студенты КТ и ГС
(непонятная аббревиатура не расшифрована)

Творчество А. Н. Манусова — зримый образец духовного восхождения посредством искусства. Способность извлечь ярчайший свет из глубочайшего осознавания конечности и бренности человеческого существования, из самой природы человечности. И его недуг сыграл в этом важную роль — не как препятствие, а как помощник, не позволяющий откладывать главное «на потом» и «когда-нибудь».

И уход Александра Николаевича — Уход Мастера в созданный им Свет. Свет, который он не просто успел создать, но и щедро поделился с нами, оставшимися пока.

Татьяна Дмитриева

* * *

Семья Сашиных последних работ жива и нераздельна. Каждая из них несет внутренний заряд, ориентированный на будущее, что и доказали выставки, состоявшиеся через

двадцать и более лет после его смерти. Каким-то непостижимым образом они проникают в самую душевную суть людей, внутренне готовых к их восприятию, однако не подозревающих об этом. Мне кажется, эти работы, как и крепкую дружную семью, невозможно разъединить. Они воспринимаются зрителями как единое целое. Эти работы не коммерческие. Это не искусство для торговцев. Это искусство для музейных коллекций, искусство для человечества, для будущего. Сколько раз, приходя в престижные музеи, я представляла себе манусовские работы смотрящими с этих стен и понимала, какое это будет ослепительное зрелище. У Сашиных картин нет рыночной стоимости. Искусство для музеев рыночной цены может не иметь. Здесь совсем другая шкала ценностей. Работы эти — мощная подпитка духовных сил человека, в которой он так нуждается.

Я думаю, что Александр Манусов полностью вернул человечеству полученный им свыше дар.

Но как достучаться к этому человечеству в лице ряда его представителей?

Я бы с удовольствием подарила картины музею, который смог бы держать их в постоянной экспозиции.

Но где взять силы, чтобы найти такой музей? У меня этих сил больше нет. Осталась только надежда на чудо. Иногда чудеса сбываются[1].

[1] В сентябре 2013 года я подарила музею «Царскосельская коллекция» (город Пушкин) восемьдесят с лишним графических работ Александра Манусова и семь живописных пейзажей. Надеюсь на продолжение этой «операции» по сохранению всех имеющихся у меня работ художника.

ОБСУЖДЕНИЕ ВЫСТАВКИ АЛЕКСАНДРА МАНУСОВА В ДК ИМ. СВЕРДЛОВА

Объединение «Вернисаж»[1]
Апрель 1988 года

Иосиф Храбрый:

Мы начинаем свою работу с творческой встречи с Александром Манусовым. Мы создаем культурный центр, и сегодня он начинает свою работу. Центр, где собрались любители изобразительного искусства, люди, заинтересованные в нем, нуждающиеся в нем. Я правильно употребил слова — нуждающиеся в произведениях изобразительного искусства. Здесь присутствуют искусствоведы и художник, которого мы пригласили. Конечно, я думаю, всем интересно, почему выбор пал на Александра Манусова. У нас много в Ленинграде художников, но мы выбрали именно Александра Манусова, выбрали сознательно. По нашему мнению, изобразительное искусство здесь, у нас, должно быть представлено всесторонне. Это значит, что мы должны стремиться как-то упорядо-

[1] Объединение «Вернисаж» начало свою деятельность в 1988 году в помещении Дома культуры при заводе имени Свердлова на Арсенальной набережной, 13. Руководил им Иосиф Храбрый. «Вернисаж» просуществовал менее двух лет, но за это время были проведены выставки целого ряда талантливых ленинградских художников. Самой первой оказалась выставка Александра Манусова. Магнитофонную запись обсуждения выставки Иосиф Храбрый передал Саше. Текст был распечатан мною тогда же, весной 1988 года.
Интересно, что ни в одном источнике о деятельности объединения «Вернисаж» выставка Александра Манусова не упоминается. Даже Николай Благодатов в своем подробнейшем интервью Инне Скляревской, выложенном в Интернете, почему-то забыл сказать именно об этой выставке. Зато он очень подробно рассказал о том, как была представлена на «Вернисаже» его собственная коллекция, и перечислил остальных участников этого объединения. Всех, кроме Манусова.
Деятельность объединения «Вернисаж» была прекращена в 1990 году, когда в ходе перестройки выяснилось, что завод больше не может оказывать ему финансовую поддержку.

чить, по крайней мере, те явления, которые сегодня происходят. Изобразительные средства художников весьма скромны, как может показаться. В первую очередь, это цвет, линия, ну, может быть, изображения предметов и т.д. И вот нам надо было выбрать такого художника, который очень хорошо владеет хотя бы одним из этих языковых средств. Мы выбрали художника, который хорошо владеет цветом. Александр Манусов демонстрирует просто виртуозные вещи, и поэтому сегодня можно даже научиться, если угодно, понимать и видеть цвет и возможности работы с ним.

Мы планируем еще встречи. Следующая встреча с художником, для которого цвет — не главное, хотя он тоже в какой-то степени иногда им пользуется. Для него главное — линия. Мы говорим об Евгении Тыкоцком. Разговор с ним был, он согласился принять участие в нашей встрече. Встреча с ним произойдет, очевидно, после выставки во Дворце молодежи, которая будет в следующем месяце.

Кроме того, мы пригласим к нам человека, который очень интересно работает, используя предметную (мы разошлись с ним в терминах, он сказал фигуративную, а я сказал предметную) ассоциацию. Это Николай Сажин. Его вы тоже, наверное, знаете. Его работы вызывают очень широкий интерес. Он тоже согласился принять участие в нашей работе.

Но сегодня мы начинаем со встречи с Александром Манусовым. Я начну, как мы заранее договорились, с вопроса: Александр, расскажите, пожалуйста, о себе.

Александр Манусов:

Ну вообще-то говоря, у нас договоренность была не такая немножко. Я думал, что в конце всего выступлю, в общем, скажу. Мне бы хотелось выслушать ваше мнение о том, что здесь выставлено. Вообще-то это где-то в промежутке около двадцати лет сделано. Вот... И мне было просто интересно узнать мнение и просто любителей, и профессиональных зрителей, искусствоведов, художников. Вот так, наверное. Может быть, так и начнем?

Леша Хабло *(помощник Иосифа Храброго):*

Тогда сразу маленький организационный вопрос. Если кто хочет что-нибудь сказать, подходите в эту часть зала.

Иосиф Храбрый:

Я скажу о Саше несколько слов из того, что он мне говорил. В 71 году он закончил Мухинское училище, по образованию он дизайнер. Есть работы, который вы все видели, он их делал как дизайнер, я не буду их называть, но они есть в общественных местах, извините, в общественном транспорте, а именно, в метрополитене. В течение всего этого времени он работает профессионально как художник. В выставках участвует с 74 года, с первой выставки во Дворце им. Газа. Всего у него было то ли одиннадцать, то ли тринадцать выставок. Это много выставок. Но при всем при том, что он художник известный, мнения о нем как-то оказываются очень разными, и я слышал суждения прямо противоположные.

Леша Хабло:

Вот об этом мы и хотим что-нибудь от вас услышать.

Зритель:

У меня вопрос непосредственно к вам. Вы не представились. Вы считаете себя независимыми. От кого? И кто вы?

Храбрый:

Меня зовут Иосиф Храбрый, я представляю любительское объединение «Вернисаж» и веду нашу встречу.

Зритель:

У меня еще несколько общих вопросов. Я с вами полностью согласен в том, что это сущее безобразие, что в Советском Союзе нет музея современного изобразительного искусства, во всех цивилизованных странах они есть. У меня еще организационный вопрос. Где вы планируете свое постоянное место? Где будет ваша дислокация? Или вы еще ничего не имеете?

Храбрый:

Вопрос на самом деле чрезвычайно сложный, мы его обсуждали. Конкретного места у нас сегодня нет. Конкретным местом для любительского объединения «Вернисаж» яв-

ляется этот зал. Но зал этот не предоставляет нам возможности делать выставки долговременными. Это большая для нас трудность. Мы планируем, в первую очередь, естественно, решить вопрос о помещении. Но разговор о помещении не может идти до того момента, пока мы не получим поддержку ленинградской общественности, а поддержка эта, как ни странно, должна оказаться финансовой.

Зритель:

У меня к вам некоторое предложение. Вы, наверное, знаете дом по улице Попова, 10. Сейчас он официально называется Музей-квартира Вишневского. Там, на самом деле, была мастерская Малевича, и все художники начала века, которые были под влиянием Малевича (Попова, Ларионов), они все там бывали. Пока этот дом сейчас восстанавливается. Я знаю, что полностью заполнить его они не могут. Это двухэтажный деревянный дом. Может быть, вы попробуете им завладеть? Малевич, насколько я понимаю, великий русский художник, который по разным причинам был забыт, специально забыт. Сейчас его вспомнили, о нем говорят. Как вы на это смотрите?

Храбрый:

Спасибо, мы заинтересованы во всех подобных предложениях и обязательно попробуем связаться с этим домом.

Леша Х.:

Я хочу сразу дополнить. У нас в Союзе есть Музей современного искусства, в Ереване. Давайте все-таки обсудим выставку. Может, кто-нибудь еще скажет?

Михаил Цирельсон, *художник:*

Я начну. Думаю, что мне помогут потом. Никаких подготовительных речей у меня сегодня нет. Поэтому, если удастся сказать что-нибудь толковое, это будет случайно. Я знаю работы Саши с первых выставок, которые начались в Газа, и все эти годы я внимательно следил за ним и в разных местах видел почти все его работы. Поэтому я могу судить о них. Думаю, что из присутствующих здесь большин-

ство видит работы Манусова не в первый раз. Здесь нужно по-разному говорить. Если люди пришли в первый раз, то это один разговор, а если большинство сидящих просто почитатели, любители живописи Манусова, то это другой разговор. Это очень хорошо получилось, что появилась такая большая стенка и можно сразу все увидеть, картины за пятнадцать лет почти. Я сразу скажу, что не любой художник, редко какой художник может так свои картины вешать, отдавать все картины как бы одному взгляду. Большинство картин большинства художников нужно рассматривать как картины, а это как раз тот редкий случай, когда можно смотреть на все сразу, вместе. Картины Манусова, всегда об этом говорилось, и, если вы были на выставках ТЭИИ и до появления ТЭИИ, всегда вызывали двоякое, если не троякое ощущение. Они всегда проигрывают на многих крупных выставках рядом с очень яркими, очень броскими, очень модными работами. Они не пользуются успехом, скажем так, у массового зрителя и имеют неизменный успех у любителей и ценителей. Их покупают, и покупают коллекционеры, что вообще редко для нас, вообще для художников в Ленинграде и тем более для художников ТЭИИ.

А теперь конкретно о самих картинах. Что прежде всего? Здесь уже говорилось о цвете. Совершенно верно, этот человек редкостный колорист, но дело не в том, что цвет, пластика, композиция — это все технические приемы, это все должно оставаться у художника, и он не должен об этом говорить. Все это должно оставаться где-то там, за дверями мастерской. И мы недостаточно профессиональны, чтобы рассматривать внутри картины какой-то технический прием. Картина представляется как произведение искусства, и художник в принципе должен владеть всем арсеналом средств. Но есть одна вещь, которая сразу бросается в глаза. Я хотел бы ее подчеркнуть особенно. К живописи Манусова, да и к его графике удивительно подходит слово «классицизм». Что я имею в виду? Вы здесь не увидите каких-то жанровых сцен, каких-то конкретных предметов, даже конкретных людей. Здесь нет портретов. Здесь есть лица. Но лиц вы не узнаете. Вы не увидите конкретных людей, не узнаете в этих лицах своих знакомых. Это классические фигуры на класси-

ческом фоне. У Тернера есть картина, которая так и называется «Ландшафт с классическими фигурами». Такая странная картина, где фигур-то и не видно, где-то они маленькие совсем. Что это значит — Ландшафт с классическими фигурами? Когда мы смотрим на картины Манусова, мы начинаем это чувствовать, даже не понимать, а именно чувствовать, потому что вся композиция фигур, их формы и то, как он их лепит, и то, как он их расставляет по картине, и то, как он к ним относится, это подход именно художника-классика, художника — последователя классиков, хотя по форме здесь сразу вспоминается Сезанн и Фальк, несомненно, и, если хотите, Тышлер. Здесь есть некоторые вещи, которые по форме следуют этой школе. Это неплохо. Это очень хорошая школа. Но, я думаю, что мы очень обедним свое представление о Манусове, если окрестим его сезаннистом, последователем Фалька. Это не так на самом деле, так же, как Фальк может быть условно назван последователем Сезанна. У Манусова есть вещи, которые ни в коем случае невозможны у Сезанна, у него есть драматический цвет, то есть драматизм картины создается цветом. У Сезанна вообще не бывает никакого эмоционального цвета, никогда. А здесь это есть, и это от Фалька тоже. Но здесь есть вещи совершенно из другой оперы, то, чего не было ни у Сезанна, ни у Фалька, но что проистекает из других источников — более старой, более классической живописи. Это, если хотите, можно так сказать про эти картины — сюжет. Когда-то один театральный деятель, искусствовед, писал статью об Еврейском камерном театре. Статья называлась «Без корней не вырастить дерева». В результате он все-таки доказал, что ничего не выросло, так как не было корней. А вот здесь корни есть, и дерево выросло. Вот оно перед вами.

Кстати, о дереве. Дерево занимает в этой экспозиции если не половину, то треть всех картин. Это действительно Дерево. Дерево, о котором следует говорить с большой буквы. Человек получил право нарисовать свое Дерево. В основном сразу виден триптих[1]. Он больше всего известен. Он

[1] Речь идет о первом триптихе Александра Манусова под условным названием «Темный», который помещен в альбоме между стр. 49 и 50, в каталоге № 59. Воспроизведение с маленьких слайдов, к сожалению, не отражает колористическое богатство этой работы.

выставлялся в ЛДМ на выставке ТЭИИ, вызвал фурор, имел колоссальный успех. Он вообще концентрирует все взгляды там, где он висит. И это, в общем-то, итог целого периода. Хотя странно. Форма триптиха достаточно классична, редко кто берется за такую форму. Форма триптиха всегда подразумевает какое-то развитие. В Средние века, в эпоху Возрождения это всегда были Ад, Рай и посредине Сад наслаждения. Это была определенная концепция. Триптихи были всегда асимметричны. Здесь нельзя проводить прямые аналогии между триптихами классическими и вот этим триптихом «Деревья». Это Дерево по своему символическому значению может быть приравнено, на мой взгляд (я сейчас польщу), к «Трем деревьям» Рембрандта, знаменитому офорту, который вы все прекрасно знаете. Это тот самый случай, когда три дерева дают представление о Земле, если вообще не о Космосе. Это какой-то космический офорт. Так и этот триптих. Он дает представление не о дереве, дерево — не центр композиции. Это — Древо. Древо жизни, которое вряд ли на Земле могло появиться, то самое Древо, которое росло в Раю вместе с Древом Познания добра и зла и о котором известно очень мало. Рядом с деревьями все время видны фигуры, они компонуются в том или ином порядке. Это центр композиции. Я не случайно начал именно с центра и композиционного, и временного. И по времени и даже по пластике чувствуется определенная периодизация. У художника был период именно такого подхода к определенной технике, потом техника немного изменилась, потом она еще раз изменилась. Здесь видны несколько периодов, границ четких нет ни в коем случае, их не бывает никогда. Но это — действительно середина, и временная, и пространственная, так получилось. Здесь висят слева картины более ранние, справа картины более поздние. Говорить о них я не буду. Это каждый должен сам воспринимать, как ему нравится. Что же касается более поздних картин (они недавно выставлялись на Литейном), то это очень интересный переход от необычайно тонкого цветного моделирования к чистому локальному цвету, цветному фону, цветному грунту. Живопись по цветному грунту имеет определенную специфику. Очень сложная техника требует очень высокого класса.

Я не буду обсуждать какие-то конкретные картины и потому, что нет смысла. Это дело каждого — воспринимать то, что нужно. Все, что я хотел сказать, я сказал. Единственное, что я советую, дабы вам не ошибиться в восприятии, — посмотреть на эти картины подольше, потому что эти картины через некоторое время откроют для вас то, чего вы не заметили в самом начале. Пусть вас не смущает некая неявность каких-то фигур и каких-то предметов. Они просто пропадают где-то внутри картины при таком тонком цветном моделировании. Если на картину вы будете смотреть долго, будете внимательно сканировать взглядом по ней, потом смотреть на нее целиком, вы обнаружите очень много изумительно приятных вещей. Поэтому ничего удивительного нет в том, что эти работы покупаются коллекционерами, они могут скрасить любой интерьер самого изысканного, самого высокого класса коллекции, что является большой редкостью для современной живописи. К сожалению, она бывает интересна, суперинтересна, супермодна. Сейчас очень много кича, кича сильного, веселого, но, к сожалению, он никак непредставим в интерьере. Я не знаю человека, который бы решился украсить интерьер кичем. У нас, по крайней мере.

Храбрый:

Спасибо. У меня возникла такая мысль. Вы не случайно упомянули Фалька, Сезанна. Действительно, Манусов довольно сильно напоминает искусство конца прошлого века и начала нашего. И сразу возникает естественный вопрос: а современна ли такая живопись? Не является ли Манусов вообще последним из могикан? То есть занимается той живописью, которая уже давно ушла в прошлое?

Мила Цимбал *(Сашина соученица по художественной школе 190):*

Я хочу оттолкнуться от высказанного предположения об украшении интерьера. В связи с этим и в связи с тем, что Манусов — последний из могикан, самое большое отличие его картин от современных — это неагрессивность. Это, может быть, и несовременно как раз. Это — доброта, мы видим ее во всех работах. Она проникает в зрителя. Может быть, это представление о мире, лишенное агрессивного навязывания.

Это выражается в отсутствии какой-то резкой линии, жестокой, которая сейчас, как правило, доминирует в современных произведениях искусства. Эта доброта также проявляется, мне кажется, и в цвете, и в результирующих цветовых сочетаниях. Это самое главное, что мне хочется сказать о Манусове.

Зритель:

В отличие от первого выступавшего товарища, я не художник, я любитель, причем любитель, можно сказать, необразованный. И, хотя я всегда стремлюсь бывать на выставках, должен признаться, что Манусова я до сих пор не видел, то есть, может, он и был на тех выставках, но я его не замечал. И когда я слушал товарища художника, мне казалось, что я могу быть полной иллюстрацией к его словам. Когда я сюда вошел... И сразу, знаете, как сначала, на одну картину посмотрел, на другую... Сразу я ничего не почувствовал. Я прошел, все посмотрел, а потом сел и долго смотрел на все вместе, и постепенно у меня появился очень большой ко всему этому интерес. Я встал и снова еще раз все обошел и увидел все другими глазами. И потом, когда я сидел и смотрел на всю эту выставку, я на нее смотрел, как на коллекцию драгоценных камней, и очень хотелось глазами ласкать, а, может быть, руками потрогать что-нибудь, если бы можно было дотянуться сразу до всего. И картины его, конечно, неагрессивно, но постепенно, очень прочно берут зрителя в плен и оторваться от них глазами очень трудно. В общем, очень сильное впечатление. Эта живопись будит чувство диапозона доброты, созерцания, легкости. Еще я хочу вспомнить одно имя, которое мне пришло в голову, когда я смотрел работы Манусова. Это Павел Кузнецов. Я буду краток и кончаю. Мне кажется, что первый товарищ в своей очень содержательной речи очень много сказал и у многих из нас хлеб отбил. Такое было полное впечатление, что трудно что-нибудь добавить.

Леонид Гуревич:

Наше время очень занято поисками космических цивилизаций. Существует где-то, якобы в далях космических,

иной разум, отличный от нашего, и как же мы, мол, можем существовать, не ассимилировав такие ценности, ведь мы так много потеряем. Значит, надо туда устремляться и все это находить, иначе слишком много упустим. Я в это совершенно не верю, я враг поисков внеземных цивилизаций. Если нечто существует, другая форма разума, духа, то она, по-видимому, так же, как и наша, может распространяться во Вселенной, и если мы способны как-то туда проникнуть, то и они сюда тоже. А если они хоть в малой степени присутствуют здесь, то мы в центре своем, где мы наиболее полно владеем всеми своими средствами, вот здесь-то мы их и найдем. То есть все новые ценности и иные формы чьего-то существования могут быть найдены только здесь, где мы живем, где мы наиболее полно владеем самым тонким и ценным инструментом нашего познания, нашего духа — это человеческими отношениями, нравственными ценностями, духом. То, что я здесь вижу, поддерживает меня в моей вере, и вот почему. Уже говорилось, что эти картины неагрессивно завоевывают, обладают космичностью. Это, безусловно, так. Я попробую уточнить. Кроме того, что я тоже вижу в каждой представление о мире в целом, они для меня как бы каждая представляют как бы некоторый момент истины этого мира, такой момент, когда этот мир в целом поворачивается к нам новой неожиданной гранью и происходит то познание неведомого, к чему подспудно стремятся те, кто ищет внеземные цивилизации. Они разные, эти моменты истины, и в этих картинах можно несколько таких назвать.

Прежде всего, здесь очень ярко выражена космичность. Всюду в центре картины люди, две-три фигуры. Это мизансцена. Но когда на этой мизансцене как будто концентрируются все те отношения, которые охватывает представляемый мир, то это и является, по-моему, главной темой этой живописи. Дерева, скажем. В основании Дерева, могучего Дерева, охватывающего как будто всю Вселенную, в центре, в основании, беседа двух-трех людей. И становится очевидной важность этого человека, который в центре Вселенной, который движением своих самых возвышенных и тонких чувств как будто и организует все это космическое сооружение.

Вот, скажем, справа от двери картина внизу, застолье из пяти фигур[1]. Она вызывает в памяти стихотворение Хлебникова, кусок из которого я по памяти воспроизведу, может быть, не очень точно.

Мы вместе сидели на скошенном жите,
Здесь не было «да», но не будет и «но».
Что было — забыли, что будет — не знаем,
Здесь Божия Матерь стирала рядно,
И голубь садится на темя за чаем.

По-моему, живописное пластическое решение состояния здесь представлено. Открытость всего земного пространства небу. И в спокойном сочетании фигур в этой мизансцене — понимание величия момента, ни «до», ни «после», а сопричастность к мирозданию. Это мне кажется главным. В мизансцене, поставленной в центр Вселенной, в отношениях людей, очень простых непортретных людей, выражается важность, центральность человеческих отношений в построении всего Космоса.

Ну, это самое общее замечание, умозрительное, философическое. Я чувствую, что, не подготовившись к выступлению, я не дойду уже до вопросов художественного языка, что можно было бы развить. Но сейчас я с ходу не готов.

Инесса Дёма:

Главное — это настроение, создаваемое всеми этими картинами, которые мы видим. На мой взгляд, художник очень самобытен. Когда один из выступавших говорил, что на выставках он не виден, не заметен, хотелось возразить. Мне всегда казалось, что можно узнать Манусова всегда, у него есть свой язык, своя тема, свой голос и, может быть, это странно, но мне всегда кажется, что музыка есть во всех работах, всегда какое-то удивительное настроение. И, хотя работы, почти все картины, вроде бы грустные, я бы сказала — это грустный мажор. Всегда есть нота какой-то боль-

[1] Выступающий говорит о работе «Беседа», которая воспроизведена в альбоме на стр. 60, в каталоге № 33.

шой надежды, которая где-то в глубине, далеко. Пусть это деревья или фигуры какие-то. Где-то какие-то грустные события были, грустные встречи и где-то этот луч надежды, эта нота надежды. Манусова просто невозможно не найти на выставке, потому что он особенный, совершенно удивительный, добрый, прекрасный художник.

Марина *(очень чистый звонкий голос, медленно и с невыразимым чувством):*

К сожалению, в Гавани я Вас не заметила, Александр Николаевич. А вот на Литейном Вы меня потрясли. К сожалению, здесь нет той картины, того пейзажа, который оказался для меня очень любимым и явился лично для меня точкой отталкивания в постижении того, что я не одинока. В это очень сложное для культуры время, когда все было закрыто от глаз, душе моей было очень трудно. Но в силу того, что моя работа позволяла мне как-то самой легко приобрести всякие ценности и изучить их, я все равно была как в пустыне. Я сама очень многое постигала, и мне казалось, что я одинока во всем. А тот удивительный пейзаж раскрыл для меня очень многое, и я поняла, что все эти годы, когда я постигала, были люди, которые сохранили эту удивительную духовность мироздания. Я вышла с выставки на Литейном такая окрыленная, мне казалось, что кругом идут удивительно добрые люди, что они меня понимают, что мы все возьмемся за руки, так как мы обязаны все это сохранить. И я вам очень признательна за то, что я теперь не одинока.

(Марина, библиотекарь из Пушкина, говорила о работе Александра Манусова «Синее Дерево». Позднее Саша, когда заходила речь об этой трогательной молодой женщине, с очень мягким юмором называл ее «неодинокая Марина».)

Зритель:

Фамилия моя Куприянов, зовут Игорь Константинович. Я не профессионал, абсолютный дилетант-любитель. Дело в том, что я, как любитель, интересуюсь, хожу на выставки, смотрю. И мне иногда кажется, что художники, они иногда отличные люди от нас, обычных инженеров, нормальных, которые живут обычной жизнью. У них, прежде всего, есть, что

сказать людям. Это есть, кстати, может быть, и у инженеров, хороших конструкторов, которые делают хорошие и красивые конструкции. Но я бы хотел сказать вот что. Здесь несколько раз прозвучали слова — «отсутствие агрессивности». Это очень правильно. Очень многие наши выставки, музыка, которая сейчас звучит, в большинстве своем агрессивны. И здесь мне очень нравится неагрессивность и возможность, если можно так выразиться, поговорить с картиной на равных, когда что-то хочешь получить от картины. Когда смотришь на нее, все время что-то возникает. Может быть, это субъективно, но мне нравится та осевая симметрия, которая существует, центральная симметрия. На центральной стене мне нравятся абсолютно все картины. Вы посмотрите, абсолютно все картины симметричны. И, кстати, очень хорошо, что они так расположены. В то же время там, где нарушена симметричность, посмотрите на работу «Сестры», средняя часть, вот там нарушена симметричность и в то же время сразу движение, и видно настроение младшей сестры. Не старшая сестра определяет, хотя и занимает всю картину, а младшая сестра, и это нарушение симметричности сразу же дает определенное настроение, фиксирует определенное внимание, определенное отношение к этим разным людям. К сожалению, мне не понравился «Бабий Яр». Но я думаю, что это все еще впереди.

И маленькое замечание чисто организационного характера. Любым образом, либо небольшим вступлением, либо каким-то печатным образом, надо было о художнике, представленном здесь, рассказать. Во-вторых, еще одно. Трудно непрофессионалу представить, как развивается это искусство. Хотелось бы знать, какие раньше картины были написаны, какие позже. Тут есть группы картин, какие-то отдельные куски, которые представляют какую-то жизнь художника. Наверное, они собраны в какие-то рамки лет. Не следует навязывать свое мнение, но одновременно следует немножко рассказать о художнике. Нам было бы проще. Профессионалам, которые Вас знают хорошо, это, наверное, не надо. А такое вступление, не обязательно навязывающее мнение, не выступление искусствоведа, который дает критическую оценку, а просто немного побольше рассказ о художнике,

о развитии его творчества. По-моему, это надо сделать обязательно. Ну и еще: мне кажется, что надо представляться, когда люди выступают, тем более руководитель. И не только по имени.

Девушка:

Да, картины неагрессивные, но у меня осталось чувство тревоги.

Мила Цимбал:

Хочется еще добавить... я поражена... Мы вместе учились в художественной школе. Его пять лет учили делать красивые вещи. Он ничем особенным не выделялся. И теперь, когда я смотрела на его работы, мне пришло в голову слово «подвиг». Он преодолел преклонение перед вещью. Его работы — это жизнь души, сады его души в чистом виде. Он преодолел господствующий штамп красоты, красивости. Это то, чего он избежал.

Владимир Михайлович Мосолов *(экстрасенс, как почтительно называли его художники. Но он себя таковым не считал. Высокий, худощавый, с глазами навыкате, вечно устремленными куда-то в небо. Математик по образованию, он был окружен аурой почитания, присутствовал на всех значительных выставках):*

Жизнь души... Знаем ли мы, что такое душа, где она живет? Саша не преодолевал штамп красоты, так как волею природы, тем, что было передано генерацией, внутренне, ему не нужно было преодолевать каноны. У него попытка открытия себя в мире и мира в себе. Саша дает надежду. Но нельзя во всех работах давать надежду. Он движется.

Это попытка контакта через себя, это потрясающее откровение, которое мы в других работах других художниках не видели.

Что такое дерево? Это — Я, отождествляющее себя с природой, растительным миром. Да, агрессивности здесь нет. Но картины отражают боль художника. Саша Манусов задан. Задан, как Моцарт, который в четыре года написал сонату.

Молодой человек:

Владимир Михайлович (Мосолов) говорил насчет развития. Эти работы вызывают тревогу. Мы забыли, что в мире существует идеал и хаос, который его разрушает. Мосолов говорил о реализации наших возможностей. Более ранние работы художника вызывают неверие в идеал, он не доминирует и не торжествует. У меня, когда я посмотрел эти работы, возникла тоска, что зло существует и оно торжествует, а должно торжествовать добро.

Сергей Молчанов *(Сашин одноклассник и друг, врач-кардиолог, умерший вскоре после Саши):*

Хочу поговорить о ребятах, которые здесь выступали. Тут говорилось о Саше — мягкий и добрый. Это так, но он человек решительный, самостоятельный, который мыслит самостоятельно и выражает самого себя эмоционально и эффективно и который много раз это доказал. Человек, который может принять серьезнейшие решения и следовать им. Мне просто хотелось бы уточнить эти принципиальные черты Сашиного характера, о которых, возможно, присутствующие не подозревают.

Евгений Тыкоцкий, *художник:*

Саша один из немногих, которые являются настоящими художниками. Мы это наблюдаем в течение десяти лет. Путь художника необычайно труден. Саша — один из немногих, который сохранил верность себе, остался чистым, абсолютно честным. Каждая работа несет его душу.

* * *

Через какое-то время после этой выставки Саша передал мне листок, озаглавленный:

ЧТО Я НЕ СКАЗАЛ НА ОБСУЖДЕНИИ СВОЕЙ ВЫСТАВКИ В КЛУБЕ СВЕРДЛОВА

Мое поколение формировало свои взгляды на жизнь в тот период, когда многолетний нарыв, наконец, лопнул. Это хрущевская оттепель. И хоть это действие про-

изошло в какой-то степени директивно, несмотря на этот факт, это действие было уже совершено в момент занесения инфекции в здоровое тело организма. Его создали и пронесли через все годы страшнейшей болезни люди, для которых истинность была непререкаема. Их профессиональная принадлежность неважна. Я коснусь тех, кого я знал, знаю лично или знал по рассказам. Эти люди жили и живут в нашем городе. Я считаю, что мне очень повезло, так как при всякой заданности и генности, о которых говорилось на открытии моей выставки, необходимо при этом найти выход наружу, в жизнь, а если это не получается, они могут так и остаться всего лишь заданными. И я нашел эти выходы. Если сказать точнее, то это были люди, окружавшие меня. Это так называемая группа Арефьева, в которой были: Александр Арефьев, ныне покойный, Рихард Васми, Шолом Шварц, Владимир Шагин, Наталья Жилина, стихи Роальда Мандельштама. Это студия, руководимая Осипом Сидлиным: Игорь Иванов, Евгений Горюнов, Анатолий Басин и другие; школа Стерлигова и такие люди, как Александр Леонов, Вадим Рохлин (ныне покойный), и мои друзья, начиная со школьных лет. Это также замечательный человек и педагог Соломон Давидович Левин. Перечислять можно очень долго. Это и те, чья жизнь была отнята силой, но не изменившие искусству, поиску истины. Их мужеству мой низкий поклон. Я не хочу сказать, что они, как слепого щенка, меня направили в жизни. Нет, они просто поддержали меня и помогли быть самим собой, не подстраиваться под всевозможные выгодные способы существования. Я не возвышаю себя, мол, смотрите, какой я замечательный, и тем более не хочу сказать, мол, какие замечательные пишу картины. Совершающий действие не знает этого. Для меня, на самом деле, были неожиданностью все дифирамбы, произнесенные сегодня.

Мне кажется, что это, сказанное мною, и есть рассказ о себе, а не простое перечисление фактов.

* * *

Однажды Саше срочно понадобилась статья о его творчестве. Такую статью быстро написала молодая женщина-

искусствовед, недавно появившаяся на его горизонте. Он не показал мне эту статью, однако сказал с сожалением, что она ему совсем не понравилась.

Он предложил мне попробовать. Это была ошибочная просьба, продиктованная спешкой. Я не сумела бы написать о нем не только потому, что, не будучи профессиональным искусствоведом, не имела на это права, но и потому, что слишком близко к нему стояла.

Однако я попробовала и даже соорудила целый абзац, который ему не понравился еще больше, чем злополучная статья.

А написала я про дверку в каморке папы Карло, которая открывалась в волшебную страну. Дело в том, что в мастерскую все попадали из респектабельной, но грязной парадной, где справа от лифта просматривалась низкая дверца во двор. Двор был маленький и часто заваленный деревянными ящиками, поскольку туда же выходила задняя дверь винного магазина.

Во дворе была еще одна дверь, на черную лестницу, по которой надо было карабкаться на седьмое небо, то есть на седьмой этаж. А там уже открывалась последняя дверь, и вы попадали в пространство цветной страны. Стены, завешанные работами, издавали безмолвный торжественный гуд, будто в них был вмонтирован невидимый орган. Объяснить это было невозможно. Таинственное звучание проявлялось далеко не во всех мастерских художников, даже самых громких. Позже великолепный колорист Елена Фигурина сказала мне, что это работает цвет.

Но об этом я ничего не успела написать. Саше сразу активно не понравилась ссылка на дверцу в каморке папы Карло.

Не знаю, постигал ли он, что пространство его мастерской воспринималось посетителями как часть волшебной сказки. Из этой сказки было легче возвращаться в реальность, она чудесным образом отодвигала мелочи бытия.

Эта Вселенная Цвета, ставшего Светом, неподвластна забвению.

Знал ли он это?

МОЙ РОМАН С РУССКИМ МУЗЕЕМ

Государственный Русский музей — один из престижнейших музеев страны. По сути дела — это целая империя, занимающая четыре памятника городской архитектуры. В нем трудятся более двух тысяч человек, проводится около шестидесяти выставок в год. Среди сотрудников есть подлинные знатоки и фанаты музейного дела. В его стенах хранятся многочисленные шедевры русского искусства.

Я желаю музею и людям, работающим в нем, подлинного процветания.

Здесь же просто изложена история личных отношений весьма немолодой женщины с этой махиной.

Вместо пролога

Знакомый американец, долговязый Грег, приехал в свежеперестроечный Ленинград в надежде создать приятный и доходный бизнес. Он хотел, получив добро от Русского музея, заняться производством слайдов и пропагандировать в американских школах русское искусство. Он был совладельцем лилипутской фирмы, состоящей из его друга и его самого.

Организовать встречу с директором музея (это был примерно 1992–1993 год) оказалось на удивление легко. Все проходило на пристойном уровне; со свежеприготовленным кофе, печеньем, секретаршей и еще одной дамой, по всей видимости высокого музейного ранга.

— Двадцать тысяч, — сказал директор, выслушав просьбу Грега о предоставлении ему возможности сделать слайды с определенного количества работ.

Все опешили, и директор тоже вроде слабо удивился. Твердое одобрение обозначилось на лице дамы высокого музейного ранга.

Я посмотрела на Грега, чья внешность, манеры и прикид беззастенчиво являли присутствующим скудость его финансовых возможностей. Глаза его медленно набухали исполинским, соразмерным его росту, изумлением.

— А за что? — вырвалось у меня.

— Это аванс, — спокойно ответил директор.

Наш с Сашей московский друг, Алексей Гесслер, ростом еще выше Грега, абрисом фигуры смахивающий на ходули, как-то стоя у нас в кухне, обзирал неисправный телевизор. Приезжая в гости по своим цыганским исследованиям с неистовым кормчим, рыжебородым Ефимом Друцем, он каждую, свободную от поездок к цыганам в окрестности города минуту вперялся в ящик и столбенел пред ним часами.

Сейчас, обнаружив безмолвный предмет, он горестно спросил:

— А когда техник придет?

— Через два дня, Лешенька.

— Ну тогда я еще успею досмотреть сериал, — успокоился он. — А хочешь, расскажу, как ко мне в Москве телевизионщик приходил?

— А что тут особенного? Ну, приходил...

— Ты не поверишь. И никто не верит. Смотри на меня, не спускай глаз, не отвлекайся.

Он проворно отошел от ящика на максимальную дистанцию и вперился в него вампирическим взглядом. Он был похож на беспроволочный пылесос, высасывающий информацию из невозмутимо матового экрана. Стоял долго. Потом, выпрыгнувшим из забытья оракулом, веско отрубил:

— Восемьдесят шесть рублей сорок две копейки.

Я смотрела на элегантного директора с тем же смутным набором чувств, с которым сколько-то лет назад наблюдала сценический этюд Лешеньки Гесслера. И восхищение здесь было отнюдь не на последнем месте.

* * *

Мой роман с ГРМ начался сразу после смерти Саши. У Саши тоже было определились какие-то отношения с этим заведением, которое он не без оснований именовал «могилой

для художников». Еще при его жизни музей в закупочном угаре первых лет перестройки приобрел партию работ неофициалов, в том числе три его графики студенческого периода, не самые сильные, но когда-то выставлявшиеся в ДК Газа и «Невский», а также живописную работу «В лесу». Деньги за них, чисто символические, он при жизни получить не успел.

После того, как его вдруг не стало, две представительницы музея, милейшая Е.Д., с которой мы позже подружились, и административного вида дама явились на его выставку в редакцию журнала «Аврора». Обладательница обворожительного голоса, Е.Д. ходила от работы к работе, указывая на особо полюбившиеся. В результате было отобрано около восьми работ. Я согласно кивала, зная, что не в силах буду расстаться с ними, и понимая, что, переехав от меня, они канут в бездонную музейную Лету.

Позже, встретившись на какой-то выставке с административного вида дамой, я услышала суровый вопрос:

— Так вы будете отдавать нам работы?

— Я еще не готова к этому, Оля... — извиняясь и чувствуя себя почти на скамье подсудимых, залепетала я.

— Ну, конечно, куда нам против коммерции, — презрительно молвила дама.

— Дело не в коммерции, а вот в этом, — я приложила руку к сердцу.

Мне до сих пор не удалось излечиться от дурацкой наивности.

Итак, всего от Саши музей получил четыре работы — три графики и одну живопись, очень симпатичную картинку «темного периода», которую он назвал «В лесу». Я не настаивала на оплате, цены предлагались копеечные, а мороки с документами, как мне сказали дамы из закупочной комиссии, было много, тем более, что я пропустила какие-то сроки. Они ссылались на то, что какой-то очень важный момент был упущен и что надо дожидаться периода, когда они получат деньги для новых выплат, и будет это очень нескоро. Я махнула рукой и написала дарственную.

Позже я отдала в музей еще три живописные работы последнего периода, своеобразный триптих, сделанный на щемящей ноте подлинно космического одиночества. Сильно

уменьшившаяся группа людей у темной пропасти, потерявшаяся в вечности пара на скамейке, это были образы уже другого, запредельного мира, это было, по определению нашего друга художника Евгения Тыкоцкого, «переходом той черты, после которой художник не может больше жить». Я не видела эти работы при жизни Саши. Они были написаны на холсте без подрамника. Е.Д., которой я показала работы, немедленно позвонила в отдел закупки, и уже на следующий день мы сидели с ворчащим Женей Тыкоцким в предбаннике этой комиссии, держа тщательно упакованные холсты на коленях.

Прибежала заведующая каким-то отделом запасников, очень милая молодая женщина, и забрала работы. Мне стало теплее, когда я увидела, с какой нежностью она взяла работы и понесла их, как мать любимого ребенка.

* * *

Приближалась пора выхода альбома «Александр Манусов». Е.Д. курировала издание. По ее совету, высокопрофессиональной и даже фанатичной в лучшем смысле этого слова музейщицы, я готовила биографию каждой работы, указывая год написания, размеры, владельцев, где она была экспонирована. Поскольку работы лежали в музее в ожидании, когда же музей сможет расплатиться, я обратилась к сотрудникам с вопросом, можно ли указать в каталоге альбома, что они принадлежат музею. Ответ был: нельзя, поскольку акт передачи не оформлен, и надо ждать денежных поступлений в музей, чтобы они отдали мне деньги. И только тогда картины станут музейной собственностью. А искомые денежные поступления в ближайшем будущем не ожидаются. «Но есть еще один выход, — добавили они, — написать дарственную на эти работы, и тогда они сразу станут собственностью музея». Что и было сделано.

Благодарственное письмо за подписью директора ГРМ датировано 5 декабря 2000 года. Оно гласит:

Уважаемая Регина Иосифовна! Примите нашу искреннюю благодарность и признательность за Ваш бескорыстный

и щедрый дар — произведения живописи Александра Манусова:

1. «В лесу», 1983, холст, масло, 55 х 60.
2. «Двое», 1990, холст, масло, 54 х 72.
3. «На холме», 1990, холст, масло, 68 х 56.
4. «Шествие», 1990, холст, масло, 52 х 79.

До недавнего времени картин этого художника, к сожалению, не было в собрании музея. (А предыдущие — работа «В лесу», которую почему-то приписали к триптиху, и три листа графики?) Подаренные Вами работы А. П. (отчество Саши — Николаевич) Манусова позволят заполнить одну из многочисленных лакун в музейной коллекции неофициального искусства Ленинграда 60–80-х годов, а также будут использованы на различных выставках, посвященных искусству XX века.

С наилучшими пожеланиями

В. А. Гусев

Письмо написано по очевидному трафарету. Такие письма получали все художники, подарившие музею свои работы.

* * *

Я забыла подробности пьесы Сухово-Кобылина «Дело», но человек, сидящий в обширном кабинете с секретаршей в проходном зальчике, смотрелся не только как фантом той исторической эпохи, спущенный в наше бытие, но также как предостережение и знак недавно отошедшей совдеповской реальности. Это был главный хранитель ГРМ, Иван Иванович Карлов. Батюшка его в свое время состоял в органах КГБ на должности генерала.

Все это происходило через год с небольшим после получения вышеприведенного письма. Речь шла о презентации только что выпущенного альбома Александра Манусова в Лектории Русского музея. Для того чтобы сделать там небольшую выставку, мы должны были обзавестись бумагой от главного хранителя, а он в ней категорически отказывал.

— Нам нужна твердая гарантия сохранности работ, поэтому на выставке постоянно должен находиться наш сотрудник, — говорил он с садистской ласковостью, — но мы не располагаем средствами, чтобы оплатить дополнительную ставку.

— Для того чтобы ввезти работы на выставку в Лекторий, должно быть оформлено необходимое количество документов, должен быть заказан специальный музейный транспорт, у нас уже нет времени этим заниматься, — уверял он нас во второй раз.

В третьем визите нам и вовсе было отказано. Когда мы с Исааком Кушниром, спонсором альбома, в назначенное время вошли в приемную, несчастная секретарша, совсем уже по-булгаковски искривив глаза, сообщила, что Иван Иванович на заседании и придет очень нескоро. Разъяренный Кушнир по-пролетарски расположился в шикарном кресле, усадил меня и сказал, что мы намерены дожидаться появления хранителя хоть целый день.

Минут через сорок бедная женщина после короткого телефонного разговора, глядя поверх наших голов, сказала, что Иван Иванович прошел в кабинет через другую дверь и готов нас принять.

Слепок прошедших эпох (как мне тогда по недостатку прозорливости казалось) вскочил с кресла при нашем появлении, демонстрируя горячее желание помочь и жалуясь на то, что, подобно Прометею, скован множеством инструкций. Почти рыдая, он отказал в нашей просьбе предоставить на выставку подаренные музею работы. Они ведь без подрамников, и экспонирование их, как мы предлагали, под стеклом представлялось ему реальной угрозой для сохранности картин. Я когда-то была в запасниках музея и легко могла себе представить, в каких глубинах этой непривлекательной гробницы покоится мой «бескорыстный и щедрый дар». Это как приют для бездомных животных. И те, и другие проводят свои дни в тоске и забвении, дожидаясь момента, когда их выведут из клетки на божий свет.

Презентация состоялась. Работы насобирали у коллекционеров, включив привезенную мною графику. Был показан фильм, созданный режиссером Юлием Дворкиным. Один из талантливейших учеников Товстоногова, он рабо-

тал на ленинградском телевидении, где в 1994 году по заказу российского ТВ создал серию фильмов о ленинградских неофициалах. Серия называлась «Золотая ветвь», а фильм о Саше — «Цвет». Все эти фильмы показывались по каналу «Россия».

Народу пришло очень много, выше ожидаемого уровня, и опоздавших, в числе которых оказалась Татьяна Шехтер, искусствовед, серьезно занимавшаяся творчеством Саши, охрана не пропустила, объясняя это недостатком мест. Само же обсуждение проходило так, будто Саша сидел с нами.

Перед уходом ко мне подошла милая дама, унесшая Сашины работы на вечное погребение в хранилище, и сказала с искренней патетикой: «Простите нас, больше это не повторится».

Заведующая Лекторием Ольга Викторовна Томилина, отдавшая последние силы в битве с представителем жреческой касты высших сановников музея (я имею в виду генеральского отпрыска), свалилась с сердечным приступом и не смогла участвовать в презентации.

Через неделю после означенного события я встретила в метро нашего спонсора, заведующего электросварочным цехом завода «Электросила» Исаака Кушнира. Он, с его вельможной осанкой и розовым лицом, где подкожный жирок нежно просвечивал из недр его организма, делая щеки упругими и не поддающимися напряжению трудового дня, являл собой образец человека, находящегося на совершенно ином уровне питания, чем худосочные попутчики, и выглядел существом, по ошибке вброшенным в пространство вагона. Видимо, что-то случилось с его новым фордом или он просто решил сыграть в демократичность, что немедленно и подтвердил, когда увидел, что я сижу именно там, где он остановился.

— Это был замечательный вечер, — начал он монолог, ибо помимо генетической привычки к многословию, роболепное окружение художников, ждущих от него финансовой поддержки, приблизило эту привычку к стадии абсурда.

— Даже Глеб Богомолов сказал, что это было такое великолепное теплое, человеческое общение, какого он давно не видел. А мой друг Саша Гутницкий (это и был настоящий

спонсор, элегантный молодой мужчина в костюме с картинки из модного журнала, который снисходительно кивнул, когда я подошла его поблагодарить), мы потом поехали к нам домой отметить это событие, и, знаете, Регина, Саша сказал с таким изумлением: «Все эти люди такого малого достатка... Но как интересно они живут...»

Лет через пять друг и сосед Саши по мастерской, Александр Бихтер, выставил работы в офисе фирмы, которая располагалась в центре города, на Невском проспекте. Работы смотреть можно было только после шести вечера, так как в рабочее время туда никого не пускали. На лестнице сидели в будке два мрачных охранника. Офис был напихан мрамором, уставлен скульптурами в древнегреческом духе, с потолка сверкали хрустальные люстры, туалет убивал вызывающей гигиеничностью, а задержавшиеся сотрудники изысканностью прикида. Это был офис Александра Гутницкого.

Вышесказанное звучит иронично.

Однако хочется еще раз сказать бизнесмену: «Большое спасибо, Александр».

Думаю, более двадцати художников ко мне присоединятся.

* * *

Верховной и бессменной жрицей музея является заместитель директора по научной части Евгения Николаевна Петрова. Скорее всего, именно она присутствовала в качестве дамы высокого музейного ранга на встрече с директором.

Несколько лет назад, точнее, в сентябре 2004 года, я вступила в переписку с Евгенией Николаевной, добиваясь разрешения на выставку Манусова в музее. Мне очень хотелось это сделать как для Надежды Владимировны, Сашиной мамы, которая была жива в то время, так и для друзей-художников, которые говорили, что соскучились по его работам.

Уважаемая Евгения Николаевна!

Предметом данного письма является творчество рано ушедшего из жизни художника Александра Манусова. Художник скончался в Ленинграде в 1990 году в возрасте 42 лет.

Александр Манусов начал свои занятия живописью в студии ленинградского Дворца пионеров у выдающегося педагога С. Д. Левина. Затем последовали годы учебы в школе № 190 при училище им. В. И. Мухиной, после чего Александр Манусов поступил в училище им. В. И. Мухиной, которое окончил в 1972 году по специальности дизайнер.

В 1974 году художник принял участие в выставке, проходившей в ДК им. Газа, и в следующем 1975 году его работы были выставлены в ДК «Невский».

До своего ухода из жизни художник принял участие более чем в сорока выставках.

В 2001 году в серии «Авангард на Неве» был выпущен альбом-монография, посвященный творчеству Александра Манусова со вступительными статьями искусствоведа, сотрудника ГРМ Натальи Козыревой и американского искусствоведа, заведующей кафедрой истории искусства Индианского государственного университета профессора Дженет Кеннеди.

После смерти художника, в 1990–1991 годах, были организованы три его выставки, одна из которых прошла в помещении Мраморного дворца.

С тех пор его работы не показывались в России. Не состоялось ни одной выставки, достойной этого художника, творчество которого является ярким и самобытным явлением в отечественном искусстве последней трети XX века.

В настоящее время почти все наиболее значительные работы А. Манусова находятся в США у вдовы художника. В Петербурге работы художника хранятся в собраниях Государственного Русского музея, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Центральном Выставочном Зале (Манеж), а также у петербургских коллекционеров.

Прошу Вас рассмотреть возможность организации выставки Алекандра Манусова в Русском музее. После выставки я готова передать в дар музею часть работ художника.

С искренним уважением

Р. И. Соловьева
08.09.2004 г.

Уважаемая Регина Иосифовна!

Извините за задержку ответа на Ваше письмо от 8 сентября 2004 года. В принципе Русский музей готов организовать выставку Манусова. Однако для окончательного решения этого вопроса нам необходимо познакомиться с комплексом предлагаемого для экспонирования материала (по фотографиям? слайдам?), отобрать наиболее интересные произведения и определить, в каком пространстве и когда это лучше сделать.

Планы на 2005 год мы окончательно утверждаем в середине ноября 2004 года.

В дополнение информирую Вас, что Русский музей не сможет взять на себя расходы по подготовке выставки.

С уважением

заместитель директора по научной работе
Е. Н. Петрова
28.09.2004 г.

Разрешение было получено. Относительно сроков выставки была обронена ключевая фраза, нынешний девиз музея: будут деньги — будет выставка. Первоначально я по наивности, близкой к идиотической, лелеяла планы крупной ретроспективной выставки и в ответ на вышеприведенное письмо ответила следующим:

Уважаемая Евгения Николаевна!

Спасибо за Ваш ответ на мое письмо, касающееся выставки Александра Манусова.

Я могу представить для экспонирования 44 живописные и 25 графических работ. Это предварительный состав работ, который может быть уточнен. Количество работ также может быть изменено в соответствии с необходимостью. Список работ прилагается к данному письму. Техника и размеры работ указаны в списке. Репродукции практически всех указанных ниже работ можно найти в альбоме «Александр Манусов», приложенном к моему письму от 8 сентября 2004 года. В списке можно также найти ссылки на каждую работу и ее место в альбоме.

В первой, текстовой, части альбома, номера по каталогу работ, представленных на данной странице, указаны на полях страницы.

В связи со сложностью организации транспортировки работ в Россию мы были бы очень признательны Вам, если срок выставки будет установлен на конец ноября или декабрь 2005 года.

Пожалуйста, сообщите о Вашем решении на адрес Музея нонконформистского искусства: Санкт-Петербург, 191040, Пушкинская, 10, Товарищество «Свободная культура» (Музей нонконформистского искусства). Орлову Евгению Михайловичу.

Оригинал настоящего письма, а также список работ я высылаю почтой.

20 октября 2004 года
С искренним уважением
Р. И. Соловьева

* * *

Отупляющий марафон подготовки к выставке казался бесконечным. Денег на перевозку такого количества работ не было. Небольшая сумма, которую мы называли «Сашин фонд», могла обеспечить в основном проездной билет и упаковку работ. Временная дистанция до выставки казалась непреодолимой.

Раз в год, исполненная неопределенных надежд, не освободившаяся от житейского своего невежества и непонимания торгашеского духа времени, прилетала я в свой город.

Летом 2006 года я сидела с Е. Д. в кафе на канале Грибоедова, возле корпуса Бенуа, и показывала ей фотографии Сашиной графики, не основных рисунков, выделенных им и оформленных в паспарту, а тех, которые лежали в его папках в мастерской. Е. Д., заинтересованно смотревшая на не очень удачные фотографии, вдруг как-то подобралась, взяла в руки всю пачку и ловко, словно раскладывая пасьянс, разместила их между кофейных чашек в только ей одной подвластной гармонии.

— Давай сделаем с ними выставку, — своим удивительным журчащим голосом сказала она. — Юбилейную. У меня в этом году юбилей и у Саши тоже. Я имею право на эту выставку. И будет у нас двойной праздник.

Позже Елена Фигурина настояла на том, что уж если делать выставку Манусова, то вкупе с графикой необходимо представить живописные работы хотя бы последних лет его жизни. Не все, конечно, так как обещанное помещение, честно говоря, хоть и находилось в престижном корпусе Бенуа, разочаровывало крохотными размерами и нестандартной формой маленьких зальчиков.

Тут же возник вопрос о том, где брать деньги для транспортировки работ, которые находились в штате Нью-Джерси у моей приятельницы Айрин Голдман. Упаковка и отправка работ воздушным путем с моими финансовыми возможностями была далеко за гранью реального. И думы наши обратились к Исааку Кушниру, который незапланированным явлением природы свалился на гонимых ленинградских неофициалов в конце старого и в начале нового тысячелетия. К настоящему времени его вулканическая деятельность по вовлечению спонсоров в издание альбомов ленинградских художников увенчалась выпуском двадцати пяти книг. Время в них не повернуто вспять, но определенно остановлено, и на полке истории искусства прочно встали имена нескольких прекрасных мастеров. Парадоксально, но Исаак Кушнир работает начальником сварочного цеха завода «Электросила». После полного рабочего дня он мчится либо в издательство, либо к очередному претенденту на вступление в вечность, либо на открытие новой выставки. На меня он тоже свалился небожителем, когда в процессе работы над альбомом оказалось, что никаких средств на печатание цветного варианта нет. Когда я на подгибающихся ногах вошла в его квартиру — вариант палаццо на Петроградской стороне — и протянула ему готовый макет альбома со всеми слайдами, сказав, что нет средств напечатать все это в цветном варианте, он нежно молвил:

— Региночка, конечно, я помогу.

Но с тех пор прошло пять лет, имидж Кушнира вкупе с его самосознанием значительно расширился. Альбомы и презентации к ним шли потоком. Число подопечных рас-

ширялось, самооценка гипертрофировалась. Теперь он любил иногда повторять: «Раньше, когда я был никем...». Я робела молвить даже полслова. Подталкиваемая Еленой Фигуриной, я все же набрала его номер.

— Регина, я помогу, — кратко молвил Кушнир в ответ на мою тщательно подготовленную с хронометром в руках двухминутную речь. Говорить с ним всегда было исключительно тяжело, потому что из уст его тек непрерывный, скачущий от темы к теме монолог, и вставить слово никому не представлялось возможным.

Е.Д. сказала, что музей сделает скромный буклет, так что за нами оставалась только транспортировка работ.

Письмо от нее громом грянуло в середине мая 2007 года. «Будь готова потратить еще 5 000, — писала она. — Но это только на данный момент, а ко времени выставки это может быть больше». В телефонном разговоре Е.Д. сообщила, что выставка художника Васильковского, которую курировала его семья, потому что самого художника уже не было в живых, отменяется, так как семья не смогла справиться с финансовыми вопросами, и они срочно монтируют другую экспозицию. Позже дочь художника Катя рассказала мне, что, помимо затребованной огромной суммы, которую было невозможно поднять семье покойного, им предложили провести выставку не в корпусе Бенуа, наиболее престижной выставочной площадке музея, а в помещении Мраморного дворца. Семья отвергла эту идею. Работы Васильковского были экспонированы в музее-квартире художника И. Бродского на площади Искусств, в двух шагах от музея. Бесплатно.

Все разговоры о юбилейной выставке плавно отодвинулись в небытие. Беседа наша шла в минорной тональности, которой чарующие переливы голоса моей подруги придавали оттенок светлой надежды.

— Я жду, когда Петрова приедет, — с максимумом решительности говорила она. — Для меня это принципиальный вопрос. Если все пойдет таким образом, нам придется ограничиться только бюджетными выставками, а их у нас всего четыре в год.

Мне хотелось напомнить подруге, что я живу в Америке на пособие и что моя дочь Анна работает в качестве библи-

ографа в университетской библиотеке. То, что это один из престижнейших университетов страны, и то, что у нее высочайший профессиональный уровень, не влияет на размер ее зарплаты. И еще хотелось напомнить, что ни на одну работу Манусова, находящуюся в их коллекции (четыре живописные и три графические работы), музей не потратил ни копейки. А прочие работы я не продавала, чтобы сохранить необходимую экспозицию. И еще меня потрясала мысль, что музейные бонзы в своем коммерческом экстазе не делают различия между живыми художниками и теми, кого давно уже нет.

Принципиальный разговор состоялся. Результат его оказался предсказуемым.

— Мы не можем делать исключения кому бы то ни было, — грустно отчитывалась Е.Д. после беседы с Петровой. — Если мы пойдем на это, то создастся прецедент, и следующие художники будут требовать тех же привилегий. У нас очень суровая денежная дисциплина. Мы должны придерживаться интересов музея, иначе мы долго не протянем.

Я нежно люблю свою подругу. Она является одним из ведущих сотрудников Русского музея. Она проводит самые ответственные экспертизы. Ей доверяет не только музейная дирекция, но и многочисленные искусствоведы. Как жаль, что она, как и многие из нашего поколения, оказалась генетически отравлена ложью и страхами советских времен.

Скульптор Константин Симун, которому можно присвоить титул гения только лишь за одно его творение — памятник прорыву блокады Ленинграда «Разорванное кольцо» на Ладоге, прошел долгий путь финансовых отношений с музеем. Обреченный на проживание в Америке в силу трагического события — потери сына и необходимости воспитывать внучку, он несколько раз в году ездит в Россию, где проходят его выставки. Это единственный член ЛОСХа, который не побоялся выставить свои работы на выставке неофициалов во Дворце молодежи. Помню, как Саша завороженно водил меня по обширной площадке, где была экспозиция Симуна. Он восхищался его творчеством.

Много лет назад после очередной выставки музей выразил желание купить несколько работ скульптора и попро-

сил автора определить их стоимость. Пройдя краткий период недоуменных размышлений, Симун, наконец, обозначил свою цену. Когда заведующая отделом скульптуры покойная Мансурова, искренняя поклонница его дарования, услышала цифры, она изменилась в лице.

— Скульптор просит непомерную цену за свои работы, — сказала она на худсовете.

— Почему непомерную? — услышала она в ответ.

Все деньги были немедленно выплачены. Симун оказался в состоянии внести первый взнос за дом для своей семьи в Бостоне. После этого были куплены еще какие-то работы, тоже за приличные, но уже не столь победоносные цены.

У скульптора много почитателей. Я одна из них. И я счастлива была узнать, что с Костей обошлись почеловечески. Но почему происходит такое резкое разграничение в закупочной политике музея по отношению к остальным художникам? Да, Симун гениален и знает это о себе. Но еще он так же гениально понимает достоинства своих работ и свое личное достоинство как художника-творца. «Цена — это отношение», — говорит он. Думается, что настоящие мастера живописи не станут противоречить этой аксиоме.

Выставка Константина Симуна в ГРМ, посвященная его семидесятилетию, состоялась в здании Строгановского дворца на Невском летом 2004 года. Почему-то на сайте Симуна в «Википедии» ошибочно указан корпус Бенуа.

Оглушенный, ошарашенный, ошалевший от хвалебных речей, стоял невысокого роста Костя в центре окружности, состоящей из друзей и журналистов, и вспышки юпитеров молниями высвечивали его поразительное лицо деда-лесовика. В залах роилась многочисленная публика: степенная пара Благодатовых, друг Саши Манусова художник Александр Бихтер, ветшающая с годами чета Ухналевых. Столпом выделялась фигура Исаака Кушнира, на которого почти религиозно косились художники, жаждущие поддержки для выпуска своих альбомов. На хорошо освещенном здоровым румянцем лице Кушнира проступало оборонительное выражение. У входа в здание бросалась в глаза сияющая физиономия критика Александра Боровского. Он любил Симуна

и приложил много сил к открытию этой, практически последней, бесплатной для художников, выставки в ГРМ.

Саша явно не попадал на подиум, где в свете юпитеров высвечивались любимцы влиятельных критиков — узурпаторов от искусства. Слишком рано ушел, слишком скромен был. «Саша всегда хотел быть в стороне от этой ярмарки», — утверждала Елена Фигурина.

Совсем давно, в рассветный час воцарения отдела новейших течений, в 90-е годы прошлого века, в корпусе Бенуа открылась выставка художника-абстракциониста Леонида Борисова. Я подошла к даме, курирующей экспозицию, и спросила:

— А как делаются подобные выставки? Может ли состояться здесь выставка Александра Манусова?

Дама средних лет только улыбнулась с сарказмом. Я тогда еще не поняла, что улыбка была адресована выпускнику детского сада, каковым я еще много лет после этого являлась.

* * *

Художник Александр Окунь, о котором упоминалось в главе «Продолжение», какое-то время занимал должность председателя иерусалимского Союза художников и скульпторов. Насколько я понимаю, до его приезда в Израиль такой организации не существовало. Говорили, что он создал ее и возглавил. Существует легенда, что они были очень близки с Сашей Манусовым. Легенду эту опроверг сам Саша во многих разговорах со мной. Кажущаяся близость, говорил он, во многом объяснялась тем, что они делили одну мастерскую. Эффектный внешне, Окунь безусловно доминировал во всех светских начинаниях. Острый язык, миловидность, явная склонность к лицедейству, а также успех его работы «Портрет девушки» на выставке во Дворце культуры «Невский» обеспечивали ему все приоритеты. Не склонный к зубоскальству, спокойный внешне Саша всегда смотрелся его дополнением. Его истинная величина стала просматриваться только с отъездом Окуня.

Дядя Окуня, Юлий Китаевич, который живет в Нью-Йорке и негласный девиз которого — помогать друзьям, в один из моих приездов в город привел меня с самыми бла-

гими намерениями в квартиру в верхнем Манхеттене. Верхний Манхеттен, несмотря на престижное название, не имеет отношения к тому прославленному Манхеттену, где находятся музеи Метрополитен и Гуггенхайма, а также Центральный парк и где живут богатейшие люди страны. Верхний Манхеттен — засоренный заурядный район, заселенный в основном латинос, выходцами из Южной Америки. Здесь также велик процент российских эмигрантов.

Хозяйка квартиры, дама лет шестидесяти, встретила Юлия, его подругу, а заодно и меня шумными приветствиями. Гостиная была увешана работами современных художников. Большое место в комнате занимал стол с компьютером и множеством бумаг на нем.

— Регина хочет устроить выставку своего покойного мужа в Русском музее, — сказал добряк Юлий, доставая альбом Саши. — Посмотри, какой красавец мужик.

— Какие проблемы? — властно осведомилась дама, небрежно пролистав несколько страниц.

— Проблемы в том, что музей в лице Петровой хочет все больше и больше денег, — зачем-то начала отчитываться я, — а у нас их, естественно, нет.

— Вы можете подтвердить это документально? — еще более властно спросила дама.

— А зачем?

Дама кинулась к компьютеру, с очевидным наслаждением нажала ряд кнопок, и на экране вырисовался файл под названием «Петрова. Русский музей». Как я могла понять, здесь была собрана масса информации о деятельности именно Е. Н. Петровой.

— Есть только один человек, которого боится Петрова, — веско произнесла хозяйка квартиры. — И я с ним хорошо знакома. Но у него совсем нет времени. Я должна во время нашей встречи дать ему все бумаги, чтобы он ознакомился с проблемой. Это гарантия, что выставка состоится.

— Но у меня нет бумаг, — удивилась я. — У меня есть только переписка через Интернет с сотрудницей музея Е. Д.

— Вот ее и давайте, — потребовала дама.

— Но это частная переписка, — изумилась я, — Е. Д. мой друг. Я не могу это сделать.

— При чем здесь дружба? — задиристо вскричала женщина. — Вы хотите выставку? Она всего лишь представитель музея, который собирается содрать с вас огромные деньги. Ни за что. Денег у вас нет. Давайте договоримся так: вы приедете домой, соберете необходимую информацию и перешлете на мой электронный адрес. А я сама распоряжусь этим в дальнейшем. И вы получите свою выставку.

— Извините, но я не могу это сделать, — совсем растерялась я, — это частная переписка, я не имею права так поступить.

— Но вы хотите выставку? — быстро свирепела дама. Окружающие потерянно молчали.

— Очень хочу, — отвечала я, — уже много лет. Но не могу это сделать такой ценой.

— Вас привел сюда Юлий, — отрубая каждое слово, чеканно проговорила женщина, и мне привиделся Моисей, высекающий скрижали у подножия горы Синай. — Это значит, что он вас любит. Я же очень люблю Юлия и готова помогать его друзьям. Но...

Здесь ее взор обратился к примолкшему Юлию, почтительно внимавшему каждому слову:

— Юлий, — произнесла она, все еще стоя у скалы с тесаком в руке, — я первый раз вижу такую... (идиотку, должно было вырваться из ее уст, и я спокойно ждала этого, но, видимо, она воздержалась в последний момент) чистоту, — вдруг выпалила она, видимо сама изумившись мгновенному перепаду своих ментальных процессов.

Юлий все еще молчал.

Когда мы вышли, он сказал мне:

— Я подвел тебя к воде, чтобы напиться. Ты не захотела. Остальное уже не моя забота.

Прозвучало это обиженно.

Эксцентричная дама оказалась московской журналисткой, сколько-то лет назад переместившейся в Нью-Йорк. Мне показалось, что она одержима личной ненавистью к Евгении Николаевне Петровой. Мои любимые нью-йоркские друзья, Аня и Володя Шевеленко, относятся к ней с высочайшим пиететом. Она до последних дней жизни Шаламова навещала его в какой-то убогой клинике-хосписе Москвы

и позже сделала о нем фильм. Это вполне симпатичный и, несомненно, добрый человек. Но в данной области наши жизненные ценности разошлись. Думаю, что Саша не захотел бы выставки такой ценой.

* * *

Летом в Хьюстоне, где я живу, царит адовая жара. Вкупе с почти стопроцентной влажностью и постоянным ожиданием ураганов, приятный во всех отношениях город на протяжении пяти месяцев смотрится филиалом ада. Жара, особенно при удушающей влажности, парализует организм северного жителя с невинным садизмом. Ураганы с Атлантики уже угробили сколько-то жизней. Галвестон, приморский городок с его ажурной деревянной архитектурой, в сентябре 2008 года, когда разразился ураган «Айк», на протяжении нескольких дней исполнял роль местной Атлантиды.

Эпицентром страстей по выставке стало хьюстонское лето и осень 2007 года.

Когда-то на скамеечке у нашего купчинского дома сидели бабушка и дедок. Когда я проходила мимо, между ними происходил диалог.

— А у вас есть дети? — зычно интересовалась бабуля.

— Нет, я живу на Будапештской, — гремел в ответ дедок.

Мне кажется это калькой к моему диалогу с Русским музеем.

Уважаемая Елизавета!

Пожалуйста, срочно перешлите мне копию договора. Я собираюсь заказывать билет. Но у меня до сих пор нет копии договора, и я не имею ни малейшего представления о том, что там содержится.

На прошлой неделе я отправила Вам два письма, но, видимо, Вы их не получили.

С уважением

Регина Иосифовна

Это было написано в середине октября, а выставка планировалась на 20 декабря. Приехать мне предлагалось не меньше, чем за месяц до выставки, то есть в середине ноября.

Итак, запомним, это уже 15 октября.

Уважаемая Регина Иосифовна!

Ваши письма я получила и отдала специалистам выставочного отдела. Они ответят Вам по вопросам таможни и транспортировки.

Договор переслать не могу, потому что он не рассмотрен руководством.

Спасибо за сотрудничество

Елизавета

А это уже 17 октября 2007 года. Выставка же запланирована на 20 декабря.

Я все сижу в вышеупомянутом Хьюстоне, работы все стоят в штате Нью-Джерси у моей приятельницы Айрин. Это три с половиной часа полета. Айрин — женщина, одаренная редкостным темпераментом, и любит вулканизировать экспромтом. Поводов для данной процедуры ей не требуется. Мы тщательно высчитали стоимость упаковки и отправки работ в ящиках. Получилось где-то между 5-ю и 6-ю тысячами. Долларов, конечно.

— Грег Гуров — мой друг, — вкусно произносила Айрин Голдман, которая была заботливой «мамой» Сашиных работ, хранившихся у нее в доме. Потом значительно придыхала. И останавливалась. Обладатель этого звонкого циркового имени в ее трактовке был небожителем. Для меня это означало, что он очень-очень богат и работает над совместным с Русским музеем проектом. И что сама местная императрица его уважает. Зачем-то, как мне представлялось, жаждущей деятельности Айрин пришло в голову обратить внимание Гурова на мое бедственное положение и тем самым приблизиться к этому носителю нимба. Нет спонсора, практически нет денег, а срок выставки грозно приближается. Но аристократ любезно порекомендовал разные способы упаковки и доставки работ в Россию, а финансовая астрономия его душу не отягощала.

— Я попрошу его переговорить с Петровой, — мечтала Айрин, — она с ним считается. Они вместе делают выставку. — Неуверенность витала в интонациях подруги.

И вдруг явился deus ex machina — неожиданно выскочивший на авансцену бог из греческой трагедии, корпулентный и седоголовый спаситель, старый друг Саши художник Стас Бородин.

Он позвонил мне из Нью-Йорка, приехав туда с выставкой и намерением что-то заработать своими превосходными портретами.

— Какие проблемы, — мирно сказал он. — Я сниму их с подрамников, запакую и отвезу. Или же вы повезете.

— Айрин, — радостно закричала я в трубку, — случилось чудо, приехал Сашин старый друг, он предлагает снять работы с подрамников и запаковать. И тогда мы успеем доставить работы к выставке.

Гроза притаилась в голосе подруги.

— Я не могу сейчас этим заниматься, — отрезала радетельница, — у меня своих дел очень много.

Я не учла, забыла, с какой фармацевтической точностью надо было общаться с этой взрывоопасной дамой, шутливо называющей себя генералом. Она предпочитала решать проблемы и командовать сама.

Поскольку возможность чуда отпала, я на невидимом канате подволокла себя к телефону и набрала номер Кушнира.

— Да, — прозвучало металлическим голосом вельможи-чиновника, оторвавшегося от задач космической важности.

В отдалении слышался раскат довольных голосов. Видимо, очередная группа художников трапезничала в его гигантской кухне.

— Изя, — сказала я, глядя на секундометр, — я бы хотела посоветоваться с вами.

— Я слушаю вас, Регина, — не снижая вельможного тонуса отозвался он.

— Срок выставки установлен на конец декабря, а мы не можем справиться с финансовыми проблемами, — излагала я, чувствуя с гадливостью, как раболепно это звучит. — Получается, что перевозка работ вместе с платой музею может стоить порядка восьми–девяти тысяч...

Мой скудный монолог был немедленно погребен ревом мецената. Рев этот, вернее, рык, понесшийся из трубки, испугал моего деликатного пса овчара, который тут же покинул комнату:

— Вы что, считаете, что я должен вам дать эти огромные деньги?

Гул сытых голосов сник. Всем полагалось выслушать отповедь-урок, преподаваемый зарвавшейся вдове.

— Вы понимаете, о чем просите? — фортиссимо ревел Кушнир. — Вы знаете, с каким трудом достаются эти деньги? У меня на очереди сразу несколько альбомов, а вы звоните с такой дикой просьбой. Я что, разве обещал вам помочь? Никогда ничего подобного не было. Снимите работы с подрамников и везите, это ничего не будет стоить, все так делают.

Я чувствовала себя нищенкой на паперти, которую гонит прочь сытый служитель храма.

— Я не собиралась просить у вас всю эту сумму, я собиралась посоветоваться с вами, как с другом, — урвала я момент, когда у него перехватило дыхание. Уроками вокала он явно не занимался, а природная дыхалка подвела. — И я не собиралась препятствовать изданию альбомов. Я готова стоять перед Вами на коленях за то, что вы сделали для ленинградского искусства... — отчетливо было слышно, что дыхание возобновилось, но рыка почему-то не последовало. — Спасибо, Изя, извините за беспокойство и всего хорошего.

Неделя плача, наступившая после этого, слишком поздно, но зато навсегда излечила меня от глупых иллюзий.

* * *

— Это было ужасно, — воскликнула Е.Д., — Петрова срочно потребовала меня к себе, там сидел какой-то американец, они выясняли наши выставочные расценки. Если бы ты слышала, что она мне сказала...

Это означало, что человек с вкусно хрустящим именем был на приеме у Петровой, где обсуждались вопросы выставок из США в ГРМ, и, вспомнив жалостливые мелодии Айрин, спросил у мадам, почему меняются расценки на выставке Манусова.

Меньше всего на свете я ожидала такой топорности и еще меньше мне хотелось причинить неприятность замечательной подруге.

6 ноября 2007 года

Уважаемая Евгения Петровна!

Я хочу поблагодарить Вас за предоставленную возможность экспонировать в Русском музее произведения Александра Манусова 20 декабря 2007 года. Согласно предварительной договоренности на выставке планировалось представить пятнадцать живописных работ художника.

Проект договора между мной и ГРМ я получила 24 октября, менее чем за месяц до моего предполагаемого отъезда с работами из США и менее чем за два месяца до открытия выставки.

После ознакомления с условиями договора у меня возник ряд вопросов по его содержанию. В основном это касалось финансовой стороны отношений между мной и ГРМ. На выяснение этих моментов было потрачено время, что значительно сократило время на подготовку к отъезду и отправку работ.

Неожиданностью для меня явилась также необходимость заключения особого договора с транспортной компанией Хазенкамп и высокие расценки последней. У меня нет спонсора, который бы взял на себя решение финансовых вопросов.

В силу этих обстоятельств я пришла к выводу, что, к сожалению, время для подготовки выставки упущено как для музея, так и для меня. Я надеюсь, что руководство музея найдет возможность организовать замену выставки Александра Манусова в декабре 2007 года.

Что касается выставки Александра Манусова, то мне хочется оставить вопрос открытым. Я прошу руководство музея найти возможность переноса выставки на ближайшее будущее.

Подлинник данного письма я высылаю почтой.

Всего Вам самого наилучшего,

Р. И. Соловьева

* * *

Январь, 2007 г.

Лиза оказалась красивой и молодой, с гордо посаженной рыжеволосой головой. Холодный взор чиновницы не противоречил ее осанке и даже как-то подтверждал ее красоту. Было время зимних каникул. В корпусе Бенуа роились группы школьников из других городов. Сидеть было негде, и мы отошли к стене.

— Зря вы отказались от выставки, — сказала она. — И потом вы прислали какого-то человека, который очень рассердил Евгению Николаевну.

— Я никогда не видела этого человека, я незнакома с ним, — зачем-то пустилась я в объяснения. — Это знакомый моей американской подруги. Она суперактивная личность, переживала за меня и поделилась с ним моими проблемами. Он же как-то связан с Петровой. И решил ее спросить, почему сначала называлась цифра в две тысячи долларов, а теперь стало вдруг четыре. И потом выяснилось, что за перевозку из аэропорта немецкая компания Хазенкамп берет три тысячи долларов в один конец. А если везти работы прямо с самолета из Хельсинки, то называлась цифра в 25—30 тысяч долларов. Если взглянуть на меня, то сразу понятно, что для меня это более, чем астрономия, а спонсора у меня нет и не предвидится.

— Я одно вам могу сказать, — продолжила Елизавета, и в голосе ее вдруг сломался чиновничий лед, — я могу лишь сказать, что цены в музее не будут уменьшаться, наоборот, они будут все время расти. Вот это я Вам гарантирую.

— Но как вы предполагаете, сколько это может стоить через год? Хотя бы примерно?

И опять голос ее выдал совсем человеческие эмоции. В интонации отчетливо пробивало себе тропинку сочувствие и даже намек на отчаяние. Но говорила она по-прежнему четко, строя фразы отработанными бюрократическими формулировками. И уже с нескрываемым в глазах сочувствием заключила:

— И я совсем не могу Вам ничего сказать заранее. Все выставочные цены определяет в последний момент замдиректора по науке.

Она растворилась, истаяла золотоволосой феей в толпе провинциальных подростков. Только эта фея не могла помочь в моей беде.

— А при чем тут замдиректора по науке? — изумилась моя давняя и самая близкая подруга Татьяна Шехтер. — Какое отношение к ценам имеет замдиректора по науке? По науке, хочу выделить. Это разве ее епархия — назначать цены?

Стало быть, вся обильная ожесточенная переписка с музейными чиновницами оказалась еще одним легким бризом на мутной океанической музейной поверхности. Все мои надоедные вопросы, ни на один из которых я не получила ответа — скажем, от чего зависит стоимость выставки, от количества работ или от количества залов, — на деле оказались вопросами дитяти, от которых отмахиваются занятые важным делом родители. И Е.Д., которую я мучила этой конкретикой и которая бегала к Петровой и в выставочный отдел, пытаясь что-то выяснить, лишь теряла время в тщетных усилиях пробиться сквозь бетонную стену огромной корпорации.

* * *

Почти через год после моего разговора с Лизой, 11 декабря еще пока 2008 года, мы прибыли в аэропорт Пулково с пятнадцатью большими работами, снятыми с подрамников и мастерски скрученными в рулон спасителем Стасом Бородиным, и оформили их на таможне как временный ввоз.

Уважаемая Евгения Николаевна!

Прошу Вас рассмотреть возможность экспонирования работ художника Александра Манусова в 2009 году.

Выставка работ Александра Манусова была запланирована на декабрь 2007 года, но не состоялась из-за финансовых обстоятельств.

В данный момент работы Александра Манусова находятся в Санкт-Петербурге и готовы к экспозиции в любой удобный для Вас момент. Существует альбом художника, изданный в серии «Авангард на Неве».

Прошу Вас рассмотреть возможность заключения со мной договора. Подтверждаю свою готовность к финансовой поддержке выставки.

С уважением

Р. И. Соловьева

С этим заявлением утром 13 декабря, еще не придя в себя после безжалостного перелета, я плелась к зданию дирекции Русского музея. Пространство между Михайловским театром и музеем казалось заповедной зоной. Здесь почти не было машин, и вороны спокойно вычерчивали свои иероглифы на теряющем белизну снеге.

Дирекция начиналась с вешалки. Дама основательных лет с цепким взором стальных глаз взяла мой размахай и, пристроив его на крючок, выстрелила: двенадцатый!

— Номеров как таковых нет? — удивилась я.

Тщательно намакияженное лицо гардеробной дамы приняло оскорбленно агрессивное выражение. Уязвленность жизнью в роли обслуги гармонично сочеталась в ней с высокомерием приближенного к руководству лица.

— Номера постоянно теряют, — тоном классной руководительницы, отчитывающей нерадивую пионерку-двоечницу, отчеканила она, — у нас здесь такой порядок.

Озвучивалось это примерно так: ты здесь никто. Не нравится — убирайся.

Я направилась наверх, на второй этаж. Справа от двери стояла конторка, за которой сидела интеллигентного вида дама с книгой в руках.

— Вы не подскажете, где приемная Евгении Николаевны? — поинтересовалась я.

— По коридору направо, — последовал очень любезный ответ.

Было начало одиннадцатого. Я была проинформирована, что владычица музея появляется как раз в это время и имеет несколько незанятых минут. И как раз в эти, до половины одиннадцатого минуты, с ней можно быстро переговорить.

Две улыбчатые секретарши предложили позвонить к ней в кабинет, и через минуту я могла лично обозреть эту леген-

дарную женщину. Для меня она всегда почему-то ассоциировалась с Гудвином, волшебником Изумрудного города. Она была всесильна и одновременно невидима. Сотрудники музея, упоминая ее имя, обычно воздерживались от комментариев, но достаточно было увидеть их глаза, чтобы кое-что заподозрить. В самом их молчании был заложен эталон ее мощи. Невидимость же ее объяснялась тем, что она часто исчезала в творческие поездки по приятным местам Запада. В Италию, например, где почему-то находилось издательство музея.

Евгения Николаевна Петрова сидела за огромным столом. Стол перегруженным бумагами лайнером вплывал в океан искусства. Какая-то несуразность обозначалась между малыми размерами сиделицы и этими глыбами бумаг, орнаментом расположенных по бокам дамы. Внешне ее можно было принять за домоуправшу из жилконторы советского периода, но предбанник с двумя секретаршами камуфлировал заземленность живого образа. Было понятно, что хозяйка кабинета небольшого роста, так как она как-то неубедительно просматривалась между кипами бумажных изданий, которые прискорбно перечеркивали, а отнюдь не усиливали силу ее образа. Это была дама-чиновник.

— Я по поводу выставки Манусова, которая была запланирована на конец 2007 года, — сообщила я. — Работы должны были быть доставлены из США, и мы тогда столкнулись с финансовыми трудностями, касающимися транспортировки и вынуждены были отказаться. Но теперь работы доставлены и готовы к экспозиции, — декламировала я, стараясь звучать кратко и деловито, в тон ситуации, и положила заявление на стол.

— Я ничего этого не помню, вы видите, сколько у меня здесь работы, — прошелестела Евгения Николаевна и обвела глазами бумажный натюрморт.

Изъяснялась она именно тем пониженным тоном, прислушиваясь к которому приходилось подаваться вперед и впитывать каждую звуковую вибрацию. Наверняка это выглядело раболепно.

— И, кроме того, известно ли вам, что у нас уже составлено расписание на весь год?— молвила она.

— Конечно, мне это известно, но, может быть, найдется окно, куда нас могли бы поместить? — смиренно поинтересовалась я, отлично зная, что таковые окна имеются. В этом запланированном смирении была изрядная доля сознательного мазохизма. Оно позволяло титулованному собеседнику упиться ситуацией и еще раз насладиться высотой административного Олимпа.

— Обратитесь в отдел живописи к Леняшину, оговорите с ним ситуацию, а потом, когда все выяснится, обратитесь сюда, — это прозвучало кодой, и я направилась к выходу.

На следующий день я принесла в приемную официальную бумагу с просьбой рассмотреть возможность экспонирования работ Александра Манусова в наступающем году. Надо было спешить, поскольку сановное лицо отбывало через несколько дней в Италию работать над изданием альбомов. Уезжала она 19 декабря, в удачный период предвкушения католического Рождества в колыбели искусства.

— Она рассмотрит твое заявление сегодня или завтра, — уверяла меня подруга, — спустит бумагу в отдел, и мы начнем подготовку к выставке.

29 декабря, не дозвонившись до непреклонной Елизаветы, я доползла до здания музея. Вороны контрастно смотрелись на обегающей музей пустынной дороге с вкраплениями нездорового городского снега. Дама в гардеробе, не изменившая уходу за собой, проколола меня прежним цепким взором. Я не стала снимать пальто, а прошла к внутреннему телефону.

— Елизавета сегодня ушла на каникулы, — очень вежливо ответил мужской голос. Надо сказать, что телефонные респонденты музея всегда отвечали с безукоризненной вежливостью. — Она будет только 13 января.

Улыбчатые секретарши сообщили, что Евгения Николаевна прибудет 19 января.

* * *

Сизая труха парила в воздухе. Уже спустилась питерская мгла самых темных дней в году. Перейти Невский долго не удавалось. Маячок круглого метро на площади Восста-

ния казался недосягаемым. Наконец поток остановился. Не потому, что, наконец, явился красный сигнал светофора, а потому, что лента машин на Лиговском вдруг перестала двигаться, и людская масса ринулась через Невский. На той стороне вдоль Лиговки почему-то стояли люди с вывернутыми налево, к Октябрьскому залу, головами. Они напоминали рисунки примитивистов.

— Здесь кого-то ждут? — непонятно зачем осведомилась я.

Девушка в короткой куртке (почему-то взгляд постоянно натыкался на молодых женщин в слишком коротких куртках и сапогах на высоком каблуке. Филейные их части, обтянутые узкими брюками или джинсами, активно просматривались и рознились лишь размерами) что-то крикнула, и я прошла налево по Лиговке. Сквозь сетку дряблой крупы, текущей сверху, прослеживались колонна музыкантов, строй детей, наряженных зайчиками, а за ними высилась неестественная громада автобуса, внутри которого на высоте трехэтажного дома телепалась фигура Санта-Клауса. У статистов был покорный вид. Они терпеливо переминались с ноги на ногу. Ждать начала феерии не хотелось. Я отправилась к остановке троллейбуса. На углу улицы Восстания и Невского второй год висело огромное панно с изображением ключевых зданий петербургской архитектуры — строений желто-белого цвета с колоннами. Панно прикрывало срам, случившийся с главной улицей города — три безжалостно вырванных, как гнилые зубы, дома, одно по Невскому и два на Восстания, вновь отстраивались под элитные гостиницы и магазины. Иногда тряпки выпихивались ветром и высвечивалась громада непривлекательных крыш. Все это называлось Китайстрой. Китайцы, десятками селившиеся в расположенных рядом домах, регулярно заливали нижних соседей. Подобный казус случился позже летом у Елены Фигуриной. Каким-то чудом картины ее не пострадали, но пропал весь архив.

Вдоль убиенных с ведома губернаторши Матвиенко домов были проложены пространные жестяные мостки под крышей, выводящие на Невский. Я двинулась к этим

мосткам, пережидая, когда свернут на Невский несколько машин, теснящихся на улице Восстания. Передо мной пересекали дорогу молодой человек с девушкой. Он был невысок и не особо выделялся со своей спокойной среднеазиатской внешностью. Что-то произошло между ним и проходящими парнями в куцых лыжных шапочках. Что-то они сделали или сказали, на что он огрызнулся. Я уже вошла в переход, когда сзади рванул вопль, и по грязной жести внизу, почти к моим ногам, подкатилось тело парня-азиата. Быстрее пущенной из лука стрелы, не оглядываясь, промчалась к жерлу далекого выхода спутница парня. Две короткие фигуры материализовались из сумрака и стервятниками кинулись на жертву. По звуку ударов чудилось, что они нацелены на убийство. Парень молчал. Группка женщин собралась в полукруг. Никто не издавал ни звука. Они смотрели, жертва безмолвствовала. Никто не кричал «На помощь!», никто не бежал за милицией. Они лишь лицезрели. Непонятно, что было страшнее — само насилие или это безразличие. Я малодушно ускорила шаг и, презирая мерзостную свою трусость, однако не противясь ей, добралась до выхода на Невский.

— К нам приехал главный Дед Мороз России, — гундосил баритон затейника, — давайте все похлопаем. Все приветствуют главного Деда Мороза России.

Процессия уже повернула и теперь двигалась строго по маршруту, который заканчивался на Дворцовой площади. Народ безмолвствовал, небесная крупка замечательно просматривалась над ярким, блистательно освещенным автобусом, ростом с трехэтажный дом. Внизу, в темноте асфальта, она превращалась в чавкающую грязь. Люди, попиравшие эту жижу в зоне поребрика, безучастно взирали на средство передвижения. Восточные девушки-официантки, на время покинувшие свои харчевни, радостно махали руками. Посетители кафе индифферентно глядели сквозь витрины. Главный Дед Мороз России, похожий на восковую фигуру с моторчиком, высясь на втором этаже, тряс поролоновой, в кудряшках, бородой.

За автобусом двигалась многослойная процессия. Дети в костюмах зайчиков ударяли в барабаны и через какой-то ин-

тервал замирали. За ними вышагивали оркестранты, наряженные пингвинами. Духовые инструменты жалостно мерцали.

— Все поприветствуем главного Деда Мороза России, — с равными интервалами надрывался безрадостный голос.

Два клона в лыжных шапочках показались из туннельной арки. Низкие приземистые фигуры словно раздались вширь. Они сыто улыбались. По всему было видно, что они собрались теперь развлечься на Дворцовой площади, куда и направлялась процессия.

* * *

Место, где я остановилась, носило родное и славное имя Пушкинская-10. Однако номинально вход был с Лиговки, 53. Старая Пушкинская осталась в прошлом. С этой улицы въезжали во двор владельцы мерседесов и бентли. У ворот с электронными замками несли дежурство дородные молодцы. Квартиры элитных жильцов были двухэтажные. Чтобы попасть в мастерскую, надлежало пройти жуткую арку с Лиговки, пересечь помещение развлекательного заведения под названием Fish Fabrique, миновать маленький дворик и вступить во вторую длинную арку, которая казалась бы склепом, если бы в результате вы не выходили в узкое пространство, где взгляд сначала натыкался на массивную высокую и длинную решетку. Сразу за ней кайфовали тысячные машины; в окнах, за опрятными, вызывающе дорогими занавесями, томно светились лампы. Справа и слева в этой ужинé располагались две парадные — вход в мастерские художников, в офис администрации и музей. Пейзаж напоминал одну из работ Владимира Овчинникова «Зоопарк», где совершенно неясно было, кто на кого глазеет из-за кованой решетки.

Холсты, вытащенные Стасом из контейнеров, раскинулись, отдыхая, на полу мастерской. С ними было не страшно. Краски источали особый аромат. Он впитывался как озон. Уже были заказаны подрамники и рейки для обводки картин. Мой хронический ангел-спаситель Евгений Орлов написал на бумажке детальные инструкции для оформления каждой работы и дал координаты столяра.

Я пыталась уснуть, но продолжала ворочаться на узкой твердой кушетке. За окном вопили. С шестого этажа отчетливо просматривалась реинкарнация арефьевских персонажей — две сцепившиеся фигуры то всасывались в арку, то выплевывались оттуда с животным мычанием. Казалось, это никогда не кончится — ублюдочные вопли за окном и музыка, уже обессиленная, но не сдающая позиции. И вдруг, когда вопли смолкли, впитались в подворотню окончательно, сверху, из апартаментов отъявленного джазового меломана и героического зачинателя Пушкинской Сергея Ковальского, свинговым потоком низверглось экстатическое соло контрабаса в компании ударных.

Оставалось нехорошо порадоваться, что колонки аппаратуры неистовствуют над мастерской Жени Орлова и что конфетное изобилие джазовых излишеств низвергается на его привычную бедную голову.

14 января, звоня из музея, я, наконец-то, услышала прохладно-деловой голос Лизы.

— Еще ничего не подписано, — пролился на меня ледяной душ. — Евгения Николаевна будет 19 января.

19 января была пятница, и Евгения Николаевна в этот день была на совещании.

Мой билет на двадцатое февраля терпеливо лежал на полке.

— Надо пробивать эту ситуацию собственным телом, — сказала, страдая, Лена Фигурина. — Это обычная советская бюрократия, ничего ведь не изменилось, а стало еще хуже, ты просто забыла при жизни вдалеке, что это такое. Так пора вспомнить, — было ее безжалостное заключение.

* * *

23 января 2009 г.

— Евгения Николаевна, это Регина Иосифовна Манусова, — не снижая темпа, изрекала я в телефонную трубку. Секретарши, пытаясь не выказать явного интереса, кидали на меня косвенные взгляды, — я хотела бы узнать, принято ли решение по выставке Манусова.

— Еще не принято, — был краткий ответ.

— Могли бы вы принять меня сегодня?

— Я сейчас ухожу на совещание.

— Я могу подождать до конца совещания, у меня есть свободное время.

— Я не знаю, когда оно кончится. Это может быть очень долго.

— Я с удовольствием подожду.

— Нет, сегодня ничего не получится.

— А когда, Е. Н.? У меня обратный билет на 20 февраля. Мне бы хотелось знать заранее, имеет ли смысл его менять.

— Приходите завтра.

— А в какое время?

— Во второй половине дня.

— Спасибо, — благодарно вырвалось из меня.

Я с ужасом фиксировала свое падение, но это был еще не предел.

Дверь ее кабинета тут же резко, словно от удара ногой, распахнулась, и ее рыхлая сановная фигура, гневно подрагивая, вырулила в приемную. В руках у нее была пухлая, под стать комплекции, кипа бумаг.

Бессмертный совдеповский рефлекс поднял меня с места и заставил распахнуть перед ней дверь в коридор. А, может, это было естественное желание облегчить ей продвижение к дальнейшим Монбланам искусства?

Она смотрела вперед, и взгляд ее упирался прямо в меня. Когда-то у моей кошки я подмечала точно такой же пустынный взгляд. В нем царила даже не космическая пустота, которая все же полна глубинного зловещего смысла, а натуральный вакуум. И был он адресован лично мне.

Она выплыла наружу, и я прикрыла за ней дверь.

* * *

25 января, наконец-то, позвонила Е.Д. Ее прелестный голос утратил моцартианские интонации, хотя новость была ошеломляющей.

— Договор будет вот-вот подписан, — сообщила она грустно, — теперь звони Лизе, она тебе скажет все детали и подробности.

— И уже поставлена стоимость? — взвилась я. — Сколько?

— Лиза тебе сообщит все, позвони ей, — отрешенно произнесла Е.Д.

Голос Лизы был неожиданно теплым, казалось, она находится не у компьютера, говорит не из кабинета, обложенного циркулярами руководства, расписаниями и списками выставок, а присела у постели прихворнувшего ребенка.

— Выставка назначена на 16 февраля, — донеслось до меня, и я бессознательно повернулась к полке, на которой притулился обратный билет на 20-е. — Евгения Николаевна говорит, что надо открыть выставку до вашего отъезда в Америку.

— А какая поставлена цена?

— Разве Е.Д. вам не сказала?

— Нет, она просила меня позвонить вам.

Наступила недобрая минута молчания.

— Евгения Николаевна поставила стоимость 300 тысяч рублей.

— Но ведь год назад это было 105 тысяч!

— Я ничего, к сожалению, не могу вам сказать на эту тему, — сказала Лиза в явном отчаянии.

— Лиза, а сколько это на доллары? — спросила я, умирая.

— Это примерно 10 тысяч, — голос ее окончательно сломался. — Рубль только что сильно обрушился, и все цены взвились по вертикали, поэтому было решено поднять музейные расценки.

— Сейчас мы ждем вашего решения, — продолжала монолог Лиза. Это даже был не монолог, скорее, ариозо, потому что голос ее обретал высокие лирические ноты, и я подумала, что ведь она сидит в присутственном месте, там есть другие сотрудники, но она парадоксальным образом вдруг вышла из этого пространства и административного мировоззрения. — Я знаю, что это такое для вас, это и для меня было полной неожиданностью. Но вы уже отказались год назад от выставки. Если вы откажетесь теперь, это уже навсегда. Сей-

час документальное оформление приостановлено, она ждет вашего принципиального согласия. Вам ничего не остается, как согласиться. Сейчас «нет» — значит, навсегда. Вы можете пойти к ней на прием и попросить сделать подешевле. Вы скажите: «Я очень хочу выставку, я вынуждена согласиться, но нельзя ли снизить расценки?» Пока что она вернула договор без подписи. Вам нужно позвонить секретарям, спросить, нет ли у нее свободного времени во второй половине дня завтра. Но я хочу вам сказать, что сейчас эта сумма — стандартная цифра для всех, бывает и гораздо больше. Год назад это стоило 149 тысяч (в моем договоре была проставлена цифра 105 тысяч).

— Идите к ней, думать сейчас об этом не надо, надо ночь переспать и завтра самое трудное решить. Позвоните мне после.

«Ламентации Лизы?» — думаю я сейчас. И понимаю, что неправа. Как отогрела меня тогда открывшаяся ее душа!

* * *

В этот раз я была принята благосклонно, все еще с долей настороженности, но уже с непринужденными интонациями. Вопрос новой стоимости я не затрагивала. Меня шутливо пожурили: а где отдел живописи, где куратор выставки? Где заведующий отделом живописи Леняшин?

— У меня к вам есть очень серьезный вопрос, Евгения Николаевна, — сказала я.

И тут на меня посмотрели цепким взглядом гардеробщицы. Это был вопрос ценообразования.

— Могу ли я внести деньги в два-три приема?

Разрешение было дано. Надо отметить, без колебаний.

* * *

У меня решительно не было требуемой суммы. Некоторые накопления с моей пенсии и денег от квартирного жильца оскудевали с каждым днем.

Я знала о пиетете, который художники испытывали по отношению к Владлену Гаврильчику, патриарху ленинградского авангарда, еще не будучи с ним знакома. Когда-то, в конце восьмидесятых, мне встретилась его первая жена, измученная, рано состарившаяся женщина. При ней был внук, очень худенький нервозный мальчик лет шести, казавшийся чем-то неясным ему самому одержимым. Женщина грустно сказала мне, что это сын ее дочери и внук Владлена и что они живут в большой нужде. Добавила также, что Владлен с ними совсем не общается, и, если я вдруг увижу его, хорошо бы, если бы я ему напомнила о них. Но увидела я Владлена и познакомилась с ним только зимой 2009 года.

У нас висела его работа, где скабрезным образом высвечивался знаменитый эпизод между Фаустом и Мефистофелем. Манера сугубо примитивистская, детская. Две плоскостные фигуры, где Мефистофель, изображенный в профиль, каким-то особо гнусным жестом протягивает Фаусту, облаченному в синий камзол, гусиное перо и листок бумаги. У последнего во взгляде чисто физиологическое напряжение, словно не кучу мирских удовольствий ему предлагают, а собираются поставить клизму. Справа, на периферии золотоволосая голова Валькирии — Маргариты, тоже в профиль, перед ней яблоко. Работа веселая и хулиганская, очень освежающая.

Однако ее приходилось принести в жертву, потому что удовлетворить гидру музейных требований мне было нечем. Еще раньше с помощью Елены Фигуриной удалось продать работу Анатолия Басина, и это был весь мой с дочерью выставочный фонд. Кроме этих двух работ, которые были у Саши, заинтересовать современных покупателей, превратившихся, по словам Фигуриной, из коллекционеров в инвесторов, было нечем. Деловая женщина-агент, подъехав на машине, забрала работу Гаврильчика. Клиент нашелся очень быстро. Цена (умеренная) была предложена. Я согласилась, так как время катастрофически истаивало, просеивалось песком между пальцами.

И вдруг оказалось, что клиент возроптал. Он проверил работу с помощью какого-то особого состава и заявил, что работа поддельная. Он требовал справку от самого художни-

ка о подлинности работы. После звонка Владлену от мужа Фигуриной Валентина Герасименко я, прихватив работу, отправилась на улицу Восстания. Идти было тяжело. Это была та самая знаменитая питерская зима, когда выпавший снег оккупировал город. Уборочной техники нигде не наблюдалось. На Петроградской стайки дворников ломиками пытались одолеть ледяные уже заносы. В центре, у корпуса Бенуа, змеились крайне узкие ледяные ущелья, где приходилось ставить одну ногу впереди другой в манере канатоходца. Примерно та же картина просвечивалась и на улице Восстания.

Дверь открыла моложавая подтянутая жена Владлена Тамара, как я позже узнала, балерина в прошлом. После некоторой светской беседы состоялось явление Владлена. Облик его был ошеломительно бесплотен. Мне показалось, что он не вошел, а его перышком внес в комнату и вознес на диван слабый невидимый бриз. При всей колеблемой ветром плоти возраст художника не проглядывался в силу необычайной интенсивности и задиристости взгляда. Словно в нем аккумулировалась энергетика всех его таких же задиристых работ. Если бы не моя тогдашняя измотанность, возможно, я бы и оробела, поежилась. На коленях у него притулилась маленькая, очень преклонных лет ослепшая собачка, которую он нежно поглаживал.

При виде работы он чрезвычайно оживился.

— Это же моя первая работа на холсте, — заговорил он в темпе allegro, — она 63-го года, я ее делал для Института высокомолекулярных соединений, для химиков делал, но я ее не дописал. Мне Леня, который там работал, дал этот холст, я ее отдал ему, и она больше не вернулась. Они ее заказали для кафе.

— Это моя первая сюжетная композиция большого размера на холсте, — разгорался дальше Владлен, — я не помню процесса написания, может быть, я ее написал на холсте уже записанном.

Он любовно рассматривал своего первенца, обведенного древней, определенно снятой с другой работы широкой, с умирающей позолотой рамой.

— Вам нужно, чтобы я ее надписал? Сейчас двину в мастерскую, а вы тут с Тамарой посидите.

Его не было гораздо дольше, чем требовалось для обычной подписи. Когда он вернулся, оказалось, что на обратной стороне со всем тщанием записана только что поведанная нам история возникновения работы.

— Если хотите, то дайте мне позывные этого гражданина, я ему спущу сертификат, — предложил напоследок Владлен. Но мне казалось, что надписи более чем достаточно.

Цирковыми кульбитами я двигалась обратно, больше всего боясь шлепнуться с картиной.

На следующий день поздним вечером Владлен позвонил.

— Вы знаете, Регина, я все время думаю об этой работе, сидит она у меня в голове и не выходит. Картина еще у вас?

— Да, конечно, агент хотела забрать ее завтра.

— Я хочу эту работу у вас купить. Я уже с Тамаркой договорился, она вам денежки отсчитает. Сколько вам за нее дают?

— Три тысячи двести долларов, — отвечала я, думая, что в принципе работу эту я должна отдать Владлену просто так: его первоначальное отношение к ситуации поражало душевной щедростью.

— Вам ведь нужны деньги на выставку, а я хочу картину эту вернуть. Польза общая будет. У Сашки будет выставка, у меня работа. Что я, Сашку не любил? Сашка прекрасный совершенно художник, живописец. Тут Синявин[1] как-то приезжал со своей книжкой. Он ведь великий у нас. А я ему свою книгу надписал, знаете как? «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» Вот так и написал. А Сашке с его талантом нужна выставка. Правда, он до гения Синявина не дотягивает, — куражился Владлен. Чувствовалось, что задет он был Синявиным, впавшим по возвращении из Америки в русский фашизм, сильно.

---

[1] Игорь Иванович Синявин (1937–2000) — художник, бывший эмигрант, лидер одной из групп националистического общества «Память». Его книга «Стезя правды» была запрещена как относящаяся к экстремистской литературе.

— Так если вы согласны...

— Конечно, я согласна, Владлен! Спасибо вам.

— Тогда приходите завтра с работой. Ну все. Конец связи.

И он отключился.

Когда на следующий день я позвонила Тамаре, голос ее был пасмурным.

— Сколько вы хотите за эту работу?

— Тамара, — удивилась я, — я не просила Владлена купить работу. Он сам позвонил мне вчера и сказал, что хочет ее купить. У меня уже есть покупатель.

— Сколько он вам дает?

— Три тысячи двести долларов, я вчера говорила уже Владлену...

— Я вам дам три тысячи.

Впервые в жизни я вступила в торг.

— Тамара, мне дорога каждая сотня долларов, с меня в музее берут непомерную цену за выставку.

— Владлен надписал работу, это стоит двух сотен, — неслось из трубки.

— Тамара, извините, но я должна получить всю сумму, тем более что оплата через агента и, наверняка, этот клиент платит много больше, — изумляясь себе, твердо произносила я. — У меня обязательство перед мертвым Сашей. Я должна сделать эту выставку.

— Хорошо, приходите вечером.

Тамара встретила меня недалеко от своей парадной. Была она ласкова и как-то особо умильна.

— Вы продадите эту работу намного дороже, — сказала я.

— Мы ее не будем продавать, — молвила она, нежно принимая картину из моих рук, — мы ее оставим в семье, для дочери.

На следующий день я разменяла хрустящие, прямо с печатного станка, тридцать две зеленые сотни и отнесла первый взнос в кассу музея. Хмурая кассирша, угнездившаяся в недрах здания, пересчитав бумажки, выдала мне квитанцию. Остальные взносы собирались из накопленной за

несколько месяцев пенсии и денег, вырученных за продажу работы Анатолия Басина.

Вскоре работа Владлена Гаврильчика «Доктор Фауст» оказалась выставленной для продажи в галерее на Итальянской улице, вблизи Большого зала филармонии, за миллион рублей, то есть по курсу того времени за тридцать две тысячи долларов.

Я никогда не забуду фигуру бывшего моряка Владлена, вплывающего в комнату, — ветхозаветный старец, фитилек свечи на пепелище гениев.

* * *

— А ты не отдавай все деньги, — сказал, куражась, Евгений Орлов, — выставку все равно теперь откроют.

Мы с ним направлялись в издательство «Деан», находившееся тогда на Пушкинской, просить машину для доставки работ в музей.

— Пусть подавятся, Женечка, главное — выставка. Кроме того, Петрова пошла нам навстречу и разрешила не печатать каталог выставки, обещала сделать маленький буклет.

— Тогда ты легко отделалась, — отвечал Женя, — если я решу делать у них выставку, это будет мне стоить тысяч двадцать самое малое.

Город продолжал радовать и пугать. Он был еще в новогоднем облачении подстать вкусам госпожи губернаторши. Пышная разноцветная иллюминация мостов, страшноватая, какая-то настырная подсветка окон зданий на набережной, аляповатый Невский с той же подсветкой, с гирляндами, перекинутыми через улицу, с разукрашенными под терема ларьками по периметру Екатерининского сада, перечеркивали, убивали величие замысла создателей города.

Город походил на расфранченную кокотку, трясущую множеством нижних юбок. Это не был Петербург Пушкина, Гоголя, Блока, Андрея Белого. Он становился городом пришелицы со станции Шепетовка.

Ночью он всхрапывал во сне всем своим покореженным организмом.

Подготовка к выставке вышла на финишную прямую. Милейшая Аля из отдела живописи по просьбе Е. Д. согласилась стать ее куратором. В истерии этих дней она колотилась в музее, встречая на каждом шагу непонятные нестыковки, препятствия, непонимание. Огромная империя не хотела, а может, не могла прийти в слаженное движение.

— Я даже разрыдалась сегодня, — грустно прозвенел ее голос в телефонной трубке. Чувствовалось, что внутренние слезы еще не осушены.

Первоначально речь шла о выставке в корпусе Бенуа. Мы ходили с Еленой Фигуриной изучать три или четыре небольшие, с неудобной для экспозиции формой зала на втором этаже, где временами проходили выставки юбиляров. Но в переписке с Елизаветой выяснилось, что нам предоставляют удобные три зала в Мраморном дворце на Миллионной улице, где весной 1991 года уже была ретроспективная, самая представительная выставка Сашиных работ. Ее устраивала тогда директор Дягилевского центра искусствовед Татьяна Юрьева.

Женя Орлов, заваленный текущей работой на Пушкинской, никогда не спрашивал, нужна ли мне помощь. Он просто оказывал ее.

— Сегодня мы идем покупать пластик для упаковки работ, — объявил он серым утром, и мы повлеклись (уже не первый раз) в окрестные Лиговке улицы. Каждый раз выходя из ворот на Лиговку, мы обозревали хронически сидящего на подстилке бомжа. Правда, поздними вечерами его не было. Если пройти по Лиговке налево, к Невскому, взгляд омрачала коленопреклоненная фигура женщины, непрерывно отбивающей поклоны. Лицо ее было плотно завуалировано платком, оттуда через равные интервалы доносилось мычание, временами переходящее в рык. Случалось это, когда прохожие бросали монеты в стоящую рядом миску.

Женя, объявивший, что у него болит нога и он пойдет медленно, скаковым аллюром рассекал снежные завалы. Я пыхтела сзади. Иногда удавалось догнать его и считанные секунды пройти рядом.

— Женечка, а как же ты ходишь, когда у тебя нога не болит? — взмолилась я в отчаянии, когда мы подошли к магазину.

Бомж у ворот лениво глянул, когда мы шли обратно. Пакет, который волок Женя, был невероятно тяжел.

С тех пор как Пушкинская оформилась, наконец, в центр «Свободная культура» с музеем нон-конформистского искусства при нем, жизнь Евгения Орлова превратилась в служение.

Последние мои визиты в город я жила совсем рядом с его мастерской и наблюдала это с ближайшей дистанции.

Годы проскакивают в спешке и суете. Нежная верность Жени ушедшим друзьям, не желавшим толкаться локтями по дороге в вечность, любовь к их искусству освящают пространство Пушкинской. Не хочется и просто невозможно себе вообразить, что может там произойти, когда Евгений Орлов отойдет от руководства центром.

* * *

Выставка открылась в назначенный срок. Экспозицию с виртуозной легкостью сделала Е.Д. Увы, она не была на открытии выставки. Ей пришлось уехать по делам на Урал. Графические работы оформил соученик Саши по Мухе Николай Сычев.

Прекрасную речь произнес заведующий отделом живописи Владимир Алексеевич Леняшин. В ней прозвучала нота раскаяния в том, что в энные, то есть советские годы, музей не уделял внимания талантливым неофициальным художникам. Сожаление было искренним. Не знаю, так ли это, но ходили слухи, что за посещение выставок нонконформистов сотрудники музея просто увольнялись.

Когда Елена Фигурина вошла в основной выставочный зал, она расплакалась. Она очень любила Сашины работы.

— Я Сашу, в первую очередь, как святого воспринимаю, — утверждала она. Вечером она позвонила мне, и в голосе ее была подлинная патетика.

— На этом торжище, — рвался, звенел ее виолончельный голос, — на этом грязном рынке, в это торговое время, когда коллекционеры превратились в инвесторов, когда работы делаются на потребу, для рынка — вдруг явлена такая

чистота... такое очистительное дыхание настоящего мастерства... Ты это сделала...

Я улетела обратно через две недели после открытия выставки.

Забирать работы из музея пришлось несменяемому рыцарю — Евгению Орлову.

* * *

Я не могу сказать, что горжусь этой выставкой, хотя художники утверждали, что я совершила подвиг.

Музей даже не предоставил книгу отзывов, как это немедленно сделали полгода спустя в Музее истории города. Зрители жаловались на отсутствие информации. Небольшое количество печатных аннотаций к выставке разошлось мгновенно. Продажа альбома была запрещена замдиректора по науке, так как он не был издан в подконтрольном дирекции издательстве, находящемся в Италии. Видео, которое я получила с выставки уже после отъезда, показалось мне убийственным. В первом, самом представительном зале, экспозиция которого была блестяще продумана и исполнена Е.Д., появился большой рекламный щит — визитная карточка выставки, открывшейся в смежных залах. Он был водружен на уровне работы «Красное дерево» и своей поверхностью обращен к синему «Библейскому сюжету». То, что было на стенде, мне описать трудно — нечто темное и невнятное, агрессивно бьющее в глаза и находящееся в вопиющем противоречии с работами на стенах. Это было невинное орудие убийства всей экспозиции. Что им двигало — равнодушие или коммерция, установить не берусь.

И все же выставка состоялась.

2010 г.

PACIFIC

Во все века существовала система обмана художников. Иногда негодяи оказывались ни с чем. Чаще — торжествовали. Как сказано в Библии: зло расцветает под солнцем, как лавровое дерево.

Исчезновение работ художников по вине дельцов от искусства — одна из наиболее болезненных для них тем. В ситуациях «художник — продавец» позиция художника наиболее уязвима. Пропавшим работам несть числа. Исчезновение работы остро переживается ее создателем. Ведь картина почти всегда — выплеск души ее творца.

Эта история случилась с группой ленинградских художников в девяностых годах прошлого и закончилась в начале нового тысячелетия.Это беспрецедентная история, ибо она завершилась победой художников.

Все имена и фамилии, а также события и даты здесь подлинные[1].

Список художников, чьи работы незаконно удерживались в США, достаточно велик. Это:

Владислав Афоничев (скончался в 2012 году)
Рихард Васми (скончался в 1998 году)
Юрий Дышленко (скончался в 1995 году)
Александр Манусов (скончался в 1990 году)
Шолом Шварц (скончался в 1995 году)
Глеб Богомолов, живет в Петербурге
Анатолий Васильев, живет в Петербурге
Алексей Вермишев, живет в Петербурге
Марта Волкова, живет в Голландии
Валентин Герасименко, живет в Петербурге
Александр Гуревич, живет в Израиле

[1] В предисловии уже упоминалось, что имена автора и ее дочери заменены на близкие по звучанию.

Валентин Громов, живет в Петербурге
Сергей Ковальский, живет в Петербурге
Евгений Орлов, живет в Петербурге
Игорь Орлов, живет в Петербурге
Геннадий Устюгов, живет в Петербурге
Вячеслав Шевеленко, живет в Голландии
Владимир Шинкарев, живет в Петербурге
Елена Фигурина, живет в Петербурге

Во второй половине восьмидесятых годов уже прошлого века, с началом перестройки куча дельцов из заморских стран ринулась в Россию в надежде на прибыльный бизнес. Известные художники тоже оказались вовлеченными в его сферу. Открывались коммерческие галереи. Произведения искусства стали приравниваться к ходовым товарам.

Работники ленинградской таможни, вовремя сориентировавшись в ситуации, почувствовали неодолимое пристрастие к работам неофициальных, ранее презираемых художников. Был составлен список наиболее продаваемых мастеров, на вывоз работ которых накладывались немалые пошлины.

Антигерой данной истории — некто по имени Марк Мигдал, эмигрировавший из Советского Союза в конце семидесятых годов. В 1989 году, под предлогом выставки в университете Южной Калифорнии, он вывез из Ленинграда более двухсот работ художников. За ничтожную их часть он минимально расплатился с художниками, оставшиеся — огромный блок работ — делец отказывался возвращать.

Отбирать для выставки наиболее ценные работы Мигдалом была приглашена Селма Холо, директор галереи Фишер при университете южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, где в 1990 году и состоялась выставка ленинградских неофициальных художников под названием «Хранители огня».

В конце 1991 года мы с дочерью приехали в США с целью забрать и привезти обратно в Россию работы моего покойного мужа Александра Манусова.

Эмоционально все это было невероятно тяжело, так как Александр Манусов скончался незадолго до этого, в конце августа 1990 года.

Следующий ниже текст — художественное отображение действительных событий.

* * *

27 марта 1992 г.

Они мчались сквозь немыслимые калифорнийские пейзажи. В заднем окне старого трака, в потоке несущихся за ними машин гармонично меняли позиции зеленые гигантские холмы с фигурами пасущихся лошадей. Они с Ирочкой сидели на низкой скамеечке, и колени их стукались о подбородок. Трак[1] воинственно кряхтел, бряцал всеми проржавевшими частями, но не уступал в скорости облепившим его бьюикам, фордам и вольво. Музыка раздирала уши, и отчаянное громыхание трака казалось реализованным воплощением высокой и гордой мечты. В стерильности фривея они вторгались в последнюю часть триллера под названием «Роман с Мигдалом».

Они ехали в город Пало-Алто, где томились работы Александра Манусова, которые, по договоренности между адвокатом и человеком, незаконно их удерживающим, они должны были получить через два часа.

* * *

1989, октябрь

Бордовая машина марки «Вольво», как здесь говорят, brand new, мягко прошуршала под окнами. Из нее выпрыгнул невысокий человек и с ожиданием радости на лице прошествовал к двери крохотного домика, где мы обитали втроем: два Саши и я. Лицо его было похоже на фигу. Но не на ту немудрящую комбинацию из трех пальцев, которой балуются дети. И тем более не на милый фиолетовый плод южного дерева. Может быть, это был знаковый образ фиги, туманное предостережение и обещание грядущих гадостей. В лице этом была топорно закодирована такая необъятная шкала постыдных и подспудных эмоций, что временами на него становилось стыдно смотреть. Но в данный момент оно лучилось подлинным радушием.

[1] Трак — вид современного грузовичка.

— Привет, ребята, наконец-то я до вас добрался. И как вам наша Америчка? Впечатляет? Я для вас сегодня целую программу составил, покажу такие вещи, которые вам и не снились, — задушевно вел он партию. — Сначала повезу вас в японский ресторан, будем есть сырую рыбу и пить водку саке. Вы про эту водку ведь только в книгах читали. А потом рванем в город, увидите такие обалденные места, что в обморок упасть можно. Я сам уж сколько раз все это видел, а все равно обмираю, когда смотрю. Так что выдержка понадобится, поэтому начнем с ланча.

— Да нас уже ознакомили кое с чем, — сказал, явно испытывая дискомфорт и скрывая это мягкостью интонаций, Саша Гуревич.

— Ну, так то, небось, американы вас возили, а я свой, лучше знаю, чем нашего человека поразить, — сопротивлялся гость.

Это и был Марк Мигдал.

В нем сочеталось искреннее желание гида-дилетанта «образовать» приехавших дикарей с необходимостью быстрее урегулировать деловые контакты. Именно в этот день в тиши миниатюрного японского ресторана были подписаны два контракта между ним и художниками.

Таким было мое впечатление, когда я впервые увидела его в Милл Валли, стильной калифорнийской «деревушке». Мы с Сашей и Гуревичем жили тогда в маленьком домике Ирины Николас, художницы из первой волны русской эмиграции. Мигдал свил гнездо в не менее стильном и дорогущем месте, городке Пало-Альто, где он проживал с новой американской молодой женой Дианой.

Позже мы встретились еще пару раз. Не было в нем тогда негодяйской завершенности, не выкристаллизовалась еще манера виртуозного уползания и неожиданного змеиного броска, извилистых троп обмана. Он радостно демонстрировал нам чудеса Сан-Франциско, который и теперь чудится мне городом из арабских сказок с его переливами света, изломами рельефа и орнаментом постоянно меняющей цветовые оттенки воды. До сих пор мне думается, что это мистический нереальный город. Когда мы там жили, красоты его временами превышали порог восприятия и казались рафинадными.

Мигдал вывез кучу работ наших художников в 1989 году. Случилось так, что один из его приездов в Ленинград совпал с выставкой в Манеже 1988 года. Это была первая совместная выставка неофициальных художников и членов ЛОСХа. Резонанс, или, как теперь любят выражаться, пиар, был огромен: материалы в прессе, радио и телевидение. Мигдал посетил выставку и был осенен внезапной идеей обогатиться за счет художников. Он вознамерился вывезти как можно больше работ, представить их Западу с огромной помпой, а потом продавать, продавать... «Я же хотел разбогатеть», — делился он с нами в мирные времена, словно мы были его соратниками по жульническому бизнесу. Оказалось, мошенники тоже подвластны иллюзиям. Как позже говорил Рихард Васми, увидев Мигдала впервые, он в тот же миг понял, что перед ним жулик. Думаю, сомнений на тему личности дельца ни у кого не возникало. Но художники нуждались в продаже работ. Так более двухсот полотен оказались в США. И, как выяснилось, безо всякой надежды на возвращение.

* * *

Они въехали в Америку в конце 91-го года. Через Нью-Йорк. Встречал их здоровенный, с избытком живота, детина. На плакате, который он держал в руках, было намалевано: Альбина, Яна. Брат Барбары Хазард, близкой подруги Альбины, послал человека встретить ее и дочь и привезти к нему в дом. Стремясь сделать новичкам приятный сюрприз, он «заказал» русскоговорящего водилу.

— Садитесь, женщины, — басил смахивающий на кучера румяный мужичок-одессит. — Сейчас я по дороге покажу вам такие вещи, которые вы никогда в жизни не видели. Первое дело — магазины. Ох, какие здесь магазины. Нет в Америке такой вещи, которую нельзя было бы купить. Мой брат, он в отставке теперь, а был генерал, так вот, он приехал в гости, и я повез его по магазинам, и он где-то в третьем по счету прислонился к стене и рыдать начал. Что мы там видели, в Совке? И даже он, генерал? Вы же понимаете, на каком особом довольствии были генералы. Все равно только дулю все мы там видели, да и ту без масла. Ха-ха! — зычно

рокотнул он. — А ты, девочка, небось, уже проголодалась, — обратился он к Яне и полез в свою торбу. — Вот, бери яблоко, не стесняйся, подкрепись, у меня их полно. Бери, бери.

Перегнувшись назад, он протягивал ей пугающе огромный плод. В лице Яны явственно читались сомнения. Видимо, ей, как и Альбине, вспомнились бутафорские экспонаты из папье-маше в витринах магазинов «Фрукты. Овощи». Вежливо она взяла яблоко и положила на колени.

Добряк довез их до особняка Билла и, явственно ахнув при виде элегантного обиталища, вволок в дверь чемоданы. Все было оплачено заранее.

Визит этот состоялся благодаря стараниям друзей, обретенных в период нашей поездки в Америку с Сашей в 1989 году. Собственно, с визитом в сентябре этого года явились все художники группы «Алеф», члены которой, рассеявшись по миру, проживали к тому времени в Израиле, США, Италии и России. В городе Луисвилл, штат Кентукки, нашлась редкая личность, очаровательная Лорри Гэрон, организовавшая выставку группы еврейских художников в контексте фестиваля советского искусства. Это было значительным событием даже на гребне тогдашних перестроечных выплесков всего советского в американских городах.

По окончании громко прошедшей выставки два художника, Александр Манусов и Александр Гуревич (Sasha One and Sasha Two, как их немедленно обозначили), были приглашены в Калифорнию активисткой движения за права советских евреев Джиной Волдман.

* * *

Многие дивились количеству Сашиных друзей. Он сам часто недоумевал на тему людей, испытывающих к нему явную приязнь. Временами его это очень смущало и ввергало в какой-то нравственный тупик.

— Почему я всем нравлюсь? — говорил он с беспокойством. — Наверное, во мне есть что-то очень гнусное.

Количество его друзей в Америке неизмеримо умножалось. Многих из них мы с Аней получили в наследство. Это самое пре-

красное наследство, которое может обрести человек. А число его друзей не перестает возрастать и после его ухода.

Линда Страус, жительница Милл Валли, из тех женщин, которых здесь называют gorgeous. Стройная брюнетка с копной волос и бездонными глазами, она явилась к нам посланницей от синагоги Кол Шофар. Линда писала стихи, преподавала основы поэзии в школе, была матерью двух девочек-подростков. Ее муж Стив, архитектор по профессии, дружил со знаменитым в то время автором детективного романа «Парк Горького», Биллом Смитом. Позже мне пришлось осилить это произведение. Автора было искренне жаль. Как он старался описать злодеяния представителей КГБ и как часто оказывался в луже, исторгая из себя невероятные истории с трупами и погонями на территории парка, уснащенной скульптурами колхозниц с веслами в руках! Мы встретились с ним на обеде у Линды, где он засыпал обоих художников вопросами о жизни в Союзе. Позже был создан еще один роман, кажется, под названием «Полярная звезда». Имя Билла Смита еще известно в Америке, и при его упоминании многие американцы почтительно дивятся самому факту нашего знакомства. Совсем недавно он выпустил еще один роман под названием «Призрак Сталина». Это на тему нынешней России. Но карточный домик его популярности рухнул уже давно.

Именно Линда помогла нам с вызовом на выставку Сашиных работ и визами, именно она выбила из членов синагоги Кол Шофар обещание приютить нас на какой-то срок в их супермодных и не очень жилищах.

* * *

2 декабря 1992 г.

Он сразу открылся и был именно тот, которого и ждали. Берег песчаный, мягко холмистый. Волны полны сдержанной силы, и сублимация ее, как показалось, в пене. Она такая белокипенная, стойкая и густая, как сметана. На пути попадались выброшенные приливом водоросли — могучие знаки мощного океанского тела. Они словно из пластика, искусственные на вид, не сломать, не согнуть. Во всю неподвластную глазу дугу горизонта океанский механизм исправно

работал, нанизывая волны одна на другую. Вода темно-синяя, а волны на изломе ясно-зеленоватые, и над этим изумрудом белое кипение пены, как взбитые белки. Гигантские чайки пронеслись лениво над головой, что-то произнося близкое по интонации чайкам на санкт-петербургских помойках, однако не столь сварливо, а крохотные птички на берегу шустро убегали от пены и тут же поворачивали вспять. Кроме нас это были единственные живые существа на огромном пространстве побережья.

— Когда меня совсем берет тоска по языку, — говорила привезшая нас сюда женщина, — я еду на океан и провожу здесь весь день. Я слушаю шум океана, и мне кажется, что это русская речь. У него шершавый язык, много шорохов, ш-ш-ш, и я успокаиваюсь. Я ведь здесь не потому, что хотела остаться. Я ничего не планировала и не планирую с тех пор, как при родах умер мой ребенок. Я тогда составила расписание на десять лет вперед, все накупила, пеленки, игрушки, чуть ли не школьные учебники...

В глазах ее стояли привычные слезы, и ничто не шло на этом фоне в голову, чтобы утешить.

А фон стал меняться с быстротой театральной декорации. Безмятежная облачная гряда слева на горизонте стала набухать спелостью готового прорваться нарыва, набухать и расширяться. Эта спелость поползла в нашу сторону, и океан из мирно резвящегося гиганта стал перевоплощаться на глазах в зловещее, серо-седое, грозное, клубящееся Нечто. Воздух приобрел оттенок грязного перламутра, над всей необъятностью воды он стал физически ощутим, все оттенки пепельного, серого, дымного, молочного смешались в одно и паром повисли над почти невидимой в этом фантоме красок водой.

Океан словно явил нам себя, играя с нами, как с букашками, ползущими вдоль его необъятного тела. И не было этому ни конца, ни начала.

А когда выехали на извилистую дорогу и побежали по обе стороны машины аккуратные коттеджи, невиданные черные коровы, даже ламы, светлые и коричневые, игрушечные домики, набитые мебелью и продуктами, безмятежные собаки, переходящие дорогу в сомнамбулическом состоянии, подумалось: неужели там, совсем рядом, вечно живущее, упругое Нечто? И чувствуют ли они его, когда жмут на педали

в своих автомобилях, сидят в многоэтажных офисах, вкушают lunch, brunch и dinner?

1992 г., декабрь

Им почудилось после долгого пути в темноте, что дом возник внезапно. Подъездная аллея была обставлена низко светящимися фонарями, и дом казался невероятно высоким и пугающе роскошным. В оконце третьего этажа забелело угрюмое девичье лицо.

Они, четверо, вышли из машины и дугообразной каменной лестницей прошли к главному входу. Дверь распахнулась. Четверо же людей стояли вплотную к ним: женщина, мужчина и двое тинейджеров, девочка и мальчик. В настроении группы прочитывалась спокойная настороженность. Женщина, словно только что решив что-то важное для себя, нажала какую-то внутреннюю кнопку, и ее лицо с несколько лошадиным овалом вспыхнуло улыбкой, испугавшей своей неожиданностью: уголки ее губ вдруг подпрыгнули до ушей, обнажив великолепный ряд зубов, и тут же сомкнулись в прежней позиции.

— Это огромное удовольствие для нас — видеть вас в этом доме, — произнесла она. — Сейчас я покажу вам помещение, где вы будете жить.

Они прошли вниз по короткой лестнице, ввергающей их в мрачноватый зал с рядом окон под жалюзи, повернули налево, где Линда и Стив Страус, привезшие их, слегка недоумевая, разглядывали прямоугольник комнаты с низким потолком, широкой короткой кроватью и телевизором напротив. Душ и туалет крохотных параметров располагались сразу при входе, в узком предбаннике, друг против друга.

— Excellent, wonderful, — сказали они механические слова.

— Так вам здесь нравится? — восхитилась хозяйка с нежным сиянием на лице. — Я счастлива слышать это. Располагайтесь, пожалуйста. Будьте как дома. Если вы хотите присоединиться к нам за обедом, мы будем очень рады. Обед будет через полчаса.

— Ну что, мамочка, недурное местечко, — сказала Яна, когда они оказались одни. — А ты, помнится, говорила, что

Сан-Рафаэль — сплошной фривей в окружении супермаркетов и харчевен, где изготовляют пиццу.

— Проруха на меня случилась, зайка, — отвечала она. — В прошлый визит нам никто не демонстрировал здешние особняки.

И зачем-то добавила: «Особняком стоящие».

Это был третий день их пребывания в Америке и начало второго тома любви Альбины к этой стране. Это была добровольная и необходимая Голгофа, как считала Альбина, прилетевшая сюда через два года после радужного визита с мужем, художником Александром Манусовым. Через год после этой поездки он умер.

В Калифорнии они приземлились в три часа утра. Они летели через Лас-Вегас в Окленд, взирая на ласковую черноту внизу, периодически вспарываемую огнями спящих городков. Они переночевали в Беркли у встретившей их Барбары Хазард, давно переставшей быть американкой в их понимании не только потому, что она говорила по-русски, но и из-за ее фантастического внедрения в российское бытие. Утром они вдоволь налюбовались двумя серыми, размером с кролика, белками, нагло расхаживавшими по Барбариному саду, побеседовали с прибежавшим Яниным сокурсником Женей Берштейном, бесспорным представителем когорты тартусских гениев, учившимся теперь в Берклийском университете, пообедали, стараясь не выказать изумления ассортиментом блюд на столе и, наконец, услышав спокойное торможение машины у дома, в окно увидели выходящую из машины красавицу Линду с ее незабываемой черной массой волос, в пестрой индийской юбке и неброском дорогом жакете. Невысокий, прямоугольный в силуэте ее муж Стив смотрелся возле нее очень уютно. Их лица выражали почти религиозную готовность к действию.

— Меня очень радует, Альбина, что ты выглядишь такой спокойной. Признаться, я этого не ожидал и где-то боялся этой встречи, — сказал Стив, обнимая ее.

— Мы сейчас обсудим наши планы и ситуацию с Гуревичем, — сказала Линда со своей прелестной улыбкой. — Мы

хотим сегодня же отвезти вас к очень хорошим людям, где вы будете жить.

По дороге Стив, растопырив свободную от вождения левую ладонь, демонстрировал с помощью пальцев и той же ладони расположение городков в Bay Area, и все это маленькое действо абсолютно соответствовало безукоризненности фривея и ликованию зелени за окном машины.

— У нас есть еще немного времени, мы можем, если хотите, заехать выпить кофе в книжном магазине, — произнесла Линда своим до детскости ясным голоском.

Стараясь всем своим существом изобразить привычность к кофепитию в книжном магазине, Альбина с дочерью прошествовали сквозь уют небольшого помещения и сели за столик у стены.

— Сейчас я введу вас в курс наших дел, — сказала Линда, вынимая неведомо как оказавшуюся в ее хрупкой сумочке солидную папку. — Вы уже знаете, что приглашены синагогой Кол Шофар. Здесь у меня список некоторых ее членов, к кому я обращалась с просьбой оказать вам содействие в вашем здесь проживании.

Она вынула несколько листов, оказавшихся списком примерно из трех десятков фамилий, как-то очень вкусно вынула ручку и проставила ряд птичек против четырех-пяти.

— Сначала люди, которые предложили свое гостеприимство. Это Шэфферы, потом Робинсоны. Берни Робинсон, он ребе, он замечательный, и его жена Йетта, тоже очень милая. У них гениальный сын, в двадцать семь лет он написал научную книгу о Вьетнаме и Камбодже. Так вот, у Робинсонов, — произнесла Линда таким тоном, словно дегустировала какой-то вкусовой раритет, мечту гурмана, — вы сможете прожить целую неделю, а потом они собираются поехать в Израиль навестить сыновей.

Карандаш продолжал порхать по списку.

— А вот писательница Сара Раффнер. Вам, особенно тебе, Альбина, доставит большое удовольствие с ней пообщаться. Ей 82 года, но она в прекрасной форме и приглашает вас на прогулку по Милл Валли и, может быть, на ланч.

— А теперь дошла очередь до моего друга Рико, он замечательный, обаятельный человек и предлагает вам помочь

с машиной, правда, не очень часто. Он очень взволнован вашим приездом, впрочем, как и многие из нас.

— Ну, теперь я чувствую, пора выпить по чашечке кофе, — с улыбкой вмешался Стив, улыбкой же приглашая официантку принять заказ.

* * *

Трапезы у Шэфферов носили ритуальный характер. На длинном овале стола из оргстекла упреком оставленному в России быту смотрелись темной керамики тарелки, элегантность которых подпирали плетеные желтые салфетки. Бокалы для сока, стаканы для молока и воды строго дифференцировались по назначению. На краях овала, друг против друга, сидели хозяйка и ее муж, Джуди и Мартин, дети на одной из длинных сторон, Альбина с Яной напротив. Очень значимо Джуди разливала суп, всегда приготовленный ею и всегда очень вкусный, и передавала тарелки по кругу. Светским тоном она задавала вопросы о жизни в России. С недонесенной до рта ложкой Яна пространно отвечала на них. Вопросы касались меню, смены времен года, досуга российских подростков. Ее родители, как неоднократно подчеркивала Джуди, детьми были вывезены из России, и теперь ее мать, которая проживает с мужем во Флориде, «очень заинтересована вашим здесь пребыванием». Дети обычно помалкивали: эмалевые глаза девочки были холодны, ресницы мальчика вспархивали заботливыми мотыльками вокруг вопрошающей сини его глаз.

* * *

Я не помню, кто нес твой гроб. Помню Веню Лукина с его огромной ассирийской черной бородой, Женю Тыкоцкого, Валентина Герасименко. Дорога направляла движение, указывала повороты. Я шла сразу за тобой. Каждая секунда вкладывалась в бесконечность. Ты был, как всегда, красив и спокоен, когда твою самую тесную квартиру поставили на землю, когда зазвучал «Магнификат» Вивальди.

Последний год традицией стали смешные наши диалоги. Мои попытки отнять у тебя очередную беломорину сопровождались выспренным: «Ты хочешь оставить молодую и богатую вдову?» Этот знаковый набор из мелодрамы необычайно смешил обоих, поскольку ни один из эпитетов не совпадал с реальностью. Лишь один раз допустив себя до эмоций, я спросила: «Ты знаешь, что со мной будет?» Ты ответил веско, тоном, после которого возражения были невыговариваемы: «Нет, Осиповна, вы сначала должны меня похоронить... Есть такая музыка — „Магнификат“ Вивальди... Ох, какая это музыка... Ты врубишь ее на полную катушку и чтобы никаких соплей!»

* * *

— Как вы познакомились с Линдой Страус? — спросила Джуди, передавая по столу традиционный салат и, как всегда за обедом исполняя сразу две роли, — солиста и дирижера.

— Мы встретили Линду два года назад, когда я была здесь с мужем, — ответила Альбина, удовлетворенная тем, что ухитрилась состряпать фразу.

— Так вы были в Америке два года назад? — последовал вопрос.

Дети заметно скучали. Девочка с непроницаемым выражением лица цедила суп, мальчик, страдальчески хмурясь, кивком головы отвергал блюдо с салатом. Удивительной мягкостью он походил на отца, который временами смотрелся его старшим братом. У Мартина была мастерская на гостевом, нижнем уровне дома. А самым низким уровнем участка являлся бассейн, где с целью очистки постоянно крутилась и плевалась водой какая-то кишка, местный Несси, как им казалось. Проходя изредка через помещение, где была «кухонька» с холодильником, и натыкаясь на кого-либо из женщин, Мартин неизменно с испугом произносил: «Excuse me!»

— Мама была здесь с мужем, моим приемным отцом, два года назад в штате Кентукки, где была организована выставка группы «Алеф». В нее входили одиннадцать еврейских художников, живших двенадцать лет назад в Ленинграде. Сейчас четверо из них живут в Израиле, один в Италии, один в Сан-Франциско, это замечательный художник, его зовут

Алек Рапопорт, и трое в Петербурге, — терпеливо поясняла Яна.

— А как вы попали в Калифорнию? — спросила Джуди, все больше разматывая клубок Ариадны.

— Нас пригласила Джина Волдман, — сказала Альбина и добавила, обращаясь к дочери по-русски: — Поскольку упомянутая дама заслуживает отдельного романа, пожалуйста, не углубляй дискуссию, тем более, что они подруги.

— О, Джина Волдман! Она очень милая, — воскликнула хозяйка.

— Неужели в богатейшем английском языке для характеристики особы с достоинствами существует лишь один стереотип — nice? Или это говорится со скидкой на мой топорный английский? — тосковала Альбина. — Но ведь Яна знает язык более, чем прилично, они сами это утверждают, так в чем же дело?

— Джина Волдман звонила мне, — сказала Джуди, пытливо заглядывая ей в глаза. — Она была очень расстроена, узнав, что вы приехали и не позвонили ей.

— Я собиралась позвонить ей позже, — сказала Альбина.

* * *

Джина Волдман стояла у истоков группы «Алеф», искусственно возникшей в связи с желанием ряда художников, поимев в Союзе политический капитал, облегчить себе исход на Запад. Именно она предложила удачное название группе, именно она, занимаясь правами советских евреев, создала рекламу этому объединению и смогла осуществить первую выставку «Алеф» в Америке. Крестная мать этой сразу зазвучавшей на Западе группировки, она была наделена неистовым темпераментом. Как уроженка Ливии, она была хорошо осведомлена, что такое антисемитизм. Работа в американском посольстве переводчицей помогла ей вывезти семью из страны, спасти родных от неминуемой гибели. Выйдя замуж за американца Дэна Волдмана и родив двух сыновей, она без оглядки ринулась в океан политических игрищ. И было в ней какое-то несочетаемое единение элементарной бабьей доброты и страстной тяги к оглашению своих политических подвигов. К первому без колебаний надо

было причислить ее усилия по доставке клапана для Сашиной операции, что она блистательно проделала в стиле Sturm und Drang, ко второму — хроническую потребность в паблисити и немедленном обнародовании своих подвигов. Темноволосая, с оливковым цветом кожи и влажными карими глазами, она излучала нервозность матери, пестующей неразумного дитятю. Было в ней нечто и от квохтающей несушки, без передышки погоняющей очередной выводок.

Она была одержима правами евреев, в то время советских, а к моменту, когда пишутся эти строки, евреев с африканского континента. Временами эту одержимость зашкаливало выше номинала, и подопечные не чаяли, как вырваться из экстатического облака ее служения.

Разочаровавшись в очередном персонаже, она мгновенно о нем забывала. И разжатые ею объятия еще долго ассоциировались у отвергнутых избранников с разомкнутыми клешнями.

* * *

Группа людей с бокалами в руках и выражением телячьего восторга на лицах расположилась на веранде дома, нависающей над ошеломительной синью воды. Где-то вдали на этой сини мельтешат силуэты яхт и катеров. Среди позирующих для газеты персонажей — сама Джина с мужем, улыбка ее до точности отработана, мы с Сашей, Саша Гуревич, Алек Рапопорт, как-то тягостно держащий свой бокал, неизвестных лет мужчина с обветренным лицом прожженного политика и журналистка, корреспондент газеты, жесткое, изъеденное вечной борьбой лицо которой намертво приклеенная механическая улыбка делала еще более устрашающим.

Фотография сделана на приеме, который Джина Волдман устроила по случаю приезда подзащитных художников из Советского Союза. На прием был приглашен вице-губернатор штата Калифорния, друзья Джины «с положением» и несколько журналистов.

Мы только что прибыли из Луисвилла, штат Кентукки, где были носимы на руках и, живя в первоклассном отеле с его улыбчивой прислугой, шведскими завтраками, каждоднев-

ной уборкой огромного номера и постоянными приемами вплоть до губернаторских, ухитрились за две недели порядком избаловаться.

У Джины Саша Гуревич спал в гостиной на кожаном диване и почему-то без постельного белья. Каждое утро, в семь часов, влетал младший отпрыск и тыкал пальцами в расстроенное пианино. Я спала в пристройке на коротком топчане, а Саша рядом в спальнике на полу. Пристройка была забита ящиками с вином и консервными банками. Джина ждала приема, ради которого нас, собственно, и пригласила.

Нам была подарена фотография, почти идентичная описанной. Только там, на той же веранде и за тем же столом, с бокалами в руках сидели, спокойно улыбаясь, Андрей Дмитриевич Сахаров и Елена Георгиевна Боннер.

Вскармливая нас «американскими» завтраками, состоящими из круп, куда приходилось заливать молоко, и которые Гуревич сразу окрестил комбикормом, Джина в центр стола ставила баночку с плавленым сыром, в который здешние ветеринары рекомендуют прятать лекарства, выдаваемые собакам.

— Это любимый сыр Елены Боннер, — радостно вещала она по утрам.

— Любимый, потому что единственный? — съехидничал как-то Саша Гуревич, намазывая на тост белую массу.

Джина была неуравновешенна и слезлива. Видимо, что-то не реализовалось в жизни обеспеченной матери семейства. Может быть, что-то из детства. Она любила изобретать мелкие интриги, размазывать и лелеять обиды. Одна из ее добровольных помощниц, Сюзен Линденбаум, как-то с изумлением сказала мне, что была потрясена Джиной, когда та, сидя с нами в машине, говорила про нас троих какие-то гадости. С нашим знанием английского она вполне могла себе это позволить.

Воспользовавшись временным переездом в домик художницы Ирины Николас, когда нас попросили поухаживать за собаками в отсутствие хозяев, мы сделали все возможное, чтобы уже не вернуться в золоченую клетку дома на заливе.

* * *

Примерно через неделю Джуди сообщила о появлении еще одного благодетеля, желающего пригласить их на жительство. Это был преуспевающий врач-офтальмолог, хирург по специальности, Сэм Гэлберт. Жил он в Милл Валли, что само по себе казалось очень притягательным. Сэм появился уже на следующий день. Он сидел в гостиной у Джуди и, несмотря на дорогостоящий костюм, почему-то напоминал недоросля розоватостью кожи и пухлым ртом. Жена его, хорошенькая Ми-Ми, китаянка, родившаяся в Америке, не знала ни одного слова по-китайски. «Я, как тростник, выращенный без воды», — сокрушалась она, не осознавая, что один лишь этот образ говорит о ее сопричастности к великой нации.

Как и у Шэфферов, темноватое гостевое помещение затаилось глубоко в недрах дома. Точно так же там находилась объемистая кровать, рядом туалет с душем. Холодильник отсутствовал, зато поблизости, в подсобном помещении, располагалась спортивная секция, где по субботам хозяин дома, облачившись в шорты, что опять-таки подчеркивало его сходство с недозрелым подростком, крутил педали, уставясь в гигантский экран телевизора. На улице сияло солнце, изумительно легко дышалось, и гостьи никак не могли понять смысл накручивания педалей в закупоренном помещении.

Расположенный в шикарном месте домик казался картонным. Каждый клозетный всплеск на втором этаже победно оповещал о себе внизу.

Челси, годовалую дочку Сэма и Ми-Ми, пестовала Вивиана, небольшого роста перуанка со скуластым, смуглым лицом. Она приехала сюда на заработки, оставив на родине троих детей, один из которых был еще в пеленках. Муж ее занимал административную должность на телевидении, но жить семье было не на что.

Вкладывая всю душу в чужого ребенка, Вивиана ощутимо тосковала по своим малышам.

— Я каждую минуту думаю о детях. Но еще и о деньгах, — говорила она, сидя на полу и зорко следя за Челси, ползающей вокруг. — Масса моих друзей в Перу не имеет

никакой одежды, дети не могу есть три раза в день. Я улыбаюсь, а в голове все время стучит: деньги, деньги, деньги. Мой муж профессионал, он один из директоров на телевидении, он получает 1 000 солей в месяц, и нам этого совершенно не хватает. Это много для Перу. Но обычные люди получают только сто пятьдесят, — нарисовала она в воздухе цифры. А мы средний класс. У них здесь собаки ездят в автомобилях. Por qué? (Почему?) Ее внезапная светлая улыбка смягчала горечь сказанного.

* * *

В первый же вечер за обедом Сэм, несколько изумленный тем, что гостьи оказались вегетарианками, доверил им тайну своего внезапного гостеприимства.

— Я решил открыть галерею и представлять в ней работы русских художников, — вдохновенно вещал он под зорким взором супруги. — Русские художники сейчас очень популярны. Я устал от своей врачебной практики. Если дела пойдут хорошо, я брошу работу и займусь только искусством. Вы поживете у нас и сможете рассказывать русским художникам, что я порядочный человек. И что они могут доверить мне свои работы.

Он глотнул воды и продолжил:

— Мы были с Ми-Ми этим летом в Петербурге. И мне там рекомендовали некоторых перспективных художников. Позже я покажу вам то, что мы привезли, — значительно завершил он.

— Вы, наверное, раньше занимались искусством, изучали его? — спросила Альбина, заприметившая две книги о русских художниках, торжественно выложенные на журнальный столик. Ответа не последовало. В доме, обставленном явно дорогой мебелью, доминировал шкаф в гостиной. Он был сделан из какого-то экзотического дерева, и все подводимые к нему гости почтительно осведомлялись о цене и породе дерева.

* * *

Во время краткого проживания у Джины Волдман тоскующий по семье Гуревич пытался рисовать в гараже. Живопись для носителей таланта означала не только улучшение материального положения в случае продажи работы. Это было еще и физиологическим выплеском духовной жизни. Художник питался своим искусством. Каждое прикосновение к кисти давало ему ту же силу, которую черпал герой греческих мифов Антей, прикасаясь к земле.

Долговязый, с хронически поникшим носом Гуревич топтался возле мольберта, черпая эту самую силу, а младший сын Джины, шестилетний Ной, наблюдал за процессом созидания. Каждый день он снижал пафосность момента вопросом: «How much?»

* * *

Узнав о наличии поблизости Мигдала с его обилием работ русских художников, Сэм немедленно впал в экстатическое состояние.

— Пригласите его сюда, и мы ознакомимся с ситуацией. Может быть, я смогу недорого приобрести у этого человека некоторые картины. Я присматриваю помещение в городе для галереи, мы уже придумали ей название. Это будет Ducessa Fine Art, — радовался эскулап.

Марк явился моментально, опять на «Вольво», но теперь бежевом, и снова brand new.

Он был само сострадание.

— Я так переживал, что Саша умер, — плавно выговаривал он. — Ты знаешь, у меня есть кассеты, которые я записал в Ленинграде, когда встречался с художниками. Это когда приезжала Селма Холо со своим женихом. Я тебе их дам, там много Саши, он же так нам помог... Селма его постоянно вспоминает... Ты, если хочешь, можешь их переписать.

Выпуклые глаза на круглом лице подернулись влагой. В интонациях голоса была смесь поющей украинской мови и щеголеватой сухости английского прононса.

Сейчас мне кажется, что Селма Холо того времени очень напоминала ворону, скорее, даже ворона, в момент, когда в молодом существе еще только просматриваются пугающие черты будущего стервятника. Она была директором галереи Фишер в музее Южной Калифорнии, где начался первый тур выставки «Хранители огня».

Может быть, я несправедлива. Это была вполне цивилизованная, тщательно одетая, с копной черных волос дама лет сорока пяти. Она приехала с женихом, Фредом Кротоном, писателем, как было проставлено в каталоге под его дословным пересказом классической саги Сергея Ковальского о квартирной выставке на Бронницкой улице. Билеты и проживание в гостинице были оплачены Мигдалом. Когда я вспоминаю просмотренные видеокассеты, где она серьезно задает художникам глупые вопросы и напыщенно трактует их работы, хочется поскорее избавиться от этого видения.

Но и сама она в какой-то мере оказалась жертвой исконной американской доверчивости. А что касается наших художников, то, не избалованные доселе вниманием западных искусствоведов, они впали в мгновенную эйфорию и вручили Мигдалу все, на чем остановился ее взгляд. А также и его.

* * *

Ми-Ми, супруга Сэма, потеряла работу, что означало бы катастрофу, не будь она замужем за преуспевающим врачом. И даже при этом оба наглядно переживали, стараясь добиться пересмотра решения.

— Мы хотим с Сэмом доказать, — говорила Ми-Ми за чашкой кофе, — что это дискриминация по национальному признаку. Значительный процент уволенных из нашей фирмы — выходцы из Азии.

Ее гладкое с матовой кожей лицо казалось бледнее обычного. Неутоленная энергия полыхала в ней, и часть ее шла на дидактически-пропагандистские поучения Яне.

— Ты должна понимать, — говорила она своим виолончельным умиротворяющим голосом, — что Америка дает массу возможностей. Здесь ты можешь стать всем, чем захо-

чешь. Но ты должна и вести себя соответственно. Понимать, что, когда ты выходишь из дома, ты уже на сцене.

— Я не могу стать всем, чем захочу, — упиралась Яна, — я не могу быть президентом, например.

— А зачем так высоко? Ты хорошенькая и к тому же умная, ты можешь добиться больше, чем другие. Но для этого ты должна стремиться к этому, а главное, быть уверенной, что ты всего добьешься, что ты все можешь.

Она излагала убогую жизненно-бытовую философию, лексикон мещанских истин, как книгу Экклезиаста, как сонеты Шекспира и поэму Данте. Очень красиво жестикулируя и добавляя голоса.

* * *

Дом Сэма не был пугающе роскошным, как у Шэфферов. Только что купленный, он состоял из двух уровней, и хозяева активно его перестраивали. Каждый день с раннего утра во дворе копошились фигурки рабочих, строящих бассейн. В дом они не заходили. Биотуалет, приобретенный для них брезгливым Сэмом, аккуратной пагодой высился на кособокой извилистой улице.

В первый же вечер гостьи были проведены по всему фронту совершающихся метаморфоз. В хозяйской части дома их потрясли два обширных туалета, расположенных друг против друга. Сверкающее изобилие сантехники дополняли телефонные аппараты, размещенные на стене рядом с тронными местами.

В одной из комнат стояли прислоненные к стене работы на подрамниках.

— Это то, что я вам обещал показать, — оживился хозяин.

Среди картин была работа Евгения Ухналева, художника старшего поколения. Его сумрачные, тщательно выписанные холсты всегда служили предметом интереса посетителей выставок. Выбирая одну из реалий советского быта, он живописной проработкой доводил ее до звучащего символа эпохи. Альбине навсегда запомнилась работа под названием «И так всю жизнь», выставленная когда-то во Дворце молодежи. Немытое окно явно коммунальной квартиры, где

зимой за отсутствием холодильников между рамами сохранялись в огромных банках и ведрах заготовки на зиму: грибы, огурцы, компоты — навевало беспросветную тоску и говорило о состоянии общества больше, чем фрондистские разговоры на кухнях и чтение самиздатовской литературы.

— Мне его рекомендовали как очень перспективного художника, — поделился Сэм. — Вам нравится? А еще я очень хочу купить Гуревича. Он весьма популярен. Я знаю, что вы с ним дружите, Альбина, я так надеюсь, что вы поговорите с ним обо мне, не так ли?

Тусклые искорки надежды плескались в его глазах. Он редко позволял себе избыток эмоций. Даже неутоленная страсть к жене тлела в нем приглушенным огоньком газовой горелки[1].

* * *

Соло кларнета на фоне саксофонов джазовые музыканты красиво называют «кристалл». Оно звучит щемящим откровением, камертоном к огорчительной реальности.

Однажды всесильная Ника Щербакова, хозяйка московского салона, где бывали иностранцы, покупающие работы неофициальных художников, посетила Ленинград. Наш друг, московский поэт, бывающий в этом, с душком, салоне, обрадо-

[1] Триптих Евгения Ухналева «Вагон» позже был продан за умеренную цену на выставке художника, организованной Сэмом в собственном доме. Это произошло через пару лет после описываемых событий. Супружеская чета Ухналевых приехала в США по приглашению Сэма, который снял для них микроскопическую квартиру в Сан-Франциско. Он также оплатил их авиабилеты и загрузил в холодильник некоторое количество еды. Уже в Петербурге Наташа показала мне «документ», составленный, скорее всего, супругой Сэма Ми-Ми. Это был пик человеческой скаредности, пароксизм каких-то особых желез внутренней секреции, выделяющих субстанцию жадности. После суммы, полученной за проданную работу, следовала финансовая экзекуция художника: из стоимости работы, естественно, вычиталась цена авиабилетов, арендная плата за квартиру, немалый процент, полагающийся Сэму с продажи работы, а также стоимость продуктов в холодильнике. Как говорила мне изумленная Наташа, к их приезду там лежал хлеб, по одному пакету молока и сока, кусок сыра, стоивший, насколько я помню, около семи долларов, и еще какие-то мелочи. В результате художник получил наличными около семидесяти долларов. Для «точности» были прибавлены микроскопические центы.

вался возможности познакомить ее с Сашей. Договорились на определенный день. Ника не смогла прийти именно в этот день и назначила другой.

— Мне очень жаль, — сказал ей Саша по телефону, — но я не смогу с Вами встретиться. По воскресеньям приезжает моя ученица из Ломоносова. У нее нет телефона, и я не смогу ее предупредить. Она тратит на дорогу много времени.

Ника возмутилась.

— Этот Манусов, он набивает себе цену. Из-за какой-то школьницы он отказывается от возможности продавать работы иностранцам. Он просто хитрит! — негодовала она.

— Я пытался ее уверить, что у Саши не бывает никаких задних мыслей, что он именно такой и есть, — сокрушался приятель. — Но в эту голову кроме ее личной концепции мира как сплошного рынка вбить ничего нельзя.

* * *

— Марк, — спросила Альбина, — ты помнишь мою просьбу сразу после Сашиной смерти — не продавать его работы? Тебе ведь писали об этом художники?

— Конечно, — проникновенно отвечал Марк, обратив на нее скорбный взгляд. — Я отлично это помню и понимаю, что ты сейчас не силах с ними расстаться. Не волнуйся. Я их не собираюсь никому продавать. А ты попробуй еще этот салат из креветок, его Диана сама приготовила.

Они приехали с Сэмом и Ми-Ми, а также Челси в Пало-Алто на обед к Мигдалу. Домик был небольшим и тесно, под потолок, забит знакомыми Альбине работами. Здесь висели Шварц, Васми, Арефьев, Шинкарев, Фигурина, Гуревич. Стен явно не хватало. В интерьере темноватого низкого домика картины выглядели растерявшимися.

— Это добавочные работы, которые я взял у ребят помимо выставочных, — пояснял Марк. — Ведь хочется помочь людям, им очень тяжело выживать, я это понял. Они просили продать работы. И еще, — добавил он журчания в голос, — многие из них подарили мне по работе. Чтобы компенсировать мои огромные расходы, — подытожил он.

Contribute — прозвучало это по-английски, ибо адресатом речи был потенциальный покупатель Сэм, пытающийся в данный момент всунуть прыгающей у него на коленях Челси ложечку супа. — Выставка кончится в феврале, неделя осталась, тогда я сразу привезу тебе работы.

Обратный путь в темноте занял немного больше часа, хотя расстояние между Милл Валли и Пало-Алто значительное. Лицо Сэма, когда вышли на фривей, выразило крайнюю степень концентрации. Ми-Ми, сидящая рядом с ним, тоже посерьезнела. И было от чего. Скорость, врубленная водителем на почти пустом шоссе, равнялась космической. Альбина с Яной напряженно смотрели в окно, и лишь Челси безмятежно посапывала в своем комфортабельном сидении.

* * *

1989 г.

Однажды в домике Ирины Николас в Милл Валли собрались несколько человек. Беседа шла непринужденно и постепенно вырулила на тему курения. Взоры присутствующих не обратились на Сашу: всем уже было известно, что он перенес операцию на сердце и не в силах расстаться с табачным дымом. Один из гостей, впервые появившийся в домике мужчина средних лет, рассказал:

— Я курил с подросткового возраста по две пачки в день. И никогда не собирался бросать, тем более что со здоровьем было все в порядке. И вот однажды в супермаркете я увидел мужчину, у которого в горло была вставлена трубка. То есть у него была операция, и он жил с этим неприятным добавлением в организме. Получилось так, что мы в одно время вышли с ним из магазина. И тут я увидел, что этот человек торопливо достает сигарету, чиркает зажигалкой и быстро, жадно, так нетерпеливо вставляет эту сигарету в отверстие у себя в горле и затягивается. Что-то во мне содрогнулось, — сказал он, и на лице его возникло отражение того давнего потрясения, — я вынул свои сигареты, тут же отнес их в мусорный ящик и с тех пор не испытываю никакого желания курить.

— А я, — подхватил эстафетную палочку Артур Хофман, сухощавый врач-психиатр, эксцентричный забавный человек, готовая иллюстрация к расхожему мнению, что все психиатры немного с приветом, — я тоже курил, не переставая, и тоже не имел намерения это удовольствие прекращать. Как-то, во время глубокой медитации, я вышел из своего тела и посмотрел сверху на то, что творится у меня внутри. И это все оказалось настолько страшным, там все было совершенно черное, все мои дорогие внутренности. Это было невыносимо противно. С тех пор я не выкурил ни одной сигареты.

Ирина Николас нежно посмотрела на Сашу и сказала своим чистым певучим голосом:

— Саша, вы должны беречь себя. Вам не надо курить. Вы — художник, а художник — это душа мира.

Она сама начала рисовать не так давно. Ее милые примитивные картинки пользовались скромным успехом. В основном это были образы животных, вовлеченных в сказочный сюжет. Локальный цвет, простая композиция и сугубо мажорная тональность действовали психотерапевтически. Как и автор. Родившаяся в Харбине Ирина была невысокой сероглазой женщиной без намека на макияж, с улыбкой невероятного простосердечия и доброты.

— Он сделает мазок, отойдет, посмотрит на работу, прищурится, а потом закурит и сядет на стул обозреть результат, — говорил Саша Бихтер, сосед Саши Манусова по мастерской, чем-то неуловимо смахивающий на него. Бихтер всегда говорил с мягкими ироничными интонациями, словно посмеиваясь то ли над собой, то ли над жизнью. — Это у него такой ритуал был. Отменить его для Саши — все равно что отказаться от живописи вообще.

* * *

Родители Сэма, низкорослые мужчина и женщина с вечно виноватыми улыбками, нечасто появлялись в доме сына. Они были Holocaust survivors, как называют здесь людей, переживших Холокост. Сэм был у них поздним единственным ребенком.

Непрошеная параллель с другой парой из той же эпохи. Яне предложили поработать в качестве бэбиситтера с двумя детьми. Знакомая американка, узнав фамилию матери, сказала, что работала в этом семействе, что дети — two little monsters и что няньки не держатся там больше двух недель. Дом огромных параметров был подстать хозяевам — и сама Мэри, и ее муж оказались гигантского роста, словно мини-команда баскетболистов. Фамилия Мэри была Хоменко. Профессия — скульптор. Она была не просто скульптор, но очень известный и востребованный в определенных кругах профессионал. Когда Яна с Альбиной попали в ее студию, находившуюся в первом этаже дома, размеры бедствия, именуемого искусством скульптуры Мэри Хоменко, воссияли перед ними в более чем полном объеме. Посреди мастерской на огромном постаменте стояла фигура медведя гризли, вылепленного патологически точно с зоологического атласа. Все складки, морщины, лапы, грудь, глаза животного не оставляли сомнения в том, что это именно он, тщательно воспроизведенный обитатель американских лесов. Рабочим материалом служила бронза. Не просто бронза, а обилие ее. На некоторой дистанции от медведя, на высоченном постаменте, торжествовал огромный зеленый перец. Тоже бронзовый. Тоже выполненный с патологической точностью с атласа продуктов питания. Хозяйка, с удовольствием показав свои работы, сказала, что работает по заказу рейгановского центра в Лос-Анджелесе. Потом она провела их по дому.

— Чья это фотография? — спросила Альбина, указывая на черно-белое стершееся изображение деревенской четы: мужчины в кепке и женщины в платочке. Фото резко контрастировало с общим содержанием и духом окружающего интерьера.

— Это мои родители, — без интонации отвечала хозяйка дома. — Они приехали в Америку сразу после войны.

— А где они жили раньше? — излишне звонко спросила Яна.

— На Украине, — все так же без интонаций отвечала хозяйка.

Стылые глаза мужчины вперились в объектив фотоаппарата. Женщина, несмотря на явно славянский, в горошек, платочек на маленькой голове, оцепенелым выражением лица напоминала индейскую скво.

Какая-то невидимая тягостная вибрация пронеслась между тремя женщинами. Словно испугавшись дальнейших вопросов, Мэри продолжила показ апартаментов.

Служил ли человек со стылым взглядом полицаем? Сделал ли он при первой возможности ноги после войны? На какие средства он ухитрился дать дочери великолепное образование?

Однажды, провожая Яну, Мэри спросила ее: «Может ваша мама помочь моим друзьям, которые хотят поехать в Петербург?»

— Конечно, — обрадовалась Яна, — маму часто просят помочь туристам в Петербурге. А ваши друзья американцы?

— Они немцы, — доверительно сообщила скульпторша, — а живут они в Аргентине. — Сказала и вдруг закаменела вновь. Ей, видимо, тоже пришла в голову мысль о клейме, неотделимом от немцев, проживающих в Аргентине. Больше к этому вопросу она не вернулась. Ни разу.

Все недолгое время терзаний Яны с двумя миловидными бесенятами невнятный знак ужаса продолжал клубиться в воздухе физически осязаемой недоброй аурой.

* * *

Узнав, что они собираются заехать в Стэнфордский университет, расположенный в Пало-Алто, Марк оживился чрезвычайно.

— Мне будет очень удобно к вам подъехать, живу я совсем рядом. Мы поездим по городу. Посидим наконец-то без всяких других людей, поговорим по-свойски.

Стэнфорд, которому недавно исполнилось сто лет, — один из престижнейших университетов Америки с великолепной славянской кафедрой, встретил их назойливо моросящим дождем. Построен он был, как и ряд других университетов, под Кордову, с обилием колонн и арок. По дорожкам деловито катили стайки велосипедистов, а возле

корпусов мокли под дождем прилепленные к металлическим стойкам и закрытые на миниатюрные замочки стада велосипедов. Яна, вдохновясь уютностью обстановки, наводила справки об условиях приема в аспирантуру. Все служащие были очень добры. Лишь одна чернокожая и очень красивая сотрудница, бездарно маскируя холодной улыбкой явную враждебность, погнала ее под дождем в дальний корпус за каким-то, как оказалось, никому не нужным дозволением.

Марк прибыл в назначенное время. Выражение лица, с которого исчезло хроническое сияние, было непривычно озабоченным.

— Эта выставка выливается мне в копеечку, — ответил он на вопрос о самочувствии. — Все стоит огромных трат. А ребята начинают посылать мне вопросы. Они делают впечатление, что я их обманываю. Я еще никогда в жизни никого не обманывал. Давайте лучше поедем выпьем кофе, я покажу вам магазин, каких вы никогда не могли видеть.

— Здесь деликатесы из любой страны мира, — возвестил он, распахивая дверь в помещение с вкусными разнообразными запахами. Покупателей почти не было. Из-за элегантных полукруглых витрин им улыбалась компания красиво одетых в белое людей.

— Видите, как они следят за красотой, — умилялся Марк. — Они так замечательно одевают продавцов. Все здесь должно выглядеть по хай-классу.

— Смотрите сюда! Здесь деликатесы из любой страны. Вот видите, шоколадные яйца различных оттенков. Вроде шоколад должен быть одного цвета. А вот и нет. Все яйца разного цвета, и каждое в собственной лунке. Каждое такое может стоить, — он закатил глаза к необъятному из-за не в меру разросшейся плеши лбу и, словно скандируя с галерки оперного театра, отчеканил по слогам: — Пятьдесят долларов.

— А вот сыры, — вскричал он прямо в лицо терпеливо улыбающейся за прилавком блондинке. — Идите сюда, скорее! Вы только посмотрите, какое количество. Вы видели что-либо подобное?

— Видели, — сказала Яна, — в Safeway.

— Ну, положим, там все другое. Конечно, некоторые из них потом могут попасть в Safeway, но здесь они все уникальные, абсолютно свежие. Посмотрите, сколько сортов рокфора, здесь и здесь, и еще в той стороне.

— А теперь я хочу вам сделать удовольствие. Давайте выпьем кофе, по маленькой чашечке. С шоколадом. Здесь почему-то никого за прилавком. Пойдемте дальше. Нас обслужат.

— А вот икра! — обрадовался он. — Вы видели что-либо подобное?

— Пожалуйста, подойдите, — повелел он мальчику за прилавком, — вы можете нам помочь с объяснениями? Это очень важно для нас.

— О, — расцвел тот, вытаскивая баночки, каждая из которых была больше предыдущей в пропорциях матрешек.

— Это белуга, осетрина... сэвруга. And how much? — кайфовал Марк.

— $50, $71, $99, — пояснял boy.

— Вы видели? — восторгался Марк. — Это такие крохотные баночки!

За шоколадным прилавком появилась молодая дама в кокетливом белом одеянии. На лице ее отчетливо читалось предвкушение счастливой сделки.

— Это из Италии, — упоенно переводил Марк, — а это английский, горький. Все это делается вручную и разрисовывается другими экспертами шоколада.

На витрине, уровнем выше темных шоколадных голов в форме яиц лежали овальные пластинки, где неведомо как проступившие на них прожилки делали из них утонченные произведения искусства с загадочными пейзажами.

— Я хочу тебя попросить, — говорил Марк, нервически заглатывая из микроскопической чашечки кофе эспрессо, — пожалуйста, напиши сегодня же Гуревичу, а завтра отправь письмо, оно быстро дойдет, за две недели. А там напиши, сколько я для них сделал. Ты видела плакаты, которые я привозил к Сэму. А еще будет каталог. Все ребята там изображены. Посмотри, какая выставка, какой успех! Я так старался! Я столько работал для них, а они что-то плохое говорят про

меня. Они пишут мне невероятные вещи, что я уехал, и они ничего не знают о работах с тех пор. Никто не хочет понимать, как тяжело я работал, сколько я страдал, чтобы им было хорошо...

* * *

Саша Гуревич, видный и очень популярный в 80-х годах ленинградский художник, в силу своего характера являлся в то время некоей боксерской грушей, на аморфной поверхности которой русские галерейщики оттачивали свое мастерство в пригибании художника к ногтю. Его внятные всем, временами читаемые как книга или разгадываемые как ребус работы более чем отвечали коммерческим требованиям момента. На полностью заимствованных у маститых старых мастеров композициях лица персонажей были легко узнаваемы. Работы его раскупались, как горячие пирожки на бойком углу в морозный день.

Одна из таких галерейщиц, живущая в Сан-Франциско Соня Мельникова, заключила с ним контракт на продажу его работы «Сусанна и старцы». Наше пребывание в Калифорнии было ограничено одним месяцем. Гуревич уезжал раньше нас. Поздним вечером накануне его отъезда в домик Ирины Николас ворвалась Джина Волдман в состоянии почти наркотического возбуждения. Отвергнув предложенный ей стул, она выпалила, что хочет купить «Сусанну» здесь и немедленно и что деньги у нее уже с собой. Надо признаться, что момент колебания длился недолго. Джина уехала с работой.

— Саша, позвони Соне, еще есть время, и объясни ей, что произошло, ведь у вас подписан контракт, — попросила я его.

— Лучше ты ей сама все объясни, — великодушно предложил Гуревич.

Ранним утром он исчез.

Моя беседа с Соней, если с невероятной натяжкой можно окрестить это вулканическое извержение беседой, длилась больше вечности, а на самом деле минут пятнадцать.

— Вы все нищие, — визжала Соня. — Я могу засудить его так, что он никогда со мной не расплатится. Его место среди подонков. Да, только подонок мог так подло поступить. И все русские художники, которые приезжают сюда, в цивилизован-

ную страну, ничего не понимают со своим вонючим комплексом величия и наплевательством на других людей. Они все «гении»! А на самом деле они просто нечистоплотные вороватые маньяки. Я бы их вообще не пускала в страну, где живут порядочные люди и все основано на законе...

Галерея «Анна» возникла в Петербурге на самой заре перестройки. Владелица ее, именовавшая себя на той стадии Анна Исаевна, претерпела ряд добровольных метаморфоз: в прошлом Исааковна, а в недалеком будущем даже Ивановна, эта перекрашенная в блондинку холеная еврейская дама прославилась умелой политикой по отношению к членам городского исполкома. Эта политика, видимо, не ограничивалась лишь бутылками дорогого коньяка, всегда стоявшими в баре ее кабинета, что обеспечивало ей свободу действий в бизнесе на протяжении всего этого зыбкого времени. С ней сотрудничал на тот момент целый ряд хороших художников. Саше Гуревичу она предоставила мастерскую в сердце города, на Казначейской улице. Это не были чисто деловые отношения: она томилась странной ностальгической привязанностью к высокому и привлекательному Гуревичу, может быть, потому, что когда-то ее мать делала педикюр матери художника. Однако эта слабость не помешала ей впасть в зоологическую ярость, когда Гуревич, отличная дойная коровка, расплачивавшийся с ней за мастерскую картинками, собрался уезжать в Израиль.

— Ты нищий-попрошайка, — вопила она. — Твое место в канаве! Я тебя вытащила из нищеты, из грязи... Ты бы сейчас с протянутой рукой у метро сидел. Вот она, твоя благодарность.

Эта перекличка через океан двух российских дам-галерейщиц должна остаться в истории.

* * *

С оглядкой назад приходит понятие, что Сэму была присуща деловитость шлимазла. Альбине и Яне, неотесанным нуворишам в городе американской мечты, казалось тогда, что все его действия осмысленны и логичны. Уже через неделю их проживания в его доме он начал уговаривать Альбину поработать по возвращении в Россию его агентом.

В обязанности агента должно было входить множество функций: отбор работ лучших художников, фотографирование, пересылка материалов и потом, по достижении консенсуса, пересылка и самих работ.

— А как это будет финансироваться? — спрашивала Альбина. — На какие средства я буду все это фотографировать, покупать нужные материалы, а потом пересылать?

— На свои, — был спокойный ответ. — Потом вы перешлете мне счет, и я отправлю вам деньги.

— Но у меня нет таких возможностей, — объясняла Альбина, имея в виду не только абсолютное отсутствие денег, но и весь этот ужасный цикл добывания рабочих материалов, фотопленок, например, соответствующего аппарата для съемок, бесконечные поездки через весь город на Главпочтамт и унизительное стояние в очередях в беспросветное тогда время начала девяностых годов.

— Но это же так несложно, — удивлялся он.

Ночью, когда приходилось выходить из комнаты у Сэма, удручало постоянное мигание, скорее, подмигивание. Кругом все казалось зловещим: зеленое око возле телефона, красное на стене, красный глазик под койкой, мертвенное сияние бегающей волны на VCR. Спускаясь вниз, Сэм внимательно озирал помещение. Завидев пустую бутылочку из-под воды, немедленно относил ее наверх, в мусорный контейнер. Както наверху, где только и разрешалось вкушать пищу, сказал:

— Яна, будьте внимательнее с чайным пакетиком, когда вы несете его в мусор. С него может капнуть на пол, а это не отмывается.

Видимо, это было отчасти врачебным, отчасти врожденным качеством. Даже в день их приезда, стараясь на все сто процентов держать роль гостеприимца, он не выдержал и, глядя на Яну, несущую чемодан вниз по лестнице, вдруг выпалил:

— Пожалуйста, будьте осторожнее. Постарайтесь не повредить стену. Здесь только что был ремонт.

Терпение его явно иссякало. Пора было освобождать его от своего присутствия, и Альбина договорилась с Джуди, что та заберет их через три дня в Сан-Рафаэль.

— Ко мне приезжают очень важные люди, — сказал Сэм по возвращении с работы. Он был слегка разгорячен, так как уже успел отчитать Вивиану за какие-то ошибки по уходу за Челси. По мнению Яны и Альбины, Вивиана была безукоризненна. Весь день она не спускала ни на минуту глаз с девочки, все больше становящейся похожей на миниатюрного китайского мандарина. Она прекрасно развивалась и, тыча ручонкой в Сэма, радостно издавала звуки, похожие на daddy. «Йанна», — продолжала она, указуя на Яну. Мать она почему-то игнорировала.

— Это очень богатые люди по фамилии Мюррей, я оперировал жену. Она художник и может дать мне ряд советов. Я вас приглашаю к обеду, завтра. Гости очень хотят с вами познакомиться, — разливался Сэм.

Миллионеры оказались симпатичной пожилой парой с отполированными благополучием физиономиями. Три акварели женщины в шикарных золоченых рамах висели в доме у Сэма. Это были добротные пейзажные зарисовки. Она занималась у венгерской художницы, получившей художественное образование во Франции и приехавшей в штат Канзас после войны. Пока Сэм водил ее после обеда в заветную комнату с работами русских художников, бизнесмен, безусловно находившийся в зоне пожизненного преуспеяния, сердечно и значительно объяснял гостьям, как он был счастлив познакомиться и побеседовать с ними.

Супруги, наконец, отбыли, и женщины спустились вниз.

Гостевые помещения в богатых калифорнийских домах, невзирая на обилие бытового комфорта, непонятно отчего, производили депрессивный эффект. Может быть, потому, что расположенным всегда на подвальном уровне апартаментам не хватало дневного света и пространства.

Сэм влетел к ним в каморку через двадцать минут после прощания с миллионерами. Он встал в дверях, жестом призывая их внимание. Обретя его, он ринулся к узкому проходу между койкой и стенным шкафом и произнес речь.

— Этот ковер на полу, — сказал он, вдруг сделав балетный шаг правой ножкой, — очень чувствителен. Без нуриевского изящества, но стремительно он приподнял ногу и по-

казал, что на куске химикалиев, которыми был покрыт пол, осталась вмятинка. Ножка быстро опустилась вниз и, очертив очередной круг, взлетела вновь. Внизу еще раз остался слабый отпечаток его американской ноги. Он насладился изумлением присутствующих и продолжил:

— Этот ковер совершенно новый. А я вижу пятно. Его раньше не было. Вы не должны есть здесь, в комнате, потому что ковер портится.

— Мы никогда не едим здесь. И здесь нет никакого пятна, — сказал Яна. Явно выпав из реальности, она вышла из комнаты и закрылась в ванной. Ми-Ми, только что появившаяся в дверях, застыла в оцепенении. Сэм, сделав шумный вдох, вдруг замолк и выскочил из комнаты. Альбина стояла в недвижимости, впиваясь взглядом в ворсистое искусственное существо под ногами и пытаясь найти дефект. Пятно не обнаруживалось.

Сэм влетел снова. Он еще пребывал в ступоре.

— И, пожалуйста, скажите Яне, чтобы она не чистила пятно водой. Если она будет чистить это водой, она окончательно испортит ковер. А он новый. Наши отношения — это одно, а мой дом — совсем другое. Вам следует очень бережно относиться к вещам в этом доме, — говорил он безвкусным английским, добытым из учебников по медицине.

Понимая это и не в силах изменить колею, он был жалок и величественен в своей беде, как шекспировский Шейлок.

1989 г.

Муж Ирины Николас, Джон, даже на фоне Саши, чемпиона по миролюбию, поражал абсолютной неконфликтностью. Он работал садовником, ухаживая за участками обеспеченных соседей, и проводил на воздухе по 10 часов в день. Его круглое лицо с пенсне на носу всегда носило растерянное выражение. В Милл Валли, обиталище богатых дружелюбных людей, где даже встречающиеся на улицах холеные коты бежали за вами с музыкальным мявом, жалуясь, что хозяева уехали и некому их обглаживать, дом Ирины и Джона явно выделялся среди прочих. Внутри он походил на крохотные наши российские квартиры не бытовой захламленностью, чего было почти невозможно избе-

жать, но каким-то особенным духовным климатом. Сюда захаживала веселая компания местных художников, забегали два сына Ирины от первого брака, один из которых, Ник, вместе с друзьями создал джазовый ансамбль и выступал с концертами; заглядывали желающие познакомиться с художниками из России. И тогда здесь, так же, как на питерских кухнях, происходили чаепития с обязательными беседами.

В доме на стенах были представлены почти все религиозные конфессии. Иконы и символы добротных тысячелетних религий соседствовали с изображением идолов и божков Полинезии, Африки, Южной Америки.

— Мы не хотим обижать никакую религию, — говорила Ирина, — каждая несет в себе так много хорошего. Я бы чувствовала себя виноватой, если бы обидела хоть одну из них.

У них были две собаки, два милых урода, подобранных ими в ужасном состоянии. Когда Ирина и Джон уехали на пару недель в Нью-Мексико, мы с Сашей Гуревичем выгуливали их дважды в день. Собаки покорно обходили с нами несколько кварталов, совершали свои дела и покорно же возвращались домой. Вечера были в меру теплыми и ветерок нежным. В домах, мимо которых мы следовали и где окна почти никогда не прикрывались занавесками, протекала, как нам казалось, застывшая навсегда жизнь.

— Мы еще вспомним это время, — уныло вещал меланхолик Саша Гуревич, покрывая неспешными огромными шагами положенную дистанцию.

Как же он был прав!

— Я бы на вашем месте не доверял этому человеку, — сказал Сэм и запихнул в рот Челси кусок огурца.

Они сидели в странном месте под названием Fosters Freeze и ели сэндвичи, завернутые в бумагу, жидкое мороженое и картофель фри. Часа три назад в это воскресное утро Ми-Ми робко постучала в дверь и спросила, не хотят ли они поехать с ними в Напа Валли, Мекку калифорнийского виноделия, где у Сэма случились какие-то дела, связанные с недвижимостью. Это было на следующий день после «коврового инцидента». Ми-Ми было явно не по себе. Она звонила Линде Страус и объясняла, что у Сэма от переутомления случился нервный срыв и how terribly embarassed she felt.

Приглашение звучало явным извинением.

— Пожалуй, надо соглашаться, — решила Альбина, пробудившись от почти летаргической спячки, в которую они немедленно впали после случившегося с Сэмом припадка.

— Ми-Ми вчера поздно в кухне мне рассказывала, что выходила за Сэма без любви, а любила она кого-то другого. Но тот тип ее бросил. И она пришла в дом к Сэму с одной только сумкой. У нее ничего не было, — сказала Яна. — И еще она за него извинилась. Лучше поедем. Мне ее жалко.

Напа Валли оказался скучноватым стандартным американским поселком, и длинные линейки виноградных кустов не прибавили очарования пейзажу. На обратном пути Челси закапризничала, и было решено остановиться где-то в кафе, где Сэм и сделал свое заявление.

— Вы говорите о Марке? У вас есть какие-то основания для этого? Я тоже не уверена в нем. Но почему вы так думаете? Вы ведь с ним почти незнакомы, — добавив в голос официальные ноты, спросила Альбина, еще не переварившая до конца пляску на ковре.

— Я знаю, что вы не хотите продавать работы вашего мужа, — отвечал Сэм, вновь обретший сходство с комплексующим подростком, — но Марк предложил мне купить всю выставку, без ограничений. И еще те картины, что он привез помимо выставки.

— Он сказал вам об этом по телефону?

— Нет, он прислал мне список. Факсом. Я могу вам его показать, — ответствовал Сэм. — И будьте готовы к неприятностям. Он нечестный человек.

* * *

Джуди Шэффер прибыла за ними следующим утром на мерседесе, поразив на этот раз не только Альбину, но и Ми-Ми безукоризненностью облика: элегантный спортивный костюм на стройной фигуре, безупречная прическа и дорогой макияж — все это на фоне ослепительно белой машины под резкой синевой калифорнийского неба производило необходимый голливудский эффект.

* * *

Кот Алоизиус походил на большой шмат мороженого крем-брюле не только цветом своей роскошной шубки, но и сладостным характером. Каждый раз, завидев их фигуры, спускающиеся по тропинке, которая огибала место его проживания, трехэтажный дом с обилием розовых кустов и античными фигурами у входа, он издавал музыкальный аккордовый вопль и, держа трубой невиданной красоты палевый хвост, медленно спускался к ним с холмика, где возлежал целый день, поджидая вероломных хозяев. Достигнув цели, он переворачивался на спину и милостиво разрешал им поглаживать свое пышное брюхо. Насытившись их восхищением, он удалялся на старое место подстерегать следующих поклонников. Но их не было, потому что дорога, которой следовали Альбина и Яна по пути на автобус или к магазинам, была до монотонности безлюдной. Ни разу за все время пребывания у Джуди на этом пути не было встречено ни одного прохожего. Лишь холеные машины со спокойными людьми внутри напоминали, что представители человеческого рода все же обитают в этом Эдеме. Минут за пятьдесят они достигали плазы — торгового места, где в длинном ряду маленьких элегантных магазинов можно было купить все, но гораздо дороже, чем в супермаркете. Здесь также находились рестораны, почтовое отделение и различные ателье. Наиболее прельстительным при взгляде из-за витринного стекла им казалось французское кафе с круглыми столиками, высокими плетеными стульями и обилием вкусностей на витрине. Кофе и соки здесь подавались в элегантных высоких бокалах с ручками, а пирожные были невероятно вкусными. В ланч здесь можно было получить порцию аппетитного супа, который приносили в красивых чашках. Они позволяли себе роскошь зайти в это заведение, лишь когда Яна получала свои трудовые бэбиситтерские деньги. Чаще всего они обедали в Little Mandarin, дешевом китайском ресторанчике, расположенном ближе к автобусному вокзалу.

Аристократические претензии, которые наблюдались на плазе и в районе их следования к ней, здесь полностью аннулировались. Среди людей, поджидавших автобусы, доминировали бедно одетые чернокожие работяги и латиноаме-

риканцы. Тут же курсировали отринутые обществом бомжи с их тележками, набитыми скарбом и скользили подростки с горячечным взглядом давних наркоманов.

* * *

1989 г.

Strawberry village — маленький городок недалеко от Милл Валли, где обоим художникам друзья нашли здание временно пустующего двухэтажного ресторана, где они могли работать. Каждый день оба Саши на автобусе добирались до места и проводили там целые дни. Это было неслыханной удачей: двухэтажное здание со множеством помещений, залитое торжествующим калифорнийским светом. За короткое время они сделали на подъеме несколько работ. Проходя в Сашину студию через огромный массив мастерской Гуревича, я бросала взгляд на его мольберт. К тому времени Гуревич, увлекавшийся Томасом Манном и прочитавший «Иосиф и его братья», роман, в достоверности каждого эпизода которого все сомнения казались кощунственными, начал работу под тем же названием. Момент был выбран драматический: коварные и завистливые братья засовывают бедного Иосифа вниз головой в смахивающий на бочку высохший колодец, чтобы избавиться от него, продав в рабство, и сказать Иакову, что его любимый сын погиб. Я проходила через это помещение каждый день и невольно наблюдала стадии сотворения работы. Сначала были карандашом вырисованы все объекты картины и выписаны все детали. Особенно впечатляла двойная вертикаль торчащих из бочки конечностей. Позже все предметы на картине оказались поделенными на небольшие ровные квадратики. На следующем этапе квадратики начали медленно закрашиваться. Невольно вспомнился юмористический рассказ Аркадия Аверченко «Ихневмоны» о выставке авангардистов начала века. Герой рассказа, попав на выставку, чистосердечно изумляется обилию квадратиков на одной из представленных работ. «Художнику пришлось потратить много времени и труда, чтобы нарисовать такую уйму красивых голубых квадратиков», — восхищается посетитель выставки. По всей видимости, это были работы кого-то из кубистов. Меня же, привыкшую к стихии

Сашиной живописи, такое скрупулезное раскрашивание геометрических фигур изумляло.

Работа Гуревича «Иосиф и его братья» получилась эффектной. Когда она была закончена, ее приобрел еврейский музей в городе Беркли.

Саша сделал здесь две удивительные работы, словно в волшебном зеркале отразившие счастье его души в этот момент и наполненные тем самым удивительным прихотливым, вечно меняющимся калифорнийским светом, — «Шабат» и «Люди в пустыне».

* * *

Из дневника

Ночью, когда мчались от автобуса к дому Шэфферов, воздух, как живой, обглаживал на бегу. Запахи, расточаемые вокруг цветочными кустами, затмевали тончайшую французскую парфюмерию. Машинная цивилизация на шоссе справа бесшумно и мерно катила волны автомобилей. Ярко освещенные дома слева выстраивались цепочкой, то взвивающейся к небу, то ниспадающей вниз. В большинстве окон отсутствовали curtains, занавески. Глаза невольно блуждали по этим оазисам света. Поражало, что из нескольких десятков окон лишь в одном из них просматривались полки с книгами. Но один дом неизменно приковывал внимание. Он был насыщен картинами. Примитивные по исполнению работы казались трогательными. Своей простотой и открытостью они почему-то напоминали работы замечательной художницы Елены Фигуриной, однако явно рознились от них перенасыщенностью композиции и конкретикой цвета. Каждый раз, проносясь мимо этого дома с отдыхающим рядом старым грузовичком, мы облегченно вздыхали, словно страхи этого ночного марафона становились эфемерными или просто растворялись в душистом воздухе.

* * *

— Когда же этот человек отдаст вам работы? — время от времени осведомлялась Джуди.

— Он сказал, что когда закончится выставка в Филадельфии, работы ему перешлют и тогда я все получу, — отвечала Альбина с уменьшающейся день ото дня долей уверенности. — Но выставка уже закончилась и работы вернулись...

Один из таких вопросов прозвучал на залитой солнцем террасе в модном городке Sausalito, где вся семья и гостьи наслаждались мороженым.

— Пожалуйста, не ешь огромными кусками, — понизив голос, умоляла Альбина дочь, с энтузиазмом втыкающую ложку в точеную пирамиду шоколадного мороженого.

— Я, мамочка, не тороплюсь, — счастливо отвечала Яна, — но боюсь, что могу съесть еще столько же.

— What language do you speak? — грянувший вдруг хор голосов исходил от соседнего столика, где сидела солидная команда старых дам. Они напоминали стайку случайно залетевших экзотических птиц: легкие светлые одежды, шляпки на головах и мажорное чириканье. Элегантные стаканы с соком стояли у них на столе.

Вытянув вперед откровенно старческие шеи, задрапированные кое у кого воротниками шелковых блузок, они впивались жаждущими взглядами в сидящую рядом компанию.

— It's Russian, — смутились Яна с Альбиной.

— О-ооо, — рокотом ответили одуванчики и зачирикали с бóльшим энтузиазмом.

— We invited them to our place. They came from Russia one month ago, — пояснила Джуди и, дождавшись еще одного феерического взрыва восторгов, удовлетворенно улыбнулась.

Дамские взоры вновь обратились к содержимому бокалов. Официантка, словно излучающая прохладу крайней юностью и холодноватым колером голубого фирменного наряда, увлеченно исполняла вводную арию о сортах мороженого. Старушки озабоченно обсуждали заказ, почти протыкая сухими пальчиками обширную карту меню.

Купчинские старухи, буравящие грязь своими сапогами по дороге в лабаз, мгновенным кинокадром затмили торжество солнца. И всплеск радости обернулся на миг никчемным маскарадом.

* * *

— Посмотри, — говорила Альбина дочери, сидя через пару дней за чашкой кофе в вожделенном французском кафе, — опять полно пожилых леди. У них сейчас время обеда, сиеста вроде. И где их только нет. В автобусах, супермаркетах, довольные, самодостаточные. И все такие ухоженные, мне стыдно становится за мои волосы.

Соседний столик заняли новые клиенты — две женщины за шестьдесят с выражением спокойной уверенности на тщательно намакияженных лицах.

— Нет, мне никогда не достичь этих косметических высот, — сокрушалась Альбина, краем глаза поглядывая на соседок.

— А зачем тебе такие высоты, мамочка? — изумилась Яна.

— Зина, спроси у этих вонючек, что им надо! — вдруг на чистом русском языке прогремело в зале.

Онемевшие на секунду Альбина с Яной разыскивали глазами источник звука. Посетители мирно наслаждались трапезой.

В углу зала с телефонной трубкой в руке сидела миниатюрная дама лет пятидесяти с лишним, смуглая, с резкими чертами лица и небольшими темными глазами. Вся ее складная фигура в узком коричневом, с золотым поясом платье, излучала энергию шаровой молнии.

Официантка, еще не виденная ими здесь, торопилась к столику вновь пришедших. Она смотрелась крутым диссонансом ко всему антуражу заведения: далеко за порогом молодости, низкорослая с редкими пегими волосенками без намека на укладку, с шаркающей походкой, в несвежем переднике. Приняв заказ, она побрела к стойке. Дождавшись, когда она уйдет, Альбина поднялась и, как завороженная, двинулась к даме у телефона.

— Здравствуйте, — сказала она.

Дама спокойно улыбалась.

— Мы здесь почти месяц и ни разу не слышали русской речи, — продолжила Альбина.

— Наверно, это не самая лучшая русская речь для вас, — усмехнулась дама. В ее голосе явственно проступи-

ли гортанные интонации. — Просто усталость большая, мы скоро закрываемся, вот я и гаркнула, не выдержала целый день улыбаться. Я — Баира, хозяйка этого заведения, а вы как сюда попали?

Женщина очень соответствовала своему имени, ассоциировавшемуся у них с пантерой по имени Багира из повести Киплинга «Маугли». Или, скорее, с популярным мультипликационным изображением этой огромной, неотразимого обаяния кошки. Только в фильме актриса с глубоким контральто, озвучивавшая образ, проговаривала текст с вкрадчивым, прямо-таки стелющимся ласковым коварством. Реальная Баира не добавляла сиропа в свой низкий с хрипотцой голос. Она говорила краткими рублеными фразами отчасти из-за неполного знания русского языка, отчасти в силу бойцовского, воспитанного экзотикой жизни характера.

Она оказалась дочерью простой русской женщины и личного фотографа шахиншаха Ирана. Учась в Москве, шахский фотограф женился на любимой девушке. Баира родилась в Москве и прожила там первые годы своей жизни, а по окончании учебы отец увез семью в Иран. Семья была приближена к престолу шаха и пребывала в зоне полного благополучия. Но тут грянула революция, и пришлось бежать из страны. Со всеми своими огромными деньгами они переместились во Францию. Отец умер, когда девушка была уже взрослой. Прожив в Париже несколько лет и овладев французским языком, Баира поняла, что нужной жизненной перспективы там не предвидится. Взяв с собой огромные деньги, она двинулась в Америку.

— У меня были миллионы, я открыла это кафе, трудилась сутками, никакого просвета не было, все шло хорошо, я еще в Париже выучилась, как вести дела, как готовить... А что вы удивляетесь? Я все своими руками делаю, работаю двадцать часов в сутки, я только некоторую кондитерию заказываю. Остальное сама.

Она зорко оглядела помещение и продолжила:

— А через год ко меня вдруг беда пришла, что-то было не так с налогами, мне велели платить невероятные суммы. У меня уже ничего не осталось. Я привезла мать из Парижа, она совсем больная, только лежит и под себя все делает. За

ней уход стоит немереных денег. Я же целыми днями здесь живу. У меня все рушилось, я плакала день и ночь. С красными глазами ходила.

— И как же вы решили эти проблемы? — ужаснулась Яна.

— Бог спас, — железный лик Баиры внезапно смягчился, в голосе зазвучали явно непривычные для нее теплые интонации. — Ко мне каждый день приходил клиент один. Молодой, приятный такой американец. Мы с ним часто шутили. А в weekend он всю семью приводил на ланч. У него жена, такая милая, и две дочки, совсем маленькие.

— Он как-то посмотрел на меня и спросил: «Что с вами происходит последние дни? Какое-то горе?»

Я ему рассказала все, а он вдруг говорит: «Я вам помогу».

— Мне помочь нельзя, я уже все уже потеряла, — я ему отвечаю. А он спокойно так говорит: «Я могу вам помочь. Я lawyer».

— И он мне помог, без всяких денег, отсудил все, что у меня отняли. Я за него каждый день Богу молюсь, — заключила Баира уже окрепшим и без эмоций голосом.

В кафе вошла стайка тинейджеров, и хозяйка, мигом обзаведясь сияющей улыбкой, со всей быстротой, которую дозволяли высоченные каблуки, двинулась к их столику.

* * *

В доме Баиры, куда она их пригласила на следующий день, стены были увешаны картинами. Здесь висели работы, купленные в Париже или сделанные прямо в Сан-Рафаэле заезжими художниками. В основном это были портреты хозяйки. Над огромным кожаным диваном в гостиной находилось такой же величины абстрактное полотно. В столовой на боковой стене висела небольшая работа иранского художника с изображением птицы. Многие питерские художники увлекались этой темой: рвущиеся в небо ценой собственной жизни птицы Елены Фигуриной, чернокрылые воробьи, затмевающие пространство размахом крыльев, а также белые, розовые птицы Владимира Шинкарева, целенаправленно следующие своим маршрутом и очень похожие на интерпре-

тацию детских рисунков; трогательные, жмущиеся к людям птицы Евгения Тыкоцкого. Эмоциональная отдача у зрителя была моментальной. Эта же птичка, сидящая на высоком шесте и изображенная в профиль серым, в черноту колером, заставляла вглядываться в себя долго и пристально. И через какое-то время в горле ощущалось нечто вроде спазма. До того одинокой она выглядела. Работа проецировала это чувство потерянности и одинокости на зрителя. Кажущаяся простота изображения была обманчивой и не могла скрыть виртуозного мастерства автора. Эта птица не парила, не рвалась и не прижималась. И была не розово-белой или желтой. Но при взгляде на нее зритель цепенел — такой заряд одиночества несло в себе ее изображение.

— Я очень ценю живопись, у нас дома в Тегеране (она произносила в «Тэхране») ни одной свободной стены от картин не было, — говорила, вернее, кричала Баира из кухни. Избавившись при входе в дом от туфель на гигантских каблуках и надев кокетливый передник, она носилась по кухне, приготовляя еду на следующий день для своего кафе.

— Я все привожу сама в ресторан, теперь вы видите, какая у меня жизнь. И так всегда, даже выходных нет, — фортиссимо неслось из кухни, где она резала лук. — У меня есть русские друзья, я вас познакомлю, они приехали и думают, что здесь кисельные берега и реки из молока, а доллары надо просто поднимать с земли.

— А вы почему приехали? Взять обратно работы вашего мужа? А где они? И сколько вы их ждете? Почти месяц? И этот человек живет рядом, в Пало-Алто, и до сих пор не отдал? Я хочу узнать, вы хоть немного понимания имеете? Вроде умные женщины...

Здесь монолог оборвался, и Баира, вооруженная огромным тесаком, пугающе смотревшемся на фоне ее особенно хрупкой без каблуков фигуры, возникла в кухонном проеме. В свободной руке у нее дымилась сигарета.

— Вы никогда не получите ваши работы, он и не собирается их отдавать. Это здесь так принято — обманывать своих. У вас же никаких прав в Америке нет. Бедные вы, мне вас жаль, — завершила она и ринулась обратно.

Теперь из кухни донесся звук картофелин, бухающихся в кастрюлю с водой. Творческий процесс готовки продолжался.

* * *

Линда Страус строго погрозила пальцем тоскливо выглядывающему из окна джипа Майло, черному охотничьему псу, всегда сопровождавшему ее в поездках, и они с Альбиной двинулись в лучшую кофейню Милл Валли. Это было время ланча, и уже сквозь витринные стекла можно было увидеть, что заведение заполнено до предела.

— Hi, Linda, — энергически обратился к ней выбегающий из помещения мужчина в темных очках с приятным живым лицом, — you can take my table, it's right in the corner. Hurry up!

— Let me introduce you to Albina, — в темпе проворковала Линда, — через неделю в Кол Шофар мы представляем работы ее мужа. Он потрясающий художник. Приходи с женой.

— Great! — восхитился мужчина и сделал улыбку. — Bye! И тут же исчез.

— He is a very nice man, and also wealthy, — комментировала Линда, заказывая кофе. Она всегда пила латте, говоря, что это лучший кофе, однако не объясняя почему.

За окном протекала обычная ухоженная жизнь обитателей Милл Валли; подъезжали машины, откуда выпархивали улыбающиеся люди. Было понятно, что они на миг оторвались от работы, чтобы перекусить и поболтать с друзьями в приятном месте. И опять купчинские старухи поплыли перед глазами Альбины, и опять померещилась свекровь, страстная любительница кофе, старающаяся лишний раз не выходить из дома, потому что боялась поскользнуться и упасть зимой на узкой Гороховой улице.

— Жизнь в Милл Валли очень стремительно меняется к худшему, — сказала Линда, уловив поэтическим своим озарением подспудные реакции собеседницы. Ее огромные глаза обратились к Альбине и вместо напряженно твердоватого обрели выражение, близкое к трагическому. — Такое множество людей приезжает в Америку из разных стран, и почти

все хотят жить в Калифорнии. Лос-Анджелес, где учится моя Джессика, ненормально (enormously) огромен, и он расширяется с каждым месяцем. Он уже больше Нью-Йорка. Мне приходится очень много платить за квартиру для Джессики. Каждый месяц я плачу за нее 800 долларов.

— И еще впереди колледж для Zoe, — ужаснулась Альбина.

— В том-то и дело. Я не могу себе представить, сколько денег мне придется платить через полгода и где их взять. Еще три года назад в Америке так не интересовались деньгами, — сказала Линда и опустила иссушенное, как у всех калифорнийских женщин, хроническим солнцем лицо.

— Ну, ладно, — сказала она, — оставим эти грустные мелодии. Поговорим о тебе. Когда ты хочешь ехать обратно?

— Видимо, не раньше чем через месяц, — отвечала Альбина, — я все ждала, когда закончится выставка в Филадельфии. Этот человек обещал мне вернуть работы. Но выставка закончилась, и работы привезли обратно. А он стал меня избегать, не подходит к телефону (He is playing hide and seek with me). Он очень скользкий. Видимо, ждет, что если он протянет время, то мне придется уехать ни с чем.

— Мы ведь едем с тобой завтра менять твой билет, — сказала Линда, — ты еще можешь выиграть время, уехать на пару недель позже, но не говори ему. — Я понимаю, как тебе все это тяжело. Но знаешь, чего я не понимаю? Почему ты хочешь вернуться? Один наш друг (она назвала имя), очень влиятельный здесь человек, он меня спросил, почему я не смогу завтра поехать с ними на ланч, а Стив сказал, что мы едем менять для тебя билет, потому что ты хочешь ехать обратно. Он сказал: «Зачем она едет? Ей нужно оставаться».

— Зачем ты едешь? — с детским изумлением повторила Линда. — В эту ужасную страну, где опасен каждый шаг? Оставайся здесь, с нами. Наш адвокат будет тебе помогать. Ты постепенно привыкнешь к жизни здесь. Я буду очень плакать, когда ты уедешь.

— Ты великолепный друг, Линда, — грустно сказала Альбина, — спасибо тебе. Только я не знаю, как это объяснить. Я просто не могу туда не ехать.

* * *

Соня Мельникова, по мужу Лавин, была противоречивой особой не только в силу двойной фамилии, с которой, видимо, противоречия и начинались. Мельник, представитель мирной, почти медитативной профессии, и лавина, грозящая смыть все благие начинания ведущего персонажа. Именно от Сони Альбина получила сокрушительную реакцию на «невинную шалость» Гуревича, порушившего подписанный с нею контракт. И в то же время по резкому контрасту с Мигдалом, начавшим активно увиливать от контактов с нею, Соня без лишних слов вернула все находящиеся у нее работы Саши. Москвичка и искусствовед по образованию, она вышла замуж за американца, интересующегося живописью, и с его помощью начала работать с русскими художниками. У них с мужем был красивый дом в престижной части Сан-Франциско. Она сделала несколько громких выставок, сопровождавшихся бурными же словоизвержениями и скандалами с художниками.

Одним из таких горемык стал Миша Иофин, красивый сумрачный человек, незадолго до того покинувший Петербург. Там еще оставались его родители и жена. Альбина хорошо помнила вхождение Миши в искусство в составе группы «Доллар» на звонкой выставке во Дворце молодежи в 1985 году. На выставке были представлены все «генералы» неофициального искусства — Глеб Богомолов, Владимир Овчинников, Анатолий Белкин, Геннадий Зубков, Юрий Дышленко, Евгений Ухналев. В состав группы милостиво включили Гену Устюгова, Александра Лоцмана и почтительно Константина Симуна, скульптора, автора гениальной работы «Разорванное кольцо» на Ладоге, единственного члена ЛОСХа, выставившегося с представителями касты неприкасаемых в те времена, когда никто больше на это не осмеливался. Это уже много позже оказалось, что неофициалов и бунтарей было во много раз больше, чем предполагалось. Многие члены Союза художников, как внезапно выяснилось, всю жизнь были снедаемы желанием порвать путы, привязывающие их к ненавистному Союзу. Останавливали их только боязнь потерять мастерские и прочие привилегии, в свете которых они нежились долгие годы. С началом перестройки кое-кто из них начал демонстрировать свои авангардистские шедевры

и нежно дружить с прокаженными ранее неофициалами. На этой выставке во Дворце молодежи в далеком 1985 году внимание привлекала работа Миши Иофина «Мои родители», где с пугающей для того времени откровенностью были представлены реалии еврейского быта и символы религии. Все объекты работы были детально и добротно выписаны. С точки зрения художников это произведение чересчур отдавало литературой.

Соня с такой активностью взялась за обучение Иофина приемам западного арт-бизнеса, что лишь при одном упоминании ее имени на лице Миши невольно возникало выражение человека, только что съевшего лимон с кожурой. Много позже ему, как и всем пришельцам из Союза, пришлось осознать жестокую реальность существования художника на Западе.

— Они все кругом гении, включая и моего собственного мужа, — кричала Соня, поставив перед Альбиной чашку чая. — Я уже проклинаю тот день, когда я с ними связалась. Они же ничего не понимают в этой жизни. Мне кажется иногда, что я замужем за всеми ними. Посмотрите, какие альбомы я приготовила для каждого из них, ведь они же сами ничего этого не делают. Гений выше коммерции — вот их кредо! А вы видели где-нибудь еще такое количество гениев на квадратный метр? Это только у нас.

— Возьмите Дышленко. Я о нем ровным счетом ничего не знала. Иофин мне говорит: «Давай выставим Дышло, Дышле надо помочь». Я ему, Дышле, стало быть, звоню в Нью-Йорк. Говорю, что хочу взять его работы на выставку, а выставка-то некоммерческая. Я просто хочу поднять престиж русского искусства, которое сейчас абсолютно никому не нужно. Он мне говорит, что хочет выставить огромную работу из восьми частей. Я говорю — хорошо, мы получим роскошное space на Кастро, и его гигантская работа будет там хорошо смотреться. Но поскольку надо делать все наверняка, чтобы не подводить спонсоров, ведь одна доставка этой глыбы стоит тысячу долларов, я просила его прислать фотографии. Он обещает, мы ждем... Ничего нет! Я звоню, он спокойно говорит, что да, вы не получили, потому что я не послал. Я решил послать вам videotape. Я говорю тоже спокойно: «Fine». Но вы понимаете, чего это мне стоит? Хорошо, пусть будет videotape. Он ее прислал, оказалось, что смотреть негде, ни у кого нет

этой старой камеры. Наконец, мы нашли, собрались с трудом, все настолько заняты, и что? Он все работы заслоняет своим телом, что-то бормочет по-английски. Мои коллеги меня спрашивают: «Он что, по-русски говорит?» А его не понять ни по-русски, ни по-английски. Я ему звоню, говорю: «Юра, объясните, что там нарисовано?» А он в амбицию, он же гений: «Вы что, не понимаете, что говорите?»

Дальше — больше. Я ему еще раз звоню и говорю, что работы для сохранности перед отправкой надо покрыть пластиком. А он опять в крик: «Вам надо, вы и пакуйте».

Вы встречали что-либо подобное? Я — нет!

Круглое, мучнисто белое лицо Сони покрылось пятнами. Она все пыталась для успокоения разжечь сигарету. Зажигалка, словно участвуя в общем саботаже, постоянно давала осечку.

Альбина против своей воли смотрела на нее с сочувствием. Обе стороны могли предъявить доказательства своей правоты. Художники, гордо несущие в России знамя своей исключительности, немедленно теряли его здесь, на Западе, где большинство местных художников, чтобы выжить, вынуждены были идти на любую работу и заниматься искусством лишь в свободное время. Прокормить себя творчеством здесь могли лишь давно признанные западные «генералы» и ловкие манипуляторы, вроде Комара и Меламида, превратившие искусство в подобие циркового трюка. Горечь утерянных амбиций нанесла непоправимый ущерб многим из самых талантливых мастеров. Что касается Сони, то позже она сошла с дилерской орбиты и претерпела метаморфозы в личной жизни, разойдясь через пару лет с мужем.

И еще один грустный факт. В своем следующем страстном монологе, посвященном проживающему в Сан-Франциско в трудах и борениях замечательному художнику Алеку Рапопорту, она забыла упомянуть, что из переданных ей Алеком на «посмотреть» ряда рисунков Александра Арефьева восемь лучших работ она не вернула.

* * *

Последнее лето Сашиной жизни мы сняли дачу в Усть-Нарве. Каждый день мы шли на залив, расположенный в десяти минутах ходьбы. Пес Тоби, спасенный Сашей от бомжовой

жизни, с беспардонно громким лаем гонялся за мячом, приносил его и укладывал прямо в ладонь, требуя следующего броска.

Вода чрезмерно бодрила. Саша, ухая, нырял, тут же являясь на поверхности с театральным фырканьем.

— Видишь, как это здорово, ты здесь так прекрасно отдыхаешь, — говорила я ему. — Вот сидел бы ты сейчас в Питере, тебе бы в физиономию дымила Лена Фигурина, подкашливал бы Валек, куковал бы Женька и перегаром дезодорировал Серафимыч[1].

— А что, разве это не жизнь? — счастливо отвечал он.

* * *

На веранде дома Джуди спиной к окну стоит существо с русой косицей. Еще только половина восьмого утра, и только что открывшей глаза Альбине кажется, что это надменная хозяйская дочка Лия. Но это мужчина, один из четырех садовников, которые обихаживают сад раз в неделю. Внизу, в кустах возле бассейна, еще трое молодых парней щелкают ножницами. Яна уехала в образовательный центр Стенли-Каплан, где за скромные деньги набирается знаний в английском языке для поступления в аспирантуру.

Слышен рокот стиральной машины. Через короткие интервалы по лестнице низвергается молодая женщина с мягким намеком на восточное происхождение в лице. Это Марион из Эквадора. В руках у нее кипы белья для стирки. Иногда она задерживается у гладильной доски, где быстро манипулирует утюгом. В ее четких до автоматизма движениях просматриваются достоинство и уважение к себе. Погладив пару кофточек, она молнией взлетает в небеса хозяйских покоев. Она появляется в доме дважды в неделю. Вечерами ее на машине увозит муж.

Хозяев давно нет. Мартин уезжает до семи утра, и Джуди уже упорхнула с детьми.

— Кажется, я начинаю понимать, почему оплата бэбиситтера здесь ниже, чем уборка помещения, — подумала Альбина, глядя на низвергающуюся в очередной раз по лестнице

[1] Художники: В. Герасименко, Е. Тыкоцкий, В. Воинов.

молодую женщину. На этот раз спуск оказался вне программы.

— Phone call for you, — крикнула Марион и взметнулась обратно.

— Здравствуйте, это Альбина? — затарахтело в трубке. Голос звучал сипловато и было неясно, то ли это простуженное женское контральто, то ли обычный мужской фальцет.

— Меня зовут Ричард Фраумени, — прояснил ситуацию собеседник. — Я звоню из Вашингтона по просьбе Лены Фигуриной. Вы ведь друзья?

— Очень приятно вас услышать, — обрадовалась Альбина.

— Мне тоже, — сказал новый знакомец, — но ситуация складывается совсем неприятная. Этот человек, Мигдал, который увез кучу картин, теперь, похоже, не собирается их возвращать. Лена просила у него три свои работы, у них договоренность, что они не для продажи, а он от нее бегает, скрывается. Молчит, как вы говорите, в тряпочку...

В его безупречном русском прощупывалась трудно уловимая странность: при почти полном отсутствии акцента, идеальной фонетике и скорости речи все его фразы зависали на одной и той же шкале монотонной интонации, словно одинаковые ноты на линейках нотного стана.

— Лена сказала, что с вами можно говорить на ты.

— Да, пожалуйста, — отозвалась Альбина.

— Тогда я начинаю... Она сказала, что ты хочешь забрать работы своего мужа от Мигдала, а Лена дала мне доверенность получить ее работы, которые она не хотела никогда продавать, это две работы — «Бегущие коровы» и «Автопортрет». Я ему звоню каждый день, он от меня скрывается, не отвечает. Или если вдруг снимает трубку, говорит, что ему некогда и он мне позвонит. И ни разу это не сделал. Он и Лене не отвечает на ее письма. А ты с ним говорила?

Собеседник шумно набрал воздуха для продолжения монолога.

— Простите, — успела вклиниться Альбина, оторопевшая от темпа речи, — вы так хорошо говорите по-русски, ни малейшего акцента. Вы живете в России?

— Я американец, — не реагируя на комплимент, несся дальше новый знакомец, — у меня жена русская. И двое детей, — добавил он. — Но я хочу узнать, получила ли ты свои работы?

— Нет еще. У него со всеми одна и та же политика, он от меня стал скрываться с тех пор, как я сказала, что жду работы. Каждый раз, когда я его вижу, я об этом говорю, и он всегда отвечает, что да, я знаю, и я отдам, но это очень трудно, надо ехать в Лос-Анджелес, где теперь все работы находятся...

— Это он и мне говорил, — прервал ее Ричард. — Я тебе позвоню через два дня. Я с этим мерзавцем буду говорить на другом языке. Я ведь в INS[1] работаю, знаю про него кое-что, у него не все чисто... Ему не поздоровится. Ну пока.

И он отсоединился.

* * *

Работу Саши «Шабат» купил у Сони Мельниковой бывший ленинградец — Рувим Брауде, внук ленинградского раввина, приехавший в Америку в возрасте двадцати двух лет. У него был небольшой дом в Сан-Франциско, недалеко от океана, собака — коричневый красавец, английский сеттер Бим, с которым он каждое утро совершал огромные пробежки вдоль берега. Когда они неслись мимо пенящейся кромки воды — шоколадный Бим и стройный, с волевыми чеканными чертами лица Рувим, встречающиеся женщины завороженно провожали их взглядом.

— Я ничего не понимаю в искусстве, — честно признался Рувим в первом же телефонном разговоре. — Но мне еще ни разу не пришлось говорить о живописи с профессионалом. Когда я пытаюсь что-то узнать у тех же дилеров, они ведь должны что-то понимать, наверх вылезает сплошная коммерция и они ведут разговор в нужном им направлении. Здесь искусство и коммерция — это синонимы. А мне «Шабат» понравился невероятно, я сразу влюбился в эту работу и совершенно не торговался.

[1] INS — служба эмиграции и натурализации.

Рувим относился к редчайшему типу людей, о которых при всем желании невозможно сказать что-либо плохое. Он был безупречен в полном смысле этого слова: искренний, без примеси фальши, очень прямой, открытый человек и при этом трудоголик. Он занимал хорошую должность в компании Hewlett Packard, пройдя до этого без какой бы то ни было поддержки мучительный период становления в чужой стране. Прибыв в Америку, он несколько лет трудился простым рабочим на стройке, затем поступил в аспирантуру и закончил ее.

— Когда я приехал в Вену, — делился он, — я в первый же свободный день купил бананы и апельсиновый сок. Потом пошел в парк, сел на скамейку и все это съел. Ел бананы и запивал апельсиновым соком.

В его маленьком кабинете на стенах висели плакаты с портретами Высоцкого и Галича.

Альбина с Яной иногда останавливались в его, всегда открытом для друзей, доме.

— Ваш Мигдал — просто тень отца Гамлета, — смеялся Рувим, когда Альбина рассказывала ему об уловках Марка. — Давайте я свезу вас в Пало-Алто, я ведь там работаю, вы договоритесь с ним о встрече, и ему будет не увернуться.

Встреча состоялась через несколько дней в холле щеголеватого отеля. Марк был сама податливость.

— Я собираюсь скоро в Лос-Анджелес, — мурлыкал он, поглядывая в сторону Рувима, который скромно стоял в стороне. — Привезу работы, ты сможешь забрать их в Россию, если хочешь. Но я бы не советовал, это очень дорого.

— Понимаешь, Марк, — объясняла Альбина, — время проходит, скоро уже улетать. Пожалуйста, сделай это поскорее.

— Не волнуйся, — разливался Мигдал, — я так люблю Сашу. Ты знаешь, сколько он нам помог, возил нас по всем самым лучшим художникам. Селма ему очень благодарна.

— Ему очень не хочется отдавать вам работы, это очевидно, — усмехнулся Рувим, когда тот отошел проверить машину. — Ну видно сразу, это ему все поперек горла. Но деваться ему некуда...

Марк позвонил на другой день после встречи в присутствии Рувима. В голосе его не было привычного мурлыканья,

в нем слышалось теперь ворчание котяры, из пасти которого выдирают законную добычу.

— Ты знаешь такого типа по имени Ричард Фраумени? — спросил он нервно.

— Да, звонил такой человек, — отвечала Альбина, — но я его никогда не видела. А что?

— Он меня достает, — внезапно сорвался в крик Мигдал, — звонит каждый день, на днях затрезвонил в четыре утра. Диане рано на работу. А он звонит, чтобы я ему работы Фигуриной вернул. В четыре утра!

— Может, он забыл про разницу во времени. Он, кажется, живет в Вашингтоне, — отвечала Альбина.

— Такой гад ничего не забывает, он просто хочет меня терроризировать. Он собирается мне нервы портить. Еще неизвестно, кто кому чего попортит, — разъярился Марк. — Он не знает, с кем имеет дело, я его в порошок могу перемолоть, ему мало не покажется.

— У меня к тебе вопрос, — вдруг вкрадчиво сказал он, — помнишь, я просил тебя написать Гуревичу? Ты это сделала?

— Я ему звонила, так быстрее, и сказала все, что ты меня просил.

— А теперь я тебя попрошу, напиши ребятам факс, что я отдаю тебе все работы Саши и у тебя нет ко мне никаких вопросов, — совсем уж елейно продолжил он. — Их надо немного успокоить, у них там какое-то кипение происходит. Кто-то там мутит воду, если бы я знал кто, я бы ему написал непосредственно. Если ты напишешь, что все работы получены, они успокоятся.

— Хорошо, — сказала Альбина, — мы найдем с Яной возможность послать факс, Джуди нам поможет.

— Договорились, — весело брякнул он и отсоединился.

* * *

1989 г., лето

— Как перестройка повлияла на ваше желание стать художником? — спросила Селма Холо Елену Фигурину, поворачивая к ней черный подсолнух своей головы.

В ореоле проволочных, ненатурально черных волос ее немолодое лицо казалось более жестким. Отполированную лысину Фреда Кротона, искусствоведа из Лос-Анджелеса и ее жениха, окаймлял венчик давно не стриженных прядей, скорее даже лохм. Лысина балансировала их изобилие.

— Вы ведь раньше были инженером? И перестройка вас активизировала на принятие решения посвятить себя искусству? Когда вы ощутили, что вы художник? When did you realize that you were an artist? — вопрошала она.

— Когда ты решила стать артисткой? — перевел Марк. Топорный его перевод разительно противоречил куртуазным манерам Селмы.

— Артисткой? — удивилась Лена. — Но я никогда не была артисткой.

— Извини, — спохватился Мигдал, — я немного перепутал, потому что художник по-английски будет артист.

— Я рисую уже 15 лет... Да, я была инженером. Я закончила институт авиаприборостроения, но я не любила эту профессию. Так что перестройка не повлияла на меня, она лишь дала мне возможность заработать какие-то деньги, чтобы спокойно заниматься творчеством.

Прорвавшись сквозь дебри языка и заслужив кивок от Селмы, Мигдал засуетился.

— А теперь встань к окну, я хочу тебя снять на видео, — он гарцевал вокруг Елены, взмахивая камерой. Его лысина тускло блистала. Окаймляющих ее волос было в разы меньше, чем у заморского жениха.

— Это было интервью с Еленой Фигуриной, широко известной художницей из Ленинграда, — стрекотнул он на своем тяжелом английском.

— Я еще не закончила, — очаровательно улыбнувшись, Селма сделала очень пластичный жест в сторону Лены своей узкой рукой, — скажите, пожалуйста, есть ли у вас какое-то кредо, которое вы могли бы уместить в три слова?

— Есть, конечно, — отвечала Елена. — Мужество, терпение, сострадание.

— Participation?.. — голос Мигдала споткнулся. Обладатель его, спасовав перед обилием незнакомых слов, проигнориро-

вав «мужество» и заменив «терпение» (patience) на «участие» (participation), честно признался:

— Я не знаю, как будет сострадание... Full understanding, наверное.

— Сострадание — это compassion. Это слово стоит запомнить, — молвила Елена.

— Ты тогда старее была, чем сейчас, — комплиментарно указал он на автопортрет Фигуриной, сделанный ею скорее как исследование души человеческой, чем внешнее отображение. Оставив свою женскую притягательность далеко за кадром, Лена представала здесь объектом для изучения глубинных слоев человеческой психики.

Работы ее, расставленные на полу впритык к валяющимся там кистям и банкам с красками, отражали каждая мегатонны боли и страдания ее души. Сквозь грязное стекло окна в глубоком провале притулился двор-колодец. Низкий маленький стол являл собой натюрморт из тарелок с помидорами и огурцами и пары бутылок сухого вина.

— А теперь посмотрим работы Саши Манусова, — Елене очень хотелось сбросить с себя напряжение и направить стрелку внимания гостей в другую сторону.

— Это Александр Манусов, широко известный ленинградский художник, — возвестил Мигдал, не меняя топорного английского и направляя на Сашу видеокамеру.

Селма улыбнулась совсем очаровательно и проговорила:

— Спасибо вам большое, вы единственный, кто помог нам в наших разъездах, так что мы сэкономили много времени и здоровья. Вы такой добрый человек. Я даже не знаю, как вас благодарить.

Саша, спокойно улыбаясь, стоял возле блока своих работ.

— Расскажите немного о себе, вы ведь член группы еврейских художников, не так ли? Как возникла эта группа?

— Группа возникла в 1975 году после второй выставки неофициальных художников. Она создалась по предложению Евгения Абезгауза, — мирно начал Саша. — Он пригласил к себе двенадцать человек, мы собрались, чтобы обсудить, как нам быть. Ведь традиции еврейской живописи нет, это было запрещено религией. Мы долго обсуждали, что же нас объединяет,

и решили, что главное, что нас объединяет, — это дружеские отношения.

Помолчав, он добавил:

— Вот этот триптих я писал справа налево, — указал он на триптих «У воды». — Здесь три работы: «Утро», «День» и «Вечер». Так вот сначала я сделал последнюю часть — «Вечер», делал ее долго, и вот, когда она была еще не закончена, появилась средняя часть, «День», и тогда у меня появилась мысль делать триптих. А уже потом вылилась работа «Утро». Я считаю ее из трех самой удачной. Я ее писал, как говорится, на одном дыхании, водил кистью по холсту, в общей сложности, часа четыре. Правда, в голове она сидела очень долго.

Селма отпила воду из стакана и милостиво сказала: «Fine».

— Здесь я вижу работу, которая привела тебя к триптиху, — гудел за ней толмач. Его тыканье на фоне изысканных манер и глубокого контральто американки звучало блатной «Муркой», перекрикивающей «Токкату» Баха.

Саша с интересом обернулся, следуя взглядом за жестом холеной руки.

— Вот эта работа была для тебя точкой отсчета при создании триптиха, это именно то, что привело тебя к триптиху, — авторитетно выдала директриса университетской галереи устами Мигдала.

— «Пейзаж с красным деревом»? — деликатно удивился Саша. — Но я сделал его в 88-м году, а триптих появился в 87-м.

— Как будет «пейзаж» по-английски? — затруднялся Мигдал. — Наверное, nature?

Фред Кротон, утонув в продавленной кушетке, мрачно выслушивал его переводческие откровения. Рядом с блистательной невестой он смотрелся неопрятным гоголевским персонажем из «Ревизора», в то время как Мигдал с его хрящеватым носом и пружинной поступью смахивал на брехтовского негодяя по кличке Мэкки Нож.

— Landscape, — говорила Фигурина.

— Landscape, — благодарно повторял Мигдал.

Ему было не по себе в неведомой доселе сфере творческой деятельност. Пытаясь замаскировать неуверенность и не совсем опозориться, он голосом балансировал по кирпичикам,

осторожничал, пытаясь не сморозить явную нелепицу и тем не менее поминутно сваливаясь с этих кирпичиков в лужу.

— Что Вы можете сказать об этом триптихе? — неслась дальше Селма и продолжал тыкать Мигдал.

В белоснежном брючном костюме, с блистающими чистотой волосами и тщательно обработанными ногтями на руках и ногах, она сидела гигиенической королевой, осветившей своим явлением развал мастерской на шестом этаже предназначенного к сносу дома.

— Пожалуй, ничего, кроме того, что здесь три части и называются они «Утро», «День» и «Вечер», — веселясь, отвечал Саша.

Три огромные работы стояли на полу. Клубящееся нереальное дерево последней части в переплетении цветовых выплесков каждый миг смотрелось по-разному.

На вопрос, что же он нарисовал, он всегда спокойно отвечал: «Смотрите, здесь все сказано. Живопись нельзя объяснить. Так же, как и музыку».

— Здесь есть еще один триптих 87-го года, это триптих «Река», в нем три части — «Ожидание», «Купание» и «Шествие», — и он тоже написан справа налево. Наверно, это и есть мое основное качество как еврейского художника, — усмехнулся Саша.

— Ожидание? Как это по-английски, Лена? Waiting? — бубнил Мигдал.

— Expectation, — в очередной раз спасала его Фигурина.

— Что вдохновило тебя на это? — значительно осведомилась Селма устами Мигдала и отпила воды из граненого стакана.

Саша недоуменно пожал плечами.

Ему было не по себе. Правой рукой он массировал под рубашкой область сердца, стараясь делать это совсем незаметно. Жаркий июльский день был чрезмерно тяжелым. Утром они отправились на Васильевский остров к Наталье Жилиной[1], которая проживала на пятом, последнем, этаже старого дома. Подниматься пришлось пешком, лифта не было. Кто-то из художников должен был привезти туда свои картины, чтобы сэкономить время гостям, и Саша несколько раз спускался —

[1] Наталья Жилина (1933—2005) — художник, мать Дмитрия Шагина, основателя группы «Митьки».

нужно было дождаться ребят у входа и помочь им занести работы в квартиру.

Несколько дней назад он привез в мастерскую Фигуриной около двадцати своих работ, включая графику, и втащил их с помощью друзей на шестой этаж. Гости не нашли времени заехать в его студию. Завесив стены одной из комнат обширной мастерской его работами, Лена сделала это пространство прибежищем для медитации и, сияя, водила туда лишь избранных гостей.

— Какие были твои цвета до операции? — допрос продолжался.

— В 75-м году работы были очень светлые. Я тогда писал на лессировках, — отвечал Саша.

— Глиссер? — оживился Мигдал.

— Лессировка... Ну, как это сказать, это прозрачные слои краски, которые накладывают один на другой, — сказал Саша. Он всегда честно пытался продолбить стену невежества собеседника и делал это вежливо, с искренним желанием просветить. — А цвета тогда были более сдержанные. До операции, я имею в виду. Но в 76-м, 77-м и 78-м я уже отошел от лессировок и стал писать корпусно. Но я применяю лессировки все равно.

— А какие они были, твои цвета? — этот повторный вопрос Мигдал перевел без запинки.

— Более сдержанные, — повторил Саша. — У меня есть одна очень важная для меня работа 82-го года, я ее назвал «Полдень», но она в мастерской. К сожалению, вы не смогли туда заехать. Там пошел более широкий мазок. Это была последняя работа до того, как я уехал резаться, — простенько сообщил он. — Было жалко уезжать в неизвестность, но теперь я вернулся, и результаты здесь, перед вами.

Пару месяцев назад, придя к Лене, полузнакомой еще, я сказала:

— Лена, я хочу, чтобы вы знали. У Саши со здоровьем очень нестойко. Врачи предупредили меня, что операция лишь продлила ему жизнь и что любое напряжение в любой момент может его убить. Ему нельзя курить, ему опасны перегрузки. Никто из его друзей не думает об этом. Да он и не хочет этого

и ведет себя так, чтобы все думали, что он совершенно здоров. Но я хочу, чтобы вы это знали.

* * *

— Ну, и где ваши работы? — спросила Баира, отпив саке и отправляя в рот очередное суши.

Они сидели за круглой стойкой японского ресторана, наблюдая за движениями фокусника-японца, изготавливающего на их глазах эти изысканные рыбные «пирожные». Они были совершенно одни в зале — Баира, ее племянник Махмуд, молодой мужчина с пышными усами на безвольном лице, и Альбина с Яной. Хозяин ресторана, приятель Баиры, согласился обслужить их в свой выходной день. Мумиеобразный, но жизнерадостный японец метал сидящим за стойкой у бара рыбные лодочки с рисовым дном и чем-то непередаваемо нежным сверху.

Баира, едва усевшись на высокий стул, словно встряхнувшаяся после купания собака, разом отмела в сторону проблемы бизнеса и усталость. Она балагурила с хозяином и приставала к простодушному племяннику.

— Ты что кольца строишь? — голосом застарелого курильщика кричала она, увидев, что Махмуд делает конструкции из тщательно накрахмаленных белых салфеток. — Wedding хочешь? — поглядывая на Яну, резвилась она.

— Ну, и где ваши работы? — повторила она.

— Он от меня прячется, — сказала Альбина, — неделю назад мы договорились, что он привезет работы. Я звоню каждый день по два раза, никто никогда не отвечает.

— Он над вами издевается, — стукнув стаканчиком саке о стойку, взъярилась Баира. — Он плевать на вас хотел. Вам ведь скоро уезжать.

— Я поменяла билеты на три недели позже, — объявила Альбина, — но ему незачем это знать.

— Мы сейчас вот что сделаем, — скомандовала Баира, — мы здесь закончим и поедем ко мне домой. Я ему, подлецу, позвоню и скажу, что хочу купить у него работу. Он через пять минут объявится, могу поспорить.

В этот раз она не облачилась сразу в передник, а, схватив телефонную трубку, зарокотала туда по-английски: «Алло, мистер Мигдал, мое имя миссис Сэллс, телефон такой-то. Я хочу поговорить с вами о покупке нескольких картин, перезвоните, пожалуйста».

Ее гортанный голос еще отдавался неопределенным эхом, когда телефон издал резкий звонок.

— Здравствуйте, мистер Мигдал, я хочу с вами встретиться и посмотреть работы, — интеллигентно запела Баира в роли благовоспитанной миссис Сэллс и вдруг, мгновенно переключив скорость и перевоплотившись в свою хищную тезку из «Книги джунглей» Киплинга, взревела басом.

— Немедленно верните работы Альбине. Вы что, думаете, она такая беззащитная? Перестаньте издеваться над женщиной. Ей скоро уезжать, а вы от нее прячетесь. Вы думаете, что ее никто не защитит? Да у нее полно друзей. Завтра же отдавайте работы, я за этим прослежу, — захлебнувшись криком, она бросила трубку.

Возвратившись домой, они нашли записку от Джуди: «Your friend Mark called. He promised to call you tomorrow morning».

Марк действительно позвонил в полдень на следующий день.

— Как тебе не стыдно, — верещал он. — Ты обещала не продавать работы, а сама хочешь продать их этой миссис Сэллс, ты ее на меня натравила... Ты меня обманывала. Я столько сделал, я только что приехал из Лос-Анджелеса, парился там два дня, тратил большие деньги, чтобы найти работы. Я это делал из уважения к Саше. У меня такие огромные расходы, пока я достал эти четыре работы.

— Почему четыре? — изумилась Альбина. — Ведь работ всего шесть.

— Я оставил себе на покрытие расходов «Лодки и дерево», а «Пейзаж с красным деревом» я у Саши купил.

— Я первый раз об этом слышу, — изумилась Альбина. — Саша никогда не продавал «Пейзаж с красным деревом».

— Ты что, думаешь, мне просто было туда ехать и ковыряться во всех этих crates[1]? — вызверился Мигдал. — Ты такая же неблагодарная, как твоя подруга Фигурина.

Альбина ошеломленно смотрела на трубку, из которой неслись короткие гудки.

* * *

Баира определенно страдала какой-то искаженной формой ностальгии. Вокруг нее роился кружок разношерстных российских граждан. В ресторане работала неопрятная Зина из Белоруссии. Каждый день выпить кофе являлась молодая пара, вынужденная бежать из Москвы от преследования компаньонов-бандитов. Женщина была беременна на большом сроке.

— Мы не собираемся жить, как живут наши эмигранты. Это не жизнь, а прозябание, — надменно говорила она. — Мы будем жить на совершенно другом уровне.

На вечеринке, которую Баира устроила в честь какого-то Виктора с женой, приехали две молодые женщины-москвички, Сайран и Ольга.

Сайран, вульгарная девица в коротком красном платье, напившись обязательной водки, с громким хохотом схватила отбивающуюся Ольгу и насильственно «урезала» с ней дурацкий и несмешной танец.

Ольга, высокая, с дымчатыми глазами и необыкновенно стройной фигурой, до приезда в Америку работала манекенщицей у Кардена в Париже. А теперь устроилась в галерею Грановского, взявшего это дело из рук Нахамкина, печально известного российским художникам особо изощренной формой жульничества. Как оказалось, Грановский недалеко ушел от патрона. Альбина с Яной посетили его галерею, находящуюся в самом центре Сан-Франциско. Там висела старая работа Овчинникова, много работ Окштейна в огромных роскошнейших рамах. На одной из них была изображена гигантская женская физиономия в темных очках. Стоили

[1] Crate (англ.) — ящик.

подобные работы, как прокомментировал позже Алек Рапопорт, порядка шестидесяти тысяч долларов.

Ольга в прелестном черном брючном костюме нежно приставала к заходящим мужчинам, разъясняя ценность галерейных работ. Она даже выбегала на улицу и затаскивала внутрь случайно остановившихся у витрин прохожих.

— Грановский говорит, — сообщила она Альбине, — что Гуревич пишет тяжело, и его не будут покупать.

— А ты не отвергай Махмуда, — советовала она Яне. — Он очень хороший.

— Кроме того, что хороший, надо еще иметь кое-что, — огрызнулась Яна, и без того раздраженная матримониальными намеками Баиры.

— Ну что ты, я же ничего не имею в виду. Просто у нас у всех нет денег. Если он пригласит, не отказывайся, только и всего, сходи с ним куда-нибудь, — говорила она миролюбиво, не понимая агрессии.

От нее невозможно было оторвать взгляд. Ее глаза темно-янтарного цвета были опущены уголками вниз, головка изящно, с деланной небрежностью подстрижена. Зачарованные клиенты мужского пола тянулись за ней словно дети за дудочкой Крысолова. Но она как будто не ведала своей силы:

— Я ему работы показываю, а она от меня мужа оттаскивает, — недоумевая, делилась она на вечеринке у Баиры опытом работы с клиентами.

* * *

Саша Манусов не дожил до того момента, когда Пушкинская, 10 из реликтового заповедника неофициальных художников превратилась в миниатюрную копию ЛОСХа. Правда, еще в период борьбы за выживание художники создали Совет ТЭИИ, куда выбирали наиболее доверенных ребят. Эти пять-шесть человек и занимались отстаиванием прав неофициалов, в основном, их правом выставляться. Мастерские имелись у немногих счастливчиков. Кое-кто ухитрялся по договоренности с управдомом занять непригодную к жилью мансарду, чердак или сырой подвал. У кого-то были совместные мастерские, которые оформляли на свое имя члены Союза, когда-то учившиеся

с отверженными в одних и тех же художественных школах и вузах.

У Саши Манусова и была одна из таких мастерских, оформленная на имя талантливого архитектора Володи Ривлина. Она была расположена очень далеко от дома на пересечении двух улиц: Ординарной и Большой Зеленина. Помещение находилось на последнем, чердачном этаже дома, и взбираться туда приходилось по черной лестнице со двора. Наверх вели ровно 148 ступеней. Света на лестнице не было. Окрестные алкаши использовали темное пространство в качестве туалета, так что подъем практически вслепую был рискованным предприятием. Саша двигался неторопливо, с уверенностью топографа предлагая не вступать в определенный угол или держаться ближе к перилам лестницы на третьем этаже. Клапан, вживленный ему во время операции, звенел нечастым, каким-то хрустальным звоном, иногда темп резко убыстрялся, и тогда Саша, остановившись у окна, неспешно рассказывал анекдот, давая себе и другим передышку. Мастерская состояла из двух комнат и узкого коридорчика с древней раковиной. В торце коридорчика стоял шаткий стол, за которым происходили чаепития.

Когда вдруг открылась возможность вселения на Пушкинскую, в старый, назначенный на капитальный ремонт дом, из которого выехали жильцы, Саша искренне порадовался за друзей, потоком хлынувших занимать пустующие пространства. Сам он менять мастерскую не собирался.

Пушкинская, 10 той поры была яркой иллюстрацией перемен в обществе в период перестройки. Огромную часть помещений занимали размножившиеся, как грибы, кооперативы. В грязный развороченный двор тянулись грузовики, из которых крепкие молодые парни выносили груды запечатанных ящиков. С улицы в подвальчик справа от ворот змеилась очередь немытых, плохо пахнущих людей обоего пола. По инициативе активного члена совета ТЭИИ, к тому времени депутата городского собрания Петербурга Юлия Рыбакова, здесь была организована столовая для бомжей.

Поев, бомжи слонялись по парадным дома, справляя естественные нужды. Однажды хрупкая субтильная Лена Фигурина, спускаясь вниз из своей мастерской, находящейся на шестом этаже здания, наткнулась на бомжа с интеллигентным

лицом, сидевшего со спущенными штанами посреди лестницы. Оба пришли в ужас. Сюда же, в этот двор, впархивали стайки гигиенических иностранцев. Их интересовали художники. Работы многих из них бойко раскупались. Дверь мастерской Лены Фигуриной почти не закрывалась. Несколько раз в день к ней являлись заморские гости. Им все казалось экзотикой. И вид из окна на грязные крыши, и то, что в мастерской не было ни воды, ни света.

— Какая жизнерадостная работа, какие яркие краски, — восхищалась группа скандинавов, столпившихся вокруг триптиха «Отражения». Полная трагизма работа была посвящена памяти недавно погибшей близкой подруги Елены.

Именно сюда, на Пушкинскую, и привел Мигдал Селму Холо и ее жениха Фреда Кротона.

Они посетили здесь мастерские Сергея Ковальского, Евгения и Игоря Орловых, Глеба Богомолова, Валентина Герасименко, Елены Фигуриной, Рихарда Васми и Шолома Шварца. Работы этих художников были взяты для выставки, патетически нареченной «Хранители огня», и включены в каталог. Кроме этих ребят, Мигдал с гостями побывал у Гены Устюгова, Владимира Шинкарева, Наташи Жилиной, Славы Афоничева, Алексея Вермишева, Лены и Славы Шевеленко, Боба Кошелохова и множества других. Почти из каждой мастерской выволакивалось и складывалось в грузовичок, нанятый Мигдалом, изрядное количество картин. Работы эти, минимально оцененные с помощью друзей в Лавке художника на Невском, отбыли на чужбину на палубе огромного парома.

* * *

После инцидента с Баирой Мигдал исчез из поля зрения.

— Вы ему звонили еще раз? — волновалась Баира.

— Звонила, он сказал, что привезет в Сан-Франциско работы через два дня. Уже прошло четыре. И он привез только четыре работы из шести, — мрачно говорила Альбина. — Завтра после того, как Яна отработает, мы поедем в Пало-Алто на автобусе и прямо явимся к нему домой, другого выхода нет.

Знакомые рекомендовали Яну в богатый дом, где требовался бэбиситтер к девочке двух лет. Хозяин дома, миллионер по имени Фред, худощавый высокий брюнет, работал на нью-йоркской бирже и, чтобы попасть в ритм со временем в Big Apple[1], вынужден был вставать каждый день в четыре часа утра. У Фреда был дом на семи уровнях, у самого залива, и четверо детей. Четвертую, девочку, которой к этому времени исполнилось два года, ему родила новая жена Кати, до того работавшая танцовщицей на Гавайях. Ей было сорок лет, и она находилась в прекрасной физической форме. Через год она родила еще и мальчика. Трое подростков отлично ладили с мачехой. Их собственная мать раз в неделю приезжала навестить детей. Альбине нравился простой уклад этого дома. Кати была очень демократичной женщиной с легким характером. Она с большой деликатностью относилась к работавшим в доме людям. Каждый день посыльный из ресторана привозил на дом изысканные обеды. Дом находился в Бельведере, жемчужине Marin County, где жили очень богатые люди. По улицам городка курсировали полицейские машины и новых, непривычных глазу блюстителей порядка людей, тщательно опрашивали. Позднее, когда Яна осталась на год в Калифорнии, Кати оборудовала для нее крохотную квартирку в первом этаже дома, купила мебель и телевизор.

— Thank you for your daughter, Albina, — говорила она, — she is very sweet. And she fits our family very much.

Она всегда встречала Яну у автобусной остановки и подвозила ее обратно. И все это с ясной улыбкой, никогда не жалуясь на то, что ей приходится целый день развозить по школам и другим занятиям трех тинейджеров и еще заниматься воспитанием дочери.

В этом, очень богатом доме, все было просто обставлено и ванны с туалетом были самые обычные, белого цвета, очень опрятные. Никаких джакузи, ставших для новых русских символом роскоши, здесь не наблюдалось.

Город в сумерках со стороны Бельведера был как хрустальный Золушкин башмачок. Вода залива, пахнущая свежестью, была такой прозрачной, что даже в темноте виднелись камни на дне.

---

[1] Big Apple — так именуют Нью-Йорк в США.

* * *

Существует мнение, что Пало-Алто — красивый, дорогой городок, расположенный на берегу океана. Что в нем поселяются лишь очень обеспеченные люди, которые могут себе позволить купить здесь жилье. Что в нем расположена штаб-квартира всемирно известной фирмы Hewlett Packard и что там изумительные рестораны и большой красоты местность.

Ничего этого Яна с Альбиной не заметили. Видели они, в основном, переплетения дорог, грохочущие огромные грузовики, неказистые одноэтажные строения. В районе обитания Мигдала было много некрупных домов, окруженных зеленью. У самого Мигдала, представлявшимся им теперь чем-то средним между оперным злодеем и шкодливым тинейджером, убегающим от соседа с украденной банкой пива в руках, домик был маленький и тоже неказистый. Зато в гараже стояли четыре машины марки «Вольво». У него было явное пристрастие к европейской технике. В период дружбанства он сентиментально повествовал о жизни в Германии, в Мюнхене, где познакомился с Александром Галичем.

— Когда Галич уезжал в Париж, — доверительно сообщал он, — я предложил ему дешево купить у меня приемник с колонками, магнитофон, ну, словом, всю эту аппаратуру. И мне так не по себе становится, — слегка понизив голос и подзакатив глаза, вещал он дальше, — ведь именно около этой аппаратуры его и нашли мертвым. Вы можете представить, как я себя тогда чувствовал?

Все тем же пониженным голосом он делился впечатлениями от встречи с вдовой художника Арефьева Жанной. Встреча состоялась в Германии.

— Мы встретились в ресторане за обедом, обсудили наши дела, я заказал разные вкусные блюда, — голос звучал интимно и приглушенно, создавая впечатление, что он делится этим с самыми доверенными и близкими людьми. — Мы пообщались, договорились обо всем, и я пошел к выходу, потом оглянулся и увидел, что она у стола быстро-быстро запихивает себе в сумочку остатки еды. И мне стало так не по себе. Она, видимо, голодает.

В его голосе легко прочитывалось скорбное удовлетворение.

Было уже совсем темно, когда они подъехали к дому Марка. На автобусном вокзале их встретил молодой человек по имени Миша, чем-то глубоко обязанный Рувиму. Он недавно приехал из Петербурга и выглядел растерянным. Он, как и многие другие, не ожидал тех трудностей, которые сваливаются на голову новичков, приехавших в Америку в одиночку и без всякой материальной базы.

Из Сан-Франциско они выехали много позже, чем ожидалось, поскольку в доме Кати несколько светских дам организовали вечер, посвященной проблеме абортов, и Кати попросила Яну задержаться до окончания действа. Раздраженной Альбине казалось, что это никогда не кончится. Она не могла толком понять, чего добивались беззаботные, мающиеся ничегонеделанием дамы — запрещения абортов или наоборот. Скорее всего это был второй вариант, поскольку Калифорния всегда славилась обилием «вольнодумствующих» и обеспеченных демократов.

В домике, который они нашли не без труда, горел свет, и в гараже стояли три машины марки «Вольво».

Дверь открыла Диана, жена Мигдала. На лице молодой женщины выразилось смятение.

— Его нет, и я не знаю, когда он вернется, — запинаясь, пробормотала она.

— Можно мы подождем здесь? — спросила Альбина. — Мы приехали из Сан-Франциско, уже поздно, ночевать мы будем у друзей в Пало-Алто, мы не поедем обратно. Может быть, Марк скоро появится.

Все чувства, испытываемые порядочным человеком, которому приходится прилюдно врать, отразились на лице Дианы. Это было хорошее лицо воспитанной на религиозных и нравственных ценностях американки.

Она стала накручивать диск телефона и что-то быстро наговаривать в трубку. Видимо, она оставляла сообщение.

Через минуту раздался звонок. Выслушав тираду и наглядно изменившись в лице, она еще раз пробормотала:

— Он очень занят делами и находится сейчас далеко от Пало-Алто. Он, может быть, не приедет совсем или приедет поздно ночью. Вы хотите выпить чаю или кофе? — спросила она.

— Спасибо, мы, пожалуй, поедем. Попросите Марка позвонить нам по этому телефону. Мы будем у наших друзей ждать звонка завтра. С самого утра, — сказала Альбина. — До свидания.

Плохо освещенной улицей они двинулись обратно. Уличные фонари здесь отсутствовали. Свет в окнах маленьких коттеджей постепенно погасал. Движения на улице не было. Правда, навстречу, мигая фарами, мчалась машина. Когда она поравнялась с ними, Миша внезапно вскрикнул:

— Посмотрите, это не он?

В пронесшейся мимо машине, низко пригнувшись к рулю, со злобно искаженным в нетерпении лицом сидел припозднившийся. Миша с трудом развернулся.

Когда они вошли в дом, Марк еще не успел сесть за стол, где была спешно поставлена какая-то еда. На протяжении его речи оба, и он, и его жена, стояли. Речь длилась бесконечно. Это был монолог подвижника, посвятившего себя служению искусству и потрясенного людской неблагодарностью. Перечислялись его жертвы, финансовые и нравственные, воспевалось его стремление «делать добро» для всех художников, осуждалось вероломство приезжих. Ключевым мотивом звучало то, что все участники выставки должны «contribute». Диана не проронила ни слова, только жестом предложила пришельцам сесть, чего они не сделали. Словоизвержение продолжалось. Они стояли, понимая неуместность диалога и глядя на короткую фигуру, вздымающиеся в жестикуляции руки, лицо, похожее на резиновые физиономии, которыми забавляются дети, надев их на руку и движениями пальцев управляя мимикой. Сходство с этими рожами было невероятным. На этом лице, казалось, двигалось все: уши еще больше оттопыривались, рот съезжал на сторону, глаза стали щелками. Работы на стенах словно съежились от чудовищной ауры, возникшей в помещении. Особенно невмоготу было автопортрету Шолома Шварца. Лицо худож-

ника, изображенное темными глубокими напластованиями красок, выражало запредельное страдание.

Не говоря ни слова, Альбина повернулась к двери. Миша с Яной последовали за ней.

— Как вы поняли, что это он? — спросила Альбина в машине.

— Я увидел лицо плута, — последовал ответ.

* * *

Когда пошел косяк разрешенных выставок в ЛДМ, я невольно ввинтилась в воронку их притягательной суеты. Саша весной обычно отбывал на лечение в Литву, и мы с Сашей Бихтером пешком относили работы их двоих во Дворец молодежи, здание, предназначенное для ликования под оком администрации юношей и девушек, и тылом своим взирающее на Каменный остров. Это был боксерский ринг, где немалая, правда, горстка художников колотилась о силовую структуру, именуемую Управлением культуры.

Преодолев 148 ступеней черной лестницы и обретя дыхание после инквизиции подъема, мы отбирали нужные холсты. Саша виртуозно, как все художники, обвивал их веревкой, и шествие начиналось. Мы двигались узкими каскадами лестничных пролетов, где амброзия устоявшихся гнилостных запахов впитывала в себя еще и затхлый воздух из подвала с водой. Улица Большая Зеленина, будучи ввергнутой в пучину хронического ремонта, представлялась улочкой средневекового города. Миновав ее, мы вступали в нечленораздельность переулков, где бродил когда-то Александр Блок, и, наконец, выбирались на свободное пространство возле Дворца.

Выставочным залом это называлось условно. Некрупное помещение, где максимум художников пытался представить максимум же работ всех направлений. Вавилонскую башню искусства строили тысячи языков, однако, языки эти не смешивались. Здесь были «основоположники» авангарда, участники квартирных выставок, гремевшие еще с Газа и «Невского», художники, доселе лишь слабо выражавшие себя и вдруг озаренные возможностью выставиться. Примитивисты, концептуалисты, сюрреалисты, графики, живописцы, скульпторы,

керамисты, коллажисты, последователи почти всех течений мирового искусства... Это были выставки с детективным душком. Репрессии по поводу выставленных здесь работ могли проистекать сразу с нескольких направлений: отдела по искусству КГБ, который курировал майор Коршунов, занимавший после начала «упадка», то есть перестройки, пост председателя исполкома Петроградского района, но уже под истинной своей фамилией Кошелев; Управления культуры, имя директрисы которого, Мудровой, вызывало озноб у художников; дирекции Дворца молодежи, по указанию свыше временами впадающей в праведный гнев.

Представленным работам не было числа. Специально выбранный художественный совет пытался как-то разобраться в наплыве картин. Многие художники уходили разочарованными: их работы не брали на выставку. Один из Сашиных друзей, которому отказали, сокрушенно говорил: «Это не худсовет, а групповой полковник Каддафи. Главное, что их интересует, это есть ли в работе эксперимент».

Однажды, когда мы, пыхтя, внесли с Сашей Бихтером работы в зал, забитый стоящими у стен холстами, к нам подошел скульптор Юра Гуров. Это был очень талантливый человек, высокий, худой, с лунатическим взглядом. Он меланхолически протянул руку к одной из Сашиных работ и приготовился к ее рассмотрению.

— Ты что тут делаешь? — строго вопросил Женя Орлов, член совета ТЭИИ, которого я едва знала в то время. Он подошел, вернее подлетел к Гурову и вынул из его руки картину. — Это же Саша Манусов. Что ты здесь проверяешь?

Гуров кротко молчал.

— Ты что, не знаешь Сашу Манусова? — не повышая интонации, подбавил металла в голос Орлов.

— Нет, — тихо ответил Юра.

— Ну и иди отсюда, — негромко, но с нарастающей экспрессией озлился Женя.

Гуров побрел прочь. На выставках он бродил в белой рубахе с распахнутым широко воротом. На груди его вызывающе болтался огромный православный крест, что вызывало нарекания и злобу дефилирующих сквозь толпу милиционеров.

В 90-х годах Юрий Гуров отбыл на проживание в Париж и вернулся в Петербург к открытию своей выставки в Этнографическом музее. В ночь после открытия выставки его нашли мертвым на шоссе, ведущем к его родному городу Себеж, что в Псковской области. Смерть его была насильственной.

* * *

— Ну как дела с твоими работами? Есть новости? — в этот раз сиплая скороговорка Ричарда Фраумени не грешила нотами оптимизма. В его голосе царила вялость больного, только что очнувшегося в реанимации после глубокого наркоза.

— У меня все по-старому, — отвечала она, — работы у него дома, но он не отдает и прячется от меня. Застать его невозможно. А ты как? Получил работы Фигуриной?

— Он мне сделал страшную подлость, — угрюмо сказал Ричард, — я выяснил, что он незаконно имеет зеленую карту, и имел неосторожность сказать ему об этом. А он написал донос моему начальству, и меня из-за этого увольняют. Ты не надейся его победить. Ты никогда не получишь свои работы.

* * *

Упомянутая в начале этих заметок американская художница Барбара Хазард — добрый гений неофициальных художников Ленинграда. Впервые она приехала в Советский Союз в середине 80-х годов и непостижимым образом мгновенно внедрилась в разнородный коллектив неофициальных художников. С их помощью ей удалось невероятное — вывезти множество работ нонконформистов и устроить первую выставку их искусства в Соединенных Штатах. Выставка прошла в небольшом калифорнийском городке Пойнт Рэйс. Позже ею была написана книга, где Барбара излагала свои впечатления от соприкосновения с советской реальностью. Впечатления нормального человека, изумленного абсурдностью и кафкианским окрасом ситуации.

Она позвонила Альбине поздно вечером.

— Я хочу встретиться с тобой, у меня есть какие-то письма, Лена просила их дать для тебя, — сказала она на своем нелегком русском.

— Художники начинают возбуждаться, — сказала Барбара, бережно поворачивая руль. Она почему-то любила это слово и однажды написала записку спящему за стенкой соседу по мастерской на старой Пушкинской Жене Тыкоцкому: «Женья, возбудись, сюда придут покупатели из Голландии».

Они ехали в Аквариум, чтобы обозреть это гигантское вместилище океанических рыб и после этого где-нибудь перекусить и поговорить.

Альбина смотрела на неправдоподобное совершенство моста Golden Gate, на бугорки машин, аккуратно одолевающих эту иллюзию дугообразного пространства. Все здесь было в сиянии, сверкании, мелькании, ожидании. Все, кроме Саши, всегда готового к радости. И весь этот пожизненный карнавал вдруг показался неуместным, и проблема Мигдала, мысли о картинах застили блеск вечного праздника.

В Аквариуме оказалось, что огромные рыбы, таинственные, многозначительные создания, обладали каждая своим лицом. Дельфины абсолютно располагали к себе выражением физиономии, осмысленным и мажорным.

— Тебе полегче сейчас? — зорко взглянула на нее Барбара, когда они сели за столик в ближайшем кафе, и вынула конверт. — Здесь письма. Я их получила по факсу. Лена просила дать тебе. Тут еще письмо Мигдала для нее. И Толя Васильев прислал мне письмо. Я его должна передать Марку. Возьми, я сделала копию. И мне тоже звонил Ричард Фраумени. Я не думаю, что он самый приятный, он какой-то нервный, не говорит, а кричит, и, может, он vulgar, ну совсем как Мигдал, — продолжила Барбара, словно извиняясь, — но у Лены нет другой возможности получить работы, Ричард все время ездит в Россию. А я только раз за год, — с печалью добавила она.

— Я знаю, ты грустная из-за Саши. У меня была очень близкая подруга, и она умерла. Тут есть один человек в Беркли, который сказал мне, что я могу с ней соединиться, ну не с ней, а с ее духом. И вот она появилась и сказала, что я могу спрашивать ее через этого человека. И что скоро

она уходит выше. И это только одно время, когда я могу с ней поговорить. Я ее сразу спросила: «А мы увидимся?» И она сказала: «Да». Потом я ее спросила: «А есть ли у меня ангел-хранитель?» Она сказала, что есть, это был мой брат, его звали Афанасий. Она сказала, что в прошлой жизни я жила в России, в Одессе, и я была молодая девушка и погибла там. Я спасала какого-то человека из пожара, и я его спасла и сама погибла.

Она замолчала, и Альбина подумала, что если действительно существует карма, то безбедная и благополучная жизнь Барбары — справедливое и, может быть, даже слишком малое воздаяние за прошлые муки.

— И ты почитай эти письма, ты не одна, они хотят тебя защитить, — улыбка Барбары часто казалась Альбине улыбкой самого ангела милосердия.

На обратном пути в мерцающей ряби воды отражалась ныряющее в нее солнце, и чайки, стелющиеся над водой, с воплями полосовали эту рябь своими мощными крыльями.

* * *

В доме Шэфферов появился щенок. Джей, младший сын, давно мечтал об этом. Подавшись вперед, он выслушивал рассказы Яны о ее любимой собаке Тоби в Петербурге. Искорки печали вспыхивали в его одуряюще синих глазах. Он жил в состоянии глубокой меланхолии.

— Джей, почему ты такой грустный? — спрашивали его временами Альбина и Яна.

— Tired (устал), — отвечал он мрачно, но доверительно, словно делился бедой с близким человеком. Он казался замурованным в коконе своего одиночества.

В этом отполированном до неправдоподобия доме представить себе четвероногое существо было невозможно. В нарядной гостиной, так же, как у Сэма, на журнальном столике лежали две книги по искусству. Никто никогда их не раскрывал. В огромной кухне-столовой на высокой подставке лежал толстенный словарь Webster. Иногда, во время ставших более редкими общих обедов, Джуди спрашивала:

— Яна, какие слова ты сегодня выучила?

Имелись в виду занятия Яны в учебном центре Стенли-Каплан.

— Я сегодня разбиралась с несколькими словами, — говорила Яна и перечисляла их.

В семействе воцарялось глубокое искреннее недоумение.

— А что это значит? — мило улыбалась Джуди.

Яна объясняла.

— Не может быть, — восклицала Джуди, и семейство стройной вереницей направлялось к Webster'у.

Не было случая, чтобы правота Яны не подтвердилась.

— Как мне жаль Джея, — переживала Яна, — никогда Джуди не позволит, чтобы здесь бегал песик, собаки линяют, а прислуга приходит только два раза в неделю.

И все же собака появилась. Видимо, Мартин, будучи психотерапевтом, понял, что без этого лекарства сыну не обойтись.

Когда Альбина после встречи с Барбарой вернулась в дом, наверху слышалось постукивание коготков и радостные крики мальчика. Это был крошечный бело-рыжий детеныш кокер-спаниеля, весь умещающийся на ладошке ликующего Джея.

Вечером, когда семейство разошлось по комнатам, горестный плач понесся сверху. Щенка оставили в кухне и закрыли там. Ситуация повторилась на следующий день и еще, и еще. В гостевом помещении, расположенном точно под кухней, рыдания несчастного малыша были прекрасно слышны. Он плакал, подвывал, бегал по кухонным девственно чистым плиткам, скребся в дверь.

На четвертый день Джей спустился по лестнице и постучался к гостям.

— Яна, — обратился он к ней, — посоветуй, что делать, у тебя ведь есть собака. Почему он не спит ночью?

— Джей, — сказала Яна, — ему всего два месяца, он бэби еще. И его забрали от мамы. Ему страшно одному, он боится. Почему ты не возьмешь его к себе в комнату? Он тогда успокоится.

— Мама говорит, что он все испачкает, потому что везде ковер, а в кухне плитки. Мама говорит, что он должен спать в кухне, пока не вырастет.

И тут Яна сказала непозволительное:

— Джей, мне вас очень жаль. Вы — жертвы вашего красивого дома («you are victims of your beautiful house»).

Джуди прибежала через десять минут:

— Яна, ты не должна была говорить это Джею, — сказала она напряженным голосом, изо всей силы стараясь не выходить из облика цивилизованной дамы. Ей удавалось это с трудом. — Он необычайно расстроен. Эта собака скоро привыкнет находиться в кухне. Мы не можем себе позволить держать его в наших спальнях, пачкать там ковер. Я никак не ожидала, что ты скажешь Джею такую жестокую вещь.

Овладев, наконец, собой и вымученно улыбаясь, она двинулась вверх по лестнице.

— Это наша большая ошибка, зайка, — раздумчиво сказала Альбина, — безумно жалко малышку, но мы действительно не имеем права вторгаться в такие ситуации. Дом в Америке — это не просто фетиш, это знак реализованной мечты, исполнение почти религиозного обета. А тем более дом в Калифорнии, а тем более такой дом, как этот. Помнишь, как Мартин рассказывал, в каком убогом жилище они обитали в Чикаго, когда он был ребенком и как он добавил: «Я тогда дал себе слово, что, когда я вырасту и выучусь, у меня будет большой и красивый дом». И вот теперь у него есть этот дом. И в этом доме по этому поводу мы с ними никогда не найдем общего языка. И я считаю, что это несомненное геройство со стороны Джуди приютить нас здесь. Так что давай не будем судить, хоть и очень хочется. А малыша ой как жалко.

* * *

— Может быть, вам стоит поговорить с Алексаняном, у которого Мигдал работает? — спросил Рувим во время очередной встречи. — Это очень богатый человек, у него, насколько я понимаю, удачный бизнес, и, как я слышал еще,

он собирался выгонять Марка. Он его держал только потому, что Марк вроде как родственник, двоюродный брат его жены. Может, уже и выгнал. Миша поможет вам найти его контору. Но вам лучше поехать пораньше, с утра.

Путешествия в Пало-Альто вошли в обыденность. Уже не было проблемы с автобусным расписанием, не раздражали остановки на каждом углу, растягивающие время путешествия до максимума. Офис Алексаняна находился не в самой привлекательной части города, среди других таких же неказистых одноэтажных сарайчиков. Миша, боязливо озираясь, довез их до места.

— Вы идите прямо и сворачивайте налево, там он и будет, его офис, его фирма называется Valtex. Пожалуйста, не упоминайте мое имя ни в коем случае, я не хочу от них неприятностей.

Старенькая машина, ловко вильнув в проулочек, развернулась и, побрякивая какими-то железками в багажнике, исчезла из виду.

— Можно подумать, что этот человек здешний дон, они, может, ему и ручки целуют, — бурчала Яна, следуя извилистой тропкой. — Все наши здесь, наверно, от него зависят.

В маленьком домишке за столиком сидела долговязая секретарша.

— Мистер Алексанян еще не приехал, — вежливо сказала она, — хотите подождать?

— Do you like anything to drink? Please help yourself, — говорила она, указывая на столик с кофеваркой, полной коричневой жидкости, и на кипятильник рядом.

— Спасибо, мы подождем на улице, — сказала Альбина.

Ждать пришлось долго. Деловой пейзаж вокруг обескураживал своей тоскливостью. Маленькие домики, теснящиеся друг к другу, больше смахивали на дощатые сарайчики. Зелени почти не было. С проезжей дороги доносился надоедный гул грузовиков. Появление тощей кошки возле одного из строений немного оживило ситуацию. Держа на руках котяру, мирно позволявшую себя оглаживать, Яна продолжала зорко вглядываться в домишко Алексаняна. Один раз они

даже зашли внутрь, надеясь, что капиталист явился каким-то другим путем.

— Мистер Алексанян просил узнать ваши имена, — не снижая уровня благожелательности, сказала секретарша, — он приедет через час. Вы хотите подождать здесь?

— Спасибо, нет, — сказали они, — мы уже просидели почти три часа в автобусе, не хочется сидеть еще час, мы лучше пройдемся.

Грохот и рев грузовиков уверенно владели пространством. В тоскливом индустриальном пейзаже не просматривалось никаких заведений, где можно было перекусить.

— Давай спросим, где тут можно поесть вот в этом домике, — предложила Яна, указывая на постройку, облепленную множеством грузовиков.

Внутри оказалось на редкость уютно — мягкие кресла, запах каких-то овощей, фотографии животных на стенах. Хозяйка, в тон заведению одетая в обыкновенное домашнее серое платье с мелкими пуговками, вкушала ланч.

— Здесь ничего нет поблизости, это жуткое место, — сказала она с акцентом, — но я могу с вами поделиться, здесь овощи, я их готовила дома, и вот чай и кофе. Не стесняйтесь, — заулыбалась она. — Меня зовут Магда, я из Германии. Мы там предпочитаем домашнюю еду.

— Это мой бизнес теперь, когда муж умер, — продолжала она. — Уже два года, как я этим занимаюсь. Грузовыми перевозками, — обреченно произнесла женщина. — Трудно невероятно. А что вы здесь делаете? Вы же из Европы тоже? И вы овдовели недавно? Вам не отдают картины вашего мужа? Эти подлецы мужчины! Знаете, что я заметила? Как только женщина становится вдовой, все норовят ее обобрать и обидеть. У меня столько было огорчений после смерти мужа. Я почти осталась нищей, спасибо подруге, она мне помогла деньгами. Теперь у меня уже больше опыта. И вы не давайте себя провести.

Двое водителей с квитанциями в руках зашли внутрь. Их громоздкие фигуры словно поглотили умеренное пространство домика.

Поставив чашки на стол и хором сказав спасибо, Яна с Альбиной пошли к выходу.

— Возьмите мою визитку, — прокричала им вслед хозяйка, — вдруг вам понадобится помощь. Звоните в любое время.

* * *

Алексанян оказался очень маленьким человеком с настороженным взглядом и какой-то эмоциональной заштрихованностью в выражении лица. Одет он был строго по-европейски.

— Я не знаю ничего об этом деле с картинами, — сказал он, сумрачно глядя на них близко посаженными к переносице глазами. Неуловимо ощущалось, что дела «родственника» не приводят его в восторг.

— Марк не появляется у меня на работе уже неделю. Да, я, конечно, знаю, что он устраивал эту выставку и что у него в доме полно работ, даже под кроватью.

Внезапно его защитная оболочка дала трещину, и он заговорил о работах Лены Фигуриной.

— Я просил у него продать мне работу Фигуриной, но он почему-то не согласился, предпочел держать картины под кроватью, — едко сказал он. — Я коллекционирую работы, в моем доме хорошие условия для них.

— А почему вы не свяжетесь с Леной напрямую по телефону? Вы могли бы купить у нее работу во время поездки в Россию, — сказала Альбина.

— Вы знаете, — вдруг окончательно очнувшись от гипнотического сна, быстро произнес он, — в его офисе, в этом же доме, я через окно видел какие-то коробки. Пойдемте посмотрим, ключа у меня нет, но мы заглянем в окно. Может быть, это работы вашего мужа.

В крошечной комнате со стоящим в углу столом все пространство занимали два крупных ящика.

— Я уверена, что это и есть Сашины работы, — сказала Альбина, — но Марк от меня прячется. Нам придется приехать сюда еще не один раз. Я не вижу другого выхода, кроме одного — поговорить с ним лично. Просто посмотреть ему в глаза.

Обратно они ехали с комфортом в машине бизнесмена, который сетовал на российские нравы. По природе бизнеса ему приходилось часто бывать в России.

Помощи с родственником он не обещал. Высадив их в районе Mission Street, довольно далеко от места, где жили их друзья, и обретя прежнюю чопорность, он двинулся дальше. Альбина с Яной еще долго бежали сквозь серию пакгаузов, стремясь быстрее миновать пугающе безлюдную территорию. Начинало смеркаться.

* * *

Сидя в кафе под обеспокоенным оком носящейся с подносами Баиры, Альбина и Яна разглядывали переданные Барбарой бумаги. Ксерокс письма Мигдала Елене Фигуриной и ее ответ. На фоне кофейных запахов, чириканья клиентов, позвякивания крученых ложечек в вазонах с мороженым и хрипловатого смеха Баиры читалось невыразимо трудно, словно окунули лицом в бочку с помоями.

Лена, привет! — начиналось послание[1].

Последние пять дней меня практически беспрерывно бомбардирует звонками некий Richard Fraumeni. Я понимаю, что он твой друг и что ты доверила ему забрать от меня три твои работы. Но я хочу тебе сказать, что он ведет себя бесконечно нахально. Звонит мне в 1 час ночи, в 4 утра! Угрожает судом, адвокатами и т.д. Я не знаю, откуда ты его взяла и почему ты не могла все обсудить непосредственно со мной. Я еще никогда в жизни никого не обманывал и ты это знаешь не хуже меня, однако он делает впечатление, что ты мол считаешь, что я тебя собираюсь обокрасть или что-то в этом роде. Он уже несколько раз звонил Сельме и угрожал ей тоже. Угрожал, что будет звонить ректору университета, Джону Болту. Причем тут Джон Болт или Рэктор. Сельма, бедная, мне звонила и возмущенная и напуганная им. К счастью, две твои работы попали в Fisher и это относительно просто. Но твой Автопортрет в одном из ящиков, что пришли в феврале

[1] Орфография и синтаксис письма сохранены.

из Berman Museum. Если мне сейчас раскрывать их и искать твою одну работу, то мне надо специально лететь в Лос-Анджелес, нанимать грузчиков и подъемник, вытаскивать все ящики из подвала наверх и раскрывать их. Это безумная работа ради одной картины. Что это, вопрос жизни и смерти или просто наплевательское отношение к тому, сколько трудов все это будет стоить. К тому же его поведение настолько нахальное, бесцеремонное и возмутительное, что ничего вообще не хочется делать. Только представь себе на минуту, если б каждый из художников (прямо или через представителя) так бы себя вел. И со мной, да и с Сельмой. Сельма — святой человек! Сколько она сделала всего для нас! Откуда берется такая наглость еще и к ней приставать и угрожать. Короче, Лена, если это действительно дело ЖИЗНИ ИЛИ СМЕРТИ, и не может ждать, когда я буду открывать ящики для всех, то дай мне знать! Если ты можешь обойтись пока двумя работами, я поеду в Л. А. и отправлю их Richard-у.Ты меня, кстати, просила, что когда привезти тебе Автопортрет назад в Ленинград, то тогда ты говорила, что ты его никогда не будешь продавать. Если же ты изменила твои планы, то не порядочнее ли было бы дать МНЕ ВОЗМОЖНОСТЬ продать твои работы, вместо того, чтобы на них зарабатывал кто-то, кто ни времени, ни копейки не вложил в то, чтобы все эти работы и показывать и рекламировать. Короче, решай сама, но во всяком случае срочно позвони Richard-у и попроси его вести себя поприличнее. Если бы не Сельма, я бы с этим негодяем вообще по-другому разговаривал бы. Подумай, какой осадок у Сельмы, да и у всех, кто будет знать о его угрозах, останется от имения дела с Русскими художниками. Ведь такая молва в мешке не усидит. Подлая медвежья услуга всем другим ленинградским художникам — вот что такое! А что, если какой-нибудь другой директор, какого-нибудь другого музея размышляет: стоит или не стоит начинаться с каким-нибудь похожим проектом? Вот он позвонит Сельме за советом. Как ты думаешь, что она ему посоветует?

Короче, решай и дай мне знать.

Ну пока, Марк

И ответ Елены:

Добрый день, Марк!

Я была удивлена и расстроена твоим письмом. Не зная сути дела и прочитав твое письмо, можно подумать, что я совершила какую-то подлость, а ты учишь меня, как надо поступать порядочно. Пожалуйста, постарайся не выплескивать свои обиды на меня, а вспомни лучше наши договоренности.

Окончился срок договора. Три года — вполне достаточный срок. (Обычно я даю свои работы на продажи и на выставки только на один год.) По окончании договора ты обещал отдать работы или самим художникам, или их представителям. Поэтому я и попросила тебя, если помнишь, в самых любезных выражениях, передать мои работы Ричарду. У меня есть дальнейшие планы на мои работы, и я не хотела бы, чтобы они просто лежали в ящиках. А судя по твоему предыдущему письму, конкретных предложений у тебя нет.

Ты пишешь, что порядочно было бы дать тебе возможность продать мои работы. Такая возможность у тебя была (кроме «Автопортрета»).Теперь после окончания нашего договора вместо возможности я хочу иметь реальность. Еще раз: я не вижу ничего дурного в том, что у меня есть дальнейшие планы на мои работы после трех лет работы с тобой. Почему-то всегда после выставок возникают сложности, когда дело доходит до получения работ назад.

Что касается «Автопортрета», то мы говорили, что ты или привозишь его в Ленинград, или передаешь моему доверенному лицу в США. Мне казалось, что передача Ричарду этой работы только облегчит тебе возврат работ художникам, тем более, что твои предполагаемые приезды в Петербург все время откладываются.

Марк, прошу тебя передать две мои работы Ричарду, не откладывая. С третьей работой, понимая твои трудности, могу подождать, но, пожалуйста, не затягивай. Дай знать, когда ты собираешься отдавать работы художникам, ведь уже март 1992-го. А с теми, с кем ты хотел бы продолжить работу, надо по обоюдному согласию заключать новый договор, потому что проект, предложенный нам три года назад,

закончен, а не его первая часть, как ты почему-то считаешь. И сейчас художники ждут свои работы.

Марк, я надеюсь, что ты разрешишь эту ситуацию подобающим образом и мы не поссоримся. Также надеюсь, что подобная ситуация не возникнет у тебя с Валентином.

Елена Фигурина

* * *

Обратно они шли той же, благоухающей французской парфюмерией дорогой. Как всегда, попискивали тормоза скользящих мимо машин, легчайший бриз резвился в кустах. Все так же притягивали взор обнаженные окна домов, и все той же огромной таблеткой валерианы промелькнули в одном из них работы неизвестного человека, бесхитростно вверяющие себя редким пешеходам.

Баира позвонила ранним утром.

— Приходите ко мне завтра в lunch time, — прокричала она сквозь звяканье тяжелых кухонных предметов, — я просила Рона вам помочь. Рон — это мой lawyer, я говорила вам о нем. Завтра в двенадцать вы должны сидеть за столиком.

Рональд ван Баскирк оказался высоким молодым мужчиной. В его лице, где преобладала застенчивость, не просматривалось даже намека на молодцеватых пружинистых молодцов из адвокатской гильдии с механическими улыбками, которых можно было узреть в рекламных роликах и телесериалах. Единственный, лично встреченный ими рыжий адвокат, занимающийся по просьбе Линды студенческой визой для Яны, легко вливался в это сообщество суперменов с хроническими улыбками, застрявшими на твердо очерченных губах.

Рональд, определенно ведущий свою родословную от долговязых предков голландцев, стеснительно рассматривал их с высоты своего роста. Светло-карие глаза, обметанные соломенного цвета ресницами, полыхнули теплом, когда он, садясь, сказал:

— Я знаю от Баиры о вашей ситуации, она очень беспокоится, что навредила вам. Если вы не возражаете, чтобы

я вас представлял, напишите на этой бумаге доверенность, что вы предоставляете мне power of attorney.

На обычном листе бумаги Альбина набросала текст. Глотнув пару раз чая со льдом, Рональд поднялся, еще раз поразив своим ростом, и с прежней застенчивостью удалился. Когда тонкая фигура истаяла в жарком мареве за витринным стеклом, Баира, одетая в этот раз с особой элегантностью, подскочила к их столику.

— Я его очень просила помочь, — почти басом, гортанно затараторила она, — я так все время переживаю, что этот гад из-за меня не отдает вам работы. А Рональд — он great. Его час стоит пятьсот долларов. Он мне скажет, когда вам надо ехать к нему в офис. Он не простой адвокат, он компаньон фирмы. А фирма эта самая могучая в Калифорнии.

— Coming, coming, — внезапно оборвав информационный поток, пропела Баира и милой киской двинулась к новым клиентам. Киской, всегда секущей, когда надо и когда не стоит выпускать когти.

* * *

Офис фирмы Пиллсбэри, Мэдисон и Сатро находился в центре Сан-Франциско, в солидном, богатом, но без кичливости здании. Внутри сидел вежливый вылощенный охранник. Он не подпустил их к лифту, пока за ними не спустилась улыбающаяся женщина. Они взлетели на восьмой этаж, и секретарша с выражением искреннего ликования на мастерски загримированном лице провела их в комнату, где благоухало свежим кофе.

— Мамочка, ты только посмотри на все это, — изумлялась Яна, — как престижно, спокойно, богато и без выпендрежа. Мы такое только в кино видели.

— Потому и без выпендрежа, что богато, — отвечала Альбина бесхитростно, не подозревая, какие откровения ожидают ее через много лет при редких посещениях офисов российских бизнесменов, а также их обиталищ.

Рональд неслышно возник в дверях.

— Передайте мне все имеющиеся у вас бумаги, — сказал он, усадив их в кресла у себя в кабинете. — Я начну

завтра же писать господину Мигдалу, надеюсь войти с ним в контакт через пару дней. И дам вам знать через Баиру, как продвигается дело. Я надеюсь, что вы доберетесь обратно без помех.

Он опять мягко и с прежней робостью улыбнулся. Но в глазах его уже зажегся определенный сигнал. Сигнал гона.

— Рональд, — сказала Альбина, — мы вам невероятно благодарны. Но есть вопрос. Сегодня нам сообщили друзья, у которых мы остановились, что Марк звонил и просил нас подъехать к нему завтра вечером. Мы хотим попробовать последний раз поговорить с ним. Можно ли начать действия после того, как все будет ясно?

— Fine with me, — отвечал Рональд.

* * *

— Ну почему ты решила, что он переменится? — брюзжала Яна, уставшая после длинного рабочего и учебного дня. — Неужели непонятно после всех этих подлостей, что рассчитывать не на что?

Вечерний автобус, которым они ехали, был заполнен пассажирами. Правда, когда они вошли, в ряду сидений сзади четко просматривалось свободное место, но стоило им направиться в ту сторону, как автобус загудел встревоженным пчелиным роем. Место оказалось неприкасаемым. Как они поняли, некто использовал мягкое сидение в качестве туалета. Темнокожий парень уступил Альбине место.

Автобус долго стоял на остановке. Шофер с прибаутками втаскивал через специальную платформу инвалидное кресло с улыбчатой старушкой. Заботливо закрепив коляску особыми ремнями, он с теми же прибаутками выпрыгнул из автобуса и направился к своей кабине.

— Ничего себе, — отреагировала все еще надутая Яна, — ты видела что-либо подобное?

— На каком языке вы говорите? — послышался набивший оскомину вопрос. Пожилая негритянка, сидевшая через проход, устремила на них взгляд скорбных, с тяжелыми веками глаз. Казалось, ей стоило больших усилий держать их открытыми.

— Мы из России, — привычно отвечали Альбина с Яной.

— Давно?

— Почти два месяца.

— А что вас больше всего поразило в Америке? — последовал спокойный вопрос.

— А вот это, — не сговариваясь, обе кивнули в сторону улыбчатой старушки, уже болтавшей с сидящими неподалеку пассажирами, — отношение к ивалидам.

— А разве у вас в России не так? — спокойно осведомилась женщина. Это было удивление в кубической степени — их удивление перед обычными здесь ситуациями и ее невозмутимое удивление, что таким вещам можно удивляться.

Автобус постепенно набирал скорость.

Миша уже ждал их на остановке. Стемнело, и его потрепанная машина унылым Росинантом просматривалась на фоне зелени.

— Спасибо вам, Миша, — говорила Альбина, влезая в прокуренный салон. — Это последний раз, что мы вас терзаем. Сегодня поговорим с ним последний раз по-хорошему, тем более что он сам пригласил. Не получится — придется действовать по-иному.

— А я уже как-то привязался к этой детективной истории. Жалко будет, когда вы уедете. Скучно, — признался Миша. — И потом, это искусство, живопись. Я сам очень хотел этим заниматься. Пропустил время. А жизнь мстит. А теперь надеюсь заняться компьютерной графикой, чтобы хоть как-то приблизиться...

Дом Мигдала выглядел обиженным. Не светилась ни одно окно, не горела даже дежурная лампочка над входной дверью. Железная дверь гаража тоже оказалась закрытой. Безо всякой надежды они поднялись на крыльцо и потыкали в кнопочку звонка. Хилый звук затерялся где-то в сердцевине дома, и Альбина физически представила себе висящие в темноте работы, особенно напоенный страданием автопортрет Шолома Шварца. Яна на немыслимой в данной темноте скорости скатилась с крыльца и бросилась за дом.

Подбежавшая Альбина увидела, что дочь тщетно пытается заглянуть в окно.

— Неужели ты думаешь, что они скрываются в темноте? Они наверняка укатили на неделю в город или еще куда-нибудь. Не понимаю, зачем так изощряться в подлости. Мне жаль эту бедную женщину, она не понимает, куда вляпалась. Поехали к Саше Любарову.

Миша быстро домчал их до квартирного комплекса, где с семьей жил бывший ленинградец, дядя Яниной близкой подруги. Втроем они прошли по застроенному примитивными двухэтажными строениями пространству с его аккуратно заасфальтированными дорожками, цветами на гладко выбритых газонах и чистыми узкими канальчиками, где плавали толстые красные рыбы. На деревянном мостике Миша остановился.

— Вы почти на месте, — сказал он. — Давайте попрощаемся здесь. Успеха вам и сил. Здесь у меня небольшой пакетик для мамы, — застенчиво признался он. — Вам не будет трудно его передать? Она живет на Рубинштейна.

Он быстро исчез, словно растворился в свете фонарей, оставив за собой облако тоски и пока еще не сбывшихся ожиданий.

* * *

Саша Любаров, круглолицый молодой мужчина, дядя близкой Яниной подруги, был женат на англичанке. Звали ее Ро́змари. Когда Альбина увидела эту хрупкую, с темными длинными волосами женщину, в голове немедленно возник и закрепился один из самых обаятельных диккенсовских образов — Агнесс из романа «Дэвид Копперфильд». Это была Агнесс во плоти, ангел-хранитель героя романа. Саша работал где-то на фирме и исчезал с раннего утра, молодая хозяйка оставалась с двумя девочками, трех и пяти лет. У нее был велосипед с маленькой приставной тележкой. Посадив одну девочку на раму, а вторую устроив в тележке, она с утра направлялась за покупками.

Альбина и Яна уже ночевали однажды в этом гостеприимном скромном доме, и сегодняшний их визит тоже был

по договоренности. Было слишком поздно для поездки обратно на автобусе. Следовало доехать за пару часов до Сан-Франциско, пересесть на автобус до Сан-Рафаэля, а потом еще и идти, вернее, бежать по безлюдным улицам не менее сорока минут.

В квартире Саши были две небольшие спальни и гостиная со столовой, сразу переходящая в кухню. После лощеных особняков обитателей Marin County эта тесная квартирка с запахом каши и разбросанными детскими книжками и игрушками казалась приютом отдохновения.

Когда они вошли, одна из малышек, сидя в манеже, сонно рассматривала красный кубик, вторая сидела за столом и мать читала ей «Мойдодыр» Чуковского. У нее был прелестный акцент и полное неприятие русской интонации.

— А Саша иногда читает детям по-русски? — осторожно спросила Альбина.

— Он не хочет, чтобы дети говорили по-русски, — грустно сказала молодая женщина. — Он не хочет даже говорить о России. А я так люблю русский язык, я стараюсь им читать. Знаю, что это неправильно, но не могу отказаться.

После чая, когда девочек увели спать, Альбина кинулась к телефону. Первый звонок был к Селме Холо, к директрисе галереи Фишер, которая отбирала работы в Ленинграде.

— Я больше не имею отношения к этим работам, — отстраненно сказала Селма, — Выставка в музее закончилась. Со всеми проблемами обращайтесь к Марку. Мне уже несколько раз звонили из Ленинграда другие художники, но я ничем не могу помочь.

Телефон Марка безмолвствовал, и Альбина набрала номер Миши Иофина.

Мягкий, с низкими тонами голос Миши откликнулся сразу. Выслушав просьбу и минуту поколебавшись, художник ощутимо набрал воздух в легкие и заявил, прилагая очевидные усилия, чтобы звучать твердо и бескомпромиссно.

— Я считаю, что Марк прав, Альбина.

— В чем он прав, Миша, объясните пожалуйста, — сказала Альбина, приученная, вернее, отученная последними событиями от непосредственной реакции. — Вы сами худож-

ник, Миша, и вы считаете, что он правильно издевается над вдовой вашего товарища?

— Он так много сделал для художников, и каталог, и выставки...

— Но он еще и подписал договор, который обязан выполнять...

— Хорошо, — послышался вздох, где смешались разнообразные чувства — капитуляция перед жизненными обстоятельствами, нежелание ссориться с потенциальным покупателем и рудименты кодекса чести, свойственного группе художников-неофициалов, к которой он совсем недавно принадлежал.

— Я позвоню Марку по его личному телефону и попробую его убедить. Я перезвоню вам через несколько минут.

Хозяева квартиры, уложившие детей и вытаскивающие для гостей спальные принадлежности, сочувственно переглянулись.

Звонок раздался много позже обещанного срока.

— Марк просил вас приехать с машиной к магазину строительной техники на улице... Он привезет вам работы. Но дальше вы с ними управляйтесь сами, он сказал, что занят и везти работы к вам домой не может.

Возле магазина со стройматериалами, который они нашли с трудом, атмосфера была накаленной. На огромной парковке перед линией магазинов сновали гигантские траки, выскакивали люди, перекрикиваясь и выгружая товар. Временами всю панораму перечеркивало ненормальной длины туловище грузовиков, где было выведено оранжевым: Coca-Cola.

— Когда он подъедет, мы договоримся с кем-нибудь, чтобы довезли работы до Алека в Сан-Франциско. Алек согласился их подержать, а потом что-то придумаем, — выкрикивала Альбина, томясь среди какофонии звуков, пыли и неприютности пространства. Время шло. Они уже успели по очереди перекусить в соседнем Макдоналдсе.

— Договоренность была на полдень, а сейчас уже четверть второго. Может, здесь есть еще один магазин со стройматериалами? — осторожно спросила Яна.

— Может и есть, но Иофин сказал нам этот адрес. Давай подождем еще полчаса, а потом двинем обратно, — решила Альбина.

Через полтора часа они сели в нагруженный людьми автобус и двинулись к городу-мечте. Автобус продвигался черепашьим шагом. Шофер дважды останавливался и нежно пристегивал к заповедному месту двух инвалидов — паренька со свесившейся шеей и трясущимися руками и веселого чернокожего человека без обеих ног. У них уже не оставалось сил дивиться этим чудесам.

В крохотном домике Алека Рапопорта их ждали встревоженные хозяева.

— Боже мой, — запричитала хрупкая Ирочка, — на вас лица нет. Пойдемте, я накормлю вас обедом. Звонил Марк, недавно, спрашивал, приедете вы сюда или нет. Он звучал неприятно, агрессивно так.

Телефонный звонок застал Альбину, когда она пыталась проглотить ложку супа, и прозвучал злобным вороньим карканьем.

— Почему ты не привез работы, как обещал? — спросила Альбина. — Мы ждали тебя больше двух часов.

Вопли, хлынувшие из телефонной трубки, резонировали в крохотном пространстве коридора-перемычки между двумя спальнями.

— Потому что ты продолжаешь вести себя непорядочно. Я сегодня утром узнал, что ты ездила к моему родственнику Володе Алексаняну и говорила про меня гадости. Я работаю у него на фирме, а ты занимаешься клеветой. И Селму вы все замучили. Она не знает, куда от вас деваться. Я не собираюсь это больше терпеть, у тебя нет ни капли благодарности. Ты не хочешь понять, сколько сил, и денег, и здоровья я потратил на эти выставки.

— Ты позоришь Сашу, — взвизгнул он уже на выдохе.

Альбина положила трубку и оглянулась. В проеме комнаты на фоне своего живописного автопортрета стоял Алек Рапопорт. Портрет сшибал с ног невероятной экспрессией. Глаза Алека на работе поражали сочетанием трагической мощи прозрения и мужественного его приятия.

В глазах хрупкого, несгибаемого и реального Алека, любимца, опоры и символа веры участников группы «Алеф», стояли слезы.

* * *

Добрый день, Марк!

Мы получили письмо. Мы торопимся написать тебе, потому что, как ты говоришь, ты ведешь переговоры о продаже всей выставки.

Мы просим тебя передать Барбаре Хазард работы художников, которые не хотят участвовать в твоем дальнейшем проекте. Ты так долго не давал о себе знать. У некоторых художников до сих пор нет каталогов. Поэтому многие художники недовольны. Пожалуйста, не ухудшай ситуацию с возвращением работ. Мы ждем срочного ответа с конкретной датой передачи работ.

1. Афоничев. «Каин и Авель» (принадлежит Барбаре).
2. Богомолов.
3. Фигурина. «Автопортрет» и «Бегущие коровы» — Барбаре (Марк, пожалуйста, не создавай конфликт. Лена).
4. Герасименко. Все работы, кроме трех — одна, подаренная тебе, и две работы в уплату долга.
5. Громов. Можно продать, 50% художнику.
6. Ковальский. «Опасная зона» принадлежит Барбаре, из трех остальных выбери себе одну работу в подарок, а две другие отдай Барбаре.
7. Манусов. Все работы без всяких условий — Барбаре для Регины. Не мучай Регину, если тебе дорога память о художнике.
8. Орлов Евгений. Все работы — Барбаре.
9. Шинкарев. Работы, не купленные тобой, — Барбаре.
10. Шварц. Нет каталога.
11. Устюгов. Работы, не купленные тобой, — Барбаре.
12. Васми.
13. Вермишев. Две большие работы — Барбаре.
14. Барбара любезно согласилась взять на сохранение эти работы для раздачи их художникам, чтобы не вводить тебя в дальнейшие расходы, и потому, что мы понимаем,

что тебе неудобно раздавать работы каждому из художников. Барбара сейчас в Петербурге, ты позвони сразу же Ирине (соседке Барбары в Беркли) и договорись с ней, когда получить работы. Отнесись очень ответственно к этому письму и сразу же займись этим делом.

И мы ждем срочно ответа с конкретной датой по факсу Ковальского: 7 (812) 164–52–07.

Также нет каталогов у Вермишева, Борисова, Вика.

Собрание художников.

Вермишев, Устюгов, Богомолов, Орлов, Фигурина, Герасименко, Громов, Ковальский, Барбара Хазард

* * *

Из письма Марка Мигдала Сергею Ковальскому

<...> Относительно Регины[1]. Она последний человек, которого я хотел бы мучить. Мучает себя она сама. Она меня слезно умоляла поехать в прошлую неделю и вытащить ей Сашины работы. Она уверяла меня, что она срочно едет в Ленинград и берет их с собой. Я ей поверил и поехал это делать в Лос-Анджелес. Проковырялся с этими ящиками два дня. Потратил массу денег и сил. Привез четыре большие картины сюда. В тот же час, как я вошел в дом, звонит Mrs Sells и с криком требует, чтобы ей немедленно доставил Сашины работы, т.к. она их у Регины купила (?!?). Регина говорит, что это не так, зачем она ей мой телефон дала? Ведь я поехал в Л. А., все сделал, что я ей обещал. К тому же теперь я знаю, что и в Ленинград она работы не везет. Как же не стыдно было такую гонку мне устраивать! Ведь я же давно знал, что она не хочет их продавать, и говорил, что я без спешки привезу их к Анне. Теперь я должен с ее адвокатом крутиться...

Лене Ф.: Немного поздно ты просишь не создавать конфликт! Ты его создала. И достанется Ричарду по твоей вине и по его тупости, конечно.

[1] Как уже упоминалось в предисловии, мое настоящее имя заменено на близкое по звучанию.

Письмо Мигдала Селме Холо (перевод)

Дорогая Селма!

Я очень сожалею, что Вам приходится иметь дело со всем этим безобразием. Я посылаю Вам копии моих двух писем, чтобы Вы были в курсе того, что происходит по данному поводу.

Пожалуйста, позвоните мне.

Искренне Марк

Ответ Селмы Холо Марку Мигдалу

16 ноября 1992 года

Уважаемый Марк!

Я пишу это письмо после долгого молчания с моей стороны. Пользуясь случаем, поздравляю Вас и Диану с наступающим Днем Благодарения и желаю вам обоим приятного отдыха.

В то же время я вынуждена просить Вас ввести меня в курс дела на тему проекта, которым я занималась достаточно длительное время тому назад. Из России до меня продолжают поступать сведения, что НИ ОДИН из художников ничего не слышал от Вас по поводу возвращения своих работ. Если говорить конкретнее, то совсем недавно я получила известие от Анатолия Васильева о том, что он совсем ничего от Вас не получал. Совершенно естественно, что постоянная связь с художниками, так же как и уведомление их о Ваших планах, связанных с их работами, была бы в данной ситуации более чем уместна.

Я передаю копию этого письма нашей студентке Дженифер Кан, которая уже год живет в Петербурге. Таким образом она даст художникам знать, что Вы полностью осведомлены о наличии проблемы, которая лично меня глубоко тревожит.

Я думаю, Марк, что Вы найдете возможность связаться с художниками, которые с полным доверием вручили Вам свои работы.

Искренне
Селма Холо

* * *

Дом Алека Рапопорта в латинском квартале Сан-Франциско был похож на этажерку. Внизу располагалась крошечная кухня с гостиной, наверху две маленькие спальни. В одной из них всю стену занимала работа Алека «Маска пророка Мордехая». Собственно говоря, это был еще один автопортрет самого художника, сделанный из папье-маше с живописно обработанной поверхностью. Распластанная под углом голова с отъединенной, запрокинутой в попытке защиты кистью руки, раззявленный воплем рот, обнаживший неровный ряд зубов, утонувшие в ужасе глаза, и тем не менее ощущение необоримой силы в самом акте отчаяния. Пророк Мордехай в попытке защитить и предостеречь свой народ и хрупкий Алек на рубеже перетекания культуры в бездонное лоно коммерции в одном лице.

Пребывание в кукольном пространстве домика не ограничило духовную мощь его обитателей. Еще девять лет назад, в 1980 году, ошарашенный размахом того, что происходит с искусством в Америке, художник написал:

«В наши дни, когда „Мона Лиза“ („Джиоконда“) репродуцируется на обувных коробках, а работы Шагала на простынях, следует поднять голос в защиту художника и его места в обществе.

Покупка картины для вложения денег, покупка „имен“, покупка „под цвет интерьера“, когда рама и бумага важнее изображения, исключает духовную сторону как для творца, так и для покупателя, что не менее опасно, чем превращение искусства в орудие тоталитарных диктатур.

Искусство, с тех пор как оно перестает быть частью религии и начинает обслуживать мир потребительства или партийных идеологий, неудержимо разрушается и свидетельствует об общем движении нищающего духом человечества к катастрофе».

Отважного несгибаемого Алека не стало. И теперь никто не подымает голос в защиту исполосованного искусства. И на его родине, в России, в многочисленных, как грибы после дождя расплодившихся галереях, проповедывается тот же принцип, с которым боролся Алек Рапопорт, Дон Кихот от искусства.

Алек несколько раз наведывался в Милл Валли навестить нас в домике Ирины Николас. Машина его всегда выглядела измученной.

— Я не могу вас троих отвезти в город, — серьезно сообщал Алек, устремляя на нас кроткий взгляд мягких карих глаз, — дорога сюда, в Милл Валли, идет под гору. А обратный путь наоборот. В гору моя машина не потянет четверых, даже таких неоткормленных, как мы все.

Однажды, когда он ехал с Ирочкой по шоссе на требуемой правилами скорости, руль машины оказался у него на коленях.

В тот раз, когда мы ночевали у него, Саша Гуревич великодушно остался дома, в Милл Валли. Алек был в ударе, с мягким, но убийственным юмором вспоминал забавные ситуации, случившиеся с ним в Питере, рассказывал о соседях, латиноамериканцах, живущих на пособии, нигде демонстративно не работающих и делающих огромные деньги на торговле наркотиками. Район этот, вблизи печально известной Mission Street, считался опасной зоной. Совсем за полночь мы с Ирочкой отправились спать, оставив возбужденных встречей Алека и Сашу внизу. Саша собирался петь под гитару.

Проснулась я от странного прикосновения. К моему плечу был приставлен пистолет. Размахивая «пушкой», Саша радостно хохотал.

— Представляешь, Алеку положен пистолет, чтобы защищаться. И у него даже нет патронов. И он не знает, как с ним обращаться.

На этой самой Mission Street, где человека могли спокойно убить среди бела дня, чтобы забрать деньги, которые он только что вынул из банковской дырки автомата, Алек ежедневно работал над этюдами. Позже он создал великолепную серию Images of San Francisco. Местные гангстеры его не трогали. Может, считали за юродивого. А может, уважали.

Алек и Саша ушли из этой жизни с боевого поста. Алек, парадоксальное сочетание здорового скептицизма, детской чистоты и тайной веры в чудеса, скончался в своей мастерской перед мольбертом от сердечного приступа, Сашино сердце не выдержало за пять дней до открытия его персональной выставки в редакции журнала «Аврора». Ему было сорок два года.

* * *

Рональд передал через Баиру, что просит их приехать к нему в офис утром следующего дня. Он вступил в активную переписку с Мигдалом и теперь хотел ознакомить их с результатами. Получив от Рувима разрешение переночевать у него в доме, они приехали в Сан-Франциско около двух часов дня, открыли дверь ключом, вынутым из почтового ящика, погуляли с Бимом в парке, а потом прошлись по берегу океана.Он был всего в тридцати минутах ходьбы. Светло-бежевый песок стелился под ногами ласковым ковриком. Ближе к воде они нашли множество невиданных раковин. Это были пластины белого плотного известняка почти округлой формы и слегка изогнутые. Каждая из них несла на себе лаконичное, как японское танку, изображение цветка в форме тюльпана, с минимумом лепестков. Здесь их называли прозаично — «морской доллар».

— Какое поношение красоты, это название, — говорила Яна, благоговейно складывая добычу в плотный конверт.

* * *

Из дневника

Вечером Рува, сверкая глазом, показал одеяло с гагачьим пухом, в котором он спал на природе и даже снял штаны (при нуле градусов!). Показал искусственного червя, склизкого и на ощупь адекватного подлиннику. Сказал, что и запах тоже подлинный. Показал компас, чтобы не заблудиться, и образцово налаженную, с блеском, железяку для нанизывания форели.

И новую удочку показал, сказав: «Это вам не рак пукнул», и темнозеленую палатку, тяжелее всех прочих новинок, для него и для подруги. И новый матрас, который сам по себе надувается.

И они представили себе любителя-туриста Гуревича, с его поникшим носом и еврейским семейством в дырявой байдарке на Вуоксе, и мысленно зарыдали.

Рональд ван Баскирк, как всегда, выглядел необычайно аккуратно. В нем жило нечастое сочетание опрятности души и внешности. В этот раз виртуозно загримированная секретарша не предложила им выпить кофе, а сразу провела в аскетически обставленный кабинет адвоката.

— Я всю эту неделю переписывался с господином Мигдалом, — сказал Рон, и его светло-карие глаза потемнели. — Это чрезвычайно извилистый господин. С одной стороны, он понимает, что обязан по закону вернуть работы. Но с другой стороны, он правильно оценивает ситуацию со временем, прекрасно знает, что вы торопитесь, и собирается тянуть время до вашего отъезда. Он предлагает сделку. И это я хотел бы обсудить с вами. Он хочет, чтобы вы подписали бумаги о том, что вы продали ему две работы, и они теперь принадлежат ему. Только после этого он вернет вам четыре из шести работ. Я боюсь, что это единственный выход, — Рон очень грустно улыбнулся. — Если бы вы не уезжали и у нас было бы больше времени...

Альбина долго молчала.

— Мамочка, ты понимаешь, что он говорит? Тебе перевести? — затревожилась Яна.

— Я все поняла, — подтвердила Альбина, — я просто не знаю, как реагировать.

— Если вы согласитесь на эти условия, мистер Мигдал назначит дату передачи работ, — совсем огорчился Рон и деликатно замолчал.

— Хорошо, — сказала Альбина, — я это сделаю. Но это самый настоящий шантаж, и это знают все, начиная с Мигдала.

— Я начинаю договариваться с этим человеком, — сказал Рон траурно, — и, если вы вдруг порвете все эти бумаги сразу после подписания, я не стану возражать... О результатах я сообщу Баире.

* * *

— Как будет по-английски «меня шантажируют»? — спросила Альбина у собеседницы. Мэри Арнольд, профессор советологии, выйдя на пенсию, продолжала читать курс

лекций о современной перестроечной России в университете города Беркли. Мэри была невысокой грузной женщиной. Замедленные движения пухлой фигуры придавали ей сходство с портативным памятником. На лице ее, тоже припухлом, с нездоровым, словно нарисованным румянцем, царило хронически брюзгливое выражение. В отличие от представителей чрезмерно разбухшей в те годы группы американских советологов она знала о жизни в Советском Союзе не понаслышке. Ее родители, эмигрировавшие из России в годы революции, в начале тридцатых годов в ностальгическом припадке и под дурманом советской пропаганды решили вернуться обратно. У них были две девочки раннего школьного возраста. Они долетели до Польши, а оттуда поездом добирались до Москвы.

— На какой-то станции отец вышел из вагона, чтобы купить нам молока, — говорила Мэри, постепенно вызывая в памяти этот день и багровея так, что становилось тревожно за ее здоровье. — Он вернулся назад белый, как стена, с пустыми руками и сказал: «Ничего не изменилось. Свинья просто перевернулась на другой бок».

— И что случилось потом?

— Что потом? — уже спокойней отвечала она. — У отца отобрали американский паспорт и послали в лагерь, а мы втроем жили в семиметровой комнате в коммунальной квартире. Спасибо, что нас не тронули. Мы с сестрой ходили в школу, закончили ее, а потом, перед самой войной, я написала письмо в Верховный Совет и просила отпустить меня на родину, в США.

— Как же вы не побоялись в такое ужасное время?

— Я не хотела, не могла там жить, я думала, что лучше умереть, и пусть я лучше умру. И, представляете, когда Рузвельт открыл второй фронт, они меня отпустили. Отец к тому времени умер в лагере. А мама с сестрой смогли приехать только через десять лет. Ну ладно, пока хватит об этом. Давайте лучше о вас. Но сначала я должна поесть.

В период их первого визита с Сашей Мэри помогала им с машиной, возила в разные красивые места, знакомила с людьми. У нее был застарелый диабет, и самый насыщенный разговор она могла жестко оборвать заявлением: «Через

полчаса я должна поесть». Она везла их в свой двухуровневый домик в роскошном Бельведере. Домик прилепился к высокому берегу у самой воды, и в нем была огромная деревянная терраса, нависающая над этой обалденной лазурью. Напротив этого обиталища, прямо в воде, стояли на сваях небольшие дома, а дальше была дорога, по которой беззвучно катились божьи коровки разноцветных машин.

— Как вы не понимаете, что ваше положение безнадежно? — авторитетно заговорила Мэри, подкрепившись огромным сэндвичем, который они соорудили втроем. — Вы же прекрасно знаете — без документов на право жительства в Америке, без денег, как вы можете справиться с мерзавцем? Да он же настоящее порождение этой дикой страны. Там никогда не было и намека на закон. Хорошо, я помогу вам составить это письмо, вы его выучите наизусть и, когда вас будут заставлять подписывать эти фальшивые бумаги, произнесите его вслух, при свидетелях, медленно и громко.

— Вы только посмотрите, сколько проблем приносят в Америку эти русские, — продолжала брюзжать она, — и это все наследие ужасного прошлого, от которого вы никогда не избавитесь.

Мысленно взгромоздившись на университетскую кафедру, добавив децибел в голос и округлив глаза, она мгновенно выпала из реальности. И гости, и стол с остатками сэндвича скрылись в пелене застарелой боли.

— Мэри, извините, я совсем не собиралась вас утомлять, — сил у Альбины на выслушивание лекции уже не оставалось, — я просто к слову спросила, я ведь не сильна в английском, а говорить придется мне, а не Яне. Я просто поделилась с вами нашей проблемой. Простите меня и забудем об этом.

Мэри отодвинула тарелку и нервно взяла очки:

— Я ведь переживаю за вас, расстраиваюсь, не понимаю, как можно так поступать с Сашиной вдовой? — начетнические нотки в голосе постепенно исчезали. Она растерянно взглянула на Альбину:

— Это вы меня простите. Я часто себя не слышу. Давайте вместе подумаем...

Эта толстая, зачастую нелепая женщина все понимала на самом деле. Просто она старалась затолкать ненужные сантименты поглубже, в самые недра своего обширного организма.

* * *

Альбина ждала дочь на остановке автобуса. Уже смеркалось, и, когда они добрались до ярко освещенных витрин кафе, стало очевидно, что рабочий день заканчивается. Заняты были всего три столика. Баиры не было видно, но откуда-то из кухни неслось привычное:

— Зина, принеси этим двум ведьмам кофе.

Зина, оживший персонаж российской столовки из Урюпинска, шаркающей походкой двинулась к столику, где щебетала парочка элегантных дам. Изящные бокалы с ручками на высоких крученых ножках, куда Махмуд, племянник Баиры, только что налил кофе капучино с горкой взбитых сливок, нелепо смотрелись на фоне сальных волос и несвежего передника. Женщины, почему-то виновато улыбаясь, взяли бокалы и защебетали вновь.

Видимо окончательно уяснив, что Яна не намерена реагировать на его тусклые ухаживания, Махмуд поприветствовал обеих смутной улыбкой и вновь устремил взгляд кротких воловьих глаз на калькулятор. Не успели они сесть за столик, как раздался чечеточный парафраз каблучков Баиры. Она выскакивала из кухни, на ходу сдирая с себя крохотный, в кружевах передник.

— Вы сегодня позднее, чем всегда, — попеняла она.

— Яну опять задержала хозяйка, — сказала Альбина, — я прождала ее на остановке почти час.

— Есть новости от Рона, — неслось из Баиры, — завтра в 11 утра вы должны быть в Пало-Альто. Этот человек уехал в Европу, и работы вам отдаст его родственник.

— Ой, — сказали они в один голос.

На обратном пути темнота безраздельно завладела пространством. Они медленно шли, почти брели к дому Джуди, сгорбившись от безнадежности ситуации.

— Да, предположим, нам вернут работы, — говорила Альбина, — но куда мы их денем в Пало-Альто, за сто километров от Сан-Франциско, без машины и без помощи? И без денег?

— У меня есть деньги, мамочка, — сказала Яна, — Кати отдала мне сегодня за неделю.

— Но где же мы в такое позднее время найдем помощь? — сетовала Альбина. — Я так рассчитывала на Махмуда с его огромной машиной, но ты за все это время даже ни разу ему не улыбнулась. Все его надежды рухнули.

— Обойдемся без Махмуда, еще не вечер, — отвечала Яна.

— Еще не вечер, но почти ночь, — мрачно откликнулась Альбина, — неудобно беспокоить людей в это время.

Тьма властвовала над домами и над лентой дороги. Огни машин прореженным ручейком текли мимо. Дома по левую сторону постепенно прекращали мерцать своими окнами и одевались пепельного цвета пленкой. Однако окна в облюбованном ими домике с картинами в окнах продолжали свой миролюбивый дисплей. Яна, вдруг резко свернув к дому и обойдя застрявший на середине пути грузовичок, нажала кнопку звонка.

— Ты что? — испугалась Альбин.

И в этот момент к дому подъехала небольшая машина. В ней отчетливо просматривались мужской и женский силуэты.

— Вам что-то нужно? — мирно спросили из машины.

— Да, — отвечала Яна вибрирующим голосом. И стало ясно, что она тоже на пределе своих нервных возможностей и ежесекундно готова сорваться, — нам нужен ваш трак.

В следующей своей краткой речи из четырех-пяти фраз она ухитрилась почти полностью изложить проблему.

— Мы вам заплатим, — весомо завершила она.

Из машины что-то тихо спросили.

— Мама, ты слышала, что они сказали? — попытка сдержать себя не удалась. Голос Яны в ночном воздухе прозвучал излишне громко.

— Нет.

— Они спросили: «Так вы нам заплатите за бензин и за проезд через Golden Gate?» — полуобморочным голосом отвечала Яна и, вновь обернувшись к машине, решительно и крепко возвестила:

— Мы вам заплатим абсолютно за все.

Мужчина вышел из машины первым. Это был человек сорока с лишним лет очень высокого роста, с такими же, как у Рона, соломенными волосами и прямым взглядом серых глаз.

— Давайте договоримся о времени, — сказал он, — завтра я как раз свободен. Меня зовут Джон М.

* * *

На следующее утро русоволосый гигант Джон, представляющийся им героем американского народного эпоса, отвез их к домику Алека Рапопорта, и хрупкая Ирочка, очень напоминающая женщин Модильяни особой, изысканной ограненностью своего облика, выпорхнула на порог дома в сопровождении озадаченного Алека. Она села в облупленный дребезжащий трак, как Золушка в карету, возникшую из тыквы. Они с Альбиной примостились на короткой скамеечке, настолько низкой, что колени их стукались о подбородок. Джон, слившийся с рулем, врубил радио. Джазовые композиции, необоримо заглушавшие рев рвущихся вперед машин, не мешали сидящей рядом с ним Яне вкладывать ему в душу всю панораму происходящих событий.

— Так значит, он a real jackass, — констатировал Джон через пару часов, остановив своего Боливара у картонно-фанерного прибежища Владимира Алексаняна.

В подобии дворика уже маячила рослая фигура Дэвида Ваксберга, председателя Bay Area Council for Soviet Jews, которому Альбина все же дерзнула позвонить накануне поздним вечером и заявить, что она официально просит помощи и защиты этой организации, как вдова художника — члена группы «Алеф». Звонила, отчетливо представляя себе Сашу с его иронически поднятой бровью и смешливым вопросом в глазах.

Алексанян ждал их в офисе своего родственника, карманным Наполеоном похаживая вдоль продолговатого, засы-

панного бумагами стола. Налет недовольства при виде посторонних быстро сменила маска административного рвения, сдобренного родственным стоицизмом.

— Подпишите все эти бумаги, — буркнул он, глядя в сторону, — и можете ехать за работами.

Альбина подошла к столу. Море листков, раскинутых перед ней и заполненных от руки разбегающимися неряшливыми буквами, ввело ее в состояние ступора. Словно чья-то властная рука нажала на тормоз, остановив все мыслительные функции. Она взяла в руки одну из бумаг, где текст казался короче. Этот был проект заявления, написанный лично Мигдалом.

25 марта 1992 года
Марку Мигдалу
4060 Амаранта авеню,
Пало-Алто, Калифорния 94306
Подтверждение

Настоящим подтверждаю, что две перечисленные ниже работы Александра Манусова, художника из бывшего Ленинграда, Россия, полностью и без всяких условий принадлежат мистеру Марку Мигдалу.

1. Пейзаж с красным деревом, 1988, холст, масло, 39 х 31 инчей.

2. Пейзаж с лодками, 1988, холст, масло, 20 х 20 инчей.

Подпись (заверенная нотариусом)

— Вы заставляете меня при свидетелях подписать заведомо фальшивые бумаги о том, что эти две принадлежащие мне работы на самом деле не мои, — проговорила Альбина по-русски, забыв, что накануне заучила соответствующий английский текст, заботливо отредактированный Мэри Арнольд.

— А вот вы сейчас подпишете, и они больше не будут ваши, — наглядно наслаждался ситуацией коммерсант.

Ощущая нелепость происходящего, Дэвид и Джон стояли безмолвными статистами. Бизнесмен удовлетворенно взирал на Альбину.

— Почему же я не заметила в первый же раз, как он похож на хорька, — удивлялась она. — И глазки, вдавленные в переносицу, и эта юркость движений...

Время словно забуксовало, объявило забастовку. Взять со стола одну из ручек и произвести унизительное мазохистское действо было равносильно предательству всего, что привнес в этот мир Саша. Но до отъезда оставалось не больше недели, и это был единственный шанс получить хотя бы четыре работы. Секунды капали и не растворялись, ощутимо скапливаясь в особую субстанцию, до которой, казалось, легко дотронуться.

И тут в эту скважину времени врезался чарующе чистый голосок Ирочки Рапопорт.

— Володя, — с трогательными интонациями девочки, которая просит дяденьку перевести ее через дорогу, воззвала она, — как может художник расписаться в получении работ, не проверив, в каком они состоянии? Дайте возможность Альбине взглянуть на работы и удостовериться, что с ними все в порядке. И только после этого она сможет подписать бумаги.

Тень сомнения возникла на лице Алексаняна. Его явно смущало присутствие Дэвида Ваксберга, являющегося официальным лицом и нежелательным свидетелем в одно и то же время. Яна тихим голосом переводила обоим мужчинам речь Ирочки.

— Хорошо, — нехотя молвил родственник Мигдала. — Работы у Марка дома. Поезжайте по этому адресу, там сейчас находится брат его жены. Вы посмотрите на работы, вернетесь сюда расписаться, а потом еще раз поедете и заберете работы. Я буду у себя в офисе.

* * *

Брат Дианы, Энтони, светловолосый и совсем молодой, встретил их с подозрительным энтузиазмом. Они знали, что он тяжело болел и проходил сложный курс лечения. Но печать болезни никак не просматривалась в юноше, который с веселым смехом приветствовал их во дворе дома.

— Проходите внутрь, — гостеприимно сказал он, и вся группа направилась за ним. Альбина заметила, что Джон откинул задний бортик своего трака, и подумала, что весь он сейчас смотрится лихим ковбоем, героем американских вестернов, которых она вдоволь нагляделась, скучая по утрам у Джуди.

Ящики, те самые, которые Алексанян показывал им через окно пару недель назад, стояли в хозяйской спальне. Джон молча подошел к самому большому и, с легкостью подняв его, понес к выходу.

— Берите второй, — приказал он Дэвиду, и тот повиновался.

Три женщины, вмиг лишившиеся дара речи, шли за ними. Джон с помощью Дэвида сноровисто разместил ящики внутри грузовичка.

— А теперь подпишите бумагу, которую вам оставил Марк, — радость переполняла Энтони. Было очевидно, что мальчик прекрасно понимает ситуацию и что происходящее доставляет ему не меньшее удовольствие, чем всем остальным.

Коряво написанная расписка на маленьком линованном куске бумаги гласила:

Я, (имя и фамилия), получила от Марка Мигдала 4 работы в хорошем состоянии.

27 марта 1992 года.

Подписи Р. Соловьева, Энтони Маргулис, Ирина Рапопорт

1. Триптих «Река», холст, масло, 70 х 100 см.
2. «Река», 90 х 100 см, 1987 г.
3. «Река», 70 х 100 см.
4. «Утро», холст, масло, 120 х 140 см, 1988 г.

Превратившийся в безусловного лидера Джон с высоты своего роста вглядывался в клочок бумаги, на котором трое пытались уместить свои подписи.

— Добавьте сюда, — требовательно сказал он Альбине, — что он удерживает у себя еще две работы, на которые не имеет права.

И тогда Альбина под его указующим на пустые места перстом ухитрилась втиснуть:

Mark Migdal still has two more paintings, that he doesn't want to return:

1. Landscape with Boats, 50 x 50, 1988.
2. Landscape with Red Tree, 70 x 100, 1988.

— Вы ведь теперь поедете в офис и подпишете нужные бумаги? — шутовски подмигивая, кричал Энтони, глядя, как вся команда с ядерной скоростью загружается в трак.

— Конечно, мы сейчас же поедем и подпишем все бумаги, — успокаивал его Джон. Дэвид Ваксберг, уже выруливший в своей машине на улицу, дал прощальный сигнал и умчался. Юноша, стоя у калитки, отсалютовал им триумфальным жестом. Грузовичок ухнул на повороте своим изработанным телом и понесся к шоссе, ведущему в Сан-Франциско.

* * *

В доме Алека Рапопорта состоялся «банкет». Все пили чай с булочками, купленными Ирочкой в мексиканской кондитерской. Джон сидел на почетном месте, и Алек рассказывал ему о своих художественных бдениях и заботах.

В конце Яна, смущаясь, подошла к Джону с зажатой в руке стодолларовой купюрой.

— Я не возьму деньги, — просто сказал Джон, — вы просили меня как художник художника. Я это сделал. А деньги я не возьму. Лучше приезжайте ко мне посмотреть работы.

* * *

За три дня до отъезда Альбины они с дочерью еще раз поднялись в офис Рона. День был солнечным и прохладным. Живописный бомж, сидящий на коврике у шикарного здания фирмы, мирно диссонировал с блестящим фасадом. Яна положила в распахнутую коробку доллар четырьмя монетками. Он вытащил руку из спутанной гривы волос и, брезгливо пересчитав подаяние, засунул монетки в карман.

Рон сам встретил их у выхода из лифта.

— Я поздравляю вас, — сказал он. — Теперь вы, Альбина, можете спокойно ехать обратно. Когда он вернется, то, несомненно, будет неприятно удивлен.

— Рональд, — сказала Альбина, разворачивая сверток, который держала в руке, — здесь работа моего мужа, это пейзаж, акварель, мы хотим, чтобы это было в вашем доме. Вы ведь сможете это оформить?

Последнее время они стали привыкать к чудесам, случавшимся с ними на американской земле. Из множества встреченных здесь людей трудно было перечислить тех, кто вошел в их жизнь и навечно оставил в ней знак своей души. И слезы, вдруг явственно проступившие в глазах одного из боссов могучей адвокатской фирмы, не вызвали у них удивления.

— Я сделал это для вас, чтобы помочь, мне ведь ничего не нужно, — быстро проговорил Рон, — у вас такие хорошие друзья, это благодаря им мы встретились. Благодарите их. Но спасибо за эту великолепную работу. Я желаю вам спокойного полета.

* * *

Возвратясь из поездки, разъяренный Мигдал отправил Рональду следующее сообщение:

Регина отказалась подписать бумаги. Я отказался отдать ей работы, которые я привез по ее просьбе из Лос-Анджелеса.

Через несколько дней после этого я уехал в Россию, но попросил мужа моей сестры Владимира Алексаняна отдать ей работы, если она изменит свое намерение и подпишет бумаги.

Когда Регина узнала, что я уехал из страны, она вломилась в мой дом и украла работы.

Марк

* * *

1989, сентябрь

Джина Волдман долго везла нас мимо щеголеватых домиков, окольцованных зеленью и цветами. Мы направлялись

в Marin Country Day School — престижное учебное заведение для детей состоятельных родителей.

— Здесь учится сын хозяина знаменитой фирмы Levi Strauss. Они делают очень стильные джинсы. И еще много детей очень достойных родителей, — пела Джина.

Мы уже знали, что здесь учатся оба ее сына, сын Билла Смита, автора романа «Парк Горького», и еще несколько детей наших новых знакомых.

— Что-то уж чересчур снобизмом несет, — мрачно заметил Гуревич, еще более чем обычно смахивающий на грустного Арлекина.

Но дети оказались прелестными. Всех цветов радуги, белые, черные, смуглые, они тихо и доверчиво смотрели, как художники раскладывают свои работы. Мы были во втором классе. Преподавательница рисования, Наташа Сацевич, худая женщина лет пятидесяти, произнесла небольшую речь о русских художниках и об условиях, в которых им приходилось творить в Советском Союзе. Наташина мама, восьмидесятичетырехлетняя княгиня Мария Александровна Голицына, позже сама приехала из Сан-Франциско познакомиться с нами. Мы были поражены ее осанкой, простотой манер и чистейшей русской речью.

Дети подготовились к встрече. Они нарисовали большие картины, посвященные еще не виденным им художникам. Оба Саши предварительно дополнили их своими автопортретами.

— Почему у вас такие разные краски? — спросил мальчик в очках, прообраз будущего Гарри Поттера.

— Это, наверное, богатые люди? У них такие красивые шляпы, — обозналась чернокожая малышка, глядя на «Прогулку с зонтиками».

— А мне нравится, что лица в цвете, они как будто двигаются, — определил тайную Сашину творческую задачу — создать внутреннее движение в кажущейся статичности фигур — плотного сложения китайский мальчик, сидевший в последнем ряду.

— А откуда к вам приходят идеи? — солидно осведомился другой.

— Они существуют вечно, — отвечал Саша, — иногда они опускаются к нам.

А совсем уж крохотная девчушка с длиннющими русыми волосами вздохнула и совсем тихо спросила:

— Как это вы такую сказку нарисовали?

И здесь Саша впервые растерялся:

— Я никогда не думал об этом. Так уж получилось.

* * *

Все четыре часа полета из Сан-Франциско в Нью-Йорк Альбина проплакала. Яна оставалась в Калифорнии, чтобы сдавать вступительные экзамены в аспирантуру. Кати, у которой она собиралась жить и работать, умоляла Альбину не волноваться.

— I assure you everything will be fine with your daughter. We love her, all of us. Don't you worry.

Окруженная четырьмя улыбающимися подростками, с малышкой на руках, она осанкой и всем своим обликом напоминала героиню фильма «Звуки музыки», знаменитую американскую актрису Джули Эндрюс.

* * *

Когда аккуратно разграфленное пространство под окном самолета сменилось разбросом лесов, прорезанных неожиданными дорогами и кое-где ванночками озер, стало ясно, что Финляндия закончилась и скоро возникнет Петербург.

Пассажиры припали к окнам.

Самолет компании Finnair еще долго летел над плотным, осклизлым, гнойным, в сиреневость цвета, рваным одеялом из облаков, а наверху все было чисто.

1996 г.

Это горькое слово «художник»

Мигдал посетил Ленинград осенью 1993-го. Встреча с ним была назначена в одной из мастерских дома на старой Пушкинской.

Художники сидели полукругом. Поодаль, перед маленьким столиком, где лежали афиши и вырезки из американских газет, сидел гастролер. Это было похоже на творческий вечер знаменитости. Художники молчали. Знаменитость вела беседу. Здесь не было Гены Устюгова, Рихарда Васми, Шолома Шварца и Валентина Громова. Не пришел также Анатолий Белкин, заявивший, что претензий к Мигдалу не имеет.

Оратор психологически точно высчитал все ходы. Сначала он долго, с натужной искренностью и задушевными интонациями сказочника живописал свои труды по увековечению имен художников. И как он мечтал сделать их богатыми. Но сразу не получилось, так что теперь нужно запастись терпением. Он вытаскивал газетные вырезки, зачитывал отрывки и триумфально обзирал аудиторию. Художники все молчали. Выявилась удивительная душевная асимметрия. Плут и его жертвы. На его лице с овалом лепешки играл румянец хорошо накормленного персоналия. Интонации страдальца никак не маскировали его абсолютную плотскую удовлетворенность.

Закончив вступительную часть, он приступил к обличению неугодных. Первой оказалась Лена Фигурина, которая посмела потребовать назад свои работы.

— Я не собираюсь задерживать работы Фигуриной. Зачем мне это нужно? Но она натравила на меня этого мерзавца Фраумени. Он мне портил жизнь... звонил в любое время дня и ночи, кричал: «Отдай мне работы, а то я тебя засужу». Моя бедная жена не имела с ним ни минуты покоя.

Русский язык в его интерпретации позорно сдавал позиции.

Если представить себе инструменты оркестра, то партию фагота, бесспорно, вел Мигдал, художники — скрипки и альты — пока держали паузу, Лена, с ее лицом мадонны и голосом сивиллы, тягучим и раздумчивым, была неоспоримой виолончелью с вкраплением пассажей арфы.

— Марк, мы уже все это обсудили в письмах и остаемся при своем мнении каждый. Я настаиваю на возвращении моего «Автопортрета». Ричард его не получил.

Всегда думалось, что Фигурина — лидер. Она и была им. Но лидерство ее было особого свойства. Слабость в ней превалировала. Однако она, эта слабость, никогда не просматривалась и была так закамуфлирована, что казалась невероятной силой. Как масса минусов, помноженная на минусы, дает мощный плюс. Нерв ее работ бил электрическим разрядом. Сейчас голос ее опасно вибрировал, но было очевидно, что она уверенно солирует и срываться не намерена.

— Ты что, действительно много продала через этого Фраумени? — непосредственно спросил Игорь Орлов.

— Да, я с ним работала год, и за это время он продал работ на очень хорошую сумму. Теперь он мне не отдает работы, которые получил от Марка, — добавила она, — говорит, что потратился на эти разборки с Мигдалом и хочет возместить убытки. Так что я перестала видеть между ними разницу.

Художники все молчали. Зависимость их от дельца в беспросвете этих смутных лет перестройки была настолько зримой, что физически ощущалось — никто из них не рискнет сейчас сразиться с обидчиком.

Уже кончалось время, когда масса несовместимых как в личностном, так и в творческом плане художников, сливалась в мощный единый оркестр. Сколько было разных групп — «Новые художники», «Митьки», «Пятая четверть», группа «Тир», состоящая из четырех женщин; группа «Остров», пресловутая группа «Доллар», вдруг образовавшаяся в коммерческом порыве в 1984 году; сюрреалисты, экспрессионисты, гиперреалисты, графики, скульпторы, керамисты. Дирижировала ими, выспренно выражаясь, тяга к свободе. Мощное силовое поле втягивало их в себя, двигало к независимости творческой и личностной.

Сейчас некоторые из них, сидящие напротив нехитрого дельца, словно потускнели. Буйность исчезла, а бесстрашие и яркость оказались размыты и подретушированы странным временем. Это была группа уже почти слабых людей. Но они все равно были прекрасны и, глядя на их лица, хотелось закричать: «Неужели вы не видите, кто сидит напротив! Огля-

нитесь вокруг, посмотрите, что такое вы все и что такое он. Неужели вы, умные, добрые, талантливые, красивые и нежные, не видите этого?»

После Фигуриной подошла моя очередь. Рассказчик набрал воздуха в пухлую грудь и зажурчал. Снова полился задушевный, отрепетированный сказ акына о благородном герое и вороватой злодейке.

Через пять минут Женя Орлов, сидевший рядом со мной, подал голос.

— Марк, — сказал он негромко, и эта его негромкость и простота мгновенно остановили благостное повествование, — Саша Манусов — наш друг. Его уже нет. Мы просим тебя вернуть его работы Регине. Без всяких условий.

И здесь случилось неожиданное — обличитель послушно кивнул головой.

— Хорошо, — сказал он.

— Женя, — прошептала я, — попроси его подписать бумагу.

Женя отрицательно покачал головой.

Последующие четыре года вестей от Мигдала не поступало.

Несколько лет спустя (почти Дюма)

Юрий Дышленко, выдающийся художник ленинградского андеграунда, был не особенно счастливым человеком. После рождения ребенка жизнь его молодой жены оборвалась трагически.

Через какое-то время Юра женился на Александре Бекетовой, биологу по образованию. У них тоже была солидная разница в годах. Саша полностью заменила маленькой Тонечке маму. Вскоре Юра с семьей переехал в США. Это была пора радужных надежд, которые лопались одна за другой, как мыльные пузыри.

Я познакомилась с Сашей Дышленко и с Тонечкой в 1996 году, в один из моих приездов в Нью-Йорк. В то время я еще жила в Петербурге.

Они приехали в район Бруклина, где я остановилась, на видавшей виды машине. Машина аккуратно подрулила к дому, возле которого я их ожидала. Меня поразила эта пара.

Внешне они выглядели очень контрастно. Одетая с виртуозным вкусом, высокая худая Саша и семилетняя Тонечка, с ее точеным, не по годам серьезным личиком. Серые глаза Саши на скуластом, вроде и не особенно красивом, но притягательном лице и карие миндалевидные очи Тонечки были одновременно грустными и настороженными. Юра скончался от тяжелой болезни немногим более года назад.

Они жили в съемной квартире-студии в отдаленном районе Нью-Йорка — Квинсе (Queens). Саша привезла меня к себе, и мы провели вместе несколько дней. Подружились мы быстро. Она была недавняя вдова, с годовым стажем. Мое бытие без Саши длилось почти шесть лет. Общих тем было много, но одна оказалась доминирующей и называлась она — Мигдал. Незадолго до Юриной смерти видная нью-йоркская галерея Филлис Кайнд (Phyllis Kind), поддавшись на уговоры дельца и с согласия художника, переслала ему триптих Юрия Дышленко. Три огромных полотна оказалось невозможным получить обратно.

— У меня есть одна потрясающая подруга, — воскликнула Саша, выслушав мою одиссею по вызволению Сашиных работ и узнав о проблемах остальных художников. — Я почему-то уверена, что она сможет нам помочь.

Ее знакомая примчалась на следующий же день. Эта невысокая, уютно округлая женщина с несменяемой жизнерадостной улыбкой оказалась генератором оптимизма. И еще она напоминала Карлсона с его моторчиком. Звали ее Айрин Голдман. Прекрасно владея русским языком, она довольно долгое время занималась правозащитной деятельностью, связанной с Россией.

Я хорошо помню, как, оглушив нас в ходе разговора своим энтузиазмом и немедленным предложением помощи, Айрин заторопилась домой. Чисто ковбойским движением она вскочила в свою тойоту-вэн. Машина, коротко фыркнув, сорвалась с места, исторгла в джазовом ритме серию гудков и, описав на небольшой парковке победный круг, унеслась в штат Нью-Джерси, где Айрин проживала с мужем. Двое ее сыновей были уже взрослыми.

Так начался этот бесконечный, изматывающий марафон длиною в три года.

Болельщиком и участником его оказался и Нортон Додж. Команда наша состояла из четырех женщин — две американки (Айрин Голдман и Барбара Хазард) и мы с Еленой Фигуриной. Нортон предложил спонсировать мою поездку в Калифорнию, где планировалось через Баиру наладить связи с Рональдом ван Баскирком. Барбара доставила меня в незабываемое французское кафе. Все там казалось неизменным. Звякали точеные ложечки в высоких бокалах и приветливо улыбались посетители, в основном, дамы. Они лакомились кофе с мороженым.

За кулисами нарядного зальчика слышался голос Баиры. Как всегда, с грозовым оттенком. Когда ее сухощавая фигура явилась в узком проходе, оказалось, что она, подстать голосу, не изменилась. Тоненькая, в коричневом костюме с золотым поясом, резкая и очаровательная в этой своей ипостаси.

— Зачем вам эта суета? — накинулась она на меня, узнав о цели приезда. — Вы уже получили почти все свои работы. Вы же знаете, что за гад этот человек. Не надо вам это! Я хорошо помню, сколько он здоровья у вас отнял. Пускай остальные художники сами этим занимаются. А Рону я звонить не буду. Он теперь у меня в кафе почти не бывает.

Я оторопела. Барбара, туманно улыбаясь, слушала Баиру, явно не улавливая смысла происходящего.

Внезапно извержение остановилось. Баира резко вдохнула кофейный аромат собственного заведения и умолкла. Выглядело это так, будто на разгорающееся пламя плеснули воды.

— Извините, что я раскричалась, даже мои клиенты удивились, — в глазах ее что-то угасло, она коснулась моей руки, — я ведь переживаю за вас. И потом, я так устала... Мы, американцы, слишком много работаем... всю жизнь, почти не отдыхаем. Поэтому мы такие ожесточенные. Простите меня.

Интересно, что Мэри Арнольд, которая к тому времени была уже на пенсии, сказала мне то же самое. Почти теми же словами:

— Зачем вам это надо? Какое вам дело до других? Радуйтесь, что вы свое уже получили. Забудьте про это, не делайте новые проблемы для себя.

К Рональду мы поехали с Барбарой, предварительно договорившись по телефону. И случилось чудо, которое я, уже зная Рональда, предвидела.

* * *

На бланке фирмы Пиллсбэри, Мэдисон и Сатро:

17 июня 1996 года

Русским художникам, согласно приложенному списку.
Возвращение картин от Марка Мигдала

Уважаемые художники!

Юридическая контора Пиллсбэри, Мэдисон и Сатро согласилась обеспечить каждому из вас бесплатную юридическую помощь в деле о возврате ваших работ, которые находятся в распоряжении г-на Мигдала, что и является предметом данного письма. Это означает, что вы не должны оплачивать время, потраченное на вас адвокатами и другими служащими «ПМ и С». Однако мы надеемся, что вы будете в состоянии оплатить наличные расходы, которые могут возникнуть у «ПМ и С» в ходе работы с вашим делом. Это может включать такие затраты, как телефонные счета на международные переговоры, затраты на ксерокопирование, отправку и доставку документов, транспортные расходы или специальные счета почтовых пересылок.

Если возникнет необходимость судебного процесса, вам, возможно, придется оплатить некторые судебные издержки, такие как оплата организации судебных процедур, оплата синхронной записи, услуг судебного исполнителя, судебных репортеров, присяжных и свидетелей, а также оплата распечатки записей (показаний под присягой и других судебных процедур)[1].

Если окажется, что вы не в состоянии оплатить судебные издержки и приведете доказательства этого, вам не придется оплачивать эти счета. В этом случае уведомьте, пожалуйста, г-жу Манусову, и мы позднее обсудим ситуацию по освобождению вас от оплаты вышеперечисленных расходов.

[1] В результате фирма взяла все расходы на себя.

Если у вас имеются вопросы, касающиеся содержания этого письма, или вам требуется более детальное объяснение любой из затронутых здесь тем, пожалуйста, сообщите об этом г-же Манусовой, и я попытаюсь это объяснить.

Подпишите, пожалуйста, копию письма г-же Манусовой, подтвердив тем самым, что вы его прочли, поняли содержание и согласны с вышеизложенным. У г-жи Манусовой имеется копия письма для ваших архивов.

Спасибо,

Рональд ван Баскирк

Когда первые знаки судебного процесса достигли Мигдала, он позвонил Саше Дышленко.

— Я тебе очень не советую в этом участвовать, — сообщил он. — У вас ничего не получится. Я здешние суды прекрасно знаю. Имей в виду — я буду всеми возможными путями затягивать процесс. Я буду уезжать или болеть или вообще не являться в суд. Мне за это ничего не будет. И это никогда не кончится. Ты и все эти художники, которым я столько добра сделал, вы еще пожалеете[1].

Свои обещания он выполнял с усердием: уезжал, заболевал, не являлся. Учтивая и медлительная американская Фемида терпеливо ждала. Но хватку не ослабляла. Процесс затянулся на три с лишним года.

Здесь публикуются лишь некоторые из хранящихся у меня нотариально заверенных документов и личных писем художников.

Рональду Ван Баскирку, эсквайру
Пиллсбэри, Мэдисон и Сатро
235 Монтгомери Стрит, помещение 1201
Сан-Франциско, Калифорния 94104

Дорогой мистер Ван Баскирк!

Настоящим письмом подтверждаю, что доверяю госпоже Регине Соловьевой (Манусовой) быть моим представите-

[1] Первой работой, возвращенной М. Мигдалом, был триптих Юрия Дышленко.

лем фактически и в соответствии с законом с целью защиты моих интересов Вашей фирмой в судебном процессе за № L V 72934, обозначенном как «Афоничев и другие» против Марка Мигдала в Верховном суде города Санта-Клара. Госпожа Регина Соловьева в полной мере имеет право говорить за меня и подписывать любые документы за меня во всех случаях, имеющих отношение к этому судебному процессу, включая переговоры, ведение дела (стратегию) и судебное разбирательство. Я прошу Вас направлять госпоже Регине Соловьевой копии судебных документов, корреспонденцию и другие бумаги, а также предоставлять госпоже Регине Соловьевой юридическую помощь по этому делу и в соответствии с настоящими инструкциями.

Искренне Ваш (а):

Подписи:
Евгений Орлов, Сергей Ковальский,
Елена Фигурина, Алексей Вермишев,
Анатолий Васильев, Рихард Васми,
Глеб Богомолов, Владимир Шинкарев,
Валентин Герасименко, Игорь Орлов,
Геннадий Устюгов.

Подлинность подписей художников удостоверяю:
Президент фонда «Свободная культура»
Сергей Ковальский
24 апреля 1997 года

В адвокатскую контору Пиллсбэри, Мэдисон и Сатро
225 Буш стрит, Сан-Франциско, 94120, Калифорния, США
от гражданина Российской Федерации
Афоничева Владислава Федоровича,

Заявление

Я, художник Афоничев Владислав Федорович, по поводу моей работы «Инвалиды» никаких претензий к гражданину США Марку Мигдалу не имею.

В связи с работой «Каин и Авель» претензии имеются, поскольку данная работа принадлежит Барбаре Хазард (США). Поэтому я считаю, что данная работа должна быть безоговорочно возвращена законному владельцу (Барбаре Хазард).

Если Марк Мигдал в дальнейшем рассчитывает на сотрудничество с русскими художниками, то ему нужно серьезно обдумать это предложение.

В. Афоничев
Санкт-Петербург, 28 июня 1996 года

Любезный Марк и очаровательная Даяна!

Поздравляю Вас с наступающими праздниками и с Новым годом. Желаю успехов, благ и душевного спокойствия в наше столь непростое время.

Марк! У нас происходит кипение страстей по поводу работ, которые у тебя остались. Крайне не хочется мне влезать во всю эту кутерьму. Я доверяю тебе вполне и понимаю, что ты не в лучшей ситуации. Причиной тому и американская экономика сегодня, и не строгий отбор работ и т.д.

Что до моих дел:

У тебя две моих работы на условиях 50%, и, учитывая всю сложность ситуации, я бы хотел разрешить этот вопрос следующим порядком:

Вариант 1. Ты оставляешь обе работы у себя, уплатив за одну $4 000 (пониженная цена!).

Вариант 2. Одна работа остается у тебя, вторую передаешь Светлане Тулузаковой (в Лос-Анджелес).

Мне было бы это очень хорошо еще и в том, что я легко бы затыкал рот всем этим крикунам против тебя.

И думаю, что это справедливо.

А вообще очень рад буду видеть тебя, если ты приедешь или, если Бог даст, снова в Америке.

Всех Вам благ

Глеб (Богомолов), СПб.
телефон Светланы в Лос-Анджелесе — ...
26 ноября 1992 г.

И перемена тональности после неудавшейся попытки Глеба Богомолова договориться с Мигдалом сепаратно от коллектива художников:

Любезный Марк!

Для погашения Ваших расходов на хлопоты по выставке в США я передал Вам две мои авторские работы — «Тексты» с условием, что Вы их реализуете и 50% вырученных денег передадите мне. Однако реализации не произошло, и мы договорились, что одну из этих работ Вы вернете мне, а другую оставляете в Вашем распоряжении. Я был бы счастлив, если бы Вы выполнили наши договоренности.

С уважением

Глеб Богомолов, 25 июня 1996 года

Письмо Анатолия Васильева Марку Мигдалу

Ув. Марк!

Картина «Святой остров» была отмечена Сельмой Холо как лучшая моя работа. Неудивительно, что ты выбрал ее в свою коллекцию или по продаже по покрытию затрат на организацию выставки.

Подарить эту картину тебе я отказался, и в результате переговоров был найден компромисс. Картина «Святой остров» была куплена тобой за минимальную сумму три тысячи рублей[1]. Чтобы уменьшить твое огорчение от этой траты (три тысячи!), тебе тут же была подарена картина «Рассыпанные драгоценности», темпера, планшет.

[1] По курсу того времени это составляло примерно 150 долларов.

Итак, картины «Святой остров» и «Рассыпанные драгоценности» перешли в твою собственность.

Остальные работы:

1. Огородники, темпера, планшет 80 х 80
2. Финские камни (1), холст, темпера, 120 х 90
3. Финские камни (2), холст, темпера, 120 х 90
4. Художник и модель, холст, темпера, 120 х 90

являются моей собственностью.

Итак. На их экспонирование и продажу — своего согласия не даю. Картины надлежит отдать или Александру Глезеру, или Барбаре Хазард, или иному лицу, имеющему на то мое разрешение.

Надеюсь, что в наших отношениях сохранятся порядочность и доверие друг к другу.

С уважением

Анатолий Васильев, 23 мая 1993 года

Уважаемые господа!

Заявление

Я, художник Васильев Анатолий Николаевич, в связи с окончанием выставки «Хранители огня» прошу оказать содействие в возвращении картин, незаконно присвоенных организатором выставки, гражданином США Марком Мигдалом.

Мои неоднократные письменные обращения к Марку Мигдалу с просьбой возвратить мои картины не находили ответа.

Мои устные к нему обращения нагло игнорировались.

Перечень картин, которые являются моей собственностью:

1. Огородники[1] (воспроизведена в каталоге, собственность автора).
2. Финские камни 1 (холст, темпера, 120 х 90).
3. Финские камни 2 (холст, темпера, 120 х 90).

[1] «Огородники» — наиболее ценная для Анатолия Васильева работа, на которой изображены его родители, бесследно исчезла. Объяснений на эту тему от Мигдала не последовало.

4. Художник и модель (холст, темпера, 120 х 90).

Картина «Святой остров», экспонировавшаяся на выставке «Хранители огня», по взаимной договоренности является собственностью Марка Мигдала.

В случае возвращения моих работ прошу передать их Михаилу Шемякину по адресу: ...

Анатолий Васильев, 5 июля 1996 года

Я, художник Рихард Рудольфович Васми, заявляю со всей ответственностью, что следующие утверждения точны и правдивы.

Я, Васми Рихард, проживающий по адресу: ..., являюсь автором художественных произведений:

1. Кровельщики, орг. темп.
2. Пейзаж с деревьями, орг. темп.
3. Пейзаж с заводиком, орг. Масло.
4. Натюрморт с мандарином, холст, масло.
5. Пейзаж городской, орг. темп.
6. Натюрморт с черепами, холст, масло.
7. Черный конь, холст, масло.
8. Деревья, картон, темпера.
9. Точно не помню название.

Я являюсь единственным создателем и владельцем всех прав на вышеперечисленные художественные произведения (картины).

В 1989 году я передал все вышеперечисленные картины Марку Мигдалу на определенных условиях показа и возможной продажи в США.

Согласно условиям соглашения о передаче работ, я должен был получить плату за проданные работы или картины должны были быть возвращены М. Мигдалом за его счет.

№ № 1, 3, 9 — проданы Марку Мигдалу.

№ № 2, 4, 5, 6, 7, 8 — должны быть возвращены мне за счет Марка Мигдала.

Марк Мигдал не выполнил наше соглашение. Я требовал от Марка Мигдала возвращения работ или выплаты, но Марк Мигдал ничего не сделал.

Я опасаюсь, что работы могут быть потеряны, повреждены или уничтожены. Эти работы являются уникальными и оригинальными, и заменить их невозможно.

Я заявляю, что вышеприведенные утверждения правдивы и точны и что я сделал это заявление в Санкт-Петербурге, Россия, 1 июля 1996 года.

Подпись художника Рихард Васми
Подпись свидетеля Р. И. Соловьева

1 июля 1996 года я, Модин Д. В., нотариус Санкт-Петербурга, действующий на основании лицензии № 285, выданной Управлением юстиции Санкт-Петербурга, 18.11.1994 года, свидетельствую подлинность подписи гр. Васми Рихарда Рудольфовича, Соловьевой Регины Иосифовны, которые сделаны в моем присутствии. Личность подписавших документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 01—3779
Взыскано по тарифу 7 590 рублей.
Подпись нотариуса: Модин[1]

Я, Васми Рихард Рудольфович, в дополнение к моему первому письму (1 июля 1996 года) хочу заявить, что я требую от Марка Мигдала возвращения 11 моих работ. В первом моем письме были допущены неточности, так как в то время я не видел общий список работ. В списке значатся 12 моих работ. Уже после составления списка М. М. забрал у меня еще две работы, упомянутые в моем первом письме, — «Натюрморт с черепами» и «Черный конь». То есть всего М. М. взял у меня четырнадцать работ. За работы «Натюрморт с черепами» и «Черный конь» М. М. дал мне 1 500 рублей, что по курсу того времени составляло приблизительно 75 долларов.

Из работ, включенных в оба списка (общий список работ и мой список в письме от 1 июля 1996 года) за пять нижеперечисленных работ М. М. дал мне в качестве задатка 1 200 рублей, то есть приблизительно 60 долларов по курсу того времени. Это следующие работы:

[1] Официальные письма, заверенные нотариусом, были представлены каждым художником. Письмо Рихарда Васми от 1 июля 1996 года приводится в качестве образца.

1. Натюрморт с мандолиной.

2. Точного названия не помню, но это городской пейзаж, а на обороте нарисован женский портрет.

3. Деревья, холст.

4. Пейзаж с деревьями, оргалит.

5. Пейзаж с деревьями.

6. В возмещение этого задатка — приблизительно 60 долларов за пять работ, что составляет приблизительно 12 долларов за каждую работу. Я оставляю М. М. одну работу из этого списка «Пейзаж с деревьями» (см. список в вышеупомянутом письме).

7. Таким образом, М. М. купил у меня по чрезвычайно низкой цене три работы, две из которых не вошли в общий список и одна работа включена в него.

Поэтому я требую от М. М. возвращения моих работ, а также 17 ценных исторических фотографий, которые он у меня забрал, чтобы поместить их в каталоге к выставке.

Список одиннадцати работ из общего списка, которые я хочу получить (отмечены звездочкой).

1. Город *
2. Ленинградский пейзаж*
3. Городская сцена*
4. Кровельщики*
5. Натюрморт с мандолиной*
6. Пейзаж с деревьями — отдаю М. М. в возмещение задатка
7. Пейзаж городской*
8. Заводской пейзаж*
9. Деревья*
10. Завод*
11. Ночной Ленинград*
12. Улицы города*

Работы, купленные у меня М. М.:

13. Натюрморт с черепами
14. Черный конь

Прошу придерживаться этого списка от 6 марта 1997 года.

Рихард умер через год после этого письма.

Я, художник Громов В. В. из Санкт-Петербурга (Россия), констатирую положение, которое сложилось с моими работами, взятыми на выставку «Хранители огня» Марком Мигдалом в 1989 году в США.

С Марком Мигдалом была договоренность, что он вернет картины:

1. Landscape, 1982 г.
2. View through a Window, 1970 г.

после выставки.

Если же захочет купить их у меня для своей галереи, то за обе картины он обязался заплатить 1000 долларов США. Разговор о продаже картин состоялся в присутствии художника Васми Р. Р.

До сего дня я ни денег, ни своих картин не получал и потерял надежду их вернуть, т.к. съездить в США и обратиться в судебные инстанции не имею возможности.

28 сентября 1995 г., Валентин Громов

Договор от 8 мая 1993 года, представленный М. Мигдалом суду, является подделкой.

Текст этого договора я вижу впервые.

Точная договоренность между мной и Мигдалом изложена в моем заявлении от 28 июня 1996 года, заверенном нотариусом Санкт-Петербурга.

Я никогда не согласился бы с условиями этого фальшивого договора, который М. Мигдал предъявил суду.

Подпись в этом договоре подделана.

22 июня 1997 г., Валентин Громов

Я, Гуревич Александр, заявляю со всей ответственностью, что следующие утверждения точны и правдивы.

Я, Гуревич Александр, проживающий по адресу: ... Иерусалим, Израиль, являюсь автором художественных произведений Love for Sale, холст, масло, 1989; Rescues, холст, масло, 1983 и «Цирк», холст, масло, 1989.

Я являюсь единственным создателем и владельцем всех прав на вышеперечисленные картины.

В 1990 году я передал все вышеперечисленные картины Марку Мигдалу на определенных условиях в целях показа и возможной продажи в США. Согласно условиям соглашения о передаче я должен был получить плату за проданные работы или картины должны были быть возвращены мне за счет Марка Мигдала.

Марк Мигдал не выполнил наше соглашение. Я требовал от Марка Мигдала возвращения работ или выплаты, но Марк Мигдал отказался.

Я опасаюсь, что работы могут быть потеряны, повреждены или разрушены. Эти работы являются уникальными и оригинальными и не могут быть заменены.

Я заявляю, что вышеперечисленные утверждения правдивы и точны и что я сделал это заявление18 июля 1996 года в Иерусалиме.

Подтверждение подлинности подписи А. Гуревича и подпись нотариуса на английском и на иврите.

23 апреля 1996 г[1].

Марк, здравствуй!

Надеюсь, ты в добром здравии и помнишь о нас.

Скоро (14 июня) к нам в Петербург приезжает Барбара. Я хотел бы воспользоваться ее помощью и получить от тебя через нее свои две маленькие работы: «Невтык Лоцмана» и «Рекламный полет» и, конечно, чтобы Барбара получила свою «Опасную зону».

Надеюсь, ты не против. Времени прошло много и наш с тобой договор истек...

Кроме этого, остальные художники беспокоятся о судьбе своих работ.

Сообщи, пожалуйста.

Вечно с тобой

Твой Сергей Ковальский

27 мая 1994 года

[1] После приезда Марка Мигдала в Израиль и разговора с ним Александр Гуревич отозвал свое заявление. Когда художники начали получать обратно свои работы, он позвонил в Петербург и поинтересовался, будут ли возвращены его холсты. Работы остались у Мигдала.

И еще одна смена тональности:

19 апреля 1996 года

Уважаемый Марк Мигдал!

Прошу Вас сообщить мне о судьбе трех моих картин, переданных Вам 27 сентября 1989 года для экспонирования на выставке «Хранители огня»:

1. Опасная зона.
2. Рекламный полет.
3. Невтык.

Срок договора от 9 мая 1993 года истек: по первому пункту 15 сентября 1993 года; по второму пункту 8 ноября 1995 года.

Надеюсь получить ответ не позднее 22 апреля 1996 года.

Искренне Ваш, Сергей Ковальский

Ответ М. Мигдала:

22 апреля 1996 г.

Сергей! Все картины of «Keepers of the Flame» по-прежнему находятся в Лос-Анджелесе в тех же ящиках, на том же складе. Если ты хочешь организовать (или кто-либо с твоей доверенностью) доставку этих трех картин, это можно сделать, если ты возьмешь на себя все расходы: поездка в Лос-Анджелес, подъемник и два-три рабочих на 3 часа.

Марк

19 апреля 1996 года я, Ковальский Сергей, сообщил по факсу М. Мигдалу о том, что срок нашего договора с ним уже как полгода назад истек и я хотел бы получить свои работы.

В ответ я получил от Марка Мигдала факс, где он предлагал мне приехать в США за свой счет и так же за свой счет забрать работы со склада (факс прилагаю).

Удостоверяю, что картину «Черная дыра» (страховая стоимость 2700 долларов США) я подарил Мигдалу в 1993

году в знак благодарности за участие в организации выставки.

Работы: «Невтык», «Рекламный полет» и «Опасная зона» по нашей договоренности с Мигдалом были оценены соответственно: 1300, 1700 и 2700 долларов США.

20 июня 1996 г., Сергей Ковальский

Я, Орлов Евгений Михайлович, передал Марку Мигдалу для участия в выставке в Fisher Gallery живописный объект из 9 частей — «Цветодинамический проект», 300 х 300 см.

С тех пор я не знаю, где моя работа. Предполагалось, что по истечении договора в 1995 году, если она не будет продана, то будет передана директору Fisher Gallery.

Прошу оказать мне помощь в поиске моей работы.

Работа была передана в сентябре 1989 года.

Санкт-Петербург
18 июня 1996 г. Евгений Орлов

Я, художник Евгений Михайлович Орлов, в 1989 году передал Марку Мигдалу свою работу из 9 частей — «Цветодинамический проект» для участия в выставке в Fisher Gallery.

Минимальная продажная цена моей работы согласно первоначального договора 20 000 долларов США (20 000 долларов).

По договору от 27 сентября 1989 года работа должна была храниться до 1 января 1992 года, после чего работы должна была быть передана автору.

До 1993 года Марк Мигдал не сообщал о результатах выставки.

В 1993 году Марк Мигдал приехал в Ленинград и собрал художников и сказал, что: «Сейчас в Америке нет интереса к русскому искусству» и просил разрешения художников оставить у него работы до 1995 года для их продажи.

Я предложил ему заключить конкретный договор и он согласился это сделать на следующий день, но не пришел, а сам в этот день улетел в Америку.

На словах я просил его в случае непродажи работы передать ее директору Fisher Gallery.

До сегодняшнего дня я не имею сведений о местонахождении и состоянии моей работы.

18 июня 1996 года
Евгений Орлов

Я, Орлов Игорь Михайлович, передал 6 сентября 1989 года 1 (один) живописный холст для участия в выставке в Fisher Gallery:

«Собор». 90 х 70 см

С тех пор я не знаю, где моя работа. Предполагалось, что она будет оставлена в галерее, но меня никто не уведомил об этом.

Прошу оказать мне помощь в поиске моей работы.

Игорь Орлов
Санкт-Петербург

Я, Шинкарев Владимир Николаевич, заявляю со всей ответственностью, что следующие утверждения точны и правдивы.

Я, Шинкарев Владимир Николаевич, проживающий по адресу: (.....), являюсь автором художественных произведений:

1. Радуга-дуга. 1987 г. Холст, масло. 55 х 70.
2. Натюрморт с арбузом и револьвером. Х., м. 1989 г. 55 х 70.
3. День Ангела у кочегара. Х., м. 1987 г. 40 х 50.
4. Коровушка заблудилась. Орг., м. 1984 г. 40 х 30.
5. Чернокрылый воробей. Х., м. 1988 г. 40 х 50.

Я являюсь единственным создателем и владельцем всех прав на вышеперечисленные художественные произведения (картины).

В 1989 году я передал все вышеперечисленные работы (картины) Марку Мигдалу на определенных условиях, в целях показа и возможной продажи в США. Согласно условиям

соглашения о передаче, я должен был получить плату за проданные работы или они должны были быть возвращены мне за счет Марка Мигдала.

Марк Мигдал не выполнил наше соглашение. Я требовал от Марка Мигдала возвращения работ или выплаты, но Марк Мигдал ничего не сделал.

Я опасаюсь, что работы могут быть потеряны, повреждены или уничтожены. Эти работы являются оригинальными и уникальными (произведениями искусства) и не могут быть заменены.

Я заявляю, что вышеперечисленные утверждения правдивы и точны и что я сделал это заявление 29 июня 1996 года в Санкт-Петербурге, Россия.

Я, художник Шавочкин Алексей Александрович (псевдоним Вермишев), в сентябре 1993 года передал гражданину США Марку Мигдалу свои картины на определенных условиях:

1. Натюрморт. 1988. Холст, масло.

2. Композиция. Натюрморт. Два объекта. 1988. Холст, масло.

3. Композиция. Три фигуры. Люди.

Из которых:

«Натюрморт (№ 1)», 1988, принадлежит Марку Мигдалу.

«Композиция. Три фигуры» (№ 3), 1988, принадлежит Марку Мигдалу согласно письменному договору от 9 мая 1993 года.

«Композиция. Натюрморт. Два объекта», 1988, согласно письменному договору должна быть передана моему доверенному лицу Климентию Грановскому (East-West Gallery, Сан-Франциско).

Марк Мигдал отказался вернуть работу, мотивируя это тем, что он банкрот.

В связи с вышеизложенным прошу вернуть мне указанную работу «Композиция. Натюрморт. Два объекта», передав ее Регине Манусовой.

Алексей Вермишев, Санкт-Петербург

Я, Алексей Вермишев, заявляю, что я написал М. Мигдалу расписку, в том, что М. М. передаст одну из работ, принадлежащих мне, моему галерейщику, а 2-ю мою работу оставит себе.

Когда мой галерейщик приехал к нему за работой, М. М. объявил себя банкротом и работу не отдал.

Поскольку М. Мигдал не выполнил обязательств, взятых на себя и указанных в расписке, то я считаю мою расписку недействительной и прошу вернуть мне две мои работы, а не одну. Речь идет о работах:

1. «Композиция. Три фигуры. Люди».

2. «Композиция. Натюрморт. Два объекта». (Эта работа, если я перепутал название, должна изображать натюрморт и она так же, как и первая, двухметрового размера).

Прошу ориентироваться на размеры. Обе работы, которые я прошу вернуть, размером по два метра.

Со слов Вермишева записала по телефону Елена Фигурина.
Свидетель: Валентин Герасименко.
5 марта 1997 года

19 апреля 1996 года

Я, Фигурина Елена, передала Марку Мигдалу в сентябре 1989 года 3 (три) живописных холста для участия в выставке в Fisher Gallery:

1. Автопортрет. 1980. Х., м. 57 х 78 см.
2. Бегущие коровы. 1983. Х., м. 119 х 87 см.
3. Птица. 1988. Х., м. 130 х 105 см.

Работа № 3 «Птица» была мне возвращена.

В течение последующих лет я неоднократно пыталась получить мои работы, но безуспешно.

Прошу оказать мне помощь в возвращении работ.

Елена Фигурина

Уважаемые господа!

Мы, художники, члены Санкт-Петербургского гуманитарного фонда «Свободная культура» Рихард Васми и Сергей Ковальский, долгие годы были друзьями Шолома Шварца. Последние пять лет жизни этого замечательного художника наш фонд предоставлял ему студию для работы и оплачивал за него ее аренду и коммунальные услуги. Кроме этого, фонд все это время выплачивал Шолому Шварцу ежемесячную стипендию.

Наш фонд собирает коллекцию послевоенной нонконформистской живописи, где, как мы думаем, должно быть представлено и творчество Шолома Шварца.

Мы, как друзья Ш. Шварца и представители фонда «Свободная культура», считаем себя вправе представлять интересы Ш. Шварца и претендовать на возврат его картин от Марка Мигдала нам для включения их в коллекцию фонда.

Художник и президент фонда Сергей Ковальский
Рихард Васми, художник

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, художники, участвовавшие в выставке в галерее «Фишер», подтверждаем, что Марк Мигдал, воспользовавшись плохим состоянием здоровья Геннадия Устюгова, уговорил Геннадия отдать ему (Марку Мигдалу) в 1989 г. большое количество работ (более двадцати). Затем в мае 1993 г. Мигдал вынудил его на выгодных для себя условиях подписать договор.

25.06.96.
В. Афоничев, Г. Богомолов
А. Васильев, А. Вермишев
В. Герасименко, В. Громов
Е. Орлов, И. Орлов
Е. Фигурина, В. Шинкарев

Я, Геннадий Устюгов, заявляю, что М. Мигдал, воспользовавшись моим болезненным состоянием, взял у меня

24 мои работы, и из них 7 работ вынудил меня продать ему по очень низкой цене. Прошу вернуть мне все мои работы.

Со слов Г. Устюгова записала по телефону Елена Фигурина.
Свидетель: В. Герасименко. 6 марта 1997 г.

Гуманитарный фонд «Свободная культура»
191040, Санкт-Петербург,
ул. Пушкинская, 10, кв. 1

Я, Устюгов Геннадий Афанасьевич, доверяю президенту фонда «Свободная культура» Ковальскому Сергею Викторовичу представлять мои интересы по поводу возврата моих картин, забранных Марком Мигдалом в США в количестве 17 (семнадцати).

Устюгов
26.09. 1996 г.
Подпись Устюгова заверяю
исп. директор Вахрушев В. В.

В адвокатскую контору Пиллсбэри, Мэдисон и Сатро от художников Санкт-Петербурга по иску к Марку Мигдалу

Мы, художники, подтверждаем, что при заключении договора с Марком Мигдалом[1] мы пришли к соглашению с Мигдалом, что наши работы должны быть возвращены нам за счет Мигдала и пересланы за его счет в Санкт-Петербург или нашим доверенным лицам в США. Мигдал брал на себя расходы по изданию каталога, рекламе, а также расходы по организации выставки: транспортировку, страхование, хранение работ (см. договор — п. 3 и п. 4).

По его просьбе часть художников выставки подарила М. Мигдалу по одной работе в счет погашения части этих расходов, а также ему было дано право продавать эти работы за исключением нескольких, не подлежащих продаже работ,

[1] Договор от 1989 г., подписанный художниками и заверенный директором фонда «Ленинградская галерея» И. Храбрым.

и в случае продажи М. Мигдал получал бы 50% стоимости работ.

Мы прилагаем списки работ, вывезенных М. Мигдалом в США, из которого видно, что мы претендуем менее чем на половину вывезенных им работ. Из списка видно, что наряду с работами, предназначенными для выставки, он вывез также работы других петербургских художников, купленные им здесь по очень низким ценам. Он также, воспользовавшись плохим состоянием здоровья художника Геннадия Устюгова, вывез большое количество его работ (по списку 24 работы), что значительно повлияло на ухудшение здоровья художника.

Основываясь на вышеизложенном, мы настаиваем на возвращении принадлежащих нам работ за счет М. Мигдала, непосредственно художникам в Санкт-Петербург или нашим доверенным лицам в США.

21.01. 1997

Е. Фигурина, В. Герасименко, В. Громов
Р. Васми, Е. Орлов, И. Орлов, А. Васильев,
С. Ковальский, А. Вермишев, В. Афоничев

* * *

Здесь представлен лишь малый процент хранящихся у меня документов. Абсолютно все бумаги, фигурирующие в деле, фирма исправно высылала на три адреса — Айрин Голдман, Барбары Хазард и мой. Уничтожить весь огромный архив этой тягостной эпопеи не поднялась рука.

Публиковать его здесь не имеет смысла. Приведу лишь один из зафиксированных в документах методов, применявшихся «любителем искусства питерских художников».

«Лавка художника», что в начале Невского, всегда, а в перестроечные годы особенно, была местом притяжения художников, как официальных, членов Союза, так и вольных мастеров. Там был выставочный зал с работами, предназначенными для продажи, там же можно было купить краски и холст. Но все эти блага не доставались неформалам.

Некоторые счастливчики имели друзей, членов ЛОСХа и могли иногда «отхватить» необходимые им материалы. Через «Лавку художника» в то время происходило оформление работ на продажу, а также на их вывоз за пределы страны. Цены были капельные. Как на стоимость, так и на вывоз.

В 1989 году заведующей отделом живописи и графики в «Лавке художника» работала искусствовед Людмила Фляш, корпулентная приветливая женщина. Людмила оформляла работы, вывозимые Мигдалом. Именно она зафиксировала и переслала в суд обнаруженное ею мошенничество с чеками на вывоз работ.

Очень смешно смотреть на документ по изучению чеков, присланный Людмилой по просьбе адвокатов. Суд просил ее подтвердить подлинность выданных Мигдалу чеков и проставленных там денежных сумм. Пытаясь доказать, что он потратил атомные деньги на вывоз работ, фигурант в документе, где были проставлены цены на работы художников, подделывал цифры — менял единицы, которыми начиналась сумма, на четверки. Совсем как нерадивый ученик в украденном им классном журнале. Если же Мигдал не находил единицу в начале суммы, то подставлял впереди еще одну, любую пришедшую на ум цифру, покрупнее.

«Из 65 представленных здесь чеков 46 были подделаны. Фальсификатор о действующей системе ценообразования или не знал, или просто не подумал», — писала Людмила Фляш.

Существует грустная статистика работ, потерянных для художников. Это связано в основном с дельцами, которые забирали работы на продажу, а потом решали их не отдавать. Хочется упомянуть несколько случаев. Но это лишь капля в океане.

Рихард Васми очень просил меня после окончания мигдаловской эпопеи заняться выставкой, вывоз которой в 1976 году был осуществлен американцем Майклом Рукиным с помощью Реджины Волдман. Всего было вывезено, как вспоминал Алек Рапопорт, более трехсот работ. Кроме участников группы «Алеф» свои работы предоставили Александр Арефьев, Рихард Васми и Шолом Шварц. Все работы сгинули в Америке бесследно. «Вывезенные картины испарились

где-то между мадам Волдман и мистером Рукиным, которые обвиняли в этом один другого, и художники больше никогда не увидели свои работы»[1].

Елена Фигурина рассказала мне о вояже, который ей пришлось предпринять, чтобы забрать свои картины у американских галерейщиков. В частности, у Елены Корнейчук из Вашингтона и Хайди Нойхоф из Нью-Йорка. Из Калифорнии она ехала на автобусе компании Greyhound через всю Америку, сначала в Вашингтон и затем в Нью-Йорк. «Отъем» собственных работ был долгим и болезненным. Хождение в галереи, чтобы «поймать» хозяев, превратилось в каждодневный рабочий процесс.

Уловки, применяемые торговцами, очень походили на мигдаловские.

Однажды, когда я летела в Петербург, моей соседкой оказалась юная девушка, которая направлялась в Ригу. Она рассказала, что ее мама, латвийская художница Зоя Фролова, отдала свои работы в галерею Грановского в Сан-Франциско. Больше она их никогда не увидела.

В нашем случае «куча чугунных лжей» (выражение Андрея Вознесенского), к которой прибегал Мигдал с помощью матерого аса-адвоката, не помогла. Основную массу работ пришлось вернуть. До этого момента не дожили четверо: Рихард Васми, Юрий Дышленко, Александр Манусов, Шолом Шварц.

Я очень верю в высшие силы. В этой схватке они были не на стороне Мигдала. Именно они, думается мне, вывели на наш путь Баиру, а через нее Рональда Ван Баскирка. Это они в минуту полного отчаяния остановили Аню поздним вечером возле дома Джона М., который, игнорируя мигдаловский шантаж с расписками, погрузил в свой трак Сашины плененные холсты. Это они вывели на группу художников, уже потерявших надежду получить свои работы, Айрин Голдман. Айрин, по моему твердому убеждению, была мотором всей группы. Когда угасал пыл сотрудников фирмы (все же pro bono!), энергия Айрин превращала этот тлеющий фити-

[1] *Рапопорт Алек.* «Нонконформизм остается». СПб.: Деан, 2003. С. 49.

лек в мощный факел. И так на протяжении трех с лишним лет, без каникул и перерывов на обед.

Выставка, которая называлась Rescued Paintings («Спасенные работы»), состоялась в 1998 году в Сан-Франциско, в помещении фонда «Тайдс». Событие подробно освещалось в прессе и по телевидению. Из России прилетели трое: Валентин Герасименко, Сергей Ковальский и Елена Фигурина. Среди множества гостей я с изумлением заметила знакомое лицо. Но радости узнавания не испытала. Это был родственник Мигдала, тот самый Алексанян, который шантажировал меня несколько лет назад («Вот вы сейчас подпишете эту бумагу, и картина больше не будет ваша»). Позже Лена сказала мне, что он хотел купить ее «Автопортрет».

Как уже говорилось в начале, зло расцветает под солнцем, как лавровое дерево. Иногда его удается схватить за хвост. Тогда оно визжит и извивается. Пытается ужалить противника. Но иногда хвост ему удается прищемить. Как в нашем случае. К сожалению, это происходит нечасто[1].

1999 г.

1 В 2012 году М. М. присылал своих эмиссаров в Петербург для покупки новых работ. Приехать лично «коллекционер» застеснялся.

ХУДОЖНИКИ. СИЛУЭТЫ

По отношению к друзьям владели мной любовь, сарказм и жалость. Но в первую очередь любовь.

Сергей Довлатов

РЕКВИЕМ

Ленина Никитина

— Регинушка, — сказал голос Ленины одновременно просто и на таких обертонах переплавленной скорби, что это прозвучало реквиемом по мирозданию, — Регинушка, я вчера Левушку похоронила.

Я вздрогнула. Левушка, уличный кот-пария, в дальнем прошлом много лет жил у Ленины со своей кошачьей семьей — уютной серой Ласочкой и их сыном Антошкой в ее щели на Манежном переулке, торжественно обозначенной в реестрах жилконторы как отдельная однокомнатная квартира. С ними жила еще и Грушенька, Аграфена Псоевна, как ее величала Ленина, маленькая грязноватая девочка породы шпиц. Однако абсолютным повелителем и даже властелином здесь был именно Левушка, с его узкими сарацинскими глазами, серо-полосатой масти, исполненный лаконичного скульптурного совершенства.

Щель находилась на третьем с половиной этаже (вход со двора) и, когда хозяйка уходила, дверь замыкалась на большой амбарный замок. Телефона в щели не было, на двери висел блокнотик с карандашом на веревочке, где хозяйка сообщала неудачливым визитерам, куда она пошла и когда придет.

Когда господин Наннен, почтенный седовласый немец, в прошлом главный редактор журнала «Штерн», вскарабкался по этой черной, с неожиданными заворотами и запахами лестнице на третий с половиной этаж, он показался ему седьмым небом. Позже господин Наннен так и писал в статьях, что художница Ленина Никитина живет в старом доме, как жил и Раскольников, но только на седьмом этаже.

Господин Наннен, участник Второй мировой войны, находился в составе немецких войск, осаждавших блокадный Ленинград. Распрощавшись с журналом «Штерн», он построил в городке Эмден небольшой уютный музей и поселил там ряд шедевров мирового искусства. Он приехал к Ленине, чтобы увидеть ее знаменитую блокадную серию.

Мать и сестра Ленины в блокаду умерли от голода, отец умер еще до войны. Девочка осталась одна. Жили они на Васильевском острове в доме на Неве, из окон которого был виден Тучков мост. Позже Ленина показала мне этот дом.

— Я по лестнице волокла вниз санки сначала с мертвой мамой, а потом с сестрой, — рассказывала она своим ясным, вечно детским голоском.

Я излагаю лишь сухую сюжетную линию и как все это преломилось в сознании двенадцатилетней девочки и что же потом случилось с ее взрослой жизнью. Именно в ее взрослой жизни возник четкий слепок с момента детского ужаса — картинка небольшого формата, но силы гигантской атомной бомбы.

В коммунальной квартире, где жила семья Ленины, осталась в живых лишь одна молодая соседка. Голод продолжал одолевать. Девушке-соседке казалось, что Ленинины дни тоже сочтены. Тогда она принесла с улицы тощую полосатую кошку. Она подняла кошку на стол, велела Ленине крепко держать животное, а сама, замахнувшись топором, убила зверька. Она сварила кошку и накормила девочку, а сама есть не стала, не смогла, говорила Ленина.

Через много лет господин Наннен увез в Германию работу Ленины «Жить хочется», где эта история изложена со страшной силой таланта, лаконично, жутко и честно.

Подавшись вперед, девочка вцепляется в костлявую кошку, распластанную на голом деревянном столе. Все ее

внимание сконцентрировано на зверьке. К нам же обращена фигура Рока. Это соседка, та самая молодая женщина, которая, стоя рядом с девочкой, с пугающей силой отчаяния замахивается топором. Она отбрасывает черный зловещий силуэт. Здесь нет конкретики при всей очевидности сюжета. Я множество раз смотрела на эту работу. Самое страшное там — это глаза кошки, вся ее тщетная попытка вырваться и полное осознание надвигающегося ужаса. В глазах ее, несмотря на обреченность и знание, что грядет беспредельная мука, сконцентрирована угрюмая жизненная энергия. Она тоже хочет жить. Это уже не кошка. Это — существо в преддверии своего апокалипсиса.

— Эта кошка-полосатка преследует меня всю жизнь, — говорила Ленина.

Господин Наннен увез эту работу в свой музей. Ленина отказалась продавать картину. Она ее подарила. — Я не могу торговать кровью, — сказала она мне. Позже она подарила в музей еще несколько работ из своей блокадной серии.

Впервые я увидела Ленину в мае 1986 года во Дворце молодежи в Ленинграде. Это была нашумевшая антивыставка, поскольку художники разобрали уже развешанную экспозицию, протестуя против требования властей снять огромное количество работ. Здесь, среди ярмарочного скопища кричаще разных художников, были и ее работы. Тогда художники пользовались примечательной терминологией:

— Где ты висишь? — спрашивал кто-то Сашу.

— В левой части зала, почти в самом начале, — отвечал он. — Слева от меня висит Лоцман, а справа Юлия Иванова.

На этой, особенно запомнившейся мне выставке, Ленина «висела» в правой части зала, ближе к выходу.

— Вон там, далеко, справа идет Ленина Никитина, — показал мне ее Саша.

Полноватая и маленькая, в коротком свитере и простой юбке, очень похожая на свои картинки, Ленина, двигалась со спокойной неуклюжестью. Пегого цвета волосы были забраны сзади в прозаический пучок. А лицо ее было лучезарным, его освещало какое-то внутреннее сияние. Я испытала приступ робости и не решилась подойти и познакомиться.

К тому времени я уже знала, что Ленина все детство провела в детских домах, а половину взрослой жизни в психушках, что она отличается убийственной прямотой, временами даже агрессивностью, что ее кошачья семья постоянно производит потомство, и Ленина с котятами отправляется на Кондратьевский рынок, где отдает малышей в хорошие руки за символическую цену, кажется, за рубль. Новым хозяевам котят она оставляет бумажку с адресом, чтобы те принесли котенка обратно, если он им вдруг станет не нужен.

До «неоткрытия» этой экспозиции, во Дворце молодежи, как и на всех весьма неохотно разрешенных выставках неофициалов, резвилась комиссия Управления культуры во главе с Мудровой. Это была высокая сухопарая женщина, которая называла себя «бойцом партии». На голове у нее красовалась залакированная длинная башня-начес из лишенных какого-либо цвета волос. Художники прозвали ее «Серая моль». В этот раз комиссия требовала снять со стен рекордное количество работ. Шла позорная бойня в Афганистане, и любые «подозрительные» ассоциации означали, что работа снимается с выставки. На одной из картин Ленины солдат целится из автомата в ребенка. Члены комиссии немедленно усмотрели в работе компромат и антисоветчину.

— Вы должны переделать эту работу, вы нарисовали здесь автомат Калашникова, — заявила Мудрова Ленине, которая никогда в жизни не видела это оружие. — Вы же знаете, что мы можем вам запретить выставляться.

— Я знаю, вы все можете, — простодушно ответила Ленина, — вы даже можете меня убить.

Автомат она переделала, и картина осталась висеть до того момента, пока художники добровольно не разобрали всю выставку.

Мы очень много общались с Лениной в последний год Сашиной жизни. Мы взбирались на ее третий с половиной этаж, входили, обычно с тортиком в руках, в ее крошечную прихожую и одновременно кухню, где на подоконнике посреди кастрюль с едой для кошек и Грушеньки восседало все кошачье семейство. Дверь из прихожей вела в комнату-лилипут, где стояла узкая кушетка, стол для работы, мольберт. Стены были забиты стеллажами с картинами, а над столом висели многочисленные рисунки ее зверей, особенно котят,

ибо перед тем как понести котенка на рынок, Ленина увековечивала его на бумаге. Это были карандашные, лихо сделанные характерные зарисовки.

В помещении стоял тяжелый аммиачный запах. Его источали не кошки, а уже сами стены, и спасения от него не было даже на улице, потому что он словно пропитывал весь организм. Даже зараженный воздух ленинградского центра по выходе из этой квартиры-пенала казался волшебным эликсиром.

Уже после Саши Ленине выделили большую однокомнатную квартиру на улице Чайковского, на первом этаже. Вход в квартиру был со двора.

Обосновавшись в новой квартире с огромной кухней и комнатой, Ленина получила возможность опекать беспризорных кошек. Роковой знак, убиенная кошка-полосатка, определяла теперь ее жизнь на сто процентов. В квартире появились пришельцы, вступавшие в конфронтацию с фаворитом Левушкой. Появились кошки, приносящие котят помимо Ласочки. Через неделю после рождения у котят начинали гноиться глаза. Это была чумка. Бациллы болезни плотно угнездились в новой квартире. Ленина боролась с ней своими способами, протирала им глаза ваткой со спиртом, давала особое питье. Потом котята начинали умирать один за другим. Задержавшиеся на какое-то время имели обреченный вид. Вольные уличные коты, по сравнению с ними, выглядели здоровяками.

И вот тут Левушка не выдержал. Он просто ушел из дома. В знак протеста и презрения, а, может, для спасения собственной жизни. Ленина долго искала его, но без успеха. И лишь через пару лет в одном из дальних дворов она нашла свое сокровище. Он был неузнаваем. Дикая, вольная и опасная жизнь превратила ее вальяжного любимца в облезлого обитателя помоек. Он был зол и независим. Он узнал Ленину и подпустил ее к себе, храня угрюмое достоинство. Дал себя погладить и ушел. Ленина готовила для него особо вкусную еду и носила в этот дальний двор. Он все съедал, поворачивался и уходил в подвальную дыру.

Однажды она нашла его недвижного в этом дворе. Его переехала машина. Плача, Ленина завернула его в платок. Она похоронила его вечером во дворе под своим окном.

После гибели Левушки на стене появилась новая работа Ленины. Перед черным провалом, занявшим половину плоскости картины, — скорчившаяся, плохо различимая фигура женщины. Она в рывке, полностью нацелена в черную бездну подвала. Надпись по периметру, детски-корявыми буквами, кричит: «Котасик, Касатик, Красавчик, не уходи от меня».

Когда Ленина жила еще на Манежном переулке, на Манежке, как она говорила, в этом доме поселилась молодая женщина с мальчиком лет двенадцати. У нее была очень ласковая собака-боксер и три кошки. Это была Ольга Пунченок, начинающий режиссер Леннаучфильма. Они сталкивались во дворе дома, во время прогулок с собаками. Ольга была заворожена личностью Ленины, еще не зная, что она уникальный художник. А попав к ней в дом и увидев картинки, испытала острое желание сделать фильм об этой явно выпадающей из рамок обыденности женщине.

Мы были на премьере ее картины в студии Леннаучфильм. Это очень короткий фильм, всего на тридцать минут. Ленина своим тонким ясным голоском рассказывает о том, что с ней случилось в жизни. После фильма многие зрители остались сидеть на местах. Они плакали. А Ленина мирно улыбалась. Ольга сумела показать все ее работы, включающие серию на тему блокады, жизни в детском доме и пребывания в психиатрических лечебницах.

Работы ее жгут особой экспрессией пережитого и отшлифованного годами ужаса.

Но ужас поселился и в новой просторной квартире Ленины и изгнать его оказалось невозможным. Как и на Манежке, стены скоро начали источать аммиачный смрад. По столу среди хлебных крошек бродили тараканы. Каждое удобное сиденье было оккупировано почти недвижными телами погибающих котят или молодых еще кошек. Они смотрели на нас узкими из-за пленок гноя глазами. В большую форточку попеременно впрыгивали с улицы нагулявшиеся коты и тут же отправлялись обратно. В туалете стояли несколько подносов с положенными на них газетными листами. Как-то мне

удалось направить к ней женщин, занимающихся бездомными животными. Они привезли ей еды для питомцев и предложили прислать врача, чтобы тот кастрировал животных.

— Вам не нужно столько больных котят, к тому же они все погибают в мучениях, — убеждали они ее.

— А как же Господь сказал: «Плодитесь и размножайтесь», — запальчиво возразила Ленина и прогнала женщин.

Ольга Пунченок в глаза говорила ей:

— Ленина Дмитриевна, у вас же здесь концентрационный лагерь для животных, пожалейте их.

Отношения их скоро разладились.

Кроме котов у Ленины жили три-четыре подобранные ею собаки. Вся ее жизнь состояла теперь в гулянии с собаками, кормлении животных и лечении кошек. Сил у нее было все меньше, и она часто выпускала собак бегать по двору самостоятельно. Однажды две из них отравились крысиным ядом и пришли домой умирать. Для работы времени и сил не оставалось. И все же она ухитрилась закончить солнечную по настроению и колориту работу под названием «Семейка», где изобразила себя с некоторыми питомцами и над которой работала несколько лет. К счастью, Евгений Орлов купил у нее эту работу, и теперь она находится на Пушкинской, в коллекции Музея нонконформистского искусства. Глядя на эту работу, понимаешь, сколько света заложено в этой женщине. Света, который тьма так и не одолела.

Ленина и бомж

Старик-бомж лежал у Ленины под окном. Она открыла окно и высунулась оттуда. Он посмотрел на нее и сказал:

— Я есть хочу!

— Я тоже есть хочу, — ответила она.

— Поджарь мне курицу, — приказал старик.

— Откуда у меня курица, ты что, с ума сошел? — сказала Ленина.

Старик пошарил в кармане и вытащил газетный сверток. Там лежало фиолетовое куриное бедро.

— И всего-то? — сказала Ленина. — Жарить я не буду, это очень долго.

— Тогда свари, — приказал старик.

Ленина положила бедро в самую большую кастрюлю с отбитой эмалью. Вода медленно закипала и, наконец, забулькала и заурчала.

— Ты скоро? — спросил старик за окном. — Шевелись, я есть хочу.

Собаки Ленины, Ганка, Лелька и Шармочка, сидя в кухне, с вожделением вдыхали куриный аромат.

— Так еще не готово, — сказала Ленина.

— Давай скорее, я голоден, — отвечал старик.

Ленина вынесла кастрюлю во двор. Старик сел с кастрюлей под окно. Его ноздри шевелились, как у Ленининых собак.

— Я тебя люблю, — сказал он, прилаживая кастрюлю на коленях.

Ленина ушла в дом. Когда она вышла, старика не было. Он ушел с ее лучшей и самой большой кастрюлей.

Он пришел через три дня. В руках у него был небольшой мешок из рогожки.

— Отдай мою кастрюлю, — закричала Ленина из окна. — Это моя единственная самая большая кастрюля, я в ней для людей варю, не для животных. Что мне теперь, другую покупать? А на какие шиши?

Старик воздел кверху руки с мешком.

— Это тебе, — сказал он.

Ленина заглянула в мешок. Там было много клюквы, и она обрадовалась. Но потом она поняла, что клюква старая и гнилая. А старик опять исчез.

Она вышла с мешком гнилой клюквы во двор.

Навстречу шла женщина.

— Вам не нужна клюква, совсем дармовая? — спросила Ленина.

Женщина заглянула в мешок.

— Так она же вся гнилая, вы ее сгноили, — сказала она и пошла дальше.

Ленина повесила мешок на дерево у помойки и вернулась домой.

Через пять минут она выглянула в окно. Мешка на дереве уже не было.

2004 г.

Нинон и Аленушек

Когда пошел косяк разрешенных выставок в ЛДМ, я невольно ввинтилась в воронку их притягательной суеты. Саша весной обычно отбывал на лечение в Литву, и мы с Сашей Бихтером, его соседом по мастерской, пешком относили работы их двоих во Дворец молодежи, здание, предназначенное для ликования юношей и девушек и тылом своим взирающее на Каменный остров. Ринг, где немалая, правда, горстка художников колотилась о силовую структуру, стену, именуемую Управлением культуры.

Преодолев 148 ступеней черной лестницы и обретя дыхание после инквизиции подъема, мы отбирали нужные холсты. Саша виртуозно, как все художники, обвивал их веревкой, и шествие начиналось. Каскады лестничных пролетов, амброзия гнилостных запахов впитывали в себя затхлость воздуха из подвала с водой. Большая Зеленина, будучи ввергнута в катастрофу хронического ремонта, представлялась улочкой средневекового города. Миновав ее, мы вступали в нечленораздельность переулков, где бродил когда-то Блок, и, наконец, выбирались на свободное пространство возле Дворца.

Выставочным залом это называлось условно. Помещение, где максимум художников пытался представить максимум же работ всех направлений. Казалось, Вавилонскую башню искусства строят тысячи языков, однако языки эти не смешиваются. Здесь были «основоположники» авангарда, участники квартирных выставок, гремевшие еще с Газа и Невского, художники, доселе лишь выражавшие себя и вдруг озаренные возможностью выставиться. Примитивисты, концепуалисты, графики, живописцы, скульпторы, керамисты, коллажисты, последователи почти всех течений мирового искусства. Это были выставки с детективным душком. Репрессии по поводу выставленных работ могли проистекать

сразу с нескольких направлений: отдела по искусству КГБ, который курировал майор Коршунов, занимавший после начала «упадка» пост председателя исполкома Петроградского района, но уже под истинной своей фамилией Кошелев; Управления культуры, имя директрисы которого, Мудровой, вызывало озноб, а также дирекции Дворца молодежи, временами, по указанию свыше, впадавшей в праведный гнев и ужас при виде готовой экспозиции.

Володя Михайлов, великолепно живописующий ситуацию роскошью голоса и впаянными туда ироническими интонациями, будучи членом совета ТЭИИ, присутствовал при одном таком административном артобстреле с участием майора Коршунова. Майор был в шикарном костюме, с хорошей стрижкой, и под пиджаком, уверял Володя, отчетливо просматривалось дуло пистолета. Майору не понравилось решительно все.

— У вас такая плотная развеска, что это мешает увидеть работы в правильном ракурсе. Вот, к примеру, в галерее Уффици, где я недавно был, развеска совсем другая... Там так просторно...

— Вот и возите своих детей по галереям Уффици, а мы как-нибудь здесь сами разберемся, — поднял голову Альберт Розин, выставлявшийся под псевдонимом Соломон Россин. Его огромные полотна, эпатирующие публику, всегда раздражали лейтенантов от искусства. В данный момент майор Коршунов стоял перед работой Россина «Таня», где образ героической партизанки Зои Космодемьянской был подан в непривычном ракурсе[1]. Чрезмерность замысла и исполнения усугублялись размерами полотна.

— Образ Зои очень сложен, Алик, — задушевно молвил симпатичный Завен Аршакуни, талантливый художник, член ЛОСХа и активный участник тамошней фрондирующей группы молодых художников. Приглашенный майором на роль интеллигентного лакея, он балансировал на скользкой дощечке двоедушия, с одной стороны не желая упасть и вымазаться в грязи перед бунтарскими художниками, с другой — пытаясь хоть на долю процента выполнить «со-

[1] Зоя Космодемьянская, попав в плен к немцам, на допросе назвала себя Таней.

циальный заказ». — Я сам много думал над образом Зои, — продолжил он и в его голосе возникли прямо-таки крадущиеся интонации, — и ты понимаешь, я боюсь и до сих пор не могу решиться на это. Это ведь такая огромная ответственность, и я опасаюсь, что не справлюсь...

— Завен, — просто сказал Россин, — я думал, ты художник, а ты говно.

После этого рассказа героический образ никогда не виденного мною Соломона Россина навечно впаялся в сознание. Работу художника «Таня» тоже не довелось увидеть: она была снята с экспозиции по велению свыше одновременно с работой, изображающей Льва Толстого и Максима Горького. Много позже я увидела фотографию этой работы в книге, посвященной деятельности ТЭИИ. Длинное тело юной партизанки в мужском костюме и с вывернутой шеей, явно парящее в петле, которая здесь лишь подразумевалась, занимало всю долгую вертикаль полотна. Один лишь взгляд туда — и тебя словно стегнули болевым хлыстом с такой изощренностью, что второй взгляд уже хотелось бросить украдкой. Как надо вывернуть свою человеческую природу, чтобы представить это себе и, более того, изобразить с таким каннибальским сладострастием. И художника становилось не менее жалко, чем замученную девушку.

Теперь, банально выражаясь, через толщу лет восхищение воинственным Соломоном Россиным опало, как перестоявшееся тесто. И не только уличная лексика в общении с собратом-художником — явный плагиат оценки Лениным российской интеллигенции — смущала. Слишком много оказалось прочитанным из того, что тогда было недоступно и подразумевалось лишь единицами. Может быть, Завен Аршакуни не лукавил, говоря, что это очень сложный образ, возможно, он знал, что Космодемьянские — старинный священнический род, многие представители которого служили в православных храмах Тамбовской губернии и что дед Зои по отцовской линии, священник Петр Иоаннович Космодемьянский, в августе 1918 года принял мученическую кончину от рук «строителей новой жизни». Однажды ночью, после того, как батюшка на сельском сходе выступил в защиту церкви, его схватили и после жестоких истязаний утопили

в пруду. Может быть, Аршакуни знал, что несчастная Зоя подростком неоднократно обследовалась на предмет шизофрении и что намеки на эту болезнь могли проявиться неосознанно, на уровне генетической памяти о загнанной в подполье истории ее деда-мученика. Вряд ли, правда, Завену было известно, что по воспоминаниям трех врачей детского отделения психиатрической больницы им. Кащенко, занимавшихся девочкой, после войны в больницу пришли два человека и изъяли все документы о Зое. Возможно, ему было известно, что Зоя не была партизанкой, как ее представляла советская пресса, а входила в состав диверсионной группы, выполнявшей приказ Сталина о выжженной земле, где должны были очутиться враги, и получившей задание сжигать целые деревни вокруг Москвы. Друг моего отца, известный ленинградский психиатр Наум Борисович Угол, нередко вел у нас в доме разговоры о феномене Зои.

* * *

В 1988 году при заводе им. Свердлова проходила серия однодневных выставок неофициальных художников с пышным названием «Вернисаж». Проводил выставки Иосиф Храбрый, огромный человек с такого же размера пиететом к искусству и художникам. Комментарии его были тактичны, он был превосходным посредником в общении художника и его публики.

Именно по его инициативе приглашались участники выставок. Первой была проведена выставка Александра Манусова. Друг Сашиной юности Иосиф умолил его согласиться начать с себя цикл выставок. Зная миролюбивый Сашин характер и обожая его работы, он хотел «набить руку» для дальнейших мероприятий. План удался. Как говорил позже Храбрый, на этой выставке произошло редкостное единение художника и зрителей. Затем были выставки Николая Сажина, Игоря Иванова, Соломона Россина, группы Стерлигова, «Новых художников», выставка коллекции Николая Благодатова.

Саша высоко оценивал работы Россина. Как-то мы долго беседовали ночью (у меня записано, что разговор был

в ночь с 27 на 28 февраля 1988 года) о живописи, и Саша стал говорить о Модильяни, сравнивая его с Россиным. Он называл художника его подлинным именем — Альберт Розин.

— У Модильяни, — говорил он, — соединилось еврейство с итальянством, а у Розина — еврейство с русским духом. Модильяни наслаждается красотой цвета, хотя жизнь его была абсолютно трагическая. Они обходили с Утрилло все кабаки Монмартра. А Розин не пьет, у него свойственная русской культуре драма. Розин убогостью дергает за нравственные струны. Русскому интеллигенту что свойственно? Страдание. Он, Розин, необыкновенно серьезно относится к проблемам, которые изображает. Ты возьми Миллера[1]. Это шут. А у Розина даже цвет какой! Он несет нагрузку. Вспомни старушку в работе «Ноженьки болят». Хотя Храбрец (так он иронически называл Иосифа Храброго) считает, что раз Розин пишет всегда при лампах, его работы сильно проигрывают при дневном свете.

— Его не волнуют чисто живописные проблемы, по задачам он близок к русскому критическому реализму. Это не значит, что он подражал Модильяни. Это реминисценции, перекличка какая-то.

— Этот-то не уедет, — предположила я.

— Нет, конечно. Ты знаешь, Модильяни рядом с ним кажется салонным. Правда, еврейство не дает ему скатиться в итальянские красоты. А Розин лезет в душу, устами персонажа кричит о его несчастье.

Как же мы оба ошибались! Розин уехал через короткое время после этого разговора, в 1990 году, в год Сашиной смерти.

* * *

Выставочный зал завода им. Свердлова предполагал лишь однодневную выставку. Он был постоянно занят под заводские мероприятия и свободен только по выходным дням, да и то не всегда. Энтузиазм художников и организаторов выставок был и тогда, в 1988 году, невиданным, а для на-

[1] Художник Кирилл Миллер — член ТЭИИ.

ших дней (я имею в виду уже XXI век) фантастическим. Это была выставка-однодневка. Работы завозились художником накануне выставки, развешивались добровольцами-энтузиастами, экспозиция висела один день, в тот же день вечером разбиралась и на следующий вывозилась. В зале была лишь одна огромная стена, расчлененная несколькими дверьми. Сбоку от стены располагались стенды.

В день обсуждения выставки Россина я записала:

«Альберт Розин, он же Соломон Россин, любит дуэли. Это словесные дуэли. По мне они больше смахивают на кулачные бои. Цель художника — сражаться со зрителем. Я была поражена тем, насколько любой простейший вопрос воспринимается художником в штыки. Тем более это казалось поразительным после Сашиной однодневной выставки там же».

Я опоздала к началу обсуждения. Почитателей таланта Соломона Россина набралось немало. Набычившийся художник сидел за столом на фоне стены с многочисленными его работами. Кряжистый и широкоплечий, он был похож на заводского инженера-изобретателя, с пеной у рта отстаивающего свой проект на производственном собрании. Казалось, что обороняя свою живописную территорию, он отстреливается из редута.

Какая-то женщина только что спросила, какого он возраста.

— Я родился в 1917 году, — заявил он и агрессивно обвел глазами зал. — Еще есть вопросы на тему моего возраста?

Вопросов не было.

Некоторое время онемевшие зрители обзирали работы, расположенные за спиной сорокалетнего на вид художника.

Картины словно были нарисованы куском обнаженного нерва. Они рвали, царапали душу, доходили до садизма в жестокой откровенности явлений советской реальности. Это была даже не достоевщина, ибо у Достоевского было достаточно и светлых моментов и персонажей. Здесь же торжествовала хроника безнадежности, сознательно-уродливый гротеск окружающего.

— Откуда у вас такой надрыв? — робко спросила средних лет женщина.

— Откуда у вас нет никакого надрыва? — тут же огрызнулся художник.

— Вы можете нам сказать, как вы относитесь к перестройке? — осторожно повернул тему в мирное русло ведущий Иосиф Храбрый, ибо, повторяю, происходило все это в 1988 году.

— Точно так же, как перестройка относится ко мне, — выпалил из своего окопа виновник события.

— Мы шли на выставку с желанием увидеть ваши замечательные работы, поговорить с вами. Ваши работы выше вашего паясничанья, — огорченно сказала женщина, которая раньше спрашивала про надрыв в работах. — Ваше поведение недостойно ваших картин. Неужели вам нравится эпатировать публику, которая пришла познакомиться с вашим искусством?

Ответа не последовало.

— Здесь мир настроений, присущих каждому из нас, — поднялся светловолосый мужчина. — Это резкий мир, каждая его грань бьет по эмоциям. Работы потрясают, потому что это наша жизнь. И то, что здесь происходит, это тоже наша жизнь. Обнаженность и бесстрашие, с которым художник предстает перед нами в своих работах, вызывают уважение. «Посиделки», например, это боль неимоверная, посредством искусства стегающая сердце. Это часть наша, это наша боль. Вот только не стоит агрессивно общаться с публикой, тут я согласен с предыдущим выступлением.

— Спасибо художнику от всей души, — встала молодая женщина.

— Это вам спасибо от всей души, — оттаял творец, меняя боевые патроны на холостые. — Это то, для чего мы работаем.

— Ваша работа «Марфинька в больничной паре», она меня оскорбляет своим издевательским отношением к больному ребенку, — сказал молодой человек.

— Какое же у вас отношение к больному ребенку? — откликнулся Россин.

— «Глаша в школьной форме» выглядит лучше... — начал зритель.

— Значит, вам нравится здоровый ребенок, — тут же вклинился художник.

— В защиту картины про больную девочку, — поднялась девушка, — это точно схвачено, в десятку бьет. Когда попадаешь в больницу, ты видишь, как это ужасно. Ребенок там совершенно несчастен.

— Я слышу, что он говорит правду, — с истерией в голосе вскричала вдруг еще одна девушка, не поднимаясь с места. — Почему все хотят, чтобы было оптимистично? Почему хотят в ответ неправду?

— Вы все слышали, какая прелесть это сказала, — окончательно обмяк художник. — Удивительно, что эта девочка сказала, что я говорил правду. Почему все верят в неправду? Почему вы все поверили, что я родился в 1917 году?

— Мы смотрим работы, про которые человек сказал, что они сделаны на обнаженном нерве. Надо иметь безусловную смелость, чтобы их писать и безусловную смелость, чтобы их выставить. Человек, который сохранил себя в жизни таким, имеет право сохранить себя таким перед нами. Это не мораль, это просто мои соображения, — примирительно подытожил Храбрый.

— Готов принести извинения молодому человеку, которого я оскорбил, — сказал издевательски Россин.

— К чему это ерничанье? — не принял милостыню юноша, — мы все поклонники вашего таланта и пришли сюда осознанно. Надо найти контакт с людьми, а не упиваться своим хамством.

— Из современных художников вы можете кого-то выделить? В нашей стране, я имею в виду? — опытным шкипером, уводящим корабль дальше от рифов, включился Храбрый.

— Если вам нравится наша страна, то выбирайте современных художников сами, — ответы отскакивали от адресата со скоростью пластмассовых шариков на пинг-понговом столе.

— Эти картины заставляют думать, они мобилизуют наше сознание с огромной силой, но сам художник выступает нетактичным оппонентом, мы видим художника таким, каким мы его совсем не представляли. Мы никак не могли этого ожидать, глядя на эти работы, — поднялась немолодая усталая женщина.

— Что вас больше всего привлекает в жизни? — ведущий явно выбивался из сил, стараясь сохранить цивилизованный настрой обсуждения.

— Чистота, так как без чистоты не может быть морали, — объявил Розин. — Я сначала навожу чистоту, потом начинаю производство морали.

— Тут записка пришла: почему каждый художник хочет видеть в себе пророка? — раздумчиво сказал Иосиф. — Ну, я думаю, дело в том, что его работы переживут всех нас и будут говорить сами за себя. А от нас вряд ли что-нибудь останется.

По окончании словесной баталии я подошла к работам и среди толпы колючих сюжетных полотен заметила шаржированный портрет женщины, который сейчас не могу вспомнить в деталях и который вводил в недоумение вызывающим противоречием между игривым именем Нинон и угловатой некрасивостью персонажа, отмеченного тем не менее вызывающе счастливой улыбкой. Это был портрет Ленины Никитиной.

* * *

С самого первого знакомства и до конца жизни Ленина Никитина как драгоценную античную вазу пронесла свою чистую юношескую любовь к Россину, которого она называла «Аленушек». При упоминании его имени лицо ее мигом светлело, словно в темной деревенской церкви разом зажглись все лампады. Уже подзабыв артобстрел на выставке в ДК Свердлова, я доверчиво выслушивала истории об Аленушке, о том, как встретились они в Мухе[1], куда оба поступали одновременно, о том, как Ленина была отчислена после первого курса, а Аленушек потом переехал в Москву, где учился в Строгановке. Будучи на шесть лет младше Ленины, Алик, тем не менее, взял под опеку начинающееся ее творчество. В конце семидесятых годов наиболее амбициозные художники любили окружать себя группкой талантливых учеников, чаще учениц, и Розин не стал исключением. Много

[1] С 1953 по 1994 г. — Высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной; в 1994 г. преобразовано в Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию.

было также рассказов о личной его жизни, о последней жене с классическим именем Ариадна, о трех его дочерях, названных по тем временам экзотически. Как мне помнится, одну из них звали Васса, у нее была дочка и семейные проблемы. Впоследствии она развелась с мужем и уехала в Германию, где вышла замуж за немца, жившего где-то в провинции. Две остальные дочери были Глафира и Рахиль. Я видела из них Вассу, красивую русоволосую женщину, которой Ленина завещала свою квартиру на Чайковочке, как она называла улицу Чайковского, и Рахиль, очень милую девушку. Мне помнится, что Васса была от первого брака героя лениниой жизни. Он был ее принц, ее фетиш, ее икона, освящавшая и придававшая смысл ее существованию.

Как говорила Ленина, во Франции он поселился там, где жизнь была дешевле, а именно в Бретани, в крохотном городке Ланьон. Через недолгое время за ним проследовала жена с двумя дочерьми.

Ленина в новой просторной квартире полностью погрузилась в свою жизнь, посвященную гибнущим, забитым существам — бездомным кошкам и собакам. Ее безразмерная семья требовала постоянного жертвоприношения со стороны одинокой больной женщины. Заниматься живописью она практически перестала, умучивая очередную картинку по три-четыре года. Но связи с растворившимися в Европе близкими людьми не прерывались: были письма, приезды, телефонные разговоры.

Однажды случилась эпохальная встреча, когда Ленину, приглашенную в Германию, в город Эмден, где в музее находилась ее работа «Жить хочется», знакомая немка-переводчица на машине отвезла в Бретань к розинской семье.

— Алик, — говорила по приезде сияющая Ленина, — обращался в Лувр, чтобы взяли туда его работы. Но они сказали, что, к сожалению, в Лувр берут только работы уже умерших художников. Так что ему, помирать что ли, чтобы в их святилище попасть? — обижалась она. — А работает он как зверь, массу всего сотворил.

Однажды я принесла ей «Евангелие Мира Иисуса Христа», апокриф, который нам велел читать наш строгий учитель йоги и который хранился в Ватиканской библиотеке. Ленина приняла текст как откровение. Иисус строго и непререкаемо велел всем есть только натуральную сырую пищу.

Какое-то время она удивляла друзей, упрямо придерживаясь этих указаний. Лицо ее значимо просветлело, редкие морщины стали незаметны и настроение было только ликующим. Продолжалось это не более двух лет, периода продажи работ, когда еще водились какие-то деньги на покупку овощей и фруктов. А потом все вернулось на круги своя, к пожухлым батонам, фиолетовым цыплятам и обилию мучных изделий.

Я бывала у нее часто. Ни с кем мне не было так светло в горе после Сашиной смерти, как с ней. Она была сестрой милосердия не только для меня. Но жизнь постепенно заламывала ее. Лицо Ленины заволакивалось пленкой боли и безысходности ситуации. Болели и отказывались ходить ноги, к врачам она идти не хотела, раздумчиво говоря: «Я не тороплюсь». И было ясно, куда именно она не торопится.

У нее был журчащий, удивительно ясный голос. Я очень любила слушать ее. Даже такое:

— Сейчас только кричала: усыплю всех сволочей. Вчера имела дурость — рано вывела их гулять, до часа ночи за ними по дворам бегала. У Ганки ноги как у лося, куда мне за ней.

Ганка была огромная лохматая собака с хронически щенячьим характером. Ленина привела ее с улицы. После того как Ганка и еще две собаки погибли, далеко не сразу, Ленина, позвонив, сказала:

— А я работу почти совсем закончила, назвала «Мои бедные собаки». Посвящается собакам, которых мои соседи отравили. Я бумагу наклеила на картон и так работала. Сто лет не писала, не рисовала, удивлялась даже, что картинка эта моя. Белое пятно откуда-то вылезло. Я его преодолеваю, это пятно, а оно все вылезает. Все думаю, а если здесь вот так сделать, то будет лучше? Потом показалось, что одно местечко будет шокировать зрителя, опять застряла.

А сегодня уже зверюшкам своим говорила: «Вы — душа этого дома».

И вот еще:

— Пошла я покупать оленью печень. Она дешевле. Дома три собаки и семнадцать кошек зубами щелкают. А продавец-то молодой, видать, неопытный, то так с ножом примерится, то с другой стороны зайдет, да все не решается. Тут он так на меня с досадой взглянул, что, может быть, я так алчно на печень взирала, вдруг обрушился и говорит:

В мастерской, 1990 г. С правой стороны две работы А. Бихтера.

Последняя фотография А. Манусова, сделанная за три дня до его смерти. Рядом А. Любарова.

Триптих «Деревья», 1989. Бум. цветная, пастель
Левая часть, 72 х 52, центральная часть, 65 х 51, правая часть, 72 х 52.

Барбара Хазард, Ленина Никитина, Евгений Тыкоцкий, Борис Борщ, Александр Бихтер, Варвара Бихтер. Санкт-Петербург, 1994 г.

Борис Борщ за работой.
Санкт-Петербург, 1994 г.

У ворот на старую
Пушкинскую, 10, 1995 г.

Рихард Васми у себя в мастерской на старой Пушкинской, 1994 г.

С Лениной Никитиной, 1994 г.

Геннадий Устюгов у себя на кухне, Санкт-Петербург, 1998 г.

Геннадий Устюгов подписывает обращение в суд (Pacific), 1998 г.

Владислав Афоничев подписывает письмо в суд. 1998 г.

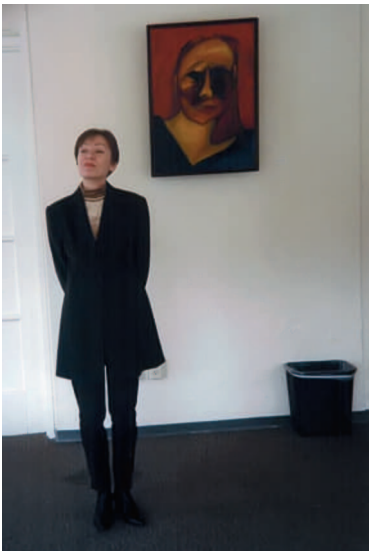
Владимир Шинкарев подписывает письмо в суд. 1998 г.

Художники в ходе подготовки судебного процесса против Марка Мигдала («Пасифик»). Сидят Валентин Громов, Владимир Шинкарев. Стоят: Евгений Орлов, Игорь Орлов, Елена Фигурина, Анатолий Васильев, Валентин Герасименко.

В нотариальной конторе («Как мы ходили к нотариусу»).

Валентин Громов, Рихард Васми, Регина Манусова.

Рихард Васми в аэропорту «Пулково-2» с напутствиями перед поездкой в США для работы над судебным процессом против М. Мигдала (Pacific), 1997 г.



Елена Фигурина у «спасенной работы» «Автопортрет», Сан-Франциско, 2001 г.

На выставке «Спасенные работы». Сзади адвокаты Рональд Ван Баскирк и Стейси Гайс. В первом ряду С. Ковальский, Б. Хазард, Р. Манусова, В. Герасименко, А. Голдман, Е. Фигурина. Сан-Франциско, 2001 г.

Елена Фигурина в мастерской, 2009 г.

Владлен Гаврильчик у своей работы «Доктор Фауст». Санкт-Петербург, 2009 г.

Участники выставки на Литейном проспекте, 57 (Выставочный зал музеев Ленинградской области), 1985 г. Сидят: Н. Сажин, Е. Орлов, Е. Тыкоцкий, А. Манусов, сотрудники зала Александр Михайлов и Валерий Шалабин. Стоят: В. Герасименко, Ирина Добрынина (сотрудница зала), И. Иванов, В. Воинов.

Евгений Тыкоцкий во дворе старой Пушкинской, 10, 1993 г.

С Татьяной Шехтер. Пушкинская, 10, 1996 г.

Прием на Пушкинской, 10 после публикации
альбома произведений А. Манусова. 2001 г.

Иван Оласюк, 2012 г.

Александр Лоцман в мастерской, 2009 г.

Чаепитие у Рихарда Васми. Пушкинская, 10.
Н. Благодатов, Р. Васми, Р. Манусова, Е. Тыкоцкий. 1997 г.

Евгений Орлов, Николай Сычев на Пушкинской, 10.

Мои «дружбаны» — Евгений Тыкоцкий и Борис Борщ
у меня в купчинской квартире. 2005 г.

Айрин Голдман, Регина Манусова и Наталья Козырева. 1998 г.

— Да отойдите же от прилавка, бабуля, и что вы тут подступаете.

А я и говорю ему:

— Вы что, боитесь мне голову отрезать? Или ножом проколоть?

— Голову отрезать.

— А что я буду делать без головы?

— А что вся Россия делает?

* * *

— Я устроила дома выставку, когда война в Ираке началась. Из десяти картинок. Назвала «Позиция силы — это не путь!» я на нее ставлю крест, на эту позицию. Моя сестра умерла в блокаду от голода после мамы. Ей тринадцать лет было. Она сидела за столом, потом оперлась руками о стол, чтобы встать, и умерла.

Первая картинка у меня «Кулак» называется. Там первобытные люди у костра в пещере. Кроме кулаков им нечем драться. Вторая — уже камень. У меня ее купил хабаровский музей. Так у меня даже копии не осталось. Потом «Стрела». Потом античные войны, античное. Потом приходит Христос. Снимает с себя рубашку, подставляет щеку. Его бьют по ней. Следующая — оставили его на кресте и дерутся за его одежду. Следующая — забронированные кони, крестовые походы. Забронированных коней сменяют забронированные машины, танки. Потом уже бомбежка. Победитель у меня такой ободранный сидит. Голый победитель на голой земле...

Обзвонила всех, и на Пушкинскую тоже сделала звоночек. Никто не пришел. Один только Сашенька Бихтер. Позвонила Воинову:

— Вы хотите, чтобы я пришел? — спрашивает. — Может быть, я приду, и не один.

— Только его и видели, как же...

— Я тебе копии сделаю с девяти работ, а ты возьми их в Америку, покажи там, мне это важно[1].

[1] Просьбу Ленины я исполнила. Все девять копий хранятся у меня. Где оригиналы работы — неизвестно.

* * *

— Я ведь загнана в угол совершенно. С этими собаками никуда не хожу, все время при них. Вчера сидела, ругалась и в окно смотрела, а там идет серый такой котик. Я его схватила, притащила домой, а он поел и вышел. Не понравилось. А я расстроилась. Я ведь собак не люблю, они меня раздражают. А кошки успокаивают.

— А потом вечером пошла с Лелькой на прогулку и завалилась прямо людям под ноги, барахтаюсь там. Лелька отскочила, испугалась, я ее зову, а она еще дальше отпрыгивает. Народу куча, а все с работы, мимо бегут, до меня дела никому нет. Какой-то молодой мужчина все же остановился, стал меня поднимать, говорит: «Сколько же вы, бабушка, на грудь приняли? Аккуратнее бы надо». А Лелька видит, что я привстала, тут же подскочила, как паинька. Я ему говорю: «Да в рот я не беру зелье, ноги у меня больные, подламываются, а помочь выгулять собак некому». Он меня нежно так под руку до самой квартиры довел, Лельку за поводок взял, открыл дверь ключом, пальцем мне погрозил и побежал обратно.

— Соседи говорят: «Бабуля ради собак живет». Они меня терпеть не могут, подписи собирают, чтобы меня выселить. Они мне стекла разбивают. Один мужик ночью старался, я видела в окно. А добрые люди мне еще свои объекты между стекол кладут.

— А все-таки жизнь прекрасна, я ее люблю, как никто другой, наверно. Иногда и сюрпризы подкидывает. Тут женщина появилась, благодетельница, ее зовут Татьяна. В январе позвонила в дверь, поздравила с Новым годом, принесла еду, кашу для собак и мне конфеты. Ей всего шестьдесят три года, работает уборщицей в пяти местах, но сама искусствовед по фарфору. Ничего есть не стала. Принесла еще тортик, нежный-пренежный, колупнула его только. Она последнее время кашу не варила, приносила мясо. Так она приходила каждое воскресенье, приносила еду, а потом исчезла. Это что, захотела пришла, захотела ушла?

Как-то в Русском музее была выставлена одна из работ Ленины — портрет ее подруги по сумасшедшему дому. Произносимые эти слова кажутся кощунством. При чем здесь

сумасшедший дом? Я никого в жизни не видела искреннее, добрее и человечнее Ленины. Нескольких ее подруг из психушки, как она еще именовала это заведение, я встречала у нее на днях рождения. Это были тихие милые женщины с такими же, как у Ленины, светящимися лицами. Портрет одной из них на стене престижного музея был небольшого формата, как и все прочие ее работы. Он парализовал волю концентрацией любви, боли и света.

— Если бы ты знала, как я на эту выставку ехала, — делилась позже Ленина. Это эпопея просто была. Транспорта нет, как скушали. А пока я доплелась до остановки, подскочил коммерческий автобус и тут же пролетел с песней. Так я пешком тащилась больше двух часов. Ноги ведь совсем не ходят, я не могу даже храбро стать на поребрик. Пришла в музей, сначала расшаркалась, что вижу свою работу в Русском музее, а смотрительница мне говорит: «Тут вашей картиной интересовались, чей это портрет спрашивали, так я всем говорю, что это портрет художницы в сумасшедшем доме».

— Я у нее взяла книгу отзывов, — огорчалась Ленина, — и там написала, что это совсем не мой портрет, что это портрет моей подруги и что нельзя судить о художнике по его биографии, что я рисовала обитательниц сумасшедшего дома по памяти только.

Настрочила там большой кусок и побрела домой. Но зато удалось в автобус вскарабкаться.

— Была у меня выставка в «Борее»[1]. Девушка, которая мне ее устроила, Олечка, милая такая, пришла ко мне, говорит, кто-то интересуется работами. Посмотреть хочет.

— Взгляните на шкаф, там работы сложены, — я показала, — я еле хожу, мне на стул не встать. Думала, она скажет: мы поможем, а она говорит: «Вам невыгодно со мной ссориться, Ленина Дмитриевна». Вся милота ее тут же пропала, как слизнули.

Россин, к тому времени обзаведшийся полудюжиной внуков, временами наезжал в Петербург, где у него каким-то образом сохранилась мастерская в районе площади Репина. Ленина продолжала говорить о нем с грустным благоговением.

[1] Популярная галерея на Литейном проспекте, вблизи Невского.

В последний мой визит она сказала: «Вот люди приходят и как в столбняке у меня сидят. Я их хочу чаем напоить, а они все предлоги придумывают, чтобы скорее ноги сделать. Запах не нравится. А куда мне его девать? Что ли, всех зверушек поубивать?»

— Алик тут заскочил со своими, я их хочу за стол посадить, а они бежать. Некогда, говорят. А он им тогда сказал: «Вы идите, а я останусь, мы с Нинон поужинаем».

Ее умученное лицо смутно просияло.

Ленина умерла в 2011 году, а осенью 2012 года в Мраморном дворце Русского музея открылась выставка Соломона Россина.

Темы его работ остались прежними: хроника ужасов российской жизни. Была здесь и работа «Таня». Прожив более двадцати лет во Франции, художник так и не слез с иглы российской реальности. Это было нагромождение ужасов в добротном профессиональном исполнении. Посетители отметили на холстах обилие жалких маленьких старушек. Я не была на выставке по географическим соображениям, однако не сомневаюсь, что все эти старушки выполнены по рисункам Ленины и, скорее всего, изображают именно ее.

— Алик требует, чтобы я каждую неделю посылала ему во Францию автопортрет или еще что-нибудь, а он по ним будет свои творения создавать. Так что я работаю. У меня идея банальная — художник и модель: замученная старушка и просветленный радостный художник, — делилась Ленина.

В незапамятные времена таинственным кодом звучало для меня определение художника каким-либо из его собратьев: у него много адресов. Постепенно туман рассеивался. Каждый художник, особенно в начале пути, имеет своего идола, а то и двух-трех. По ходу жизни он старается избавиться от влияний.

В заметках о выставке семидесятипятилетнего Соломона Россина критики с пиететом выявили в его творчестве следы: Рембрандта, Брейгеля, Гойи, Пикассо, Макса Бекмана, Оскара Кокошки.

А также литературные пометы Гоголя, Толстого, Достоевского, Пушкина, Кафки, Хэмингуэя, Чехова, Василия Быкова и даже Василия Белова. Это был критик номер один.

Критик номер два оказался скромнее. Он сослался лишь на Рембрандта, Веласкеса, Гойю, Пикассо и Сутина.

Критиком номер три оказался поэт Константин Кузьминский, провозгласивший себя мессией ленинградского авангарда и живущий в Upstate New York, где предпочитает проводить свою жизнь в горизонтальном положении. Еще в далеком 1998 году им обнаружена близость Россина к Ларионову, Сутину, Фальку, Фонвизину, примитивам, а также Пиросмани.

И еще к ленинградским художникам Шолому Шварцу, Рихарду Васми и Владимиру Шагину, которых он, непонятно по каким причинам, нарек «барачниками».

Арефьев, лидер группы этих великолепных художников, почему-то выпал у мэтра из головы, хотя сюжеты его почерпнуты из той же реальности. Возможно оттого, что самая малая, однако наделенная атомным зарядом энергии почеркушка Арефьева заставляет тускнеть внушительные по размеру россинские творения.

Кроме группы Арефьева, родственными Россину мастерами Петербурга прихотливая муза поэта назначила еще и трех представителей группы «Новые художники».

* * *

В фильме Ольги Пунченок Ленина говорит: «Мы все приходим в этот мир страдать. Дева Мария родила Иисуса на страдание и нам тоже отмерено страдание». Ленина честно и светло прошла свою земную Голгофу. Шаги ее на этой дороге отмечены малочисленными, в сравнении с ее кумиром, работами. Эти ступени ее пребывания здесь подлинные, они не подсмотрены в замочную скважину. Ее маленький шедевр «Жить хочется» сделан на уровне высочайшей человеческой трагедии. Никакие, даже самые лучшие изображения, не могут передать мощь этой небольшой работы. Здесь классически ясная форма, не отвлекающая от содержания. Это слепок души Ленины, вечная ее Пьета. Страдания Россина периода длинной жизни во французской Бретани — лукавые. Смотрите, как вам плохо и как я из-за этого страдаю, — кричит он с полотен.

В интернете выставлена фотография: забронзовевший Аленушек с устремленным в себя взглядом тянет за руку кро-

шечную Ленину вдоль пустынной городской улицы. Она отстает от него на два-три шага, так как невозможно для нее идти с ним вровень. Ее ноги в дрянной обуви отстают даже от нее самой. Но лицо ее залито таким счастьем, словно именно эти два-три шага отделяют ее от престола Всевышнего.

2012 г.

АНГЕЛЫ НА ПОЛУ

Геннадий Устюгов

Помню, Саша рассказывал в самом начале нашего знакомства, что есть такой замечательный художник Гена Устюгов, который все время хочет куда-то уехать. Однажды он пошел на Московский вокзал, забрался на дальних путях в отцепленный вагон и там провел три дня, дожидаясь, когда вагон поедет. Это как-то странно зацепилось в голове, и, когда на Петроградской, на углу Введенской улицы и Большого проспекта, около бывшего ресторана Чванова, который любил посещать Александр Блок, к нам подошел невысокий, очень худой человек с потусторонним взглядом, я уже знала, что это и есть тот самый любитель путешествий. Работы Гены притягивали каким-то особым сочетанием зависания в другом пространстве и щемящей безысходности. Из них осязаемо неслась потусторонняя, обволакивающая сознание музыка. Одно время я усердно посещала обсуждения всех выставок. Там неизменно выступал молодой мужчина с гривой волос и вдохновением во взгляде. Но это был не поэт, как оказалось, а представитель точных, весьма уважаемых тогда наук. Никто не знал его имени, все называли его Астрофизик. И вот этот Астрофизик как-то сказал, что ему было бы страшно держать дома работы Устюгова.

Много-много позже я услышала негативные слова Рихарда Васми на тему Гены. Не знаю, за что, но он его активно не любил и говорил, что он «черный».

* * *

Когда-то, в конце семидесятых, я попросилась в гости к Гене и прихватила с собой блокнотик, где записала почти дословно его рассказ. Надо сказать, что Гена встретил меня очень гостеприимно, открыл банку рыбных консервов и принес чай. И еще у него был хлеб. На диване лежала книга Микеланджело, до этого я никогда не читала его тексты.

И вот рассказ Гены о своей жизни:

Родился я 18 марта, весной, значит, в Киргизской ССР, в Ферганской долине, там река Чу и город Токмак. Там я жил до восьми лет. Помню, как в школе начал рисовать, начал со школы, даже еще с детского сада. Отец работал там, в армии в сорок первом воевал на Ленинградском фронте. Он вызвал нас сюда, в Ленинград. Года четыре жили у Выборга, финская деревня, пустая, у озера, деревня Хатака. Топили печи. Там рисовал в школе и дома рисовал. Деревня была подсобным хозяйством от фабрики. А фабрику скоро ликвидировали, всех рабочих распустили. Мы переехали ближе к Ленинграду, на правый берег Невы, где Невский лесопарк, деревня Ново-Саратовка, мы прожили там пятнадцать лет, до моего восьмого класса. Отец работал плотником, мать в курятнике рабочей. У меня брат и сестра еще есть. Потом с восьмого класса поступил в художественную школу при Академии художеств. Два раза пришлось сдавать экзамен. Там проучился три года. Меня исключили за увлечение французской живописью. В 53-м поступил в школу, в 54—55-х открылись залы французского искусства в Эрмитаже, все увлекались новым. Наш целый класс расформировали. В числе прочих и меня исключили. До 10-го класса проучился в вечерней школе, в Невском районе, потом устроился на работу художником на завод, оформлять цеха. Весь день там сидел. Проработал шесть лет. Потом уволили. Поскандалил с начальством. Рисовал в свободное время картины, композиции. Когда-то достал Библию и на медном листе решил текст отчеканить из Евангелия. Шум был сильный, они стучали в дверь, я не слышал, они ворвались, Евангелие нашли у меня в кармане. Дома сказали: «Чтобы не было осложнений, ляжь в больницу». Шесть месяцев ужаса, после пункции голоса были — женские, девичьи, невиданные миры,

города видел, даже с Богом разговаривал когда-то. Я наяву вижу отца своего, он смеется, мешает мне что-то делать, не то чтобы видишь, с ним беседуешь.

Все это отразилось на работах. Голоса стали мешать делать то, что я хочу. Когда я разговариваю, в мозгу какой-то голос. Отец умер лет десять назад.

Когда инвалидность сняли, пошел на работу. На плакатах делал жуткие штуки. Начальство испугалось. Они заставляли букву вырисовывать без конца, чертить или рисовать. Хочется это все время исправлять.

Теперь мучаюсь, не знаю, как дальше жить. Думал ехать в Пермь к двоюродной сестре. Врачи надоели, каждый месяц надо ходить, сидеть там, они дают аминазин, уколы делают. Был в Перми месяца полтора, там жил, хотел лесником работать, жениться. Никто там не знает мою историю. Ездил на юг к родственнице, во Фрунзе, город Токмак, хотел тоже лесником работать, там они фазанов разводят.

У меня вторая группа инвалидности, я просил снять с меня группу, они говорят: «Поработай на дому». Они там сетки вяжут, варежки. Я испугался, надо знать, сколько петель, и это не из ниток, из проволоки полиэтиленовой. Я не стал. После Нового года идти к ним опять.

Хотел уехать в Крым, на Украину, испугался, что возьмут в больницу. Хотелось сторожем работать, сено возить на лошади. Пенсию прибавили. Была 40 рублей, сейчас 50. На эти деньги можно прожить месяц, тратить только на еду, больше ничего не покупая. А поеду на Украину, спросят трудовую книжку, почему столько лет не работал. Сестра моя здесь живет. Была замужем, развелась, сын у нее есть, из армии приехал.

Картины продаю. Много разошлось по коллекционерам, когда продашь за 50, когда за 300 рублей.

Я столько раз был в больницах. В Скворцова-Степанова, на ул. Лебедева у Финляндского вокзала. На улицу выпускают только на два часа, в баню в полуголом состоянии ведут, ботинки на босу ногу. Все белье валяется. Кормят плохо, народу много, палата человек сто, это бывает, как тюрьма. Приду к ним, к врачам, не так скажу, не так одет, что-то не понравится им, возьмут и отвезут в сумасшедший дом.

Бьют, отношение врачей плохое, хуже тюрьмы, там знаешь, отсидел срок и езжай, а здесь пока не снимут с учета, так на учете и будешь.

Много работ я сжег, книг, репродукций, красок. Голоса велели, сказали — я должен сжечь. Столько сжег, рисунков много сжег. Костер в печке сделал и на плитке. Потом жалко было.

В церковь редко хожу. Когда там народу мало или перед службой, чтобы не мешало. Пью, когда уже думаю, что некуда деваться. Выпьешь, вроде легче станет. (На столе стоит портвейн молдавский, розовый, и зеленое яблоко лежит.)

Детей, особенно девочек, люблю. Они такие понятные. Я о работах с детьми говорю. В кармане у меня блокнотик, зарисовываю сценки всякие на улице, орнамент из камней на тротуаре.

Эти ангелы (указывает на холст с бестелесными фигурами) — пятна на полу от краски были, с них потом эскиз на картоне сделал. Лет пятнадцать назад. Немка из ГДР купила. Он сейчас в Германии, эскиз этот.

Ездил в Прибалтику на три дня, в Риге познакомился с художниками местными, с двумя украинцами. Показали мне работы. Интересные. Спрашивают, зачем приехал. Ночевать негде было. Пришлось ночевать на вокзале.

Это все, что он сказал.

На мой вопрос, какая из работ ему больше нравится — ангелы или ленинградский пейзаж, он сказал: «Мне больше всего нравится эскиз, который я продал».

Когда я собралась уходить, он спросил:

— Почему так рано?

— Меня дочка ждет, — сказала я.

Он взял со стола и протянул мне неоткрытую банку рыбных консервов:

— Отнесите это дочке.

— Гена, лучше оставьте это себе.

— У меня еще одна банка есть, возьмите для вашей девочки, — сказал он.

Позже Гена попросил меня напечатать его стихотворения на машинке. Он хотел издать их небольшой книжкой,

что и было сделано. Многие из его «стихов» состоят лишь из двух-трех строчек.

Вот одно из них:

А вокруг идут такие лица —
Об эти лица можно разбиться.

И еще одно:

Звезда упала в поле,
Где цветы росли.
И там теперь лишь горе...

* * *

Это был примерно 1987 год, весна. Каждую весну Саша уезжал в Литву на проверку и лечение. У него были замечательные друзья, Ирена и Гедиминас Жибуркус, оба врачи. Ирена — кардиолог, а Гедиминас — хирург. К нашему глубокому и горестному изумлению он проводил опыты на собаках. И на этих несчастных собаках он защитил докторскую диссертацию. Я уже писала, что его лаборатория находилась при психитрической больнице в Вильнюсе. Услышав историю Гены, Гедиминас предложил привезти его в Вильнюс и положить в эту больницу, где ему предоставили бы самые благодатные условия и могли бы обследовать по-человечески. Саша позвонил мне очень взволнованный и просил помочь переправить Гену в Вильнюс. Было очень кстати, что он сам в это время был в Литве. Предстояла огромная работа по уговариванию Гены, покупке билета, транспортировке Гены на вокзал и т.д. Наконец все было завершено, Гена посажен в купейный вагон, где он немедленно потребовал, чтобы девушка с верхней полки с ним поменялась местами, потому что он будет смотреть в окно.

Мы с Сашиным учеником Павликом, который изрядно побаивался Гену, помахали ему с облегчением рукой.

На следующий день Саша позвонил в большом огорчении и сказал, что Гене все понравилось, но что оставаться он здесь не хочет и собирается на другой день обратно.

На вокзале я Гену уже не встречала. Через несколько дней после приезда он оказался в психиатрической больнице на углу Лиговского проспекта и Обводного канала. Это двухэтажное желтое и длинное здание с решетками на окнах.

* * *

Когда-то очень давно коллекционер Николай Благодатов рассказывал о Гене:

— Позвонил мне на днях Гена и говорит: «Коля, одолжи мне двести рублей».

(В то время это были очень большие деньги. Я, например, работая на полторы ставки, получала 165 рублей, из которых вычиталась круглая сумма за налоги.)

— Я его спрашиваю, — продолжил Коля, — Гена, а зачем тебе такие деньги?

— Я мотор хочу купить для лодки, — говорит Гена.

— Разве у тебя есть лодка? — удивился я.

— Нет, лодки у меня нет.

— Так зачем же тебе мотор, если у тебя лодки нет?

— Не знаю, — сказал Гена, — но мотор такой хороший.

* * *

В течение двух дней, когда Гена находился в Вильнюсе, я познакомилась с его сестрой. Она позвонила мне и сказала:

— Я сестра Гены Устюгова, меня зовут Эля. Вы такие хорошие люди, что должны мне помочь.

— Чем мы можем вам помочь, Эля? — спросила я.

— Я хочу к вам приехать и все рассказать, — был ответ.

В квартиру вошла уютного вида невысокая женщина. Если Гена всегда выглядел воплощением бесплотного духа, то его сестра оказалась пухленькой и даже миловидной особой. В руках она держала кулечек с конфетами. Мы уселись в кухне и приступили к чайной процедуре.

— Я сейчас вам все расскажу про себя, — начала Эля. — Давно очень я сильно болела. Это такая болезнь, которая называется кандидоз. Я никак не могла поправиться.

— Я никогда не слышала про такую болезнь, — изумилась я.

— Врачи сказали, что обязательно надо сделать пункцию спинного мозга, — продолжала Генина сестра. — Они сказали, что иначе я не поправлюсь. Пришлось согласиться. А когда мне сделали эту пункцию, было так больно, и после этого я заболела.

— Опять заболели, Эля?

— Да, я стала слышать голоса, все время. Потом на меня начали охотиться плохие люди. Они меня преследовали, я никакого покоя не знала, ни днем, ни ночью. Они пытались влезть в окно и все время смеялись и говорили, что мы тебя сейчас убьем.

Неожиданно ее миловидное лицо приняло серьезное выражение, она понизила голос и сказала мирно:

— А теперь голоса мне говорят: «Мы сейчас убьем Регину».

— Вы знаете, Эля, — сказала я, — как раз сейчас мне пора гулять с собакой. Вы хотите с нами пройтись?

Мы бродили возле дома, стараясь держаться подальше от зловонных мусорных баков, но в то же время не удаляясь от тропинки, по которой в сторону магазина тянулась людская цепочка, и она излагала мне историю своих мытарств.

— Меня потом отвезли в больницу Скворцова-Степанова и там голосов не было, но со мной очень плохо обращались и голодно было. Кормили очень плохо. Я так хотела убежать, но там очень высокий забор.

Далее, как оказалось, она лежала практически во всех психиатрических больницах города и везде проблема вражеских голосов отступала на второй план и возникала, лишь когда она оказывалась дома.

Мы распрощались возле трамвайной остановки, куда мы ее с Тоби проводили, и с тех пор началась серия звонков. Она звонила в любое время суток, чаще всего самым ранним утром, часов в пять, иногда ночью, и рыдающим голосом говорила, что ее окружили враги, они уже лезут в окно и мы должны срочно ехать на помощь. Основные тяготы пришлись на долю вернувшегося из Литвы Саши. Он достойно понес эту ношу, успокаивая Элю и обещая, что мы позвоним немедленно в милицию и враги будут арестованы. Покоя мы лишились, казалось, окончательно. Мы начали изучать научную литературу с целью найти какой-то путь, чтобы бедняга

успокоилась. В частности, нам понравилась история одного больного, который уверял, что у него изо рта вылетают голуби. Кажется, это было в Италии. Врач тогда нашел блестящий выход. Он взял ружье и каждого вылетающего голубя «уничтожал в упор». Больной поправился.

Мы серьезно стали думать, где бы нам раздобыть фальшивый пистолет и инсценировать на Гениной площадке ликвидацию банды. Но звонки вдруг прекратились. На мой вопрос, где же Эля, Гена лаконично ответил: «Она в больнице».

* * *

Бандиты от искусства обожали Гену. При виде его они немедленно впадали в нирвану. Самым выдающимся из них, пожалуй, был Марк Мигдал. Он был обладателем одного из тех лиц, что помечены самим Нечистым. Тавро мошенника отчетливо просматривалось даже слабовидящими. Его круглая улыбчатая физиономия была как дорожный знак, предупреждающий, что этой дорогой ехать нельзя. Видимо, он смутно подозревал неладное. Он пытался заштриховать предательскую видимость доверительными манерами рубахи-парня. С каждым художником он встречался сепаратно, приносил выпивку и разговаривал о жизненных препонах. Он делился разочарованием в западных ценностях и говорил каждому, что сделает его знаменитостью. Он собирался выставить работы лучших художников в Америке, а потом выгодно их продать. О договорах, сроках и расписках умалчивалось. В огромных контейнерах он вывез на пароме в Европу, а потом в Америку более двухсот работ тридцати одного художника. Постыдные деньги были уплачены за малую их толику. Это был 1989 год, начало перестройки, когда в город хлынули посланцы западных дилеров, а по мастерским голодных художников забегали покупатели: уезжанцы, начинающие галерейщики, дипломаты. Художники Питера решили, что радужное облако навечно зависло над их головами. Они отдавали свои работы за копейки, которые казались им целым состоянием.

В этом марафоне Гена стал абсолютным чемпионом. Однако он все же сделал какие-то деньги, потому что купил брату подержанную машину, на которой тот в скором времени разбился. Брата я видела лишь раз. Он был мрачным, неразговорчивым и писал страшные работы.

Мигдал взял у Гены двадцать четыре работы, заплатив за семь из них неприличные суммы в рублях. Это был период инфляции, когда рубль скукожился, как севшая после стирки одежка.

* * *

Квартира у Гены находится в одном из самых непрезентабельных районов города — Ленинском. Он живет на первом этаже одного из тех панельных домов, которые народ нарек «хрущобами». Вокруг толпятся такие же убогие, давно подлежащие сносу дома. Квартира у него, как ее называют, распашонка. Из одной небольшой комнаты крохотный коридорчик ведет в две маленькие комнатки по правую и по левую руку. Раньше Гена занимал только одну из маленьких комнат, ту, что налево. Теперь он живет один и квартира заполнена его холстами и графическими листами, в которых он легко ориентируется.

Я хорошо изучила эту квартиру, когда пришла туда с американской художницей Барбарой Хазард, чтобы добиться Гениной подписи под обращением группы ленинградских художников в американский суд. Престижная юридическая фирма из Калифорнии согласилась помочь художникам с возвращением их работ. Называлось это pro bono, то есть бесплатно. Нужны были лишь подписи под заявлением каждого художника.

Когда я позвонила Гене с уведомлением, что собираемся прийти к нему за подписью, он сказал, чтобы мы купили ему кое-какие продукты. Мы зашли в близлежащий лабаз и купили то, что он просил: хлеб, батон, две банки рыбных консервов, яйца, геркулес в коробке, пряники, подсолнечное и сливочное масло. От себя добавили сыр, столовую колбасу, пару пачек чая. Это был 1992 год. Колбаса, сыр и чай были в единственном ассортименте, так что проблема выбора нас не отягощала.

Щуплый Гена открыл нам дверь. Он казался совсем мертвенно-бледным, с синюшным оттенком.

— Гена, ты еще не завтракал? — дипломатично спросила я.

— Нет, — прошелестел Гена и вдруг немного взбодрился. — Ты мне приготовь что-нибудь к завтраку, Регина, а я пойду помоюсь.

— Что ты хочешь на завтрак — омлет или геркулесовую кашу?

— Геркулес на завтрак лучше, только положи туда больше масла.

— А потом мы займемся бумагами, да, Гена? — растерянно спросила Барбара, жительница Калифорнии, лицо которой всегда безбоязненно демонстрировало, что ей без надобности хватать бога удачи за хвост. Все жизненные блага были ей обеспечены еще в зачаточном состоянии. Она явно пребывала в ужасе от Гениной медлительной речи и потустороннего облика.

Гена неясно кивнул и скрылся в ванной, откуда тут же донесся шум воды и горловое клокотание. Каша сварилась мгновенно, я приготовила бутерброды с колбасой и заварила чай. Клекот в ванной продолжался, вода по-прежнему лилась из крана. Мы вынули заявление, которое Гене надлежало подписать, но он все не являлся. Теперь звуки в ванной окрепли и походили уже не на клекот дряхлеющего орла, а скорее на урчание агонизирующего мотора древнего «запорожца».

— Я постучала в ванную комнату и заискивающе предложила:

— Геночка, выходи, все готово к завтраку.

— Сейчас, Регина, я кончаю полоскать горло, уже иду, — раздался тихий, до шока, голос.

Он явился минут через десять. Смиренно сел за стол и отправил в себя несколько ложек каши, выпил чаю с бутербродом. Мы положили перед ним список фамилий художников, обратившихся в американский суд. Все подписи, кроме устюговской, были на месте. Барбара угодливо вынула из сумки ручку, положила на бумагу.

— Подписывай, Геночка, — ничего не ведая сказала я,— мы сразу уйдем, чтобы не мешать тебе работать.

— Боюсь я, Регина, — горестно произнес Гена. Бескровные его губы едва шевелились.

— Чего ты боишься, Гена?

— Боюсь, Марк рассердится.

— На что он может рассердиться?

— Боюсь я его обидеть.

— Как ты можешь его обидеть? Сколько работ он у тебя забрал?

— Много, Регина, ой, много.

— Он взял у тебя двадцать четыре работы, а заплатил копейки за семь работ. И теперь не хочет возвращать остальные.

— Он был такой добрый ко мне. Принес коньяк. Мы выпили. Его машина ждала.

— А потом что?

— Он меня заставил бумагу подписать.

— А что было в этой бумаге?

— Я не помню, я не смотрел. Ой, боюсь я, Регина, боюсь, обидится Марк на меня, — запричитал Гена анапестом.

— Геночка, посмотри внимательно на этот список. Здесь все твои друзья уже подписали. Ты не один. Видишь, здесь подпись Сергея Ковальского.

— А это кто? — ткнул Гена в следующую строчку.

— Это Рихард Васми. А здесь Володя Шинкарев.

— Нет, не могу я, Регина, не могу я Марка обидеть, — безнадежно твердил Гена.

Мы высились над тщедушным Устюговым, подливали ему чай и намазывали череду бутербродов, комментируя подписи каждого художника.

— Мы не можем судить Мигдал, если ты не подписывал, — аккуратно выговаривая каждое слово, проговорила Барбара. Ее брови, оставаясь на месте, казались высоко вздернутыми.

Гена защищался с упорством маньяка, которому предлагают добровольно пройти в газовую камеру.

Сдался он лишь через два часа. Убедила его только подпись Елены Фигуриной. Может быть потому, что ее физи-

ческая невесомость соперничала с его призрачной внешностью. А может быть, он просто любил ее работы.

Схватка с негодяем длилась три года. Все это время негодяй без перерыва проявлял чудеса подлости. Но все же семнадцать обратившихся в суд художников получили назад почти все свои работы.

* * *

Прошлым летом я ехала из Царского Села в машине нашего издателя Исаака Кушнира. Я сидела сзади, а рядом с хозяином почетным гостем восседал очень молодой, где-то около тридцати лет, интеллигентный мужчина. Это был уже известный мне по рассказам владелец успешной московской галереи Сергей Попов. Он делился своим опытом продажи работ современных художников. Насколько я поняла, он действовал так же, как любой самый заурядный хозяин любой самой скромной западной галереи. То есть он снимал работу на свою цифровую камеру и в особом альбоме помещал эту фотографию с перечислением ее истории. Здесь же давались сведения о художнике. Накануне Изя, как его называют все благодарные ему художники, альбомы которых он издал за очень короткое время, сказал мне, что этот молодой человек продает работы за фантастические цены — 35 и больше тысяч долларов.

— Я позвонил тут одной покупательнице спросить ее кое-что, а она мне говорит: «Сережа, я тебе позже перезвоню, я на своей яхте по Средиземному морю катаюсь», — усмехнулся он и продолжил свой рассказ-консультацию:

— Я считаю, что инвестиции в Устюгова не оправдываются, — солидно произнес он.

— Не скажите, Сережа, — мягко вступил Изя, — мне хозяйка галереи «Дельта» сказала, что она сделала состояние на Устюгове. Она продавала его работы за семь — восемь тысяч долларов, а ему давала по триста.

Я помню эту хозяйку «Дельты». Мы ходили к ней в гости с моей американской подругой Айрин Голдман. Эта женщина, которую звали Ирина, приняла нас очень гостеприимно, поила вкусным чаем в красивой посуде. В галерее у нее

была масса работ наших ребят. Работы Гены сияли среди них, посылая свой щемящий сигнал, от которого сжималось сердце, и все прочее вокруг них, как бы искусно оно ни было сделано, смотрелось досадной помехой.

Мои попутчики углубились в деловой разговор. В частности, Изя говорил, что у него есть общая работа «Митьков», где каждый из художников что-то изобразил на одной и той же доске.

— Я это продавать никогда не буду, — веско заявил Кушнир, обладатель гигантской квартиры и такой же коллекции в престижном доме с консьержкой на Петроградской стороне, — а если и буду, то очень дорого.

Здесь он спохватился и, обернувшись назад, очень нежно спросил, где меня высадить. Они забыли о моем присутствии и необоснованно расслабились.

Я зигзагами брела к дому, лавируя между пятиэтажками и лужами купчинских кварталов. Некоторые лужи отливали керосиновой радугой. Гену я давно не видела. Последний визит к художнику виделся одним из его натюрмортов. Эфемерный человек, сидящий на древней табуретке у стола, где лишь банка рыбных консервов, стакан чая и недоеденная каша на плоской тарелке. В руках у него ручка и он смотрит на лист бумаги с подписями друзей-художников. И фигура его вибрирует ужасом.

* * *

Года три назад, летом, в галерее на Старо-Невском открылась одна из звонких групповых выставок. Художники уважают открытие выставки не только потому, что есть своеобразный кодекс, по которому ты должен прийти на открытие, если тебя пригласил сам автор, но и потому что это один из весьма удобных моментов пообщаться с друзьями за рюмкой вина. Конечно, если оно тебе достанется. Случилось так, что я отправилась туда с Пушкинской вместе с Геной, который сделал это здание излюбленным местом для своих визитов. Мы долго лавировали между прохожими в этот час пик и добрались к месту уже усталые. Гена очень рассеянно переходил дорогу, и мне приходилось, держа его за

рукав, концентрировать его внимание на машинах и светофоре. Шум в галерее поглотил все наши попытки общаться дальше, и мы разошлись в разные стороны. Веселье царило в в этом небольшом помещении, художники со стаканами, где плескалось дешевое вино, бурно радовались друг другу при встрече, продирались сквозь толпу, пытаясь не залить вином окружающих. Картины на стенах тоже кричали в унисон и трудно было понять, откуда извергается больше шума — от поддавших уже художников или от их творений.

Гена грустно рассматривал одну из работ. Вокруг него почему-то было свободное пространство и казалось даже, что здесь тише, чем у противоположной стены, откуда я только что подошла.

— Ну как, Гена, нравится тебе выставка? — спросила я.

Он обратил ко мне свое абсолютно бескровное лицо:

— Нет, Регина, — сказал он горестно, — мне здесь совсем не нравится. Здесь души нет. Понимаешь? Совсем души нет. Никакой.

Сезанн писал, что «цвет — это точка, где мозг соприкасается со Вселенной». Будучи хорошо знакомой с рядом прекрасных художников-колористов, рискну оспорить утверждение мэтра. Не мозг, думаю я, а именно душа творца соприкасается со Вселенной и способствует явлению шедевров, перед которыми еще замирают люди в наш одураченный век.

2010 г.

МАГНЕТИЗМ РИХАРДА ВАСМИ

Всего через несколько дней после неожиданной кончины Рихарда Васми коллекционер, друг многих художников и замечательный человек Николай Благодатов передал мне несколько рукописных листков.

Привожу этот текст полностью.

Requiem aeternam...

Почему по-латыни? Он был католиком, любил этот язык и мечтал его когда-нибудь изучить. Известие о его смерти застало меня на открытии выставки к столетию Русакова в му-

зее Ахматовой. Подошла побледневшая Жанна Бровина и сказала: «Рихард Васми умер». А за несколько минут до этого, разглядывая русаковский «Стадион», я подумал, что надо бы прийти сюда вместе с Рихардом. Теперь надо с трудом привыкать, что его грузно-основательную, чуть прихрамывающую фигуру в черном берете и необъятном пальто уже никогда не встретишь на углу Кузнечного и Марата. Покинул он нас внезапно, года не дожив до семидесяти. Судьба не предназначила ему взглянуть в грядущий век физическими очами — ведь этот век будет веком его настоящего признания. Нельзя сказать, чтобы этого выдающегося художника сейчас не знали и не любили. Еще в 70-е годы один из двигателей газа-невской культуры Анатолий Басин мне говорил, что лучшего художника, Васми, трудно увидеть. Действительно, на тех знаменитых выставках его работ не было. Потом, познакомившись, наконец, с ним, я был в смятении от «неслыханной простоты». И лишь со временем осозналось их величие. Наверное, свойство художника говорить о главном возможно более кратко, без риторики, мешает замутненному нашему сознанию откликнуться всем существом на призывы чистой души. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» — эти строки из Нагорной проповеди, мне кажется, про художника Рихарда Васми.

В будущем веке мы будем гордиться, что жили с ним в одном городе. А город помнит своего певца с детства. Сначала в доме на Мойке, где «с одной стороны — Красный мост, с другой — Синий мост». Там же и первые живописные впечатления и уроки Н. Лапшина. Потом блокадная зима, потеря родителей, учителя... эвакуация, детдом, возвращение, учеба, занятия архитектурой. Затем судьбоносное сближение с яркоталантливыми сверстниками Александром Арефьевым, Валентином Громовым, Владимиром Шагиным, Шоломом Шварцем, поэтом Роальдом Мандельштамом. Возник новый пласт ленинградской культуры, щедро плодоносящий уже полвека. Вклад в него Р. Васми столь же необходим, сколь и незаменим. Уже начинаются попытки осознать значение этой группы в целом и отдельных ее мастеров. Музеи хранят их работы. И абрис духовного величия Рихарда Васми начинает осознаваться все более ясно. Сам же он не любил выделяться. В самом главном он следовал очень трудной заповеди о любви к ближнему. Когда

ему предлагали выставку, он обычно ставил условия: «С Шалей или с Громом...». Несколько последних лет много усилий ушло на осуществление давней мечты — издать книгу стихов Роальда Мандельштама, умершего в 1961 году. К счастью, удалось этот труд завершить. Вышел чудесный томик стихов, украшенный рисунками Рихарда и его друзей.

Не надо умерших будить,
Грустить не надо...

— можно там прочитать в одном из самых известных стихотворений. Но их не добудишься — они пребывают в вечности «и свет предвечный воссияет им» — «et lux perpetua luceat eis».

Николай Благодатов
1998 г.

* * *

Дорогая Регина!
Ждем тебя. Как твои дела?
Напомню про Шварца:
Работы, которые он давал на выставку Мигдалу, он назад не получил.
Я, как друг и наследник живописи Шолома Ш., возвращаю задаток Марку Мигдалу при получении работ.

Р. Васми

Письмо написано карандашом, очень простыми, но какими-то величественными печатными буквами.

На другой стороне листа — печатная страница со стихотворением Роальда Мандельштама и рисунком Рихарда внизу.

Свежесть ветра не напомнит губы,
Звездочки — глаза...
— Пойте, пойте, водостоки — трубы,
Крыша — стрекоза.

Мчитесь, мысли! — я, не зная лени,
Вспоминаю разные слова —
Прихотливо, как в рогах оленьих,
Мыслями ветвится голова.

Я сегодня сбрасываю путы,
Я — король! — В моей лепешке — боб!
Чей-то локон бронзовой валютой
Падает на лоб.

Духота в моем старинном хлеве,
Кто-то битый стонет за стеной,
До утра — бобовой королеве —
Спать одной!

Пусть ей ветер поцелует губы,
Высушит глаза, —
Пойте, пойте, водостоки — трубы,
Крыша — стрекоза.

Листок этот в маленьком конверте был прислан Рихардом в Индиану в разгар борьбы с подонком Мигдалом. На лицевой стороне конверта вверху слева написано два слова латинскими буквами — Рихард Васми. Целью Рихарда в это время было издать книгу стихов своего любимого друга. Он запальчиво говорил, что Роальд гораздо талантливее своего однофамильца Осипа Мандельштама. Теперь друзья похоронены в одной могиле. Мне тепло от этого и еще от того, что я дала эту идею, когда Рихард так неожиданно и таинственно ушел.

Рихард часто говорил: «Вчера я был у Альки».

Это означало, что он приезжал на Красненькое кладбище, где лежал Роальд, красил оградку или просто сидел рядом и вспоминал, и общался. На могиле Роальда почему-то была приклепана красная звезда, которую сняли после похорон Рихарда.

Когда я прочла стихи про бобовую королеву, меня это слегка раздражило. Справа внизу тем же царственным шрифтом были проставлены инициалы автора — Р.М. Мне показалось, что этим стихотворением Рихард причислил меня

к разряду «бобовых королев», которые одиноки на празднике жизни и страдают от этого. Но после Саши я никогда не ощущала себя таковой. Именно поэтому намек меня рассердил.

А теперь я берегу это письмо, как зеницу ока.

* * *

Всю жизнь Рихард мечтал жить в отдельной квартире. Всю жизнь он прожил в коммуналках, непрерывно меняясь. Когда-то он очень хотел съехаться с Шалей. Но это не удавалось. Волшебники в ирреальности полотна, в советской жизни они оба были одинаково беспомощны.

— Когда-то мы с Шалей на Литейном в «Академкниге» купили тоненькую книжку, — рассказывал Рихард. — Очень дешевую. За двадцать копеек. Там наверху был нарисован третий глаз. А называлась она «Как развить в себе магнетизм». Ну, мы с Шалей все внимательно изучили и стали работать над этим. А ты знаешь, как стать сильным человеком и чтобы все с тобой считались? — прервал он монолог.

— Не знаю, — честно сказала я.

— Нужно научиться отказываться от многих вещей. Вот, скажем, ты хочешь есть. Но ты не ешь. Или ты очень хочешь закурить. Или ты хочешь спать или ты хочешь женщину... Так вот, ты должен от всего отказываться. И тогда в тебе постепенно накапливается особая субстанция. Ты становишься все сильнее и сильнее. И остальные это чувствуют и начинают тебя уважать.

— Мы с Шалей как-то зашли в дорогой магазин на Литейном, — продолжил он с воодушевлением, — и, ты знаешь, продавцы смотрели на нас с таким уважением, даже почтительно. А ведь мы были такие же, как всегда. Одеты достаточно плохо. Мы тогда почувствовали, что в нас появился этот самый магнетизм.

Лариса, жена Вали Громова, рассказывала, что как-то молодой Рихард пришел к ним в гости на Васильевский и у него были покрашены ноги так, как будто на них носки черного цвета.

Рихард рассказывал о женитьбе Громова:

У Грома была очень маленькая комната на Кировском проспекте. Он сам там еле помещался. И влезала туда только одна кровать. Но большая. По четвергам у Грома был женский день. К нему приходила Лариса. И он никого не пускал. Мы к нему в четверг прийти не могли, он бы и дверь не открыл.

И вот однажды Арех созвал нас всех на совещание. Мы все собрались, и Арех нам говорит:

— У меня для вас есть сообщение. Гром хочет жениться. Ну что хорошего в женитьбе? Мы все знаем, что ничего. Вот посмотрите: Рихард был женат и развелся. Шаля был женат и развелся. Я был женат и развелся. Так зачем Грому жениться, спрашивается? Ничего хорошего из этого все равно не получится.

— И мы все решили, — сказал Рихард, — не дадим Грому жениться.

И для справок: у Вали Громова прекрасная подруга жизни Лариса. Все та же Лариса, посетительница крохотной комнатки на Кировском, ныне Каменноостровском, проспекте.

Когда я начала заниматься Мигдалом, Валя Громов и Рихард почему-то были в плохих отношениях и почти не общались друг с другом.

На мои вопросы они отвечали по-разному.

— У него семья, у него все в порядке, — с сердцем говорил Рихард, — а я совсем один. Он сам должен мне звонить и узнавать, как я живу.

— Он мне никогда даже не позвонит, — с обидой говорил Валя, — зачем же я буду навязываться?

Думаю, что наш процесс очень помог их сближению.

* * *

Рихард мальчиком пережил блокаду Ленинграда. Жили они тогда в Демидовом переулке.

И где-то в тех краях жила зловещая страшная старуха.

— Мне мама не разрешала ходить по некоторым улицам. Люди говорили, что эта старуха приманивала мальчиков, подкармливала их, а потом убивала и съедала. Я был послушный и обходил улицы, где мог эту старуху встретить, — заключил он.

Жена Иосифа Храброго Лиля, маленькая, хрупкая женщина, говорила грустно:

— Рихард, наверно, очень одинокий. Посмотри на его работы, они просто дышат одиночеством. Там почти нет людей, а если и есть, то все равно это такое полное одиночество.

Я рассказала Рихарду, что маленькая очаровательная женщина остро прочувствовала его работы.

— Она права, Рихард?

— Конечно. Бывает, что я по несколько дней ни с кем словом не обменяюсь.

Однажды мы с Рихардом вышли с Пушкинской и пошли по направлению к Кузнечному переулку. Рихард всегда ходил медленно. У него болела нога и он прихрамывал. В этот раз он продвигался еще медленнее обычного, так как нес в руках тяжелую электрическую батарею. Были морозы, и он тащил эту батарею домой, на Марата. Навстречу шел молодой художник.

— Привет великому Васми, — воскликнул он, слегка паясничая.

— Привет, — сказал Рихард и с удовольствием поставил батарею на витринный выступ.

Они вступили в странный, никакой разговор. Я порывалась уйти, но Рихард удерживал меня, говоря, что хочет проводить меня до трамвая. Мы простояли минут десять, и молодой человек, сияя и произнеся еще пару приятностей в адрес «великого» коллеги, удалился.

В это время по Кузнечному резво промчался мой купчинский 49-й трамвай.

— Ну вот, теперь ждать еще полчаса. Ну зачем ты с ним так долго распинался, Рихард? Вот уж не знала, что ты такой падкий на лесть, — выговаривала я.

— Да я отдохнуть хотел, — просто сказал Рихард. И, крякхтя, снял с выступа батарею.

Мы двинулись дальше.

Однажды к Рихарду пристала собачка. Дворянского происхождения. Он ее взял домой и назвал Шариком.

— Мой Шарик такой умный, — восхищался он. — Я его иногда беру в мастерскую. И ты знаешь, он идет рядом со

мной, а когда доходим до угла, он не идет дальше, а садится и ждет сигнал светофора.

Одно время Шарик жил у Рихарда в мастерской. Ночами он очень тосковал, плакал и однажды погрыз какие-то работы. Тогда Рихард взял его домой.

Однажды я спросила:

— Как твой Шарик?

— А он убежал.

— То есть как убежал?

— Я пошел к Герке Титову в мастерскую. У него была бутылка и мы немного выпили. И Шарик почему-то рассердился.

— Откуда ты знаешь, что он рассердился?

— А он стал лаять на меня. И так агрессивно, громко. Мы совсем не могли разговаривать. Ничего не слышно было из-за его лая. Он даже вставал на задние лапы, а передними ко мне на колени опирался и сердито так на меня лаял.

— Наверно, ему не понравилось, что ты пьешь.

— Наверно. Ну, я тогда выставил его за дверь. Герка живет на первом этаже. И вход со двора. Я ему говорю, Шарику, конечно: побегай, подыши воздухом.

— Ну, а когда я от Герки вышел, его уже нигде не было. Не захотел меня ждать. Совсем рассердился, наверно.

— Но его, видно, кто-то напугал и он убежал от страха. Он же такой маленький, как я понимаю. Ну что же ты, Рихард, не поберег собачку? Он ведь ждал тебя, а ты все не шел. — Для моего, много раз разбитого сердца отъявленной собачницы, это был невероятный, непростительный поступок. И все же пришлось простить Рихарда. Он так по-детски опечалился, представив несчастного одинокого Шарика. И так горестно сказал:

— Но я ведь был уверен, что он меня ждет там, у двери. Он же такой умный.

Последняя собака Рихарда

— Мы поехали с Олегом Фронтинским за грибами, — рассказывал Рихард, — много ходили по лесу. Мы уже собирались домой, и тут из кустов появляется большая собака. Мы

сначала даже испугались немного, а она так ласково, умильно смотрит и хвостом машет, будто что-то сказать хочет.

— Она, наверно, хотела, чтобы вы ее с собой взяли, — завела я свою песню.

— Там совсем недалеко деревня была, мы подумали, что она оттуда. Но мы ее не обидели. Сели поесть и с ней поделились. Я ей хлеб с колбасой дал. Ей очень понравилось. А потом мы пошли, и она еще долго так за нами бежала. А потом отстала.

Это была последняя осень Рихарда. Он таинственно умер 28 сентября. Правда, никто точно не знает число, потому что он пролежал мертвым в своей комнате в коммунальной квартире не один день, прежде чем остальные жильцы догадались постучаться к нему.

Мне до сих пор кажется, что если бы он взял тогда эту собаку, ничего бы плохого не случилось.

* * *

Однажды мы пили чай у Рихарда в мастерской. Его мастерская располагалась в одном закутке с мастерской Тыкоцкого. Идя к Рихарду, я наткнулась на Гену Устюгова, потерянно бродившего возле Жениной двери.

— Видишь, Регина, — как всегда невыразительным, без интонаций, голосом сказал Гена, — я к Жене пришел, а его нет. А ты куда идешь?

— А я к Рихарду.

— Здесь и у Рихарда мастерская? — удивился Гена. — Надо же, а я и не знал. Ну, я потом к нему зайду.

Чайная церемония у Рихарда была незатейливой, и тем не менее это была церемония. Он любил, как многие художники делают до сих пор, заваривать чай прямо в чашке. Он обильно насыпал примитивную заварку («сено», называл ее Сашин знакомый Людас, пациент кардиохирургической клиники в Вильнюсе, с ударением на «о»), заливал ее кипятком и прикрывал блюдцем. Минут пять мы торжественно ждали окончания процедуры и неспешно беседовали. И не успел еще Рихард снять оба блюдца с чашек, как в дверь замолотили.

— Рихард, это я, Гена, — открой, пожалуйста, — слабым тенорком воззвал Гена.

— Я занят, — сурово сказал Рихард.

— Ну, Рихард, открой мне, я только на пять минут, — барашком блеял Гена.

— Не открою, я уже сказал, что занят, — еще суровее ответил Рихард и вернулся к своей чашке.

Слабосильный панический стук возобновился.

— Пусти меня, Рихард, ну я же тебя прошу, только на пять минут.

— Я уже сказал, что не открою. И перестань барабанить, — отрезал Рихард и уже окончательно воссел за стол.

Гена еще раз поддал дверь, но силы его, несомненно, иссякли и через короткое время послышался стук двери, что вела к лифту.

— Почему, Рихард? — изумилась я. — Ты что, не любишь Гену?

— Да, не люблю, — твердо сказал Рихард. — И за что его любить? Он черный, совсем черный. И работы его такие же. Я не хочу его знать.

Отреагировав на явное мое огорчение, он решил привести убийственный, как он считал, аргумент.

— И потом он антисемит, — запальчиво сказал он. — Да, да, я точно знаю. Сам слышал. Он как-то пришел ко мне просить Библию на время. Почитаю, говорит, немного, а потом принесу. Ну знаешь, я совсем ему не могу доверить Библию. Так и сказал, что дать не могу. Он сидел, сидел у меня, канючил долго. Но я сказал твердо так, что не дам. Он рассердился и побежал. И знаешь, что он закричал с лестницы? — значительно глянул на меня Рихард. — Он закричал: «Жидюга». Да-да, так и закричал, я прекрасно слышал — жидюга.

Я потом, после, когда стала размышлять об этом, подумала: «А может, Гена просто кричал „Жадюга“»?

Кстати, наше чаепитие кончилось почти плачевно, так как разболтанная дверь с неисправной ручкой не хотела открываться. Мною уже предвиделись ужасы ночного бодрствования в запертой мастерской, но Рихард, подстегиваемый моими клаустрофобическими стенаниями, все же ухитрился одолеть трухлявую преграду.

* * *

Некто Хайди Нойхофф, подруга жены американского консула Джека Гознелла, красавицы Ин-Ми, решила заняться русским искусством. Это была высокая корпулентная блондинка немецкого происхождения. Почему она обратилась именно к русскому искусству? По той же причине, по которой Марк Мигдал ринулся в Россию наживать свой миллион на русских художниках. Но Хайди, как западный человек, вела себя гораздо более порядочно. И не ее вина, что это не вышло. Теперь она переключилась на латиноамериканский континент и пока еще не разорилась.

Хайди арендовала для своей галереи более чем престижное помещение на 57-й улице в восточном Манхеттене, навезла работ наших ребят, в основном стерлиговцев, и начала работу. Ко мне домой в Питере она приехала вместе с Ин-Ми. Пока она мыла руки в ванной, Ин-Ми увлекла меня в дальнюю комнату и сказала на своем прекрасном русском:

— Она тебе сделает очень хороший альбом, если ты с ней договоришься.

Идея была ошеломляющей. Ведь с самых первых дней все вокруг твердили мне: альбом, альбом, и с тех пор, кроме уже готовых слайдов, мы не продвинулись ни на йоту по причине элементарных финансовых трудностей.

Пока я судорожно размышляла над ситуацией и советовалась со свекровью, мне пришла в голову мысль привести Хайди к Рихарду. Она с удовольствием согласилась. Рихард сказал, что Шаля Шварц должен непременно присутствовать при этом и попросил того приехать. У Шали была комната на Петроградской, откуда он почти не выходил, так как у него что-то совсем плохое происходило с ногами. В этой, самой первой мастерской на Пушкинской, 10, у Рихарда было целых три большие комнаты. В одной стоял печатный станок, в другой Рихард работал, а в третьей висели работы Шолома Шварца.

Шварц явился очень хмурый, опираясь на палку. Несмотря на его очевидную хрупкость, прогнившие полы скрипели под ним. Было очевидно, что чувствует он себя ужасно.

Цветущая разодетая Хайди, вариант Брунгильды, но с американским акцентом, рассматривала работы, явно затрудняясь, явно ничего не понимая и не чувствуя, но выражая всем своим видом дежурное кислое восхищение.

— Чтобы повесить эти работы в галерею, — оповестила она, наконец, — их надо оформить по-другому. Их надо писать на холсте.

— Но мы почти не пишем на холсте, да холст и дорог для нас, — сказал Рихард, смущенно улыбаясь.

Шаля ненавистно молчал. Он вообще не произнес ни слова на протяжении всей процедуры. Но в нем легко прочитывался коктейль однородных чувств: неодобрение, возмущение и ярко выраженное презрение.

Рихард удалился в комнату, где стоял станок, и вынес оттуда небольшой квадратный кусок фанерки. Он нес этот предмет, доверительно сияя. Он поднес его ближе к Хайди и, все так же лучась любовью к этому девственно чистому кусочку дерева, словно ребенок, доверяющий свое главное сокровище, спросил:

— А разве это не подойдет?

После смерти Шали Рихард поставил у себя в мастерской детскую настольную арфу, купленную когда-то за шесть рублей двадцать копеек, о чем уведомляла надпись на стойке игрушки. Это была Шалина собственность. Рихард отдал мне арфу, предварительно попросив поиграть на ней, возопив при этом пародийно и с явным уклоном в четырехстопный ямб: «Ну что ж, Регина, ударь по струнам!» Проржавевшие струны издали серию жалобных стонов. Эта детская игрушка почему-то имела антикварный вид. Видимо, то же мнение было у молодого офицера таможни, который заставил меня вытащить ее из чемодана и долго, въедливо ее разглядывал.

— Сколько она стоила? — спросил он озадаченно.

— Вот здесь написано: шесть рублей двадцать копеек, — показала я.

Он еще подержался за розовую пластмассовую стойку, вызывающую в памяти целлулоидных пупсов далеких лет, и нехотя отдал мне арфу.

Несколько лет, пока мы жили в Индиане и я преподавала фортепиано американским детям, она стояла на пианино

неким загадочным тотемом, какой-то завораживающей и от того неразрешимой загадкой.

Детям разрешалось коснуться струн лишь при наличии очевидных успехов в процессе урока.

* * *

Прошлое лето, будучи в Петербурге, я ехала в машине нашего спонсора Исаака Кушнира. Я уже писала об этой поездке, вспоминая еще одного человека, сидящего в этой машине. Это был преуспевающий молодой, прекрасно воспитанный человек, хозяин одной из московских галерей. Мы возвращались из Пушкина, из музея «Царскосельская коллекция», и Сергей Попов делился своими профессиональными успехами. Я уже все это рассказала в тексте про Гену Устюгова. Когда в пылу профессиональных откровений молодой бизнесмен мельком и очень деловито упомянул рисунки Васми, мне стало совсем неуютно. Скорее просто больно.

* * *

Рихард рассказывал:

— Как-то Арех сидел в психушке. Ну, его иногда туда укладывали... В этот раз он вышел оттуда в восторге. Пришел к нам и говорит: «Я нашел гения». И это был Шемякин. Ну, я-то к этому скептически отнесся...

Насколько я поняла, жена Рихарда позднее стала женой Арефьева, а затем женой Шемякина, и родила последнему дочь. Потом и они развелись. Эту девушку Шемякин привозил в Петербург в одну из своих поездок. Она жила с матерью в Греции. Рихард совершал с ней длительные пешие прогулки. Их сопровождали два «афганца», нанятые Шемякиным.

Рихард никогда никак не оценивал работы Шемякина. В ответ на вопросы он лишь загадочно улыбался.

Однажды Шемякин пригласил его на открытие своего памятника жертвам сталинских репрессий у Большого дома, на Неве.

— Я немного опоздал, — рассказывал Рихард. — Иду, а там уже все собрались и выделяется так наш мэр, Собчак. Красиво одетый и представительный мужчина. Он к кому-то повернулся, увидел меня, как я подхожу, и почему-то рассердился. Сделал строгое лицо. И больше на меня не смотрел.

Рихард, в его мешковато-элегантных одеждах, с тростью в руках, в глазах мэра выглядел просто принарядившимся бомжом.

Мэра, который в белоснежном костюме под звуки оркестра, исполняющего вальсы Штрауса, кружился на Австрийской площади с женой австрийского посланника. Австрийская площадь находится на Петроградской, на слиянии улицы Мира и Каменноостровского проспекта. Австрийцы в начале перестройки предложили привести эту небольшую, мастерски вмурованную в пересечение улиц круглую площадь в пристойный вид, что они и выполнили. Кружащегося в вальсе Собчака я видела своими собственными глазами, пробегая через площадь в книжный магазин. Только он походил на приказчика. А Рихард всегда выглядел вельможей.

* * *

До сих пор меня поражает патологическая боязнь Рихарда подписывать официальные бумаги. Начав работать над ситуацией с Мигдалом, мы отчаянно нуждались в заявлениях художников, официально заверенных у нотариуса. И, странное дело, некоторые художники явно побаивались писать подобные заявления. Самым пугливым оказался Гена Устюгов.

— Боюсь я, Регина, — говорил он своим беззвучным голосом.

— Чего ты боишься, Гена?

— Боюсь я, а вдруг Марк обидится...

Но это была явная душевная болезнь.

Рихард не боялся. Он видел Мигдала насквозь. Видимо, это было генетическое явление, полученное им от родителей — любая подпись могла оказаться опасной и использоваться против тебя. Но это мои собственные догадки, так как Рихард никогда не расшифровывал эту свою особенность. Он

как-то сказал мне, что их группа сознательно не участвовала в газа-невских выставках — не хотели, и все. Нам, мне и Барбаре Хазард, стоило огромных усилий обработать Рихарда и все же добиться подписания бумаг.

— Когда он вошел, я сразу понял, что это мошенник, и твердо решил, что никакого дела с ним иметь не буду, — сказал Рихард, размешивая раскаленной алюминиевой ложкой чай в стакане. — Но, представь себе, я через довольно короткое время подпал под его обаяние. И согласился отдать работы. Надо сказать, что при очевидной для всех натуре жулика он оказался довольно неплохим психологом. И к тому же пришел с очень красивой женщиной и с бутылкой коньяка. Самое противное, что я и Шалю уговорил, и Грома. И они тоже отдали ему работы. А Шали уже нет. Я считаю себя его наследником и хочу получить его работы обратно. Мы на тебя очень надеемся. Помоги вызволить хотя бы Шалины работы. Этот негодяй не имеет права их задерживать.

Рихард повернул к окну свою скульптурно вылепленную голову и нервно затянулся дешевой сигаретой.

— Я считаю, что этот процесс, который вы затеяли, по значению то же самое, что и величайшие судебные процессы в истории, — веско закончил он.

Так начиналась изнурительная эпопея борьбы с Мигдалом, решившим, что вывезенные им из России работы безвозвратно перешли в его собственность.

* * *

Я сидела у Рихарда в мастерской, тщетно пытаясь добыть его подпись под общим заявлением художников. Заявление нужно было для того, чтобы начать судебный процесс в Калифорнии. Там проживал вышеобозначенный негодяй и там же он держал украденные работы.

— Рихард, — сказала я, совсем отчаявшись, — если ты настолько чувствителен к женской красоте, что отдал работы заведомому жулику из-за смазливой дамы, то я тоже могу привести к тебе кучу красивых молодых женщин. Вот есть одна из Аниных подруг, она ослепительно рыжая и прелестная. И потрясающий интеллект. А еще есть Варя, моя назван-

ная племянница, высокая, тонкая, как тростинка, а глаза зеленые, русалочьи. А еще моя соседка Машенька, прекрасный пианист, родственница Серебрякова, натуральная блондинка с синими глазами. А еще...

Продолжая безнадежно токовать и презирая себя за бездарность, я достигла входной двери. Рихард, следовавший за мной, коснувшись притолоки, остановился и ощутимо вдохнул в себя воздух. «В этой дикой стране, где я чудом лишь цел... — заявил он значительно и напевно. И, сделав театральную паузу, на выдохе завершил: — Не мечите в меня эротических стрел».

— Боже, какая прелесть! — восхитилась я. — Чье это, Рихард?

— Рихард Васми, — сказал он и, приложив руку к груди, церемонно поклонился.

На следующий день он подписал заявление.

* * *

Подступал Новый год. Я ждала разрешения на выезд. С тревогой и отчетливым нежеланием уезжать. Я уже попробовала Америки. Помню, во время моей личной борьбы за Сашины работы с подонком Мигдалом я совсем разболелась. Но денег ни на какого врача не было. Моя подруга Барбара Хазард помогла мне, купив одну из Сашиных картин. Перед этим она грустно сказала: «Теперь ты знаешь, каково быть бедным в Америке». Рихард пригласил меня в первый день Нового года зайти к нему в мастерскую. Мы понимали, что высиживать ночь для встречи Нового Года будет сложно. Я пришла к нему утром 1 января с дочерью моей подруги Машей Разиной. Почти все магазины оказались закрытыми, так что мы купили, что было доступно, и поднялись на пятый этаж по разбитой и разрисованной лестнице. Рихард открыл дверь, откровенно сияя. Ванечка, его сосед по мастерской, спешно готовил кофе. Он вставил кассету в магнитофон, и зазвучала всегда попадающая в яблочко труба Армстронга. Чеканное ее звучание прервал заряженный запредельной сверхъестественной энергией

хриплый голос певца. Затем опять словно хирургический скальпель в руках гениального хирурга точным проколом ворвался прямо в душу звук трубы. Рихард сидел полузакрыв глаза и с выражением такого блаженства, что я боялась момента, когда музыка прекратится, предвидя, что оно, это несвойственное ему выражение лица, сотрется с остановкой музыки. Внезапно он вскочил и рысцой устремился в свой отсек мастерской. Пришел обратно минут через двадцать, явно умиротворенный. Как я и думала, он поработал это время. Это был женский портрет, как я заметила, украдкой бросив туда взгляд. Мне тогда даже показалось, что я имею к этому отношение.

* * *

В мае 2006 года в петербургском еженедельнике «Дело» опубликовано интервью Михаила Шемякина журналисту Даниилу Коцюбинскому. В разговорах Рихарда с Валентином Громовым часто упоминалось, недоуменно и без комментариев, обнаруженное вдруг «высокое происхождение» Шемякина. В своем интервью потомок «древнего кабардинского рода Кардановых и представительницы русского дворянского рода Предтеченских» с непререкаемостью мэтра повествует о городе, в который он приехал четырнадцатилетним мальчиком. Совсем мельком упоминает Арефьева и немногочисленную группу его друзей, с которыми, насколько я знаю, у него были самые тесные связи.

Алек Рапопорт дал мне прочесть четыре письма Арефьева, написанные им в Париже (позже вдова Алека Ирина переслала мне копии этих писем). Он был там в одно время с Шемякиным. Помню общее ощущение отчаяния сильного и загнанного в угол человека. Он Шемякина называет «Шемяка» и очень нелицеприятно говорит о человеческих отклонениях найденного им в психушке «гения», о его полном нежелании помочь другу в трудной ситуации, и даже о его «яром антисемитизме».

Рихард упорно отмалчивался, когда речь заходила об этих сторонах личности Шемякина. Сколько ни взывал

к нему Валя Громов, как ни напрашивался на мало-мальский комментарий на эту изумляющую его тему, ни одного слова от Рихарда не поступало. Он молчал и опять же загадочно улыбался.

Когда Рихарда обнаружили мертвым в его комнате, в постели, Валя Громов позвонил мне и попросил каким-то образом дать знать Шемякину. Моя подруга Айрин Голдман оповестила жену Шемякина. От самого художника ничего не последовало.

Саша Манусов рассказывал: «В семидесятых годах в Ленинград приехала натурщица Майоля Дина Верни. Она познакомилась с Шемякиным и предложила ему стать его „музой“. Ей было тогда уже довольно много лет. Шемякин согласился».

Скульптор Константин Симун был свидетелем того, как Дина Верни в Русском музее, в тогдашнем Ленинграде, «вызволяла» из страны работы Шемякина. Повернутые к стене картины стояли на полу в служебном помещении музея, и, как рассказывал Симун, разгневанная дама тыкала в них «ногой невероятной красоты и в золотой сандалии». Вернувшись во Францию, она устроила Шемякину мощную рекламу в печати и по телевидению, так что когда он приехал в Париж, уже все было подготовлено. С этого началась его успешная карьера на Западе.

Как пишет Коцюбинский, после деятельности Шемякина в Ленинграде наступили годы гонений и эмиграции, а затем триумфальное возвращение на творческую родину.

* * *

Последний визит Рихарда ко мне состоялся за несколько дней до его смерти. Собственно, я пригласила к себе на обед двоих: его и Женю Тыкоцкого. Но Женя не появился, а пришел на следующий день, в субботу. А Рихард был у меня в пятницу. Он принес плетеную узкую корзинку на длинной ручке и офорт мне в подарок. Очень деловито, без слов, он достал из кармана огромный гвоздь, вбил его в стену, проделав там существенную дыру, и повесил на него корзинку. Он с удовольствием ел, нахваливая мои сомнительные кулинарные

достоинства. Перед уходом он приложился к одной моей щеке, затем к другой и, если можно так выразиться, к третьей.

— Рихард, — растерялась я, — сейчас же не Пасха.

Когда он стоял на лестничной площадке, какая-то белая пелена вдруг заклубилась вокруг всей его фигуры. И это был мой последний взгляд на Рихарда. Я этого не знала, но ощутила какое-то недоброе предвестие, от которого захотелось спрятаться. Точно такую же пелену я наблюдала на этой же площадке после Сашиной смерти. Она сопровождала появление Сашиного друга, Саши Бихтера, внешне чем-то, как многие говорили, напоминающего Сашу. Когда я открыла дверь, там все обволоклось меловой белизной, какой-то мгновенной метелью, и мне привиделся Саша, но это был Саша Бихтер, понуро стоящий на той же площадке.

* * *

Рихард часто рассказывал о друге юности, Жоре Фридмане, джазмене в прошлом, который теперь стал католическим священником. Он значительно произносил фамилию Фридман, видимо, полагая, что мои еврейские гены непременно отреагируют на это звучание.

Он очень хотел нас познакомить, но этого не случилось.

— Католицизм дал человечеству великое искусство, — говорил он с увлечением. — Подумай, какая у них живопись. А музыка...

Он явно по-детски хотел обратить в католицизм и меня.

— Рихард, — как-то удивленно спросила я, — а почему каждый представитель любой религии считает, что его религия самая лучшая? Ты можешь это объяснить?

Он задумался.

— Нет, — сказал он озадаченно, — сейчас не могу. Это очень серьезный вопрос.

А Жору Фридмана я увидела на похоронах Рихарда. У него был просветленный, даже счастливый вид, когда он выполнял обряд отпевания.

После похорон я подошла к нему и сказала:

— А Рихард так хотел нас познакомить...

— Вот он и познакомил, — откликнулся священник с улыбкой.

Когда-то мы ходили с ним на дневной концерт в лютеранскую церковь на Невском проспекте. Совсем еще недавно там был устроен бассейн, а с началом перестройки какое-то время был концертный зал. Рихард ждал меня на площадке возле церкви, держа в руках что-то бережно упакованное в твердый картон.

— Моего отца в этой церкви крестили, — сказал он радостно, — когда он совсем был новорожденный. — Я принес тебе показать свидетельство о крещении.

Он развернул картонную преграду и осторожно вытащил этот лист бумаги. Вид у него был ликующий.

* * *

Смерть Шолома Шварца застала Рихарда врасплох. Хотя было очевидно, как тяжело Шаля болел. Я в это время была в Америке. И приехала уже после похорон и после выставки Шварца, устроенной в помещении Музея городской скульптуры в Лавре.

Когда я увидела Рихарда, меня поразил его вид. Он словно обуглился, говорил еще более скупо, чем обычно.

— Я места себе не нахожу без Шали, — сказал он. — я ведь думал, что Шаля будет всегда.

— Ну, а как прошла выставка, Рихард? — спросила я, зная, каким звучанием было наполнено это событие для него.

— Выставка была хорошая, как и должна быть Шалина выставка, — сказал он горько, — только этот Иванов все испортил. Я не хочу его больше знать и видеть не хочу.

Я не помню детали конфликта между Михаилом Ивановым и Рихардом, хотя он подробно все рассказал. Думаю, что Михаил Иванов, про которого Женя Тыкоцкий как-то сказал, что это «головной человек», совершенно наглядно наделенный огромным изначальным эго, что-то сделал не так, как хотел Рихард в этот трепетный и горестный час. Он окончательно изгнал этого человека из своей жизни, хотя

прежде был к нему благосклонен и даже доверял ему ксерокопировать свои многочисленные рисунки.

Тем не менее Михаил Иванов явился на похороны Рихарда и произнес там краткую значительную речь. Он, правда, не забыл упомянуть, что Рихард последнее время был на него обижен.

Тот же самый Михаил Иванов произнес краткую и значительную речь на Сашиных похоронах, несмотря на просьбу покойного художника обойтись без этого.

* * *

Рихард очень любил книгу маркиза де Кюстина о его поездке в Россию. Он дал мне ее почитать и, когда я ее вернула, с удовольствием произнес речь на тему, что все в России осталось неизменным с той поры. Позже появился фильм Сокурова «Русский ковчег», где героем является вышеупомянутый маркиз. Уверена, что эта книга, которую Рихард бережно прижимал к себе, как ребенка, была выкинута со многими «ненужными» вещами.

На Пушкинской у Рихарда одна за другой были три мастерские. Первую, самую большую, я уже описывала. Вторая была в бывшей мастерской Бориса Борща, который съехал оттуда, уверяя меня, что не может работать на Пушкинской, полной черной энергии. Рихард делил эту мастерскую с Ваней Оласюком, своим полным антиподом. Ванечка, годящийся Рихарду в сыновья, приехал еще в бывший Ленинград из далекой украинской деревни. Он был шестым ребенком в бедной деревенской семье. Художественное образование получил умеренное. И тем не менее сейчас он является одним из наиболее видных художников города. Его работы охотно берут в западные галереи. И, если вернуться к пресловутому Сергею Попову, то на мой вопрос, знает ли он Оласюка, он почтительно сказал: «Оласюк — это просто легенда какая-то». Его очень любил и опекал Женя Тыкоцкий. Чем-то они были похожи друг на друга. Видимо, совершенно зримым вдохновенным безумием, отрешенным сиянием глаз и откровенным презрением к людским благам. И еще фанатической любовью к настоящей музыке.

Рихард, сначала относившийся к Ване с заметным недоверием, скоро растаял от этого соседства. Ваня был мастером на все руки, добывал воду из неработавшего водопровода, наладил электричество в мастерской. Это было время, когда обитатели дома жили в настоящих блокадных условиях, без воды и света, и, естественно, безо всякого отопления.

Мы часто пили вместе чай.

— Вы что будете пить, Регина, кофе или чай? — спрашивал Ванечка, — тут Рихард пирог испек к вашему приходу.

И оба хитро улыбались. Свежеиспеченный пирог был полусладким батончиком, обильно присыпанным маком, Рихард покупал его в булочной по пути в мастерскую.

Как-то мы пришли с Рихардом к Вале Громову обсудить детали предстоящего процесса с Мигдалом. Мы купили по дороге что-то к чаю и очень толстую рыбину — скумбрию горячего копчения, которую Лариса, жена Вали, мастерски разделала и подала на очень красивом блюде. Рихард в это время носился с идеей книги стихов Роальда Мандельштама. Он принес гранки и, лучась радостью, показывал их всем нам. С Валей недавно призошел неприятный случай. Он живет на первой линии Васильевского острова и вход в квартиру у него со двора. Чтобы попасть во двор, ему надо пройти через проходную парадную. И вот как-то, когда он возвращался домой с вечерней смены (а он долгое время работал в типографии), какие-то мерзавцы порезали ему щеку ножом так, что, как рассказывал Валя, у него начал вываливаться язык. К счастью, врачи умело зашили щеку и последствий почти не было видно.

Валя и Рихард разнежились, вспоминая старое, и чувствовали себя очень комфортно. Валя с удовольствием рассказывал, как к нему приезжал Николай Решетняк[1] из Америки, и он, Валя, подарил ему, кажется, два рисунка.

— И ты знаешь, он приехал еще раз и привез мне прекрасную вещь. Я ему очень благодарен, — радовался Валя.

Оказалось, Решетняк привез ему всего-навсего цветные ксерокопии увезенных работ.

---

[1] Николай Решетняк, живущий в Нью-Джерси, коллекционер и реставратор, некоторое время, как он говорил, работал для Нортона Доджа.

— Здорово, — медленно говорил Рихард, рассматривая и восхищаясь, — я бы тоже ему подарил рисунки, если бы он привез потом такие копии.

Я слушала и грустила: они же как дети. Какой благодатный материал для грабителей в сфере искусства.

* * *

После того, как фигура Рихарда на моей площадке подернулась белой пеленой, я уехала на пару дней в Москву. Вечером в день приезда, когда я сидела с друзьями на кухне, позвонил Валя Громов.

— Регина, у меня плохие новости, — сказал он своим глубоким низким голосом.

— Ты мне, Валечка, ничего такого не говори, — сказала я строго, уже все понимая, но пытаясь отдалить момент.

— Рихард умер, — сказал Валя.

С Женей Тыкоцким мы поехали в морг Мечниковской больницы, чтобы уладить все формальности. В этот же морг когда-то привезли тело Саши.

Прах Рихарда

Женя Тыкоцкий после переезда в новую роскошную мастерскую очень подружился с Рихардом, которому дали мастерскую в том же закутке-коридорчике на третьем этаже. Ликующие художники, обретшие, наконец, долгожданные современные обиталища со всеми удобствами, перетаскивали свои вещи в новые помещения. Это было настолько трудно, что почти все они в это время выглядели еще более изнуренными, чем всегда. Многие из них нуждались в помощи и Рихард, конечно, тоже. Он считал, что «Митьки», которые записали его в почетные члены своей группы и которые были молоды и брали своей численностью, непременно ему помогут. Но «Митьки» как-то примолкли. Помогал ему только Ваня Оласюк. Рихард понял, что не сможет перетащить свой станок и решил отдать его кому-нибудь достойному. И тогда дружная фаланга «Мить-

ков» явилась к нему за станком. Знаю только, что они его не получили.

Женя, отличающийся редкой общительностью и столь же редкой способностью временами быть анахоретом, победил недоверие Рихарда, который как-то спросил меня:

— Почему ты с ним дружишь? У него же такие работы... — и он красноречиво замолчал.

— Я дружу не с художником, а с человеком, — отвечала я. И почувствовала себя предателем.

Позже Рихард стал находить достоинства в ряде Жениных работ. Он с удовольствием заходил к нему откушать грибного супчика. Отъявленный грибник, Тыкоцкий осенью не вылезал из лесов. Мне кажется, он облазил все леса Ленинградской области. Собранными грибами он кормил и кормит и посейчас многочисленных друзей на Пушкинской. Было очевидно, что дело не только в супчиках или жареных грибах с картошкой. Рихарду, бесспорно, пришелся по вкусу сам уклад Жениной жизни, его постоянное подтрунивание над собой, обстоятельствами и друзьями, впадавшими временами в уныние. Он тихо сиял, сидя у того за столом, почти ничего не говорил и, как всегда, загадочно улыбался. Ему было хорошо.

После похорон Рихарда я чаще заходила к Жене. Он, как обычно, был на нервном подъеме, гостеприимно принимал очередных гостей, стрекотал с ними. Однажды он обронил:

— Давай выпьем чаю. Я последнее время ни с кем не общаюсь, только с прахом Рихарда.

— Что ты говоришь, Женя, — испугалась я, — у тебя что, урна с прахом Рихарда?

— Ничего у меня нет, не волнуйся, — успокоил он меня.

Но через несколько дней, опять же во время чаепития, кто-то из зашедших художников сказал:

— Женька, давай урну, мы послезавтра едем подхоранивать Рихарда.

Женя снял с окна фигурную красивую вазу, которую я давно заприметила и считала его новым приобретением, и передал в руки пришедшему.

Позже Лена Фигурина, с которой я поделилась своим потрясением, раздумчиво и певуче, с замечательными музы-

кальными модуляциями, как она всегда говорила, когда начинала размышлять, а в ином состоянии я ее просто никогда не видела, произнесла:

— А может быть, это даже и хорошо, что Рихард все это время был с вами. Я думаю, ему это понравилось. Смотри на это так.

Меня всегда мучила мысль: как случилось, что Рихард вот так внезапно умер. Я боялась, что, уйдя от меня в ту пятницу, он не попал на трамвай. Что он, может быть, со своей больной ногой упал и еле добрался до дому. В субботу ко мне приходил Женя Тыкоцкий.

— Почему ты не пришел вчера с Рихардом, когда у меня был замечательный обед? — обиделась я.

— Ипохондрия вчера случилась, просто припадок какой-то, — признался Женя, — картинки мои не двигаются, застрял на мертвой точке. Просто видеть вчера никого не мог, извини.

На другой день, в воскресенье, я уехала в Москву и вернулась в среду утром. А вечером позвонил Валя Громов.

Выяснилось, что с субботы Рихарда никто не видел. И это еще более подстегивало мою рефлексию.

И только летом 2005 года во время моего пребывания в Петербурге кто-то из художников, кажется, Саша Лоцман, сказал мне:

— Ты зря переживаешь. Я разговаривал с Люцианом (скульптор, приехавший из Сибири, которого почти не видели трезвым, проживавший с измученной женой и собакой-боксером на Пушкинской), и он сказал, что в ту субботу Рихард был у него, и они выпивали. Водка это была. Рихард потом стал прощаться и говорит: «Приду домой и приму снотворное, что-то я сплю теперь плохо». Ты ж понимаешь, какая могла быть реакция на такое смешение: водка и какое-то лекарство.

В марте 2006-го Евгений Орлов, главная пружина Пушкинской и единственный гарант ее существования, отвез Люциана в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.

* * *

Я очень много слышала о Рихарде от Саши. Саша боготворил Рихарда, Арефьева, Громова и Шварца. На обсуждении своей выставки в ДК им. Свердлова он прямо назвал Рихарда в числе своих главных учителей, хотя непосредственно они почти не соприкасались. А впервые я увидела Рихарда вскоре после Сашиной смерти. Боря Борщ, который очень нас опекал в то время, завел меня и Аню в кафе на Пушкинскую поесть кашу, которую там очень здорово приготовляли в горшочках. Они сыпали в керамический горшочек крупу, наливали немного молока, добавляли масло, а также изюм. Все это было недорого и очень вкусно. Этого уже давно нет.

— А вон Рихард Васми, — негромко произнес Боря и указал головой в сторону двери. Рихард как раз выходил. Он был в темном берете, удивительно удачно подчеркивающем инакость его облика. Он двигался как бы в коконе своей обособленности и выглядел полностью ушедшим в себя. И, парадоксально, в то же время он казался человеком, к которому можно подойти и попросить о помощи. Мне очень понравилось его лицо. Лицо, как оазис. И тянущая боль души отпустила на время.

Через пару лет, в разгар битвы с подонком Мигдалом, мне позвонил Валентин Громов и предложил встретиться всем, включая Рихарда и Шалю, чтобы обсудить эту ситуацию. Я очень живо помнила Сашино благоговейное отношение к этим художникам и оробела, не решилась на встречу.

И совсем много позже мы столкнулись в воротах Пушкинской, откуда Рихард выходил с коллекционером Николаем Благодатовым.

— Рихард, это Регина Манусова, познакомься, — воскликнул Коля.

— Настоящая? — спросил Рихард.

* * *

— Почему людей, которые уехали из России, тянет обратно? Почему у них не проходит ностальгия? — спросил как-то Рихард.

— А что ты думаешь об этом?

— Я думаю, что вся эта земля пропитана страданием. А страдание притягивает, — ответил он.

Барбара Хазард, наша американская подруга, с удовольствием принимала участие в битвах с Мигдалом. Но в силу характера она действовала мягко и никогда не впадала в неистовство, как наш флагман Айрин Голдман, движущая сила всего мероприятия.

В самом начале мы с Барбарой посетили Рихарда, когда к тому пришел Валя Громов. Мы прошли весь список требуемых работ и потом выпили чаю, Барбара, слегка кокетничая, сказала:

— Мы ведь не можем все помнить. Мы старые женщины.

— Старым можно быть и в двадцать лет, — отрезал Рихард, — здесь дело не в возрасте.

Не могу сказать, что характер Рихарда отличался некоей сахарностью. Отнюдь нет. Рихард был очень четким человеком со своим, таким же четким, кодексом чести, которому следовал неуклонно. И в первых строках этого кодекса числилась верность друзьям.

Насколько я помню, их имена никогда не произносились по отдельности. Всегда звучало: Арефьев, Васми, Шварц и Громов. И здесь же прибавляли — Роальд Мандельштам. Это было глубоко выстраданное нерасторжимое внутреннее единение. Я остро почувствовала это, когда обратилась к Рихарду с просьбой, будучи уверенной в положительном ответе. Многие годы идея Сашиного альбома казалась почти обреченной, и тогда Елена Фигурина предложила мне организовать с ее помощью выставку работ наших художников с тем, чтобы в случае продажи какие-то деньги пошли бы на создание альбома.

Когда мы шли с Пушкинской, и Рихард, как обычно, провожал меня до трамвая, я легко и не сомневаясь в положительном ответе, спросила его об этом, и он немедленно сказал: «Нет». При следующей встрече он, видимо, чувствуя неловкость, объяснил мне причину.

— Ареха нет давно, — сказал он просто, — и Шали уже нет. И о них нет ничего, никаких альбомов. Ты пойми, что я должен сначала этим заняться.

И я его очень поняла.

Однажды в разговоре я мельком упомянула художника Евгения Ухналева. Мы познакомились с Женей и его женой Наташей в Калифорнии, куда они были приглашены на выставку и где получили массу негативных впечатлений.

Как говорил Алек Рапопорт, Женя был честный художник. В устах Алека это, видимо, означало, что звезд с неба Женя не хватал, но по-человечески был ему приятен. Мне казалось, что все намного сложнее. Я очень симпатизировала этой, уже тогда немолодой паре, зная, что Женя отсидел в лагере за политику, а Наташино детство прошло в Киеве военной поры, где ее и брата как-то продержали несколько дней в гестапо за связь их матери с партизанами. Мать немцы расстреляли.

Работы Ухналева были очень популярны на выставках Товарищества. И не только потому, что он мастерски обыгрывал депрессивные черты советского быта. Достаточно вспомнить его знаменитую работу «И так всю жизнь». Его графические листы отображали в основном архитектурные детали Петербурга. Именно детали, а не помпезные строения имперского города. Это были скульптурные рельефы на стенах домов, мимо которых обычно равнодушно скользили люди, темные арки, откуда, казалось, нет выхода; двери, либо наглухо закрытые и хранящие какую-то шершавую тайну, либо полуоткрытые, ведущие в никуда. Мистический подтекст иных работ завораживал зрителя, превращал его в соавтора художника, вызывал желание разгадать особый таинственный язык почти всегда мрачного ненастного города.

В Калифорнии, на выставке в частном доме, кроме прочих работ художника, был выставлен триптих «Вагон», изображающий часть состава, перевозящего заключенных. Художники с почтением сообщали друг другу, что Ухналев отсидел по статье за политику и этой части своей жизни посвящает триптих.

Рихард взвился, услышав фамилию Ухналева.

— Он же негодяй, — вскрикнул он. — Из-за него Гром очень пострадал, у Грома были большие проблемы.

— В чем же дело?

— Этот хмырь после войны решил организовать гитлерюгенд, — с гневной экспрессией продолжал Рихард, — он нашел где-то на улице пистолет, собрал мальчишек, и Гром был среди них, и они постановили создать эту группу. Это сразу после войны, можешь себе представить? А пистолет он зачем-то отдал Грому. Их очень быстро «разоблачили», НКВД работал сама знаешь как. Их всех выявили, было следствие, у Грома были огромные неприятности, его выдворили из СХШ. А Женька сел за пропаганду нацизма. И теперь он изображает себя политзаключенным, мучеником режима. Ничего общего с ним иметь не собираюсь и тебе не советую. Я его презираю, — закончил Рихард.

До сих пор я не слышала от него эмоционального взрыва такой силы. Я растерялась. Вдаваться в детали и задавать вопросы казалось излишним и сложным.

Карьера Евгения Ухналева по выходе из мест заключения оказалась успешной. Он работал главным архитектором Эрмитажа и, став членом Гильдии геральдистов, создал государственный герб Российской Федерации. Руку ему пожимал сам президент Ельцин.

* * *

Временами Рихард почему-то проявлял чисто мужской шовинизм. Мастерскую над ним занимала Наталья Жилина, в прошлом Наташа Найзель, очень красивая, как писал о ней Алек Рапопорт, и тогда же, в прошлом, жена Володи Шагина. Митя Шагин, лидер знаменитых «Митьков» — их сын. Позже Наташа в шутку называла себя матерью «Митьков». Рихард почему-то жаловался, что у Наташи тяжелая походка и, когда она передвигается по мастерской, у него трясется потолок. Наташа, когда я ее узнала, все еще была красивой женщиной, с волосами цвета бронзы, но погрузневшая с возрастом. Мы не были близко знакомы, только иногда разговаривали по телефону. Однажды она сказала мне с горечью:

— У меня была выставка в «Борее» (галерея на Литейном проспекте). Я шла к себе в мастерскую и у парадной встретила Рихарда, говорю ему: «Приходи завтра на выставку, я тебя приглашаю». И вы знаете, Регина, — голос ее задрожал в этот момент, — представляете, что такое персональная выставка для художника, а он мне говорит: «Стану я всякую женскую чушь смотреть». Повернулся и пошел.

Однажды мы сидели у Рихарда в его последней мастерской с Дженет Кеннеди. Меня часто спрашивают, не является ли эта прекрасная женщина родственницей Джона Кеннеди. Спрашивают с такой надеждой, что мне становится жалко их огорчать. Но приходится. Дженет — большой специалист в искусстве Серебряного века, заведующая кафедрой искусствоведения в университете штата Индиана (город Блумингтон), где мы и познакомились. Это квинтэссенция подлинной леди. Рядом с ней часто становится стыдно за свои манеры и иногда даже за внешний облик. Если бы Дженет об этом узнала, она бы пришла в невероятный ужас, потому что больше всего на свете она боится кого-либо огорчить. Высокая и стройная, она следит за своей диетой и часто носит с собой пакетики травяного чая без кофеина.

В тот раз у Рихарда происходила обычная чайная церемония. Он щедро насыпал в потертые кружки самый дешевый черный чай, заливал его кипятком и закрывал выщербленными блюдцами. К моему изумлению, Дженет не вынула из сумки заветный пакетик. Она завороженно следила за руками Рихарда, видимо, осознав глубинный смысл всей этой процедуры. Она послушно съела кусок батончика с маком и, обжигаясь, выпила сладкий чай.

Потом Рихард начал показ своих работ. Он приносил, слегка подхрамывая, свои картоны и ставил их на пол, к стене. Дженет очень захотелось купить один из его пейзажей. Но проблема была в том, что она уезжала через пару дней, а работу следовало оформить в комиссии по вывозу культурных ценностей. Я предлагала свою помощь. Но Рихард, со всегдашней своей загадочной улыбкой, сказал: «В другой раз».

Теперь почти все оставшиеся работы Рихарда недосягаемы. Они были отданы его двоюродной сестре, которая на похоронах успела произнести свою речь до Миши Иванова. Она сказала, что Рихард очень любил бывать у нее (она жила где-то в пригороде и у нее был маленький огород, но выглядела она вполне городской ухоженной женщиной). Улыбаясь, она ясным голоском рассказывала у закрытого гроба, как Рихард, бывало, вставал перед ней на колени и говорил, что хотел бы умереть возле вот этих самых ее колен. Я слышала, что она очень дорого просит за работы Рихарда. Но это все слухи и сплетни. И я им хорошо знаю цену.

А на колени перед красивыми молодыми женщинами Рихард временами становился даже в присутственных местах. Он был очень артистичен. Artist на английском означает «художник».

Переживший любимых друзей, сохранивший им верность и не потерявший дара человеческого. Светло и грустно вспоминать о Рихарде с его мудростью ребенка и бескомпромиссностью бойца.

Попытка анализа или оценки его работ для меня невозможна. Играть словами и объяснять живопись — все равно что объяснять музыку. Это удел профессионально обученных искусствоведов. Хотя, как мне известно, многие художники относятся к ним весьма скептически. Думаю, что в стихах Роальда Мандельштама найдется не одна пара строк, провидческой вспышкой осветивших борения одинокого и величественного духа художника-творца, трагическую судьбу и нежность этих детей подземелья — добровольных изгоев советского режима.

Николай Благодатов завершил свой некролог памяти Рихарда словами: «Когда-нибудь мы будем гордиться тем, что жили с ним в одном городе».

Дай Бог, чтобы это сбылось хотя бы отчасти в наше время всеобщего нелюбопытства и тотального забвения.

1999 г.

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

Александр Гуревич

Когда звонил Саша Гуревич, то Саша Манусов всегда мне подмигивал:

— Твоя подружка звонит.

Мы и были подружки. Очень приятно было с ним похохотать над ситуациями. Юмор его был глуховатый, но меткий, такой доверительный.

Саша Манусов любил говорить:

— Вот Гуревич свой длинный нос повесил.

Нос-то он вешал постоянно, но ситуации зощенковские примечал этим носом мгновенно и тут же припечатывал комментариями. А потом и картинками.

Когда мы все втроем были по приглашению в Калифорнии, он по утрам таинственно исчезал. Возвращался просветленный. Потом оказалось, что он тайно посещал комиссионный магазин, где покупал всякие предметы одежды жене и детям. Нам ничего не показывал и ничего не говорил. Может быть, боялся конкуренции. Мы жили тогда в светской деревушке Милл Валли, где коротали свой век зажиточные американские пенсионеры. Местечко это казалось нам, на секунду выпрыгнувшим из советского бытия, подобием Эдема — климат, вопиющая красота вокруг и крохотные магазинчики, усеявшие главную улицу. Однажды, к концу нашего пребывания в Милл Валли, я забрела в этот самый магазинчик и была поражена обилием и качеством практически новых товаров и милосердными ценами. В ажитации разглядывала я этот шмоточный репертуар, когда из-за стойки, задрапированной исключительно джинсами, высунулась сияющая физиономия продавца.

— Наконец-то вы появились, рад с вами познакомиться... А ваш муж каждое утро сюда прибегает, он много чего купил, надеюсь, вам подошло, это прекрасный товар. Люди отдают совершенно новые вещи, — тараторил он, радуясь возможности хоть с кем-то пообщаться.

Однажды Гуревич воссел на велосипед и поехал в час пик по скоростному шоссе в соседний городок Сан-Рафаэль, где была распродажа кроссовок. Вернулся целый и невредимый и опять в просветлении. Однако радостью с нами не поделился, кроссовки не предъявил. Мы слабо удивлялись, но хорошо понимали его снабженческий энтузиазм, так как это был всего лишь конец 1989-го, одного из самых тощих годов России. Мы тоже запасались подарками родным и друзьям и каждый вечер с ликованием туземцев, перебирающих цветные камешки, демонстрировали их Гуревичу.

А на тему картинок помню вот что. Из Калифорнии он уехал первый. Прилетел в Нью-Йорк к нашим друзьям.

— Он, когда меня встретил в аэропорту, — глуховато зудел Гуревич уже в Питере, — сразу говорит:

— Снимай ботинки!

— Зачем?

— Деньги есть?

— Ну есть.

— Ты должен срочно положить их в ботинки, это единственное место, где не украдут.

Не помню, чем это закончилось, скорее всего, Саша, привыкший к массовому послушанию, выполнил приказ.

Позже мы провели какое-то время у этих людей. В Ленинграде они слыли эстетами. Жена была врач-хирург, а длинный высоколобый муж, племянник знаменитого философа Якова Голосовкера, скорбными своими перстами музицировал на рояле и писал изысканные стихи. Иногда подрабатывал уроками музыки. Они жили в еврейском хасидском районе Нью-Йорка, где по улицам проходили безулыбчатые молодые женщины в париках в сопровождении мужей, каждый как фундамент их добротного, без фантазий, дома. Тенями скользили грустные юноши с пейсами, печальной хрупкостью своей оттенявшие эту фундаментальность. Кругом было много еврейских лавок. Позже я прочла несколько произведений Исаака Зингера и поняла, что познакомились мы с отличной имитацией еврейского местечка в масштабе Нью-Йорка. Вроде как мелодию Тевье-молочника бравурно переиначил Ференц Лист.

Друзья же наши жили в многоквартирном доме, в так называемой студии, состоящей из комнаты и большого пространства, включающего кухню. Они учили английский, и всюду были развешены таблички с английскими словами. Ринулись они в эту новую жизнь с восторгом неофитов. Им все нравилось. В первый же вечер нашего приезда хозяин, пританцовывая, вытащил из холодильника бутылку пива и пачку сосисок. Выхватив одну из них, он вонзил в нее клыки и щедро глотнул из бутылки. Он хотел доказать нам, что в Америке не голодают.

Они пребывали в хроническом ожидании грабителей. Денежные купюры, спрятанные в тайниках студии, подмигивали время от времени зеленоватым свечением из своих незамысловатых убежищ — карнизов, люстры, складок кухонных занавесок.

Из Нью-Йорка мы везли кучу предметов одежды для их сына, оставшегося в Ленинграде.

Это грустная история подвигла Гуревича на создание саркастического полотна «Эмигранты». Сарказм автора разъедала тоска. Две сутулые плоскостные фигуры томились в стенах, обклеенных табличками с английскими словами.

Николай Благодатов в обширной статье к альбому Гуревича почему-то истрактовал название работы «Эмигранты» по-своему. Может быть, слово «refugees» (беженцы), начертанное по центру работы наверху, осталось им незамеченным. Хотя и без этого добавления понятие «эмигранты» толкуется однозначно. Николай сочувственно описал тяжелый быт людей, которым власти не разрешали выехать из страны и которые жили «в напряженном ожидании и изоляции» в полупустой квартире, потому что вся мебель была распродана. «Они остались в пустой клетушке, где главная ценность — унитаз... Последний крик художника — „Отпусти!“ — решен в теплых тонах надежды», — пишет сердобольный Николай.

Вскоре после поездки в Америку Саша решил уехать с семьей в Израиль. Из-за сына, которому светила армия. Мы посетили его с Женей Тыкоцким накануне отъезда. Жил он у черта на рогах, на проспекте, кажется, то ли Ударников, то ли Стахановцев. А может, Энтузиастов. Местность эту,

утыканную клонами домов-коробок, народ прозвал «районом Дураков». Это было грустное расставание. Он проводил нас до трамвая и, сгорбившись, побрел в темноту. Он не оглянулся. Фигура его сразу всосалась в окружающую муть.

— Тяжело будет Сашке, — сказал Женя, как обычно удивляя и успокаивая очень ясными интонациями. Мне всегда казалось, что под его голос хорошо медитировать. — А как ты думаешь, он поменяется?

— В каком смысле? Как личность? Или в картинках?

— Ты знаешь, мне кажется, что это вопросы одного порядка, — говорил Женя, погружаясь на сиденье причалившего, наконец, к кольцу пустого трамвая. — Ты не будешь отрицать, что картинки в большой степени — это автобиография души художника. Надеюсь, Сашке не придется слишком уж тяжело в другой жизни.

Отношения наши с Гуревичем разладились, когда художники начали процесс против негодяя, который увез их работы на выставку в Америку, а потом решил их не отдавать. Питерских художников было много, они подали коллективный иск в американский суд. Начались длинные проволочки с подготовкой судебного процесса. Солидная адвокатская фирма в Сан-Франциско согласилась бесплатно помочь художникам. Нужны были заполненные анкеты и ряд письменных подтверждений на тему негодяйской деятельности укравшего работы. Кстати, это был когда-то житель Ленинграда.

Негодяй приехал в Израиль к отделенному от друзей Гуревичу и убедил, уговорил его выключиться из процесса. Негодяй был богат (а сейчас еще богаче), а Гуревич проходил непростые времена внедрения в новую жизнь. Я была доверенным лицом художников и в обиде написала ему нелицеприятное письмо. Правда, всячески извиваясь и стараясь не очень его ударить. Но, оказалось, ударила. Он вернул мне посланную ему книгу стихов Роальда Мандельштама, которую с родительской любовью к сгинувшему другу выпустил Рихард Васми, со словами, что после такого письма вынужден вернуть мне эту прекрасную книгу.

На этом наш союз подружек распался. Когда же негодяю пришлось вернуть художникам большую часть укра-

денных картин, Гуревич позвонил в Питер и осведомился, может ли он тоже получить свои работы.

В Питере пошли плохие времена для художников. Зарезали в собственной комнате Владимира Гооса, повесился в саду у Смольного Вадим Богомолов, Юру Гурова нашли мертвым на шоссе у города Себеж Псковской области. А он только что приехал из Парижа на свою выставку в Музей этнографии. Немного раньше повесился тоже приехавший из Парижа Евгений Горюнов. Знатный пейзажист нашего города Боря Борщ пришел к Тыкоцкому после похорон Гооса растерянный:

— Не пей, не пей Бог знает где и с кем, — выговаривал Женя Бориньке. — Сейчас столько бесовщины.

Мы ничего не слышали о Саше, пока моя подруга не сказала мне, что она приглашена на выставку Гуревича в «Невский Палас». Этот отель, ставший первой ласточкой среди стаи других отелей, заполонивших ныне Петербург, расположен на Невском проспекте. Какая-то иностранная фирма долго мудрила с переустройством дома вблизи Литейного проспекта и добилась успеха. Через несколько лет два дома, обрамлявшие «Невский Палас», стали обваливаться и впали в зону хронического ремонта. Невский проспект на годы оказался изуродованным заборами и сетками. Но это позже, а пока бывшие ленинградцы, ныне петербуржцы, ходили около дома экскурсантами. Не все осмеливались войти внутрь, поскольку у парадного подъезда расхаживал дородный швейцар с цепким взглядом. Внутри были первые бутики, дырка для доставания валютных денег иностранцами, шикарное кафе и картинная галерея.

Галерея называлась «Анна». Хозяйка ее, тоже Анна — Анна Исааковна — Анна Исаевна и, наконец, в в процессе эволюции своего имени успешно мимикрировавшая до Анны Ивановны, когда-то была маникюршей в доме отдыха при горисполкоме. Муж ее, Роберт, врач-гинеколог, видимо, армянского происхождения, работал в Институте усовершенствования врачей (ГИДУВ). Мать Анны была педикюрша по

профессии. Как упомянул однажды Гуревич, она делала педикюр его матери.

Когда понесло озоном перестройки, Анна тут же открыла художественную галерею на улице Плеханова. Наверняка среди ее номенклатурных клиенток была Валентина Матвиенко, Нерон женского пола в костюмах от Версаче. Будущая разрушительница города до того подвизалась в Управлении культуры. Она окопалась в Мариинском дворце еще при Ходыреве, последнем председателе ленинградского исполкома. В короткую эпоху административного уныния всей абсолютно номенклатуры ей устроили избрание в Верховный Совет от женских организаций, после чего назначили послом на Мальту, где она пересидела мрачное время.

В 1988 году в Манеже прошла первая совместная выставка художников — членов Союза и неформалов. Затюканные прежде художники удостоились неслыханного внимания прессы и телевидения. Над их мастерскими завис рой шустрых продавцов искусства. Это были первопроходцы. Следом ринулась орда профессиональных искусствоведов.

Анна заметалась по залам Манежной выставки со списком наиболее весомых художников. Увы, но списки по ее просьбе были составлены Сашей Манусовым.

— Вы кто, Михайлов? — кричала она степенному розовощекому интеллектуалу Володе Михайлову, — вы у меня в списке.

Наскок этот кончился тем, что она набрала кучу достойных работ, наняла искусствоведов и начала управлять культурой на уровне первого этажа дома на улице Плеханова.

Я посетила этот очаг культуры, когда Саша Манусов, находящийся на лечении в Литве, попросил меня забрать у Анны все его работы.

— Прости, — грустно извинялся он, — я знаю, каково это — искать машину и все прочее. Только я места себе не нахожу, пока они там.

Я позвонила в запертую дверь, которая нескоро и неохотно растворилась, с особым удовольствием. Открылась дверь лишь на цепочку и в образовавшуюся щель просуну-

лась женская физиономия. Голова дамы была утыкана бигудями. Она походила на принарядившегося хорька. Почему-то вспомнилась старуха-процентщица, когда-то проживавшая в этих краях.

Это и была Анна. Мне показалось, что я попала на овощной склад, где одним из грузчиков подвизался Саша Гуревич с красноречиво повисшим носом. Лихорадочный поиск Сашиных работ длился не менее получаса. Анна покрикивала, безгласный Гуревич, найдя, наконец, работы, повлек их за компанию со своим буратинным носом к выходу, помог занести в машину и исчез за дверьми с цепочкой.

* * *

Анна устроила Гуревичу мастерскую в доме на Казначейской улице, в самом сердце Петербурга «униженных и оскорбленных». Сонм бедолаг, призраки Макара Девушкина, Неточки Незвановой, Варвары Ивановны, Сонечки Мармеладовой и других навечно впечатались в стены домов и уродливые дворы-колодцы. Неподалеку исходила шумом торговли бессмертная Сенная площадь.

Вход в мастерскую был со двора. Лестница была крутая, с короткими пролетами, к концу восхождения вдруг взрывавшаяся винтовой крутизной. Взбираясь по ней, посетители словно втыкали в небо остатки здоровья. Соседом Гуревича оказался художник Володя Духовлинов, создатель многозначительных и пасмурных по колориту полотен. Его симпатичная физиономия тоже была пасмурной в тон работам.

Анна временами врывалась к ним, выхватывала лучшие работы, возила их по заграницам, что-то не возвращала, за какие-то, явно проданные работы, деньги не отдавала. Художники не роптали. Мастерская в центре взывала к смирению.

Саша являлся в мастерскую с бухгалтерской педантичностью — каждое утро в одно и то же время. Он не работал запойно, в нечаянном озарении, а кропотливо двигался собственной колеей. Он увлекался реминисценциями знаменитых работ, полностью повторяя их композицию. Он расчерчивал временами предметы изображения на квадратики

и долго, вдумчиво покрывал их краской. Работы его смотрелись виртуозно закрашенной графикой. До сих пор меня преследует видение — ноги Иосифа, одного из героев Библии, торчащие из бочки. Смотрелось сооружение бочкой, но это был колодец, куда Иосифа запихнули завистливые братья. Размер работы был основательным, и ноги бедолаги поражали длиной и совершенством, как у голливудского актера. Потом на них появилась сеть аккуратных мелких квадратиков и уже потом один за другим квадратики неспешно закрашивались.

Как-то я зашла у нему в мастерскую до его перерыва на обед. На столе перед ним лежала маленькая открытка с репродукцией работы Рембрандта «В операционной», а на мольберте высилось большое полотно с тщательно перерисованной работой. Все было как в первоисточнике, только рембрандтовские персонажи обрели физиономии знакомых художников.

— Ой, что это? — растерялась я, — ты копируешь Рембрандта?

— Я сдираю, — усмехнулся Гуревич, — ты что, не знаешь, что я все сдираю?

Он истово любил клочок города, где находилась мастерская. Совсем рядом, в угловом, выпирающем к набережной треугольным остовом, доме когда-то жили его родители.

Друзья задумались, когда Гуревич решил уезжать. Причина отъезда — сын Миша, кудрявый и хрупкий юноша — ехать никак не хотел. Родители были непреклонны. Отрока, словно списанного с одного из фаюмских портретов, нельзя было и на шаг подпускать к армии с ее расцветшей дедовщиной. Сын художника Володи Михайлова Петя, высоченный детина, пробыв в армии два года (а часть его дислоцировалась в ближайших окрестностях Ленинграда), вернувшись домой, заболел рассеянным склерозом.

— Сашка, но его ведь и в Израиле призовут, — рассуждал Женя Тыкоцкий. — Там даже девушек призывают.

— Да, но он будет защищать там родину, — туманно отвечал Гуревич.

Он усердно изучал иврит, готовил бумаги и часто заскакивал в мастерскую Тыкоцкого. Если Жени не было, пришпиливал к дверям бумажку с реляцией: «I have been here».

Прозревшая за неделю до его отъезда разъяренная Анна позвонила ему:

— Ты нищий-попрошайка, — вопила она, — твое место в канаве! Я тебя вытащила из нищеты, из грязи... Ты бы сейчас с протянутой рукой у метро стоял. Вот она, твоя благодарность!

— Ты сказал ей что-нибудь в ответ? — поинтересовалась я.

— А что я мог ей сказать? Ничего, — пожал плечами Гуревич и снова повесил свой длинный нос, став окончательно похожим на ослика Иа-Иа из книжки о Винни-Пухе.

* * *

К моменту выставки Гуревича в «Невском Паласе», летом 1998 года, я начала подбирать материал к Сашиному альбому. Все было в туманной перспективе, так как денег на издание попросту не существовало. Но скопился ряд вопросов о квартирных выставках 70-х годов, о которых у меня не было внятной информации. Я написала письмо главарю группы «Алеф» Евгению Абезгаузу, не сомневаясь, что бывшая подружка моя, Саша Гуревич, передаст письмо по назначению.

Как уже упоминалось, это были, несмотря на воцарившуюся на миг духовную свободу, тощие времена. Ни продуктов в магазинах, ни зарплат большинству служащих не существовало. Люди продолжали покорно ходить на работу, не получая за это ничего. Иногда им выдавали для реализации продукцию их предприятий. Например, термосы или чайники. Имелось в виду, что это можно будет продать и потом кормить семью. Наступило царство челночников — прытких и не совсем людей, устремившихся за рубеж покупать там многочисленный дефицит, чтобы сбывать его затем на рынках и возле станций метро.

Это были времена, когда само вхождение в роскошь «Невского Паласа» казалось неоправданной привилегией.

Помещение галереи было небольшим. Налево, в глубине, находились работы Гуревича, а сам он, полыхая кирпичным румянцем, с бокалом желтого, по-цыплячьи, апельсинового сока сидел поодаль в кольце хорошо одетых представительных мужчин. Это были корреспонденты ИТАР-ТАСС. Один из них держал в руке микрофон.

— Что такое русская тоска? — спросил он.

— Такого понятия нет, его выдумали, — звенящим голосом отвечал Гуревич, — у тоски нет понятия национальности.

— Сашка, а что ты так кричишь? — осведомился Леня Болмат, единственный оставшийся в городе член группы «Алеф». Манеры балованного ребенка сопутствовали ему всегда.

— Я кричу, потому что волнуюсь, — еще громче сказал несчастный Гуревич, против воли вживляя децибелы в свой и без того уже громкий и ломкий голос.

Интервью заканчивалось. В центре зала вышколенные девочки устанавливали столы с закусками и бутербродами. Это было гипнотизирующее зрелище. Напитки они уже разместили в стороне.

Гости прибывали. Появилась Лена Фигурина со своим мужем Валей Герасименко. Она была в элегантном брючном костюме черного цвета. Хрупкая внешне, со страдальческим лицом славянской мадонны, она сейчас приближалась к пику своей известности. Стоило взглянуть на ее работы, чтобы понять: хрупкость эта обманчива. Все смятение ее души, боль прежней и нынешней жизни, выплескивалось на полотно. От ее экспрессионистских работ било сочувствием ко всем страдающим тварям земным — людям, птицам, рыбам, коровам... Сила их была в контрасте — обманчиво «жизнерадостные» цветовые сочетания в трагических по замыслу и его воплощению произведениях. Ей сопутствовал коммерческий успех и ее появление в галерее Анны не удивляло.

Постепенно подтягивались остальные приглашенные. Вошла чета Ухналевых. Грубоватый Женя, словно стесанный резцом незадачливого скульптора, и миниатюрная утонченная Наташа.

По залу бродил, щелкая затвором фотоаппарата, Володя Пешков, сделавший за недавнее время массу снимков художников-неофициалов. Попутно он собирал коллекцию работ наиболее известных из них.

Здесь не было и не могло быть одного из ближайших друзей Гуревича — Жени Тыкоцкого. Накануне вечером я заглянула к Жене в мастерскую.

— Ты идешь завтра в «Невский Палас»? — спросила я.

— Нет, — ответил Женя.

— Почему? — поразилась я.

— Помнишь, я тебе вопрос поставил накануне Сашкиного отъезда? Поменяется он или нет? Мы тогда решили, что нет, не может он поменяться. Оказывается, мы ошибались, — раздумчиво, без горечи, а просто констатируя факт, ответил Женя.

— Да что случилось?

Оказалось, Гуревич в этот день утром на пять минут заскочил к нему в мастерскую.

— Ну, Сашка, когда пьем завтра, в какое время? — радовался встрече Женя, заваривая кофе.

Гуревич, сгорбившись, сидел за столом.

— Там будут денежные тузы, — сказал он, — и всякие деловые люди — тебе это будет неинтересно.

— Ну и что, Сашка? При чем здесь денежные тузы? Я же, Сашка, принц крови. Я — Тыкоцкий, — кричал, токовал в экстазе Женя. — Я приду, передо мной все расступятся. При чем тут эти бизнесмены, когда сам Тыкоцкий придет?

— Но у тебя же нет фрака, — неловко прихихикивая, сказал Гуревич.

Женя осмотрел свой поношенный опрятный свитер. Он не стал отвечать.

Несколько лет назад он скопом продал в Канаду много работ, получив за это хорошие деньги. Однажды он появился в дверях моей квартиры и вынул из кармана конверт.

— Ты одна из моих самых любимых, — сказал он категорично, — здесь деньги. Я хорошо продал работы и получил хорошую денежку. Всем моим лучшим друзьям хочу как-то помочь. И не вздумай отказываться! Я на всю жизнь обижусь. Я уже отнес кое-что Бэллке, Ванечке и Аслану.

Меня всегда поражали отношения между художниками. То, что скрывалось в тени громких вернисажей. Большие художники, светочи духа, душа мира, как говорила одна женщина в Калифорнии, были переплетены странными оттенками взаимоотношений. Я же любила их всех, и, каждый раз встречая скрытую неприязнь по отношению к товарищам по цеху, горестно недоумевала.

Гуревич что-то имел против Лены Фигуриной и Вали. Однажды он показал мне работу — шарж, где мужичонка (Валентин) держит за рога коровенку с грустным ликом и глазами Лены.

В «Невский Палас» он пригласил их сразу же по приезде.

* * *

Пожав руки журналистам, Гуревич, наконец, вышел к гостям. Напряженность его не истаивала. Некомфортность ситуации терзала его, встреча с любимым городом прибавляла душевной горечи. Отретушированным, излишне ровным голосом он поздоровался со мной, постоял рядом, пока я рассматривала работы, тем же ровным голосом ответил на все вопросы, несколько запальчивее на вопрос, за какой срок он все это сделал. Срок был минимальным.

Работ на выставке было много. Все новые. Вроде бы исчезла излишняя напряженность и перегруженность. Они прояснели, посветлели, прежняя тьма исчезла. Но и еще что-то исчезло. Как будто прежний сильный ровный прежде пульс стал вялым и тихим. Темы оставались старыми — питерскими и библейскими: Гоголь в Палестине, Пушкин и Бродский соседствовали с Иаковом и Юдифью.

В помещение вошла пара — маленькая женщина и длинный томный мужчина. Когда женщина засуетилась, стало понятно, что это хозяйка галереи с супругом-гинекологом. Она зорко оглядела присутствующих и, завидев посторонних, попросила их покинуть выставку.

— Надо выпить за хозяйку, — сказал оживившийся Леня Болмат.

Низкорослый, в форме прямоугольника, он обычно походил на свои юморные фигурки, сделанные в мелкой фарфоровой пластике, а сегодня почему-то поражал сходством с залежавшейся ватрушкой. Пару дней назад он уныло объяснял мне по телефону, что ездит покупать кефир к метро «Ладожская», где он стоит не четыре рубля, как везде, а три рубля пятьдесят копеек.

— Да-да, надо выпить, — поддержали его присутствующие.

— За хозяйку дома, — повторил Болмат. — Спасибо вам, что дали нам возможность повидать Сашку, поддержали его.

Анне поднесли бокал и она милостиво глотнула.

— Леночка, — ласково воззвала она к Фигуриной и уселась рядом с ней на диван, — ты такая умница, была на последней презентации так долго, до самого конца, никуда не ушла. Какая ты молодец!

— А вы почему не были? — обратилась она к Ухналеву.

— Так вы нас не пригласили, — отвечал бесстрашный Ухналев. — Вы еды пожалели.

Вошла группа милых стеснительных людей с детьми, инженерные друзья Гуревича.

Фотограф Володя Пешков с разгоревшимся лицом, держа в одной руке тарелку, в другой рюмку, объяснял Гуревичу, как тот преуспел в искусстве живописи. Закончив, он ринулся к столу. Девочки безотказно налили ему водки и принесли еще тарелку круглых бутербродиков с икрой и ветчиной.

Президент товарищества «Свободная культура» Сергей Ковальский мрачно раскланялся с галерейщицей. Накануне он пил всю ночь. Он покачивался и был похож на временно усмиренного льва.

Анна на диване почти прильнула к Лене Фигуриной.

— Саша как-то изменился, — глубоким своим голосом сказала Лена. Она тяготилась сборищами и на вернисажах лицо ее принимало мученическое выражение, говорить ей явно не хотелось.

— Сашка-то? Изменился? — подпрыгнула Анна. — Да ничего подобного. Точно такой, как всегда.

Внезапная мысль озарила ее.

— Девочки, — крикнула она и гулко щелкнула над головой перстами, — откройте шампанское.

В тот же миг, дважды, точно после каждого щелчка, хлопнули пробки шампанского.

— Давайте выпьем, — вскричала Анна во внезапном озарении. — Выпьем шампанского за Сашу, а Леночке Фигуриной, — нежно заключила она, — налейте апельсинового сока. Все, все идите к столу, — продолжала она, подгоняя гостей порывистыми жестами.

Гости образовали у стола плотную тугую массу.

* * *

Я вышла в настежь открытую дверь галереи. Сквозь полузавешенные окна толпа у невидимого стола казалась исполинской молекулой.

В стороне от нее Саша Гуревич разговаривал со своими инженерными друзьями. Лицо его светилось и было детским, нежно растерянным.

На Невский идти не хотелось и я, толкнув импозантную дверь с противоположной стороны, вышла на тихую Стремянную улицу. Было еще достаточно светло. Трамвайные пути застенчиво мерцали в узком уличном пространстве. По ним наперерез мне брели две знакомые мужские фигуры. Одна приземистая, с головой, вдавленной в широкие покатые плечи. Вторая — высокая, в распахнутой куртке. Этот второй казался летящим принцем даже при тяжелой сумке, пытавшейся пригвоздить его к земле. Это были Вадим Воинов и Женя Тыкоцкий. В их сумках тусклым звоном переговаривались бутылки с пивом.

— А я с выставки Гуревича, — завиноватилась я. — Женечка, прости его, дурака, это не его идея с фраками, я уверена, что это его Анна заставила.

— Да ладно тебе, — безразлично махнул свободной рукой Женя, — лучше пошли с нами на Пушкинскую. Мы выставку Игорька Иванова отмечаем. В редакции журнала «Нева» сегодня открылась. Вот такая выставка, гениальная...

* * *

Когда-то армянский художник Раффи Адалян, по совместительству первая скрипка симфонического оркестра в Ереване, объяснял, что должен сделать истинный художник. Оказывается, он должен взорвать в себе бомбу.

— Большинство художников рисует всю жизнь заросший луг. Все время он рисует цветы, а рядом заросший луг. Уже и жизнь его заканчивается, а на полотне все тот же заросший луг. Каждый художник имеет свой заросший луг. Он должен от него освободиться, иначе он зря жил, он ничего не сделал. Чтобы быть настоящим творцом, надо взорвать в себе бомбу.

— У тебя есть жена, забудь про нее, иди работай, — торжественно вещал художник. — Есть дети, забудь о них, взорви в себе эту бомбу, уйди целиком в творчество, в свой холст, и тогда ты создашь великое искусство.

Как человек, наделенный абсолютным музыкальным слухом, он говорил по-русски без малейшего акцента, солируя в общей беседе и завораживая собеседников контрастом между резкой своей внешностью кавказского воина и плавностью интонаций.

Я знала ряд художников, взорвавших в себе эту бомбу. Художников, менявших подруг, жен, забывших своих детей. Те, которых я знала, не создали великое искусство.

Саша Гуревич всегда был отменным семьянином. Привлекательный, хорошего роста, склонный к спорту, он поклонялся своей семье — супруге Жене и детям — Кате и Мише. На семейные темы у него создана целая иконография. Я помню некоторые из этих работ — «Бегство в Египет», где гонимое семейство на ослике перебирается в безопасные края, «На даче», где опоэтизирована чудовищная сага на тему вывоза ленинградских чад в дачное место. В них столько любви и нежности.

Сложным работам Саши Гуревича, которые приходилось читать как книгу, разгадывая ее отдельные дробленые мельчайшие частички, я предпочитала другие — те, где мало

персонажей, такие, как «Первое мая в Тосно» и отважная «Тризна». Последняя справедливо находится в Русском музее в Петербурге. На этих работах изображены три художника, работавших в художественных мастерских города Тосно Ленинградской области — уже упоминавшиеся Владимир Духовлинов, Валентин Герасименко и сам автор, Александр Гуревич.

Малонаселенными по композиции являются также варианты работ «Сусанна и старцы» и пугающая «Поэт Б.», посвященная Бродскому, где над погруженным в чтение титаном (поэт лежит на кушетке) склоняется злобной Валькирией Марина Цветаева. Если всмотреться, лицо женщины как бы выражает заботу и сочувствие, но в силу резких его черт и ярко-красного пятна одеяния выглядит она зловеще. Композиция скрупулезно списана с работы французского художника Латура «Святая Ирина посещает святого Себастьяна». Эти работы — уже другое творческое измерение. Есть, насколько я знаю, несколько вариантов каждой из них. В любви к ним признаться трудно. Так же как и к тем работам, где вкраплены портреты их потенциальных покупателей.

Впервые работу «Сусанна и старцы» он сделал при нас с Сашей Манусовым, когда мы все трое были в Калифорнии и они работали в огромном здании заброшенного ресторана в дорогом приокеанском местечке (Strawberry village).Тогда-то я впервые увидела стыдливую Сусанну и похотливых неприятных стариков, на нее таращившихся. Сан-францисская галерейщица русского происхождения заключила с Гуревичем договор о продаже этой работы.

Пребывание в Калифорнии было ограничено одним месяцем. Гуревич уезжал раньше нас. Вечером накануне его отъезда в домик ворвалась знакомая американка в состоянии почти наркотического возбуждения. Отвергнув предложенный ей стул, она выпалила, что хочет купить «Сусанну», сейчас же, немедленно, и что деньги у нее с собой. Момент колебаний длился недолго. Дама уехала с работой.

— Саша, еще есть время, позвони Соне и объясни, что произошло, ведь у вас подписан контракт, — попросила я его.

— Лучше ты ей сама все объясни, — великодушно предложил Гуревич.

Ранним утром он исчез.

Моя беседа с Соней, если с невероятной натяжкой можно окрестить этот поток вулканической лавы беседой, длилась больше вечности. А на самом деле минут пятнадцать.

— Вы все нищие, — визжала Соня. — Я могу засудить его так, что он никогда со мной не расплатится. Его место среди подонков. Да, только подонок мог так подло поступить. И все русские художники, которые приезжают сюда, в цивилизованную страну, ничего не понимают со своим вонючим комплексом величия и наплевательством на других людей. Они все «гении»!.. А на самом деле они нечистоплотные вороватые маньяки. Я бы их вообще не пускала в страну, где живут порядочные люди и все основано на законе.

Какая восхитительная гармония русских галерейщиц!

Уже века прошли с той последней встречи в галерее «Анна».

И что-то саднит в душе, когда думаешь об этом, что-то такое шероховатое и неизлечимое. Это не зубная боль в сердце, как у Гейне, и, если обратиться к стоматологической терминологии, то это что-то вроде незалеченного и незначительного кариеса. Поноет и пройдет.

Или, скорее, обидные грамматические ошибки в уже опубликованном тексте.

Которые уже не исправишь.

2010 г.

ЖИВЕТ ПЕВЧИЙ ДРОЗД

Евгений Тыкоцкий

— Когда у меня еще были волосы, — рассказывал Женя Тыкоцкий, — по всей Москве сновали реанимационные машины. Женщины пачками падали в обморок.

Это заблуждение. Время показало, что волосы здесь ни при чем. Завоеванные им сердца лиц обоего пола уже некуда складировать. А волос при нем давно нет. Просто Женя совсем нездешний человек.

Я знала двух его последних жен и с третьей от конца говорила как-то по телефону. Третья от конца была художницей. Мастерская ее находилась в проулках недалеко от метро «Горьковская». Женя обосновался там на какое-то время.

Потом брак закончился и у Жени появилась мастерская на Васильевском, в одном из старых, прильнувших к земле одноэтажных домов-бараков.

Мы приходили туда с Сашей и всегда обнаруживали внутри изрядную компанию. В основном это были художники. Однажды в дверь постучали два прилично одетых человека с особой выправкой и представились писателями. Они скромненько сидели за столом, в разговоре почти не участвовали.

— Ребята, — обратился к ним Женя, — вот вы как писатели, что вы можете сказать о Толкиене? Как вы считаете, Мордор уже наступил на этой части суши или еще пока грядет?

Писатели удивились.

— Кто, — спросили они дуэтом, — кто наступил? Как фамилия, простите, не расслышали.

Больше они не появлялись.

Предпоследней женой была красавица Марина с аристократической фамилией Бонч-Осмоловская. Она выглядела мадонной. Но с железным каркасом. Или, как говорил Хемингуэй об одной из своих любовей, с примесью стали.

Она явилась в мастерскую на Васильевском на пике известности Жени как художника, можно сказать, даже на острие популярности. Было это после одной из наиболее нашумевших выставок ТЭИИ.

— Вы Тыкоцкий? — спросила она, когда Женя открыл дверь мастерской. — Я пришла с вами познакомиться.

— На следующий день, — с энтузиазмом повествовал он, — я собрал чемодан и переехал к Маринке, благо она жила недалеко, тут же, на Васильевском.

У Марины была дочка Даша и собака, спаниель по кличке Гувер, которого Женя нарек просто Гушкой.

Мы несколько раз посещали Женю в огромной комнате огромной же коммунальной квартиры. Там было так же людно и комфортно, как и в его мастерской. Однажды туда забрел посмотреть работы актер кино и московский житель Олег Янковский.

Как-то на пороге комнаты возникла наиболее скандальная соседка:

— Когда вы будете мыть пол? — подбоченилась она.

— Никогда, — отвечал Женя.

Отношения с красавицей Мариной почему-то не складывались. Дочка Даша немедленно полюбила Женю и до сих пор называет его папой. Марину же обуревали приступы ревности, для которой не было никакого повода. Она пыталась по-бабьи, что никак не соответствовало ее строгому облику мадонны, вызвать его ревность. Женя, с его чисто голубиным нравом, когда не касалось его серьезных жизненных принципов, не реагировал на придуманные ситуации.

Начиналось перестроечное время, и Женя стал лидером продаж на многих выставках. У него была старая серия превосходных, мастерски сделанных офортов. Марина считала, что он должен производить большее число офортов, которые были востребованы покупателями, а не корпеть над живописью. Но Женя давно покончил с офортами и не собирался к ним возвращаться.

Последовал развод и, еще до того как он состоялся, на горизонте появилась следующая абитуриентка. Звали ее Вика. Но озабоченные Женя Орлов и Вадим Воинов именовали ее «боты» из-за странной обуви, в которой она высиживала часами на выставке семи художников. Была эта выставка на Литейном не просто выставкой неофициальных художников. Это была первая выставка неофициалов в музейном зале — городском выставочном зале музеев Ленинградской области. Пробивали ее долго и с трудом. Много усилий здесь приложил Вадим Воинов. Посетителей было множество. Женя представил примерно семь работ. Из-за одной из них разгорелся спор, почти конфликт с администрацией. Он выставил портрет Жанны Ковенчук, жены его приятеля художника Георгия Ковенчука, с православным крестиком на длиннющей цепочке. Надо было долго разглядывать работу, чтобы, наконец, обнаружить данный предмет религиозного, согласно советской терминологии культа, на ладони персонажа.

* * *

Выставка эта, состоявшаяся в 1985 году, была громкой. Художники отмечали торжество традиционным способом. В одном из залов просматривался пунктирный силуэт приземистой двери. Пунктир этот был почти незаметен. Художники протискивались внутрь по-одному и возвращались с просветленными ликами.

— Что они там делают? — глупо интересовалась я у Саши. Интересовалась только в день открытия выставки. Потом перестала.

Марина, непререкаемо царящая среди посетителей, как-то подошла ко мне и сказала нарочито спокойно:

— Женя вчера ушел из дома в тапочках и уехал в Выборг на последней электричке.

— Как в тапочках? — изумилась я, — на улице зима.

— Мы поспорили, и он выскочил из дома, — как-то сонно продолжила Марина.

Я вгляделась в нее. Спокойствие ее было камуфляжным.

И вот на этой волне и явились «боты». Странная девушка сидела, сгорбившись, в куцем коридорчике возле выставочного зала. Похожа она была на раннюю Чурикову. Пальто она не снимала. Сидела как на дежурстве. Как говорил встревоженный Женя Орлов, она приходила как на работу. Все уже знали, что она высматривала, выжидала появление Жени.

А выставка катилась своей колеей. Очень выигрышным было то, что проходила она в центре города. Это было время триумфа Жени Тыкоцкого. Из его почитателей можно было составить клуб. Их можно было найти в любом скопище людей мало-мальски причастных к выставкам неофициалов. Как-то в кафе «Сайгон» я оказалась с чашкой кофе за столиком рядом с многозначительно смотревшейся парой. Двое мужчин, из которых один молитвенно взирал на другого. Этот, другой, осведомился, почему я такая озабоченная. Я почему-то подробно рассказала ему о своих проблемах и удивилась странной своей откровенности. Но второй успокоил меня, сказав, что я попала к знаменитому гуру, кото-

рый сейчас утрясет все мои неполадки. Однако знаменитый гуру не стал ничего утрясать. Узнав, что я иду с выставки на Литейном, он произнес имя Тыкоцкого, после чего, сияя непозволительным для суровых ленинградских гуру светом, пропел гимн Жене. Тут-то я и вспомнила высказывание художника-критика Луки Кузнецова, что работы Тыкоцкого несут в себе инъекцию совести и доброты.

Мне кажется, что никто ничего лучшего о Жене не сказал. Хотя старались очень многие.

И, если обратиться к выставке, то, как сам Женя рассказывал о ней, ситуация иногда тревожила.

— Пошел я покурить в туалет, а там это запрещалось. Скрываюсь в кабине, курю. Слышу чеканные, громкие шаги. Перед кабиной появляется корзина, туда воткнуты семь нарциссов.

— Это что? — спрашиваю.

— Это вам.

Разворот через левое плечо. Чеканя шаг, уходит.

— Семь нарциссов смерти, — заключал Женя в том же чеканном ритме.

Зловещая ситуация, образно представленная романтиком Тыкоцким, произошла на второй по счету выставке на Литейном, которая состоялась через год после первой. Участвовала в ней та же шестерка художников. Седьмого они выбирали сами каждый год. Постоянными участниками были Вадим Воинов, Валентин Герасименко, Игорь Иванов, Александр Манусов, Евгений Орлов и Евгений Тыкоцкий. Возлияния в туалете уважали все, кроме Саши Манусова, недавно перенесшего операцию на сердце. Постоянство шестерки объяснялось тем, что они очень любили и уважали творчество друг друга. Все шестеро были до ошеломления разные. Вадим Воинов с его разящими в самое сердце советского режима коллажами, Игорь Иванов с жестоким великолепием своих кукол, Евгений Орлов с его служением идеям Рериха, Александр Манусов, вырвавшийся на второй выставке в стихию ослепительного открытого цвета, сложнейший график и философ Валентин Герасименко. Существовало особое название выставки «Семь слоников — семь смычков на Литейном». Слоников — потому что в одном из коллажей Воинова был сделан акцент на семь слоников,

являвшихся обязательном атрибутом советского уюта. Одного из слоников, кстати, украли прямо с экспозиции.

Именно к концу этой выставки упорная девица получила своего принца.

Женю нашли с проломленной головой в канаве у шоссе, ведущего в город Пушкин.

Он слабо помнил, что произошло:

— Мы с Валькой Герасименко были в ресторане на углу Гороховой и Майорова. Вечер почти просидели, но он еще не кончился. Выходим, я говорю:

— Поедем к Вадьке в Сосновый Бор, купим бутылку у бутлегера, посидим.

А Валька говорит: не могу, у меня свидание с Леной Фигуриной.

И идет себе по Гороховой. И тут же подкатывает серая «Волга», такси, останавливается рядом со мной. Шофер высовывается:

— Поедем?

Я спрашиваю:

— В Сосновый Бор довезете?

— А почему нет? — говорит.

Едем по Гороховой, ну, тогда еще это улица Дзержинского была. Двое парней голосуют, останавливают машину. Спрашивают:

— Возьмете?

Шофер:

— Почему не взять?

Парни садятся в машину, один говорит:

— В Сосновый Бор доедем?

Я восхитился даже:

— Ребята, какое совпадение! Проехали пару кварталов дальше. Больше ничего не помню. Это было серьезно. Если бы меня не обнаружили случайно в этой глубокой канаве, я бы там концы и отдал. Был перелом основания черепа и сломана нога. Провалялся без сознания всю ночь.

Причем это не грабеж был, ничего не было взято, ни деньги, ни документы. Видимо, торопились домой, может, сверхурочно работали. Надо было доложить в Большой дом,

что все чисто сделано. Я ведь чудом выжил, врач мой не верил, что выкарабкаюсь.

Молчаливая девушка часами сидела у Жениной койки. Именно здесь ее стылая пылкость обрела смысл. После больницы оба поселились в Жениной мастерской на Пушкинской. Друзья с ужасом наблюдали за этим сюжетом, зная, какой безропотной добычей является он для хищно настроенных женщин.

Показательный семьянин Женя Орлов был сильно озабочен матримониальными событиями в жизни горячо любимого друга.

— Ты не волнуйся, — с надеждой говорил он, когда на сцену вышла последняя жена Тыкоцкого, — он уже ее нарисовал.

Считалось, что портрет очередной Дианы-охотницы был началом конца.

— Как только он начинает рисовать очередную жену, — уверял сам себя Женя Орлов, — это значит, что скоро все кончится.

Однако именно этот жизненный пассаж продлился дольше предыдущих и стоил Жене Тыкоцкому многих печалей.

Ряд эстетствующих художников прохаживался на тему Жениных работ. Они бряцали терминами, обвиняя Тыкоцкого в мультяшности, подражании Шагалу, недоработках в цвете.

Однако именно перед его работами застывали надолго. Эмоциональный выплеск на пределе душевных сил художника, его кровоточащее сочувствие всему живущему и вопиющая искренность немедленно будили ответную реакцию у зрителя. Это была проекция души художника на плоскость холста, и это завораживало.

* * *

Женю Тыкоцкого, как и его ближайшего друга Борю Борща, мы впервые увидели с Сашей на одной из начальных выставок во Дворце молодежи на Петроградской. Тогда у него «еще были волосы». Он ходил один, и в облике его ясно виделись насмешка и задиристость. Мне всегда каза-

лось, что эти качества — оборотная сторона ранимости. Познакомились мы с ним позже. Когда-то он приехал к нам в Купчино, где по-джентльменски, но с той же затаенной иронией исполнил роль гостя. Потом, через годы, он признался, что не ожидал увидеть в нашем доме человека, которого активно не признавал как личность. Художника этого, одного из «генералов» неофициальной живописи Ленинграда, привел к нам в дом наш московский друг.

* * *

Незнакомая мне семья собралась уезжать вскоре после Сашиной смерти. У них было две работы Саши, которые категорически не пропускала таможня.

— Мы поедем вместе, — объявил Женя. К тому времени он уже снова был женат, но оставался пока в радужном состоянии духа. — И ты, пожалуйста, не открывай рта, я все сам сделаю.

Когда хозяйка полуразграбленной перед отъездом квартиры открыла нам дверь, я и вправду испугалась, что придется немедленно звонить в реанимацию. Ее лицо словно сбрызнули волшебным эликсиром, оно враз помолодело и приняло экстатическое выражение человека, прикоснувшегося к религиозным святыням. Увидев в своем доме Тыкоцкого, она выпала из реальности, словно не вовремя разбуженный лунатик с высокого крыльца.

Женя королевичем вступил в комнату с низким потолком и среди груды прислоненных к стене работ мигом обнаружил один Сашин холст. Раннюю Сашину графику хозяйка принесла из маленькой спальни, где из мебели чудом сохранилась узкая кушетка. Быстро и надменно Женя осведомился о цене, рассчитался и вывел меня из дома.

— И не смей мне ничего возвращать, — прикрикнул он, когда я полезла в сумку. — Это не твоя забота. А денежка у меня сейчас есть.

Это был далеко не единичный случай в Жениной жизни.

— Если бы вы знали, сколько раз он мне помогал, — с грустью признавался его младший друг, художник Иван Оласюк.

Однажды Женя и Вика — бывшая сиделица с выставки, прорвавшаяся-таки в его последние жены, нашли на окраине Москвы выпавшего из гнезда вороненка. К тому времени они ненадолго переехали в стольный град, где на задворках мегаполиса у него имелась крохотная однокомнатная квартира. Вороненка назвали Кокой. Саша как-то навестил их там. Он сказал, что Кока обожает сидеть у Жени на плече, и они оба без устали стрекочут. И не понять, кто быстрее.

Задолго до появления вороненка Женя написал свою знаменитую работу «Мальчик и его птица». Ребенок стоит, обхватив руками ворона. Руки у него тонкие, как веточки. Ворон и мальчик прильнули друг к другу. Птица размерами перекрывает ребенка, взгляд ее мудро ироничен и нежен. В хрупком ребенке легко прочитывается сам художник. Хотя птица огромна, она тоже нуждается в защите. Я боюсь описывать детально эту работу. Общее впечатление от нее было невероятно трогательным. Ребенок и птица нашли спасение и утешение друг в друге. Хотя эта работа, как говорил сам художник, не была лучшей из его картин и имела какие-то недостатки, эмоционально она вызывала невероятный душевный отклик даже у людей, весьма далеких от искусства. Муж моей сестры, каким-то чудом попавший на одну из выставок, отчаянно хотел приобрести эту работу. Даже очень дорого.

Но картину эту Женя не собирался продавать. Позже он повесил ее над кроваткой сына.

* * *

Как-то летом, примерно году в 93-м, в Манеже состоялась одна из крупных выставок современных художников. У наших ребят не было еще привычки периодически выставляться, к тому же в престижных залах, поэтому выставка вылилась в эпохальное событие. Мы встретились там с Женей, прошлись по залам, здороваясь на каждом шагу, выпили кофе в буфете внизу и расстались. Был июнь с его фантасмагорией белых ночей.

Пушкинская лежала в руинах. Я имею в виду дом на Пушкинской, 10, который стал нарицательным символом обители свободных художников Ленинграда. Целыми дня-

ми во двор въезжали и выезжали грузовики, принадлежащие множеству кооперативов, обосновавшихся здесь же.

Дом, обреченный на капитальный ремонт, сохранял свой величественный вид с фасада. Это был имперский фасад Петербурга. Внутри же, во дворе, немедленно начинался Петербург ночлежек, бездомных, опустившихся людей, наркоманов. Художники чувствовали себя здесь великолепно. Почему? Наверное, творческим людям не важна среда обитания, если она не мешает творить. А многие художники внешним видом часто напоминали бомжей. Боб Кошелохов, с его длинной и немытой шевелюрой, но с дивно сверкающими синими глазами, безумный Гена Устюгов, забредающий в гости в мастерские и никогда вовремя не отбывающий, Рихард Васми, всегда элегантный, даже в старой шляпе или берете, в свободно ниспадающих куртках и брюках не всегда по размеру, медленной походкой шествующий по двору. И появляющийся довольно часто экстравагантный Володя Лисунов, в туфлях на каблуках, черном пальто с огромным красным шарфом, в черной шляпе, с тщательно побритым и напудренным крупным лицом. То ли Воланд, то ли Мамонт Дальский. И одетый с аристократической небрежностью высокомерный Глеб Богомолов, вход в мастерскую которого был с улицы. У его парадной часто останавливались большие машины, и Глеб со своей молодой женой Таней выносили огромные работы и грузили их туда. Работы его распродавались со сказочной быстротой. Боря Борщ, знатный пейзажист города, в сшитых им самим куртках и связанных им же цветных свитерах, в изобилии курчавых черных волос, смахивал на мафиози, как утверждал обожающий его Тыкоцкий. И, наконец, сам Тыкоцкий, высокий и тонкий, как джигит, надевавший зимой куцые шапочки, похожие на лыжные, с вдумчивой грустью в глазах и молчаливостью, мгновенно переходящей по настроению в неудержимое стрекотание.

Через пару дней после выставки Женя рассказал мне:

— Понимаешь, когда мы распрощались, мне так не захотелось возвращаться обратно, я пошел к ребятам в буфет, выпил немного пива с Орлушей (Женя Орлов) и пошел один бродить по городу. Погода была дивная, теплынь такая, если помнишь, и я дошлялся до победного конца, уже даже наступило нечто вроде сумерек, и я побрел на Пушкинскую.

Обычно во дворе всю ночь ребята тусуются, а в этот раз почему-то никого, ну ни души. А я еще не угомонился, дай, думаю, зайду к Борщику. И направился к его парадной. И тут ко мне из темноты, незаметно так, вдруг подруливают двое мужчин, вернее два парня лет по двадцать пять — двадцать семь. Не касаясь меня, как-то очень искусно эскортируют меня молча к стене и закрывают мне выход. И один из них говорит: «Папаша, давай деньги».

Тут Женя остановился и зорко воззрился на меня.

— Что бы ты сделала на моем месте? — потребовал он ответа.

— Какой ужас, — сказала я, — думаю, что я бы страшно заорала и бросилась бежать, по возможности.

Ответ его явно устроил.

— А я, — сказал Женя с расстановкой, — посмотрел на них вот так (тут он согнулся, по-птичьи наклонил голову и уставился мне прямо в глаза с выражением крайней озабоченности и материнской тревоги) и спросил медленно и душевно: — Ребята, что, совсем плохо? — И ты знаешь, они как-то растерялись, ну, не профессионалы еще, да и конечно, такого они не ждали.

— Ну... — сказал один из них.

Тогда я им и говорю:

— Ребята, у меня есть деньги, тут, в кармане, только их немного и вам не хватит. А вот в мастерской у меня (здесь он указал мне жестом, как и им два дня назад, на окна своей мастерской на шестом этаже здания, и я содрогнулась) есть гораздо больше денег, я недавно картинку продал. Давайте пойдем ко мне, попьем чайку, поговорим о разных интересных вещах, а потом я с вами поделюсь.

И, стрекоча по своему обыкновению, он повел их вверх по лестнице на шестой этаж.

— Мы пришли, я поставил чай, сыр нарезал и колбасу, еще варенье какое-то было и пряники, мы знатно подкрепились, и я с ними провел беседу на тему искусства и окружающей нас неразберихи. Мы долго так сидели, часа два, потом смотрю, они нервничать начинают. Тогда я вынул деньги, у меня их было шесть тысяч и отдал им все. Один из парней,

видимо, главный, положил их в карман и стоит и почему-то не уходит, мнется. А потом и говорит:

— В первый раз вижу такого человека.

Потом залез к себе карман, вынул все деньги, отобрал бумажку в тысячу рублей, а остальное отдал мне. И сказал:

— Ты не думай, это мы у тебя в долг взяли, на дорогу. Мы обязательно вернем эту тысячу.

И они ушли.

Я здесь я наконец выдохнула.

* * *

Двор на Пушкинской как грязно нарисованная акварель, — писала я в те годы. — В нее не вписываются франтовато одетые девочки с зовом надежды в глазах, мальчики в фирме. Черные пустоты распахнутых парадных кажутся зовом в никуда. Дом на Пушкинской стал знаком стихии свободы, всяческой любви, ностальгии по Джону Леннону, зеленого хруста доллара, знаком тающих упований. Художники, первыми освоившие это убитое пространство, словно вмонтированы сюда высшей силой. Их присутствие, скольжение по двору, парение в нем, непререкаемы.

Летом телевизионный чудодей Владимир Молчанов прошелся по этому двору прямоугольником телекамеры. Чахлое деревце, чудом выросшее у парадной, где извергает из себя экспрессию питерских пейзажей Борис Борщ; пронзающий ауру двора, окаймленный двумя дружками припухший Володя Яшке, одутловатое личико Марины Колдобской, заключенное в рамку грязного окна мастерской; седая грива Люциана, описывающего пассы руками, безумие его древней физиономии; опухлость главного борца за дом Сергея Ковальского, опять объяснившего в камеру преемственность всеми ими традиций искусства начала двадцатого столетия. Эшафот в глубине двора с надписью «Ковчег 20-й век», две-три ведьмочки на нем, производящие военными фуражками, уникальным отсутствием вокала и убедительностью бюстов секс-бомбовый эффект подворья.

Молчанов, зрелый херувим с феноменальным голосом, спрашивал и замирал, выслушивая. А потом сказал про оазис, всемирно знаменитое строение и его обитателей, пребывающих

в мире, любви и согласии, несмотря на разность полов, национальностей и политических воззрений.

Какающие в парадных бомжи остались за кадром.

Упомянутые в этом тексте художники в новой реальности обрели новый же статус. Правда, прирожденный вожак Сергей Ковальский так и остался вожаком, став первым президентом Центра «Свободная культура». Марина Колдобская, начавшая свой путь художника вулканическим извержением неоэкспрессионистских работ, бывших в явном противоречии с ее хрупким физическим естеством, осталась столь же невесомой телесно и, обретя с ее короткой стрижкой и стальным отливом волос окончательный облик «железной леди», выстреливает в безропотное пространство тем же обилием разнообразных произведений, но уже не на холсте. Ее официальный статус серьезен. Она — художник, арт-критик, куратор (почему-то без необходимого к этому слову прямого дополнения) и журналист. Бывший экспрессионизм зафонтанировал множеством причудливых акций и произведений. К тому же она теперь руководит Санкт-Петербургским центром современного искусства.

Художник и скульптор Люциан Долинский[1] живет во всегдашнем помрачении, что вполне простительно человеку, детство которого прошло в карагандинском лагере, где были расстреляны его родители.

Владимир Яшке пользуется признанием не только как «дедушка Митьков», но и как замечательный колорист. Мастерской на Пушкинской у него нет.

И если вернуться к Евгению Тыкоцкому, то его новая обширная мастерская, как и старая, стала приманкой для множества людей. Я бы сказала, что именно эти квадратные метры, с их обилием книг и работ на стенах, несут в себе душу дома. Именно они одухотворяют пространство вокруг, ибо коммерческий дух уже давно и, видимо, навсегда, угнездился на Пушкинской. Издательство «Деан», которое долгое время со своим книжным магазином располагалось в доме, оказалось выдворенным, и на его месте теперь грохочет джа-

[1] Люциан Долинский скончался от тяжелой болезни в конце 2014 года.

зовое кафе. А через двор с ним соседствует странное заведение под названием Fish Fabrique.

Где-то это понятно. Дому и расположенному в нем артцентру надо выживать. Государственных субсидий катастрофически не хватает. Ряд помещений приходится сдавать. Женя Орлов, теперь уже Евгений Михайлович, крутится как может.

У Саши Манусова был друг, тоже Саша, но Малтабаров. Они в списке художников давно и прочно соседствовали. В разгаре перестройки Саша Малтабаров, имеющий невероятные заслуги в восточных единоборствах, занялся тренерством. Как-то к нему на занятия явились молодцы в темно-малиновых пиджаках, что в то время было визитной карточкой криминала, и предложили ему за крупные деньги тренировать их людей.

— Деньги деньгами, ребята, — сказал им художник, — а с душой-то как быть?

Ему пришлось уехать с семьей в белорусский город Гродно.

Бывшие друзья отдалились друг от друга. В сборнике ТЭИИ, составленном Сергеем Ковальским, есть замечательная фотография. Она датирована 1986 годом. Там изображена четверка друзей-мушкетеров — Тыкоцкий, Орлов, Воинов и Герасименко той поры, когда клич «Один за всех и все за одного» работал бесперебойно. Нерасторжимость квартета на этой фотографии очевидна. Однако за годы накопились гирлянды обид и непонимания. Произошел сбой, как в музыкальном квартете, если хоть один инструмент выбивается из ритма. И каждый музыкант заиграл свою сольную партию, каждый выбрал собственную мелодию. И уже с опаской приближаешься к Пушкинской. Но когда входишь в мастерскую Тыкоцкого, сомнения испаряются, потому что именно здесь проживает гений этого места.

Когда Женя, нечасто, уходит пройтись, у мастерской на полу рассаживаются группы ребят, в основном школьников, приехавших в город на экскурсию. Они терпеливы в ожидании. Если художник долго не приходит, они оставляют записки в блокнотике, висящем на гвоздике у двери. Если же им удается побывать внутри, они оставляют записочки на обратном пути.

Например, такие:

Здесь моя любимая комната.
(Нарисовано солнце с лучами). Все!
Спасибо Вам огромное!

В Ваших глазах тепло и добро! И Вы подарили его нам!
Хочется вернуться!

Это не квартира! Это душа, которую расплескали по стенам!
(По поводу этого комментария Женя, смеясь, как-то сказал: «размазали»)

Спасибо! Внесли неизвестного воздуха в легкие.
Оставили надежду и сладкий привкус любви.

Спасибо за чудесные полчаса!

Хочу посмотреть!
Впустите!

Лена

И мы хотим к Вам!
Московская область, город Подольск
Мечта без замен!
Вот!

Когда мир отворачивается от тебя, отпусти его.
Он соскучается (sic) и вернется.

Ася

Спасибо Вам за это место!
Это маленький рай!!!

Три подписи

Еще раз повторюсь. Я не намереваюсь давать критический анализ творчества Тыкоцкого. Да у меня никогда и не было такой задачи. Я не собираюсь цитировать здесь его высказывания, которые зачастую поражают глубинной мудростью. Я не намерена воспевать его рыцарственность и бесстрашную прямоту, на которую невозможно обидеться.

И я не хочу петь дифирамбы Жене о его верности друзьям.

И о потрясающем, глобальном отсутствии угодничества в самых крутых ситуациях.

И еще о его любви к музыке.

Альберт Швейцер сказал однажды: «Единственный след, который мы оставляем в мире — это след любви».

В моей комнате тайна,
Как ветхий Талмуд,
В моей комнате люди,
Как страстные притчи.
Старой Библии том
И людей Страшный Суд
И картинки, поющие
Голосом птичьим.

В моей комнате жизнь,
Как окно в красоту
И Синайка любимая —
Песнею Песней,
Как окно в красоту,
Как окно в пустоту...
С каждый днем эта жизнь
Все страшней и чудесней.

Ночь и день, день и ночь,
Год вперед, год назад,
В моей комнате — шепот,
В моей комнате — сад.
В моей комнате — Бах,
В моей комнате — Брамс.
Здесь, как взрыв, откровенье,
Умирания транс.

Здесь бывают мгновенья,
Когда голосом звонким
Все кричит, как струна
Из восторга ребенка.

Все кричит, все звенит,
Все летит в бесконечность...
Здесь лежит, как печать,
Запыленная вечность[1].

Словно одуванчики разлетелись невесомыми парашютиками и посеяли надежду.

2001 г.

МОСТ ЧЕРЕЗ СТИКС[2]

Вадим Воинов

Вадим Воинов попросил меня купить ему билет в Америку. Он летел к Нортону Доджу, фанатичному собирателю работ советских авангардистов. Я летела в Америку навестить дочь.

— Купи мне билет, — говорил Вадим, — я тебе деньги, конечно, отдам.

Билет я купила и деньги получила.

Летели мы компанией Finnair. Когда я прошла паспортный контроль и вошла в буфет, чтобы купить воды, Вадим сидел за столиком перед значительной кружкой пива. Вторая стояла рядом.

— Это тебе, — сказал он.

Я отпила пару глотков.

— Пассажиров рейса № ... компании Finnair просят пройти на посадку, — донеслось из динамиков.

— Я больше не могу, извини, Вадик, — сказала я, имея в виду почти нетронутое пиво.

— Ничего, — великодушно отозвался он, — я с этим управлюсь, ты пока иди...

Он явился удовлетворенный и продремал до конца рейса.

Аэропорт в Хельсинки умиротворял малогабаритностью. Стойка с напитками обнаружилась сразу. Я купила

[1] Стихи Евгения Тыкоцкого.

[2] «Мост через Стикс» — название одного из альбомов художника и его галереи на Пушкинской, 10.

сок, а Вадим водку в солидном фужере и пару бутылок пива. Пиво он наливал в водку.

— Хочешь водки, — спросил он? — я тебе куплю.

— Спасибо, не смогу, — отвечала я.

Начиналась следующая посадка. Самолет был на порядок больше, а соотечественников на тот же порядок меньше, то есть их не было вовсе. В нашем ряду было три места. У окна сидела симпатичная женщина лет тридцати пяти — сорока. Вадим оживился. Он производил курлыкающие звуки, по-детски улыбался и все четко шло к возложению его коротконалой руки на колено незнакомки. На лице женщины, изначально приветливом, обозначилось беспокойство. Самолет мирно двинулся вперед, сначала прогулочным шагом, потом все резвее и, набирая скорость как балерина в фуэте, с ревом напружился. Когда скорость бега превзошла, наконец, все мыслимые возможности, он, вибрируя электроорганом, отлип, наконец, от земли.

Вадим притих, но гон в глазах не исчезал. Когда взлет завершился и было позволено отстегнуть ремни, взор его снова обратился к незнакомке. Женщина старательно смотрела в окно. Светловолосые девушки в голубых пилоточках, похожие на юных мамаш с колясочками, поволокли по проходам тележки с напитками.

— Это хорохэе, — одобрил Вадим.

Девушка в нашем проходе, весело чирикая, наполняла стаканчики водой со льдом, соками, раздавала компактные бутылочки и неуклонно приближалась к нам. Два молодых финна, по диагонали от нас через проход, обставили свои эфемерные столики рядом бутылочек. Она еще что-то сообщала им, а Вадим, вытянув вперед руку, уже надел на лицо зазывную улыбку.

— Одной пока хватит, мистер, — сказала девушка, когда он, получив дозу виски, сделал неуклюжую попытку схватить еще одну бутылочку.

Он интеллигентно вылил содержимое в пластиковый стаканчик и отправил его в внутрь с такой легкостью, словно это был глоток родниковой воды.

Когда она двинулась назад и на скорости проносилась мимо нашего ряда, он, перегнувшись через меня и, почти раздавив, ухватил ее за рукав.

— Еще одну, — жестом показал он.

У него были глаза баловня-ребенка, уверенного, что отказа от взрослых не будет. Оторопевшая дочь Суоми протянула ему бутылочку. Всполохи сомнения на секунду озарили ее миловидное личико, и она промчалась дальше, твердо вколачивая статные ножки на высоких каблуках в ущелье прохода.

Он еще раз интеллигентно налил жидкость в пластиковый стаканчик и снова опрокинул его в себя с прежней легкостью.

Стюардессы работали складно, как на премьере тщательно отрепетированного балета, озвученного мелодиями латиноамериканских ритмов. Неслышимая пассажирами лихая музыка определяла их четкие перестроения в узких проходах.

Едва успев завернуть с тележкой за угол служебного отсека, девушки уже вновь неслись каждая в своем коридорчике, грациозно протягивая пассажирам мешочки для сбора использованных стаканчиков.

— Еще одну, пожалуйста, — синкопой вторгся в ритм передвижения вопль Вадима. Его подъятая рука сжимала пустой стаканчик. Едва взглянув в его сторону, девушка проскочила мимо. И снова ее немудрящее личико осветилось тревогой. В стройную оркестровку сервиса начинали вплетаться элементы какофонии.

Два молодых финна, сидящие через проход, смотрели на Вадима с состраданием. Они заговорили между собой и к концу беседы их молочные физиономии озарились улыбками добрых самаритян.

— Mister, — произнес тот, кто сидел ближе к проходу, и протянул ему пару бутылок с бесцветным содержимым, — take this, enjoy.

— Знаешь что, — страстно зашептал Вадим, — давай пересядем, мне хочется пообщаться с ребятами.

— На каком языке?

— На международном.

Он уже ощутимо уплывал в гавань забвения и сохранял адекватность реакций лишь благодаря могучим тренировкам последних десяти лет.

Корректные пассажиры тревожно взглядывали то на него, то друг на друга. Элементы какофонии стремительно разрастались.

Продремав пару минут, он вдруг всколыхнулся и, перегнувшись через меня, устремил на женщину у окна одобрительный и заискивающий взгляд.

— Спроси, как ее зовут, — скомандовал он мне, — она миленькая.

— Давай не будем пугать соседей, да она и смотрит в другую сторону.

— Какая ты недобренькая, — пробормотал он и погрузился в анабиоз.

Неожиданно разнесся стоялый запах разогретой пищи, и на ближнем горизонте вновь возникла армада из двух тележек, каждая в своем проходе. Пассажиры нервно заглатывали пищевой суррогат, намазывали круглые булочки толстым слоем масла. Снова проследовала интерлюдия с мешочками для мусора и свет в салоне погас. Мерцал лишь экран телевизора. Добряки финны, отечески взглянув на сопящего Вадима, застрекотали на своем неконфликтном языке.

Молодая женщина у окна попросила разрешения выйти.

— Вадик, привстань, пожалуйста, — я не без робости подергала его за рукав.

— Сейчас, минуту, — совершенно трезвым голосом отозвался он.

Соседка оказалась высокой и тонкой. Обозрев сверху плешь Вадима, она ухитрилась обойти его, даже не коснувшись пивного живота.

— Я тоже пройдусь, — сказал он и встал.

Не было его долго, и вернувшаяся дама радостно залетела на свое место.

Самолет продолжал свой убаюкивающий ход. Он был полностью загружен, где-то попискивал ребенок и по-прежнему стрекотали финны.

Утробный нескончаемый вой вторгся в идиллию. Мимо вскинутых в панике голов рысью промчалась тройка стюар-

десс. Звук еще порыкивал на низких обертонах, а девицы уже эскортировали в нашу сторону Вадима, источавшего миазмы табака и алкоголя.

— Я думал, не заметят, — впервые растерялся он.

— Здесь в самолетах не курят, в туалетах стоят детекторы, это объявляли. Я же тебе переводила, ты что, забыл?

— Курить очень захотелось, я ничего там не видел подозрительного.

Дама в форменной одежде гневно нависла над его креслом.

— Вы нарушаете правила полета, — чеканила она, — если будет еще одно нарушение, мы сделаем вынужденную посадку и высадим вас в ближайшем аэропорту. Зрачки ее небольших глаз смотрелись как два взведенных курка.

Глядя на нее, стало ясно, почему из всех стран Северной Европы именно Финляндия вступила в союз с гитлеровской Германией.

Сосед из переднего ряда обратил ко мне розовое лицо. В этой позиции ему было некомфортно.

— Остеохондроз шейных позвонков, — решила я, вспомнив подругу, которая занималась массажем.

— Мэм, — зажатым тенорком произнес он, — следите за своим мужем. Он подвергает всех пассажиров опасности.

В глазах его плескалась бесполезная злоба. Спутницу его не было видно, только часть прихваченных лаком волос и дряблое ухо. Ухо и голова согласно шевелились в ритм его словам.

— Он мне никакой не муж, это просто попутчик, — отступнически прокричала я и обратилась к Вадиму.

Почти свесив голову в проход и раскрыв рот, он спал, дыша хрипло и прерывисто, как занемогший ребенок.

Мы прилетели в Нью-Йорк вечером. В аэропорту нас встречала Айрин Голдман. Айрин — женский вариант торнадо. Но относительно управляемого. Темперамент затаивается в ней вулканической магмой и вырывается из ее округлых форм лишь изредка. Он приехала на новом автомобиле японской марки.

Вадим был собранным и мрачным. Когда на элегантной бежевой машине мы затрусили к выходу из аэропорта, он спросил у Айрин:

— А как зовут твоего мужа?

— Клифф, — отвечала она.

— Я хочу ему кое-что привезти в подарок, — сказал он. — Ты сможешь остановиться по пути у магазина?

— Конечно, смогу, только Клифф и так будет рад гостям, и без подарка.

— Но я не могу войти в дом с пустыми руками.

Минут через сорок Айрин остановилась перед супермаркетом средней руки.

Выскочив из машины, Вадим с пылкостью влюбленного устремился в магазинчик. Он вернулся, нежно прижимая к себе упаковку пивных бутылок.

— Это — подарок Клиффу, — веско заявил он.

— Спасибо, — не сразу ответила Айрин.

Ее муж, тихий и вечно загруженный работой джентльмен, изредка за обедом позволял себе рюмку породистого вина.

Во время ужина Вадим плавно опустошил несколько пивных бутылочек. Он употреблял их с достоинством. В нем плескалась уверенность человека, пьющего на свои.

Утром Айрин повезла нас осматривать красоты штата Нью-Джерси. Здесь еще сохранились клочки дикой природы. Смотрелись они раритетом и порой вызывали недоумение. Вернее, жалость.

Целью поездки была резиденция Джорджа Накашимы, японского скульптора по дереву, скончавшегося несколько лет тому назад. Теперь здесь живет его дочь Мира. Джордж Накашима создал из отменных пород дерева четыре огромных стола. Он назвал каждый из них «Стол Мира» и завещал разместить по одному на четырех континентах. Я видела один из них. Это живой теплокровный организм. Прикосновение к нему наполняет энергией и покоем.

Мы ехали среди чистеньких ухоженных ферм. Кое-где на обочине скульптурами застывали олени. Встречались спокойные люди, сидящие за столиками с яблоками и помидорами. Вадим был замкнут и немногословен. Он явно преодолевал издержки вчерашнего карнавала. Машина неслась со скоростью экспресса. Смена оттенков на лице Вадима ускорялась с каждым поворотом.

— Айрин, останови, пожалуйста, — вдруг сдавленно попросил он.

Айрин виртуозно подогнала машину к поребрику. Звуки, которые издал ринувшийся к задним колесам мэтр современного коллажа, были неоспоримы. Взгляд, брошенный на меня Айрин, также не нуждался в комментариях.

— Это была очень тяжелая поездка, — сказал Вадим, влезая в машину.

— Устраивайся удобнее, — включила зажигание Айрин, — отдыхай.

Плавный ход автомобиля продолжился. Завиднелся небольшой магазинчик.

— Останови, пожалуйста, — снова выдавил Валим. — Я хочу купить воды.

На этот раз он ринулся к переднему колесу. Нерадостные сочетания звуков продлились на пару тактов дольше. Он влез на переднее сиденье и дал знак, что можно ехать.

Лицо Айрин все больше закаменевало. Она перестала кидать в мою сторону значительные взгляды.

— У меня и давление очень повысилось в этом полете, — сообщил Вадим, располагаясь комфортнее, — я никогда так сложно не летал.

Лицо его постепенно светлело. До резиденции Накашимы пришлось остановиться еще пару раз. Выдержка Айрин потрясала больше, чем ее невероятное мастерство аварийной парковки.

В доме Накашимы Вадим выпил кофе. Мы прошли к «Столу Мира». Стол был огромен и ласков, как большой домашний пес. Я попросила разрешения подержать на нем ладонь. Какая-то божественная эманация заструилась из его недр и стало спокойно. Лицо Айрин приобрело нормальные очертания. Миловидная хозяйка предложила еще кофе.

— Спасибо, у меня был очень тяжелый полет из России, — сказал Вадим. — Кофе очень кстати. Оттягивает, — добавил он с примесью прежнего лукавства и зазывно улыбнулся.

Обратно мы ехали в мире. Олени, иногда целыми группами, снова цепенели на обочине. Их кроткие глаза излучали привычное недоумение.

Вадим дремал. Завтрашний день обещал быть напряженным. Айрин собиралась отмывать машину. Вадим — встречаться с Нортоном Доджем, которому он намеревался дорого продать свою новую инсталляцию «Золотые унитазы».

Я с грустным ехидством подумала, как бы они пригодились накануне в нашей поездке по стерильным дорогам штата Нью-Джерси.

* * *

Историк по образованию, Вадим ворвался в движение неофициалов в 1983 году. Он выставил несколько коллажей, один из которых, «Ленд-лиз», был воспринят как апостольское откровение. А это была всего лишь часть ящика, в котором перевозили консервы для жителей Советского Союза. Написано по-русски «СВИНАЯ ТУШОНКА» (именно через «о»). Остальные начертания — бюрократические закорючки и цифры. Когда начались выставки неофициалов, возникло впечатление, что в затхлом подвале открыли форточку и потянуло свежим морозным воздухом. О роли союзников в победе над фашизмом говорить в стране было не принято. Правда о судах, шедших из Англии под практически непрерывным обстрелом в северные порты России с грузом продовольствия и вооружения, элементарно замалчивалась. Предполагалось, что советский народ под водительством Кобы безо всякой помощи извне выиграл войну. Прикрепленная к плоскости доска от ящика со всеми ее шероховатостями и надписями, где цифры и словарные сокращения, сделанные отправляющей стороной, казались китайскими иероглифами, а также висящий сбоку спасательный круг реанимировали память зрителей.

Странная привычка искусствоведов объяснять, чем же занимается Вадим, всегда казалась излишней. Его работы — это соло предметов. Это удар штыком прямо в сердце. Это Шаламов. Но страшнее и лаконичнее. При взаимодействии ряда предметов их реплики слагаются в ансамбль. Бывают квинтет, секстет, иногда октет. Реже — целая законченная оркестровка. Это уже Шостакович, но без лирики последнего, хотя эта лирика сильнее отбивает сознание, чем шквальный огонь медных инструментов оркестра.

Он воспроизвел чадящий, удушающий воздух эпохи. Зону размером в одну шестую часть суши. Мир, в котором мы родились и выросли.

Предметы, расположенные на плоскости и найденные в старых домах, на помойках, принесенные друзьями, размещены с фармацевтической точностью. Но даже не эта точность сбивает с ног. Убивает и погружает в бездну фактура объектов, их шероховатости, выемки, очевидная ветхость и реальность. Они живы, дышат и злорадно напоминают нам, что дьявольщина не собирается нас покидать. На страницах многочисленных альбомов, изготовление которых Вадим поставил почти на поток, глянцевая бумага, увы, нивелирует плоть предметов, неуместным здесь блеском сжирает их суть. Но этого не избежать.

По его работам следует изучать историю России. Они должны присутствовать на уроках недавней истории в качестве обязательных учебных экспонатов. Если это когда-нибудь случится, значит, утопия состоялась.

— Могут они понять это? Ни черта, — взрыдывал временами Вадим, имея в виду иностранцев.

У нас был приятель — молодой тибетец по имени Цонка. Он приехал из Китая на год преподавать в университете штата Индиана тибетский язык. Он с ходу принял коллажи Воинова и ни один нюанс не ускользнул от его внимания. Он был житель коммунистического Китая. Люди из Восточной Европы, жители стран бывшего «социалистического лагеря», откликались на них мгновенно.

Обитатели стерильной зоны, жители Америки и Западной Европы, не прочувствуют их никогда. Потому что это не для нормального человека.

Вот работа «Завтрак стукача». Овальная жестяная тарелка ресторанного типа с кокетливым неуместным орнаментом, железнодорожный билет на ней. Унылая вилка с длинными зубьями, ручка с пером того времени, когда авторучки в стране еще никто не видел. В стороне пожухлая крышка от банки с икрой (с надписью «кетовая») и в стороне — штопор с деревянной ручкой-перекладиной. Подоб-

ные штопоры еще можно найти в магазинах, хотя им давно место в музее советского быта. Из всего этого складывается фигура гнуса с его нехитрыми тридцатью серебренниками.

Собственно, все его коллажи — это и есть летопись советского быта. Включая пытки и расстрелы.

«Расстрельный час» — еще один леденящий душу ансамбль предметов. Сероватая вертикаль плоскости, заключенной в унывную коричневую раму. В верхней половине — обложка книги с поясным рельфом Сталина на трибуне, швырнутые на нее часы с потертым ремешком. Внизу наползает на раму кобура маузера.

«Блокадные слезы» — детская скакалка с деревянными ручками, пристегнутая к небольшому бидону, который опускали в прорубь на Неве, чтобы добыть воду. Это быт первой ленинградской блокадной зимы 1941–42 гг. Слева по вертикали фугасный снаряд, ниже, одна за другой, три пули.

«Условный рефлекс» — шесть групповых фотографий. На одной — семь ученых мужей и надпись — «Государственная экзаменационная комиссия», на другой — большее число участников и надпись — «Выпускная комиссия курса». Еще одна, явно тоже выпускная фотография, где много женщин в платьях с трогательными белыми воротничками. Все небрежно брошенные на плоскость фотографии опоясаны толстой цепью с тугими звеньями. Один конец цепи венчает молоток, другой — затвор от собачьего ошейника.

И тут же «Памяти замученных женщин». Это антураж допроса. Настольная лампа из тех, что стояли на столах в казенных домах с черной головкой на гибкой шее, чтобы удобнее направлять свет в лицо, здоровенная цепь, прикрепленная к этой ламповой головке. Ветхая потрепанная папка с надписью «Дело № 13». Внизу — один из символов раздавленной женственности — порванное ожерелье. С цифрой 13 — явная передержка. Попытка пришпорить зрительское восприятие. Правда, в цифру не обязательно вперяться.

Невозможно не вспомнить здесь отрывок из тюремного стихотворения Ольги Берггольц:

Нет, не из книжек наших скудных,
подобья нищенской сумы,
узнаете о том, как трудно,
как невозможно жили мы.
Как мы любили — горько, грубо.
Как обманулись мы, любя,
как на допросах, стиснув зубы,
мы отрекались от себя.
И в духоте бессонных камер,
все дни и ночи напролет,
без слез, разбитыми губами
шептали: «родина... народ...»
И находили оправданья
жестокой матери своей,
на бесполезное страданье
пославшей лучших сыновей.

А вот якобы буколическая картинка «Россия — родина слонов», собранная в виде коврика над кроватью, неизбежного аксессуара советского быта. Лирическая дама, любующаяся лебедями в голубом садке, ноты песни Дунаевского «Дорожная», пакетик дуста и внизу семь слоников — еще один аккорд мещанского быта и синоним расстрелянного счастья.

Внизу надпись автора:

Память из детства

7 слоников, запах дуста, мелодию песни дорожной, даму с яркой картинки и ясность понятия «счастья» — синоним улыбки грустной.

* * *

Я упоминула всего лишь несколько коллажей. Это не статья для альбома одного из тех критиков, которых Вадим тщательно подбирает в соответствии с иерархией. Воинов — Талейран от искусства. Он просчитывает выставочную политику и процесс продажи работ с точностью вязальщицы, отмеривающей количество петель. Он давно водрузил себя на подиум гения. Заодно с алкогольными парами от него теперь разит выстраданным и заслуженным величием.

Со мной он давно не разговаривает. Очень редко здоровается. Когда я из-за болезни не смогла прийти на одну из его выставок, он торжественно заявил, что порывает со мной отношения.

— Я тебя пригласил лично, — сурово объявил он. — Я приглашаю лично далеко не каждого. Ты не пришла. С этого момента я прекращаю с тобой общаться.

Его генеалогия непроста. Родная сестра его отца была замужем за ленинградским видным партайгеноссе Кузнецовым, расстрелянным вместе с Вознесенским по так называемому ленинградскому делу. Считается, что оно («Ленинградское дело») было инспирировано Берией и Маленковым, которые видели соперника в Кузнецове. Отец Вадима был репрессирован в 1949 году. Его двоюродная сестра замужем за сыном Микояна Сергеем. Если бы сталинские разборки не коснулись семьи Кузнецова, стал бы Вадим автором этих кровоточащих работ, вот что интересно? Или превратился бы в одного из мальчиков-мажоров, рожденных с геном подковерных разборок?

Это загадка, выброшенная грязным потоком той жизни, которую он предъявил и увековечил. Тоска и подлость того, что было, неиссякаемы. Вечность пройдет, прежде чем это растворится в мироздании. Так, может, он имеет право на возлияния?

А мне вдруг просто вспомнилось, как мы летали в Америку.

2006 г.

ОДИНОЧЕСТВА ПРОСТОРНОЕ ПАЛЬТО

Владислав Афоничев

Я не знала хорошо Славу Афоничева. Встречая его, всегда отмечала какую-то особую ажурность его внешности, хрупкость всего облика. Был невысок, с точеным лицом. Очки в роговой оправе акцентировали пристальность его взгляда.

Когда мы начали баталию с Мигдалом за возвращение увезенных им в Америку работ, которые он, как и многие западные коммерсанты от искусства, не собирался возвращать, Слава одним из первых вышел на авансцену нашей схватки длиной в три года. Он был рыцарски справедлив, честен и отважен. Большие проблемы у нас возникли с несколькими художниками, которые отказывались, вернее, боялись подписать бумаги по просьбе американской юридической фирмы. Руководство этой, широко известной в Калифорнии компании, согласилось помочь художникам pro bono, то есть бесплатно.

Помню Славу на старой Пушкинской в мастерской Лены Фигуриной, огромном, одичалом и безводном, в полном смысле этого слова, пространстве. Напора воды на последнем этаже брошенного в центре города дома не было. Лифты давно не работали. Все необходимое приходилось таскать вверх по стертым ступеням, где часто зияли просторные дыры.

Слава сидел за шатким столом как раз напротив только что сделанного Леной трагического триптиха «Отражения». Насколько я помню, он был посвящен ее погибшей подруге. Саша Манусов был потрясен этой работой Лены, ее мастерством в работе с белым цветом.

Слава спокойно подписывал свое заявление. Благодаря фамилии, он оказался во главе списка обманутых художников. Дело это в фирме, руководимой Рональдом ван Баскирком, шло под грифом «Afonichev versus Migdal».

Из двух работ, означенных в списке, Слава не получил ни одной, так как работа «Каин и Авель» была приобретена американской художницей Барбарой Хазард, а другую работу, «Инвалиды», за смехотворную цену купил Мигдал[1]. Эта работа — фирменный знак творчества Афоничева. Обрубки трех человеческих тел, мощные их торсы, на деревянных тележках с колесиками. У крайнего из них за спину приторочена гитара. Левая рука его вцепилась в колесо тележки, правая приставлена ко рту, который широко раскрыт. Человек взывает к людям. И взывает безнадежно. Человек в середине композиции изображен в профиль, спиной к товарищу;

[1] См. главу Pacific.

перед ним на земле гармошка с раздвинутыми мехами. Если у первого инвалида еще проглядывается отчаянная надежда, что мольба эта найдет какой-то отклик, то второй смотрит на нас безнадежным взглядом. Жест его правой руки лишен экспрессии первого, а третий, и вовсе отвернувшийся и сгорбившийся перед своей бедой, уже ничего не хочет.

Почему-то вспоминается «Крик» знаменитого норвежца Эдварда Мунка.

Кое-кто, возможно, скажет, что это уже чересчур. Конечно, разрыв в живописных средствах огромен. Да и идеи обеих работ рознятся. У Мунка вопль фигуры на переднем плане обращен к мирозданию, в космос. Это экзистенциальный, сверхъестественный, пронзающий нас ужас, от него вибрирует Вселенная.

У Славы крик персонажа конкретен. Это глас вопиющего в равнодушные глаза и спины тех, ради которых он стал человеческим обрубком.

Сам Мунк когда-то говорил: я не верю в искусство, созданное не по зову сердца... я верю в картины, написанные кровью сердца.

Работа «Инвалиды» написана в 1987 году, через десятилетия после состоявшегося кошмара.

Хорошо помню этих инвалидов Отечественной войны, остатки человеческих тел на тележках в районе Сытного рынка на Петроградской, где жила моя семья. Эта древняя Голгофа, где был когда-то казнен министр императрицы Анны Иоанновны Артемий Волынский, возобновила свое предназначение в послевоенные годы. Прохожие кидали медяки в шапки инвалидов, делились с ними папиросами. Оправдывая подаяние, кто-то из калек ухарски играл на гармошке, кто-то хрипло выкрикивал что-то лихое. Их было много и они были постоянны в этом месте так же, как постоянно было само здание рынка, сохранившееся с незапамятных времен.

В один прекрасный день инвалиды исчезли. В пространстве рынка что-то поменялось, стало пусто, словно кто-то зачем-то подмел в заброшенном доме. Позже выяснилось, что всех страдальцев вывезли на остров Валаам, где они и закончили свои дни. Ходили еще более страшные слухи, на которых невозможно здесь останавливаться.

Не понимаю, как можно нарисовать такое и сохранить ясность рассудка. Алкоголь стал таким же фирменным знаком Славы, как и эти обрубки. Мастерская его была в непривлекательном районе города, на улице Шкапина, что возле Балтийского вокзала. Его ажурный облик ветшал с каждым годом. Он стал выпрашивать деньги у знакомых художников. Лена Фигурина никогда ему не отказывала, однако разумно сокращала испрашиваемую сумму.

— Слава сильный человек, абсолютно честный, без всякой подлянки, без малейшего намека на это, — говорила Лена, — он, как сильный человек, не прогнулся, не сдался, он просто сгорел, личность его не выдержала негативных эмоций от жизни. Он подыскивал замену, противоядие этим эмоциям, и оно сожрало его.

Жизненная его дистанция подходила к концу. У него обнаружилась законная болезнь алкоголиков — туберкулез. Он проводил в больнице основную часть оставшейся для него жизни.

Пока он лежал в больнице, погибла под машиной его жена Алла, проживающая в окрестностях города. Ее долго искали, когда она исчезла. Тело пролежало в морге до тех пор, пока по просьбе Лены художник-правозащитник, бывший депутат Думы и петербургского городского собрания Юлий Рыбаков не поднял свои старые связи и не обнаружил, где находится покойная жена Славы. На похоронах ее присутствовала одна Лена Фигурина.

Славу не выпустили из больницы.

Он скончался через пару лет после своей красивой жены.

Я помню встречу со Славой в мастерской Барбары Хазард на новой Пушкинской где-то в середине нулевых годов. Слава сидел за столом уже в состоянии грогги, как было модно когда-то обозначать состояние легкого опьянения.

На столе стоял принесеный им в подарок Барбаре вид мирного вечернего города. Они пили кофе.

— Ты знаешь, сказал он спокойно, — не могу я больше обрубки рисовать. Я вот теперь Данаю нарисовал. И вообще, если хочешь знать:

Смерть приходит буднично проста,
Тяжестью пространство наполняя.
Сковородка на стене черна —
Емкая, чугунная, литая.

— Зачем так мрачно, — изумилась я, — да еще за чашкой кофе?

— Ну тогда вот еще одно. Можешь даже записать. — Он отставил чашку:

Нет острова моей души
Цепь лампочек вдоль шкапинского тракта
И одиночества просторное пальто.

Я записала все это и нашла только сейчас.

Я хочу сказать Славе:

— Спасибо за твой талант, за непреходящую брутальную честность на холсте и в жизни.

Я почти не знала тебя, но мне стыдно, что, погрузившись в свои невзгоды, не сделала даже слабой попытки тебе помочь.

А это всего лишь крошечный цветок на твою могилу.

2013 г.

МГНОВЕНИЕ, РАЗМАЗАННОЕ НА ВЕЧНОСТИ

Борис Борщ

— Как тебе нравится голубой Борщ? — спросил как-то розовощекий от тяжелой сердечной болезни Володя Михайлов, нареченный в классе акимовских студентов Вольдемаром.

Ленинградский интеллектуал, обладатель чарующего баритона, петербуржец по духу и рождению, Володя любил иронизировать над приятелями. Это была симпатичная ирония. А Боринька Борщ, вдруг явившийся на выставки ТЭИИ из белорусской глуши (собственно, из Могилева), взывал к иронии.

Лучась глазами, обвив шею французистым шарфиком и подняв воротник а-ля парижской куртки, Борщ ходил по

выставке словно истинный обитатель Монпарнаса. Уже позже узналось, что мастер на все руки Боря обшивал себя сам и даже изготовлял одежду на заказ. Сшитая им когда-то для Саши куртка из холстины до сих пор висит у меня в шкафу.

В голубизне упрекнуть его было нельзя. Она проступала лишь на полотне, да и то в первые годы его явления на ленинградских выставках неофициалов. Женщины роились вокруг него, невзирая на комнату в коммуналке и дворницкую работу. Одна из болельщиц художника упорно посещала Бориньку, приезжая из родного Могилева. Она оккупировала его комнату-мастерскую, хорошо отнимая время от работы у мольберта.

— Как ты думаешь, — жениться мне на ней или нет? — как-то обратился ко мне за советом сердобольный Борщ.

— А ты ее любишь, Боринька? — задала я встречный вопрос.

Он глубоко задумался.

— Думаю, что нет, не очень вроде...

— Представь себе. Вот ты женишься, а потом всю жизнь будешь видеть утром на подушке голову нелюбимой женщины.

Эта мысль его потрясла.

Он отправил подругу в Индию, где она, знакомясь со страной, каталась на слонах. Потом девушка вернулась в Могилев и уже не появлялась в Ленинграде.

— Сочетать в одном лице художника и заботливого супруга — невозможно, — сказал позже Боря, — поэтому я никогда не женюсь.

Боринькин «голубой период» плавно перешел в розово-красный.

— Был Борщ голубой, стал красный, — улыбчато освещал Вольдемар Михайлов следующую фазу.

Картинки того времени делались на любом доступном материале — на досках, картоне, на другой стороне уже записанного холста. Мягкие экспрессивные работы с щемящим чувством одиночества и неясными еще попытками найти свое цветовое решение.

Комната в коммуналке с окнами во двор была превращена в образцовую студию. Над узкой койкой нависли гру-

бые полки с картинами, стены до потолка были завешаны работами. Наши литовские друзья посетили как-то Бориса и пришли в восторг.

— Когда он вышел к нам в такой очаровательной блузе, — кипела восторгом Лайма, — я подумала, что это Шагал. Такое сходство...

Он мог бы ничего не написать, они его уже полюбили.

* * *

Каждое утро, около шести, когда сумрачный город еще только начинал потягиваться, Боринька выстукивал ритмы киркой, разбивая лед у здания техникума на Введенской улице (тогда еще Олега Кошевого) Петроградской стороны. Летом он подметал двор, ликвидировал лужи, осенью собирал листья в рыхлые беспокойные кучи. Работа эта украсила его румянцем и еще более доверчивой ясностью взгляда. Возможно, именно она явилась судьбоносной и вывела его на пленэр.

Фамилия прибавляла децибел к его популярности. Одна из выставок в Союзе художников называлась «От Борща до...»

— Приходи ко мне, — кричала дальняя знакомая, встретив его на улице, — у меня всегда для тебя найдется тарелка борща.

— Я позвоню тебе позже, — говорила другая, — мы тут с Борщом кофе пьем.

В лихие девяностые он работал грузчиком в крохотном винном магазинчике возле Сытного рынка.

Вереницы художников навещали вожделенное место.

— Гоген, — кричали подельники, — к тебе твои Ван Гоги пришли.

— А вчера, — рассказывал как-то Боря, — ко мне Штирлиц с Мюллером приходили с Ленфильма. — Имелось в виду, что приехавшие на съемки популярные актеры Тихонов и Броневой, герои эпопеи про Штирлица, заглянули в винную лавку, чтобы отовариться дефицитом с помощью Борща.

* * *

Однажды, в те же начальные девяностые, мы с Борей подались в Москву. Знакомая из Калифорнии привезла мне письмо и пакетик от дочери, которая работала там перед поступлением в аспирантуру. Шутя, я предложила Бориньке скатать в Москву, познакомиться с экзотической дамой, собравшей, кстати, интересную коллекцию живописи. Он легко согласился. Рыжеволосая моя подруга Марина присоединилась к нам: она собиралась навестить сестру.

Американка Баира, смуглая, элегантная и тоненькая, как стебелек бамбука, была дочерью русской женщины и личного фотографа шахиншаха Ирана. Родилась она в Москве и неплохо говорила по-русски. Когда случилась революция, далеко не бедной семье пришлось бежать из Ирана. В Америку Баира приехала из Парижа. Ее французский был безукоризненным. Она начала свой бизнес, открыв в Калифорнии французское кафе. Дела шли успешно. Клиентам она улыбалась, но втайне презирала их, особенно пожилых американок. Иногда позволяла себе грубые реплики на русском языке. Именно в этом кафе, в городке Сан-Рафаэль, мы и познакомились. У нее был большой дом, где лежала разбитая параличом мать. Баира ностальгировала по России и окружила себя группой «соотечественников». Остановилась она в Москве у одной из таких знакомых. Квартира была однокомнатной. Мы пробыли у нее три дня. Боря ночевал в кухне на раскладушке, я в одной комнате с Баирой. Наутро ей позвонил друг из Парижа.

— Здесь так дешево, — кричала она ему. — Все почти даром, и еда, и сервис. И люди такие добрые, предупредительные. Ты должен сюда обязательно приехать.

Разговор шел на английском, и я радовалась, что Боря этого не понимает.

За завтраком Баира простецки сказала:

— Ты художник?

— Да, — отвечал Борщ.

— Ты можешь нарисовать мой портрет?

— Могу, — удивился Боря.

— Тогда мы поедем в магазин и ты все выберешь, что нужно для портрета, холст, краски, кисти, я заплачу. И ты меня нарисуешь. Но у тебя мало времени, ты успеешь?

— Успею, — отвечал Боря.

Сеанс продолжался часа четыре. Холст Боря швырнул на пол. Когда-то я видела, как он работает с мольбертом. Там он был фехтовальщиком, наносящим точечные удары. Здесь он виделся строителем-каменщиком. Он пользовался попеременно и кистью и руками, шлепал краску на полотно, руки двигались точно сами по себе, кисть летала. Он казался магнитом, впаянным в живописно распухающую плоскость холста. Баира держалась стойко и ни разу не предложила сделать перерыв. Живое дышащее полотно осталось лежать на полу. Утром его повесили на балкон сушиться.

Когда мы уезжали, Баира спросила своим гортанным низким голосом, не хочет ли Боря захватить с собой початую трехлитровую бутылку водки, которую она купила накануне. Деньги она не предлагала, видимо, сочла, что, покормив нас пару дней в кризисное российское время, рассчиталась с лихвой.

— Отчего нет? — ответил Боринька.

Прощаясь с Баирой, он залился девичьим румянцем. Мы вышли на улицу и я увидела, что румянец преодолел девичью розовость и стал уже буровато-кирпичным.

— Ты в порядке? — испугалась я.

— Милая, я всегда в порядке, — отвечал Борщ.

На обратном пути они с подругой опробовали напиток из диковинной по тем временам гигантской бутыли. Я молча злилась.

Баира позвонила мне через пару месяцев и раздраженно сказала:

— Зачем Боря так много масла положил на портрет? Я не смогла взять его с собой, он еще не высох. Пришлось хозяйке квартиры, когда она поехала ко мне, его везти. У нее были проблемы на таможне. Я его только неделю назад получила.

Она еще поворчала и добавила:

— Я его в рамку повесила. На почетное место. У меня девять моих портретов есть, а это самый лучший.

* * *

Для всех Боринька легкий человек. Невозможно себе представить, что он может с кем-то повздорить. Так же, как некогда Володя Лисунов, он радует неожиданностью своего одеяния, покладистостью в общении, нежданными всплесками юмора. Но для себя он тяжел и тяжесть эта выплескивается в монументальность миниатюр на холсте, в лики города, далекие от парадности, в небольшие пейзажи, смотрящиеся осколком эпоса. Все сделано цельно, одним куском, ни прибавить, ни отнять. Как он, подшучивая над собой, говорит — это мгновение, размазанное на вечности. А по-моему, значительная часть его работ впаяна в вечность, а вовсе не размазана, потому что это живопись высокого класса. Временами он представляется мне Хаимом Сутиным этого столетия. Перед рядом его работ цепенеешь, пытаясь разгадать, как он ухитряется из обветшалых городских строений, покореженных крыш, ущербных городских дворов и деревьев создать всю эту вибрирующую мрачную красоту.

Как мне кажется, в портретах он немилосерден. Во всяком случае, к женщинам. Все потаенные складки, морщины, мешочки под глазами, отвислые щеки зафиксированы с предельно четкой жестокостью. И все же Баира одобрила свой портрет. Что-то проняло ее в нем, несмотря на «обилие масла».

Мужские портреты куда как гуманнее. Очаровательно плотояден Вадим Воинов в наброске, висящем в мастерской у Тыкоцкого. Да и сам Женин портрет передает через угловатость линий сложность и обманчивость его натуры.

Когда-то один мой знакомый шутил, что в 20-е годы над Белоруссией прошло радиоактивное облако, благодаря чему страна выдала замечательных художников. Там работал Пенн, там начинали Шагал и Лисицкий. Из белорусского местечка подался в Париж Сутин. Боринька, к счастью, припоздниился родиться. Жесткие нравы еврейских местечек не изуродовали его психику, как это случилось с Хаимом Сутиным, который, как он позже говорил, «жил с криком в душе». Не изуродовали, поскольку таковых уже не было. Если обратиться к музыкальным терминам, то я бы сказала, что видение художником реальности отозвалось на полотне драматическим мажором.

И при этом в сложнейших гармонических сочетаниях. Но это мое личное восприятие, не имеющее отношения к профессиональному искусствоведению.

* * *

Боре никогда не везло с мастерскими. Причина была одна — несуразная детская доверчивость и, топорно выражаясь, полное отсутствие ожидания подвоха от друзей и близких. Перепавшая ему однажды мастерская на Петроградской уплыла к знакомой даме-художнице, из другой пришлось выезжать раньше времени.

Последняя мастерская была у него на зловещей тогда Пушкинской, 10, в доме, обреченном на капитальный ремонт и заселенном, вернее, захваченном художниками-неофициалами. Городское начальство колебалось, кому отдать этот лакомый кусок в центре города. Художники боролись с отчаянностью людей, которым некуда деваться. К тому же не все из них были ленинградцами. На дом претендовало телевидение, знаменитый тогда «Пятый канал», которым руководила Белла Куркова, создатель громкой передачи «Пятое колесо». Дом смотрелся филиалом музея блокадного Ленинграда. В нем хронически не было ни воды, ни света. Естественно, не было и центрального отопления. Сейчас этот дом, бывший оазисом для огромной группы художников, отреставрирован и заселен нынешней элитой. Овальное чистое лоно двора забито лощеными иномарками, у его ажурных ворот дежурят крепкие вежливые молодцы. Жизнь новых русских смутно просвечивает сквозь дорогие шторы. О канувшем в Лету черном зеве этого двора не осталось даже легенд. Художники получили малую часть дома, вход в которую уже не с Пушкинской, а с Лиговки.

Мастерская Бориньки была огромна. Подниматься приходилось по выщербленной лестнице с дырявыми ступенями. Для Бори с его малым ростом мастерская смотрелась необузданной роскошью. Он ощутимо тонул в ее просторах. Мастеровитые, крепко сбитые пейзажи на стенах виделись якорем спасения.

Однажды я встретила Бориньку в этом дворе и немного съехидничала:

— Как тебе работается в просторах новой мастерни?

— Никак, — сказал он, потемнев. — Не могу я здесь оставаться. Не могу совсем здесь работать. Тут чернуха, страшное влияние полей друг на друга. Здесь живут сотни художников. Это ликвидирует, стопорит творческий процесс. Сюда страшно заходить, я всегда боюсь, когда иду. Из Космоса в это место идет черная страшная энергия.

И он вскоре ушел, оставив просторы квадратных метров знакомой даме. Позже в эту мастерскую вселились Рихард Васми и Иван Оласюк.

Когда, ударом для всех, Рихард умер, у Бори появился хороший шанс занять его новую, после ремонта мастерскую, уже со всеми современными жизненными благами. Она вплотную граничила с мастерской Тыкоцкого. Но Боря отказался.

* * *

Как-то мы сидели втроем в моем купчинском обиталище. Втроем — это Боря, Женя и я. Это были ритуальные встречи. Мы все трое очень сблизились после смерти Саши. Женины мытарства на старой Пушкинской казались нескончаемыми. Помимо мастерской, которую он ухитрился превратить в относительно сносное жилье, другого прибежища в городе у него не было. Устав от несуразицы быта, художники приходили ко мне отогреться, посмотреть телевизор, душевно оттаять в неказистости моей крохотной квартиры, благо с Пушкинской почти самого дома их милостиво подвозил двадцать пятый трамвай.

— Твои дружбаны идут, — говорила мне соседка по телефону, посмотрев в окно, — открывай дверь.

Они входили, нагруженные сетками с разной провизией, в том числе и винной. Время перестройки, со всеми его кошмарами, было наполнено озоном гласности и пело тогда сплошным мажором не только для нас, но и для Сашиного пса Тоби, которого мы иногда втроем выводили погулять

на купчинские, еще не застроенные алчными бизнесменами просторы.

— А я уже третью Мурку заканчиваю, — стрекотал, усевшись, Женя. — Сейчас уже отстрелы пошли, но когда я первую сотворил, их еще не было. Я, помню, сделал эту картинку в 92-м. Там ангел летит с российским флагом. Он играет на трубе. В другой работе мужик шпарит на гармошке у Кузнечного рынка. И еще есть Мурка в подземном переходе у Гостиного двора. Там уже современная музыка, целый оркестр.

— У тебя, Борька, в последней работе отношение темной земли и зеленого неба так здорово сделано, — менял он тему, — я только взглянул и говорю себе: «Это лучшая из Борькиных работ. Твои работы, Борька, скрасят любой текст, который потом накатают люди, которые ничего в этом не смыслят, то есть искусствоведы».

— Да уж, — значительно говорил Боря нутряным своим басом, цитируя Ипполита Матвеевича из «Двенадцати стульев». И усмехался, любовно глядя через стол на Женю.

Речь его, даже в самом тесном кругу, была меткой и лаконичной. Как и холсты.

Вот одна из его зарисовок:

— У N. (видная фигура в ТЭИИ) была Земфира, а когда он ее бросил, примерно месяц у него была высокая стройная девчонка. Но она его быстро раскусила и бросила. Это его потрясло. Как это, не он ее, а она его бросила. Он с мешком водки прибыл в деревню. Каждый вечер напивался, выходил в поле и ревел, как бык. Страдал, значит, что не он первый бросил.

— Боринька, а ты писал когда-нибудь стихи? — как-то поинтересовалась я.

— А как же, — отвечал Боря, — было как-то. Будучи пацаном, я очень захотел купить кортик. Стоил он дорого, целых восемь рублей.

— Где взять деньги? — рассказывал дальше Борщ, — взять было негде. Тогда я решил написать стихотворение и послать его в «Пионерскую правду», получить гонорар и купить кортик. Написал, послал. Пришел ответ. — Тут Боря загудел, как шмель и совсем уже чревовещателем из-

рек: «Молодой человек! Мы получили ваше стихотворение. Мнение редакции: Вам надо учиться стихотворным размерам, рифме, читать больше стихотворений классиков и тогда с годами Вы...». Ну, в общем, гонорара там не было. Тогда я украл у матери из кошелька восемь рэ, пошел в магазин и купил кортик. Вечером получил взбучку.

— Теперь я знаю, Борька, почему ты в Ленинград подался, — снова застрекотал Женя, услышав о кортике, — от детской обиды. — А я приехал в Ленинград и решил, никуда я отсюда не уеду. — Это такой город, — кричал бывший москвич Женя, — я его сразу полюбил. Иду по городу, темно, старушка читает Блока. Огромный страшный амбал на набережной Фонтанки поет арию Онегина. А еще мы с Региной и Анечкой были у Сашки на кладбище, там, недалеко от Сашкиной могилы, похоронена последняя любовь Тютчева, Денисьева со своим новорожденным ребенком. Мы трое стояли у этой могилы, уже исчезающей, даже надпись пришлось с трудом различать, подошла женщина, пожилая, с девочкой, видимо, внучкой, посмотрела на нас, поняла наше состояние, улыбнулась нам и стала читать стихи Тютчева, — где ты это еще найдешь?

Однажды, размягченный домашним уютом, Женя посерьезнел и пытливо заглянул Бориньке в глаза:

— Борька, — сказал он, — вот мы здесь все свои, никого чужого нет. Может быть, ты нам ответишь, наконец, на вопрос. Давно хочу его задать: скажи, почему ты во время разговора с кем-нибудь вдруг страшно краснеешь, просто наливаешься краской, а потом это проходит? Ответь, пожалуйста.

Боря опустил голову. Он ответил не сразу, негромко, через явное душевное усилие:

— Потому что мне делается стыдно за того, кто со мной говорит... За то, что он делает. Вот я за него и краснею... Вместо него, если хочешь.

* * *

Сейчас Боря знаменит. Кудри его испарились и вместе с ними ушло волшебное излучение его карих глаз. Теперь

его взгляд стал тверже, он пронизывает. Может, это появилось после перенесенного не так давно инфаркта. И похож он стал на ветхозаветного пророка. Однако затвердевшая эта оболочка не может скрыть нежную его любовь к этому миру.

Когда-то Саша говорил:

— Драму жизни можно выразить и в пейзаже, и в натюрморте, выразить это соотношением красок. Совсем необязательно сюжетное выражение. Даже пейзаж может показать социальное и философское отношение к действительности. Драма всеобъемлюща. Когда картина несет только трагедию или только комедию — это неполноценность. Должно быть и то и другое, должно быть общее. Если взять фигуративные социумные работы — мне кажется, что работы с сюжетом намного ниже, чем те, где он не заложен. Но это мое личное мнение, имеете право не соглашаться. Когда события нет в произведении, оно поднимается по вертикали. То же самое в музыке. Возьмите «Сплав леса» Шостаковича — это же совершенно библейская вещь. А в литературе подняться на вертикаль очень трудно. Томас Манн это сделал.

Я думаю, работы Бори, уроженца Могилева и самого глубинного в наше время живописца Петербурга, давно вышли на вертикаль. Но они должны остаться на стадии драмы. Потому что если он выйдет на уровень трагедии, тогда можно будет за него бояться.

Но это опять-таки мое частное мнение.

2012 г.

ВОЛЬДЕМАР

Владимир Михайлов

У Володи Михайлова был роскошный голос. Он компенсировал коротковатость плотной фигуры, чересчур обширный, за неимением волос, лоб. Но голос его, глубоко баритональный, пушистый оттенками, доминировал над этими мелочами, как аккорд органа над робким зовом кларнета.

Но дело было не только в голосе. Володя был пропитан глубинной петербургской культурой. Представить его произносящим вульгарную гадость было немыслимо. Однако иронии, благодушной и меткой, ему было не занимать. Все это, как и его пристрастие к восточной философии и живописи, отпечаталось в его холстах.

Володя участвовал в первой выставке неофициальных художников, на проведение которой во дворце культуры им. И. И. Газа городские власти, скрежеща зубами, были вынуждены дать добро.

— Туда нагнали команду трудяг с Кировского завода, — рассказывал он, — конечно, вне очереди, чтобы они сказали свое веское рабочее слово о нас — тунеядцах и дармоедах.

Художники, вкушавшие неожиданный триумф при виде огромного количества желающих попасть на выставку, взирали на явление пролетариата с высокомерием.

В числе прочих работ Володи была выставлена картина «Можжевельник», жемчужно-матовое полотно, где во всю плоскость холста распростерлась сеть далеко отстоящих друг от друга острых колющих субстанций. Работа ласкала глаз своей выделанностью и тревожила сознание туманным сходством с территорией, обнесенной колючей проволокой.

— Подходит ко мне один из группы, вперяется в работу и стоит. Потом начинает похаживать и все еще вперяется в картину, а потом в меня, — окутывая голосом, не торопился закончить Володя, — и, наконец, подступает ко мне вплотную, подмигивает с пролетарской хитрецой и говорит: «Ты что, думаешь, мне не понять? А чего тут понимать? И тут не пролезешь, — повел он рукой вдоль полотна, и там не пролезешь... Все ясно. Так что не такой уж ты и умный, как думаешь».

Эта первая выставка-легенда состоялась в конце 1974 года, когда мысль о том, что можно прорвать колючую паутину торжествующей советской реальности, приходила в голову лишь единицам.

Учился Володя в Театральном институте на постановочном факультете, где преподавал художник и главный режиссер Театра комедии, знаковая фигура ленинградской культуры Николай Павлович Акимов.

Однажды Акимов журил за леность своего студента Эдуарда Кочергина. Позже Кочергин превратился в еще одну знаковую фигуру ленинградской культуры, став главным художником знаменитого Большого драматического театра имени Горького и позже замечательным писателем. Журил Акимов его своеобразно.

— Он взял меня за руку и подвел к окну своего кабинета, — рассказывал Эдуард Кочергин спустя несколько десятков лет, — а за окном шумел дневной Невский, напротив — Сад отдыха, памятник Екатерине, Александринка. И он сказал:

— Если мы не будем нести высокую культуру в этот мир, то через несколько лет по Невскому будут ходить одни зомби.

С дистанции времени мне страшно комментировать это замечание мэтра.

Праздничная атмосфера в группе акимовских студентов временами зашкаливала. Любителю и пропагандисту японской живописи Володе его друг Алек Рапопорт посвятил шуточное четверостишие:

Каждый знает — Вольдемарро
Не похож на Утамаро,
Не похож и на Утрилло,
А похож на крокодилло.

Набор студентов был блистательным. Там же училась тихая семнадцатилетняя девочка с чистым, обреченным лицом мадонны — Таня Кернер.

— Эта малышка, она была младше всех нас... Но какие работы она приносила! — тосковал Володя. — Мы так работать не умели.

Позже жизнь Тани стремительно разошлась с действительностью. Она выбросилась из окна, оставив пятилетнего ребенка на попечение родителей.

Володя, как и все студенты, боготворил Акимова.

Бацилла свободного мышления, нареченного в советское время инакомыслием, витала в стенах театра и в классе мэтра. Я часто бывала в театре еще в школьные годы. В ос-

новном на просмотрах спектаклей, так как отец моей подруги занимал там административную должность.

Уютное камерное пространство театра добавляло спектаклям ощущение семейной теплоты. Из этих стен вышли не только талантливые художники, но и люди, наделенные особым складом ума, эрудицией и той же иронией, временами плавно перетекающей в сарказм.

На своей выставке Володя говорил:

— Мой учитель, Николай Павлович Акимов, предлагал нам: сначала нарисуйте кошечку, потом собачку, потом лошадь... И только потом уже верблюда, да и то одногорбого. А здесь вы видите целую выставку одногорбых верблюдов.

Его живописные пристрастия не были ортодоксальными.

Он говорил, например:

— Даная мне никогда не нравилась ни как женщина, ни как живопись. Все эти розовощекие Саскии не привлекают... Правда, «Жертвоприношение» мне больше нравится. «Портрет с тюрбаном» мне тоже нравится. Мы не так кладем фон, как они.

На возражение, что нельзя сравнивать смешивать две эпохи, он отвечал: почему нельзя? Должен быть симбиоз старой живописи и очень современной.

— У меня примат формы, организация пространства. Кто-то лучше чувствует цвет, кто-то форму.

— Тенденция видеть скрытую красоту мира очень сильна у народов Востока, — продолжал он. — Это нам всегда внушал Акимов. Букет роз всем нравится, — говорил Николай Павлович.

— Ну, а если не всем? — возражали Володе. — Что, если розы опали, а солнце зашло?

— А ты заставь нравиться то, что не нравится, — оборонялся он, — художник обязан быть диктатором, тираном.

— Живопись должна быть не передающая природу, а творящая природу. О том же говорил Малевич, — уверял Володя, — большинство художников нацелено на тождественное изображение мира. А дзен-художники сами творили природу. Малевич — он что говорил? Что художник должен вырваться от порабощения тождественности изображения. У дзен-буддистов идеи спускаются с небес. Для них

дух абсолютно растворен в природе. Они все, то есть дзен-художники, придерживаются этой философии. Человек просто растворен в природе, он ее часть. Увидеть луч солнца, пляшущий в воде, и сотворить свое состояние на плоскости. А ставить этюдник у березовой рощи надо в начале пути. Все в мире подвержено рождению, то есть возникновению, пребыванию, исчезновению. У меня есть такой триптих, три полотна с такими названиями. Это трудно. Я делаю наивные попытки, пытаюсь ухватить метафизическую сторону бытия.

Некоторые его работы были дробными, многословными, иногда хромал цвет, но на выставках они имели успех и своего зрителя. Однажды во Дворце молодежи он выставил работу «Послание Быка своему созвездию». Бык по гороскопу, Володя, возможно, отождествил себя с трогательным существом, воздевшим левую лапу с гусиным пером и с мольбой вперившим взор в небеса. Существо явно пребывало в состоянии космического одиночества. Я не помню точно цветовую гамму этой работы. Помню лишь, что она была написана в коричневых тонах. Работа стала одной из сенсаций выставки. Посетители стояли перед ней гораздо дольше, чем у работ других художников. Когда я присоединилась к стайке созерцающих полотно людей, подошедшая за мной женщина завопила: «Ой, даже корова грамотная, видишь, расписывается!»

И надолго замолчала. А бедного быка стало совсем жалко. Он был такой красивый и компактный, весь устремившийся к звездам.

Еще я помню работу «Кирха в Раквере», где здание кирхи в романтическом развороте было дано на фоне серебряного вечереющего неба.

И все-таки иные работы казались жестковатыми. Возможно, это был своеобразный парафраз акимовских живописных пристрастий, куда входили Гольбейн, Дюрер, Брейгель. Или же от того, что особенностью многих его (почти всех) работ был структурализм живописного языка.

— Весь мир состоит из структур, — утверждал Володя, — от рисунка листа до космоса.

Мастерская его была на Петроградской, недалеко от Сашиной, и мы нередко заглядывали туда. Он же временами

стучал в дверь Сашиной обители и, когда дверь открывали, не торопился войти. Стоя на площадке и пытаясь обрести дыхание, он с сердитой шутливостью выражал недовольство высотой подъема. Причины на это были веские — тяжелый порок сердца. Беда, которая окрашивала его и Сашины щеки в розовый обманчивый цвет здоровья. А если вглядеться, розовость эта была испещрена точечками пробивающихся вверх кровеносных сосудов. Как говорили Сашины друзья врачи-кардиологи, этот обманный окрас был компенсацией за тяжкую болезнь. У обоих была инвалидность второй группы с капельным денежным пособием — тема, которой они никогда не касались.

Получить мастерскую для художника не члена Союза было все равно что выиграть машину даже не по лотерейному, а по трамвайному билету. Сашина мастерская была оформлена на имя его друга-архитектора. Володе же повезло:

— Тебе бы, Сашка, что-нибудь более заземленное нужно для работы. Как ты можешь каждый день сюда карабкаться... я бы не смог. У меня мастерская на третьем этаже, она мне чудом досталась. Интересно, что он всегда говорил именно «мастерская» и никогда фамильярное — «мастерня».

— Я так долго был без мастерской, все ходил по жилконторам, пробивал, где есть более или менее приличный чердак. Здешнюю управдомшу я долго обхаживал. И, представляете, прихожу как-то, а она мне говорит:

— Михайлов, у меня для тебя мансард есть. — Так и выразилась — именно «мансард».

Мастерская его была в одном из невысоких зданий в конце улицы Зеленина, в группе домов разной величины, торчащих в глубине проулка, как гнилые зубы. И в его, и в Сашиной дислокации ощущались тревога и вымороченность. Как будто что-то зловещее таилось в самих стенах и даже на подходе к домам. Уже прошла пора многочисленных пожаров в мастерских художников. Но вязкое чувство, что ты окутан паутиной и что недобрый злорадный взгляд не выпускает тебя из виду, оставалось.

— Вчера долго ждал трамвая на остановке, — рассказывал Володя, — его нет и нет. Стоял там парень, незаметный,

и жлоб такой, глазки въедливые. Подошел ко мне и говорит: «Ну что, Михайлов, все малюешь? Ты не скучай, вы у нас все на мушке». Тут трамвай показался, не мой. Он в него вскочил и еще с площадки в меня вперился.

— Живопись, как и музыка, остается неблагонадежной, — отвечал на это Саша, разливая бурый чай.

Одна из чашек, которую он нашел на черной лестнице, ведущей в его мастерскую, мне особенно нравилась. Была она из тонкого фарфора с изображением танцующих пастушков, что-то от Ватто. Несмотря на счастливые румяные физиономии персоналиев, посудина имела несчастный вид. Длинная трещина пересекала веселящуюся парочку. Но чашка, на удивление, держалась и не собиралась разваливаться. Я называла ее «чашка с трагической судьбой».

Володи не стало через год после Саши. Сердце отказывалось работать. Шли переговоры с Германией об операции. Как-то это было связано с его работами, кто-то вроде собирался принять их в подарок и помочь с операцией.

— Все очень гадательно, — раздумчиво говорил Володя, — такой скомканный май...

Операция не состоялась. Его единственный сын Петя, которого он любовно называл Петронием, после двух лет службы в армии получил рассеянный склероз. Это убивало Володю действеннее, чем бастующее сердце.

Он умер во сне. Накануне вечером, рассказывала его жена Ирина, он обошел любимые городские места. Возможно, подошел к Театру комедии и на Моховую улицу, к Театральному институту, попрощался с местами, где его нарекли звонким именем Вольдемар.

Возникновение. Пребывание. Исчезновение.

Я уверена, что ему сейчас хорошо. Потому что, как говорила Ленина Никитина про Сашу, черноты в нем не было.

2008 г.

ТРИ ФРАГМЕНТА

СЕМЬ СЛОНИКОВ — СЕМЬ СМЫЧКОВ НА ЛИТЕЙНОМ

Когда вошли, стало ясно, что, как всегда, последние. Голос, совсем юношеский совокупностью тембра и интонации, но являющийся собственностью дедоподобного Игоря Иванова, ликовал:

— Мы были первыми тогда и вы тоже первые, это совершенно другой уровень, это настоящий выставочный зал.

В шалабинском однокомнатном оазисе сиял за столом Женя Тыкоцкий, ухмылялся принявший на грудь Игорь Иванов, кротко взглядывал из глубин своей ауры Женя Орлов, по-чеховски интеллигентно взирал Валя Герасименко. Жены были все. Посреди комнаты резвился в танце похожий на огромного кенгуру научный сотрудник выставочного зала Валера Шалабин. Марина Тыкоцкая, в трансе пластической истомы, скакала вокруг него кенгуренком, выпавшим из мамашиной сумки. Черные блестящие штаны бананом не умеряли, а подчеркивали ее ошеломляющую стать.

— Женя, вы Марину за пластику полюбили?

— Нет, что вы, исключительно за веки, посмотрите, как она потрясающе их прикрывает. И вообще Маринка — это уже другой генетический код.

Воинов, как корабль, осевший ниже дозволенного уровня, сделал попытку встать, но не смог.

Поднялась Ира, директор выставочного зала. Обволакивая мягким альтом голоса и настораживая продуманной женственностью, проговорила:

— Позвольте выпить за вас, за доводящую до восторга живопись Саши Манусова, за великолепный ужас, который

испытывашь перед работами Игоря Иванова. когда хочется кричать перед ними, выть в голос, за иронию, переходящую в сарказм Вали Герасименко, за свет доброты, несмотря на сюжетный ужас, в работах Жени Тыкоцкого.

— А Вадим, Ирочка? Наш Вадим, который еще не понимает, что он делает. Он начал новую полку. Он — трагический человек, и будущее его велико, — милостиво возроптал Женя Тыкоцкий, улыбкой нянюшки ободряя Вадима, перебравшегося-таки со стула на диван и утонувшего в его трясине.

Игорь Иванов, обратив на Сашу свои, как бы с подсветкой глаза, заговорил:

— Саша, ты теперь пошел новым путем, и я жду от тебя многого. Ведь традиционность еврейской живописи — это треугольность, пирамидальность, взятая у египтян. Это уже было у Шагала, Тышлера. Вот эта самая традиционность формального хода должна быть преодолена, но при сохранении скрытой национальной сути. Эта твоя работа на выставке есть как бы некий зачин. Ведь религия запрещала евреям рисовать, она, эта традиция, пошла только с восемнадцатого века, тогда и началось еврейское рисование. Надо освободиться, порвать с традицией, найти новый композиционный ход, сохраняя национальное нутро. То есть не замкнуть, а раскрыть композицию, опять же, повторяю, сохраняя нутро.

— Если ты найдешь новый композиционный ход, сохраняя суть, то это будет во! — тут он показал большой палец. — Ты будешь единственный еврейский художник. Но если это порвать, будет слом национальной сути.

— Игорек, — ласково воззвал Женя Тыкоцкий, — не загоняй его в национальные рамки. Ты ведь осознаешь, что Сашка — человек не этого времени, у него на полотне — трагедия мазка. Когда я вижу у него зеленый в обнимку с оранжевым и вижу, что зеленый не всегда соответствует, я ему об этом говорю. Он абсолютно чувствует цвет, это дар Божий, это искусство чистейшей воды. Но у меня тоже есть своя зацепка, ведь литература нужна в живописи. Леонардо — он весь литературен. Правда, поставь его рядом с Мазаччо — и он, как плевок. И, по-моему, Иванов и Манусов — два острова в океане, грозящие слиться в архипелаг.

— У Игоря цвет на грани возникновения, — отвечал Саша, — это путь, близкий к Рембрандту. А я сейчас добиваюсь, чтобы мазок не был мазком. Раньше он был монотонным. В новых работах в некоторых местах уже нет мазка как такового. Он в новых работах имеет другие качества. А полосы у меня можно назвать мазком, но только они несут уже другую эмоциональную и смысловую нагрузку, — говорил он, как всегда, медленно, раздумывая по ходу речи.

Стрекотание Тыкоцкого и этот ритмический противовес ему звучали слаженным дуэтом.

— Игорь, где вы достали такой колорит?

— А я ходил его искать в морге, в больнице Коняшина. Я не смотрел трупы, а разглядывал части тела. Я, когда пришел к Сидлину в студию, то был объявлен возмутителем спокойствия. У меня была задача искать колорит. Говорили, что я внес французскую струю, — усмехнулся Игорь, — а вообще, может и так, мы иногда с Сидлиным даже на улице занимались. Это когда нас вышибали из Капранова.

— А я, ребята, хочу признаться совершенно честно, что разглядывая, давненько, правда, фреску Сикейроса с обрубками человека, упал в обморок, — с тех пор не выношу его, — пропел Женя.

— А я уважаю его за колорит, — быстренько молвил Игорь Иванов, — мертвенный колорит у него потрясающий.

— Игорек у нас любитель коммунистов, в чем только что признался. Он, в основном, любит Сикейроса за то, что тот стоял на стреме во время убийства Троцкого, — это уже прогудел из диванной впадины Вадим Воинов, автор невиданных доселе по дерзости и пульсации оголенного нерва коллажей.

— Сикейрос или Ороско?

— Мне нравятся очень обои, помните, у Пруткова? — захлебнулся восторгом Вадим. — Какое удовольствие выбирать из двух бандитов, ошибка практически исключена.

— Да кончайте вы каннибальствовать, пошли плясать, — Валя Герасименко, вытаскивая за собой Галю, жену Жени Орлова, продирался сквозь костлявые колени Тыкоцкого.

Музыка вспенилась девятым валом. Плясали все. Седобородый, ладно смотрящийся Игорь Иванов, с уханьем и лихостью во взоре, скакал вприсядку; в вихре людского клубка цветком лотоса царила Марина Тыкоцкая, в своей неотразимости бросая тревожные взгляды в сторону стола, где кузнечиком стрекотал Женя, щедро делившийся с четой Манусовых своими взглядами на искусство.

— Женька Орлов тоже обрадовал, думаю, через пару лет он всех здорово удивит.

— Работы у него хорошие, но временами они выскакивают в дизайн. Женя ищет какой-то новый ход, дизайн пересиливает пока, но он выйдет из этого, — мирно, поддерживая интонацией, сказал Саша. — А как тебе Сажин?

— А Коля Сажин, даром что член Союза, у него нет эстетической школы, он добивается острого выражения своей идеи, но у него плохой цвет, плохой рисунок.

— Он делает разгонку цвета, — подхватил Саша, — пишет, скажем, одним красным, от светлого к темному, это графический метод. Принцип якобы филоновский, но ничего не выведено.

— Вы Колю не тревожьте, — вдруг вклинился с мягкой убедительностью Женя Орлов и поднял бокал, — за него надо выпивать и выпивать. Он с нами выставился, не колебался ни минуты. Это поступок, а ведь его спокойно могли вышибить из Союза. Без мастерни оставить.

— Ты, Женька, не ершись. Сажин хороший парень, признаю, а искусство его не приемлю, мне это чуждо. Ну и что, если вокруг его «Бани» толпы роились, это все на эпатаж тянет, несерьезно это, и давай закроем тему, — как всегда категорично отрезал Тыкоцкий и повернулся к Саше:

— Знаешь, Сашка, что я подслушал как-то на выставке? — произнес он, интригуя, — решил я пошпионить за Лукой Кузнецовым. Он всегда таких девчонок трепетных и в то же время фигуристых по выставкам водит. Сначала он подрулил к Сажину. Девицы чуть под козырек не взяли, замерли благоговейно, а он и закартавил: «Есть у него какие-то проколы, но в целом вещь мне нравится. Не стоит говорить, но я бы сделал по-другому...»

— Потом они поплыли к твоим работам, выстроил он своих смазливых девиц у твоих «Стариков» и говорит: «Манусов — это чудо какое-то, никак не могу понять, как он это делает».

— Я и подумал, — заливался Женя, — хорошо, что ты в этот момент вдали ошивался, а то бы они тебя, такого красавца, да еще с загадочным талантом, живьем не выпустили.

— А Регина на что?

— Ну, Регину они бы просто в звездную пыль стерли, не заметив ее при этом. Девчонки осанистые, с фанатизмом в глазах, может быть, по совместительству каратистки.

— Пожалуй, я уведу Регину танцевать, музыка пошла человеческая, — Саша грузновато встал, и в нежности его рук я почувствовала себя институткой Смольного монастыря, очутившейся на первом балу.

Семь слоников, семь одновременно разных и схожих созданий, материализовавшихся с одного из коллажей Вадима Воинова, семь необузданных жильцов коммунальной квартиры развитого социализма праздновали сегодня открытие своей первой выставки в престижном зале музеев Ленинградской области на Литейном, 57[1].

1986 г.

[1] Речь идет о первой музейной выставке группы неофициальных художников в зале музеев Ленинградской области. Выставка проходила с 7 по 22 декабря по адресу Литейный, 57. На выставке были представлены работы шести неофициалов — Вадима Воинова, Валентина Герасименко, Игоря Иванова, Александра Манусова, Евгения Орлова, Евгения Тыкоцкого. По требованию Управления культуры в выставке должен был участвовать также и член ЛОСХа. (ЛОСХ — Ленинградское отделение Союза художников.) По предложению Евгения Орлова член ЛОСХа Николай Сажин согласился выставить свои работы. Николай Сажин был также участником «Газа-невских» выставок.

КАК МЫ ХОДИЛИ К НОТАРИУСУ

29 июня 1996 года

Не помню точно, когда был убит вице-губернатор города Михаил Маневич. Кажется, на памятнике стоит дата 18 августа 1997 года. Это была гнусная имитация убийства президента Кеннеди. Служебная машина Маневича выезжала с улицы Рубинштейна на Невский не очень ранним летним утром. Маневич ехал на работу в Смольный. На заднем сидении находилась его жена. Машина остановилась перед поворотом, пропуская текущий по Невскому транспорт. И тут раздались выстрелы. Маневич был смертельно ранен и скончался по дороге в больницу, жена ранена так же, как и шофер. Стреляли с чердака дома напротив по Невскому проспекту. Как и водится, ничего не было обнаружено, кроме оставленного на чердаке автомата Калашникова с оптическим прицелом. Михаилу Маневичу было всего 36 лет. Он работал с городской недвижимостью и, видимо, перешел кому-то дорогу.

Одна моя знакомая преподавала историю в школе, где учился Миша Маневич.

— Это была исключительно порядочная семья, и мальчик он был замечательный, — рассказывала она.

Поскольку Маневич похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища, я каждый год прихожу на его могилу уже после посещения могилы Саши. Там стоит огромная глыба розоватого мрамора, этакий раздавшийся в вышину и ширину расколотый шар, которому тезка погибшего Михаил Шемякин придал форму огромного яблока. Спереди изображен в виде барельефа профиль Маневича и намеком вкраплены отверстия от нескольких пуль, пронзивших его шею и грудь. Помпезный, многоречивый и очень дорогой памятник.

Сергей Ковальский оплакивал гибель Михаила особенно остро. Именно благодаря Маневичу, говорил он, художники после нескольких лет отчаянной борьбы с городским управлением, а также с первой тогда леди петербургского телевидения Беллой Курковой официально получили пра-

во владения на часть дома по адресу Пушкинская, 10. Это случилось 29 июня 1996 года. По интересному совпадению, именно в этот день была назначена процедура нотариального оформления заявлений группы художников по иску против Марка Мигдала, укравшего их работы.

* * *

Утро выдалось прелестным — мирным и солнечным. Летние месяцы в Петербурге еще 10 лет назад пленяли относительным спокойствием, так как основная часть горожан жила на дачах, а визитеры из разных городов страны еще не наводняли центр до чувства полного изумления и отторжения. Альбина шла по улице Восстания мимо круглой станции метро в нотариальную контору, расположенную в самом начале этой улицы. Звуки волынок и мягких ударных инструментов заставили ее оглянуться. За ней дефилировала красочная процессия гладко обритых молодых людей и девушек, обряженных в подобие хитонов. Лица их хранили блаженное и полное приятие всего сущего, в руках у них были барабанчики, дудки и флейты и они, приплясывая, вкусно выпевали «Харе Рама». Такие радующие взор и слух группки кришнаитов в то время можно было встретить сразу в нескольких местах в центре города. Теперь они исчезли. На их место пришли другие бритоголовые — здоровенные амбалы с глазами-пуговицами, выскакивающие внезапно группой, избивающие «инородцев» и мгновенно рассеивающиеся в боковых улицах центральной части города.

Кришнаиты, пройдя мимо станции метро, расположились слева от здания и, образовав большой круг из подоспевших зрителей, продолжили свои занятия. Альбина вошла в здание нотариальной конторы. Оно было полно серьезных молодых мужчин, желающих застраховать свои машины. В просторном помещении со стеклянными перегородками за компьютерами сидело несколько молодых женщин, имевших исключительно профессиональный вид. Вальяжный немолодой менеджер степенно расхаживал по залам, озирая клиентов.

У кабинета, указанного накануне, никого не было, и она вышла наружу. Впереди слева продолжалось умиротво-

ряющее звучание дудочек с ударными и мелодичное пение, а навстречу ей нерасторжимым целым двигалась группа из трех человек. Из трех родных человек, хотелось бы добавить. Женя Орлов, высившийся в середине, и прильнувшие к нему с боков жена и дочь. У Альбины появилось странное чувство, что Женя, подобно митьковскому Икарушке, пытается взмыть ввысь, а женщины отчаянно блокируют эту его потребность.

— Ты сказала во что бы то ни стало его доставить в любом виде, — запыхавшись, своей обычной скороговоркой доложила Галя, жена. Кареглазая красавица Танечка, счастливо улыбаясь, прижималась к отцовскому плечу.

— Он с утра напился, ты можешь это себе представить? — тарахтела Галя. — Мы не могли его пустить одного, он бы не дошел.

— А я с кришнаитами поплясал, — детски доверительно поделился Орлов. Его голубые глаза лучились неподдельным счастьем.

— Да, представляешь, он вырвался от нас, перебежал дорогу и стал с ними плясать в кружке, мы его еле вытащили, — продолжила Галя, любовно озирая свое нелегкое сокровище.

— Ты не знаешь, а у нас сегодня радость получилась, — выпалил Женя.

У него, серьезного и уважаемого лидера художников-неофициалов, сейчас было лицо ребенка, только что открывшего ящик с подарками от Санта-Клауса.

— Час назад из мэрии позвонили, что они подписали указ и нам отдают часть дома на Пушкинской. Как же я мог это не отметить? Ну скажи?

— Он так это отметил, что забыл все на свете, — говорила Галя, не ослабляя своей хватки. — Мы будем за ним следить, ты не волнуйся. Говори, в каком кабинете нотариус, мы его доведем и глаз не спустим, не волнуйся.

В холле нотариальной конторы заметно прибавилось молодых мужчин в кожаных пиджаках с кейсами и решимостью в лицах. Казалось, они прибыли на совещание своего клана и не собираются сдавать позиции. Возле указанного

кабинета уже сидели Валентин Громов, приехавший с ночной смены в типографии, и высоченный митьковский идеолог Володя Шинкарев. В проходе возникли фигуры неразлучных последние годы Славы Афоничева и Алексея Вермишева. Подошел младший брат Жени Игорь Орлов, лицо которого стойко несло в себе помимо хронической озабоченности почти религиозное осознание значимости каждого мига его земного бытия.

Ждать пришлось недолго. Альбина вошла в кабинет с Валей Громовым, ясно-голубые глаза которого были затуманены усталостью и стало заметно, что ему давно пора домой, к жене, завтракать и отдыхать. Молодцеватого вида мужчина за столом и сумрачная девица, сидящая возле компьютера, словно понимая это, быстро выполнили все формальности. Следующим оказался Игорь Орлов, стойко хранящий на лице все то же выражение хронически травмированного достоинства, а также неподдельного интереса и респекта к своим глубинным мыслительным процессам. Нотариус и сумрачная девица вновь быстро и механически профессионально проделали все формальностии. Игорь, значительно расписавшись, отбыл.

Альбина уже смотрела на часы, с удовлетворением прикидывая, что если все так пойдет, то она освободится где-то через час. И здесь через вторую дверь в кабинет вошел еще один представитель клана мужчин с кейсами и в кожаных пиджаках. Лицо нотариуса вмиг оживилось и даже както расцвело, он упоенно погрузил нос в кучу бумаг и начал вполголоса и с неким подобием родственных интонаций обговаривать многочисленные детали. Альбине показалось, что это длится бесконечно. Наконец процедура закончилась крепким рукопожатием и клиент вышел через ту же дверь, в проеме которой немедленно возник еще один из клана, только на этот раз не в черном, а в коричневом кожаном пиджаке, но зато в руках у него колыхался точно такой же кейс.

Прежний сценарий повторился. То же доверительное бормотание, перебирание кипы бумаг, бесконечные подписи. Альбина тоскливо взглянула на часы. На каждого такого клонированного субъекта ушло не менее сорока минут.

Когда церемония завершилась стандартным рукопожатием и вместо ушедшего клиента за столом по-хозяйски расположился еще один, нотариус вдруг обернулся к ней.

— Подождите немного, я закончу еще одну страховку, — произнес он. Это прозвучало подобием невнятного извинения.

— Я сижу здесь уже больше часа, — возмутилась Альбина, — а в коридоре еще четыре человека и все они пришли точно в назначенное вами время.

— У меня возникли важные внеочередные дела, — веско изрек нотариус. — Это страхование машин, оно требует особого внимания и времени.

Сочтя этот аргумент убийственным, он вновь сунул нос в бумаги. Девица мрачно отстукивала на компьютерных клавишах элегантное стаккато.

— Там, за дверью, сидит Владимир Шинкарев, это художник с мировым именем, — не сдавалась она, — и у него очень больное сердце. Он сидит здесь почти два часа.

Ответа не последовало. Процедура повторялась по уже виденному сценарию. Нотариус, перебирая бумаги, еле слышно бормотал что-то перегнувшемуся через стол клиенту в замшевом пиджаке. Ситуация была ясно обозначена — рыпаться непродуктивно. Альбина вынула книгу...

— Позовите этого, больного, как его фамилия? — вдруг услышала она. Оказалось, что замшевый клиент ушел, а секретарша, явно радуясь возможности поразмяться, кокетливой яхточкой плывет к двери.

— Шинкарев, — прокричала Альбина, очнувшись, наконец, от гипноза роскошного английского языка в романе Рекса Стаута, и тут дверь резко, словно от удара ногой, распахнулась, и вошел Женя Орлов. Он остановился на пороге, как-то незряче вглядываясь в явную даль. Затем глаза его с очевидным усилием узрели силуэт стола, и он двинулся к нему. Это был даже не шаг командора, явившегося наказать женского обидчика. Это выглядело так, словно в комнату вступила сама ростральная колонна и неведомо, в каком направлении она сейчас проследует. Глаза его, которые с каждым шагом почему-то казались еще более выпуклыми, в явной попытке сфокусироваться смотрели в никуда,

а лицо каким-то образом обрело живительный розовый оттенок. Очевидно, за время ожидания алкогольные пары по-хозяйски расползлись по его мощному организму. Было ясно, что сходство с ростральной колонной проистекает из того, что Женя отчаянно пытается не выдохнуть эти самые пары в присутственном месте.

— Как фамилия? Шинкарев? — с некоторой даже долей подобострастия осведомился нотариус.

— Орлов, — громко донеслось из недр Жениного организма.

— Но я вызывал больного, Шинкарева, — озаботился нотариус и взглянул на Альбину. Секретарша, демонстрируя полную индифферентность, двинулась к компьютеру.

— Он тоже себя очень плохо чувствует, — пришла в себя Альбина и за руку поволокла Женю к столу. — Садись, Женечка.

— Распишитесь, — оторопело продолжил нотариус, — вот здесь, внизу. И он бросил на стол анкету, заполненную Женей в коридоре под несомненным руководством Танечки. Этот помятый листок с корявыми буквами, налезающими одна на другую и перечеркивающими строчные линии, явно не нуждался в графологической экспертизе.

Рука Жени с зажатой в ней ручкой подбитой птицей, не понимающей, что происходит и куда она сейчас спикирует, застыла на неопределенной высоте. Альбина схватила эту руку и, преодолевая мощное сопротивление, опустила в правый нижний угол страницы: «Здесь, Женечка».

Женя вышел, так ни разу и не выдохнув бушевавшую внутри стихию. Альбина всегда знала, что он способен на подвиг.

Следующим, в ощутимо мрачном настроении, зашел Володя Шинкарев. За ним появились один за другим Алексей Вермишев и Слава Афоничев. Оказалось, что красивая фамилия Вермишев всего лишь псевдоним, прикрывающий обескураживающе оскорбительную первоначальную — Шавочкин. Лучше не раздумывать над тем, чего натерпелся Алеша Шавочкин в школьные годы. Альбина расписалась в каждой анкете и после того, как все удалились, еще и в бумагах, остающихся у нотариуса, и вышла в коридор.

Народу заметно убавилось, члены клана автовладельцев испарились, а направо, в дальнем конце коридора, из-за угла вдруг появились Афоничев и Вермишев с выражением полного удовольствия на физиономиях.

— Чему вы так радуетесь? — спросила она. — И почему вы еще здесь? Все наши давно ушли. А вы что застряли?

— А там туалет, да еще какой, — поделился радостью Вермишев.

— Прекрасно, здесь так душно, хочется хоть до какой-то воды добраться, — обрадовалась Альбина и двинулась по коридору.

— Женщина, — донеслось сзади.

Она, не оборачиваясь, продолжила движение.

— Дама, — в голосе за спиной возникли истерические ноты, — туда нельзя. Туалет только для сотрудников.

Альбина, не реагируя, двигалась дальше. Голос не отставал, за ней почти бежали, слышалось пыхтение и частый стук каблуков. Завернув за угол, она увидела искомую дверь, вошла туда и закрылась на задвижку.

— Нахалка, — яростно провизжало за дверью, щелкнул выключатель и свет погас. Альбина нащупала раковину и, приоткрыв дверь, выглянула в коридор. Гневно втыкая в деревянный пол туфли на высоченных каблуках и потрясывая облеченными в ярко-красное платье бедрами, в обратную сторону удалялась женская фигура.

— Анатолий Николаевич, — спустя несколько минут обратилась Альбина к менеджеру, все тем же значительным павлиньим шагом расхаживающему в холле, — не могли бы вы прояснить ситуацию, которая только что случилась со мной?

— Вы можете указать женщину, которая так себя вела? — переварив изложенное, грустно спросил мужчина.

— Конечно, она в красном платье, сидит за стеклянной перегородкой.

Они вошли в зал и менеджер, затормозив у стоящего в самом центре комнаты стола и не удостаивая взглядом сидящую за ним барышню, неожиданным, профессионально ораторским тоном произнес:

— А. В., я приношу Вам извинение за недостойное поведение наших сотрудников.

Девица молчала. Лицо ее полыхало на порядок больше, чем ее вызывающе красное платье.

— Спасибо, Анатолий Николаевич, всего хорошего, — ответила Альбина в тональности той же минорной гаммы и вышла на улицу.

Улица Восстания выглядела гораздо более оживленной, чем раньше. Кришнаиты исчезли и с ними ушло состояние легкости и праздника. У круглого здания метро, где приезжие парни лузгали семечки, сплевывая шелуху прямо на асфальт, расположились женщины, продающие цветы. Звуки транспорта на Невском сливались в мощную какофонию. Она шла на Пушкинскую. Там сегодня был праздник.

2000 г.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН

(Из неоконченной повести)

Мастерская скульптора Куриляка — одноэтажный флигель — была расположена удачно, вблизи метро «Василеостровская», во дворе старого громоздкого дома. Флигель, казалось, впился в землю, такой он был низкий. Еще в дверях она разглядела в серой мгле комнаты квадрат хозяйской фигуры.

— Кого я вижу? Доменико, дорогой, ты сегодня на редкость точен. Прекрасную даму приветствую. Великолепно! Дела мои нынешние завершены, я категорически ваш.

Посредине комнаты на высокой подставке стояла модель скульптурной группы людей в гипертрофированно воинственных позах. Одеты они были тоже по-военному, и эта тавтология перечеркивала намерение автора вложить сюда хотя бы намек на искусство.

— Это не стоит внимания, — не глядя, словил реакцию скульптор, — двое детей стоят денег.

— А жена не стоит? — не вытерпела она.

— Жена не стоит, а стоит на деньгах, — попробовал слова на язык ее провожатый и, сам себя одобряя, прищелкнул языком. Пергаментная желтизна кожи усугубляла обманчивую трагичность огромных черных глаз. Двойная экзотика — Армении и профессии художника, а, возможно, и рисунок глаз, с чуть оттянутыми вниз, в глубь лица, нижними веками, дала его здешним друзьям повод наделить его именем великого грека[1].

— Моя жена — человек в прозе, среднее звено медицинских работников, она твердо стоит на ногах, дорогой Доменико, и подрабатывает уколами на дому, а посему мы прозябаем в оголтелой роскоши и временами бываем на юге.

Жестом ковбоя, накидывающего лассо, он метнул на скульптуру кусок ткани и подвел их к стене.

— Можете проверить по фотографиям.

Его фигура в пляжном экстерьере, битком набитая бицепсами, была нелепо устрашающей и словно распирала фотографию вширь.

— Приходится спортивным образом компенсировать ошибку судьбы, — опять, не глядя, поймал скульптор ее невидимую реакцию. — Я ведь не должен был получиться таким малышом, я был очень рослым ребенком. Жизнь начиналась с экзотики. Я родился на Западной Украине, служил в детстве грумом у одной графини, а в двенадцать лет упал с лошади и перестал расти. Графиня страшно убивалась из-за меня... Она была потрясающе красива.

Он с вызывающей виртуозностью сделал кувырок назад и, встав на руки, прошелся вокруг гостей.

— Я направляюсь на кухню, — сообщил он игриво, — настало время испить чаю.

— Зачем чай, когда можно выпить кофе, — ответил ему теноровый голос, и в дверной прямоугольник вписалась сутуловатая мужская фигура с глазами загнанной рыси.

— Валентин-Мария, ты, как всегда, кстати, жаль, не успел встретить тебя экзотическим способом, — хозяин мяг-

[1] Испанский художник Эль Греко (1541–1614), уроженец острова Крит, настоящее имя — Доменико Теотокопулос.

ко встал на ноги, — Доменико ты знаешь, а это Галина. Мы ей очень обязаны. Если бы не она, Доменико ни за что бы сюда не добрался.

Человек вошел, странно озираясь. Лицо его тускло просияло при виде художника.

— Доменико, — ласково произнес он, — как прекрасно, что ты здесь. Есть возможность показать тебе наших ребят, все это у меня дома, лучше сразу туда направиться, я кое-кого жду. И кофе у меня вчера возник, гости принесли, так что давайте совместим кофе с живописью...

— Это далеко? — с обычной своей меланхоличностью, придающей важность интонации, осведомился гость.

— Это не то слово, что рядом, это вплотную, на такси пять минут, — вставил скульптор. — Вы отправляйтесь, я подъеду минут через пятнадцать.

* * *

Шофер в бешенстве крутанул руль. Машина ухнула и, переваливаясь уткой среди заплат асфальта, укатилась за угол.

— Это за недополученный рубль и за то, что посмели иметь наглость прокатиться на полторы трамвайные остановки, — с невозмутимостью гида прокомментировал Валентин-Мария.

По лестнице они поднимались почему-то на цыпочках. Валентин-Мария крался впереди. Коверкотовое пальто, черный берет, измученность глаз делали его похожим на несостоявшегося Мефистофеля. Он привычно, без суеты и шума, повернул винт ключа, и они вошли в черный сундук квартиры.

Тьма была искусственной и оттого особенно непроглядной. Когда он, долго ощупывая стену, нашел, наконец, выключатель, шарканье руки по стене в несвежей темноте квартиры сменилось видом в духе блокадного Ленинграда. Лимитной тусклоты лампа, словно пугаясь самой себя, исподтишка подсвечивала стены. Валентин-Мария (имя она приняла, как данность, никогда после не мучаясь вопросом, что оно означает), аккуратно повесив пальто на вешалку, ба-

лериной вплыл в узкую комнату и, достигнув окна, поправил уголок одеяла, которым оно было занавешено.

— Раздевайтесь, — шепотом произнес он, — вы не удивляйтесь, милая дама, я говорю тихо, соседям не стоит докладывать лишним шумом, что здесь кто-то есть.

Это была однокомнатная квартира-карлик, радость новоселов. Сколько таких минимумов пространства со сплющенными потолками видела она: пространств, заполненных горками, сервантами с хрусталем и сервизами, пространств со шторами на окнах, разноцветными светильниками, книжными полками, заставленными макулатурными книгами, с залакированными полами в комнатах и разноцветьем квадратиков в ванных, кухнях и прихожих, с посудными импортными мойками и цветными унитазами.

Здесь же ничего этого не было, зато нежданным истязанием ринулась на нее со стен магия картин. Работы были разные, но чем-то невидимо спаянные. Может быть, и сходство было потому, что почти каждая казалась неожиданностью. Никакая мебель не мешала празднеству. Работы толпились на стенах, роились на них почти от пола до самого, недалекого, правда, потолка, представляя вопиюще разномастную ярмарку искусства. Различие их казалось естественным продолжением гофманиады этого вечера, начавшейся в мастерской скульптора.

— Вот, Доменико, это акварели Ротенберга, ты их еще не видел, а это Леночка Фигурина, восходящая звездочка...

Пол был не просто грязен, он был ужасен: окурки, песок, конфетные сплющенные фантики и смятые сигаретные коробки покрывали линолеум как несвежее исподнее. Чем-то этот пол напомнил Галине южный пляж, виденный ею в поселке Гантиади на Кавказе: поруганный песок, стыдливо выглядывающий из-под тех же сплющенных фантиков и осколков бутылочного стекла.

— Вы, ради Бога, не пугайтесь, здесь теперь никто не живет. Иногда приходят люди посидеть, отдохнуть за разговором. Такая непринужденность без жертв не обходится, наш пол тому свидетель.

Только сейчас она заметила, что и прихожая была полна картин: они подступали вплотную к выключателю и оккупировали крошечное пространство от пола до потолка.

Ее спутник, привычно цокая языком, почти вжимая плоскость лица в одну из работ, проговорил:

— Мне нравится эта женщина. Мне близка такая живопись, в ней много отчаяния, да и фамилия наводит на всякие мысли, — и он посмотрел лукаво, предоставляя возможность насладиться остроумной мыслью. Восточная желтизна кожи вкупе с тут же занявшей позиции трагической печалью глаз делали его много старше реальных лет.

— На этот раз ты ошибся, Доменико... Это Леночка Фигурина, она тоньше веточки, такая мадоннистая девочка... Только начала, а взгляни, что делает, — волновался Валентин-Мария, длинными скорбными перстами фокусируя общее внимание на примитивистского толка работах, где нарочито яркие краски не в силах были закамуфлировать крик боли.

— А Володя Шагин, как всегда, радуется жизни, а она у него ой-ой-ой какая несладкая. Рядом Кира Миллер, он совсем дитя, но очень скептичен, начинает абстракциями, неплохо, правда? Интересно, они чем-то очень теплые, думаю, он еще займется сюжетами. А сейчас мы поставим чайник, у меня с собой печенье, через полчаса придут несколько ребят. А вы, Галина, почему не садитесь?

— Можно я приведу в порядок пол? — извиняясь интонацией, спросила она.

— О, естественно! Здесь вы можете делать все, что хотите, эта территория — свободное суверенное государство, а если вы сделаете уют в моем доме, мы вам поклонимся до земли. Здесь трудно поддерживать порядок, слишком много людей заходит, — и, не прерывая ни на секунду речевое аллегро, Валентин-Мария ринулся в кухню за ведром.

— Это мне очень интересно здесь, — важно говорил тем временем ее спутник, — я просто отдыхаю, это со мной в Ленинграде еще не случалось. Я еще не видел в этот приезд столько хороших работ.

Когда она тряпицей размером с мужской носовой платок доскабливала грязевые угодья, морзянкой крякнул зво-

нок. Балетным броском Валентин-Мария достиг двери. Вошел озабоченный Куриляк и тут же, догоняя его, возник молодой человек, сосредоточенный на чем-то своем.

— Вы уже здесь, — тускло восхитился хозяин дома, — заходите, все готово к чаю. Сегодня закрытый день, я никого больше не жду, я вообще сюда не собирался, это экзотический гость Доменико меня вдохновил. Вы знаете, Галина, здесь всегда много красивых девушек, а сегодня вы у нас одна. Вы сегодня наша королева, наша прекрасная дама, окажите нам милость, разлейте чай. Пока вы мучились с полом, мы принесли стол из кухни. — Мы сейчас поговорим немного о живописи. Это новая живопись, она наша современница. Почему-то новая музыка и поэзия не подвергаются в этой стране такому остракизму, как живопись. Не странно ли это?

— Вы не удивляйтесь, Галина, — скульптор уже не напоминал клоуна-эксцентрика, голос был усталым, — мы приходим сюда отдохнуть, посмотреть хорошие работы, поговорить, ну, иногда что-нибудь послушать. Удивительно, что такое можно встретить в одном из этих новых домов. Они мне напоминают искусственное осеменение — однояйцевые близнецы с одним и тем же наполнением. Ну и Бог с ними. Андрюша, ты нас сегодня порадуешь?

Сосредоточенный в себе юноша мрачно кивнул:

— Я сегодня прочитаю не свои стихи, а Юлии Вознесенской, она объявила голодовку. Только сначала выкурю сигарету.

— Андрей у нас очень серьезный, — любовно сказал хозяин квартиры, — он учится в университете на вечернем, а работает проводником по Витебской дороге.

Трое мужчин, исключая ее спутника, закурили, и узкие злые струйки дыма потекли вверх, где, слившись воедино, образовали некое мистическое марево, и за этой пеленой потеплели работы на стенах и различность их не ударяла больше по глазам.

— Вы знаете, я никогда еще этого не говорил, но сегодня почему-то хочется сказать, что я счастлив, — спокойно

произнес Валентин-Мария. — Я никогда не думал, что, не имея ничего, можно иметь все и даже больше, чем все. Эти картины на стенах и их авторы — самое основное в моей жизни, это ее единственный смысл. Эти работы пока можно увидеть только здесь и еще в нескольких подобных домах. Я не понимаю и никогда не осмыслю, почему их боятся большевики, каким образом подрывает их устои крик Леночки Фигуриной или Христос Исачева? Или, скажем, великолепная живопись Володи Шагина? Я почти уверен, что многие из этих ребят со временем прославят и город и его искусство. Я предлагаю тост, правда, сегодня только чайный, за всех за них и еще за Юлю Вознесенскую, она, как храбрая птичка, бьется сейчас в тюрьме. Начинай, Андрюша, с Богом...

Усталость ее истаивала. Немолодая, с избыточным весом, она была рядовой учительницей. Друзья умолили ее в свободный от уроков день сопроводить их ереванского гостя в мастерскую скульптора. Происходящее оборачивалось притягательной запретной мистерией. Она не знала, кто такая Юлия Вознесенская, не ведала, что поэтесса попала в тюрьму за «антисоветскую деятельность», но слушала незамысловатые стихи с интересом.

Эта тайная вечеря советских времен и невиданные ею доселе люди навсегда поселились в сознании.

Словно персонажи булгаковской коробочки, откуда явилась лучшая его пьеса.

1982 г.

О действующих лицах этого фрагмента:

Роман Петрович Куриляк (1941–2005) — скульптор, член ЛОСХа. С 1981 по 2005 г. преподавал в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной на кафедре рисунка пластическую анатомию. Обаятельный, эксцентричный человек, он трагически погиб при пожаре, пытаясь вынести из огня сына.

Валентин Прохорович Самарин (Валентин Тиль Мария Самарин, р. 1928) — российский фотограф, художник, мета-

физик. Преследовался КГБ СССР, в 1981 году эмигрировал во Францию. В настоящее время живет в Санкт-Петербурге.

Юлия Вознесенская (р. 1940) — прозаик, поэт, активная деятельница в кругах неформального искусства. Публиковала стихи в журналах «Часы», «Посев», «Грани» и пр. В 1976 г. была осуждена на пять лет ссылки за антисоветскую пропаганду. В 1980 г. эмигрировала из СССР. Живет в Берлине.

НЕОРТОДОКСАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

(К некоторым аспектам современного искусствоведения)

— Понимаешь, А., — воскликнул во время спартанского чаепития в мастерской чудесный художник-колорист А.Л., — два негодяя вершат судьбу русского искусства.

Речь шла о двух ведущих искусствоведах престижного музея. Говорят, что замдиректора этого музея по науке, властная дама с нимбом Екатерины Великой, в советские, каннибальские для искусства времена, увольняла сотрудников, замеченных на выставках неофициалов. Даже совершенно замечательная личность, одна из ведущих специалистов музея, впала в ступор, когда я спросила ее, была ли она лично знакома с моим мужем, которого, как и многих его друзей, уж никак нельзя было упрекнуть в создании дерзостных композиций, порочащих государство рабочих и крестьян.

— Я же была музейный человек! — наглядно мучаясь, высказалась она. — Для нас все двери к авангардистам были закрыты. — У нее был высокий чарующий голос.

«Они ведь не были заколочены досками, эти двери», — подумалось мне, но подругу, которую нежно любила и уважала, я пожалела.

А два необозначенных по имени «негодяя» ныне возглавляют список лиц, к которым с пачками купюр обращаются зачумленные в прошлом «авангардисты» (почему художников, не членов хлебного Союза художников СССР, нарекли авангардистами, неясно), желающие получить фирменную статью к своему альбому. Звезды искусствоведения не подводят заказчиков: водопады хвалебных сентенций, философские размышления и внезапные озарения в безупречной словарной упаковке доставляются в установленный срок.

Многократно ошельмованные в прошлом художники в этих эссе предстают «мастерами кисти», «выразителями определенных художественных течений» и, естественно, «новаторами».

Один из эссеистов в голодные перестроечные времена активно подкармливался у широко известного в кругах неофициалов художника. Известен же он был своим хроническим алкогольным синдромом и бередящими, выворачивающими душу лаконичными коллажами на тему недавней советской истории. Одаренный еще и недюжинным талантом политика, художник этот (хотя я бы скорее назвала его коллажистом, поскольку ничего другого он, будучи историком по образованию, не делает), нежно дружил с маститым искусствоведом. Когда голодные времена подошли к концу, искусствовед в частном разговоре заявил крупнейшему американскому специалисту в области русского искусства Д. К. (опять-таки, по несчастному совпадению, моей близкой подруге), что это именно он сотворил образ вышеупомянутого художника и ввел его в мир большого искусства, а без него тот просто ничто, черная дыра, и пьет, соответственно, вчерную. Он, конечно, редко бывал на выставках ТЭИИ, где коллажи вышеупомянутого художника в те постные для настоящего знания времена многие зрители воспринимали как откровение.

Однажды Алек Рапопорт спросил меня, имея в виду маститого искусствоведа:

— Ты случайно не знаешь, кто такой N. N.?

— Конечно знаю, — воскликнула я, — это такой похотливый еврей с горбом.

— Похотливый еврей с горбом! — эхом отозвался чистейшая душа Алек.

Чувствовалось, что с данного момента образ этот оказался навеки впаянным в его безразмерный творческий потенциал.

Произвольная эта характеристика сцементировалась в голове после того, как та же подруга-американка (которую в силу высокой человеческой породы принимали за английскую леди, что ее очень обижало) однажды пришла на встречу

в Санкт Петербурге в состоянии горячечного возбуждения, а это было ей совершенно несвойственно.

— Меня попросили помочь американской паре из Сан-Франциско — посоветовать с пополнением коллекции русского искусства. Они очень милые и состоятельные люди. С нами все время ездил N. N., — торопилась высказать свое недоумение моя замечательная, истинный эталон тактичности, подруга. — Он постоянно заводил их в самые дорогие рестораны, они же этого не понимали. Когда мы поехали в Пушкин на такси, он активно оглядывал проходящих женщин, а когда увидел очень симпатичную молодую блондинку, попросил остановить машину и пригласил ее поехать с нами в Пушкин. Она с удовольствием села в машину, и дальше мы ехали все вместе. Они, наверно, думали, что здесь так принято, — горестно завершила Д.

Позже супруги передали коллекцию в дар музею Зиммерли в штате Нью-Джерси. За счет миллионера Нортона Доджа был напечатан внушительный каталог с работой Олега Целкова на обложке. Работы Целкова, бывшего когда-то одним из лидеров московских нонконформистов, притягивали и отталкивали в одно и то же время. Расплющенные в лепешку физиономии на полотнах завораживали магией цвета. Помню, что Саша очень уважал Целкова как художника. Работа на обложке каталога называется «Человек с несколькими лицами и вилкой». Обложка цвета разбавленного вишневого сока, условные физиономии в этом тумане и расплывчатая вилка, стоящая вертикально. Наш герой изображен на большой внутренней фотографии с владелицей коллекции, невысокой корпулентной, демонстрирующей все атрибуты богатой, но со вкусом женщины: тройная нитка жемчуга на шее, соответствующие капельки в ушах, браслет и кольцо на правой руке, в то время как левая, обнимающая нашего героя, не видна. Одетая в элегантные брюки с заправленной в них фирменной футболкой, она очень симпатично, искренне улыбается.

Музей Зиммерли, расположенный в штате Нью-Джерси при университете Ратгерс, славится коллекцией советских

авангардистов, а также всеядностью его основного спонсора, покойного Нортона Доджа. Эксцентрический миллионер впервые приехал в СССР в семидесятые годы и был огорошен небывалым количеством неофициальных художников и разноликостью их работ. Скупив массу картин, в основном москвичей, он создал огромную коллекцию, а позднее и музей советского «авангардистского» искусства. Ленинградцев, находившихся тогда в стороне от торговых путей, было на порядок меньше, чем столичных жителей.

В обзорной статье к каталогу собрания этой калифорнийской пары маститый искусствовед общими округлыми словами охарактеризовал каждого художника. Изумительный живописец Алек Рапопорт удостоился лишь упоминания, что является членом группы еврейских художников «Алеф».

* * *

Один хороший, не изобретший, однако, велосипед, добротный книжный график как-то попросил нашего героя, с которым приятельствовал и который к тому времени достиг запредельных высот в своей карьере, написать о нем статью к выставке в уже упомянутом престижном музее. Критик задрал голову, чтобы обозреть приятеля, обладавшего исключительной библейской внешностью:

— Я теперь пишу только об очень знаменитых личностях, — сказал он, — и беру тысячу баксов за страницу.

Насладившись пасмурным пейзажем на лице приятеля, он включил внутренний тормоз и нежным diminuendo завершил:

— А с художников я беру унижением.

Он все же написал статью к выставке. Я ее читала и она показалась мне довольно пакостной. Так же, как и книжному графику.

Владеют ли мной негативные чувства по отношению к провозвестнику новейших течений в престижном музее? Бесспорно, владеют. Чувства эти, надо сразу признаться, застарелые. И они не из области вдовьих комплексов. Они из области вечного космического недоумения.

Когда в Ленинграде в 1986 году в Манеже состоялась первая совместная выставка художников-членов ЛОСХа (Ленинградского отделения Союза художников) и неофициалов, Александр Манусов предложил сделать ретроспективную экспозицию, над которой, совершенно осчастливленный, работал денно и нощно. Он печатал на охающей от старости машинке биографические справки о каждом из двадцати двух художников, этикетки ко всем работам, общий текст о значимости этих художников, многие из которых были его друзьями и теперь оказались в других странах[1]. Помню, как он обзванивал коллекционеров, выпрашивая ценные работы (слово «выпрашивал», честно говоря, неуместно, так как все, абсолютно все коллекционеры, включая державшуюся в стороне вдову художника Вадима Рохлина Тамару, предоставили ему картины). Игнорируя бунтующее сердце, он лично ездил за работами, составлял план развески, участвовал в их размещении. Экспозиция эта стала главной изюминкой огромной выставки.

Выставку почтило приездом телевидение, Сашу просили прокомментировать созданную им экспозицию. Он растерялся перед камерами, темпом процедуры. Да и значимость момента давила. Пытаясь отвечать на сыпавшиеся горохом вопросы ведущей, он не смог продолжить словарный марафон на заданной скорости, а за его спиной рвалась к микрофону команда гораздо более красноречивых друзей. Веря, что настал момент истины, все жаждали выкрикнуть хоть что-то из эпопеи борьбы и бедствий художников-неофициалов. Репортаж оказался скомканным, Саша пришел домой в отчаянии. Но впервые в советской истории в эфире были показаны работы недозволенных властью художников и прозвучали их имена.

Сам же он выставил огромный триптих, который потом шел с подзаголовком «Желтый», с немудрящим названием «У воды». Там три полотна с такими же немудрящими названиями «Утро», «День» и «Вечер». (Позднее художник и искусствовед Генрих Кенне запальчиво прокричит мне

[1] Текст А. Манусова помещен в приложении в конце книги.

в телефонную трубку: «Обскакал меня Сашка с эти триптихом аршинными шагами. Желтый — самый трудный, самый невозможный цвет для работы, а он сделал невероятное...»). Среди разноцветья и многотемья кричащих, взывающих к немедленному вниманию зрителя полотен, обступивших триптих, он казался совершенно инородным, доставленным с другой планеты.

Может быть, из-за этого его и не приметил кормчий новейших течений. В своей речи в день закрытия выставки, ради которой собралась масса народа, он изящно обошел вниманием работу Манусова. Мы напряженно вслушивались в слова оратора, усердно перечислявшего экспонентов выставки, но имени Саши он так и не изрек, его словно не существовало.

Дня через три после закрытия выставки Саше позвонила искусствовед Татьяна Шехтер, оглушенная желтым триптихом. Она попросила разрешения познакомиться с художником. Она осталась с нами навсегда.

Уже после смерти Саши Евгений Орлов, тогда еще Женя, приходя ко мне домой, простаивал часы перед последней частью триптиха «Вечер» — лишь эту работу мне удалось повесить в тесноте купчинской квартиры. «...я в общем-то до конца так и не понял, как он это делал. Для меня он навсегда остался такой большой загадкой, на которую всегда можно ориентироваться», — сказал позже художник Евгений Орлов, президент Товарищества «Свободная культура».

* * *

Второй сотрудник престижного музея пишет хорошие, по делу, книги. Язык его вызывает уважение. И сам из хорошей семьи — сын известного писателя и брат выдающегося деятеля кино. Я встретила его только однажды на борту самолета Петербург — Нью-Йорк. Он летел с искусствоведом Владимиром Перцем, которому почему-то в самом начале полета сосед сзади дал по физиономии. Мы с дочерью совершенно случайно летели бизнес-классом, потому что других билетов не было. Когда я вошла в преступную, на

мой взгляд, тесноту экономического класса, которым теперь летаю всю жизнь, веселенькая физиономия еще одного великого искусствоведа сразу бросилась в глаза, особенно по контрасту с угрюмым Перцем, левое око которого наливалось предгрозовой синевой. Они явно уже отпили спиртного и маститый номер два был в состоянии отчетливой эйфории.

— Сколько работ Саши ты везешь? — мрачно спросил Перц.

— Ни одной. Пришла искусствовед, у нее глаза смотрели в разные стороны. Она сказала, что работы неправильно оформлены и что же это нам так дешево оценили этих замечательных художников, которые на таможне в особом списке. Там еще Саши Гуревича было пять работ. Так что все поехало обратно в Купчино.

— Надо было меня найти, — сказал второй маститый, — я бы им сказал, что эти работы ничего не стоят.

Бутылочка с вином стояла на его столике дорожной амфорой. Если бы клоп, насосавшийся человечьей крови мог улыбаться, он бы делал это точно так же.

* * *

Моя подруга, очень большой художник, однажды удостоилась внимания бандитов, проживающих в столице Российской Федерации. Надо сказать, что бритоголовые, со шрамами молодцы, явившиеся к ней в дом, оказались не худшими представителями нынешнего российского общества. Во всяком случае, их слова никогда не расходились с делом. Они откровенно разъяснили потрясенной подруге, что собираются получить финансовую выгоду от продажи ее работ и хотят сделать ее выставку, а также издать огромный, в двух томах, альбом. Выставку они сделали. Альбом издали. Когда же выяснилось, что финансовой выгоды не получилось, они галантно завезли ей в квартиру весь тираж альбомов и распрощались.

Я нахожу их действия на порядок более честными, чем контрдансы с экивоками высокопоставленных чиновников из престижного музея.

К этому альбому моя подруга заказала у маститого номер два статью и осталась ею очень довольна. Я не читала статью полностью, потому что фрагмент, который попался на глаза, когда я раскрыла статью, гласил, что подруга моя изобрела «особых человечков» с их особым миром. Я не думаю, что это «особые человечки». Просто художница, не получившая (может быть, к счастью) профессионального образования, рисует так, как может. И получается такой цветовой феномен в этих фигурах с дополнением птиц и зверей, что сгусток образуется в горле, когда их видишь. И работы ее «гудят» так же, как работы Саши. Это работает цвет. Эта сверходаренная женщина оставляет на полотне магический вибрирующий мир, как бы особый храм скорбящих в радости. А радость от того, что не такие уж мы безнадежные, есть в нас и сострадание, и любовь, и раскаяние.

Стоимость печатного слова искусствоведа номер два неясна. Знакомый художник — старый друг Саши, поставивший изготовление пейзажей и портретов во всех точках земного шара на поток, исполосовавший планету своими перелетами, также заказал статью у номера два. Альбом этого представителя ордена странствующих живописцев — скорее, маленький буклет по недостатку средств — с множеством пейзажей и портретов, содержит очень хвалебную статью. На мой вопрос, сколько может это стоить, художник промолчал.

* * *

Молодая поросль искусствоведов запузырилась на поверхности неофициального ленинградского искусства в перестроечные восьмидесятые. Декорации вдруг поменялись местами, и на коммерческую авансцену ненадолго вынесло «авангардистов». Мальчики и девочки-мажоры, в основном дети значительных родителей, штудирующие мировое искусство в стенах ленинградского университета, чуткими молодыми носами учуяли ветер перемен и забегали по мастерским, изучая группы художников и их творческие системы.

С тех пор они, выстроенные клином, то бишь «свиньей», в манере войск тевтонского ордена в исторической битве на льду Чудского озера, вгрызаются в нестройные ряды современных художников. Первое имя из этой невской когорты, услышанное мною от Саши, было Катя Андреева — юная студентка, которая просила его помочь с изданием книжки о «Газаневщине». Саша ринулся на помощь со всегдашним энтузиазмом. Он снабдил ее абсолютно всеми материалами по участникам обеих выставок. Изданную книжку он не увидел. Его уже не было к этому моменту. Как сказал 28 августа 1990 года его друг, художник кино Виктор Иванов, «в этот день над городом пролетал какой-то плохой корабль. И он забрал Сашку».

Книжка «Художники Газа-Невской культуры» вышла в том же году. Маленькая, очень милая, с дельными текстами Екатерины Андреевой, с пятью фрагментами из Сашиных работ — дань благодарности начинающего искусствоведа. Рецензировал книгу маститый номер один. Кстати, он помогал монтировать выставку в Невском, он есть на одной из фотографий того времени: тщедушная, с шапкой волос фигура, в огромном зале, в явном экспозиционном пылу тащит одну из работ.

Позже Екатерина Андреева, вопреки своей генетической интеллигентности, проворно заняла важное кресло в фонде легковерного американца Сороса. Там же обосновалась супружеская чета Коловских, Захар и Елена.

Красавица Елена Коловская сидела при входе за комфортабельным столом. Катя Андреева разместилась в просторном светлом кабинете. Она излучала приветливость в тональности ми мажорной гаммы. Мебель везде смотрелась дорогой, для посетителей было оборудован специальный, как говорили раньше, зал.

Не снижая степени излучения своей благорасположенности, Катя грустно сообщила, что они не могут способствовать моей просьбе и помочь с изданием первого и посмертного альбома Александра Манусова.

— Вы же знаете, как я отношусь к Саше, — скорбно призналась она, повернув в мою сторону точеную, под камею, головку, — но у нас такое безграничное число заявок,

а денег совсем ограниченное количество. Мне очень жаль, но это невозможно.

Это был плач Ниобеи, и я ей посочувствовала. Ведь так трудно лгать, не пройдя специального семинара по актерскому мастерству.

Позже ей все же пришлось ответить на вопрос, почему отказано в помощи с альбомом Манусова жене американского консула в Петербурге Ин-Ми Гознелл, которая сама работала помощником атташе по культуре и, к несчастью, тоже оказалась моей приятельницей.

— Манусова мы рассматриваем как художника-классика, — сообщила Катя, — а сейчас мы продвигаем новейшее актуальное искусство, таких художников, как Леонид Борисов и ему подобных.

Сказано это было на заре открытия отдела новейших течений престижного музея. Отдел был открыт маститым номер один в 1991 году.

Представляю Сашино веселье, если бы он при жизни узнал, что представительница престижного музея зачислила его в классики.

Екатерину Андрееву ожидала блистательная карьера. Уже в то время она сочетала директорство в фонде Сороса с должностью хранителя фонда в отделе новейших течений музея.

Леонид Борисов получил по тем временам хорошую сумму на издание альбома.

Из статьи маститого номер один к одной из последних выставок Леонида Борисова:

По степени формульности, опосредования, отказа от ассоциаций с «натурой» он несомненный представитель concrete art. (...)

Теперь эти приемы в буквальном смысле вынесены на поверхность, на первый план: есть и повторы и раппорты, но есть и гораздо более сложные приемы симметрии, подобия, «расклады» калейдоскопического плана, симметрия кривых зеркал. Все эти операции артикулированы: разного рода силовые линии и энергетические векторы в буквальном смысле эксплицированы — они маркируют поверхность в виде прямоугольников, овалов, стрелок.

...Борисов открывает для нас многое: наличие, в казалось бы, «насквозь» знакомых произведениях определеныых матриц сознания, красоту чистых визуальных манипуляций, свободную навигацию по пространствам художественного мышления.

«По степени формульности опосредования»!

«Разного рода силовые линии и энергетические векторы в буквальном смысле эксплицированы»!!

«Свободная навигация по пространствам художественного мышления»!!!

Иногда мне кажется, что современное искусствоведение превращается в зону дозволенного надругательства над русским языком и становится одним из проявлений интеллектуальной безнравственности.

«Что, он не понимает, что есть Гольбейн?» — горестно задал как-то риторический вопрос Евгений Тыкоцкий, когда речь зашла о маститом номер один.

Позже, когда я, собрав подписи виднейших художников города (Леонид Борисов, также подавший заявку в Фонд Сороса, чистосердечно признался Елене Фигуриной, что боится подписать письмо в защиту альбома Манусова — а что если начальство Фонда обидится на него и не субсидирует его собственный альбом?), обратилась в управление Фонда в Нью-Йорке[1], через неделю после этого чиновный юноша в предбаннике сказал мне с тем же накалом скорби, с которым прежде было отказано, что в помощь изданию альбома предоставляется сумма в размере тысячи долларов. Леонид Борисов получил на издание своего альбома в пять раз больше.

Екатерина Андреева теперь доктор философских наук, кандидат искусствоведения, ведущий сотрудник отдела новейших течений престижного музея, главой которого пока является маститый номер один.

[1] Полный текст письма художников в фонд «Культурная инициатива» помещен в приложении к данной части.

* * *

Из трех Сашиных выставок, состоявшихся в Петербурге за короткий период (с 2008 по 2010 г.), две выпали на апокалиптические, с точки зрения жителей города, зиму и лето. Зима поражала изобилием никогда не убиравшегося снега, а лето — невиданно долгой жарой, которая временами доходила до тридцати семи градусов по Цельсию. Я жила на Пушкинской, и тонкая стенка отделяла мастерскую, в которой я находилась, от мастерской Олега Котельникова, друга и соратника Тимура Новикова.

Тима Новиков, начинавший как замечательный пейзажист, вдруг стал основателем новой эстетики, сплотив вокруг себя группу приятелей. Где-то в начале восьмидесятых, в разгар выставочного периода во Дворце молодежи, мы с Сашей шли по залу и он, указав на стену, где обычно «висели» Тимур Новиков, Иван Сотников и другие близкие им художники, сказал:

— А вот и «Новые дикие». Тимур теперь тряпками увлекся.

Задорное это сочетание — «Новые дикие» — воспринималось легко. Позже они стали именовать себя «Новыми художниками». Сам Тимур предался изготовлению больших полотен с вживленными туда фрагментами сюжетов. Произошло это задолго до того момента, когда художники отвоевали часть дома на Пушкинской, 10. На дверях нескольких небольших комнат на четвертом этаже появилась помпезная надпись — Новая академия. Насколько я понимаю, Тимур твердыми шагами двигался к тому, чтобы предать анафеме современное искусство. Он говорил о том, что Малевич, Кандинский и Пикассо — враги прекрасного. Позже Тимур издал книгу, где восславил политику Гитлера в области искусства. Сам он стал президентом своей Академии, провозвестником неоклассицизма и, конечно, академиком этой самой «Новой академии». К сожалению, он, как говорили, подхватил весьма некачественную болезнь, от которой потом ослеп. Высоченный и худой, с длинной черной бородой, ведомый трепетными адептами, он походил на патриарха. А, может, даже на Будду или вконец обессилевшего Махатму Ганди. В этой процессии чудилось нечто сомнитель-

ное и театральное. Я симпатизировала Тимуру и мне было его очень жаль, несмотря ни на что. Я была знакома с его чудесной мамой, Галиной Васильевной. Она была смотрителем на первой посмертной выставке Александра Манусова в редакции журнала «Аврора». Ее попросил Тимур, а Тимура попросила его давнишняя приятельница Елена Фигурина. Мы очень подружились с Галиной Васильевной. Она много рассказывала о Тимуре, радовалась той комфортной жизни, которую он для нее создал последние годы. У нее еще была дочь, которая скончалась через год после того, как на ее глазах утонула маленькая внучка Галины Васильевны. Я боялась подробнее спрашивать об этой трагедии. Но Тимур делал все, что мог, чтобы скрасить жизнь своей матери. Она мне много рассказывала об их семье. Было очевидно, что она не переносит Андрея Бугаева, мальчика Бананана из культового фильма «Асса», и Африку среди художников. Она рассказывала о неприятностях, которые устраивал Тимуру явившийся из провинции панк, звезда экрана и «крупная личность» в новейшем искусстве, и говорила, что Тимур давно с ним не поддерживает отношения.

Возвращаясь к Екатерине Андреевой, хочется отметить, что во всех своих текстах она аккуратно записывает Африку в друзья уже покойногоТимура Новикова.

* * *

Но начала я с Олега Котельникова. Итак, он жил за стенкой мастерской, которую мне предоставила американская художница Барбара Хазард на Пушкинской, 10. Олег Котельников, приятной внешности и небольшого роста человек, член группы «Новых диких» (позже, как уже упоминалось, название поменяли на более престижное «Новые художники») и друг Тимура Новикова, когда-то женился на японке, которая родила ему сына и через какое-то время отбыла с ребенком на родину. На Пушкинской Олег жил постоянно и в мои приезды, когда шли Сашины выставки, вел себя спокойно. Встречая его на лестнице, я радовалась какой-то скрытой его одухотворенности. В мой зимний приезд 2009 года, когда в Музее нонконформистского искусства Евгений Орлов сделал выставку графики Александра

Манусова, а это была сказочно снежная, изнурительная, словно в блокаду, зима, из-за стенки в ночное время вдруг понеслись музыкальные хрипы.

Как мне показалось, особое пристрастие сосед питал к битлам, может быть, из-за инфицированного битломанией пространства, которое создал на Пушкинской Коля Васин. Обиталище Коли Васина, уже давно не Коли, а пожилого бородатого гнома, в которого оборотился экстатический персонаж, находилось в подворотне на Пушкинской. У двери постоянно толпились молодые люди с благоговейной подсветкой на физиономиях. Впрочем, Олег и сам по себе, видимо, был битловским фанатом. В одну из ночей, измученная недосыпом, я застучала в его дверь, которая открылась мгновенно.

Олег, мутно улыбаясь, постоял мгновение в дверях и посторонился, приглашая войти. Здесь-то я и увидела источник звука — огромный железный агрегат, занимающий половину узкой комнаты и похожий на механизмы космических кораблей из допотопного фильма «Звездные войны». Олег, как-то чересчур неслышно, мягко ступая, удалился во вторую клетушку и принес две кружки с такой же мутной, как его улыбка, жидкостью.

— Пей! — пригласил он, забулькивая в себя непрезентабельную влагу. — Тебе моя музыка мешает? — осведомился он далее и ткнул в какую-то кнопку на панели агрегата, откуда внезапным воплем, который мог издать лишь человек, только что выброшенный из окна, вдруг вырвался на волю оглушающий сонм битловских голосов, и затанцевал опять же бесшумно и зловеще. При его небольшом росте вздыбленные наверх и колышащиеся сами по себе коротковатые руки, а также, как я, наконец, разглядела ноги в толстых носочках, явили собой такую призрачную картину ужаса, что я содрогнулась.

— Если тебе моя музыка мешает, — бормотал он все с той же мутной нехорошей улыбкой, — ты захерачь мне чем-нибудь в стену, и я сделаю тише.

— Мне нечем захерачить в стену, — позорно пыталась я приноровиться к ситуации. — У Барбары в мастерской нет никаких железных предметов, а когда я кулаком стучу, ты

не слышишь. А за этой стенкой Сашины работы стоят, им вибрация может повредить.

— А ..... им цена, этим работам, если это может им повредить, — пританцовывал на месте в минимуме пространства между ящиком, из которого извергалась следующая битловская песня, и стеной, Котельников. — Ты что не пьешь, давай я это ..... — произнес он звонким глаголом, выхватил у меня кружку и влил жидкость в запрокинутую пасть.

Я ринулась обратно. С тех пор все мои попытки «захерачить» в ночное время в содрогающуюся от ужаса стену оставались бесплодными.

Но почему-то пришло прозрение, каким образом трагически погибли такие художники, как Владимир Лисунов, Юрий Гуров и Владимир Гоос.

* * *

Во время моего следующего пребывания в Петербурге, когда в Петропавловке проходила выставка работ Саши, на Пушкинской случилось открытие сезона. Почему-то возникло впечатление, что все сезоны на Пушкинской открываются в ночное время. Источник шума — горластая компания, судя по шкале звучания, перекатывалась из одной мастерской в другую. На музыку и вопли я уже не реагировала, слушала ночное радио.

На другой день мой знакомый вещал:

— Как хорошо, что вы ничего этого не видели. Там были дружки Олега. И N.N. явилась, — добавил он, имея в виду сотрудницу отдела новейших течений. — Мы все время перемещались по мастерским, потом возвращались к Котельникову. Там еще была его подружка, молодая девушка. Олег набрался выше нормы, а когда подруга его пошла в туалет, он за ней побежал, догнал ее и ударил. Мы потом еще долго пили, он взял гитару, на ней бренчал (здесь мой собеседник, соорудив дугу из своего сухопарого длинного тела, показал жестами, как Олег «бренчал» на гитаре). N.N. тоже набралась неплохо и произнесла речь, что Котельников — лучший художник Петербурга.

На выставке Котельникова в галерее «Лофт Проект ЭТАЖИ», курируемой актрисой и моделью Иреной Куксенайте, речь произнесла удыбающаяся дама — ведущий научный сотрудник все того же отдела новейших течений престижного музея:

— Гениальный художник Олег Евгеньевич Котельников, — лучась от счастья, заявила она, — проявил невероятную проницательность по отношению к форме и содержанию...

Речь ее была краткой. В завершение монолога прозвучало, что, хотя представленные работы оказались для нее неожиданными, «в то же время в них можно узнать почерк гениального художника».

Как замечает Евгений Тыкоцкий, понятие гения стремительно девальвируется.

Титулы гения вручаются нынче с той же щедростью, что и карамельки на детских утренниках. Это уже не титулы, а ярлыки. Интересно, сколько таких ярлыков припасено в отделе новейших течений престижного музея?

Не думаю, что Олег, с его врожденной ироничностью, всерьез воспринимает эти дамские славословия.

И, чтобы закончить с темой, приведу аннотацию к (цитирую) «новогодней выставке актуального аналитического искусства» в галерее «Формула», Лиговский проспект, 74, подписанную Иреной Куксенайте:

Олег Котельников — известный живописец, художник кино, поэт, музыкант, профессор Новой Академии Изящных Искусств...

Он создает одиннадцать виниловых расписных снежинок. И, несмотря на то, что петербуржцев снегом не удивишь, большие по формату, кристаллические по структуре и оппозиционные по колористическому решению снежинки Котельникова оказывают практически гипнотизирующее действие, погружают зрителя в состояние медитативного размышления и являются причиной особых эмоциональных реакций. Вербальным средствам выразительности придается ориентирующее зрителя в многообразии символов и знаков значение, указующее и направляющее, однако не ограничивающее его воображение (sic).

Все наполнено свойственной автору философичностью и является глубоко индивидуальным взглядом на происходящее.

* * *

Как уже упоминалось, «Новая академия изящных искусств» размещается в двух небольших комнатах на четвертом этаже Пушкинской, 10. Я никогда не знала, что там есть «профессора».

Я не знала также, что Олег Котельников еще и музыкант. Убедилась я в этом в ночь после открытия выставки Александра Манусова в Русском музее. Отмечалось это событие, конечно же, на Пушкинской, руководство которой и живущие там друзья оказали мне максимальную помощь и поддержку.

Олега я пригласила с удовольствием, ибо было это задолго до танца в носочках. Когда гости разъехались, художники, которые жили на Пушкинской, спустились в мастерскую к Евгению Тыкоцкому. К сожалению, бутылки еще остались и содержимое их плавно вбиралось в организмы присутствующих. А таковых становилось все меньше и в результате за столом оказались мы с Тыкоцким, Сергей Ковальский, почему-то принесший еще одну емкость, и Олег. Разговор был свойский, за столом сидели соратники по ушедшим в забвение битвам с Управлением культуры и обкомовскими особями. Внезапно Котельников тихо произнес нечто мягко звучащее, продолговатое по размеру. Я никогда бы не подумала, что ненормативное выражение может звучать почти музыкой. Разговор не прервался на этом, и Сергей продолжал развивать перед Тыкоцким идеи последующих печатных изданий во славу Пушкинской. Глядя на Олега, было очевидно, что его осенила свежая творческая идея и, следуя ей, он вбросил в пространство мастерской еще одну композицию силлабических шедевров. Когда звучание истаяло, он подлил из бутылки Сергея жидкости в свою кружку, мигом ликвидировал ее и перешел к солированию. Крамольные откровения извергались из него с легкостью и изяществом струящейся из лесного родника воды. С каждым новым словосочетанием

Котельников раздувался на глазах, как гигантский презерватив, который надувают шаловливые подростки.

Огромный Белый Волк и припавший к его лапе в поисках защиты мальчик на работе Жени и все прочие полотна и офорты на стенах мастерской напоминали сейчас поверхность океана, загрязненного нефтяной пленкой.

Женя Тыкоцкий, наконец, поднялся и молча выскочил в прихожую. Было слышно, как он нервно мечется по крохотному коридорчику. Зная его, можно было предугадать, что последует дальше.

— Олег, — сказал он вернувшись. Он не садился и заметно нервничал. — Я много раз слышал тебя на собраниях. Ты можешь прекрасно говорить человеческим языком. Почему ты сейчас без остановки твердишь всякую грязь? Зачем ты пришел сюда? Ты загрязняешь пространство моей мастерской, у меня здесь своя, особая аура, и я не позволю ее пачкать. Если ты не в состоянии говорить по-человечески, тогда уходи. И немедленно.

— ....., — произнес Котельников.

Женя рванул к двери и распахнул ее настежь.

— Сейчас же уходи отсюда, — багровея, предложил он.

— ....., — еще раз сообщил гость.

— Я сейчас тебя выведу за ухо, — рванулся к нему всегда обычно толерантный к разнообразному ассортименту гостей Тыкоцкий.

— Оставь его, Женька, — пушистым басом вклинился Ковальский, — я с ним сам потолкую.

Он наклонился и приобнял сидевшего в полном удовлетворении Котельникова. Сейчас Сергей еще более, чем обычно напоминал вожака воинственного цыганского племени, каковым он и фигурировал в устном фольклоре художников-неофициалов. Или, скорее, даже дона Корлеоне из культового фильма «Крестный отец».

— Если ты сейчас же не захлопнешь пасть, я тебя здесь, сейчас, на этом самом месте, урою. Ты же знаешь, что я тебя урою... — ласково заурчал он.

Договорить он не успел. Котельников, с чересчур прямой спиной, парящей походкой покидал помещение.

— ....., — донеслось уже из коридора.
Дверь в мастерскую он оставил открытой.

Я не касаюсь работ Котельникова. Его ранние холсты мне нравились. После стихии Сашиной живописи мне было трудно воспринимать его дерзкие ироничные композиции, с доминированием графики. Хотя никакого сомнения в том, что Олег очень талантлив, не возникало. Но я не знакома с поздним периодом его творчества, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть страстные излияния дам из отдела новейших течений. Цитируемая выше туманная аннотация к его выставке, где представлены одиннадцать расписных виниловых снежинок, погружающих «зрителя в состояние медитативного размышления» и являющихся «причиной возникновения особых эмоциональных реакций», не работает. Как личность он мне все равно симпатичен. Возможно ли, что благодаря его экспериментам со словом (почти Хлебников!) «Новые художники» и нарекли его профессором своей Новой Академии Изящных Искусств?

И еще: после этого прискорбного случая я действительно нахожу в нем следы определенной музыкальной одаренности. К тому же меня очень трогает тот факт, что Рихард Васми в свое время привлек Олега к работе над книгой стихов Роальда Мандельштама.

* * *

Отдел новейшего искусства, как разъясняет помещенная в интернете информация, вырос на базе коллекции Тимура Новикова и пресловутого Африки. Известность Тимура, гениально сконструированная им самим, идет в параллель с неустанной деятельностью по саморекламе Михаила Шемякина. Помимо главы департамента, в отделе работают практически все «родные и знакомые кролика», как сказал бы Винни-Пух.

Мы собираем и выставляем так называемое актуальное искусство. Актуальное в плане содержаний и смыслов, то есть

находящееся на острие идей своего времени, предлагающее в совокупности новую картину мира. Актуальное, то есть вписывающееся в интернациональный художественный контекст, соотносимое с его главным направлением — мейнстримом. Актуальное, как теперь говорят, в медийном отношении — в плане использующихся средств и способов развертывания своего содержания — имеющее дело с новыми нетрадиционными видами и жанрами — ассамбляж, объект, инсталляция, видеоарт, акция, фотография, искусство, основанное на фотографии, постмедийное искусство. Актуальное, то есть работающее с определенным набором конкретных стратегий, связанных как правило, с различного рода манипулятивными и апроприационными практиками.

Декларация эта восхитительна. Не любит автор «великого могучего русского языка», как говорили студенты Юрия Лотмана в Тарту. Ой, как не любит!

Манипулятивные и апроприационные практики.

Определенный набор конкретных стратегий. (Может, это из лексики Генерального штаба, здание которого не так уже и далеко от престижного музея?)

Постмедийное искусство.

Мейнстрим.

Это все для того, чтобы загримировать вакуум? Аннотация написана весьма уважаемой сотрудницей музея из поколения двух маститых. Училась она у прекрасных педагогов, а сейчас занимает должность в отделе новейших течений. Ранее уже приводился отрывок из текста, созданного главой данного образования. Оба фрагмента видятся мне достойной визитной карточкой этого самого «хлебного» отдела престижного музея. И еще мне кажется, что отдел этот огражден каким-то особым силовым полем цинизма. Но повторюсь: это мнение человека, не имеющего отношения к музейной политике.

* * *

Звезда и кумир художественной молодежи города, критик и исследователь современного искусства, много лет проработавший на кафедре искусствоведения ленинградского университета, был громко известен и при этом обладал звонкой выразительной фамилией. Я видела его только однажды, в Манеже, на обсуждении какой — не помню выставки. Поскольку там выступал Тимур Новиков, выставка, бесспорно, была под эгидой Пушкинской, 10.

Профессора объявляли несколько раз, но он все не появлялся. Выходили запасные ораторы, которые бойко освещали свое знание предмета, но звезды искусствоведения на горизонте не было. И вдруг произошло некое шевеление, словно бриз пронесся по рядам и, обернувшись, я увидела группу девиц, во главе которой стремительно шагал молодой мужчина в великолепном костюме с лысой, необыкновенно эффектно блестящей полированной головой. На лице его была улыбка охотника, приближающегося к подстреленной дичи. Девицы, скорее «герлз» по-модному, состояли из сплошных ног. Все они были с него ростом, а некоторые и выше. Взлетев на эстраду, они мигом перегруппировались. Мужчина с отполированной головой выступал в качестве конферансье, девицы иллюстрировали его выступление. Предметом выступления оказалась злополучная картина Айвазовского «Девятый вал», на тему которой абитуриенты письменно излагали свои впечатления. Профессор, наслаждаясь, цитировал перлы будущих искусствоведов, девицы изображали фрагменты картины: людей на плоту, несчастных, взобравшихся на мачту, волнение на море. Больше всего это походило на шараду — баритональное завывание, заламывающие руки девицы, кстати, одна другой краше. Зрители, явившиеся для искусствоведческих откровений, с усердием, но ошарашенно аплодировали. Когда девицы выпорхнули с эстрады, ведущий вдруг устремил свое внимание в первый ряд и, конкретно, на мою подругу, сидящую рядом. Он произнес речь, пересыпанную сарказмами в адрес престижного музея, в котором она работала. Не спуская с нее пылающих

ехидством глаз, он с восторгом садиста перечислял отрицательные черты заведения, где она трудилась массу лет. Она спокойно улыбалась.

— Это как-то не в тему, — сказала я, когда мы вышли на улицу, — при чем здесь ваш музей?

— Очень даже в тему, — отвечала она. — Он сегодня пришел в музей, но его не пускали, потому что он хотел пройти без билета, а контролерши не знали, что перед ними великий некто. Документа у него тоже не было. Он рвался, тетки наши стояли стеной, а тут я проходила мимо и сказала, чтобы его пропустили. Не снес он этого унижения. Что поделаешь, слаб человек...

ЕЩЕ РАЗ «ЛЮБЛЮ ВЕЛИКОГО МОГУЧЕГО РУССКОГО ЯЗЫКА»

Смешались в кучу кони, люди...

М. Ю. Лермонтов

Виднейший литературный критик нашего города написал иронично-хвалебную рецензию на книгу-словарь художников ленинградского андеграунда, опубликованную в журнале «Звезда» за 2007 год. «Была, была Атлантида», — радуется критик, ознакомившись с содержанием книги.

Дама — автор рецензируемого издания именует себя независимым искусствоведом, профессионального образования у нее нет. Однако у нее есть разительное отличие от маститых профессионалов и более молодых критиков. В ней нет никакой корысти, и это чистая правда.

Явилась она в еще темные, но уже предрассветные для неофициалов времена. Входила в распахнутые двери мастерских с блокнотом. Аккуратно записывала беседы с художниками. Формировала, компилировала мнения и тексты. Образовала себя до такой степени, что уже с полной уверенностью нарекла себя искусствоведом. Коллекционер Николай Благодатов сокрушенно говорил ей со всей своей интеллигентностью, что не могут они называть себя искусствоведами, если

не в силах отличить рисунок, скажем, Рубенса от наброска Рафаэля.

Однако дама прочно утвердилась на пьедестале музы нонконформистского искусства Ленинграда. Ею написано множество текстов, ряд художников тепло принимает ее. В специальных хрониках неофициалов помещены ее воспоминания. Конечно же, в собственной оригинальной интерпретации. Многолетняя работа над справочником о ленинградских неофициальных художниках завершилась выпуском книги.

Отличие ее от поросли деятелей отдела новейших течений престижного музея неоспоримо: музейщики с полной индифферентностью выбирают объекты изучения. Нередко выбираются опять же «родные и знакомые кролика», как в незабвенном «Винни-Пухе». Их подхваливают, а прочим достается кисло-сладкое равнодушие. Отдел должен питаться, кровоснабжение следует поддерживать, а то ненароком обнаружится малопривлекательная нудистская фигура всей затеи.

Здесь же, в нашем случае, испепеляющая страсть владычествует над ситуацией. Показному хладнокровию не скрыть ее. Личностное отношение временами глумливо подмаргивает меж книжных строк. Мельчайшие, якобы эротические намеки и символы скрупулезно отслеживаются.

На мой взгляд, книга эта, снабженная в конце иллюстрациями — поразительное явление. Представленные здесь лаконичные биографические справки кажутся мне основным достижением составителя словаря. Автором тщательно отслежены и зафиксированы время и место рождения каждого из более чем ста двадцати художников, профессии их родителей, учебные заведения, где они получали образование, места работы, даты смерти, если таковые, к сожалению, имели место. Объехать и опросить массу художников с целью получения данной информации в условиях огромного города — это, несомненно, разновидность подвига.

Однако поразительным этот труд я считаю потому, что, с моей точки зрения — это апофеоз некрофилии. Это анатомический театр, репортаж из прозекторской, где косору-

кий студент расчленяет беспомощное человеческое естество перед поочередно падающими в обморок сокурсниками.

После краткой биографической справки о художнике идет перечисление периодов его творчества и описание работ. Именно описание работ вызывает наибольшее содрогание. По-моему, это нечто среднее между результатами медицинского обследования и обвинительным заключением прокурора.

Как обозначено в предисловии: «словарь — это книга, которую не читают, в нее заглядывают».

Вот я и заглядывала.

Активная фактура, созданная масляной краской,.. усиливает впечатление стихийности, порой чего-то вздувшегося, шевелящегося, кипящего. (Борис Борщ)

Один из мотивов — сдвоенность. В цикле «Сестры» девушки предстают как единое двоящееся существо. (Александр Манусов)

Умильные детали переходят из картины в картину. (Евгений Тыкоцкий)

Так, в картине «Зима в Шувалове» зима обозначена снежной бабой, загородившей собою вход в нужник, у ее подножия мужик произвел золотистую лужу, на что с изумлением уставилась снежная баба и спокойно — живая, сидящая неподалеку на покалеченной ограде — вся сцена неожиданно поэтична. (Владимир Овчинников)

Эти работы выражают идеологию практического утопизма, находящего выход в конструктивном делании. (Евгений Орлов)

Сочетание религиозной живописи, конструктивности и дизайна выражает редкий вариант священности и практичности. (Евгений Орлов)

Воспроизводится умильность святочных открыток. Анемичность лиц сочетается с добротной сделанностью. (Вера Павлова)

Эти объемные фигуры на фоне чистого листа или заполняющие собой лист всегда мужские. У них почти лишенные черепной коробки и лба головы, маленькие глаза, сильно выступающий нос, большой, часто разинутый рот, словно опухшие и потрескавшиеся измятые лица, иногда гипертрофированные складчатые образования, соединяющие в себе подбородок и шею. Тела бугристые, раздутые в поясе, что делает их похожими на жаб или жуков; бицепсы и предплечья гигантские и в то же время дряблые, с неравномерно натянутой кожей, ступни миниатюрные. (Афанасий Пуд)

Создатель «бугристых, раздутых в поясе тел, что делает их похожими на жаб...» и т.д. (см. выше), Афанасий Пуд — юморист легкого галльского толка. Его работы разряжали обстановку на выставках ТЭИИ, перед ними всегда толпились хохочущие люди. Кругом скрежетали, волновали, манили, требовали и призывали «серьезные» работы. Здесь же было отдохновение Достаточно было одних лишь названий:

«Разбойники, воры, уроды, собака не той породы».

«Глянул заинька в окно».

«У нашего хозяина теперь другие перья».

Облик этого существа варьируется: в хлебопекарне вместе с женщинами у печей хлопочут твари, похожие на безволосых чертей; жар тела колющей дрова женщины породил мальчика-сатира; в окно на спящую девушку заглядывает длинная рогатая голова с козлиной бородой.

Пойманный на приманку нравственного чувства зритель должен пережить его дискредитацию причастностью к чувственному наслаждению страданием. (Соломон Россин)

«Две головы» (1976), мужская и женская, с выкаченными глазами, безобразно ощеренные, шеи переходят в кишечник, из которого состоит вся планета; выражение лиц таково, словно они тужатся его опорожнить. (Вадим Рохлин)

Так, в цикле «Весна священная» изображены совокупляющиеся лягушки. В цикле «Автоанатомия» прототипом стал анатомический атлас, художник сводит образ к анатомии, костям, внутренностям. Сама Мадонна изображена с разъятым животом, в котором младенец. (Николай Сажин)

Трубка для курения наполнена красной икрой; музыкант со смычком играет на сковороде, на которую блином перетекает нижняя часть его лица; двойные образы — голова, одновременно являющаяся сосудом, чем-то наполненным, по краям свешиваются сосульки; сосульки на воротнике; вместо волос и бороды растут листья; на сельских полях вызревают головы с тремя носами или же маленькие домики — грибы; в человеческом теле возникают отверстия, из которых высовываются ветки растений или внутри тела открывается пейзаж с перспективой; предметы становятся полыми, прозрачными, наполненными водой с плавающими в ней рыбами, на поверхности воды стоит лестница. (Игорь Тюльпанов)

Они (персонажи) то отчуждены, то лепятся (?), пытаются опереться друг о друга. (Елена Фигурина)

Этот страх перед женским началом против воли художника проникает и в образ Богоматери. Изображенная им Мадонна — тот редкий случай, когда в своем тяготении к религиозной живописи художник использует традиционную композицию. (Рихард Васми)

(Интересно, как здесь проявляется страх перед женским началом, может быть, использование традиционной композиции тому причина?)

А вот и научные откровения из справочника о неофициальных художниках.

Позже художник работает на контрасте; сталкивает в одной композиции бесформенные или рваные пятна с геометрически правильными фигурами — концентрическими кругами,

полосами, — создавая то сложные комбинации форм, то относительно простые. Участки с рваными контурами расчерчивает прямыми линиями или делит на правильные разноцветные полосы. Иногда сквозь полосы просвечивают пятна. Вводит также крупные, ровно окрашенные плоскости, на фоне мелких, внутренне разработанных ячеек. (Александр Леонов)

Возможно ли хотя бы отдаленно представить себе работы Леонова, опираясь на вышеприведенный абзац? Или же скорее это смахивает на перечисление предметов хозяйственного инвентаря?

За крохотным розовым столом, на котором одна рыба, теснится в сумраке множество косматых, взволнованных фигур. (Алек Рапопорт)

Та же абстрактная экстатичность (!) в «Автопортрете в виде маски Мардохея» (sic) (Алек Рапопорт).

В большом ходу слово «возбуждение»:

Добивался «попадания в чувство», слияния с внутренним состоянием — состоянием возбуждения, взвинченности. (Олег Котельников)

В последних работах есть состояние тревоги и острого возбуждения... (Александр Манусов)

...всегда преобладают максимально стимулирующие, способствующие возбуждению (тона) ... (Елена Фигурина)

* * *

Признаюсь, если до сих пор можно было и улыбнуться, то обращение автора к работе великомученицы Ленины Никитиной «Жить хочется» вызывает, мягко говоря, негодование. Эта работа Ленины озаглавлена в справочнике дважды: первый раз, как «Есть хочется» (это в тексте). Надпись же под иллюстрацией гласит: «Человек хочет есть!». Название

это, да еще с восклицательным знаком, под душераздирающим сюжетом воспринимается как фарс. Да, конечно, человек часто хочет есть. Однако Ленина сознательно озаглавила работу «Жить хочется». Картина эта — слепок, посмертная маска трагедии, случившейся с ленинградцами. Все три действующих здесь персонажа — жертвы. В первую очередь они хотят жить. И обезумевший комочек — кошка, и ее вынужденные казнители. Непонятно, отчего возникло такое пренебрежительное отношение к наименованию работы. Я знаю ряд художников, которые болезненно воспринимают ошибки в названиях своих картин. Когда-то мне серьезно «досталось» от Евгения Тыкоцкого всего лишь за то, что в одном из моих текстов я обозначила самую культовую его работу «Мальчик и его птица» с малой ошибкой — пропустила личное местоимение. Женя тогда «осерчал» на полном серьезе.

Ленины Никитиной уже нет на этом свете. Она была и остается моим близким другом. Больно даже помыслить, какой могла быть ее реакция на кощунственное отношение к этой работе.

Она была вспыльчива. Как-то рассказала мне, что выгнала из своего дома и из своей жизни независимого искусствоведа, которая пришла к ней в гости и принесла грейпфрут. Ленина швырнула увесистое приношение в спину гостьи и с тех пор больше это имя не упоминала.

Хочется надеяться, что искаженное название этой кровоточащей работы Ленины — следствие обычного небрежения, а не сознательное надругательство.

* * *

Татьяна Кернер — как взрыд Мунка, как полотна Сутина, как цветаевский всплеск. Никогда не была с ней знакома. Но о ней много рассказывал наш покойный таллиннский друг Олег Тютрюмов, сам по себе невероятно примечательная фигура. Он был директором оркестра эстонского радио, страстным меломаном, глубочайшим знатоком оперной и симфонической музыки и, как говорили, был в Таллинне

человеком номер два. Я спросила как-то: а почему номер два? И получила ответ: потому что первых много, а второй только один. Олег был из старинной, с двенадцатого века, семьи новгородских дворян. Один из его родственников конца девятнадцатого века, Никанор Леонтьевич Тютрюмов, был академиком живописи. Семье Тютрюмовых принадлежал дом на нынешней улице Марата и у них был фамильный склеп на Смоленском кладбище. Олег показывал нам и то, и другое. Отец его, член Государственной думы, юрист по образованию, после октябрьского переворота 1917 года вывез семью в Эстонию, где он позже составил проект конституции Эстонской республики. Он преподавал юриспруденцию в Тартуском университете. После «освобождения» Эстонии советскими войсками Олег, тогда совсем еще молодой человек, был взят в трудармию и отправлен в Котлас. Из многотысячной «армии» выжило около восьмидесяти человек. Там Олег получил тяжелые, на всю жизнь, заболевания. После «трудовой терапии» он был на долгие годы отправлен в Сибирь. Необычайно фактурный внешне человек, с дворянским кодексом чести, он владел самой крупной в Эстонии коллекцией пластинок, коллекционировал живопись, собрал огромную библиотеку, составлял уникальный «Оперный лексикон», куда должны были, по его мнению, войти абсолютно все оперы, созданные композиторами. Он был сказочно пунктуален и аккуратен. Когда в Эстонии возникло диссидентское движение, он моментально примкнул к нему. В результате он потерял работу. Женат он был, не помню уже каким браком, на дочери таллиннского лесничего, которую звали Карен, много младше его по возрасту. У них была, когда мы с ним познакомились, маленькая шестилетняя дочь Маша. После развода он долго мыкался по съемным квартирам, пока не получил, как инвалид, крохотное обиталище в отдаленном районе Таллинна, которое он тут же превратил в музей деревянного зодчества. В квартире все было сделано из натуральных материалов.

Вторым его родным городом был Ленинград. Здесь у него была масса знакомых художников. Он много рассказывал о Тане Кернер. Жила она в огромном, выходящем на

три улицы доме на Кировском, ныне Каменноостровском, проспекте — ленинградском аналоге московского «Дома на набережной». Здесь когда-то жили Тухачевский, Киров и многие иерархи коммунистической партии. Это более чем хорошо знакомое мне здание. Я жила там с родителями до пятого класса школы и окна нашей комнаты на четвертом этаже смотрели на проспект. Каждый раз, когда мы проходили мимо этого дома, Олег указывал на длинную арку, ведущую через сонм дворов на параллельную проспекту Кронверкскую улицу, и говорил, что здесь и жила Таня Кернер, которая делала удивительные работы. У нее была пятилетняя дочь и очень сложные отношения с родителями.

— Каждый раз, когда я ее видел, у меня возникало одно желание — ее немедленно накормить. Я говорил ей: «Таня, вы знаете, я умираю от голода. Не составите ли вы мне компанию?» Она почти всегда соглашалась. И только после этого с ней можно было разговаривать. Последнее время она работала дворником. Ее материальное состояние было катастрофическим. И в это ужасное время ей никто не помог. Вы знаете, я очень виню Михаила Иванова, ведь он ее двоюродный брат. Но он не сделал для нее ничего. Она выбросилась из окна... С пятого этажа. Это такой ужас.

О Татьяне Кернер мне также рассказывал художник Владимир Михайлов, который с ней учился у Акимова.

— Мэтр был поражен работами этой семнадцатилетней девочки, — красивейшим, богатым модуляциями голосом и, как всегда иронично, повествовал Володя. — Мы, группа молодцов, на которых он взирал с надеждой, не смогли тогда ничего этому противопоставить.

Жена Алека Рапопорта Ирина вспоминала, каким восхищением и уважением было пронизано отношение Алека к его младшей сокурснице.

Я видела только одну фотографию Тани, которая сразу врезалась в память. Мадонна в облике очень юной девушки с простой гладкой прической грустно смотрит в окно поезда. Фотографию эту сделал Михаил Иванов. Когда-то я очень

хотела прийти к нему посмотреть работы Тани, но это не получилось.

В тексте независимого искусствоведа указаны сухие, как и положено, данные о семье, учебе, рабочих профессиях, последняя из которых — матрос по прочистке водных путей на баржах. И две последние фразы видятся мне «шедевром»: «Считается, что первая из художников и литераторов стала работать кочегаром. Погибла, выбросившись из окна».

В словаре приведена одна из работ Татьяны «Старуха на дороге». Насколько я понимаю, по сравнению с помещенными на той же странице работами Олега Котельникова и Михаила Иванова, работа, бесспорно, доминирует в части мастерства, глубины и эмоциональности изображаемого. Внешняя красивость и вычурность «Человека с птицей» родственника Тани Михаила Иванова и садистическая плоская «Бойня» Котельникова на соседней странице здесь кажутся неуместными.

И очень не хочется приводить описание этой работы Татьяны Кернер, помещенное в справочнике. Нельзя, чтобы скрип пилы вторгался в музыку отчаяния.

И К ВОПРОСУ О «ВЕРНИСАЖЕ»

Объединение «Вернисаж», название которого, скорее всего, было навеяно одноименным, модным в то время шлягером Раймонда Паулса, возникло в 1987 году при заводе им. Свердлова. Большое помещение, выделенное дирекцией, было очень неудобным. По сути, выставка могла длиться лишь один день. Председателем объединения был Иосиф Храбрый. Он провел серию интереснейших выставок-однодневок со зрительским обсуждением.

Первой ласточкой была выставка Александра Манусова, которого Иосиф настойчиво просил не отказываться от этого мероприятия. На этой выставке, как он сказал позже, выявилось редкостное единение художника со зрителями[1].

[1] Обсуждение выставки представлено в главе «Из памяти. Из истории Сашиных работ».

Никакого печатного издания к этой выставке по чисто техническим причинам выпущено не было.

Следующие после этого вернисажи были дополнены небольшими буклетами. Это были выставки Игоря Иванова, Соломона Россина, «Новых художников», коллекции Николая Благодатова, Николая Сажина, Юлии Ивановой.

Проведение выставки — то есть завоз и развеска работ накануне вечером, обсуждение выставки на следующий день, затем демонтаж экспозиции и транспортировка работ в мастерскую — было нелегкой задачей. Для Саши с его больным сердцем — особенно сложной, даже несмотря на то, что ему помогали друзья. Но моральное его состояние было на высочайшем взлете. При жизни художника это была его первая и единственная персональная выставка.

Иосиф Храбрый когда-то учился у выдающегося педагога Соломона Левина в студии Дворца пионеров. Из этой студии целая вышла целая обойма великолепных художников. Сам Храбрый, который очень неплохо рисовал, до перестройки преподавал математику где-то в Сестрорецке и впоследствии ушел в издательский бизнес.

Выставки-встречи он проводил на высоком уровне, очень тактично по отношению и к художнику, и к зрителю. Привел его в ДК им. Свердлова Александр Манусов, которого художники умоляли найти кого-нибудь на пост председателя объединения, поскольку дама — независимый искусствовед, которая разрабатывала эту идею, по их словам, выделывала ужасающие вещи. Может, попросту не понимала, за какое дело взялась.

К человеку, которого можно было заподозрить в некотором знакомстве с ленинградской живописью, я подошла на обсуждении выставки после его выступления и предложила участвовать в работе объединения. Он появился именно на том заседании, когда мой народ взбунтовался. (...) В нем чувствовалась дерзость и запас неизрасходованной энергии. Чувствовалось, что он не доиграл в детстве и теперь ищет возможность (загадочная стилистика этой фразы — на совести автора). *И фамилия у него была Храбрый. (См.: От Ленинграда*

к Санкт-Петербургу. ТЭИИ. Неофициальное искусство. 1981–1991 годы. С. 261.)

Я не являюсь фанатом Иосифа Храброго. И у меня по отношению к нему смешанные чувства, сотканные одновременно из симпатии, недоумения и давно угасшего негодования. Этот человек-гора обладает сверхчувствительным характером. Я несколько раз присутствовала при выбросе слезной влаги, после чего через короткий промежуток времени он мог изумить садистической жестокостью. Это очень одаренный человек, преподававший математику в ПТУ, знаток искусства с ярко выраженными ораторскими наклонностями, организовавший позже успешный какое-то время издательский бизнес. Он издавал элитные дорогие словари, интересные книги по истории города.

Став председателем объединения «Вернисаж» и одержимый искренним стремлением создать музей современного искусства, он на средства, предоставленные ему заводом им. Свердлова, и по совету Саши приобрел работы прекрасных художников. Эти полотна должны были стать основой музейной коллекции. Там были, что я помню твердо, работы Игоря Иванова, Геннадия Устюгова, Шолома Шварца (возможно и Рихарда Васми, потому что они со Шварцем были неразлучны), Алека Рапопорта.

Перед самой смертью Саши он купил у него первый созданный им триптих, который идет под грифом «Темный», и картину «У реки» — единственную манусовскую работу, сделанную, как говорил Храбрый, «вермишелью». Это означало, что она выполнена длинными, тонкими, рельефными мазками. Работа сделана в эмоциональном порыве, на холсте изображены две слившиеся в объятии фигуры. Здесь еще раз осуществился замысел художника — создать в статике иллюзию движения. Но в работе получилось даже не движение, а взлет, парение. Это всегда чувствовали зрители на выставках.

К сожалению, в тот сложный перестроечный период создание музея без крупной финансовой поддержки оказалось невозможным. Мечта истаяла, растворилась в петербургском сумраке.

Правда, в 1989 году Иосиф зарегистрировал Фонд «Ленинградская галерея», который он считал преемником объединения «Вернисаж». В уставе Фонда было заявлено, что собрание работ является собственностью города. На моей памяти работы эти экспонировались на выставке ленинградских галерей где-то на стыке 1990–91 гг.

Позже у меня было немало горьких моментов, когда приходилось просить у Иосифа работы на выставки. Он всегда давал их. Но всегда с садистическим сопровождением. Хотя при этом добавлял, что мне доверяет. Процесс вывоза картин на выставки стоил немалой крови мне и моим друзьям. Никому из нас не приходило тогда в голову, что работы эти лично Храброму не принадлежат.

Насколько я понимаю, сейчас все они стоят в его большой квартире на улице Рубинштейна где-то за шкафом.

К сожалению, это именно та реальность, в которой «живут» многие работы больших художников. Возможно, Иосиф испытывает дискомфорт в сложившейся ситуации, но выбор остается за ним.

Однако выставки, проведенные Иосифом Храбрым под эгидой «Вернисажа», давно вошли в историю современного искусства.

И за это ему — спасибо!

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ...

Выставка «Грани портрета» 1984 года во Дворце культуры им. Кирова на Васильевском оказалась ошеломительно популярной. Наиболее эпатажным моментом выставки стала прогремевшая работа Кирилла Миллера «Леннон в Горках» — издевательский парафраз на тему хрестоматийной картины И. Бродского «Ленин в Горках». Перед работой толпились ухмыляющиеся посетители. Эта работа была из вариантов фиги в кармане, столь милой в те времена, но на этот раз карман был с большой прорехой. В точно повторенной композиции Исаака Бродского Джон Леннон сидел на скамейке в окружении детей. Скандал разразился страшный, работу сняли. Еще одним щекочущим моментом для посвященных оказался выставленный Юлом Рыбаковым портрет диссидентствующей поэтессы Юлии Вознесенской. Зрители сожалели, что Елена Фигурина не выставила провидческий портрет Аллы Пугачевой — налитое спелой ягодой лицо бандерши.

Работа эта ранее была показана на выставке во Дворце молодежи, и кто-то из зрителей сказал, укоряя: «Ребята, ну за что же вы ее... Алла Борисовна так любит авангардистов».

Саша в этой выставке не участвовал, не было к тому времени у него портретов. Много позже на выставке объединения «Вернисаж» Николай Благодатов выставил домашнюю коллекцию с изобилием своих портретов кисти разных художников. Кто-то спросил его: а если бы вам пришлось отправиться жить на необитаемый остров и вы могли бы взять только один ваш портрет, какой бы вы предпочли? Длинный худой, похожий на перевернутый восклицательный знак, с точечной головкой и лицом, озаренным врожденным генетическим сиянием, Николай думал не больше пары секунд и выпалил: «Я бы взял с собой портрет, сделанный Сашей Манусовым. Думал, он сделает это тонкими перламутровыми переливами

красок. А здесь пастозно. Через несколько месяцев до меня дошло, как это здорово. Он сработал его за час».

Его жена Рая уверяла, что никто лучше Саши не схватил сокровенные черты ее супруга. А были это, по ее мнению, скрытое ехидство и насмешливость. Видимо, это были чисто бытовые издержки проживания в тесной скорлупке квартиры, котирующейся в раньшие годы как роскошное обиталище. Две комнаты (раздельные!), крохотные кухня и коридор захлебывались сверхобилием работ. В большей комнате выпирал черный рояль, на котором Коля временами меланхолически наигрывал. Художники любили дарить Коле работы, и он благодарно принимал их все. Портрет его Саша сделал на куске картона у себя в мастерской. Тогда же он сделал и мой портрет, тоже на картоне того же размера.

Но все это было много позже. А ту выставку он только изучал как зритель. Пройти туда было невозможно, верхнюю одежду в гардеробе не принимали по недостатку места. Горстка любителей искусства с пальто в руках дожидалась, когда кто-то заберет свою одежду. Миловидная молодая женщина запальчиво объясняла замотанной гардеробщице, что та обязана повесить ее пальто, так как ее муж — участник выставки. У самого входа в зал стоял симпатичный парень, мягко оттесняющий посетителей. Он наглядно упивался ситуацией.

— Ну что вы нас так фильтруете, — окрысилась одна из дам, — это же не очередь за колбасой.

И здесь обнаружилось, что молодой человек страдает абсолютным отсутствием агрессивности.

— Ладно, заходите, — великодушно отодвинулся он. Кучка не верящих в удачу людей ринулась внутрь, прижимая к себе верхнюю одежду.

Это был Митя Шагин. И это была его первая выставка. Его отец, Володя Шагин, стоя в центре экспозиции, гордо вещал Саше:

— Ты пройди к Митькиной стенке. Он сделал такие портреты, я поразился. Я так не могу...

Никогда Митя, оставшийся на всю жизнь при своем лучшем качестве — неагрессивности, склонности к миру в людских отношениях и очевидном добродушии, не превзошел своего отца на холсте.

И обидно, что вследствие ретивости глашатая неофициального искусства Ленинграда Исаака Кушнира, каковым он явился много-много лет спустя, пять совершенно различных ярких дарований — Александр Арефьев, Рихард Васми, Шолом Шварц, Владимир Громов и Владимир Шагин оказались «спаянными одной цепью», впряженными в тачку с биркой «арефьевский круг». Помню, как сокрушался на эту тему тот же Николай Благодатов:

— Понимаешь, оказалось, что нет ни Рихарда, ни Саши Арефьева, ни Шали, ни Володи Шагина. А есть только арефьевский круг.

Сейчас из всех этих легендарных уже имен остался только Валентин Громов, о котором я много писала в очерке «Рихард Васми».

Последний раз, когда я сидела в квартире Вали на Васильевском острове, он рассказывал о встрече с Ильей Глазуновым в антикварной лавке на Литейном проспекте. Когда-то они вместе учились в СХШ (средней художественной школе при Академии художеств) на Васильевском острове, где в то самое «время óно» — эпоху торжествующего соцреализма — за интерес к импрессионистам был расформирован целый класс.

— Вхожу я туда, а там Илья Глазунов бродит. Ну, мы поговорили немного. Он меня спрашивает:

— Как Рихард?

А я ему (и тут Валя со скорбной помпезностью сделал вертикальный жест в потолок): ТАМ!

— Он дальше спрашивает:

— А Шаля?

Здесь Валя повторил жест в требующий побелки потолок: ТАМ!

— А Володька Шагин?

И рука еще раз взмыла вверх как в пионерском салюте: ТАМ!

— Я один остался, — стойко завершил он рассказ.

* * *

Приходится делать прыжки во времени. Старая эпоха оказалась взрезанной хирургическим ножом, словно из-

жившая себя старая перина. Оттуда посыпался ворох воспоминаний толпы героев-борцов за свободное искусство, страдальцев земли советской, сидельцев подземельев и застенков. Хочется добавить, которые никогда там не были, а если и были... Многие «уезжанцы», очарованные тем, что «удила гасителей гениального искусства» ослабли, ринулись обратно. Приехала семья Галецких, поселившаяся в коммунальной квартире, кажется, на Литейном. Они были счастливы. Тогда же вернулся Игорь Синявин, позже выпустивший книгу, благоухающую, как дешевый дезодорант, националистическим парфюмом.

По телевизору показали вернувшуюся семью Валерия Клеверова. Этот ражий славянин, закрыв спиной домочадцев, заявил:

— Я виноват в отъезде, я их увез и на эту тему я говорить ничего сейчас не буду.

Эта семья в спешном порядке отбыла обратно.

О Клеверове ходила байка в губермановском духе. Мне ее пересказал Саша. Художник явился в ОВИР с приглашением от «родственников из Израиля». Девица, принимавшая у него бумаги, взвилась при виде его арийской видимости.

— Это вы, что ли, еврей? — грозно осведомилась она.

— Да, — ответил Клеверов.

— Ну, это еще надо доказать, — пригрозила ретивая чиновница.

— Сейчас? Прямо здесь? — спросил Клеверов, которого коллекционер Игорь Логинов любовно называл амбалом и задирой, и потянулся к ширинке.

Вереща заводным болванчиком, девица убежала. Разрешение на выезд пришло очень скоро.

Придется опять прыгнуть во временную пропасть. Замечательный друг, муж моей подруги Ольги, Аркадий Маркман, в то время хирург в родильном доме имени Видемана, что на Васильевском острове, рассказывал о событии, которое произошло в день попытки неофициальных художников выставить свои работы у Петропавловской крепости в мае 1976 года. Об этом событии многое рассказано. У меня даже где-то есть старые мелкие черно-белые снимки, посвященные «аресту художников» у Петропавловки. На снимках вид-

на милицейская машина-газик, пара милиционеров, миловидная девушка и парень, очевидно, художник, беседующие с «ментами». Выглядит мирно. Однако в тот же день, а это было воскресенье, в родильный дом привезли художника Клеверова. Аркадий дежурил в этот день. Людьми в штатском ему было предложено сделать медицинскую экспертизу и дать заключение, что художник невменяем, поскольку в крови найдены следы отравления парами краски. Аркадий категорически отказался. Он мог наглядно пострадать, он рисковал работой. Это был героизм, о котором он никогда не вспоминал позже. Рассказал, когда просто пришлось к слову.

Вдова художника Юрия Дышленко, Саша Бекетова, рассказывала, что после смерти Юры она, вращаясь в Нью-Йорке в художественных эмигрантских кругах, обнаружила несколько никому не ведомых участников выставки в ДК Газа. Они гордо и неустанно вещали о преодоленных опасностях и своей незаменимости в организации выставки. Однажды на вечеринке она попросила одного из них рассказать подробнее о пережитых трудностях, о художниках-участниках, их работах и взаимоотношениях. Спросила, набравшись духа после намеренно проглоченной рюмки с зельем. Расслабившись, спросила легко и свободно. Все это прозвучало почтительно и подобострастно. Герой скис мгновенно, как позавчерашнее молоко.

* * *

А что же Митя Шагин, митьковский лидер? Ведóмая им группа существует и поныне, правда, похудевшая составом. Еще до Володи Шинкарева, лучшего художника группы и подлинного создателя «Митьков», покинувшего конклав по идейным соображениям, из группы вышли Ольга и Александр Флоренские. Пришлось принять в почетные «Митьки» уже вошедшую в историю разрушительницу города губернаторшу Валентину Ивановну Матвиенко. Титулованная дама прибавила веса группе не только в силу своей личной корпулентности, но и тем, что даровала им мастерскую в центре города, на улице Марата. Она явилась на праздник новой

мастерской в фирменной тельняшке и в окружении сконфуженных Митьков испила чаю из самовара. В результате Митя — сын Володи Шагина и Наташи Жилиной, прекрасных художников, всю жизнь чуравшихся советского официоза, стал членом предвыборного штаба Дмитрия Медведева. Говорили, что по просьбе самой губернаторши. Владимир Шинкарев покинул ряды собратьев еще до этого.

В прежние же времена «Митьки» славились своей сплоченностью, миролюбием и пьянством. Саша, любя, называл их дураками. Они тоже его любили. В книге Володи Шинкарева «Митьки» в списке любимых экспонентов группы на первом месте стоит Александр Манусов. Почти все «Митьки» явились на похороны Саши. Живописная их компания, неспешно гуторя, заполняла одну из двух комнат крохотной квартиры, умиротворяя окружающих лишь одним своим присутствием.

Влюбленные в свои тельняшки, они скрупулезно и непоколебимо ваяли митьковский имидж. Однажды, в конце 80-х, Митя позвонил, когда Саши не было дома. Он сказал, что хочет нас пригласить на акцию «Митьков» к метро Горьковская, где они собираются в своих тельняшках плясать вприсядку. Позже, в начале перестройки, группа воцарилась на телеэкране с песенной программой. Митя, фальшивя, но, без сомнения, производя позитивный психотерапевтический эффект мягкостью своего баса и благодушной раздавшейся физиономией, спел ряд песен. Правда, пел не только он один, по очереди просолировал почти каждый член группы. Но кроме Мити и Володи Шинкарева никто особенно не запомнился. Тембр Митиного голоса очень оценил наш песовчар Зяма, взятый из приюта. Когда, в первые дни пребывания у нас, он в истерическом припадке выгрызал все, что попадалось, в чувство его приводил лишь уютный Митин запев.

Опять хочется на миг драпануть в будущее. Исаак Кушнир, в тот период, когда он на меня не дулся, а, наоборот, вроде бы и почитал даже, однажды предложил мне поехать с ним и с Леной Лазаревой, только что ставшей вдовой дивного скульптора Левона Лазарева, на выставку в частную, вновь открытую галерею на Васильевском. Лена села в машину по дороге со своими двумя мальчиками, семи и один-

надцати лет. У мальчиков были такие генетически чистые, ясные и красивые лица, что, глядя на них, было боязно представить себе этих ребят на питерской улице без сопровождения взрослых. По дороге Изя, как мы его называли, экстатически описывал, какими великолепными чанахами и чем-то еще кормит гостей хозяин галереи. Когда мы вошли в это ограниченное пространство, стол с заготовленными яствами уже занимал немалую часть помещения. Кавказского вида сияющий владелец галереи кинулся к Исааку. На стенах, действительно, были работы повязанных навеки увесистым, как я уже говорила томом, работы Шварца, Васми, Арефьева, Громова и Володи Шагина и, кроме них, картины Мити Шагина, Олега Фронтинского и ряда других примкнувших, вернее, примкнутых, притороченных к ним менее значительных авторов. Умеренное число посетителей в малости помещения смотрелось внушительно.Толстый короткий и симпатичный человек рванулся из диагонального угла к Лене, прижал ее к пухлой груди, что-то воркуя ей в ушную раковину. Лена деликатно пыталась отстраниться от объятий. Это был коллекционер Носкин, обладатель брата-близнеца того же размера и большой коллекции работ в квартире на Каменноостровском проспекте. Почти в самый момент открытия в помещение, застив свет дверного проема, вошел Митя Шагин с одной из дочек. Грянула овация. Митя скромно сиял. Дочка с очевидным самоуважением предоставляла руку для поцелуя подбегающим к ней мужчинам. Залп оваций не иссякал. Наконец, девушка, представитель галереи, видимо, только что получившая титул искусствоведа, с потрясающей невинностью в области предмета данного обсуждения простыми скудными словами объяснила, что представленные здесь художники войдут в мировую обойму гениев. Имена и фамилии она выговаривала с запинками.

Мы с Леной синхронно поняли необходимость немедленно выйти. К радости мальчиков, мы зашли в близлежащее кафе, где чудесно отдохнули за пирожными и соками. Из окна кафе на другой стороне проспекта отлично просматривалось здание пожарной части и рядом с ней скульптура их отца Левона Лазарева. Этот необычный памятник, посвя-

щенный ленинградским брандмейстерам, погибшим в борьбе с пожарами во время блокады города, был установлен здесь в 1995 году.

Еще один замечательный памятник по проекту Левона Лазарева находится на стрелке Васильевского острова, перед Библиотекой Академии наук (БАН). Этот памятник академику Сахарову поставлен непомерными усилиями Исаака Кушнира.

На обратном пути мы встретили Володю Шинкарева, явно опаздывающего на выставку. Выглядел он мрачно. Нам тоже было не по себе. Только лица левоновских мальчиков уминали осадок, правда, не так глубоко, как хотелось бы.

Вспомнился Рихард с его любимым маковым копеечным «пирогом», добываемым в соседней булочной, Рихард с его картонами и кусками фанеры, которые он любовно обглаживал и на которых писал большинство своих работ. Вспомнился угрюмый Шаля в коконе своей недосягаемости, которого я видела лишь раз в жизни в их с Рихардом старой мастерской на Пушкинской — темный от боли, подволакивающий ногу, с резной палкой в руке. Возник в памяти Володя Шагин, последние годы, да и всегда прежде, погрязший в безденежье и болезнях.

* * *

Новое время, к сожалению, исказило много приятных личностей. В последнее мое посещение Валентина Громова и его жены Ларисы Валя рассказал, что Владимир Шинкарев привел к нему Николая Решетняка, который одно время работал на фаната-миллионера Нортона Доджа. Я уже упоминала Решетняка в очерке о Рихарде Васми. У Вали сохранилась живописная работа Рихарда Васми. Он был потрясен, когда на следующий день вернулся Володя Шинкарев и, смущаясь, попросил продать ему этот холст. Недорого.

— Ежу понятно было, что это его Решетняк подослал, — гневно почти кричал Валентин.

— И что ты ему сказал, Валя? — спросила я.

— А он его выгнал, — ответила за мужа Лариса.

Работу Рихарда Валентин Громов собирался подарить Третьяковской галерее.

То, от чего мы сейчас бежали с Леной Лазаревой, не было апофеозом справедливости. Это был один из тщательно скалькулированных бизнес-этапов, где ковался рынок. Четко и планомерно. Основные ставки делались на имена Александра Арефьева и Рихарда Васми. Валентин Громов был приглашен на открытие выставки. Он предпочел остаться дома.

* * *

Семья Ани и Володи Шевеленко — благословение для многих русскоязычных жителей Нью-Йорка, как приехавших ранее, так и тех, кто наведывается в гости. Живя в Ленинграде, они очень дружили с группой Арефьева: самим Сашей Арефьевым, Рихардом Васми, Шоломом Шварцем, Валентином Громовым и Владимиром Шагиным. Оба они архитекторы. Аня родилась в Париже, поскольку ее отец, эстонец по национальности, работал как оператор со знаменитым кинорежиссером Рене Клером. Старшая их дочь, Вася — замечательная пианистка, а сын Илья — художник Метрополитен-опера. Это я к тому, что в Ленинграде в их доме практически вырос Митя Шагин, который был однокашником Ильи. Раньше, приезжая весьма нередко в Нью-Йорк, Митя останавливался в их квартире.

— Митька, — спросила однажды Аня, сокрушенно рассматривая издание с работами «Митьков», — ты что, действительно думаешь, что это гениально?

— Ну, тетя Аня, — забасил Митя, — ну, мы же такие же знаменитые, как битлы.

Выражено не слабо, если вспомнить, что Джон Леннон заверял в свое время, что они, битлы, популярнее самого Иисуса Христа.

Миляги «Митьки» не выдумали слово «пиар», но вся их суетливая деятельность в восьмидесятые годы проходила в русле именно этого понятия, о котором тогда еще не имели ни малейшего представления. У некоторых это вызывало оскомину.

— Посадить бы всех «Митьков» в самолет и взорвать, — мечтала во время их выставки в галерее на Лиговке, в девяностые уже годы, сотрудница этого учреждения. Чем они ее так «достали», жестокая красавица не объяснила.

Что касается Лены Лазаревой, то она со своими двумя мальчиками вскоре переехала в Берлин. Она говорила, что не в силах уже встречать и провожать их каждый день в школу и на занятия в Аничков дворец, бывший Дворец пионеров на углу Невского и Фонтанки. Жили они на Гороховой, очень близко к Садовой. Один из мальчиков был чисто кавказской внешности, второй — семитской. Она собиралась увезти с собой работы Левона, его небольшие скульптуры. Вездесущая Эра Коробова, сотрудница Эрмитажа, говорила Кушниру:

— Мы должны сделать все возможное, чтобы ей помешать.

С тех пор я не связывалась с Леной. Ходили слухи, что приходится им трудно. Но я очень надеюсь на ее энергию и обаяние.

* * *

Юра Гуров был тонкий и высокий, робкий на вид. На одной из выставок во Дворце молодежи милиционер в полном уличном облачении взялся распекать его за то, что на шее у Юры на длинном шнуре висел крест. Юра молчал. Я не присутствовала при начале этой профилактической церемонии, но, проходя мимо, увидела человека в сапогах, с длиннющими несвежими волосами и нестерпимо синими глазами. Человек отчаянно спорил с гвардейцем режима. Глаза его превратились в синий лед.

— Почему вы позволяете себе вмешиваться в жизнь наших художников? Это наше помещение. Оно нам предоставлено для выставки. И мы здесь можем одеваться как хотим. Что вы имеете против его креста? Наши деды и прадеды ходили с ними. А нам нельзя? А почему вы сами здесь ходите в уличной одежде? Здесь картины, это искусство. Вам понятно, что это такое?

Кучка дивящихся смелости синеглазого росла. Милиционер терялся, издавая вялый бубнеж.

— Когда я прихожу в Эрмитаж в этих сапогах, — тоном выше завел атакующий, и взгляды болельщиков зафиксировали пару давно тоскующих по щетке с гуталином предметов обуви, в которые были заправлены брюки, — почему ко мне подходят, делают замечания и пытаются выдворить? Какое эти люди имеют отношение к искусству?

Зрители зааплодировали. Я тоже. Ликование слабости проступило на всех физиономиях.

Спор с представителем закона в начале восьмидесятых считался неслыханной отвагой (правда, сейчас ситуация почти не изменилась). Даже стоять рядом и аплодировать мнилось рискованным. Я, тварь дрожащая, навсегда запомнила этот момент и художника Боба Кошелохова.

Юра же Гуров, в его белой навыпуск рубахе очень походил на Христа. Взгляд его был отрешенным, а облик бесплотным, источающим кротость. Я никогда с ним не разговаривала. Лишь однажды, когда мы с Сашей Бихтером принесли во Дворец молодежи на очередной, состоящий из самих художников худсовет, Сашины работы (без Саши, потому что он проходил курс реабилитации в Литве), к нам подплыл Юра и в качестве члена худсовета вперился в работы взглядом заблудившегося мореплавателя, в безнадежности обозревающего бесконечность морских глубин.

— Ты что здесь делаешь? — раздалось за нашими спинами.

Командный вопрос, исходяший от Жени Орлова, активиста движения, прозвучал неожиданно резко. Неожиданно, потому что никогда ни до ни после я не слышала Женю, говорящего повышенным тоном. Да и внешне он недалеко ушел от Гурова, с его мягким лицом и голубизной глаз. Его эмоции казались всегда глубоко зашторенными. Но здесь вопрос прозвучал негромким выстрелом.

— Я смотрю работы, вот принесли, — пробормотал Юра Гуров.

Женя взглянул на него. Это был взгляд старшей пионервожатой, обращенный к двоечнику начальной школы.

— Это же Саша Манусов, — добавил он в голос минимум децибел, и мне стало неуютно.

Юра молчал.

— Ты что, не знаешь Сашу Манусова? — это уже звучало как выстрел, закамуфлированный глушителем.

Юра явно не знал.

— Ну и иди отсюда, — раздалась команда.

Высокая фигура побрела в живописные кулисы.

Однажды в один из таких вояжей, я увидела Женю Орлова, сидящего перед огромной, до удивления, картиной. Он тихо сидел на приличном расстоянии от работы и грустно смотрел на нее. Я взглянула на полотно и тоже загрустила. Там был изображен бывший лес, гигантские сухие палки сгоревших деревьев. Ландшафт гибели, не оставляющий надежды. Словно вся дьявольская метафизика советской жизни расплылась, явила себя на холсте.

И на все это смотрел такой же иссушенный, сгоревший изнутри Маяковский, от которого осталась лишь эта почти змеиная кожа, полая оболочка. Это картина была грозным знаком бывшей и настоящей беды.

— Что это за работа? — спросила я у Жени.

— Да вот ребята ее забраковали, сказали, комиссия все равно не пропустит, а места не хватает. Вот я тут ее поставил, пусть подышит, поживет пока, может, они одумаются.

Взгляд его опять ушел в работу.

Таким я его и оставила, сгорбившимся в печали, органично вписывающимся в полотно.

Кстати, худсовет, обороняющийся от обилия посредственных работ, иногда чрезмерно усердствовал, отвергая также и сто́ящие произведения совсем молодых авторов.

Сашин друг, тоже Саша, но Гершт, очень переживал, когда его работу не взяли на выставку:

— Это не худсовет, а групповой полковник Каддафи, — сокрушался он, — главное для них — эксперимент. Спрашивают друг у друга — а в этой работе есть эксперимент?

Юра Гуров был замечательный скульптор. С его живописью я почти не была знакома, хотя в ряде выставок он экспонировал и живописные работы. Одна из его скульптур, деревянный Икар, стоит на Пушкинской, в парадной администрации. Работа где-то погибала, и тот же Женя, теперь

Евгений Орлов, спас ее и водворил на место. В работе такая щемящая пластика, такой музыкальный отчаянный аккорд перед взмывом в неведомое, что смотреть на нее больно, и душу скручивает так же, как скручена в предопределенности гибели все равно устремленная ввысь фигура.

Юру нашли мертвым на шоссе у города Себеж Псковской области (это был его родной город) наутро после открытия его выставки в Музее этнографии. До этого он какое-то время жил в Париже и приехал в Петербург, чтобы показать свои работы.

Два кратких момента, когда я его видела с близкого расстояния, оставили единое впечатление — лунатического, находящегося в хронической медитации человека. Но, оказывается, это обманка, а был Юра сверхактивным, наделенным кипучей энергией творческим человеком, создавшим массу работ. Есть несколько фотографий, где он вызывающе другой: и одеждой, и обликом, и жестом. Но есть одна, персональная, где взгляд его зыбок и направлен то ли в себя, то ли прямиком к Господу.

Почему он так нелепо погиб и кто его убил? Ответа нет.

Я пыталась узнать хоть что-то у Евгения Орлова, который так печется о живых и ушедших друзьях. Женя молчит.

С другой стороны, если продолжить этот мартиролог, то хочется узнать также о гибели художника Владимира Гооса, которого зарезали ножом в его собственной квартире.

Как я слышала, в тот вечер к нему зашел Владимир Яшке с незнакомым парнем, случайно им встреченным. Как Яшке рассказывал позже, они мирно сидели у Гооса, выпивали за беседой, в ходе которой в симметрии с проглоченными градусами возник неприятный спор между Гоосом и незнакомцем. Время истекло, и Володя Яшке собрался уходить. Пригласил парня последовать за собой, но тот сказал, что им еще надо договорить, и остался. И это был конец художника Владимира Гооса.

И еще из мартиролога художников-ленинградцев: Евгений Горюнов, живший долгое время в Париже, которого в самом конце восьмидесятых привез на Родину Игорь Иванов, не прижился на питерской старой-новой почве. В вы-

ставочном зале музеев Ленинградской области на Литейном была проведена его выставка. Саша пришел с нее потрясенный падением таланта художника. Женя Горюнов ленинградского периода был классным живописцем. Он учился вместе с Игорем Ивановым у Сидлина и обещал многое. На выставке же были представлены, как говорили многие художники, какие-то рожи. Может быть, это было воплощением его пораженного алкоголем воображения. Из Парижа они ехали с Игорем Ивановым на поезде и всю дорогу, как и положено, пили. Говорили, что привезенные с собой деньги он хранил в матрасе. Не помню, был ли разговор, что их украли. Что-то колышется в памяти, но узнать не у кого. Через достаточно короткое время Евгений Горюнов повесился.

Вадим Овчинников, обещающий молодой художник, повесился в белую ночь в саду возле Смольного, оставив записку: «Мне больше не нужно мое тело». Я не была лично знакома ни с Владимиром Гоосом, ни с Вадимом Овчинниковым, ни с Евгением Горюновым.

Но я достаточно хорошо знала Володю Лисунова. Его постиг тот же конец, что и Гооса. Он был зарезан в собственной квартире.

И опять — тишина, и никаких телодвижений на эту тему ни с одной стороны.

Никто, видимо, не задался целью узнать, кто их убил. Сотрудники милиции, и это очевидно, отнеслись к происшедшему с обычной индифферентностью.

ВЫСТАВКА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

Работа Александра Гуревича «Тризна» сейчас принадлежит Русскому музею. Работа очень цельная и простая по композиции. Мне кажется, и это сугубо мое личное мнение, что это лучшая работа Саши.

Три друга, три художника, работавшие в художественно-оформительской мастерской в городе Тосно Ленинградской области — Валентин Герасименко, Александр Гуревич и Владимир Духовлинов — стоят на фоне стены колумбария. За их спинами — три ниши, где размещены их фотографии, имена, фамилии, а также даты рождения. После каждой такой цифры — черточка. Финальной даты нет. Ребята живы и молоды. Перед ними на столе три стакана, и средний персонаж (а это, определенно, Валентин Герасименко) разливает в них мутноватую жидкость. Кроме дат на стене колумбария высечены два православных креста и могендовид. Что подвигло меланхоличного Гуревича сочинить этот реквием на полотне, неизвестно.

Комиссия Главного управления культуры повелела могендовид закрасить. К крестам она отнеслась более толерантно. Гуревич, с его повисшим печальным носом и грустинкой в глазах, категорически отказался подчиниться. Худсовет ТЭИИ встал на его сторону, тем более что сановные чины требовали снять около сорока работ примерно двадцати пяти художников. Воздух для ожидающих открытия выставки в предбаннике становился все более тяжелым и вязким. Эхо баталии двух команд, замуровавших себя внутри выставочного помещения, оседало снаружи опять же вязкой лиловой аурой. Пройти внутрь никому не давали. Мы, с примкнувшей ко мне знакомой девушкой, бились у дверей, стараясь увидеть Сашу. Художник Армен Аветисян, проходивший по выставочному помещению, подал мне руку и втянул нас обеих в зал, откуда в это время в облаке административных испарений и в окружении пешек более низкого

ранга выходила храмовая жрица в отсеке советской культуры Марта Петровна Мудрова.

Готовая к открытию выставка медленно остывала, как чай в стакане. Помещение выглядело сиротливо и напоминало только что открывшуюся ярмарку, спешно покинутую из-за угрозы ядерного взрыва. Группа художников выкатилась из ее недр. У них был вид ратников, чудом уцелевших в рукопашном бою. В центре группы полыхал черный факел шевелюры Ковальского. Изнуренной мадонной плыла сбоку Лена Фигурина. Рыцарем из Ламанчи выступал Женя Тыкоцкий с его минимумом телосложения (скорее это было теловычитание), крупно вышагивал массивный Митя Шагин и рядом с ним — олицетворение чеховского интеллигента Валя Герасименко.

— Худсовет, за мной, — звучал бас-профундо Ковальского. — Едем все к Женьке.

Что означало — к Тыкоцкому.

С тех пор я наблюдала несколько моментов восхитительного единения художников. Но это было из ряда вон выходящим. После невразумительной езды по майскому городу на нескольких автобусах мы оказались возле цитадели искусства — Академии художеств, которую в упор не видели два сфинкса, на века присевшие напротив. Справа от фасада храма искусства, на приличной ходовой дистанции, находилась обитель Тыкоцкого — чудом доставшийся ему в качестве мастерской продолговатый библейского возраста деревянный домишко.

Все расселись вокруг огромного ветхого стола.

— Мы снимаем выставку, совсем, — еще по дороге сказал мне Саша. — Управа совсем оборзела, хотят снять около сорока работ. Женька Тыкоцкий не выдержал, первый снял свои работы, за ним Сашка Гуревич с Валей Герасименко.

Умеренный гул за столом был лишь фоном к раздавшимся выкрикам. Объяснялось это усталостью от политборьбы и наличия вдруг воздвигнутых на рабочем столе Тыкоцкого ряда бутылок.

— Дайте мне автомат Калашникова, — превалировал вопль Ковальского. И верилось, что осатанелость его не была напускной.

Митя Шагин всей своей громадой высился возле тощего Тыкоцкого. Облапив его обеими руками, он прильнул к нему

размягченным возлияниями лицом. Женя, тоже мигом осоневший, вяло жестикулировал.

— Песня, — шепнул мне Саша, указывая на них.

— Я не могу быть с вами на равных, — размышляла сидящая рядом Лена Фигурина. Ее лицо, не будучи эталоном красоты, притягивало, магически завораживало. — Вы все старше меня и опытнее, ну как я могу сама с этими гидрами биться.

Валентин Герасименко, не скрывая, любовался ею.

— Функционеры на то и функционеры. Функция у них одна — давить, — как всегда рассудительно пояснял Женя Орлов. Он, пожалуй, единственный сохранял хладнокровие.

Никто, вроде бы не двигался, а бутыли все прибывали. Пар медленно и неуклонно выпускался. Теперь уже каждый вел свою партию. Но в общем звучании преобладала мажорная гармония. Ощеренные физиономии партейгеноссен уплывали за край сознания.

Так и запомнилась эта неоткрывшаяся на взлете выставка — первый нежданный шоковый момент для персон из Управления культуры.

«ЛЕДОВАЯ ВЫСТАВКА» В ГАВАНИ

Январь 1987 года

Когда Управление культуры (это название всегда казалось нелепым: как можно «управлять» культурой?), Управа в сленге художников, дало добро на выставку в одном из павильонов в Гавани, это было расценено как издевка. Зима была чудовищно холодной, а павильон, сляпанный из металлоконструкций и предназначенный для проведения осенних сельскохозяйственных ярмарок, доверия не внушал.

— Неужели вы согласились? — возопила я, когда сияющий Саша объяснял, как они думают приспособить нелепый айсберг из стекла и металла под выставку.

— Не боись, тетенька, — захохотал он, — не змерзнем, не Маугли, завтра поедем, увидим, что и как.

Пространство Гавани казалось вымершим. Мороз зашкаливал, словно уверяя горожан, что воцарился навечно. Павильон был виден издалека. Он злобно ощеривался на нас своими металлоконструкциями. Горстка художников бродила в его пустынной утробе. По осени он кишел овощным, фруктовым, медовым изобилием и рачительными хозяевами. Сейчас же это был ветшающий хрустальный замок, брошенный Снежной Королевой.

Зима была такой степени лютости, что женщина, дежурившая в павильоне, замерзла насмерть.

— Мы пришли утром, а вахтерша лежит окоченевшая. Просто обвалилась, и все, — рассказывала хрупкая Елена Фигурина. — Художники столпились вокруг, а мне страшно стало, я убежала.

Художники проводили в павильоне по двенадцать часов. Цементные полы своей мерзлотой прожигали ноги до костей. В попытке защититься ребята прокладывали полы деревянными

щитами и все равно к вечеру являлись домой на негнущихся ногах. Морозы от тридцати пяти и ниже не сдавали позиции.

— Щиты на машинах подвезли, мы их устанавливали весело, дружно, это был триумф, — ностальгически вспоминал Борис Борщ, — куча народа пришла нас смотреть.

Уже прошла бездна времени, и воспоминания об этой ледовой эпопее становятся все более куцыми.

Мои воспоминания, видимо, будут тоже фармацевтические... — так начал свою запись о выставке Евгений Орлов. — В день открытия была жуткая холодина. Когда я ехал в выставочный зал, город как будто вымер, что напоминало блокаду 1941–1944 годов. Настроение после нескольких дней работы по экспозиции было опустошенным и равнодушным. Да еще ангина, все это время температура до 39.

Ехал в троллейбусе в валенках и полушубке, которые привезли с дачи специально для работы в холодном павильоне. Температура в нем слегка положительная, а за бортом — минус 35.

Выставочный зал в Гавани нашли сами, после разрешения от Управления по культуре самим искать помещения для своих выставок. Договаривались вместе с Рыбаковым и Ковальским с директором всего комплекса. В самом павильоне не было выставочного оборудования, и Рыбаков каким-то чудом договорился с Музеем истории города и Музеем этнографии, и нам выделили на время старые стенды, несколько ободранные.

И это спасло ситуацию, хотя крепить их была большая мука. Работали, что называется, «с колес». Что подвозили, то и размещали на стендах и в пространстве. Времени было в обрез.

На второй день прибыли «Митьки» со своим другом из провинции, который привез целую сетку одеколона «Русский лес», и весь павильон запах парфюмерией. Но народ воодушевился и работать стало теплее и веселее.

В день открытия, к середине дня народ стоял в длинной очереди от самой троллейбусной остановки. Это была самая большая выставка ТЭИИ по посещаемости — 50 000 человек.

Приезжал «Телекурьер» с корреспондентом в дорогой и длинной шубе, которая умудрилась испачкаться краской от одной из картин. Она стала повизгивать и требовать разбавитель, чтобы оттереть краску. После чего краска растворилась

еще больше и дама стала требовать компенсацию за причинение материального ущерба... С этим они и укатили делать эфир.

Вот такая была выставка!

Стойкие, морозоустойчивые ленинградские интеллигенты, подкатывавшие со всех концов города, выстраивались в нескончаемую очередь.

Это была первая выставка без цензуры, без партийных функционеров. Здесь не мелькала тусклая хала головы Мудровой, не совещались встревоженные члены Совета. Впервые художники сами отбирали работы для выставки. Впервые за множество лет в их картинах не выискивались следы идеологической диверсии.

И это была первая выставка, где работы продавались прямо со стен.

Основным искушением для покупателей стала работа Евгения Тыкоцкого «Мальчик и его птица». Гордый художник отверг несколько предложений. Картину эту много позже пришлось продать кавказскому авторитету, явившемуся в мастерскую Тыкоцкого с охраной.

Помню, как мы ходили с Сашей, художником Юлием Рыбаковым и сыном моей подруги Мишей пить кофе в ближайшей кофейне. Кофе был из «ведра». Пили мы его стоя, как и было положено в обычных советских забегаловках. Худощавый стройный Юл в его поношенной джинсовой паре смотрелся гардемарином раньших времен. Подросток Миша взирал на него с робким благоговением.

Помню, как «Митьки» боролись с предоставленной им властями мерзлотой помещения тем, что, завернувшись в длиннющую, раскрашенную под тельняшку ткань, скопом, все вместе, перемещались по выставке.

Все было настолько празднично, иронично, мажорно, словно карнавал прошел и обогрел хрустальный куб павильона, сделав его дворцом. Так эта выставка и отложилась в сознании — мощным джазовым аккордом, праздничным фейерверком. Словно небо разрисовали детскими фломастерами.

Заканчивалось время единения и сопротивления. Начиналась эпоха рынка. Но это уже другая, грустная история.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБРАЩЕНИЕ ХУДОЖНИКОВ В ФОНД «КУЛЬТУРНАЯ ИНИЦИАТИВА»

Март 1992 года

Петербургские художники, искусствоведы, коллекционеры и любители новой русской живописи, друзья и почитатели художника Александра Манусова обращаются в фонд «Культурная инициатива» за финансовой помощью на издание единственного и посмертного каталога его живописных и графических произведений.

Александр Манусов принадлежит к кругу мастеров новой петербургской школы, которые обновили язык изобразительных искусств и в настоящий момент широко известны в России и на Западе.

Память о художнике нуждается в удержании особенно сегодня, поскольку Манусов нашел новые выразительные возможности в языке традиционной живописи, ограниченном отношением: краски — кисть — холст; это имеет особенное значение в нынешнее время, когда происходит тотальный сдвиг от традиционных живописных форм в сторону преображения окружающей человека материальной среды и создания новых эстетических объектов, новой предметности.

Работы Манусова последних лет жизни (он умер в 1990 году в возрасте сорока двух лет) выполнены в редкой и сложной живописной технике «открытого цвета», и у него она в высшей степени индивидуальна. Если же иметь в виду, что она служит воплощению библейской ветхозаветной тематики, своеобразно им воспринятой, то можно без преувеличений говорить об уникальности его творчества.

Он достиг высочайших результатов в создании композиций простых и величественных в одно и то же время. В них он прост и доступен и в то же время глубок и философичен.

Один из критиков написал: «С такой резкостью выговаривается последнее и насущное».

Александр Манусов ушел из жизни слишком рано, однако успел совершить нечто очень важное в национальном искусстве. В период ликвидации в массовом сознании россиян тоталитарной ментальности он внес активный вклад в деле поворота этого сознания к родовым истокам национальной живописи — мы имеем в виду традиции древнерусской иконы с ее палитрой открытого цвета и духом сакральных ценностей. В творчестве Манусова был сильно акцентирован ветхозаветный пласт этой духовности, имеющий уже не только национальное, но уже и мировое значение.

Манусов был одним из лидеров ленинградского нонконформистского искусства — и в организационном, и в психологическом, и в творческом плане. Он участвовал в этом движении еще в составе так называемой Газаневской культуры; он был одним из двенадцати смельчаков, создавших «Алеф» — объединение еврейских художников Ленинграда (1975 год), он был постоянным участником множества выставок ленинградских неформалов. От полуподпольных «квартирных» до публичных выставок в Европе и США, открывших миру новое русское искусство.

Он был мужественный человек, проживший всю жизнь с больным сердцем, он оказывал заразительное воздействие на друзей и сподвижников силой характера, обаянием и творческим горением.

Подписи:

Сергей Ковальский, президент петербургского гуманитарного фонда «Свободная культура»

Евгений Орлов, художник

Кирилл Лилльбок, художник, архитектор

Наталья Козырева, зав. отделом графики Государственного Русского музея

Николай Благодатов, член ассоциации искусствоведов, коллекционер

Е. И. Ухналев, художник

Валентин Герасименко, художник

Ю. Дворкин, режиссер российского ТВ

Г. Зубков, художник

Рихард Васми, художник, член IFA

В. Видерман, художник

Г. Б. Васильева, искусствовед, сотрудник Государственного музея истории Петербурга

Л. Никитина, художник

Вл. Овчинников, художник

Вл. Духовлинов, художник

Е. Фигурина, художник

Т. Шехтер, доцент, кандидат философских наук, Гос. худ-промышл. академия им. Мухиной

Ю. М. Позин, коллекционер

В. А. Круглова, директор СПб издательства «Веды», кандидат искусствоведения, доцент

Борис Борщ, художник

Г. В. Горбунова, профессор, зав. кафедрой гуманитарных наук Гос. художественно-промышленной академии им. В. И. Мухиной

И. В. Новожилова, профессор, зав. кафедрой отечественной и зарубежной культуры, Государственный СПб технический университет

Евгений Тыкоцкий, художник

В. Мишин, художник

В. Гаврильчик, художник

ТЕКСТ АЛЕКСАНДРА МАНУСОВА К РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ЧАСТИ ПЕРВОЙ СОВМЕСТНОЙ ВЫСТАВКИ ХУДОЖНИКОВ, ЧЛЕНОВ ЛОСХА И НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ

Центральный Выставочный Зал Ленинграда (Манеж)
1988 год

Эта часть экспозиции посвящена неофициальным художникам Ленинграда, безвременно ушедшим из жизни или вынужденным эмигрировать. Широкая публика мало знает их творчество. Теперь предоставляется возможность позна-

комиться с работами, которые удалось обнаружить у друзей, родственников, коллекционеров.

Имена эти неотделимы от тех, кто продолжал работать здесь. Отстаивая свою индивидуальность, они внесли вклад не только в отечественное искусство, но и в дело раскрепощения духовной жизни нашего общества. Большое значение имела их борьба за возможность показа своего творчества.

Критика обвиняла этих художников в двух взаимоисключающих друг друга грехах: оригинальничании и подражательности, не захотев и подчас не сумев увидеть такие взаимодополняющие достоинства, как оригинальность и связь с традицией. Это было связано с общим проявлением негативизма и бездуховности, торжествовавшими в стране не одно десятилетие.

Официальное искусство пятидесятых годов определялось симбиозом классицизма и передвижничества. Неофициальное имело другие истоки. Это были: «Мир искусства», отечественный «авангард» 10-х-20-х годов, «живописный реализм» 30-х, а также наиболее заметные течения зарубежного модернизма. Разумеется, исток не всегда определяет качество результата, но можно заметить ряд органичных и плодотворных направлений. Например, продолжение и развитие оборванной линии «живописного реализма» 30-х годов Арефьевым и его соратниками или ориентация художников студии О. Сидлина (ученика Осмеркина). В более трудном положении из-за отсутствия живой традиции оказались художники, опиравшиеся на современные им западные течения. Тем не менее, творчество Е. Рухина, Е. Михнова-Войтенко, М. Кулакова высоко оценено за рубежом.

Представленная здесь ретроспектива — не только дань уважения замечательным художникам и не просто информация для заполнения лакун в истории отечественной культуры. Это живые произведения, несущие сегодняшнему зрителю чувства и размышления, труд и талант их создателей.

ПИСЬМО АЛЕКСАНДРА МАНУСОВА РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» СЕРГЕЮ ЗАЛЫГИНУ[1]

Уважаемый Сергей Павлович и редакция журнала «Новый мир»!

Причиной этого письма послужили две публикации вашего журнала. Это (я называю в порядке прочтения мною) стихи выдающегося русского поэта, лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского и письмо члена объединения старых большевиков (при ИМЭЛ) при ЦК КПСС заслуженного юриста РСФСР, государственного советника второго класса, товарища Г.А. Терехова «Возвращаясь к делу Гумилева».

Сам факт появления этих публикаций знаменателен. Я вижу в этом перекличку имен, соприкосновение судеб замечательных русских поэтов.

Публикация стихов И. Бродского затронула потаенные, глубоко запрятанные и скрученные в тугой комок струны. Но вот мы видим сноску внизу, в которой мелким шрифтом сообщается, что этот поэт живет в Нью-Йорке и недавно стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Присуждение ему этой премии — немаловажное событие культурной жизни. Но почему нет никакого предисловия к этим стихам, почему не сказано, как этот поэт, гордость русской словесности, оказался в Нью-Йорке и кто и что за этим стоит? Мы говорим «гласность», мы говорим «демократия», так почему же мы как рыбы молчим о наших 70-х мрачных годах?

Средства массовой информации официально подтверждают наши знания о сталинском терроре, о судьбах представителей русской культуры, о гонениях, притеснениях и просто узаконенных убийствах. Это горько, но это необходимо знать, чтобы не повторилось. Это так. Но почему о 70-х годах мы слышим только: застой, застой, застой? Как испорченная пластинка. А ведь это было страшное мрачное время. Не убивали, но ломали, заставляли быть дрессированными попугаями, а тех, кто не ломался, выбрасывали вон. Примеров можно привести сколько угодно. У нас гово-

[1] Письмо не датировано. Скорее всего, это 1988 г.

рят: где же наша талантливая молодежь? — и, не найдя таковой, нарекают молодежью сорокалетних. Это же смешно, по крайней мере. А откуда ей взяться? На какой почве? Если людей, я имею в виду художников, писателей, представителей творческой интеллигенции и т.д., не совсем поддающихся дрессировке, или вынуждали покинуть страну, или заставляли молчать. Не мне говорить Вам об этом. Ведь что же произошло с Иосифом Бродским? Сначала поизмывались, как могли, а потом вышвырнули вон. «Я прощаюсь со страной, где прожил жизнь не разберу чью и последний раз — пока здесь, этот воздух как вино пью... Ни земли, ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду умирать».

Почему не названы непосредственные виновники этого, как было, правда, с опозданием сделано в трагической истории нашего выдающегося режиссера А. Тарковского? Почему два министра культуры тех времен — ныне покойная Фурцева и здравствующий поныне Демичев, недавно награжденный «Золотой Звездой», виновные в том, что творилось в культурной жизни нашей страны, не ответили за это? Опубликуйте стенограмму суда над Бродским (а она существует), стихи Галича и произведения тех авторов 70-х годов, чье существование сейчас полностью игнорируется. А Солженицын? А Сахаров? Какая может быть гласность при полном замалчивании всего этого?

Надо было сказать и о том, что лишь за чтение произведений этих авторов можно было оказаться на нарах. И это были не тридцатые, сороковые и пятидесятые годы, а совсем недавно, недалеко, можно сказать, за углом.

Относительно второй публикации у меня просто нет слов. Огромное спасибо, что Вы напечатали и спасибо товарищу Терехову. Это, я считаю, полная реабилитация замечательного поэта Николая Гумилева, а не помилование, то жалкое, объявленное в прошлом году, или ранее, не помню.

Опять прошу Вас не считать меня обвиняющим Вас во всем том, что написал по поводу публикации стихов Бродского. Несмотря на все мои высказывания выше, я очень благодарен Вам за обе публикации и за всю Вашу работу

в прошедшем году. Я очень высоко ценю Вашу гражданскую позицию, продолжающую традицию А. Твардовского, и Вашу искренность.

Желаю Вам и всему коллективу журнала «Новый мир» здоровья, благополучия и успехов в Вашем благородном труде.

С уважением
Александр Манусов, художник, 40 лет,
Ленинград

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ХУДОЖНИКИ ОБ АЛЕКСАНДРЕ МАНУСОВЕ

На мой взгляд, Александр Манусов оставил очень яркий след в современном искусстве. Он начинал скромно, примыкал к каким-то школам, имел какие-то влияния на собственное творчество, не врывался в искусство, как бомба, ничем себя не провозглашал и никого не эпатировал. Он все время учился, относясь к творчеству очень серьезно. Все это было подготовкой к его последнему ослепительному шагу.

В наше время искусство тяготеет к чистому цвету. И Манусов, живописец от Бога, не мог оставить это веяние без внимания. Но, взращенный на глубоких культурных традициях, не мог также примкнуть к крикливости современного мира. И ОН СОЗДАЛ ГАРМОНИЮ ЧИСТОГО ЦВЕТА, КАКОЙ НИКТО НЕ ДЕЛАЛ ДО НЕГО. И СДЕЛАЕТ ЛИ ПОСЛЕ НЕГО? НЕУЖЕЛИ ЭТО ОСТАНЕТСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ?

Это совершенно новый шаг, к которому можно примыкать и который можно разрабатывать. Очень жалко, если у него не будет последователей. Подражатели могут быть, но подражать Манусову — пустое дело. Потому что его цвет никогда не рождался ради цвета, и в его скромных прогулках и деревьях подспудно проступают его глубинные раздумья, и они несут в себе большое философское и духовное начало.

Ленина Никитина

Почти сразу после Сашиной смерти прошли две выставки. Первая была в редакции журнала «Аврора», на ко-

торую он не «успел», так как скончался за десять дней до ее открытия, вторая — в лектории Русского музея. Третья, самая представительная, ретроспективная выставка, о которой уже упоминалось, прошла в Мраморном дворце в мае 1991 года. Но мне хочется остановиться на выставке в лектории Русского музея, где по ее окончании состоялось обсуждение. Там выступали многие художники. А в самом конце говорил Иосиф Храбрый. Как мне представляется, его слова перекликаются с мнением Ленины Никитиной, изложенным выше.

А сказал он следующее:

Художник существует и является мировым достоянием не только потому, что он хорошо делает какие-то работы, а потому, что он создает образно новый ряд, новый пластический ряд, по-новому подходит к искусству и тем самым открывает не только для зрителей, но и для художников некие новые пути.

Мне показалось, что до определенного момента жизни Александра Манусова можно было воспринимать как человека в определенной культурной традиции — талантливого человека, блестяще владеющего цветом, то есть великолепного живописца с самого начала. Но пластический мир его ранних работ был таков, что прослеживалось влияние, ну, скажем, Сезанна, или еще кого-либо.

Но я никак не могу, глядя на его последние работы, установить их происхождение, исток. Вот на кого это похоже? МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТО — ТО, НА ЧТО БУДЕТ ПОХОЖЕ ДРУГОЕ. ЭТО УЖЕ НОВЫЙ ШАГ. ЭТО ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ, КОТОРОЕ ОН СОВЕРШИЛ. СОВЕРШАЛ ОН ЕГО НА НАШИХ ГЛАЗАХ.

Но одной из выставок семи на Литейном (тогда еще эти работы были впервые выставлены) уже было ясно, что человек начал искать, как любой мастер, который пытается сделать открытие. Он начал искать форму. И он начал искать в направлении, которое вообще для живописца как бы запретно. Он начал искать простые способы писать на простой

яркой подложке. На матовой, на глухой, это как бы многие умеют, это как бы нормально. А вот взять ярко-синюю и просто ярко-синий грунт и на нем опять же практически открытым цветом писать и делать живопись — мне кажется, на это не решится никто, а живописцев много хороших. Первые его работы этого плана были хорошими, очень хорошими. А то, что мы видим здесь, на стенах — эти работы совершенны. Но выставке в «Авроре» работы были просто безупречные.

У меня есть определенное понимание этого. Мне кажется, он нашел прием, с помощью которого достигается этот эффект. Это некое новое открытие, которое будет влиять на очень многих людей, тех, которые пытаются делать живопись на открытых цветах.

Мы все осознаем, что это явление очень значительное, если хотите, более, чем значительное. Мне хочется, чтобы значительность этого явления, чтобы имя Манусова нашими с вами усилиями действительно вошло в историю мирового искусства, чтобы оно повлияло самым лучшим образом на последующих художников, чтобы оно вошло в художественную школу, в художественную традицию. И будет очень обидно, если это не произойдет.

* * *

С Сашей Манусовым мы встретились в начале 80-х годов, когда зарождалось Товарищество (ТЭИИ) и потом очень долго были вместе не только на выставках, но и как друзья.

Я хочу сказать, что когда мне приходилось вместе с Сашей выставляться, мне всегда было интересно видеть его работы со своими, делать какие-то определенные точки отсчета. Они совершенно разные по мировоззрению, моя живопись и его. И для меня всегда было приятно видеть его неимоверную силу, его вот такое вселенское понимание цвета и символа, то есть неимоверную скупость символов и совершенно такое разнообразное понимание цвета. У меня всегда

от его работ было ощущение, как от работы мастера эпохи Возрождения, то есть, по своей сути, такое очень глубокое и глубинное, идущее от Дерева и Человека, то есть там нет разницы между Деревом и Человеком. Меня всегда это ошеломляло и я, в общем-то, до конца так и не понял, как он это делал. Для меня он остался такой большой загадкой, на которую всегда можно ориентироваться.

Евгений Орлов

* * *

Последние работы влились по-моцартиански легко, органично и свободно. Это классика, по которой можно учить людей или просто наслаждаться ею. Великолепная живопись с одной стороны и какая при этом свобода — с другой. Он остается в пределах традиционного материала. Люди, у которых есть внутрениие озарения, не ставят своей задачей изобретать.

Его работы можно рассматривать как символическую живопись. В каждой работе совершается что-то центральное, центровое, на работах даже небольшого формата происходит священнодействие, мистерия, где осуществляется связь неба и земли.

У него нет зависимости от формальных поисков и самим же придуманных форм, а есть зависимость от главной идеи. Его живопись музыкальна. А музыка обращена к душе человека. Он добился сочетания фигуративности и абстрактности. У него та степень недосказанности и проявленности, которая очень близка к тому, что мы называем идеалом.

Это человек, выбравший свободу. Он — одиночка. Это — Дух, который дышит там, где хочет. Как у Пушкина. В его позднем творчестве ему просто нет аналогий.

Александр Бихтер

* * *

Сашу я знал очень хорошо. Что в нем прежде всего поражало — это его доброжелательность и, конечно, жизнелюбие — то, чего многим из нас сейчас не хватает, а также равное отношение ко всем окружающим, независимо от обстановки, в которой он находился. Он всегда был со всеми одинаков, как будто ему была известна истина, которую многие из нас считают временной и преходящей. И только сейчас можно понять, что для него искусство было потребностью жизни, а не способом выживания. Он «купался» в этом существовании, в живописи, в этой обстановке. Достаточно было прийти к нему в мастерскую, чтобы это почувствовать.

Александр Гуревич

Если бы мне пришла в голову идея завести «цитатник», я в первую очередь внесла бы туда высказывания Александра Бихтера.

Художник Александр Бихтер — замечательно привлекательный, мягкий человек. Он прекрасный книжный график и к тому же внучатый племянник Владимира Галактионовича Короленко. Мне кажется, у них даже есть что-то общее в облике. Генетическое неприятие мусора жизни и страдание от знания, что никуда от этого мусора не деться, написано на его лице. Он красив, всегда изысканно вежлив. Как и многие художники из Сашиного окружения — необычайный меломан. Дед его преподавал хоровое искусство в Петербургской консерватории и к тому же был выдающимся дирижером. На мраморной доске в консерватории среди прочих славных имен высечено и его имя.

Если бы меня попросили охарактеризовать Александра Бихтера одним словом, я бы употребила слово «благородство».

Он исключительно интересно рассуждает о живописи, его импровизации всегда точно нацелены, их легко запомнить и записать по памяти. Он был очень близок к Саше Манусову в последние годы его жизни. Они работали рядом и в перерывах, распивая чай, говорили о всяких разностях. Поэтому наблюдения Бихтера, его оценки творчества Манусова для меня бесценны.

Когда-то я записала следующие его высказывания.

(Да простит мне Александр Бихтер, но я привожу их такими, какими они вылились годы назад в простой телефонной беседе. Они все были просто ответами на мои вопросы).

Саша очень хорошо относился к Сезанну, который оказал влияние на всех художников двадцатого века. Сезанн дал всем очень большой толчок своим отношением к цвету, пейзажу, пространству. Это сведение пространства к геометрически простым формам кубисты, например, поняли впрямую, буквально. У Саши этого, конечно, нет. В результате он пережил Сезанна, ушел от него. Он многое взял от Фалька, то есть от Сезанна, но через Фалька. Но Фалька он тоже пережил. Я, например, сейчас не могу смотреть работы Фалька. Думаю, что у Саши было бы точно такое же мнение. Но он был потолерантнее меня. Его подход к мазку, даже в акварелях, прежде тоже был сезанновский, но потом он ушел от этого, стал спокойнее покрывать поверхность. Это уже влияние иконописи, это именно Сашино отношение к цвету. У Сезанна цвет дробится. У Саши нет этого иллюзионизма, чувствуется структура поверхности. Саша сложнее Сезанна, он пошел дальше него.

И к вопросу о желтом цвете в работах Александра Манусова.

У него очень энергичный мазок в желтой работе, очень экспрессивный. Он выдавливал его на холст прямо из тюбика, я это видел, это было при мне. У него был период желтых

грунтов, несколько его желтых триптихов сделаны на этом грунте, но это уже не мазок, это окрашенная поверхность.

Желтый, ведь это, кажется, цвет мудрости. Во всех религиях была символика цвета. Желтый, холодный, вызывает меньше всего раздражения в смысле искусственности. Если взять, скажем, кадмий, и не развести его, то он раздражает. Саша из желтых очень любил неаполитанскую желтую, она мягкая, в ней есть правда, ее можно использовать в чистом виде, не смешивать с белилами. Для грунта он использовал стронциевую, а также охру золотистую, он их смешивал. И в этом светящемся желтом пространстве он работал. У Саши пространство символическое. Он очень органический художник и прекрасно чувствовал пространство. В его живописи есть единство, органика, все построено на безукоризненном чутье.

* * *

Я уверен, что какие-то работы Саша не сам делал, а они его вели. Будто он получал информацию из какого-то космического банка. Он наверняка испытывал ощущение чуда, когда их сотворял.

Евгений Тыкоцкий

ИЗ ЗАПИСОК АЛЕКСАНДРА МАНУСОВА

Саша не был многословен. Говорил медленно, размышляя и нащупывая мысль словно на ходу. Нащупав, облекал ее в простые слова, подкрепляя экономными жестами, что было свойственно ему как художнику.

Здесь приводятся редкие его записи. Некоторые из них вынужденные. Это ответы на вопросы. Другие же сделаны в душевном порыве.

* * *

Для меня, как для жителя Северной Пальмиры, характерен более кропотливый, более статический путь в живописи (по сравнению с московскими живописцами), в дальнейшем взрывающийся на стадии выхода в полную самостоятельность.

Драматизм не сюжета, не ситуации, не повествовательный. Может быть драматизм пятен и линий. Драма может быть и в пейзаже, и в натюрморте, и в многофигурной композиции. В живописи она создается не рассказыванием какой-то истории, а рассказом отношений пятен и линий. Хотя линия — это тоже пятно, но максимально сконцентрированное. Это специфика изобразительного искусства. В музыке те же пятна и линии, только они создаются звуком.

Моя живопись претерпела за эти пятнадцать лет немало изменений. Еще со студенческих лет я очень был увлечен Филоновым, но, как говорит мой друг Михаил Иванов, художник и критик, в моей лодке спокойно умещались тогда Филонов и Борисов-Мусатов. Немалых сил стоило мне освобождение от Филонова. Но, конечно же, это не прошло даром. Это сказывается в моей работе над поверхностью картины. Главное для меня — это живописно-пластическая разработка. Действие на зрителя должно оказывать не сюжетное содержание, а содержание, идея цветной поверхности. Сам цвет должен действовать и нести информацию ощущения художника.

Живопись автора — это язык живописной пластики и единой цветовой ткани плоскости, так же, как и музыка, воспринимаемой человеком непосредственно.

Текст А. Манусова для каталога выставки ленинградских художников
(Таллинн, 1986 г.)

* * *

Построение пространства картины не есть создание иллюзии воздушной перспективы на холсте. Любая иллюзия создает у зрителя, читателя сомнение в подлинности вещи. Пространство — такая загадочная штука. Какого его только нет: и прямоугольное, и сферическое, и чаше-купольное, и линейное.

На мой взгляд, оно одно — подлинное. Да, подлинное, не иллюзорное, не — всамделишное. Я думаю, что это структура, конструкция плоскости, намертво спаянная с пластикой, с живописной тканью поверхности. Картинное пространство возникает от взаимодействия пятна и линии. Пятно и линия — это созданный художником мир, воплощенный в условности материала, данного ему в руки. Таким образом, привычная нам линейная перспектива разрушается им (художником), и это заметно еще в иконах. В них есть больше, чем выход в Космос, в них выражена душа человека, а это, на мой взгляд, неизмеримо большее, чем космическая материализация. Правда, если Космос обожествлен, то это и есть душа, но это душа Бога, а не человека, душа же человека стремится к Богу, и это стремление, как мне кажется, и есть самая наивысшая ценность человечества. Это смысл существа человеческого.

Но нарушилась связь, нарушился смысл. Появилось искусство так называемого соцреализма, и появилось оно в «отдельно взятой стране», так как здесь был провозглашен государственный атеизм. Ну и что? Это же политика, а не искусство. Но вот что странно. На картинах стало пропадать истинное пространство и появляться та иллюзия, о которой говорилось ранее. По всей вероятности, ценности духовные были подменены как-то незаметно сиюминутностью, желанием получить сейчас и как можно больше. Называется это разврат.

Но мы отвлеклись от главной темы данного сочинения. Пространство — вот что больше всего интересует нас, пространство картины.

Разделение пространства на вышеупомянутые названия, на мой взгляд, не что иное, как игра художников, вызванная тем, чтобы назвать себя и определить свою ступеньку в мировом искусстве. Разные названия определяются их пластическим языком и помогают любителям и искусствоведам расставить их на определенные полочки своего восприятия.

* * *

Мой путь к собственному, только моему, был очень длителен, да и сейчас этот путь продолжается. Я всегда в дороге. А вообще это был путь познания природы в связи с творчеством мастеров мировой культуры. И это не только художники, но и музыканты, литераторы. Я стремлюсь к гармонии. К гармонической связи всего сущего. Живопись — это мой способ познания мира. Картины мои — это способ моего существования, моя жизнь.

* * *

За окном, с редкими всплесками проходящих трамваев, густая фиолетовая ночь. Желтое, сдавленное темными и светлыми, красными, синими, зелеными — холст. Три холста. Мастихин и кисть в тряпке на красках. Яркий свет и треск в приемнике. Голова гудит, в руках дымящаяся сигарета. Все. Хватит, больше нельзя трогать. Теперь вымыть кисти и спать. Завтра урок.

ЧАСТЬ II

СОФУС

Она мчалась вокруг дома. Просто так. Сначала в одну сторону, потом в другую. Она любила так бегать и, приглашая всех в свою радость, смеяться неожиданным для ее пяти лет басовитым смехом. И вдруг, словно споткнувшись, остановилась: из клубничных листьев прямо на нее высовывалась угрюмая треугольная кошачья морда.

— Ну, что уставилась? — своим ясным петрушкиным голосом спросил Максим. — Это Софус. Нам его дядя Толя привез. Чтобы он воздухом дышал. Софус-Софус — дармолопус. — И рыжий высокомерный второклассник проследовал дальше.

— Софус, — протянула она очарованно. Так началась их любовь. Сначала он, кот-подросток, робел и злился, бил землю прутиком хвоста, слыша ее басовито-раскатные призывы. Она бегала перед ним, волоча за собой царственно-глупые огромные листья на длинных стеблях, росшие за оградой. Она приносила ему жуков, выловленных в канаве, а однажды притащила в тряпке бурую тоскливую жабу. Жаба сидела на холмике, чужая и раздутая, окаменелая диковина, вытащенная из неведомого. В слизи ее глаз угасало изумленное страдание. Сиротливая струйка поползла от нее вниз. Он с омерзением тронул пришелицу лапой и скрылся в зарослях клубники. Она бережно завернула жабу в тряпку и отнесла туда, где нашла, под доски в глубине двора.

Как-то она заманила его на веранду. Здесь ему явно понравилось. Катапультировавшись с пола и странновато щелкнув челюстями, он съел невидимую нам муху, а потом, рыча, вцепился в лежащий на окне подберезовик. Голоден он не был, так как исправно ел и пил из своей миски в соседнем доме у Максимовой бабушки, моложавой подтянутой женщины (кандидата наук и начальника лаборатории), оказавшейся на время отпуска во власти трех внуков.

Петя и Алеша, агрессивные шарики на толстых ножках, хватали его за хвост, пихали пухлыми кулачками, пытались

уцепиться за усы. Двухлетние мучители-близнецы не давали ему передышки, и он ушел к нам.

Серый, невзрачный, в четкую полоску, он словно носил на себе собственную клетку. Это было четвероногое наглядное пособие по изучению холерического темперамента. Вкрадчивую, одуряющую ласковость гаремной рабыни сменяли всплески свирепого веселья. Сахарная красота Дымки и Тимки, двух ангорских ленивцев, иногда забредавших к нам на участок, таяла при его появлении.

— Была бы я Софусом, — мечтала она, — я бы лазала под дом, ходила бы голая, с одной шерсткой, был бы у меня такой желудок, который может все есть, я бы гуляла всю ночь...

Торжествуя над законами гигиены, он спал на ее кровати, по утрам бегал за нами в лес и на озеро. Затаясь в кустах, томясь и вздрагивая, он ждал, когда она прогрохочет мимо на велосипеде с дрыгающейся сзади бумажкой. Во время еды он крошечным коньком-горбунком скакал по полу, целясь в бутерброд в ее руке. Бледнея, она смеялась заданным смехом.

Каждый выходной мы с ужасом ждали «папочку», художника, одарившего кота таинственным именем. Недавно расставшийся с семьей, он был неизменно угрюм и мрачен, мрачнее своей пугающе черной бороды. Изловив кота, он нес его в дом, и кот, тоскливо выглядывавший из его рук, казался талисманом, добытым в нечестной схватке. Стоило художнику на миг ослабить бдительность, и кот оказывался на нашей, чем-то напоминающей палубу пиратского брига веранде.

— Мамочка, — чуть ли не каждый день просила она. — Давай возьмем его к себе. Насовсем. Он хочет с нами жить. Он нас любит.

— Но ведь это чужой котенок.

— Как же чужой, — со счастливым лукавством тянула она. — Ты просто шутишь, мамочка. Эх, ты, глупая. Он ведь наш, он нас любит.

Однажды за ужином она сказала:

— А Галина Максимовна (бабушка Максима) спрашивала, у нас Софус или нет.

— И что ты сказала?

— Я сказала, что его у нас нет, — ответила она тихо.

Софус трудился в углу над куском рыбы. Он придерживал его лапой. Его рычание было многозвучно и нежно, как аккорд электрооргана.

До сих пор она не знала, что такое ложь.

Когда она заболела, мы уехали на несколько дней в город. В день возвращения лил стандартный для этого лета дождь. Оставляя за собой мокрые следы, она ворвалась в комнату. Он лежал на ее кровати и вкусно похрапывал.

— Его сегодня забирают, — сказали нам с плохо спрятанным удовольствием. — Его уже забрали, но он опять прибежал.

Когда она села на кровать, он, не прерывая блаженного пения, облизал рукав ее куртки и, притворно осердясь, перекатился на спину, демонстрируя замшевые ладошки лап со спрятанными когтями.

— Ну, мамочка, — умоляла она, чуть не плача, — ну, пожалуйста...

Во время обеда в дверь постучали.

— Приятного аппетита, — пожелал нам друг Максима Сережа, владелец Дымки и ближайший сосед Тимки, с почему-то виноватой улыбкой на очень добром лице.

— Скажите, пожалуйста, Софус у вас?

Стало тихо.

Я сказала:

— Сейчас мы посмотрим в комнате.

Он доверчиво спал на кровати.

У нее струной дрожала нижняя губа.

— Пойми, что он не наш. Его хозяин взял его совсем маленьким, кормил его, ухаживал за ним. Ты все лето с ним чудесно играла. Принеси его сама. А я пойду к Сереже.

Мальчик все стоял посреди неуклюжей, атакуемой дождем и ветром и оттого особенно напоминающей палубу разбойничьего корабля веранде.

Она принесла его теплого, обмякшего, поющего мотоциклом.

Она была надменно спокойна.

— Возьми, — сказала она Сереже. — Возьми своего Софуса.

И ушла в комнату.

1973 г.

УРОК МУЗЫКИ

— Сыграй мне «Латышскую народную песню», — говорю я ученице. Ученица сегодня — моя дочь Аня. Она округляет и без того круглые глаза и вплотную приваливается к инструменту. Ей кажется, что так лучше видны нотные знаки. Сейчас она — сосуд, доверху заполненный старательностью. Взмах левой руки перед нажатием первой клавиши напоминает жест актрисы в античной трагедии. Звуки медленны и глубоки и далеко отстоят один от другого по времени. Паузы-самозванки торжествуют между ними. Дочь косит в мою сторону круглым глазом.

— Так? — спрашивает она, захлебываясь от усердия.

— Правильно? — изумляется она, увидев мой кивок.

Звуки плетутся дальше.

Сохраняя на лице натренированную невозмутимость, я пытаюсь осмыслить очевидный факт: почему у всех моих учеников хорошо поставлена рука, а моя дочь сидит, навалившись на пианино и почти уложив на клавиши локти? Еще я стараюсь понять, почему дети, которых я начала учить одновременно с ней, сейчас играют небольшие пьесы Шостаковича и Моцарта, а мы тоскуем на девятнадцатой странице элементарной «Школы игры на фортепиано». Я вспоминаю, что завтра придет со своей дочкой Вера, очень сильный педагог. Они меняют инструмент и временно ходят ко мне заниматься. Я знаю, что еще раз услышу, как в ходе урока регрессирует ее изумительно красивый голос певицы: сначала в нем будет звучать переливчатость дорогого хрусталя, потом она перейдет в неудержимо растущее крещендо водных каскадов и оборвется на фортиссимо вульгарным треском бьющегося стекла, а сама Вера, багровая, близкая к апоплексии, ворвется в кухню и, задыхаясь, крикнет:

— Ты слышишь, какая мерзавка?

Думая обо всем этом, я изо всех сил сдерживаюсь, чтобы довести урок до конца, потому что хорошенькая бойкая Ира, которая долго всхлипывает в изоляции — отъявленный флегматик по сравнению с тем существом, которое сидит сейчас возле меня.

Мелодия, заикаясь, доползает до финального ре.

— Сыграем еще раз, — говорю я мягко.

В круглых старательных глазах — удивление. Она переводит взгляд на сборник песен Винни-Пуха, некстати стоящий на пюпитре.

— А почему на горшке с медом написано «миот»? — интересуется она.

— Сыграем еще раз, — повторяю я монотонно-ласковым голосом. Где-то со стороны я наблюдаю за собой и восхищаюсь несвойственной мне выдержкой.

— Поставь хорошо ноги и отодвинься подальше.

Левая рука вспархивает над крышкой пианино. Начинается новое шествие звуков. Глаза-монетки притиснуты к нотным строчкам. Движения пальцев заставляют вспомнить лето и стреноженную лошадь возле нашей дачи, которую мы подкармливали хлебом. Добредя до ноты ре, Аня лукаво тыкается головой мне в колени. Она довольна.

— Анечка, а теперь мы попробуем сыграть еще раз, но немного по-другому, — говорю я совсем мягко и вижу, что спокойное удивление в ее глазах сменяется изумлением.

— Еще раз? Тебе бы тысячу, тебе бы миллион, секстиллион бы тебе, — укоряет она.

— Ну давай хоть раз сыграем как следует, — прошу я, чувствуя, что мне не придется завтра хвастать перед Верой своей выдержкой.

Она придвигает лицо вплотную к нотам и с интересом читает названия других пьес на этой странице. Потом перелистывает несколько страниц и с еще большим интересом изучает, что написано там.

— Выйди из-за инструмента, — говорю я тихо, но ярость, сконденсированная в тоне, пугает и обижает ее.

Она подбегает к дивану, кидается на него вниз лицом, подвывает горестной сиреной, делая ногами гимнастические движения для плавания.

— Я ухожу, — говорю я. — Ты остаешься одна. А я пойду в кино или к тете Инне.

— Никуда ты не пойдешь, — голосит она. — Я знаю, что ты никуда не пойдешь, а будешь сидеть на лестнице.

Я тоже знаю это, однако надеваю, что положено для зимней прогулки и выхожу.

Спустившись на пролет, я останавливаюсь, размышляя, не подняться ли мне в самом деле к соседке. На вечерней лестнице безлюдно и стоять здесь тепло и грустно-спокойно. Она дышит, как живое существо, и на выдохе обволакивает меня уютно приглушенными звуками хоккейного матча, диалогом из старого кинофильма, плачем грудного ребенка.

В фугу лестницы вкрапливается еще одна тема. Это полновесные, точно капли редкого зрелого дождя, звуки многострадальной латышской мелодии длиной в одну строчку. Я жду, когда она прозвучит еще и еще и, громко стуча каблуками, поднимаюсь к нашей двери. Я долго ворочаю в замке ключом, но, войдя, еще успеваю заметить силуэт отпрыгнувшего от пианино ребенка.

— Ну что, — говорю я уже в комнате, — теперь поиграем?

Она молча садится на круглый стул и начинает ровно и сосредоточенно. Лицо ее неподвижно.

Я одобряю ее стерильным голосом автомата:

— Молодец, сейчас у тебя все правильно и хорошо.

Обида вырывается из нее гейзером.

— Я же стараюсь, — кричит она, прижимаясь ко мне и захлебываясь слезами. — Разве ты не знаешь, что я стараюсь? Ведь знаешь же, знаешь... А сама кричишь так, что мир трясется.

Она ничего не видит. Занавес слез повис на ресницах, залепил глаза. Я глажу ее, стараясь не зареветь вместе с ней. Урок музыки окончен.

1978 г.

КЛАДБИЩЕ

В поселке Пабраде, за сорок минут электричкой до Вильнюса, шли по лесу две женщины с двумя девчушками.

Вокруг веселился литовский полдень. Солнце кусочками янтаря просовывалось сквозь ветви деревьев.

— Давайте свернем вправо, — предложила Завадиной спутница. — А позади налево еврейское кладбище, я забыла вам его показать, его разрушили в начале войны.

Завадина обернулась, и в секунду ей стало нехорошо, она резко повернулась обратно: сзади, в исчезающей ложбине, иероглифом уже невидимого ей ужаса виднелось невнятное бормотание каменных глыб.

В перелеске нашлись грибы, домой они вернулись другой дорогой, и видение ужаса ушло.

Через несколько дней одна близкая знакомая сказала Завадиной:

— Сходим за брусникой. Это недалеко, через еврейское кладбище.

Эта синеглазая женщина, королева всех мест и сборищ, вела Завадину к цели легко и беззаботно.

Дома поселка кончались, сбоку за скупым перелеском стоял один из последних.

— Вот уже и кладбище, — сказала синеглазая. — Теперь мы быстро дойдем. Здесь пропадает много прекрасных камней. Володя говорит, была бы машина, взять бы один такой памятник в Ленинград, можно здорово заработать.

Завадина смотрела вперед, ей уже слышалось угрюмое каменное ворчание.

— А вот и девочки играют, — приветливо молвила королева. Она любила детей и животных, вбирая мир через призму своей стереофонической личности.

Две ромашковые головки торчали из травы. Девчушки глянули на них с кроткой отрешенностью и продолжили свое занятие.

— Они играют в похороны, — вглядевшись, слегка смутилась королева.

Они уже похоронили кого-то, может, бабочку, шмеля или даже воробья, поставили два кирпичика, один раковиной, другой высоким надгробием, и теперь утрамбовывали землю под цветами, видимо, доставленными из домашне-садового уюта.

Женщины пошли дальше. Кладбище казалось привнесенным извне, с другой планеты. Оно было маленьким; каменная, в проломах, стена делала его еще меньше; там, где стены не было, виднелась колючая проволока. Оно было тесным: на вспученной земле, словно застигнутые при попытке к бегству, застыли каменные глыбы с темными письменами на них. Одни лежали текстом вверх; темные буквенные символы других были вжаты в землю, некоторые торчали боком, словно зубы, которые не удалось вырвать сразу. Здесь была непреходящая тень: изросшиеся деревья задерживали в себе намек на солнечный луч; рядом на поляне, где солнце мягко резвилось, птичье сопрано выводило канцонетту.

— А вот, помотрите, памятник в виде дерева.

Довольно высокий, обтесанный под спиленное дерево камень, с сучками, толстой корой, лежал на земле, как и подобает рухнувшему гиганту.

— Как вы думаете, чем они растаскивали камни? — спросила Завадина.

— Не знаю, может, тракторами, машинами.

Вечером муж красавицы, лысый, кроткий, сознающий свое место в празднике ее жизни еврей, спросил глубинным, противоречащим его хилому естеству голосом:

— Вы были на кладбище? Там прекрасные камни. Сева, наш приятель, говорит, если бы вывезти хоть один в Ленинград, можно заработать самое малое тысячу рублей. А вы видели камень под дерево? Сколько труда и таланта, и терпения в него вложено.

Он тронул очки и продолжал, артикулируя, как лучший ученик логопедической школы:

— Одно время местные начали было растаскивать камни. Но ксендз — очень справедливый человек, он собрал

прихожан и запретил им это делать. Он сказал: «Они тоже люди».

Где-то в этих краях во время войны местные жители расстреляли дядю Завадиной, а ее двоюродного брата, семнадцатилетнего мальчика, сожгли на глазах у матери.

— Немцы не пачкали о нас руки, все делали сами литовцы, — рассказывала тетя Лена. Она приехала из Канады в гости на месяц. Она смотрела в Завадину зрачками, гипертрофированными линзами очков, и Завадина смотрела в эти ее зрачки, как в хорошо регулируемый механизм, где стрелка скорби обязана была сейчас стоять на нуле.

— Война кончалась, и, когда вошли наши части, он еще дымился. Они хотели уничтожить мужское семя. Яхе было двадцать четыре года, она стала вся седая, и сейчас она не хочет красить волосы, думают иногда, что я ее дочь. Мы вернулись в Вильнюс и увидели, что наши убийцы уже работают в исполкомах и ездят в автомобилях. Яха тогда сказала мне:

— Мама, мне постыла эта земля, давай уедем.

Тогда еще можно было уехать, и мы через всю Европу добрались до Парижа.

Перед отъездом из Ленинграда тетя Лена рыдала:

— Лучше бы я не приезжала.

В автобусе аэропорта корректные американцы усадили ее в кресло. Завадина долго смотрела в участок неба, где исчез вгрызшийся туда винтом самолет американской авиакомпании, следующий в Осло.

Завадина с дочкой уезжали в Ленинград вечером. День доживал свое неспокойно. В небе с полудня гноились облака, слившиеся к вечеру в дождевой инфильтрат.

Хозяин возился во дворе, налаживая свой старенький мотоцикл с коляской, чтобы отвезти их на станцию. Нерешительные поспешные капли дождя заскользили сверху.

Завадина взяла зонтик и вышла на улицу. Было безлюдно в этот темноватый дождевой час. Пегая, разбойного вида кошка, покорно сидела под деревянным срубом. Музыка дождя шла на одном звучании, и в ее делении на фразы шаги Завадиной расставляли мягкие акценты.

Кладбище открылось сразу, доверчиво и просто. Завадина остановилась на поляне, где при дневном свете слышались птичьи вокализы.

Темно-рыжий бычок с мордой и задом, словно обсыпанными мукой, и оттого похожий на тоскующего Пьеро, глянул на нее из-под елки и отвернулся.

Кладбище покорно отдавалось дождю. Разбежавшиеся в слепом страхе плиты жались к земле, приникая к ней беспомощно и кротко. Могендовиды, смотревшиеся раньше сублимацией грозного гнева, теперь казались звездочками на ладошке ребенка. Дождь ослабил спазм каменных глыб, и место это не гляделось больше участком проецированного Божьего Гнева. Сейчас это был оазис скорби, над которым деревья-плакальщики всплескивали ветвистыми руками. Завадина, как и все, думающая и взывающая к Богу, к тому высшему, что живет в людях, лишь в самые экстремальные моменты ее жизни, почувствовала, что спазм ее души, поселившийся в ней с того мига, когда она узрела позади бормочущие каменные глыбы, разжался, ибо в этот миг Бог плакал со всеми и обо всех, вбирая в свою скорбь страдальцев и тех, кто в слепоте своей души сеял страдания.

Бычок вытащил из куста свою засыпанную мукой морду и выдохнул в нее требовательный аккордовый вопль.

Завадина повернулась и пошла к дому. Поднимался ветер и в его неспешном дуновении сосны делали ей вслед прощальные книксены, будто зная, что через двадцать минут ей надо будет выезжать на станцию.

Ленинград, июль 1981 г.

СТАРИК

Неман извивался и блестел, как огромная тугая рыба. Ранние купальщики совершали ритуал омовения. Женщина в бикини вышла из раздевалки и встала на голову. Солнце высветило могучие ноги бывшей велосипедистки. Мужчина у самой воды проделывал преувеличенно геройские гимнастические виражи, словно через минуту собирался вступить в воды Северного Ледовитого океана. Две лодки с оцепеневшими рыбаками застыли за пирсом спасательной станции. Прелюдия зноя подходила к концу.

Марита поднялась на набережную и вошла в короткий лесок. Крупный дятел с виртуозностью вышколенного конферансье расточал поклоны худенькой сосне. Разнообразные ритмические паузы украшали элегантный стук.

Желтизна дома проглядывала сквозь редкие стволы деревьев. Калитка открывалась внутрь. Марита придержала ее рукой, чтобы в этот ранний час не потревожить обитателей дома.

— Вы не можете там пыть, — сипло гремел во дворе надоевший голос. — Вы мне закадили фсю комнату. Вы повесили в комнате веревки. Это безопразие.

— Я не просилась в этот дом, Петр Иванович, — отбивалось женское контральто. — Мои мужчины этого хотели, и вы позволили. А теперь вы хотите, чтобы я их обманывала.

— К вам в комнату невозможно зайти, у вас на веревке пелье висит.

— А где вы прикажете держать вещи, если там нет шкафа. В чемодане? Мы специально повесили веревку.

— Все равно должен пыть порядок, вы неаккуратная женщина, — страстно сипел голос.

«Накачивает себя по системе Станиславского. Если бы еще не глушил звонкие согласные», — подумалось Марите.

Она поднялась на второй этаж. Крутизна лестницы казалась столь же бесцеремонной, как сиплые вопли внизу. Помещение второго этажа делилось на комнату с балконом и две клетушки, одна против другой.

Дверь в комнату соседей была распахнута. Лучи солнца еще не вторглись в это придавленное потолком пространство с тремя койками. На одной из них сидел человек в позе беженца.

— Что происходит? На какую тему он выступает сегодня? — спросила Марита.

Человек поднял голову. Очки придавали ему вид современного мученика. Он был до удивления тих. Лицо его, всегда нарочито застывшее и лишенное выражения, от взгляда собеседника начинало подергиваться.

— Я не понимаю, что ему от нас нужно, — сказал он. — Сегодня из маленького домика уезжают. На днях мы спросили его, можно ли нам туда переехать. Мы хотим спокойно ходить на рыбалку, не будить соседей. Он нам разрешил. А вчера пришла женщина с ребенком, она хочет в домик. Так он сразу передумал нас туда переводить. Он же понимает, что этот загон для скота никто уже не снимет. Сейчас конец сезона. Он же не упустит возможности содрать побольше.

— Да, реле у него в мозгу работает только в этом направлении, мы это испытали на себе, — сказала Марита.

— Жена очень эмоциональный человек. Она вышла на улицу, он настиг ее во дворе. Сейчас еще очень рано, а он давно кричит. У нас, видите ли, беспорядок. Он не может нам доверить домик, пусть она скажет нам, что сама не хочет туда переезжать. Вчера мы пришли с Немана после ночи, первый раз заснули днем, а он ворвался с этой женщиной, увидел веревку, на которой мы вешаем одежду, а куда же еще ее девать, если нет шкафа? И вот теперь он распинается.

Он снял очки, обезоружив себя этим. Буроватость лба сливалась с полированной лысиной, усы казались неумело приклеенными. В глазах была мука.

— Мы же отдыхать приехали, а не изводить последние нервы. Вечные замечания, коммунальные склоки. Вчера я получил выговор...

— За что?

— За то, что я кофе пролил на плиту. Я его, конечно, вытер, но это же все отвратительно.

Он вышел в тамбур между клетушками и говорил направленно, в сторону привилегированной комнаты с балконом, где жила с мужем Оле, мрачная пенсионерка из Каунаса. В этом секторе дома она была филиалом хозяйского глаза. Взгляд ее ставил всех к стенке. Минуты просветления наблюдались лишь, когда она бралась за ручку холодильника.

— Смотрите, сколько рыба, и какой толстый. Зачем я пойду в столовую, когда здесь умею хорошо покушать.

Она рано ложилась и вставала позже всех. Сейчас за дверью слышался осторожный диалог.

Внизу нарастал шквал. Женский голос срывался, сиплый крепчал. Мужчина поспешил вниз.

— Вы не можете тут шить, — фортиссимо гремел сиплый. Меня нельзя расстраивать, я старый человек, я из-за вас не имею покоя, потому что вы неряха.

— А мы и не будем у вас жить, Петр Иванович, мы снимем комнату в другом месте.

— Вот и упирайтесь отсюда вон, чтобы ноги вашей здесь не было, — распирающей его ненавистью можно было ошпариться.

Марита прошла в свою комнату и села у окна, которое смотрело в лес. Тишина здесь подчеркивалась шлепанием бегунов, негромкими утренними голосами людей из санатория.

Она приехала сюда с приятельницей две недели назад. Из автобуса они вышли с чувством игроков, забрасывающих биту с закрытыми глазами. По площади, на которой остановился распаренный автобус, можно было судить о размерах городка. Несколько человек застыли на скамейках. Уверенная жара этого лета была пугающе постоянной величиной. «Город — гном», — подумала она, пока Зинаида нежным эффектным голосом спрашивала сидящих, как пройти на улицу Пушино.

— Как вы рискуете, — убедительно ужаснулась одна из женщин. — Сейчас вечер, комнат здесь никаких не снять, все забито, а вы приехали без адреса. А ваши вещи?

— Мы их оставили в Вильнюсе, завтра заберем, если что-то найдем.

— Вещи здесь вы могли бы оставить в любом доме. Улица Пушино прямо, за исполкомом сверните налево.

Они шли по асфальту мимо магазина, кафе, кинотеатра. Людей почти не было; в зеленом пространстве возле исполкома мчалась ввысь металлическая женская фигурка. Абсолютно плоская, она была мастерски изогнута, в ее гибкости сплеталось нечто от русалки, нечто от змеи (Эгле, королева ужей?) Ее руки были воздеты в небо, которое наливалось сизой нездоровой глубиной.

Пора было сворачивать направо, чтобы вступить на территорию искомой улицы. Именно потому, что ожидалось нечто сказочное, улица разочаровывала. Она состояла из шеренги двухэтажных домов с одной стороны и соснового леса с другой. Ни одной свободной комнаты здесь не было. У каждого дома на скамейке сидело по группе людей в состоянии отчетливой эйфории. Разноцветные «Жигули» божьими коровками ютились под соснами.

— Ну что, подруга моя дорогая, — не снижая эффектности голоса, сказала Зинаида. — Мне здесь не нравится. Переночуем где-нибудь, хоть на скамейке, а завтра — в Вильнюс. И что нас сюда принесло?

И здесь они увидели Неман. Он плыл внизу. В нем был покой интимности. С ним плыла черточка каноэ. Четверо ребят-гребцов работали слаженно, словно пели квартетом. Огромная скульптура деревянного расплющенного деда наблюдала за рекой с хроническим благодушием. Противоположный берег был высоко поднят, как на заднике у театральных декораций. Лес издали казался не лесом, а цивилизованным парком, выставкой-конкурсом красавиц сосен.

Марита еще раз взглянула на деда, который завершал улицу Пушино и предварял спуск к реке. По его физиономии стекали струйки дождя. Его улыбка была похожа на озорную ухмылку солнца во время грибного дождя.

— Ну вот, приехали, — весело констатировала Зинаида. — Начинается ливень, а мы без зонтов. Остроумно до невозможности.

Они свернули в лес и вышли на пересекающую его асфальтовую дорожку. Аллея эта, идущая в параллель невидимой отсюда реке, была сейчас пуста. Белые, на высоких стойках шары фонарей и широкие зеленые скамейки жались к ее краям. Дождь, хотя и резвый, не был назойлив; умученные зноем лица с удовольствием ощущали его теплые вежливые капли. Зинаида внезапно остановилась и сказала, как всегда, играя голосом:

— Посмотри, что за чудо, настоящий пряничный домик!

Дом был тепло-желтого цвета. Деревянная резьба украшала окна и двери. По краям балкона в классических позах застыли две белочки; по скату крыши устремлялись вверх крохотные коньки. Беседка во дворе дома, того же цвета спокойного солнца, была застеклена. На ее крыше, у изножия трехслойного замка, замер возле пушки игрушечный солдатик. Рядом с беседкой, ближе к калитке, вздымалось до высоты крыши наивное ностальгическое воспоминание об японской архитектуре — деревянный шест с двумя выпуклыми крышами наверху, одна над другой. Они были четким взаимным подобием и скрывали под собой по паре скворечников. Верхняя плоскость крыши была меньше нижней. Сам шест нелепо заканчивался узким красным флажком.

— Сюда не стоит заходить, это что-то странное, явно не частного порядка. Прямо музей деревянного зодчества, — сказала Марита.

— А я все же попробую, нам все равно нечего терять, — Зинаида вошла внутрь, бойко стукнув ажурной калиткой.

— Иди сюда, Марита, — почти мгновенно пропел ее голос.

Марита нажала на легко поддавшуюся калитку и вошла внутрь. Невидимый с улицы, в глубине двора врастал в землю длинный одноэтажный дом.. На его крыше возле деревянного гнезда цепенели два аиста.

Хозяин стоял возле дверей. Он вскинул на Мариту глаза, и она ощутила толчок внутренней тревоги. На нее смотрели глаза, которые казались ей металлическими. Увеличенные линзами очков, они были неподвижны. Его вид жестоко диссонировал с теплотой дождя и ласковостью реки. Колобок

головы врастал в плечи. Короткое туловище было квадратным.

— Здравствуйте, — сказала Марита. — Он важно кивнул. В глазах его замирало удовлетворение. Он прошел к беседке и отпер дверь ключом. Беседка оказалась меблированной: старый диван, стол и стулья.

— У меня имеется комната, но она сдана. Он говорил, как кукла с испорченным заводом, толчками выталкивая из себя фразы. — А вы на какое время хотите комнату? На месяц?

— На двадцать шесть дней.

— Так мало... Все снимают на месяц...

— Мы заплатим за месяц, если нужно, — сказала Марита.

Дождь усиливался; смягченный ветвями сосен, он предупредительно стучал в окно.

— У меня хотят снять комнату трое... из Москвы... Они тут в беседке ночевали... Они мне не понравились... Они пили, — тоном прокурора завершил он. После каждого речевого периода он словно подкачивал в себя воздух.

— Ну, мы пить не собираемся, — ввернула Зинаида. — Только минеральную воду.

Он медлил, обдумывая и пытаясь скрыть явное желание впустить их. Они, казалось, слышали, как скрежетали в нем мысли. Он поколебался еще, глянул на них, снова помедлил и выпалил, как человек, сраженный внезапным озарением:

— Вот если бы вы сразу заплатили мне все деньги... я бы им отказал.

Так они попали в домик-пряник, возле которого неминуемо застывали все прохожие, особенно женщины и дети.

— Как мы опростоволосились! Две взрослые тети... Сразу выложили деньги за это подретушированное убожество, — думала Марита, оглядывая минимум пространства между кроватями. Тумба-ящик возле койки ушедшей на процедуры Зинаиды была забита баночками с кремом, дезодорантами, подгнившими фруктами. За стеной, содрогавшейся от чихания, слышалось воркование Алика и Эдика, двух армянских спортсменов-любителей по классу женщин.

За окном шар солнца неумолимо проглядывал сквозь ветви деревьев, словно проверяя иглы сосен перед началом очередной инъекции зноя. Дождь в день приезда был единственной освежительной передышкой за все время их пребывания здесь.

— Все же поеду сегодня в Каунас, — подумала Марита. — Зной бесконечен, а время уходит.

Она спустилась вниз; лестница ввинчивалась прямо в кухню, где уже стояла Оле, молитвенно взирая на трехлитровую банку парного молока.

— Глядите, сколько много жира у этого молока; какой свежий молоко, и жир как масло, — воззвала она.

— Вы, наверное, с таким молоком можете обходиться без масла, — вежливо ответила Марита.

— Да, да, — экстаз усилился, — такой молока нигде нет, только в Литве. А кислое молоко... — Она захлебнулась и, изнемогая, хрипло довершила: — Творог!.. Я его ножом режу.

Марита отворила дверь во двор. Там было тихо. Хозяин, как притаившийся в засаде зверь, сидел в беседке. Увидев Мариту, он ринулся к ней. Он был похож на разоружившийся дредноут. Глаза его без ограды очков были подернуты старческой слезой. Пухлое тело, всегда аккуратно затиснутое в пиджак, сейчас демонстрировало себя сквозь плохо застегнутую рубашку. У него было выражение лица премьер-министра крупной державы, сию минуту узнавшего о коварном нападении противника на вверенную ему страну.

— Вы слышали, какие это люди, — одышка мешала ему говорить, — я старый человек, я не имею здоровья волноваться; они думают, я все умею стерпеть...

— Извините, Петр Иванович, я опаздываю на автобус, — твердо сказала Марита.

Она захлопнула за собой калитку и вышла на аллею. До отхода автобуса оставалось двадцать минут.

Переполненный автобус фокусником пожирал ленту дороги. Солнце играло волосами сидящих впереди Мариты парня и девушки. Девушка находилась в устойчивой летаргии, связанной с появлением возле них двух пожилых жен-

щин с сумками красноречивой величины; молодой человек с грустным стоицизмом смотрел в окно.

Дорога в Каунас не отличалась парадностью. Здесь не было традиционных холмов, придающих каждому изгибу местности уверенный отблеск фотогеничности. Лениво сопротивляясь, уплывали за пределы видимости пруд, забитый белизной птичьих тел, поля клевера, авторемонтные мастерские, двух и трехэтажные коттеджи. Марита поймала себя на мысли, что почти на каждый из них смотрит с точки зрения человека, мечтающего сменить жилье.

Жизнь в пряничном домике не приносила удовольствия. Прожив там три дня, они узнали, что дом давно обречен на слом. Половицы его ныли и скрипели, как кости старого ревматика. Сырой и холодный в плохую погоду, он не давал отдохновения и в инквизиторски-безжалостные часы зноя.

Ленинградская бабулька, маящаяся на нижней веранде, разговор на любую тему начинала однообразной прелюдией:

— Как я влипла! Я же знала, что у него нельзя снимать, я сюда езжу пятнадцать лет, но ведь ничего другого не было. Здесь такая грязь, но это меня не удивляет. Дом без хозяйки — сирота.

Банальная сентенция раздражала неточностью, потому что хозяйка была. Она сидела в беседке каждый день. Осанка ее была королевской, а улыбка солнечной и благосклонной. Когда она покидала беседку, жильцы, проходившие мимо, прятали глаза с чувством вины. Она двигалась рывками, передвигая перед собой жалко потрескивающий стул: провисая над ним, она подтаскивала вперед столбы неподвижных ног.

— Она перенесла полиомиелит, бедняжка, тридцать лет назад, и ее парализовало. Она только что вышла за него замуж и он с ней с тех пор возится. А ведь женился на молодой. Она почти на тридцать лет его младше, — бабулька, абориген летнего Бирштонаса, знала все. — Может, он от этого такой вредный. Вам ведь тоже досталось от него.

— Еще как навредничал, — девочкиным голосом пропела Зинаида. — Мы хотели переехать, но он же деньги не отдает.

Старик устроил для них экзекуцию через три дня после приезда. Они жили тогда в комнате беженца. Вернувшись вечером домой, они обнаружили, что ключи от комнаты

исчезли, а часть их вещей перенесена в клетушку напротив. На утренние вопросы хозяин речитативом пропел, что они неаккуратные женщины, так как сушат купальники на подоконнике и что он переводит их в другую комнату, а эту сдаст аккуратным москвичам. Укутывая простынями, находящимися в состоянии распада, ржавые матрасы в клетушке напротив, Марита улыбалась. Она вспоминала, как две пожилые переводчицы, узнав, что она едет в этот город, нервно поправляя проволочного вида волосы, в галопаде переклички силились выразить благодать, излившуюся на них в этом городе семнадцать лет назад.

— Мы спали, дорогая, на голубоватых простынях, они хрустели от чистоты.

— А какая там была кухня... Мы питались в частном доме, на другом берегу Немана, там была настоящая вилла! Мы испробовали все деликатесы литовской и польской кухни...

— Поезжайте, не раздумывая, мы уверены, что там вам не грозят отрицательные эмоции...

Марита улыбалась, думая, как расскажет им об удивительной стойкости меню (сосед, уезжавший из домика, говорил: «Я съел пятьдесят борщей»), о часовых очередях в кафе, об экзотической, скорее изумляющей, чем отпугивающей гнусности туалета на улице и сортирной войне, объявленной хозяину Зинаидой.

— Ты подумай, каков, — разбудила она как-то утром Мариту. — Оказывается, на нашем этаже есть туалет, но этот старый негодяй его скрывал, берег для новых жильцов, — гнев извергался из нее лавой бранных слов и междометий; красиво окрашенный театральный голос унизился до писка, — вот уж этого я никак не оставлю. Все моются у себя в комнатах, у всех, кроме нас, раковины, а нам предоставлена возможность за те же деньги ломать себе шеи на этой поганой лестнице! Этим туалетом пользуются все, кроме нас, я это знаю наверняка, я видела это собственными глазами, можешь не сомневаться! Ну, старый хрыч, я тебе устрою... Ты мне не посоветуешь, как начать? Пожалуй, я скажу, что могу достать для него хорошие таблетки от склероза, а когда он спросит, зачем, я скажу: но вы же очень забывчивы, Петр

Иванович, вы даже про туалет напротив нашей комнаты забыли нам сказать... Как по-твоему, это подействует?

Катаклизм произошел в тот же день. После обеда Зинаида сидела возле беседки, умело манипулируя маникюрным набором.

— Вы сами делаете маникюр? — восхитилась бабулька с нижней веранды.

— А как же, — пропела Зинаида. Ставя обыденность на котурны псевдоантичной трагедии, она привычно поднимала температуру речи на десять градусов выше номинала. — Я не могу жить, когда руки не в порядке.

Хозяин, томящийся от зноя в беседке, прогремел в той же температурной шкале:

— Настоящая тама толжна пыть с маникюром на руках и ногах, — он задохнулся. — У нее толжны пыть маленькие ручки и ножки, чтобы их целовать. Она не толжна делать никакой тяжелой рапоты.

— А я, Петр Иванович, — продолжила дуэт Зинаида, — этими ручками перестирала свое постельное белье, вы же нам его не меняете и вымыла туалет во дворе (то есть выплеснула туда таз мыльной воды).

В наступившей паузе зазвучала дробь охотничьих барабанов. Зинаида сладострастно прицеливалась:

— Вы же забыли нам сказать, Петр Иванович, что наверху есть туалет.

Парфянская стрела зримо раскачивалась посреди потного хозяйского лба.

Пространство возле беседки окончательно оформилось в сценическую площадку. Солнце индифферентным желтком впитывало продолжившийся парадокс формы и содержания. Муж Оле, лысый литовец, вкушавший сиесту на Олимпе балкона и москвич, съевший пятьдесят борщей, сидели безгласными статистами.

Петр Иванович *(бегая в волнении)*. Нет, я не запыл... это туалет только для той комнаты! Он сделан потому, что от комнаты взяли для туалета кусок. *(Останавливаясь в панике.)* Он только для той комнаты.

Зинаида *(замедляя темп речи и наслаждаясь)*. Да!.. Но

им пользуются все на втором этаже, Петр Иванович!.. Все, кроме нас!

Петр Иванович *(гневно)*. Нет!...Им пользуются только из той комнаты.

Зинаида *(ласково и твердо)*. Я знаю**,** что им пользуются все. *(Обращает взор на балкон)*. Можете спросить сами!

Пузатый, очень интеллигентный литовец проявляет признаки смятения.

Петр Иванович *(спрашивает по-литовски)*.

Интеллигентно-пузатый и седовласый отрицает по-литовски**.**

Петр Иванович *(гневным крещендо)*. Нельзя! Пользоваться туалетом запрещено! Он только для той комнаты.

Зинаида *(умиротворенно)*. Тогда нам придется с вами расстаться, Петр Иванович!

Петр Иванович *(запальчиво)*. Хоть завтра!

Зинаида *(с ласковостью палача)*. Тогда верните нам деньги, Петр Иванович!

Петр Иванович *(мгновенным аллегро)*. Ну, это вам еще придется походить из-за этих денег.

Зинаида *(удачно дублируя многозначную паузу перед демонстрацией козырного туза)*. Вы, наверное, еще не знаете, почему Марита все время пишет... Вы думаете, она просто так пишет?

Петр Иванович *(молчит)*.

Зинаида *(предельно вводя скальпель)*. Она журналист и собирает материал для статьи. И у нее родственники в правительстве Литвы!

Петр Иванович *(еще раз молчит)*.

Петр Иванович *(в отчаянии)*. Я к вам так хорошо отнесся!.. Я вам опогрефатель дал!

Зинаида *(наслаждаясь, с расстановкой)*. Вы нам его дали, Петр Иванович, когда стало тепло. Мы им не пользовались.

Петр Иванович *(слабея)*. Я же вам показал туалет на улице!

Зинаида *(неся в руках маникюрный набор, покидает сцену, мощно)*. Вы нам его показали, Петр Иванович, после того, как взяли с нас деньги!

Петр Иванович *(устремляется в беседку)*.

Статисты живописно сидят на разных уровнях у пустой сцены. Безмолвие.

На другой день Марита наткнулась на старика, пересекающего асфальтовую аллею. Он нес портфель. Пухлая грудь под теснящей ее рубахой вздымалась и опадала прокисающим дрожжевым тестом. Он не смотрел на людей, приклеенных зноем к скамейкам. В этом оазисе ленивого флирта он выступал скромным олицетворением оклеветанной добродетели. Он вскинул на Мариту жестяные глаза, и она увидела, как он стар и с каким трудом ломает преграду зноя своим расползающимся телом.

— Петр Иванович, — неожиданно для себя сказала она, — Вы, пожалуйста, не принимайте близко к сердцу разговор с моей подругой.

Он глотнул воздух, как самодеятельный певец перед исполнением оперной арии:

— Да я не обращаю внимания на все эти глупости. Пусть она говорит... я только не понимаю, что у вас общего с этой женщиной. Все мои жильцы удивляются... Вы такие разные... Она наглая... А вы... вы такой воспитанный человек... Вас не видно и не слышно. Это странно, что вы вместе.

— Она просто кажется такой...

— И потом она сказала... Она хотела меня напугать. Она говорит, что у вас родственники в правительстве Литвы.

— Она пошутила, Петр Иванович.

— И что вы хотите написать в журнал про меня.

— Это неправда...

Он распрямился. В глазах его возникло величие. Из балансера на проволоке он превратился в человека, спрыгнувшего на твердую землю.

— Мне ведь восемьдесят восемь лет. Я уже слишком стар, чтобы бояться. Ваша подруга напрасно меня пугала. Зачем вы с ней дружите? Но я вижу, какой вы человек. Вы можете приезжать к нам, когда хотите, такую женщину, как вы, мы всегда устроим.

Он остановился, задохнувшись. Голова его мотнулась в попытке изысканного кивка, и он стал похож на свой дряхлый, нелепо загримированный дом.

— Восемьдесят восемь, невероятно, — думала Марита, торопясь войти в короткий лесок, словно в его хвойной эссенции мог раствориться аккорд тревоги, всегда гремящий в ней при взгляде на старика.

* * *

Ровное движение автобуса убаюкивало. Солнце преследовало машину, как разъяренный зверь. В высокомерии коттеджей по обеим сторонам дороги чудилась беззащитность. Они были неинтересны, как новенькие юбилейные рубли. Обилие их внезапно пресеклось. Внизу появилась широкая ложбина Немана. Воды было мало. Обессиленная зноем река словно пыталась спрятаться в собственном русле. Автобус вывернул свое измученное тело на мост послевоенной застройки. По другую сторону его начинался Каунас.

Марита была в Каунасе слишком давно и коротко, чтобы сохранить в памяти крупинки знакомства. Выпихнутая из автобуса, она миновала очередь, ручьем растекшуюся от ларька с мороженым и вышла с территории автовокзала. Соседка по автобусу, молодая женщина с девочкой лет шести, решительными шагами устремлялась к магазину готового платья. Прямизна волос, бьющихся о плечи, подчеркивала кукольный овал лица. Она была бы похожа на мадонну, если бы не злые глаза. Марита еще раз увидела ее через бесконечность витринного стекла, исступленно созерцающую образцы одежды. Манекены вокруг смотрелись ее единоутробными сестрами.

Миновав магазин, Марита остановилась у перекрестка. На другой стороне, в прорези потока распаренных машин виднелся павильон цветочного магазина. Он был закидан цветами с изысканной небрежностью и напоминал буддийскую пагоду. Перейдя дорогу, Марита заглянула туда. Аромат кофе украшал цветочный рай изнутри. Тщательно причесанная дама, держа в руке микроскопическую чашку, сидела за точеным столиком. Бесстрастным кивком она одобрила взятое Маритой направление. Снова оказавшейся в пекле улицы Марите показалось, что зной поет гигантским органом, а по-

ток грузовых машин выводит на этом звучании героически бестактную тему духовых инструментов.

Справа возникла неясная зелень парка. Деревья, в основном дубы и липы, были рослыми. В их расположении ощущалась какая-то намеренная странность. Позже она узнала, что на месте парка было кладбище. Зелень, в которую вступила Марита, угомонила рев улицы. Несколько человек сидели на скамейках. Марита прошла вперед по одной из широких аллей. Сероватый комочек белки возник на массивном стволе ближайшего дуба. Ее хвост, вздернутый вертикально, просвечивал на солнце и был похож на капроновую щетку. Зверек засеменил к Марите и остановился у ее ног. Наглые, спокойные глазки наблюдали, как Марита достает из сумки пакет с печеньем. Когда та снова двинулась в уличные тропики, зверек с устойчивым упрямством сделал за ней ряд пробежек и, иссякнув терпением, растворился в тени дуба.

Улица вновь завладела Маритой. Шквал транспорта неистовствовал вдоль линии узких домов, временами прерываемой штрихами зеленых двориков. Лепные украшения на фасадах домов смотрелись бижутерией провинциалки, прогуливающейся по столичному проспекту. Может быть, где-то здесь встретил хозяин того еврея, о котором рассказывал Марите пару дней назад?

— Я хотел купить дом, но мне не хватало денег, это было перед самой войной. Ни один человек не хотел ссудить мне эту сумму, все говорили: «Я не могу, у меня не имеются такие деньги». И вот я поехал в Каунас и там шел по большой улице. Там было шумно, но я ничего не слышал, я все время думал про эти деньги. Мне встретился знакомый еврей, мы в его лавке покупали разные товары. И вот он сразу увидел, что со мной что-то происходит. Он спросил, что случилось, и я ему сказал, почему я такой; он вынул эту сумму вот отсюда (он положил крабовидную руку на грудь) и дал мне эти деньги. Я ему говорю: «Сейчас я вам дам вексель», а он говорит: «Не надо мне твой вексель, отдашь, когда будешь иметь деньги». Вот какой человек! Я за него всю жизнь молюсь, — сиплым голосом закончил старик.

— А что с ним стало во время войны?

Цепкая сосредоточенность появилась в его взгляде, словно он пытался преодолеть то нежданное, что помимо воли фиксировало подсознание.

— Вы же знаете, что с евреями делали в войну. Их всех убивали... Убивали таких хороших евреев! И как можно было им помочь? Ведь, если спрячешь, тебя самого убьют.

Его жестяные зрачки подернулись слезной влагой и, вглядываясь в них, Марита увидела мясорубку девятого форта и старую грушу, щетинившуюся у входа тысячами упругих, злых плодов. Под ней расстреливали. Зеленые шарики казались Марите набухшими кровью, а само дерево — объединенным символом начала и завершения страдания.

Глядя тогда в старика, Марита отогнала это видение, но сейчас, устало одолевая слой духоты, саднящей занозой ощутила прибившийся к другому концу города форт.

Впереди возникла противоестественная махина собора. Он смахивал на гигантский торт для небожителей и закупоривал вход на Лайсвес-аллее, эпицентр здешнего туризма. Марита обогнула собор справа. Здание, которое она искала, было на холме за углом — образец хорошего архитектурного вкуса, мягко современное, нарочито скромное, с предваряющим его фонтаном и широкой лестницей. Несколько лет назад миллионер литовского происхождения в ностальгическом синдроме метнул из Парижа в родной город созвездие картин старых мастеров. Трехэтажное здание, специально построенное для этой коллекции, внутри отличалось тем же безукоризненным вкусом. Шаги на толстых коврах звучали шорохом сосновых веток, а дежурные в залах поражали величавостью метрдотелей. Музей был прекрасен своим малолюдством. Основные массы туристов не знали о нем и сейчас либо роились в музеях чертей и Чюрлениса, либо обыскивали магазины на Лайсвес-аллее. Холл второго этажа казался уже, чем был на самом деле. Картины, висевшие здесь, приходилось рассматривать в упор. Буколические пейзажи и мифологические сюжеты чередовались с огромными натюрмортами.

— Это копии, — подошла к Марите дежурная, — а подлинники в зале.

Здесь, действительно, висели картины 16-го, 17-го и 18-го веков. Что-то ущемляло их в глазах Мариты: то ли наивность отбора, то ли отсутствие роскошного эрмитажного аккомпанемента, в котором ленинградцы привыкли созерцать живопись. «Святая Цецилия», одиночная работа Мурильо, изображала женщину с воздетыми очами; святость ее отдавала лицемерием. А «Мадонна» Гвидо Рени, мастера рубежа 16–17-го веков, изображенная на фоне желто-шафранного сияния, была победительно и современно сексуальна. Восковые матовые веки ее узко прорезанных глаз были опущены со спокойным достоинством знающей себе цену женщины. Марита вынула блокнот.

— Запишите вот про эту картину, — дежурная с нетерпением аукциониста подвела ее к соседней работе, «Портрету Августины Эстеве» Карозелли. Женщина, смотрящая с полотна, была аристократически уверена в себе. Естественная надменность лица в рамке курчавых волос, нежная спелость шеи завораживали.

— Это единственная в Советском Союзе работа на меди, — благоговейно проговорила дежурная. — Она никогда не нуждается в реставрации. И, щелкнув пальцем по груди аристократки, извлекла гулкий виолончельный звон, на который оглянулись посетители.

Ядром одного из залов были две работы Ван Дейка. Они приковывали к себе взрывом экспрессии. Глаза мужчины с «Портрета посыльного гильдии художников» поражали естественностью отчаяния. Лица современников по сравнению с ним смотрелись зашторенными окнами. Работа ранила больше, чем висящие этажом выше картины немецких экспрессионистов. В одном из залов, к стене которого скромно прильнули одиночные картины Мане, Сезанна и Ренуара, в глаза било женское тело. Оно победно распростерлось на песке. Набегающие волны будто врывались в него. Вульгарная наивность этой картины Беклина почему-то действовала успокаивающе, как огромная таблетка валерианы. Иосиф на картине Чиньяни смотрелся лицемерным бараном, обороняющимся от восхитительной женщины.

В зале третьего этажа висела огромная композиция Шагала. Это была главная неожиданность музея. Художник —

олицетворение еврейской скорби, представил феерическое по цвету и жизнерадостности полотно. В центре композиции был автопортрет. Марита долго сидела перед работой. Как же баловала его жизнь, если на исходе ее он создал этот праздник цвета и мироощущения?

Появилась группка людей с экскурсоводом.

— Перед вами «Композиция с автопортретом» Шагала, созданная в... году, — сообщила женщина с виртуозной лаконичностью.

Группа проплыла дальше. В ее безостановочном движении ощущался триумф покорности.

Марита взглянула на часы. Пора было двигаться обратно.

«Я еще вернусь сюда», — подумалось ей.

— Что за жизнь... вся в парадоксах, — хрустальный голос Зинаиды, прорезав тишину пустой аллеи, поднял вверх стайку воробьев. — Ждешь этот отпуск весь год, думаешь, вот когда я спокойно отлежусь, а в итоге на отдыхе сама себе устраиваешь варварский режим. Вот сейчас могли бы еще поспать в такую рань, так нет, надо бежать пить эту воду; ты-то потом пойдешь на Неман, а у меня три процедуры. Ой, смотри, это же наши соседи!

Три знакомые фигуры словно только что материализовались между стволами деревьев. Беженец, его жена и сын двигались им навстречу. В их раздельном шествии была нерасторжимая слигованность.

— А мы третий день ищем комнату, — однотонно произнес мужчина. На его оцепеневшем лице возле правого глаза пойманной бабочкой билась голубая жилка.

— Мы ему сегодня представили счет, — сказала его жена. — Мы ведь прожили только десять дней. Привезли лекарство его жене за пятнадцать рублей, а деньги не взяли, но сейчас мы их включили в счет, получилось около ста рублей.

— Ну и как он прореагировал?

— Он взял листок, посмотрел туда диким взглядом и выскочил из комнаты, — женщина тоскливо улыбнулась. Неожиданная мягкость глаз и улыбки на ее грубо сколоченном лице обескураживала.

— А как с комнатой?

— Пока никак. Есть тут два-три варианта, но все далеко от Немана, а мы ведь рыбачить приехали, — на этот раз эстафету разговора принял сын.

Марита взглянула на лицо мальчика будто впервые, и ей показалось, что она вплывает в гладь лесного озера. Лицо его было матово-смуглым, широта овала диктовалась спокойными карими глазами, далеко отстоящими друг от друга.

— Извините, мы пойдем домой, мы хотим отдохнуть и еще кое-что посмотреть, — сказал мужчина.

Они уходили разрозненной цепочкой.

— И пошли они, солнцем палимы, — вздохнула Зинаида. Палимы — паломники... Бедняжки, ищут святой Грааль. Паршивый паук! Устроил им отдых, называется. Но какой прелестный мальчик! И надо же, два таких уродца выродили это чудесное создание. На каком он курсе, как ты думаешь?

— За что ты их так? Они очень симпатичные, ты их просто не разглядела. А Дима перешел в десятый класс, он хочет поступать в Суриковское.

— Как он взросло смотрится! Ну пока, мне машет Дана, я побежала на ванну.

Она удалялась вприскочку, подсознательно стараясь компенсировать легкостью походки груз своей фигуры.

Зеленое безветрие неукротимо наливалось оранжевым зноем.

После обеда жена беженца зазвала Мариту к себе. Лицо ее было растерянным и торжественным одновременно.

— Вы знаете, мы остаемся. Он не смог перенести, что придется отдать деньги. Сегодня днем мы отдыхали. Он постучал. Вошел весь красный, лицо потерянное, идет прямо ко мне, целует руку и говорит:

— Я был неправ, я старый человек, вы должны меня простить, вы такие хорошие люди, лучше вас я не видел людей, я погорячился, вы переезжайте в домик, если хотите, сегодня... Вы знаете, мы просто остолбенели.

— Поздравляю вас, он быстро успел сосчитать убытки.

— Вы приходите к нам на новую квартиру сегодня вечером, — тихо предложил мужчина, — посмотрите, как мы устроились.

— И расскажете про галерею Жилинскаса, если не трудно, — добавил мальчик.

* * *

— Не то удивительно, — размышляла Марита, стоя в очереди в кафе и глядя, как спортсмены-гребцы, заполнившие в этот вечерний час помещение, насыщаются с размеренностью автоматов, — не то удивительно, что два таких некрасивых человека произвели на свет этого милого мальчика. Поразительно, что двое явно издерганных и запуганных данностью этой жизни людей вырастили такое ясное существо. Спокойное и доброжелательное, с несомненным чувством собственного достоинства, с явным желанием помочь, а не услужить; видимо, изначальный нравственный климат семьи сделал его таким.

Старик, споткнувшийся на этих людях, был мерзок. Он был единственной недомолвкой в прозрачном эдеме Бирштонасского существования.

Ясны были трижды в день встречающиеся в очереди спортсмены. Рослые, усталые, излишне юные, они смотрелись самозаправляющимися механизмами. Ясна была миловидная кассирша с ее четкой программой обсчитать каждого посетителя. Ясны и трогательны были служащие здешней библиотеки, с детской радостью раздающие лучшие книги своей заповедной комнаты.

Ясны были умиротворенные отдыхающие, если и ссорившиеся иногда, то лишь в очереди за билетами на фильмы по романам Агаты Кристи. («Ах, эта Агата Кристи, что только она не делает с людьми», — вздохнул как-то молодой человек, немедленно погасив этим пожар ссоры.)

Но старик был необъясним. Марита чувствовала, что вязнет в нем и не только потому, что он явно добивался ее общества. С первого взгляда на старика ей почудилось, что она стоит у истоков какой-то скверной шершавой тайны, которую обязана разгадать. Старик нервничал перед ней, вымучивал темы бесед, словно стремясь доказать что-то себе и перед собой же оправдаться.

— Он ужасный, — говорила бабулька. — Это все знают, хуже его здесь нет. Он вытягивает из людей все. А какие у него условия? И деньги требует вперед, чтобы люди у него застряли. Сдает комнату на троих, а на диван кладет два комплекта своего страшного белья и говорит, что комната рассчитана на четверых, так что платите. Он обирает до последнего рубля.

Колодец, возле которого утром и вечером отфыркивались в экстазе умывания Алик и Эдик, был огорожен деревянной решеткой с шестиконечными звездами. Звезды были нежными, словно вплетенные туда кружева.

— Петр Иванович, — спросила Марита, когда он в очередной раз затащил ее в беседку, чтобы показать, по каким образцам вырезает из дерева, — а звезды на колодце вы специально вырезали шестиконечными?

— Нет, они случайно получились, — отвечая, он разглядывал свои колени. В тоне его отсутствовал привычный пафос. — Я ведь очень люблю делать из дерева красивые вещи. Вы видите, какой у меня дом, он как музей, на него ходят смотреть из всего города, но только женщины и дети, а мужчины... они что, они все время пьют. Здесь вы видите эту часовню, я сам сделал, своими собственными руками, — указывая на тонкий шест, постепенно распалялся старик. — Дочь мне из Америки прислала фотографию, и я построил по ней часовню. Только наверху нельзя было сделать католический крест, пришлось сделать красный флажок, видите, какой узкий? Вы же умная женщина, вы же понимаете, что я мог здесь иметь, если бы я сделал католический крест. А я мог построить тонкий красивый крест, как на рисунке, вы могли бы этим любоваться. Здесь можно все, что хотите построить, потому что здесь прекрасный лес. Я был в Сибири, я там жил десять лет, не по своей воле, там тоже хорошее дерево, но я думаю, что лучше литовского дерева ничего нет. И литовцы, они такие доброжелательные... Они никогда не поставят себя выше другой национальности. Они не такие, как другие прибалтийцы. Эстонцы, например. Литовцы всегда гостеприимно встретят, они не любят сплетничать. Когда я жил в Сибири, я работал бухгалтером, у нас в комнате сидела одна женщина, она была еврейка, очень симпатичная, и вот, когда она выйдет за дверь, другие женщины начинают перемывать ей кости,

придумывать про нее всякие глупости. И я им сказал: «Зачем вы так делаете? Она очень хорошая женщина! Когда я буду выходить за дверь, вы тоже будете про меня рассказывать всякие плохие истории?» Они говорят: «Что вы говорите, Петр Иванович, мы вас все любим, вы совсем другой человек». Вы видите, как они относятся к евреям?

Марита скоро уловила странную закономерность этих насильственных бесед: они всегда финишировали на еврейской теме и часто обрывались гневным явлением Зинаиды.

— Евреи — это лучшие люди, — кричал старик. Слезная влага в обесцвеченных временем глазах страшно контрастировала с юношеской порывистостью. — У меня много знакомых евреев и почти все уехали. Если бы я сам был евреем, я бы здесь ни за что не остался. Я получаю письма и фотографии из Израиля, они все там прекрасно живут. А вы сами кто? Еврейка? Но вы не похожи. И потом у вас такой замысловатый вид, я смотрю, вы все бегаете, пишете что-то. Это ведь трудно. Зачем мучить себе голову, вы ведь приехали отдыхать, вы такая интересная женщина!

Внезапно взгляд его делался жестяным, и Марита радостно понимала, что это знаменует появление Зинаиды.

— Марита, мы опаздываем на воду, — игнорируя присутствие старика, по-детски жалобно произносила она.

— Он старый убийца, — кипела она вечерами. — Ты что, не видишь, какой он страшный? Он как злобный тролль. Спросить бы у него, сколько он евреев закопал. И звезды на колодце и то, что он к тебе лезет, это все для того, чтобы грехи замолить. Старый мерзавец! Может, он такую, как ты, убил, и не одну. Как ты можешь с ним разговаривать? Да еще так подолгу. И о чем?

* * *

Голос за спиной демонстрировал сарказм скорее набором интонаций, чем содержанием разговора. Судя по ответам, сарказм адресовался ребенку. Марита, не оборачиваясь, знала, что сзади идет сосед по дому с мальчиком лет семи.

Дорога к пляжу, хотя и короткая, длилась бесконечно из-за невозможности обогнать самое себя в тягостном гудении зноя.

Мужчина, блондин с бушменской шапкой золотистых волос, жил с семьей в том же доме, в той его части, которую старик продал два года назад. Семья смотрелась добротной и была оснащена необходимыми аксессуарами счастья: красными «Жигулями»-пикапом, моложавой тещей, сыном-херувимом, хорошенькой капризной женой. Марите всегда казалось, что комплектом жизненных благ владеют люди сдавшиеся, ушедшие от основного в себе. Они были неинтересны ей. Глава рекламной семьи привлекал внимание своим голосом. «У него голос, как пушистый свитер», — говорила она Зинаиде. Голос был низкий, теплый, с роскошной звуковой палитрой, при которой любая фраза ощущалась отрывком из оперной арии.

Как-то вечером, зайдя в новое жилище беженцев, длинный, ползущий по земле дом (он был без фундамента), Марита застала там соседа.

— Борис Маркович приглашает завтра в Алитус, давайте съездим, если вы не заняты, — сказала ей жена беженца.

— Теща хочет взглянуть на барахолку, — мягко улыбнулся сосед, — и у нас два свободных места.

— Алитус меня очень интересует, — сказала Марита. — Барахолка как-то меньше.

— Чем может быть интересен Алитус, — ринулась в разговор только что подошедшая бабулька. — Крохотный пыльный городишко.

Первый раз она приехала в Бирштонас без внуков и сейчас наглядно иссякала от безделья.

— Там был огромный концлагерь, — ответила Марита. — Мне бы хотелось посмотреть город.

— Концлагерь в Алитусе? Впервые слышу, — изумилась бабулька. — Я надеюсь, что наш хозяин там не работал.

— А он имел такую возможность?

— Наверняка. Можете не сомневаться. Он был полицаем, а потом в Вильнюсе работал квартирмейстером. Он предпочел работу почище — расселять немцев по квартирам.

— Из которых выгоняли евреев, а потом заталкивали их в гетто?

Наступившее молчание, судя по лицам, означало смесь легкого недоумения и слабого согласия.

— Зато теперь он не нарадуется, что в Бирштонасе много евреев и говорит, что очень их любит, — кидая эти слова, Марита чувствовала себя нарушительницей некоего табу.

— И вы этому верите? — ужас и негодование бабульки были неподдельными и от этого особенно смешными.

— Верю только в то, что в любой момент, имей он возможность, он бы с восторгом задушил нас своими собственными руками. Литовцы проделывали это во время войны очень спокойно.

Грим туристического энтузиазма на лицах слушателей быстро тускнел.

— Вы так думаете? — явно не доверяя, спросила бабулька, и Марита увидела, что это вовсе не бабулька, а холеная еврейская старая дама с щечками-пирожками, тщательно доведенной стрижкой и практицизмом в никаких глазах.

— Я не думаю. Я знаю это из многих источников. К сожалению. Когда-то я отдыхала в Аникшчае, это одно из красивейших мест Литвы. Там есть большой холм, где захоронены тысячи евреев. Их уничтожили сами литовцы, это говорили местные жители.

— Уже поздно, я, пожалуй, пойду, — сказал сосед и, качнув золотистой шапкой волос, еще раз мягко улыбнулся, — значит, завтра в девять.

— Ну зачем вы так? — залучив Мариту на веранду, выстреливала укоризной бабулька. — Зачем это все вспоминать, это так неприятно... Особенно на отдыхе.

— Для чего нужны эти разговоры, зачем изводить нервы, которых и без того нет? — вколачивая в себя перед сном крем, негодовала Зинаида. — Да еще перед этой закормленной старухой и благополучным мужиком. Что ты хочешь им доказать? — вытянув шею, она лупила себя по подбородку тыльной стороной ладони.

Звуки рукоприкладства, выскальзывая из открытого окна, разносились по округе со скоростью звучания африканских там-тамов, и густой мужской голос сказал внизу:

— Ого! Вот это дает!

— Да мне нечего доказывать, я говорю элементарные вещи, — отвечала Марита. Странно, что евреи в свои зрелые годы закрывают лицо ладошкой, как испуганные дети. Понятно, что они приехали сюда отдыхать: есть замечательную сметану, творог, купаться в Немане, наслаждаться этим, якобы приличным сервисом. Им, видите ли, неприятно думать, что здесь вытворяли с их собратьями.

Она прикрыла окно.

— Это мешает отдыхать, для здоровья полезнее ни о чем таком не думать. Не помню, кто сказал, что забвение — это особый вид подлости.

— Теперь они будут на литовцев смотреть с ужасом.

— Не будут, это, опять-таки вредно — жить с негативными эмоциями, гораздо полезнее прошвырнуться по барахолке. Я же не смотрю на литовцев со страхом, а, наоборот, многих из них нежно люблю. Это же не открытие века, что есть литовцы и литовцы, как есть евреи и евреи.

За стеной, как всегда в этот час, Алик и Эдик перепевали свои дневные успехи на женском спортивном поприще.

Зинаида постучала в стенку.

— Мальчики, — произнесла она особенно певуче, — уже двенадцать часов.

Спортсмены хохотнули и стало тихо. Оба они приехали из Еревана. Алик первым знакомился с девушками, а элегантный Эдик немедленно их отбивал. Алик был плотный, невысокий, с добрым широким лицом и черными глазами.

У Эдика были очень короткие ноги и, когда он шел по пляжу, закинув назад залитое высокомерием лицо, казалось, что это волшебным образом передвигается гипсовый торс римского императора.

Утром, когда Марита проходила мимо веранды соседей, в приотворенной двери возникла солнечная голова мужчины. Он улыбался:

— Вы знаете, мои дамы передумали ехать, извините, пожалуйста. Придется отложить.

— Это не страшно, мы решили с приятельницей съездить сегодня в Каунас, — ответно улыбнулась Марита.

* * *

День отъезда был пасмурным. Марита успела с утра пройти вдоль Немана. Звуки Зинаидиной утренней нахлобучки следовали за ней какое-то время. Неман был спокоен и похож на асфальтированную улицу средней ширины. Байдарка, скользящая по нему под аккомпанемент крупнобедрого катера, казалась туземной пирогой. Истлевший за ночь до толщины бумажной салфетки месяц силился сползти с орбиты небосклона. Цветы после дождливой ночи были усеяны мириадами мельчайших водяных капелек и их разноликое множество смотрелось призрачным букетом в ожидании невидимой невесты. Настырно и очень веско каркала ворона.

Семья беженцев стояла у их двери, когда она вернулась.

— Мы хотим проводить вас на автобус, — сказал мальчик.

Вчера она предупредила хозяина об отъезде.

— Но вы же заплатили до конца месяца, — он заметно растерялся.

— Оказалось, что нужно вернуться раньше, — торжествующе ввернула Зинаида. — А деньги вы сами просили заплатить до конца месяца.

Он топтался на месте, пока они не закрыли за собой калитку.

Сейчас старика, обычно филином сидевшего в этот час в беседке, не было видно, и хозяйка еще не вынесла на воздух свое больное тело.

Наверху они с Зинаидой испытующе оглядели комнату: там стало еще темнее, так как окно было задернуто дырявыми занавесками. Дверь шкафа, хронически выпадающая, как плохо сделанная вставная челюсть, была водворена на место, а ржавые матрасы задрапированы комковатыми одеялами, из которых нагло выглядывали клочья спрессованной ваты.

Старик вышел, лишь только она коснулась дверной рукоятки.

— Петр Иванович, — напыщенным тоном, в чеканной гармонии с выражением его лица, сказала Зинаида, — мы уезжаем. Проверьте, пожалуйста, комнату.

Им показалось, что он пробыл наверху дольше, чем допускал здешний этикет. Шаги его на головоломной лестнице звучали поступью командора. Сойдя вниз, он с тем же выражением преодолеваемого с достоинством страдания двинулся к Марите. Он подал ей руку, затем, повернувшись к Зинаиде, кратко кивнул ей и так же молча направился в свои апартаменты.

Когда они шли по аллее, засеменил мелкий дождь. Зонты открывать не хотелось. Отдыхающие из санатория теснились на скамейках, дожидаясь кормления, и были похожи на воробьев, облепивших провода.

Рыже-белая собака, сидевшая в позе фарфоровой статуэтки, вильнула им хвостом, но осталась сидеть на месте.

Ленинград, 1983 г.

В БАНАНОВО-ЛИМОННОМ ПЕТЕРБУРГЕ

(Лихие девяностые)

Тополиный пух абонировал пространство за окном. Он висел в воздухе мириадами парашютиков и, залетая внутрь, оседал в углах неопрятной пеной для бритья. Детское верещание на площадке для игр перешло за апогей, родители растаскивали своих чад по домам. До мерцания белой ночи оставалось достаточно времени: было где-то около половины одиннадцатого — роскошный летний вечер, божественная компенсация городу за бесконечность зимы.

Я разговаривала по телефону с Галей, выясняя, как можно помочь маме одного из моих друзей, страдающей от болей в пояснице. В руках у меня была толстая книжка-блокнотик, куда я прилежно вписывала Галины директивы.

— Если у нее сильная невралгия, — журчал Галин голосок, — сначала надо поставить ей по две медицинские банки по обе стороны позвоночника, потом лечь на ипликатор Кузнецова, который можно купить в аптеке. На следующий день нужно...

Над моей головой раздался звук, как будто разбился замок из хрусталя. Звук был одновременно сильным, нежным и нескончаемым. Тоби немедленно бросился к балконной двери-амбразуре, из которой он обычно выстреливал зычным лаем по нарушителям спокойствия. Он долго орал в надвигающийся мираж белой ночи, но в этом оре не ощущалось его обычной упоенной разгульности, а слышалась злая тревога.

— Извини, Галя, — сказала я, — мне надо утихомирить Тобу, который разоряется на балконе; только что наверху, у Митьки, что-то огромное и стеклянное разбилось, наверное, самогонный аппарат.

Я схватила пса за мохнатую упругую грудь, впихнула в комнату и, сунув ему крекер, приготовилась писать дальше.

— На следующий день, — продолжила Галя голосом, который сам по себе оказывал на меня немедленный психотерапевтический эффект, — надо использовать парафин...

Наверху раздался звук, жуткий своей непонятностью, словно что-то взорвалось, и голос, похожий на Митькин, сказал медленно и монотонно: «Помогите»! Жуткий звук повторился и через пару секунд телефон захлебнулся и смолк, точно из него одним махом вынули сердце. Галин голос исчез, а голос наверху произнес отчетливо, но с той же монотонностью: «Помогите»!

Что-то жуткое и тягучее сконденсировалсь в пространстве и повисло, склеивая все возможные человеческие реакции в липкий комок ужаса. Преодолевая эту, уже физическую субстанцию кошмара, я заметалась по квартире в попытке одеться. Тоба орал уже истерически, в то время, как я, запутавшись в обуви, обнаружила, что собираюсь покинуть квартиру в босоножке на одной ноге и туфле с толстой подметкой на другой. Комизм ситуации лишь усугубил парализующее ощущение ужаса, но, путаясь в поводке и ключах, мы все же выкатились на площадку. Здесь было тихо и спокойно. По лестнице поднимался сосед с пятого этажа, поселившийся у нас с беременной красавицей-женой в начале января. Сейчас их дочке было уже больше трех месяцев. Он поднимался быстро и пружинно, его рыжеватые волосы были, как всегда, идеально подстрижены и словно создавали дополнительную подсветку к его броской внешности.

— Добрый день, — сказал он энергично и с каким-то неоправданным мажором в голосе.

— Здравствуйте, — ответила я, толкая дверь плечом, чтобы замок вошел в паз.

Он исчез. Снизу послышались шаги, и я увидела круглые нелепые физиономии живущих у Митьки неведомо на каких основаниях двух теток, ставших моими врагинями, ибо их хроническое ночное топотание над головой за неделю выбило из меня все философические построения о кротости, выдержке и владении ситуацией.

— Что у вас там происходит, — заорала я, — сколько это может продолжаться, вами уже давно милиция интересуется, вы скоро весь дом взорвете!

Они обратили на меня блиноподобные физиономии, одну в пегом, другую в темном обрамлении и оцепенели в явной попытке среагировать.

— А что... мы ничего, — произнесла, наконец, пегая, и они покатились вслед за рыжим.

— И чтобы ночью был покой, — мстительно загремела я им в спины и, потянув Тобу, спустилась к живущей подо мной Тамаре. Никто не ответил на звонок. Где-то высоко слышалось бормотание человеческих голосов.

— Тобочка, мы только на минуту поднимемся наверх. А потом погуляем.

На четвертом этаже никого не было, но его пустынность оказалась скомпенсированной людским скоплением на пятом. В длинном коридоре, объединявшем семь из двухсот пятидесяти квартир нашего, средней руки кооперативного дома, группками статистов стояли жильцы. Они разговаривали вполголоса, словно боялись потревожить тяжелобольного. Субстанция ужаса, поделенная на это немалое число людей, не исчезла, но, казалось, стала более разреженной. В углу, с длинной, декоративного вида винтовкой, бродил высокий молодой мужчина. Время от времени, как бы тренируясь, он вялым жестом направлял ее на дверь квартиры, где жил рыжеволосый. Человек с винтовкой проживал на седьмом этаже и имел все атрибутивные признаки интеллигента: очки, бороду, поникшие плечи, мягкий взгляд. Ему с его механической спутницей было тесно и в ширину и в высоту. Человеку с таким оружием более приличествовало бы участие в сафари и пальба по носорогам из мчащейся машины.

— А это кто с винтовкой? — глухо изумился кто-то.

— А это наш папа, — сказала с любовью молодая женщина с миловидным лицом и фигурой, где главенствовали ноги. На голове под платочком у нее громоздились бигуди.

Тоба, присмирев в такой аудитории, с повисшим хвостом жался к моим ногам, сознавая, что обычные восторги при встрече с соседями здесь неуместны.

К нам приблизилась миниатюрная женщина, хозяйка доберманши Юты, ее точное отображение в человеческой ипостаси, сухощаво-утонченная, с узким лицом. Она прошелестела бесплотным звуком, так что пришлось угадывать по губам:

— Здесь хозяин такой светлый парень... Вы его знаете?

— Конечно. А с ним все в порядке?

— Думаю, что да. Я ведь видела его на улице уже после выстрелов.

— Так это были выстрелы?

— А вы разве не поняли? Стреляли в его квартире. Я стояла с Ютой около парадной, а он из нее вышел, походил, посмотрел вверх, на окна лифта, я ему говорю: там стреляют, а он усмехнулся и отвечает: «Да, надо милицию вызывать», а я сказала: «Так уже вызвали». Он тогда вошел в парадную, но я его больше не видела.

— Так, значит, с ним все в порядке, — обрадовалась я.

Последнюю неделю парадную трясло. Сначала, среди бела дня, в воскресенье, взломали дверь в квартиру на первом этаже. Помешал звонок-ревун, поставленный внутри. За день до того подожгли дверь квартиры на втором этаже, сунув в обивку горящую сигарету. Хозяйка, только что выписавшаяся из больницы, обнаружила это лишь наутро, так как процесс горения был скорее полутлением и проходил медленно. Через день двое, которых явственно видела в глазок двери моя соседка тетя Зина, пытались на нашем этаже вскрыть пустую квартиру. Ничего не добившись, они спокойно вышли, уселись в машину, стоявшую у подъезда, и укатили, а остолбеневшая от ужаса тетя Зина пошла спать.

Сейчас тетя Зина, явная жертва детского рахита, прозванная в доме Улановой, стояла возле нас, переминаясь на своих дугообразных, ростом с табуретку ножках. Ее редкие волосенки были взлохмачены, и она бормотала лишенным обычной зычности голосом:

— Что же это такое? Кто-нибудь знает?

Лестницу внезапно запрудила группа парней в спецформе и с оружием в руках; они прибывали и прибывали. Жильцы отхлынули к стенкам, но никто не собирался покинуть зрелище.

— Он на балконе, в кого стреляли, он там еще стонет...

Остролицая тетка, из новых людей в нашей парадной, наотрез отказывалась пустить ребят к себе на балкон, расположенный этажом выше.

— Он там умрет из-за вас, дорога каждая секунда, — сказала я ей и вспомнила, как она при каждой встрече на улице сюсюкала над Тобой.

— Не пущу, — ненавистно отвечала она.

Из подошедшего лифта выкатились люди с носилками. Дверь сто сорок седьмой квартиры, на совесть оформленная предыдущими съемщиками — компанией кавказцев, не поддавалась попыткам открыть ее.

— Пройдите через мою кухню, — сказала молодая женщина, жившая в квартире рядом, над моим мучителем соседом.

Двое парней, с лица которых было стерто какое бы то ни было выражение, зашли в ее квартиру.

— Лена, — спросила я ее, стараясь в лад с обстановкой быть ухватистой и практичной. — Митька вас не беспокоит?

— Сейчас я ничего не слышу, ко мне вселился папаша и держит свою дверь на замке, а в той комнате, где мы с сыном, пока ничего. Так что у меня теперь коммуналка.

Омоновцы, пытавшиеся открыть дверь снаружи, оживились, переговариваясь с теми, кто уже был в квартире. Но дверь по-прежнему не поддавалась. Сверху спустился немолодой симпатичный человек, известный в городе актер, которого недавно зверски избили в лифте парни, поднимавшиеся на пятый этаж. Его жена, в прошлом тоже актриса, кормила всех кошек, обретавшихся и размножавшихся у нашей парадной. В противоположном углу, зачем-то с бананом в руках, стоял Сергей Бороусов, притча во языцех всей лестницы, худой парень лет двадцати пяти, отслуживший во флоте пять лет, потом работавший «шестеркой» и развозивший проституток; год назад он в пьяном виде угодил под самосвал. Сейчас он был без обычных костылей, вертикальные борозды прорезали его лицо. Рядом, тревожно озираясь, стояла его мать.

Ребята в форме работали спокойно, советуя тем, кто был внутри, что еще можно сделать, чтобы открыть дверь. Неожиданно она плавно распахнулась, и они вошли внутрь. За ними ринулись люди с носилками. Время, рассчитанное на секунды, обрело еще большую плотность. Звуковая волна глухо донесла до нашего угла:

— Там в ванне еще один убитый.

У двери с выбитым милицией косяком выделились опрокинутые лица моих любимых друзей-соседей — папы, мамы и юной дочки-музыкантши. Их квартира была наиближайшей к зоне ужаса.

— Так он ее зарезал? — возопила тетя Зина-Уланова голосом, обретшим прежнюю зычность, и гаркнула уже совсем оглушающе: — Давно пора!

— Парень на балконе умер, — прокатилось от двери с выбитым косяком. — Кто пойдет на опознание трупа?

Все замерли. Хозяйка доберманши Юты значительно, словно подталкивая взглядом, воззрилась на меня. Я не вняла ее безмолвному призыву. Из своего угла с тем же бананом в руках и выражением отрешенности на лице выделился Сергей Бороусов. Он почти не хромал и, когда его фигура исчезала в раскрытых дверях, показалось, что он стал выше ростом.

Мы с Тобой двинулись вниз. Мы миновали четвертый этаж, и тут я осознала, что за нами следует мой верхний сосед и ныне враг номер один, Митька, превративший мою квартиру и еще две внизу в хроническую зону бедствия тем, что заливал все три обиталища методично и обильно, после чего трусливо затаивался со своими тетками у себя, делая вид, что никого нет дома. Но я, злобно и мстительно вслушиваясь в звуки сверху, яростно стучала по трубе, обличая их присутствие. Сейчас его пропойная физиономия со свежерассеченной бровью показалась мне родной и близкой. Возможно, он испытал те же чувства, потому что мы кинулись друг к другу, как любимые родственникм после долгой разлуки.

— Митя, нам надо с тобой поговорить, — сказала я с плаксивой патетикой.

— И я давно об этом думаю, Марина, — ответил он на пике искренности.

Мы вышли из парадной, и толпа людей, расположившихся здесь, обратила на нас недоуменные взоры. Видимо, даже на фоне покорного ожидания грядущих новостей наше единение выглядело пикантной нелепостью.

В первом зрительском ряду стоял член правления нашего кооператива, Борис Иванович, хозяин Джерри, афганско-

го борзого, как должностное лицо более других осведомленный в наших с Митькой коллизиях. Рядом с ним находился Влад Пшибельский, ученый-физик, проживавший с семьей в соседней парадной. К подъезду продолжали прибывать милицейские машины, и наше трио заняло позицию возле двух вышеупомянутых мужчин.

— Дожили, — сварливо заявила я. — Там два трупа, один на балконе, другой в ванной.

— Кого убили? Хозяина? — спросил Влад, глядя на меня своими бесхитростными глазами, которые, однако, не могли закамуфлировать мощь его научного интеллекта.

— Нет, хозяин ушел, — сказала я с удовольствием. — А мы с Митей пойдем, нам поговорить надо.

Мы побрели вдоль дома. Тоба, против обыкновения, не рвался с поводка, чтобы насладиться полным набором запахов пробежавших сучек, а покорно трусил рядом.

— Марина, — послышалось сзади, и я увидела догонявшего нас Влада. У него был очень торжественный вид.

— Я давно хотел тебе сказать, — начал он с долей пафоса, — что мы смотрели передачу о Саше (о моем муже-художнике, умершем четыре года назад) и она произвела на нас очень сильное впечатление... Его работы такие значительные и так великолепно показаны...

— Спасибо, Влад, — с тем же пафосом отвечала я, — это приятно знать, что тебе понравилась передача. Ее делал очень хороший режиссер, он ученик Товстоногова.

Он двинулся к своей парадной, а мы с Митькой остались стоять на узкой каменной дорожке, по обе стороны которой било в глаза невиданное доселе изобилие трав.

— Митя, — начала я мгновенно, — что у вас происходит ночью, в два, три, четыре часа?

— Ты понимаешь, — он отвел глаза, — у нас сейчас две собаки, просили подержать какое-то время, одна дог, вторая овчарка. Они еще маленькие, ну, щенки... я уже думал об этом, у них такие здоровые ноги, я их буду на ночь выставлять на кухню.

— Митя, три раза в неделю я встаю в половине шестого, покой мне дороже ремонта, который ты обещал, — увлеклась я, забыв о своей поруганной квартире.

— Ты не беспокойся, все будет тихо, — пылко проговорил он. — Да и кавказцы скоро съезжают, — имелись в виду ларечники, которые каждую ночь после часа привозили обратно свой товар и сбрасывали его на пол над моей головой. — А ведь как страшно теперь жить... Жизнь ломаного гроша не стоит. Я вчера еду на работу в полседьмого, так на рельсах труп лежит, и никому нет дела... И здесь, вот, взяли, убили, их и не поймают никогда.

В глазах у него тлело странненькое удовлетворение.

— Ты так рано начинаешь работать?

— Ну да, я же зарабатываю тебе на ремонт, — заверил он и еще раз отвел глаза. — Ну, я побежал домой, завтра вставать ни свет ни заря, а собак я выгоню на кухню, ты не беспокойся.

На перемычке белой ночи, где-то между тремя и четырьмя часами, я рассказывала своей приятельнице, в панике прибежавшей из соседнего дома, все, что знала об обитателях злосчастной квартиры. Внизу, под окнами, вспыхивали светлячки милицейских фонарей, их обладатели что-то тщетно выискивали в густоте травы.

— Необъяснимо, что этот кошмар случился в нашей респектабельной парадной и к тому же в квартире, где проживала такая на вид интеллигентная пара.

— Они давно здесь живут?

— Где-то с конца осени или с самого начала зимы. Квартира сама по себе недотепистая, никто не жил в ней достаточно долгий срок, последней ею пользовалась компания кавказцев, которые уверяли, что это офис, но это был стопроцентный бордель. Несколько раз им выламывали дверь и обворовывали, они поставили железную дверь и вскоре отбыли. А новый жилец, рыжеватый блондин, передо мной лично возник где-то в январе. Я выходила от их ближайших соседей, он приоткрыл дверь своей квартиры, весьма интеллигентно представился и спросил, не хочет ли кто-либо из жильцов взять на время новый холодильник, у них случайно оказалось два и они собираются один продать. Возможно, кому-нибудь нужен на время новый холодильник, он особенно напирал на слово «бесплатно». «Меня зовут Валерий, а жену — Ирина», — сказал он. Я отвечала, что очень приятно

получить таких соседей, так как в последнее время в дом въезжают странные, не внушающие доверия личности.

Жена его сразу меня очаровала. Однажды, когда я волокла Тобу в дом, и он, игнорируя мои нотации, как всегда, упирался, я обернулась и встретила прелестную улыбку молодой женщины, которая шла за нами. Живот, выпиравший из-под шубы, не портил, а, скорее, гармонизировал ее облик. Она сказала, что живет с недавних пор в нашей парадной и что уехавшие в Америку хозяйки квартиры — ее родственницы, правда, она слегка замешкалась, когда я спросила, в каком штате они живут. Позже мы всегда здоровались, перебрасываясь короткими фразами, затем она появилась с миниатюрной коляской, откуда круглыми золотистыми глазами взирало на мир очень похожее на нее дитя. Иногда я не узнавала ее, поскольку шубы на ней менялись, и она с милой настойчивостью спрашивала: «Вы меня опять не узнали?» Ей было лет двадцать пять и ее манеры говорили о хорошем воспитании, общаться с ней было удовольствием.

Однажды известная в городе художница, Елена Смагина, привезла ко мне режиссера будущей телевизионной передачи о моем муже. Когда я вышла ее проводить, оказалось, что шины ее БМВ проколоты. Снежные глыбы вокруг и мокрый ветер не способствовали оптимизму, и я кинулась искать помощь. Сначала я позвонила своим любимым Ивлевым, но их не было дома, и я в отчаянии нажала кнопку звонка их соседей. Рыжий возник на пороге, с непроницаемым лицом выслушал мою просьбу и обещал спуститься. Он сдержал слово, явившись в очень подтянутом виде: пиджак смутно-зеленых оттенков облегал его фигуру так, как будто он в нем родился; он нес коляску с младенцем. Жена следовала за ним в одной из своих элегантных шубок, он поставил коляску на землю и жена принялась идиллически расхаживать с ней вокруг, придавая стандартной автомобильной ситуации привкус очарования и стабильности бытия. Здесь я впервые заметила, что его машина, красивого вишневого цвета, в которую он полез за компактно упакованным инструментом, явно западного производства, из тех, что в народе называют иномарками. «Он нам очень помог», — сказала позже хозяйка обиженной машины Лена Смагина.

Интересно, что бьющее в глаза богатство этих полудетей никого не раздражало; у жильцов, наблюдавших, как он выходит из очередной иномарки, а на наших глазах он поменял их не меньше четырех, не возникало чувство естественного советского раздражения, а, напротив, в глазах их читались одновременно уважительность и даже некое удовлетворение: вот и наш, беленький, светлый мальчик разъезжает на мерседесе, не только люди «кавказской национальности» могут добиться роскошной жизни. Словом: давай, Валерик! Последним его приобретением была белоснежная «сузуки», по форме напоминавшая буддийскую пагоду. Она несколько дней высилась у нас под окнами и мы шутили, вначале не зная, чья она, что хозяин дежурит у окна с винтовкой.

Последнее время я видела их нечасто. Ее улыбка как-то угасла, они всегда теперь в напряженной спешке выходили из парадной и влезали в свой сверкающий черный мерседес без прежней вальяжности; казалось, у них испортились отношения, его глаза, и прежде льдистые, не имели теперь никакого иного выражения, кроме настороженного, а губы превратились в узкую полоску. Правда, Ивлевы много раньше говорили мне, что я очередной раз обольщаюсь в людях, что они неприятные, не здороваются, пользуются радиотелефоном, который очень мешает при записи видеофильмов и, когда Виктор пошел к ним поговорить на эту тему и по-свойски сказал: «Ребята, ну зачем вам радиотелефон, ведь можно пользоваться обыкновенным?», рыжий взглянул на него и спросил: «Все?» с такой интонацией, что это прозвучало выстрелом, и у Виктора сдавило горло.

И вот теперь в ванной их квартиры лежало тело мужчины шестидесяти лет, а на балконе — окровавленный труп парня с толстенной золотой цепью на шее, как сказал Сергей Бороусов, а сам рыжий, каждое явление которого возле нашей парадной смотрелось кадром голливудского фильма, «сделал ноги» с дружком, помогавшим ему в этом неопрятном деле.

Казалось, ночь остановилась в стоп-кадре. За окном в ее фантасмагорическом свете два милиционера обыскивали неведомо откуда забредшего в «зону» парня. Мы с приятельницей по-прежнему сидели в кухне, убеждая друг друга, что для тонуса и выхода из шока необходимо выпить по глотку

водки. Внизу, в парадной, слышалось бормотание милицейских голосов.

Наверху, у Митьки, царила невероятная для этого времени ночи тишина.

Утром по обезлюдевшей лестнице мы с Тобой поплелись к Ивлевым звонить в бюро ремонта. То, как телефон захлебнулся звуком, и его нынешнее молчание, создавало ощущение полной изоляции. Дверь злополучной квартиры была распахнута, и двое мужчин измученного вида обзирали внутренность коробки с обрезанными проводами.

— Звоните на телефонную станцию, — сказал один из них. — Я здесь не «копенгаген», все провода перерезаны. А вам куда? Сюда? — и он нажал кнопку звонка ивлевской квартиры.

— Мариночка, вы знаете, какой ужас, — начала хозяйка. Несмотря на пекло, она куталась в махровый халат, — это ничего, что вы нас разбудили, мы, правда, не спали всю ночь, они переговаривались по рации и мы поневоле все слышали. Витя, правда, спал, как сурок, а мы с Дашкой терзались. Ну, во-первых, там нашли целую кучу оружия, автоматы и патроны, а стреляли они из обреза, патронов там целую кучу нашли под диваном и в мойке, на кухне. Следователи все повторяли: «какая криминогенная парадная, как будто медом намазано»... А тело пожилого мужчины в ванной лежало несколько дней, они собирались его расчленять, у них уже все было для этого приготовлено, электропила и материал для упаковки. Видимо, парень, которого застрелили, сдрейфил и отказался это делать. Они сначала громко ссорились, а потом рыжий заорал: «Мразь, ублюдок!» и началась невообразимая драка. Мы сразу набрали номер участкового, но там никто не отвечал, а здесь уже пошла стрельба. Все это невозможно осознать, ведь в квартире грудной ребенок, ну, даже если его жены несколько дней нет дома, разве это что-нибудь меняет? А когда выстрелы закончились, мы услышали, как открылась их дверь и кто-то вышел, мы побоялись открыть свою и посмотреть, но мы выглянули в окно, когда хлопнула дверь парадной, и увидели, что вышел рыжий, а с ним длинный парень, брюнетистый такой, в белых кроссовках, и они пошли вдоль дома такой неспешной походкой.

— Да, — подтвердила я, — женщины говорили, что они спокойно дошли до угла, а когда повернули, перекинулись парой слов и бросились бежать в разные стороны.

— Как же теперь жить? — с тоской спросила хозяйка. Риторический вопрос повис в воздухе.

Вечером того же дня ко мне зашла Галя Златкина. Она жила непосредственно под криминальной квартирой с дочкой Танечкой, студенткой университета. Мы любовно звали ее «психиатрической», так как она работала в психиатрической больнице, в наркологии. Во время событий она дежурила. Галя сидела за столом, нервозно затягиваясь сигаретой. Синева ее крупных глаз эффектно сочеталась с бронзовым оттенком загорелого округлого лица.

— Это такое счастье, что меня не было дома, — низким контральто вещала она, — я ведь всюду лезу, в любую драку, я совершенно не думаю об осторожности, все на работе это знают. И надо же, что в это время у нас гостила моя внучка Катя, ей всего пять лет, — объясняла она моей приятельнице, — и, когда раздались выстрелы, Танечка, моя дочка, выбежала на балкон и стала кричать: «Что у вас там происходит?» А когда парень стал звать на помощь, она ему говорит: «Потерпи немного, я сейчас вызову скорую и милицию».

Хотя ужас отодвинулся на целые сутки, у нее было выражение лица человека, которого только что стукнули по голове мешком с мукой.

— Вы понимаете, — продолжала она, — первый раз за все время проживания в этом доме, а мы живем здесь с самого начала, уже двадцать пять лет, у нас появились тихие соседи. Мы почти все эти двадцать пять лет не знали покоя из-за соседей сверху. Сначала там жили люди, которые постоянно нас заливали, это было ужасно. Потом въехали молодая женщина с матерью и крохотным сыном. Они обе с матерью постоянно меняли мужей, а малыш ужасно грохотал, он бегал в тяжелых ботинках. Потом они поменялись, и там поселились пожилая дочь со старой матерью. Мать почему-то оглушительно пела, она ничего не слышала, орала на дочь и включала телевизор на полную мощность. После суточных дежурств я никогда не могла выспаться... Они уехали в Аме-

рику и их родственник начал сдавать квартиру кавказцам. Что тут началось... Говорили, что это у них офис. Какой это мог быть офис, скажите мне, если ночи напролет у них творилось Бог знает что, крики, женский визг, гремела музыка. Мы с Танечкой устали стучать по трубе. И тут их обокрали два раза за короткий срок, и они уехали...

Казалось, на нее находит какая-то мертвая волна, речь ее все более затормаживалась и сопоставить ее с жизнерадостной женщиной, выпаливающей при встрече с каждым соседом груду комплиментов, было невозможно.

— И вот, наконец, — словно в летаргии продолжила она, — над нами впервые поселились тихие соседи...

Я словно в гипнозе втягивалась в зыбучую воронку ее речи, всей своей плотью ощущая явление трагикомедии, где смех и ужас заодно.

— Вы знаете, — говорила она, — у них даже ребенок плакал тихо, и она ему говорила, я слышала: «Ну что ты плачешь, маленький?» Я не понимаю, — нанизывала она нитку ужаса, вот ты говоришь, что они собрались расчленять этого второго человека, но когда же они его убили? Мы совершенно ничего не слышали. Не может быть, чтобы Валерик убивал, не могу в это поверить, он такой интеллигентный человек... я думаю, что тело ему подбросили, — неожиданным крещендо завершила она.

— Каким образом подбросили, Галя? Через балкон?

— Ну почему через балкон? — обратила она на меня синеву своих глаз. — Через дверь.

— А материал для упаковки частей тела подбросили вместе с трупом? — садистски спросила я. — Милиция выбросила его на площадку.

— Что выбросила? Тело? — прошептала она на выдохе.

— Галинька, — нежно и тоже на выдохе, тихо и весьма медленно, чтобы до нее дошло, зашептала я, — ты меня слышишь? Я сказала, что милиционеры выбросили на площадку материал для упаковки. Это жалюзи из полиэтилена, они там еще лежат, на них кровь.

— А тело где? — прошелестела она.

— А тело увезли утром.

— А моя внучка Катенька, — немного успокоилась Галя, — теперь боится к нам ехать. Она спрашивает Эдика, моего сына: «Папа, а у бабушки опять война будет?» Я теперь просто не знаю, как жить дальше, я не могу зайти в ванну, одна мысль, что над нами лежал убитый человек... Ну почему такие богатые люди поселились у нас? Им надо жить совсем в других местах.

— Им надо жить в резервациях, — с экспрессией заявила моя приятельница, — и пусть там и уничтожают друг друга.

В субботу днем мы сидели с ней на балконе. Парадная напоминала вымершую планету. Роковые жалюзи не поменяли свое положение, продолжая занимать добрую часть площадки пятого этажа. Пятна крови на них имели оттенок переспелой вишни. В углу стоял косяк от двери, снятый милицейскими, а сама дверь с сорванной обивкой была заклеена тоненькой бумажкой. Вид с балкона тоже не поднимал настроение: никто не резвился в солнечном мареве. Было зловеще тихо, а вдоль тропинки под окнами бродила девица с бутылкой шампанского в руках и, закидывая голову, попивала из горла. Она делала это весьма неспешно и, видимо, приняв свою дозу, двинулась в сторону улицы. За ней следовал молодой человек с газетой в руке. На той же тропке, двигаясь в противоположном направлении, возникли фигуры «сильфид» из нашей парадной, четырех теток-пенсионерок, годами маявшихся от безделья и в разгар «рыночной экономики» лишившихся кайфа стояния в очередях. Сейчас в их глазах горел охотничий гон. Головы их были криво, как на полотнах примитивистов, воздеты кверху, глаза въедались в окна пятого этажа и оставалось лишь порадоваться, что дорожка под их ногами уже крепко утрамбована поколениями детей, выросших в нашем доме. Они проковыляли мимо криминальной секции и споткнулись на наших, тихо восседающих на балконе личностях. Головы их еще были воздеты вверх, а шеи, видимо, подустали, потому что перемещение уровня взгляда с пятого на третий этаж доставило им ощутимое облегчение.

— А вы бы взяли указку, с ней удобнее, — по-дружески посоветовала я им.

Они не среагировали. Юмор оставался далеко за порогом их сознания.

— А сейчас жена убитого приезжала, — счастливым голосом возвестила тетя Зина-Уланова. — Не того, который в ванной, а того, которого на балконе убили. Она на такси приезжала. Выходит, спрашивает: «А где здесь квартира сто сорок семь?» И как заплачет... Она потом все ходила и шампанское из бутылки пила, вот только что ушла. А вы разве не видели, она минуты три как ушла, молоденькая такая, только что из морга, говорит...

Перегруженными баржами они заколыхались дальше. Они уже исчезали за кустами, когда на смену им явились новые туристы: двенадцатилетний Ромочка с дружком крались под окнами. Их круглые физиономии были озарены сладострастным предвкушением неописуемого ужаса: они собирались взглянуть на окно, стекло которого в последние минуты жизни выбил парень с золотой цепью на шее. Дыра по вертикали напоминала контуры готического замка и даже неосведомленные люди поеживались, натыкаясь на нее взглядом.

— Так, значит, вы испугались и пошли прогуляться с собакой?

— Нет, я испугалась и выбежала из квартиры с собакой.

— И по лестнице поднимался сосед с пятого этажа?

— Да, он поднимался энергичной походкой.

— И он сказал вам: «Добрый день»?

— Да, и я еще подумала, ничего себе, «добрый», происходит Бог знает что, а он так активно и с удовольствием говорит: «Добрый день».

— Так и запишем: поздоровался громко, активно и чуть ли не с радостью сказал: «Добрый день».

Следователь чем-то походил на артиста Панкратова-Чёрного, исполнителя одной из главных ролей в фильме «Зимний вечер в Гаграх», во всяком случае, усталые глаз-маслины и густая щетка усов были те же самые. Бисерно отстрочив абзац, он грустно взглянул на лежащего возле ног Тобу.

— И тогда вы спустились на второй этаж и позвонили соседке?

— Да, я не поняла ситуацию и хотела ей сказать, что верхний сосед опять что-то натворил, у него притон и бесконечные ночные оргии, но оказалось, что в этот раз он ни при чем. Но нижняя соседка мне не открыла, хотя и была дома. Она испугалась.

— Так и пишем: «...но она не открыла». И больше вы не видели соседа с пятого этажа?

— Нет, не видела.

— А, может, вы слышали шум лифта?

— Я не помню.

— Дело в том, что он на ваших глазах поднялся наверх, но до пятого этажа не дошел, а вы, когда звонили нижней соседке, тоже не видели, чтобы он спускался. И лифт вы не слышали.

— Я не обратила внимания на лифт. Так куда же он подевался?

Он захлопнул блокнот и мрачно сказал: — Ясно... — и добавил: — что ничего не ясно...

— Ну как же неясно, тетя Марина, — объяснял мне вечером у парадной Сергей Бороусов, на которого теперь уважительно поглядывали жильцы. — Дело-то было совсем простое. Я иду с работы вечером, из парадной выходит Валерик, возбужденный какой-то, лицо в красных пятнах, походил возле своей машины, мы с ним поручкались и он опять в парадную зашел. Тут Витька с девятого этажа с работы идет, мы с ним заходим в парадную, собираемся лифт вызывать, а тут сверху кубарем скатывается высокий парень, волосы темные, схватился за ручку, а открыть не может и у нас так торопливо спрашивает: «Как тут у вас дверь открывается?» Мы ему открываем, а тут лифт спускается, выскакивает Валерий, они с парнем переглянулись и за дверь... Мы потом с Витькой все дивились, надо же, убийце дверь открыли, тоже на волосок были, он бы с нами не посчитался, начни мы его хватать, да мы и не знали тогда ничего... Нет уж, завязал я с этим совсем и пить не буду, лучше спокойно работать, мне вот три «лимона» обещали, триста гаражей покрасить надо на

Сортировке, вчера уже триста тысяч дали, кувыркаться, конечно, приходится, зато в душе покой, мой вот батя до чего зашибал, через что и ушел, так он говорил: «Сынок, всего не выпьешь». А тут девчонка моя рожать собралась, ну, как то есть собралась, пришла ко мне с подругой советоваться насчет аборта, а я говорю: «Зачем тебе криминальный аборт делать, это же опасно. Ты рожай, говорю, не сомневайся, вырастим». Ну, посидели мы, бананов взяли, бутылку ликера, а потом я их на такси отправил, да вы их видели, с собакой мимо шли. Ей ведь теперь питаться надо, так я завтра после работы туда съезжу, вишни возьму, яблок, деньги-то есть, так чего их жалеть?

— А следователь к тебе приходил?

— Целых двое, но в разное время, и меня еще к ним возили. Хотят меня на опознание тягать, я им говорю: «Ребята, я не отказываюсь, вы сами видите, я инвалид, под самосвалом побывал, только недавно костыли бросил, сделайте так, чтобы они меня не видели, в машине закрытой провезите или еще что...»

Через пару дней после случившегося все, кто и не помышлял об этом, укатили на дачу на выходные. Зримый ужас метался по лестнице. Сама лестница пахла склепом. Открывая дверь в ячейку своей квартиры, каждый съеживался, если сзади слышались шаги. Увидеть знакомое лицо было наслаждением. На пятом этаже еще угрюмо лежали жалюзи, и капли святой воды, выданной мне приятельницей, словно в испуге отскакивали от окаменевших пятен цвета старой вишни. Это было нескончаемо, как оранжевая летаргия за окном, как торжество запредельности.

Внизу, при входе, было особенно темно, что в сочетании с разинутой дверью подвала парализовало еще на улице. Опрокидывание ведра в колодец мусоропровода оборачивалось пыткой. «Можно я к тебе приду, мне страшно», — виолончелью пел голос Гали Златкиной. «Иди, я открываю дверь», — отвечала я.

Преодолев однажды кошмар подвальной двери и поднявшись к почтовым ящикам, я наткнулась на полузнакомую даму с пятого этажа.

— Нам теперь никогда не прийти в себя, — начала она трагически. — Мы же с дочерью были понятыми. Они пришли к нам в восемь утра и говорят: извините, что так рано, мы больше никого не нашли на вашей лестнице, мы просим вас быть понятыми и пройти в квартиру сто сорок семь. Дочь говорит: «Ни за что, мы очень боимся мертвых, это невозможно». А они говорят: «Мы вас очень просим помочь следствию, мы всю ночь писали, вы должны подписать бумаги, у нас шестнадцать страниц текста». Дочь говорит: «Тогда обещайте нам, что мы ничего такого не увидим». Они говорят в два голоса: «Конечно, вы можете быть совершенно спокойны». Дочь даже бигуди не сняла и мне говорит: «Мама, пойдем, мы должны помочь следствию, это наш гражданский долг, кроме нас этого некому сделать». Ну, мы и пошли. Входим, и первое, что мы видим — ноги торчат из ванной. Мы сразу повернулись и бежать к себе в квартиру и кричим: «Вы нас обманули, сами обещали, что мы ничего не увидим, а ноги из ванной торчат. Это что, по-вашему? Это ваша такая работа с мертвецами дело иметь, а мы и без этого проживем. Мы же сразу сказали, что боимся». А они, оба следователя, за нами бегут, кричат в два голоса: «Ох, простите нас, пожалуйста, извините, мы не доглядели, возвращайтесь, вы ничего больше не увидите, мы ноги одеялом закрыли». Мы добежали до своей квартиры, дочь остановилась и говорит: «Мама, давай вернемся, это наш гражданский долг, мы должны помочь следствию, кроме нас это никто не сделает». Мы повернулись и снова пошли, ну, тут уж они слово сдержали, мы смотрим, а ноги уже прикрыты. Мы зашли в большую комнату, где сразу два стекла выбиты, обстановка роскошная, кожаные диваны изумрудного цвета, сервант весь изогнутый такой, а посуда в нем, как в Эрмитаже. Кипа фотографий жены с ребенком. Красивая девчонка, и чего она жила с убийцей? А потом нам показали мешок средних размеров с золоченой цепью, а внутри золотые слитки, они и говорят: «Распишитесь, что вы видели этот мешок, это большая ответственность и ваша подпись необходима». И тут я вспомнила и сказала им, что в этот день, когда убийство произошло, я почему-то в четыре утра проснулась и посмотрела в окно, так вот, там у красной машины стояло человек девять огромных парней

и в полшестого они они еще там были. А вечером их тоже было полно, они ходили вокруг дома, как на демонстрации. Это мы в таком ужасе жили и ничего не подозревали. И зачем они селятся в таких простых домах, как наш? В доме полно детей, я боюсь за внука; а если они вернутся и начнут стрелять здесь, на лестнице? А как же его жена, у нее ведь ребенок, как она могла жить, зная все это?

— Она ничего и не знала, — загремела вошедшая в парадную пару минут назад Галя Златкина. Она шла домой с ночного дежурства. — Не может мать, у которой ребенок крохотный к тому же, жить в квартире, нашпигованной оружием. А если это все взорвется? Нет, она ничего не знала. Когда она уехала на дачу, он и начал все это. Как ты думаешь? — обратилась она ко мне. В глазах ее таилось безумие надежды.

Она имела право на эту линию самозащиты, и я не стала говорить ей, что накануне под нашими окнами три женщины в темных очках и черных платьях распивали шампанское. Они пили его поочередно из горла и заедали бананами, связка которых лежала на скамейке. До этого они положили на землю под многострадальной секцией окон груду гвоздик. Это было профессиональное действо профессиональных марух. Одной из них была жена рыжего Валерика Ирина.

Я мчалась через город. Повторный визит волоокого следователя, обходившего все квартиры подряд, задержал меня дома и сейчас я опаздывала на прием к стоматологу. Город смотрелся оборотнем. Глаз воспринимал лишь прущее отовсюду уродство: торчащие на каждом углу вывески по обмену валюты, катящиеся иномарки, тесные для сидящих там «бритоголовых», сами «бритоголовые», все на одно лицо, словно выращенные в пробирке, глаза стариков, стоящих по углам со своим товаром. В стоматологическом кооперативе в центре города, где сестер, как видно, подбирали по степени медоточивости голоса, а средняя стоимость пломбы равнялась далеко не самой маленькой пенсии, я бывала почти халявно. Врач-пародонтолог, которую я знала и любила четырнадцать лет, после смерти моего мужа наотрез отказалась брать с меня деньги, в результате чего мы со страстной безнадеж-

ностью время от времени сражались где-нибудь в закутке — я в попытке всучить, она в надежде отринуть.

Сидя в элегантном кресле, я истерически разъясняла ей и сестрам причину своего опоздания. Реакция их не была тривиально бабьей, они не ахали и не ужасались, а воспринимали информацию даже с какой-то долей индифферентности. Мы вышли вместе с Татьяной Николаевной. Был конец приема.

— То, что вы рассказали, — сказала она, — нас, к сожалению, не удивляет. Знаете, кого мы обслуживаем? Вы видели наших клиентов? Битюги в полуторамиллионных костюмах, они понятия не имеют, что в жару носят что-то другое, даже очень богатые люди. А девок их вы тоже видели, хамка на хамке, а как себя держат... И те и другие, в основном, привозной товар, из провинции. Это рэкет над рэкетом. А наш директор доволен, мы живем относительно спокойно, конечно, боязно, а что, если разборки прямо у нас начнутся? У нас теперь откроется пункт по обмену валюты для удобства протезирования, они же вечно при деле. Приходит как-то один, весь глаз заплыл: «Что с тобой такое?» — «Да мы, Татьяна Николаевна, вчера одного пришили, так он мне перед тем и засадил». А другой как-то пришел скучный, спрашиваю, что случилось, Толик?» А он говорит: «У меня вчера днем на Невском братана убили».

— Вчера брата убили, а сегодня пришел зубы лечить?

— Ну... Матерятся все время, но не специально, а по инерции. Я им говорю: «Послушайте, ребята, все же неудобно как-то, перестаньте выражаться, здесь же почти одни женщины работают». Они тогда извиняются, говорят, мы не нарочно, это у нас привычка такая, мы постараемся без этого. Ну, на пять минут их иногда хватает... Вы знаете, от них даже польза бывает. Мой Петька попал в ситуацию с машиной, я тут поговорила с одним, они мне обещали все сделать, пусть, говорят, ваш муж придет по такому-то адресу в точно назначенное время, изложит свою просьбу. Только потом пусть обязательно добавит: «Малина еще не созрела». Так Петька мой чуть не описался со страху, все твердил: «А вдруг я забуду эту фразу или порядок слов перепутаю?»

— И что, помогли?

— А как же.

— Марина Витальевна, — вдруг зорко взглянула она на меня, — вы что, не знаете, что кругом творится? Я понимаю, что вы среди ваших друзей-художников забываете о реальности, но вы же иногда заглядываете в телевизор. Вы слышали о перестрелке в вашем тихом Купчино, о том, что город поделен на квадраты и в каждом распоряжается своя мафия? Вы знаете, что квадратный сантиметр площадки на Волковском кладбище, я повторяю, квадратный сантиметр площадки на том самом кладбище, где лежит ваш Саша, стоит сейчас шесть долларов? Так вот, возвращаясь к стрельбе в Купчино. Там что-то не поделили две группировки и подстрелили главаря тамбовской мафии Кумарина, а заодно убили пару случайных прохожих. Его повезли в больницу Костюшко, через десять минут ее оцепили шестьдесят машин — иномарки, конечно... Бандиты блокировали персонал, вырубили все телефоны. Несколько больных-сердечников умерли... сестрам не давали даже поставить капельницы. И что? Через два дня, только через два дня прибыли группы захвата, взяли пятнадцать человек, а остальные спокойно разъехались на своих мерседесах. Это все передавали по ИНФОРМ-ТВ. Вот так.

Мы расцеловались с ней на прощанье у станции метро, словно кордоном обложенной ларьками с бананами. Бананы продавались и прямо на улице, у весов, чья заведомая неправильность не вызывала сомнений ни у продавцов, ни у покупателей.

Возле весов в боевой раскраске индейских воинов сидели цветущие девицы и слонялись, скучая, мордатые парни.

1994 г.

ГОРОД ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА

Высокое солнце на белесом небе слабо подмаргивало, перелезая из одного облака в другое. Вагон не был забит полностью, и Ирине с Ольгой удалось вдвоем уместиться на одном из сидений у окна. Трамвай плелся с резвостью кобылы на сносях. Было раннее утро субботы, и на лицах пассажиров еще тлело дремотное оцепенение.

— Где сегодня твоя группа? — красиво модулируя голосом, спросила Ирина.

— Сегодня ГЭБ. Можно сказать, чепуха, — отвечала Ольга.

Коротко стриженная, с мелкими чертами лица и полным отсутствием косметики, на фоне яркой и уверенно смотрящейся подруги она казалась блеклым растением, затаившимся на краю пышной клумбы.

— Это замечательное везение. А мне переться за Кировский завод на троллейбусе, в какую-то общагу. Представляешь, в каком клиенты настроении. Они ведь только вчера прибыли. Переспать ночь в общежитии техникума со сломанными дверями, без горячей воды, с бельем в пятнах...

Досадливо тряхнув рыжеватой гривой, Ирина уставилась в окно на стадо хрущобных домов. Фальцетный голос за их их спинами властно произнес:

— Девочки, уступите место пожилому человеку.

Они синхронно оглянулись вправо.

Крепкий старик, вплотную подступив к сидению, уже простер жилистую руку, чтобы помочь им проворнее покинуть место.

— Во-первых, мы вам не девочки, — отрезала Ирина. — А во-вторых, мы едем на работу. А работаем мы без выходных по десять часов в день, так что лучше поищите себе других дураков.

— Нахалки, — пробурчал старик, но руку отвел.

— Олька, засунь свою интеллигентность в кусты, — прошипела Ира, — я же видела, как ты собралась привстать. Посмотри на этого хрена, он нас с тобой благополучно переживет. Тебе еще ломаться весь день, глотку драть без перерыва восемь часов. Вспомни, что с тобой вчера было.

Подруги расстались в метро, на Технологическом. Ольга ехала дальше, а Ирина бежала на пересадку. Ольга глянула в окно. Подруга плыла нарядной яхточкой среди стайки редких пассажиров. Из сумки на длинном ремне торчал тонкий бумажный рулончик — шпаргалка с датами пребывания вождя мирового пролетариата в городе, где он готовил свою революцию. Вид ее являл предельную, зашкалившую за черту мобилизацию всех душевных и физических ресурсов.

В здании городского экскурсионного бюро (ГЭБа, как его кратко называли) на Английской набережной, в комнате приема групп скучала стайка экскурсоводов. На подходе к зданию скопилось несколько разнокалиберных автобусов. Из окон выглядывали замученные туристы, с вялым любопытством обзирая набережную и облезлое, но внушительное здание, бывшее когда-то английским посольством. Групповоды, люди, привезшие туристов и отвечающие за их обслуживание, выскакивали из автобусов и резвым аллюром взбегали по ступенькам. Время строго отмеривалось минутами. Экскурсоводов в определенное время ждали другие группы, туристов — столовые с обедами и следующие поездки по городу.

Ольга присела на угловой стул и расслабилась. До появления ее группы оставалось целых восемь минут.

— На Валдае совершенно замечательные люди, — интимно сообщал мужской голос, — они настолько без претензий, они довольны абсолютно всем. Только улыбаются и благодарят. А ведь сколько срывов бывает и с питанием, и с проживанием, сами знаете, но они будто ничего не замечают, никогда никаких претензий, работать с ними одно удовольствие. А ведь едят одни макароны, больше у них в магазинах ничего нет.

— А вам не кажется, что это ненормально? — отвечал женский голос с нотками агрессии.

— Простите, что ненормально? — изумился мужчина.

— А то, что люди, которые питаются одними макаронами, всем абсолютно довольны. Ведь из-за такого питания происходят необратимые изменения в коре головного мозга, клетки деградируют, а люди отучаются мыслить и превращаются в жвачных особей.

— Ну почему уж сразу и в жвачных? — огорчился мужчина.

— Потому что так удобнее управлять, — отрезала собеседница, высокая молодая женщина. Лицо ее было приятным, но жестким и усталым одновременно.

— Коломийцева есть? — в двери впрыгнул маленький человек с накладной в руках.

— Ну, есть... — мрачно сказала ожесточившаяся женщина, — вы опоздали.

— Шофер заблудился, весь город перерыт, еле пробрались, мы не здешние, простите, — прокричал групповод и, повернувшись спиной, изготовился бежать.

— Куда вы мчитесь? Нам сначала надо с вами расписаться.

— Как, уже? — изумился мужчина.

Присутствующие, выйдя из дремотного состояния, с удовольствием захохотали.

Группы подъезжали одна за другой. Ольгин автобус почти не опоздал. Ее группа была из Сибири. Приехавшие накануне люди, уже немного вкусившие здешнего величия, с застенчивым сиянием встретили ее появление.

— Доброе утро, — сказала она, подув для проверки в микрофон, — меня зовут Ольга Александровна Субботина. Сегодня я проведу с вами почти четыре часа и с удовольствием представлю вам наш прекрасный город.

Вступление было рассчитано на несколько минут, и каждый экскурсовод мог варьировать содержание от стихов до легких прозаических эссе. Трудности начинались, когда автобус начинал движение. Если это была иногородняя аудитория, со своим автобусом, приходилось по ходу экскурсии еще и постоянно направлять шофера. Многие были в городе впервые, но иногда и самой Ольге казалось, что она тоже только что здесь появилась, до того приводили в недоумение

глубокие траншеи, неведомо каким чудом за ночь возникшие в ряде центральных улиц Ленинграда. Тогда приходилось делать объезды, и драгоценное, рассчитанное по минутам время, истаивало на глазах.

На эту тему были четкие инструкции.

— Если вы въезжаете на Исаакиевскую площадь, — непререкаемо вещала главный методист ГЭБа Фаина Герловина, — и у вас не осталось времени, немедленно забудьте о соборе и о памятнике, а говорите только об орденах на фронтоне Мариинского дворца.

Но сегодня пока все шло по плану, автобус добрался до набережной напротив Петропавловской крепости и, простояв там положенные минуты, двинулся к Стрелке Васильевского острова. День обещал быть спокойным, без дождя. Солнце, управившись с облаками, заняло командные позиции в высотах и устремило свой резковатый свет на здание Биржи, давно ждущее ремонта и Ростральные колонны, о которых так легко и приятно было сообщать исторические детали. Лица туристов светлели по мере продвижения автобуса от Стрелки к Медному всаднику, потом к Исаакию, Марсову полю, Летнему саду, Зимнему дворцу. Минуя Дворцовую площадь и проезжая по Халтурина, бывшей Миллионной, мимо атлантов, поддерживающих колоннаду, Ольга не ко времени вспомнила собрание, прошедшее недавно в одном из залов ГЭБа. Клеймили экскурсовода, который, указывая на мощные скульптуры, сказал: «А вот это единственные мужчины в Ленинграде». Шутка очень воодушевила экскурсантов, но была доложена начальству и разразился катаклизм, называемый производственным собранием. Присутствующие, в основном женщины, гневно высказывали свое мнение о человеке, порочащем, клевещущем, подрывающем устои, сбившемся с пути и не имеющем никаких моральных ориентиров. Друг провинившегося, миниатюрный молодой человек, бледнея, выслушивал каскады этой вулканической грязи, в то время как сам виновник, блестящий эрудит, работающий с десятками тем, спокойно сидел в первом ряду, иронически улыбаясь и временами даже рукоплеская особо «тугим» речам. Но бледнеющий его друг, не выдержав очередной эскапады, без объявления взлетел на

эстраду и прокричал давно и заранее приготовленную фразу, которая звучала бы хорошо и пристойно, если бы в последнем существительном он не поменял безотчетно букву «а» на другую гласную — «у».

— Прекратите это огульное охуивание, — проорал он и, очнувшись, в ужасе сбежал вниз.

Через Кировский, бывший Троицкий мост, они пересекли Неву, и Ольга, как всегда сквозь автоматом излагаемый текст о ленинградских мостах, растворилась в этой непереносимой жестокой красоте. Пассажиры автобуса задвигались, не зная, в какую сторону устремить взгляд, чтобы не упустить ни одной крупицы свалившегося на них праздника.

Главной темой этой самой ходовой, тщательно разработанной городскими методистами экскурсии, был не сам город и его красоты. Конечно, они очень учитывались, но служили лишь подпиткой к главному замесу всего действа — дополнительной идеологической обработке населения. Недаром эта экскурсия называлась «Город великого Ленина». Продолжалась она три часа сорок пять минут и платили за нее рядовым экскурсоводам, к которым относилась Ольга, 5 рублей 88 копеек. Проводя по две экскурсии в день, Ольга могла свести концы с концами и оплатить пребывание сына в знаменитом лагере «Орленок» на Кавказе. Правда, вечером после работы она сидела, вперившись в телевизор, с полностью атрофированным восприятием, в то время как жизнестойкая Ирина, отправившая сына в тот же лагерь и переселившаяся на этот период к ней, вкусно делилась дневными впечатлениями. У нее была одна, но зато основная хлебная тема — по ленинским местам.

— Ира, ну почему ты водишь только по этой теме? — тоскливо спросила как-то Ольга, — это так скучно. И никому не интересно.

— Не будь наивной, Ольчик, — отвечала Ирина, — я бы тебе посоветовала самой взять эту тему. Она всегда востребована. Все группы обязаны проехаться по местам, где вождь переночевал. Я тебе дам свои разработки, ты с твоими филологическими талантами из этого конфетку сделаешь. Как ты собираешься Костика обеспечивать? Он у тебя из всех своих шта-

нов давным-давно вылез. Я готова взять любое дерьмо, лишь бы за него платили. А на принципы мне давным-давно плевать.

Ольга попыталась как-то внять голосу благоразумия и отправилась с Ириной в Разлив, к шалашу вождя революции. Крепким, хорошо поставленным голосом бывшего логопеда, Ирина вбивала в слушателей даты событий, разливалась о мифологических эпизодах из жизни вождя в шалаше, о людях, навещавших его, о рабочем Емельянове и его семье. Дело происходило в школьные каникулы и в автобусе сидели шестиклассники из Тулы.

— Ой, надо же, и сюда метро провели, — перебив Ирину, завопил рыжий мальчишка, указывая пальцем в окно на длинное строение, над которым высилась огромная буква «М».

— Молодой человек, — вельможно произнесла Ирина, — во-первых, пальцем тыкать неприлично, а во-вторых, вы попали этим своим пальцем прямо в небо. Буква «М» здесь означает мужской туалет. И, кстати, кому нужно посетить этот домик, может выйти. Перерыв десять минут!

Истомившиеся дети вынеслись на улицу.

— Вот с таким контингентом и работаем, — говорила Ирина Ольге, стоя у автобуса и вкусно затягиваясь сигаретой. — И это, учти, не самый худший вариант.

Рядом остановился еще один автобус, откуда выскочили туристы и бросились к туалету. Две женщины, не доходя до спасительного здания, из дверей которого уже струилась очередь в женский туалет, подошли к их автобусу.

— А где здесь музей? — игнорируя царственную Ирину, обратилась одна из них к Ольге.

— Какой музей? — удивилась Ольга. — Вы же только что были в музее Ленина.

— Нет, другой. Где уродов показывают.

— Это в Музее этнографии, — испугалась Ольга, — это в городе, на Васильевском острове.

— А зачем вам в музее уродов смотреть? — звонко спросила Ирина. — Вы лучше вокруг посмотрите. И в музей ходить не надо.

Женщины отошли. На их лицах не отразилось даже недоумения.

— Ира, зачем ты так? — испугалась Ольга.

— Не могу я так больше, Олька, — тоскливо отвечала Ирина и бросила сигарету. — Видеть иногда никого из них не могу. Намотаешься целый день, почти без отпуска пашешь, ублажаешь этих несчастных... А они ведь даже не понимают, что с ними проделали. Какая-то особая селекция выведена. Здрасьте, а это что такое?

Последний вопрос адресовался тому же рыжему мальчишке. Он появился не со стороны туалета, а прямо из магазинчика, притулившегося напротив. Его конопатая физиономия пылала восторгом первооткрывателя. Двумя руками он прижимал к груди толстый колбасный батон или, как его называли в народе, палку колбасы.

— Ирина Георгиевна, — баюкая одной рукой свое приобретение, а пальцем другой тыча в направлении магазина, верещал он, — там колбасу дают. И очередь маленькая!

Дети, уже готовые к отъезду, умоляюще воззрились на экскурсовода.

— Ирина Георгиевна, ну пожалуйста, миленькая, ну можно нам тоже колбаски купить? Я маме обещала привезти. А нас никуда не выпускают, мы даже не можем в очереди постоять, — умоляла сероглазая девочка.

— Видишь? — оглянулась Ирина на Ольгу и было очевидно, что она уже согласна, но не хочет терять свой авторитарный облик.

— Даю еще десять минут, — голосом школьного физрука, объявляющего старт бегунов, возгласила она. — Через десять минут автобус отходит.

Дети ринулись в магазин. Лысый водитель, скучающий в отдалении, иронически улыбнулся.

— Павел, но ведь экскурсия окончена, мы не торопимся, расслабьтесь, считайте, что вы на даче, — чарующим голосом обратилась к нему Ирина.

— Чего уж там, приедем в город, с вас бутылка пива, — ответил он и одернул щегольскую куртку. Он был из высшей касты экскурсионных водителей, возил в основном иностранцев, блестяще знал город и работать с таким профессионалом было большой привилегией, которая редко выпадала.

Первые обладатели колбасы начали появляться минут через пятнадцать. Это смотрелось гротескным шествием из шутовской оперы. Каждый из них нес свое приобретение, прижимая его к груди, некоторые вприскочку, другие чинно. Но лица всех источали такое сияние, словно они только что увидели Деву Марию и приобщились святых даров.

Ворвавшись в автобус, они лихорадочно рассаживались. Ирина с Ольгой и водитель поднялись на свои места.

— А теперь мы едем обратно в Ленинград, — объявила Ирина, глядя в окно, — но по другой дороге и я покажу вам еще несколько интересных исторических мест, уже не связанных с именем Ленина...

Она взглянула на аудиторию и осеклась. По автобусу плыл ядовитый тошнотворный запах, словно здесь только что случилась газовая атака. И запах этот все усиливался и крепчал. Ольга оглянулась.

Дети ели колбасу. Они не просто ели, они ее уничтожали, вгрызаясь крепкими зубами в ее мякоть и продвигаясь дальше и дальше в глубь ее розоватого естества, кротами вырывая содержимое из пахучего толстого туннеля, обтянутого серой пленкой.

Ольга повернулась обратно к Ирине. Умело накрашенные ресницы подруги, оттенявшие ее сапфировые глаза, застыли будто в оцепенении. Это было очень трудно, почти невозможно. Но это была единственная возможность защитить глаза от дешевой туши, смешанной со слезами.

Одно время, в конце семидесятых или в начале восьмидесятых, по Невскому проспекту, в самом начале его, ходил странный человек. Одетый в старые, но опрятные ошметки, он, хромая, двигался по тротуару. Лицо его озаряло вдохновение народного трибуна. Целенаправленно пробираясь сквозь людские толпы и непрерывно шевеля губами, он временами останавливался, простирал до боли знакомым жестом правую руку и кричал семенившим вокруг пешеходам:

— Люди, вас у...вают!

Прохожие и только что выскочившие из транспорта пассажиры, пряча глаза, проходили мимо. Старик поворачивался и шел в другую сторону, продолжая тем же обиходным

глаголом жечь сердца людей. Совершив несколько подобных раутов, он исчезал до следующего раза.

Прохаживался он таким образом, как говорили очевидцы, довольно долго, а потом исчез навсегда.

Но до своего исчезновения он засветился еще раз, в Разливе, в большом музейном павильоне. Как-то Ирина сказала Ольге с безмерным удивлением:

— Представляешь, я была сегодня в Разливе и там ходил какой-то невероятный, дикий дядька. Я сначала подумала, что это экскурсовод. Сутолока страшная, групп десять, все давят друг друга, экскурсоводы торопятся, злятся, чуть локтями тебя не отталкивают, так что я на этого дядьку смотрела и была уверена, что он группу ведет. А он подходит к каждому экспонату и что-то рассказывает. А потом я смотрю, группы-то у него и нет. Но он все равно ходит и все время говорит. А потом мы подошли ближе к бюсту Ленина, где он остановился. А он руку направил Ильичу прямо в лоб, почти тычет в скульптуру и говорит: «Вот ты тут все сидишь, ничего не знаешь, а их в это время у...бывают». И на моих бедолаг из Казахстана показывает. Те не знали, куда смотреть, так что я их отволокла подальше.

С моста автобус свернул направо. Они миновали домик Петра Первого, о котором Ольга успела выкрикнуть несколько фраз и, проехав немного по набережной и сделав левый поворот, оказались у флагмана революции — крейсера «Аврора». На одном дыхании Ольга выдала еще несколько расхожих фраз. Экскурсантов неизменно впечатляло, что «Аврора» в римской мифологии являлась богиней утренней зари и что корабль участвовал в русско-японской войне начала двадцатого века. При упоминании о залпе «Авроры» в историческую ночь лица дружно скучнели. Почему-то именно здесь, а не на приевшейся взгляду Дворцовой площади, вспоминала Ольга давно почившего дядю Леню с его излишне прямой спиной и каким-то заштрихованным выражением худого лица. Мальчишкой он был в числе юнкеров, защищавших Зимний дворец, а позднее, убежав из Петрограда, вступил в армию Колчака. Он уцелел чудом, выучился на бухгалтера и всю жизнь прожил в тесной комнатушке огромной комму-

нальной квартиры в доме на бывшем Каменноостровском, принадлежавшем когда-то его семье.

Женщина в первом ряду, немолодая, с хорошим открытым лицом, внимательно слушала. Опытные коллеги научили Ольгу выбирать из всех одно симпатичное лицо, в котором была бы искорка понимания, и рассказывать, адресуясь этому человеку.

Экскурсия мирно текла по накатанному руслу. Свернув направо через маленький мост Свободы, они погрузились в тоску улиц Выборгского района и добрались до Финляндского вокзала, где Ольге следовало красочно осветить картину прибытия вождя в Петроград и водружения его на броневик, с которого он произнес историческую речь. Автоматом выключив сознание и глядя в поскучневшие лица туристов, Ольга призносила необходимые сентенции, прикидывая в то же время, удастся ли в этот раз не объезжать полную транспорта площадь, чтобы появиться на три положенные минуты у громоздкого памятника Ленину в ее центре. Она была хорошо осведомлена о системе сыска экскурсионного бюро, о том, что методисты дежурили у памятника, записывая номера автобусов, которые не замирали там на эти самые три минуты.

На Пискаревском кладбище она распустила группу на десять минут. Это мемориальное место, несмотря на всю его официально-административную видимость, глубоко трогало ее. Она знала, что некоторые экскурсоводы на подъезде к кладбищу состязались между собой, кто и на какой минуте заставит рыдать большее число слушателей. Когда Ольга только начинала водить экскурсии, ей самой приходилось заталкивать внутрь слезы, если речь заходила о жертвах блокады. Позже она научилась удерживать собственную эмоциональную сферу на нуле, зорко следя за тем, чтобы на лицах туристов появилась хотя бы тень сопереживания.

Она сидела на скамейке, закрыв глаза и подставив лицо несмелым прикосновениям солнечных лучей, когда к ней подошли две женщины, одна та самая, симпатичная, и вторая, ее соседка.

— Можно рядом с вами присесть? — спросила симпатичная.

— Конечно, — подвинулась Ольга.

— Мы хотели спросить, — помялась симпатичная, и лицо ее как-то осунулось.

— Да, пожалуйста, я с удовольствием отвечу, если смогу, конечно, — отвечала Ольга.

— Здесь так много людей похоронено загубленных, и почет им и вечная им память, — сказала вдруг соседка симпатичной, которую звали Аней. — А вот мы из Томска и там нам дали дачные участки, почти в лесу и наше предприятие помогало нам со стройкой и там выкопали котлован, и там были скелеты, много, я видела своими глазами, и при них были кружки железные и тарелки, и еще какие-то даже вещи, вроде остатки чемоданов. Как будто людей куда-то вели, а потом вдруг убили, прямо по дороге. — Женщина остановилась и ее круглое лицо вдруг поблекло. — Мы пошли к начальству и сказали про это и еще спросили, что это за люди и что с ними случилось, так нам велели подождать, а потом пришел человек из первого отдела и строго сказал: «Забудьте про все, что видели, и никому не говорите». Вот вы человек образованный, как вы думаете, кто это мог быть?

— Я думаю, что вам случайно откопали место расстрела заключенных, — сказала Ольга медленно. — И убили их неожиданно, поэтому там и кружки и всякие предметы.

— Каких заключенных? — удивились женщины. — Бандитов?

— Думаю, что самых обычных людей, арестованных в годы репрессий. Вы разве ничего не слышали о терроре в сталинское время?

— Нет, не слышали, — растерялась симпатичная, Марина. — А разве так просто можно убивать людей?

— Я бы вам посоветовала почитать что-нибудь об этом периоде, хотя литературы пока мало, — уклонилась Ольга от ответа и поднялась. — Нам пора ехать обратно, вам на обед, а у меня еще одна экскурсия.

Доехав с автобусом до центра города, Ольга взглянула на часы и поняла, что до встречи со следующей группой есть время зайти в магазин и купить мясо. Сын приезжал через

неделю, мясо благополучно пролежит в морозилке, а знакомый мясник работал сегодня последний день перед отпуском. Некоторое время назад проблема добычи приличного мяса вдруг исчезла. Ее соседка, пухленькая Люба, такая же, как она и Ирина, разведенка, обзавелась другом-мясником. Доброта Любы уже вошла в предание и в доме и среди пациентов поликлиники и где-то, по общему мнению, граничила с безумием. Люба могла провести курс трудных уколов на дому и отказаться от денег, в любое время дня и ночи мчалась ставить банки взрослым и детям. Живя с дочкой в крохотной квартире, держала у себя двух приблудных кошек и собаку.

Мясник, статный, аристократического вида блондин, работал на Невском в магазине под розовым названием «Детское питание». Ольга вошла в магазин в тот момент, когда огромная очередь к мясному прилавку во втором зале грозно разбухала вширь. Разгоряченные женщины прожигали друг друга телами, не оставляя между собой ни пяди свободного пространства. В этом единении чудилось даже некое величие. Они смотрелись фанатиками особой идеи, сектантами, собравшимися здесь для проведения коллективной самоликвидации.

Виртуозно лавируя между сплющенными телами, Ольга добралась до прилавка в тот момент, когда лысоватый мясник, показывая молодой женщине шмат мяса с мозговой костью и любуясь им, говорил ей томно:

— Эта кость такая же симпатичная, как вы сами.

Женщина не реагировала на комплимент профессионала. Взгляд ее был приклеен к мясному экспонату средней величины.

— Виктор работает сегодня? — выкрикнула Ольга, реально сознавая, что никогда не удостоится такого комплимента и почему-то испытывая от этого смешную досаду.

— На порубке, — не глядя, сказал продавец, бросая кусок мяса на весы.

Ольга ринулась обратно. В этот раз навык продвижения в людском месиве не сработал. Толпа выплюнула ее с расстегнутой курткой и оторванной пуговицей на рукаве.

Виктор встретил ее с обычной снисходительной насмешливостью. Он определенно считал ее чем-то вроде бра-

кованного мясного довеска к своей очаровательной корпулентной подруге.

— Сколько тебе сегодня? — спросил он, поигрывая устрашающей величины ножом.

— Пару килограммов, Витя, если можно, то побольше, — заискивающе и ненавидя себя за это, попросила Ольга

— Больше не получится, видишь, что в зале делается, — отвечал он. — Суббота, лето, а бабы как с цепи сорвались.

Лихо управляясь со своим пиратским тесаком, он кромсал огромную конечность.

— Ты что, сегодня выходная? — удивился он.

— Нет, я работаю, уже одну провела, а вторую группу забираю от Эрмитажа. К тебе по пути зашла, — охотно объясняла Ольга. — Ты ведь в отпуск уходишь. И куда собираешься?

— В этот раз в Пярну, в прохладу, юга эти очертенели, жарко и скобарья полно.

Виктор бросил кусок на весы и изрек:

— Шесть семьдесят с тебя.

Затянувшись сигаретой, он ждал, пока она вытащит кошелек. В его эмалевых глазах стыло обычное спокойное презрение:

— Ну, и чего ты добилась со своим образованием? — садистски осведомился он, отсчитывая сдачу, — болтаешься по автобусам, без отпуска трубишь, а комнату порядочную за городом снять не можешь, парня в лагеря запихиваешь. Любаша на своих халтурах и то больше тебя имеет.

— Извини, Витя, мне пора, спасибо тебе большое, — сказала Ольга, терпеливо ожидая, когда он отсчитает сдачу с десятки.

— Что, так в автобус с мясом и полезешь? Да ладно, сегодня прохладно, не стухнет, — вдруг проявил он участие и качнул красиво остриженной головой. Волосы его были цвета песка с прибалтийских пляжей, а сам он был финского происхождения и явно считал себя представителем расы господ. — Скажи Любаше, я ей вечером брякну.

Закрыв за собой дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен», пробираясь сквозь водоворот тел и с удовольствием ощущая приятный, не обременяющий ее вес сумки,

Ольга пыталась не смотреть на бьющихся у прилавка женщин. Ей хотелось затолкать поглубже двойное чувство вины и стыда. И еще полной униженности.

Дворцовая площадь, как всегда, оказалась забита разномастными автобусами. Резкий неожиданный дождь, который хлынул, как только Ольга вышла из магазина, покрывал диагональными струями беззащитное пространство площади, вынуждая гуляющих туристов укрыться в автобусах. Накануне Ольга въехала на эту площадь с группой из Калуги. Работники картонной фабрики прибыли в Северную Пальмиру на двух собственных автобусах такого размера, что даже обычные городские рейсовые автобусы казались по сравнению с ними многопалубными фрегатами. К тому же они были выпущены не менее двадцати лет назад. Народ в них приехал мирный и бесконфликтный. Правда, они вожделенно рассматривали из окна все мелькавшие мимо мясные магазины и независтливо, по-детски, дивились их обилию. Один из водителей приехал сюда впервые, второй, Степан, уже побывал в Ленинграде и демонстрировал всей своей плутовской физиономией глубокое знание городской топографии.

— Степа, не при, — тоскливо призывал его напарник, Сергей, которому было предписано ехать следом. Обе группы имели синхронные экскурсии и должны были вместе прибыть на обед. Степа кивал, пряча насмешку, и, оседлав своего коняшку, немедленно, словно Маргарита на метле, исчезал.

— Ну Степа, ну куда же ты? — горевал бедолага, не подозревая подвоха и приходя в ужас от траншей на узких центральных улицах. Вчера, после обзора на Исаакиевской площади, злодей Степа вильнул в сторону проспекта Майорова и исчез. Было очевидно, что график уже нарушен, и Ольга, поминутно прерывая рассказ, наставляла Сергея, где лучше повернуть. С трудом вырулив на Дворцовую площадь, они встали с краю, чтобы дождаться Степин транспорт. Было довольно раннее утро, и площадь еще не заполонили пешие и прочие туристы. Материала здесь было более чем достаточно: и сам архитектурный ансамбль, и арка Главного штаба, и Александровская колонна, и Зимний дворец с обязательным зловещим описанием шествия рабочих Путилов-

ского завода во главе с попом Гапоном к батюшке царю; упоминание о мальчишках, сидевших на деревьях Александровского сада, рассказ о расстреле людей. Апофеозом повествования было воссоздание картины взятия Зимнего, до мелочей скалькированное с фильма Михаила Ромма «Ленин в октябре». Сосредоточенно ведя тему и указывая в окно на объекты беседы, Ольга вдруг чутьем профессионала почувствовала, что вещает в пустоту. Она вгляделась в аудиторию. Все прилипли к окнам, однако взгляды их были направлены совсем не туда, куда указывала Ольга, а совершенно в другую сторону. Там только что причалил двухэтажный автобус, доставивший туристов из Финляндии, рядом с которым их средство передвижения смотрелось утлым челноком на фоне «Титаника».

Но не автобус заворожил ее слушателей. Прильнув к окнам, они рассматривали высыпавших из него западных туристов с вниманием человека, возле которого вдруг приземлилась стая экзотических птиц. Почти все старые, очень подтянутые, худощавые, в светлых одеждах, с кинематографическими прическами и незамутненными взорами, они деликатно прохаживались возле их конька-горбунка, не делая даже попытки взглянуть на лица людей, которые таращились на них из автобуса. Недоуменная тоска одних никак не сочеталась со стерильной клонированностью других. Это была наглядная иллюстрация полного отчуждения двух мировых систем. Гид, поджарый молодой мужчина в фирменном прикиде, суетился, выстраивая свою команду спиной к их автобусу и лицом к изумрудным красотам Зимнего дворца.

— Товарищи, — сказала Ольга как могла мягко, — не отвлекайтесь, пожалуйста, посмотрите на фигуру ангела на Александровской колонне. Ангелу были приданы черты лица императора Александра Первого, потому что...

Головы послушно вздернулись вверх.

Лавируя сейчас между грудами автобусов, с зонтом над головой и сумками в другой, Ольга невольно радовалась дождю, разогнавшему стаи туристов. Пробираться между автобусами, не натыкаясь хронически на людей, уже было облег-

чением. Ее автобус нашелся легко, он стоял почти на самом краю площади, ближе к линии трамвая, и вся группа, хватившая сразу по прибытии в город малую толику эрмитажного благолепия, терпеливо ждала.

— Добрый день, — поздоровалась Ольга, ставя сумки на пол возле своего сидения и впихивая туда же зонт, из которого немедленно ринулась тонкая, но активная струя воды, и устремилась в проход.

На этот раз в автобусе сидели старшеклассники, приехавшие ранним утром из Киева. То ли это была какая-то спецшкола, то ли южный климат оказывал особое воздействие на человеческую психику, или же это просто было совокупным воздействием благоприятных факторов, но дети в автобусе отличались от прочих групп внешним обликом и выражением лиц. Хорошо одетые, они спокойно взирали на Ольгу и в этих взглядах не было ни робости, ни приниженности. Юноша в красной куртке и джинсах, сидевший во втором ряду, с видимой насмешкой глянул на лужу, источаемую зонтом, и произнес что-то в сторону своей хорошенькой соседки. Ольге показалось, что в глазах его мелькнуло то же презрение, которое царило на физиономии Виктора, отсекающего ей кусок мяса.

— Добрый день! — дежурно сказала она. — Меня зовут...

Экскурсия покатилась безупречно налаженным производственным процессом: Петропавловка, Стрелка Васильевского острова, Медный всадник, Сенат и Синод, Исаакиевская площадь. Реакция ребят на мощное городское великолепие была спокойной и объяснимой. Ольга лишь один раз наведывалась в Киев, и ее потрясло обилие красот города, размах и разнообразие ландшафта, невероятная гипнотическая сила Днепра, яркий облик его жителей. Подъехав к бирюзовой сказке Смольного собора и быстро рассказав историю его возникновения, а также упомянув Смольный институт и его воспитанниц, Ольга подвела детей к зданию колыбели революции. Лица слушателей наглядно потускнели, когда Ольга въедливо, повинуясь всем методическим указаниям, вещала о вожде, пришедшем сюда пешком с да-

лекой Петроградской стороны, чтобы вершить революцию. Статуя вождя, пугающе уродливая, сделанная в натуральную величину его роста, флегматично высилась на постаменте, к ней было обращено множество лиц других экскурсантов с общим выражением аккуратной привычной скуки. Парень в красной куртке, демонстративно отстав и остановившись на дистанции, явно не собирался выслушивать информацию. Его хорошенькая соседка зевала.

— А сейчас вы можете пройтись самостоятельно, — сказала Ольга, — в вашем распоряжении десять минут.

Группа мгновенно истаяла, и в образовавшемся вакууме вдруг обнаружилась женская фигура, в которой Ольга узнала одну из ведущих методистов ГЭБа. Улыбкой и всем своим интеллигентским обликом выражая одобрение и отметая тревогу, четко обозначившуюся на Ольгином лице, она резво приближалась к памятнику.

— Вы очень хорошо все осветили, пока лучше всех, кого я здесь слышала, — милостиво, словно даруя высочайшее прощение, — отметила она, — я вам дам первоклассную характеристику.

— Если бы я знала, что вы здесь, я бы еще лучше говорила, — сказала Ольга, улыбаясь. Ей казалось, что таким образом ей лучше удастся скрыть злое приятие ситуации. — А вы здесь давно?

— С самого начала, — отвечала дама. — У вас все прошло безупречно. Ну, всего хорошего, я побежала прятаться, там следующая группа идет, — хихикнула она.

Маскируясь между толпами туристов, пригнув голову, чтобы ее случайно не разглядела следующая жертва, высокая женщина, нервным аллюром устремившаяся к памятнику во главе своей группы, дама трусцой ринулась в сторону ограды. В ее фигуре была привычная, уже не осознаваемая ею подловатость.

После проезда сквозь промышленные предприятия Выборгской стороны лица детей окончательно завяли. Даже дача Шувалова на набережной, с ее двадцатью шестью львами в ограде, не взбодрила слушателей. Чувствовалось, что дети устали после долгого путешествия на поезде, после по-

луторачасового галопа по Эрмитажу. Юноша во втором ряду беспрерывно нашептывал что-то соседке и, как чувствовалось по его физиономии, нечто издевательское, видимо, и в адрес Ольги с ее сумками, и на тему тоскливого пейзажа за окном. Они давно уже ехали по нудному, открытому всем ветрам и построенному в нарушение всех архитектурных законов, как объяснял Ольге знакомый архитектор, Пискаревскому проспекту, где надлежало осветить успехи градостроительства и приступить к теме блокады Ленинграда, так как они приближались к Пискаревскому мемориальному кладбищу.

— Сейчас мы едем к месту захоронения сотен тысяч ленинградцев, погибших в нашем городе во время блокады, — начала Ольга и осеклась. Перегнувшись назад, парень в красной куртке беседовал с соседом и опять выражение его лица и даже доносившиеся до нее звуки его голоса, казалось, источали вызывающую насмешку человека, во всем находящего повод для издевки. Оба молодых человека усмехались, и приглушенные звуки их голосов тормозом вплетались в ритм движения.

Ольга была уверена, что тема блокады неинтересна этим детям. Их лица были бы гораздо оживленнее, если бы она повествовала им об ужасах Помпеи или затонувшей Атлантиде. Парубок в красной куртке жужжал все назойливее, девицы переглядывались, приглушенно хихикая. Взрослые слушатели всегда воспринимали эту тему с очевидной болью. Голос Ольги, обычно негромкий, достигал такой степени внутренней вибрации, что безо всяких усилий с ее стороны кто-то из женщин начинал вытирать глаза. Свои сухие слезы Ольга камуфлировала нарочитой ровностью тона и почти полным отсутствием интонаций. Один из ее друзей, историк Слава Петров, взял ее как-то к себе в автобус для обмена опытом. Актерски и с фальшивой задушевностью он рассказывал почтительной аудитории, как во время войны гасил фугасы на крыше.

— Славка, ты что, ты же в это время даже пешком под стол не ходил, — накинулась на него Ольга, — зачем такое наглядное вранье?

— Так гораздо завлекательнее, — радовался он, — они же ни фига не знают. У меня вчера была группа из Уфы. После обзорной по городу я им сразу Пушкина давал. А во время остановки у Медного слышу, одна тетя у дочки спрашивает, глядя на Исаакий: «А сколько лет этой церкви, доченька?» А та и говорит: «Наверное, лет пятьсот, мамочка». А мы только что выяснили, что городу 275 лет. Я тебе очень советую перестроиться, а то ведь свихнешься. Знаешь, какой фортель выкинул ...ов? — назвал он фамилию одного из ведущих экскурсоводов города. — Привел группу к Вечному огню, открыл рот, чтобы начать, и вдруг как рявкнет: «На колени!» И, представь себе, группа встала на колени. А он повернулся и поехал домой. Потом туда психушка явилась. Ты тоже свихнуться решила?

Ольга очень старалась внять голосу разума и ликвидировать эти внутренние вибрации. Это получалось трудно. Квартира ее родителей была на Петроградской стороне у Сытного рынка. Их соседка, пережившая блокаду и таинственным образом не потерявшая ни здоровья, ни оптимизма, а, может, как раз приобретшая его, рассказывала:

— Пришла я на рынок, а там кричат: пирожки с мясом продают. Я ринулась туда, давка жуткая, лица черные, глаза у всех в самый череп въехали, еле дышат, но все равно злые, толкаются, деньги суют. Схватили пирожки и тут же сожрали, смели все, что было. И вдруг кто-то говорит: «А пирожки-то с человечиной». И знаете, на лицах ничего не обозначилось. Стоят, озираются тупо, а в глазах одна утроба светится. И ведь знают, что наверняка правда это. Откуда мясо в городе? Это только в Смольном. И курицы, и мясо, и мандарины, и клубника в оранжереях.

Эта же соседка рассказала, что хозяйка квартиры, в которую переехали родители Ольги, пропала во время войны.

— Просто вышла из дома и не вернулась, — говорила женщина без пафоса, но мрачно, — все говорят, что ее убили и съели, она еще не совсем кожа и кости была. Дочку четырех лет отец забрал, через Ладогу вывозил, так их машина затонула, сразу под лед ушла, — заключила она и, взяв у матери Ольги стакан песку взаймы, вернулась к себе.

— Когда сгорели Бадаевские склады со всеми запасами продовольствия, в городе наступила трагедия, люди голодали. В домах не было ни воды, ни отопления, за водой горожане ходили к Неве, черпали воду из проруби. Зима была из ряда вон холодной, морозы доходили до 35 градусов. И настал день, когда хлебная норма для жителей города достигла нижайшего уровня — 125 граммов сырого некачественного хлеба на человека, — индифферентным тоном завершала Ольга вводную часть к теме «Пискаревское кладбище», когда в притихшие все же ряды школьников просочился баритональный смешок юноши в красной куртке. Он определенно был вожаком группы и его раздражало, что даже малую толику внимания его почитателей отнимает усталая тетка, явившаяся на работу со старым зонтом и продуктовой сумкой.

— Молодой человек, — сказала Ольга негромко, — пожалуйста, не мешайте ходу экскурсии. — Ее голос опасно понизился в тоне; ей не хотелось обнаруживать, что степень внутреннего накала приблизилась к черте, которую нельзя переходить.

Парень смерил ее взглядом и, видимо, решив, что сейчас не время, откинул голову на сидение и уставился в окно.

Девятиэтажные, барачного типа дома придавали однообразию проспекта с его потоками грузового транспорта еще большую скукоту. Асфальт был мокрым после дождя, небо расчистилось, и зрелые уже лучи солнца вторглись в автобус и подзолотили каштановые кудри девочки, сидевшей рядом с буяном.

На Пискаревском кладбище, как всегда, царила осторожная суета. Кладбище было забито туристами, которых в обязательном порядке подвозили сюда не только в ходе экскурсии «Город великого Ленина», но и перед поездкой по теме блокады на Ладогу, где, предваряя печально известную Дорогу жизни, был воздвигнут поразительный монумент «Разорванное кольцо» скульптора Константина Симуна. Постояв у Вечного огня, туристы спускались вниз, где экскурсоводы спешно, чтобы не мешать подступающим следом группам, произносили практически одни и те же тексты у статуи Матери-Родины. У въезда на кладбище сновали, выгружая и впитывая людей, разномастные автобусы, от гигантских

двухэтажных до приниженно смотрящихся облезлых машин из провинции. Несмотря на обилие людей, пространство и негромкая музыка из динамиков устраняли суету, трансформируя движущиеся внизу группы в траурные мини-шествия.

У Вечного огня уже стояли две группы туристов. Выждав, когда одна из них отойдет, Ольга подвела ребят к огню. Отсюда открывался вид на кладбище внизу с могилами, раскинувшимися по правую и левую стороны и фигурой Матери Родины, заключительным аккордом всей композиции.

У этой гигантской женской скульптуры надлежало вспомнить музу блокадного Ленинграда Ольгу Берггольц. Знать, что поэтесса в 1938 году провела пять месяцев в тюрьме за «связь с врагами народа», где после побоев родила мертвого ребенка, и не сметь даже обмолвиться об этом, представлялось сознательным кощунством. Методички предлагали пропеть краткий панегирик Ольге Берггольц у мраморной стелы, где были высечены ее знаменитые слова «никто не забыт и ничто не забыто», и осветить это залакированное здесь страдание, как сознательный подвиг. Стоя у Вечного Огня и соблюдая минуту молчания, Ольга готовила себя к этому испытанию.

Знакомый бархатный смешок вторгся в тишину и неестественное потрескивание огня. Парень в красной куртке, переместившийся подальше от Ольги, на другой конец площадки, что-то сообщал на ухо девочке-блондинке. Та спокойно улыбалась.

Минута молчания кончилась.

— Молодой человек в красной куртке, — сказала Ольга, с ужасом чувствуя, что неприятие этого парня оформилось в ней кристаллом такой чистой ярости, что сдержать ее внутри равносильно смерти. — Покиньте, пожалуйста, пределы кладбища.

Она видела по лицам растерявшихся ребят, что это прозвучало неожиданной пощечиной. Фигура его мгновенно закаменела, по лицу пронеслась судорога человека, вдруг очнувшегося после длительного обморока. Он посмотрел на нее неожиданно серьезным осмысленным взглядом и, мгновенно развернувшись на каблуках, четким движением хорошо координированного человека покинул площадку.

Добравшись с группой до станции метро «Финляндский вокзал», Ольга села в двадцать пятый трамвай. Его бесконечный маршрут серпантином вился через весь город, зато трамвай доходил до самого ее дома.

На чистом, тщательно выметенном от облаков небе, главенствовало низкое солнце. Кровавый желток его бился в окна трамвая. Сумка жалась к ногам и чувствовалось ее размякшее содержимое. В полупустом трамвае было комфортно, глаза слипались, хотелось собрать в голове мысли о завтрашнем расписании.

— Извините, пожалуйста, — послышался мягкий голос. Ольга с трудом выдернула себя из полудремы. В лицо ей загядывал молодой человек не старше двадцати двух — двадцати трех лет. Лицо его выражало нежную и в то же время непреклонную надежду.

— Вам не нужен котенок? — тон его настолько уверенно предрекал положительный ответ, словно он раздавал эликсир бессмертия.

В руке молодой человек держал зимнюю шапку со связанными шнурками. В ее компактной утробе что-то слабо шевелилось.

— Посмотрите, — сказал он и вытащил содержимое, оказавшееся крохотным меховым комочком. — Ей всего три недели, ее зовут Сюзи, потому что когда она родилась, по радио передавали песню «Сюзанна». А еще у нее кличка Джинсовая, потому что она написала мне на джинсы.

Комочек пополз по нему медленно и спокойно.

— Почему вы ее отдаете? — удивляясь себе, спросила Ольга. — Это такая прелесть.

— У меня ребенку месяц и, вы знаете, они меня выгнали с ней из дома, — говорил молодой отец, сияя. Он отчетливо понимал, что просьба его радостная и не может не быть удовлетворена. Он не молил, унижаясь и замирая от страха, что откажут, он источал счастливую уверенность, что кроха найдет себе подобающую среду обитания. — Посмотрите на нее. Хотите подержать?

Существо флегматично задвигалось по Ольге, сороконожкой заползало по ней своим микроскопическим тельцем. Шерсти у нее, казалось, могло бы хватить на целый выводок новорожденных котят.

Понимая, что выигрывает раунд, он протянул Ольге шапку.

— Это ее шапка, вам будет удобнее ее везти.

— Но я не могу ее взять, — тянула она, держа в руках пушистый комочек и уже сознавая, что поймана. — Меня целыми днями и дома не бывает...

— Я вам напишу мой телефон, вы позвоните, если вдруг захотите отказаться, — с новой волной радости завершил только что подключившийся к клану родителей молодой человек.

— Хорошо, — сдалась окончательно Ольга, — давайте номер.

— Ира, — говорила Ольга поздним вечером, — я не понимаю, что со мной происходит. Откуда взрывы такой ненависти? Я же не зверь, ты знаешь.

— Не думай об этом, — говорила Ирина, сидя за кухонным столом перед настольным зеркалом. — Зачем ты рефлексируешь? Парень — гад и получил то, на что напрашивался. И еще мало. Небось, папаша обкомовская сошка или, не дай Бог, директор универмага. Им все дано. А у меня тетя Раечка получила инсульт. Бегала с племянниками из Свердловска по магазинам, мясо им доставала. И что? Натаскалась до того, что лежит без сознания неделю и никаких надежд. Такой великолепный врач, хирург. Из-за поганого мяса. А ты выброси свои эмоции в помойку. И на мясника этого сытого наплюй. Ну, не так сказал. Зато мясо отвалил. Он здесь хозяин жизни, будто ты не знаешь. Тебе парня еще тянуть и тянуть. Если ты загнешься или в инвалида превратишься, твой Котька хорошо проживет на тридцать восемь рублей от папочки?

Удары тыльной стороной ладони по подбородку синкопами сопровождали ее речь. Ирина истово следила за внешностью, ни под каким видом не отправляясь спать без крема на тщательно очищенной физиономии. Без макияжа ее глаза-сапфиры теряли в глубине и размере, зато ощутимо уменьшали возраст.

— Мне кажется, до него что-то дошло, до этого мальчишки, — раздумчиво говорила Ольга. — На обратном пути

он ни слова не проронил, а когда я прощалась с группой, без всякой злобы сказал: «До свидания». Зря я не сдержалась. Но что-то во мне лопнуло тогда. Только бы это снова не повторилось.

— Наплевать и забыть, — отрубила Ирина, осторожно накладывая крем на веки. — Что за рефлексии ты тут разводишь. Парубок твой выживет, уже давным-давно посреди девиц все забыл. И ты не стони теперь, сама же себе эту мороку выбрала, а могла бы со своим французским пойти в те самые, в «гиды». Последнее слово она произнесла с особой напористостью.

— В стукачи то есть? — испугалась Ольга. — Ирка, мы тысячу раз это обсуждали. А с душой-то что делать?

— Ну, хозяин — барин, — скучно ответила Ирина. Отставив зеркало подальше, она требовательно изучала свой подбородок.

Ольга зевнула:

— И вообще, Ирка, я с тобой кое в чем согласна. Во многом даже, но одно меня терзает: почему ты своему Алешке частенько про мать объясняешь? Скажем, не видишь перчатки или тапки и кричишь: «Алеша, тра-та-та... где мои тапки?» — Она забрала у мохнатой крохи розетку с разведенным молоком и прилегла на деревянный диванчик.

— Я делаю это сознательно, — говорила Ирина, поколачивая себя по вискам кончиками пальцев. — Ребенок выходит на улицу и со всех сторон слышит тот же самый мат, в тысячекратном размере. Он должен быть подготовлен к этой свинской жизни.

— Ну и хватит про гадости, — встряхнулась она, — давай тему повеселее, это наш последний вечер вдвоем, я завтра после Разлива домой рвану, стирки и уборки до хрена, в холодильнике вакуум. Шесть дней до мальчишек осталось. А ты на себя еще это животное повесила. Хорошо, Любаша обещала заскакивать прикармливать. Знаешь, что мне сегодня Думбасова рассказала? Вела тему декабристов и у Медного им Вовкину цитату опостылевшую повторяет, как декабристы Герцена разбудили. Так тетка из задних рядов руку тянет и громко орет: «А что, восстание было ночью?» Как ты думаешь, не врет? Или хохма такая? Хотя на правду здорово

смахивает. Да, Олька, а что у тебя завтра? Снова две? Когда первая? Ольчик, ты что, уже спишь? А чай с сырниками?

Уютно свернувшись на кухонном диванчике, Ольга все глубже уходила в целительное небытие. На боку ее угнездился меховой комочек. Из его почти несуществующего естества неслось басовитое органное урчание.

Санкт-Петербург, 1994 г.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ[1]

Моей дочери Анне

— Сегодня мы представляем русскую политическую музыку, — объявил публике дирижер и музыкальный директор Хьюстонского симфонического оркестра Ганс Граф и приглашающе хихикнул. Зал одобрительно рокотнул в ответ.

Оркестранты, только что оборвавшие свою предваряющую каждое исполнение какофонию, отрешенно молчали. Это был третий за три дня концерт, где они играли «Увертюру 1812 года» Чайковского и «Ленинградскую симфонию» Шостаковича.

Ганс Граф, австрийский дирижер, уже пять лет возглавляющий симфонический оркестр этого солнечного техасского города, имел репутацию скрупулезного добросовестного музыканта и был широко востребован в различных концертных залах всего мира. Оркестр под его управлением звучал мощно, а репертуар был сложным и отличался широким диапазоном. Русская музыка была здесь явно не на последнем месте. Выбор дирижером Ленинградской симфонии Шостаковича показался мне еще одним сознательным приношением на скорбный алтарь Второй мировой войны. Эпидемия стыда и покаяния, прокатившаяся по Германии очистительной волной, не смыла, но все же притушила жуть воспоминаний.

Сидящая справа от меня самая близкая подруга школьных лет Лена Вересова, только что приехавшая из России, робея, поглядывала по сторонам. Она крохотным ребенком пережила ленинградскую блокаду и тот факт, что в солнечном далеком Хьюстоне спустя вечность исполняют эту симфонию, тронул ее чрезвычайно.

[1] Рассказ опубликован в журнале «Нева», № 5 за 2008 г.

Шостакович того времени, находившийся в двойном круге ада — в сталинском режимном государстве и в блокадном городе, где (расхожая в Ленинграде истина) было время, когда жителям выдавали по 125 граммов хлеба в день — кусочек, умещающийся на ладошке ребенка и где каждый третий умер от голода, прорвал своей симфонией духовную блокаду, которая царила в те дни в промерзлом голодном городе. Разглядывая нарядную, беспроблемную на вид хьюстонскую публику, я думала, что сейчас дирижер в своем кратком вступлении что-то скажет о трагедии этого города, никого не обличая, а просто отдавая дань памяти бесчисленных жертв. Но дирижер, крепкий человек нордической внешности в отлично подобранном сером костюме, с улыбкой эстрадного конферансье, рассказал байку о разговоре Сталина с Шостаковичем, когда Сталин спросил, почему Шостакович не написал симфонию ко Дню Победы и как Шостакович ответил, что у него не хватило вдохновения отобразить это величайшее событие. И как эта находчивость спасла ему жизнь.

На лицах сидевшей слева от меня пожилой американской пары царило блаженное выражение людей, озаренных внезапным знанием.

В процессе этого шоу-эпизода я сунулась в программу и, обнаружив «эссе» о Шостаковиче за подписью «К. Каннингэм», с изумлением прочла, что «Кое-кто предположил, будто обманчивая веселость мелодии первой части отражает несбывшиеся надежды определенной части русского общества на то, что мощные гитлеровские армии освободят людей от сталинских тисков и станут обращаться с ними гораздо гуманнее». Это говорилось о марше первой части, зловещей неотвязной мелодии с рваными ломаными ритмами, с пронзительной квинтой вверх и каркающей квартой вниз, мелодии, которая в сознании ленинградцев, переживших блокаду, всегда связывалась с победным хвастливым шествием фашистских полчищ. Я вспомнила, правда, что Шостакович в своих мемуарах, изданных после его смерти Соломоном Волковым, говорил, что в его намерения не входила музыкальная иллюстрация фашистских шествий и что данное восприятие мелодии навязано сталинской пропагандой.

В это очень легко поверить. Тем более, что есть еще ряд свидетельств, в частности, воспоминания близкого друга семьи Шостаковичей Флоры Литвиновой. Композитор как-то прямо сказал ей, что Седьмая симфония и, кстати, и Пятая тоже — не только о фашизме, но и о «нашей системе, о любой форме тоталитарного режима». Глумящееся и уродливое нечто отчетливо прослеживается в этой скачкообразной теме, занявшей целых восемьдесят страниц партитуры. Кроме того, автор (вернулась я к К. Каннингэму) упомянул, что симфония, с нетерпением ожидавшаяся на Западе, после ряда исполнений была осмеяна и что композитор Бела Барток сочинил музыкальную пародию на этот самый марш.

Пока я пробегала глазами эти откровения, Ганс Граф счел свою просветительскую миссию завершенной. Одарив публику широкой улыбкой, он повернулся к оркестру и взмахнул палочкой.

И сразу все исчезло: и этот зал, и люди, заполнившие его. Музыка мгновенно обрушилась водопадом высочайшей человеческой трагедии, смертной тоской чистой души перед кошмаром насилия.

Художник Соломон Гершов, выходец из Витебска, ученик легендарного Пенна и друг Шагала, отсидевший по таинственному делу Шостаковича 10 или 15 лет, в конце 70-х годов рассказывал:

— Мы шли как-то с Шостаковичем по Литейному проспекту, днем, вокруг шум, машины, трамваи. И вдруг Шостакович говорит:

— Давайте зайдем ненадолго в эту парадную.

Мы поднялись по лестнице, и Шостакович достал из кармана ключ и открыл дверь квартиры. Это была явно коммунальная и очень большая квартира. Но мы не увидели никого из жильцов. Шостакович достал еще один ключ и открыл дверь комнаты. Мы вошли туда. Это была огромная комната без какой бы то ни было примечательной обстановки, кроме того, что в углу стоял рояль. Он сел за рояль и сыграл Седьмой вальс Шопена. Очень хорошо сыграл. После чего он поднялся, и у него стало совсем другое лицо. Он сказал: «Теперь я могу снова идти на эту улицу». И мы вышли из квартиры.

Смысл этих слов композитора не надо расшифровывать настоящим ленинградцам. Я имею в виду тех, кто до сих пор не может отрешиться от неприятного озноба, связанного с «Большим домом», штаб-квартирой КГБ (ныне ФСБ), зловещего здания, расположенного в начале Литейного проспекта, которому в какой-то степени обязан своим происхождением ахматовский «Реквием». Седьмой вальс Шопена и Седьмая симфония Шостаковича — вот где антагонизм и единение в одно и то же время.

Во время нашего проживания в университетском городе Блумингтоне штата Индиана мы дружили с Машей Кунц, совсем еще молодой и жизнерадостной матерью троих детей и женой профессора математики местного университета. Профессор этот, увезенный отцом в Израиль в семнадцатилетнем возрасте, получив образование в Израиле, возненавидел эту страну и переехал с семьей в Штаты, которые вскоре возненавидел так же, как до того возненавидел Израиль. Он воспылал страстной любовью к своей первоначальной Родине и, снимая сливки с презренной Америки, по несколько раз в году наезжал в Белокаменную, намереваясь после выхода на пенсию поселиться там в отстроенном под Москвой доме.

— К нам приезжал Валерин двоюродный брат Петя Берлин. Он у нас долго жил, когда мы были еще в университетском общежитии, — с подъемом рассказывала Маша. Она отличалась редчайшей, лишенной малейшего подобия избирательности, общительностью. — Он такой замечательный... Он приехал посмотреть, нельзя ли ему здесь устроиться.

В то время Маша жила у нас в ветхом домике, который мы снимали с дочерью в кокетливом Блумингтоне. Вся ее семья уехала в Москву на год, так как глава ее получил саббатикал — академический отпуск на год с оплаченным содержанием для дальнейшего развития своей научной деятельности. Естественно, что развитие научной деятельности Валеры могло происходить только в Москве, где, кстати, проживала его мать. Свой большой семейный дом они сдали в аренду, и Маша, задержавшаяся по делам на месяц, пере-

ехала к нам. Поэтому времени для бесед у нас было более чем достаточно.

— Петенька такой умница, — восхищалась Маша, посверкивая широко расставленными зелеными глазами — Вы знаете, что он сделал? Он продал на аукционе Сотбис письма Шостаковича, которые он писал Петенькиной бабушке. Представляете, в его бабушку был влюблен Шостакович. Он написал ей кучу писем. Но она их никому не показывала и где-то прятала. А Петенька нашел. Он ей ничего не сказал и продал их, представляете, за сколько?

Она лукаво посмотрела на нас и выпалила, заранее наслаждаясь грядущим эффектом:

— За сто тысяч долларов!

Я осторожно спросила:

— А он дал что-нибудь бабушке из этих денег?

— Ну конечно же, — экстатическим голубком токовала Маша, — конечно. Петенька ей дал тысячу долларов. — И, знаете, что говорят? Что эти письма купил Ростропович!

— Машенька, — еще осторожнее спросила я, — а тебе не кажется, что ваш Петенька чистой воды подлец?

— О чем вы говорите, как вы можете, вы же его совсем не знаете, он замечательный. Пожалуйста, я очень вас прошу, не говорите ничего плохого о нашем родственнике.

Чтобы закончить с Петенькой, мутным силуэтом скользнувшим по касательной мимо имени Шостаковича, остается только добавить, что через короткое время, в том же 1998 году, разразился скандал с Bank of New York в связи с процессом по отмыванию денег из России, чем занимались все тот же Петенька и его жена, живущие в Англии. Маша, также вывезенная родителями в Израиль, но не в девичьем, а почти в младенческом возрасте, с наивностью, заставляющей глубоко и горько задуматься, кайфовала в неопрятной пене реальности, производимой неуклюже разворачивающимся советским дредноутом, не подозревая всей глубины и плотности водных масс под килем.

— Ну и что из того, что он вывозит эти деньги? Никому от этого вреда не будет. Он помогает разным людям, — истерически кричала она.

— Но то, что он вывозит эти огромные суммы, означает, что кому-то не платят зарплату, а кому-то выдают мизерные пенсии и где-то грабят маленьких детей. Ты сама мать и ты его одобряешь?

— Я не хочу ничего плохого слышать про Петю. Он наш родственник, и мы его любим.

Через месяц после этого газеты сообщили, что Петр Берлин приехал из Англии в Нью-Йорк с женой, владелицей банка, и сдался властям. Еще через неделю из Москвы нам позвонила Маша. Голос ее потерял звонкость и звучал визгливо. Может быть, это объяснялось неважной слышимостью.

— Помните, я вам говорила про нашего родственника? — кричала она.

— Какого родственника, Машенька? — мне приходилось форсировать звук, потому что непонятная паника в ее голосе требовала ответного тремоло.

— Ну неужели вы не помните? — надрывалась она.

— Если ты напомнишь...

— Ну, бабушка, письма, вспоминаете?

— Теперь да, и что?

— Так вот, нет у нас такого родственника, а я вам ничего не говорила, — и она бросила трубку.

Не думаю, что кроткая тень Шостаковича совершила этот фарс возмездия.

Танечка Шувалова позвонила мне пыльным летним днем. Свирепствовал грязный петербургский зной, и я не удивилась надлому в ее голосе.

— Я не могу зайти в метро, уже полчаса брожу вокруг, пытаюсь войти, и берет какой-то ужас, — произнесла она, — и мне плохо с головой.

— А где мама и сынуля?

— Они на даче.

Уже несколько дней подряд она жаловалась на странные явления, случающиеся с ней все чаще и чаще. У нее приключались моменты головокружения, непонятной тревоги и просто ужаса, а однажды в машине она панически ис-

пугалась замкнутого пространства, и ей пришлось выскочить почти на ходу. Таня училась вместе с моей Анной в Тартуском университете у профессора Лотмана. Впервые увидев ее выходящей из какого-то помещения в университетском общежитии, я немедленно, как и многие другие, пала жертвой ее редкостного обаяния. Конечно, обаяние начиналось, как и полагается, с внешности: высокого роста, стройная, с фантастической гривой рыжих, кольцами вьющихся волос непередаваемо мягкого золотого оттенка, который не найти даже на полотнах фламандских мастеров, широко поставленными светло-карими глазами и красиво очерченным ртом, она, помимо всего, изумляла одаренностью и, что еще удивительнее, редкостным трудолюбием и усидчивостью. А манера общения ее отличалась некоей рыцарственностью. Она никогда не раздражалась и не проявляла нетерпения, если приключался вдруг несвоевременный телефонный звонок или нечаянная встреча.

— Танечка, возьми машину и приезжай ко мне немедленно, — взволновалась я. — Только обязательно посмотри на лицо шофера, чтобы не нарваться на какую-нибудь гадость.

Она приехала через час. Ее измученное лицо было нежно-фиолетовых акварельных тонов. Я немедленно положила ее в постель. Наутро мы отправились на встречу с двумя профессионалами в области психологии и психиатрии. Мы ждали их у метро «Ленинский проспект». Две женщины, давно переступившие сороковник, выскочили из подземного перехода на рысях кавалерийской конницы.

— Здесь рядом есть бистро, мы там можем поговорить, а заодно позавтракать, мы обе с ночного дежурства.

Они зацокали каблуками, обогнав нас на существенную дистанцию. Мы плелись следом, скверно имитируя бодрость походки и боевитость настроения.

В бистро, кругленькой стекляшке, уже почти до упора забитой посетителями, они взяли две большие тарелки с грудой мяса и какими-то овощами. Мы присоединились к ним со стаканчиками сока.

— Рассказывайте, — скомандовала одна из них, перечислите все симптомы, как и когда началось и что происхо-

дит сейчас. Только после этого мы сможем определить, в чем дело и дать вам совет. — Она подцепила кусок мяса и, обмазав его горчицей из стоящей на столе банки и отправив в рот, плотоядно сомкнула челюсти. Вторая не отставала. Мы ничего не имели против этих женщин, которые по просьбе нашей знакомой нашли возможность после тяжелого дежурства проявить милосердие, только нами овладела обоюдная робость. Я просто молчала, загипнотизированная мельканием вилок и постукиванием ножей, Танечка же ломким тихим голосом рассказывала о перипетиях последнего времени.

— А теперь возьмите цифру сто и отнимайте от нее по три, считайте вслух, громко и четко, — приказала одна из них.

— Сто, — сказала Танечка, потом медленнее: — девяносто семь, потом еще медленнее: — девяносто четыре... восемьдесят девять, — тут она остановилась и горько заплакала.

— Все ясно, — незамедлительно заявили дамы, отодвинули в стороны враз опустевшие тарелки и начали щедро насыпать сахар в кружки с кофе. — Завтра же поезжайте в психоневрологический диспансер около метро «Технологический институт», мы туда позвоним. Вам нужно пройти курс лечения и психотерапии. И учтите, это сделать нужно обязательно. Если вы запустите процесс, мы за последствия не отвечаем.

Если кто-то будет это читать и дойдет до этого места, я уверена, что у него возникнет естественный вопрос: а при чем здесь Шостакович? Почему я должен читать весь этот поток сознания и где здесь логика? Я и сама не знаю, как все это завершится. Я просто знаю, что хочу сказать, но не уверена, что справлюсь.

Назавтра Танечка со своим другом направилась к станции метро «Технологический институт». Вернулись они неожиданно быстро, Таня зареванная, Слава, ее друг и сокурсник по Тарту, растерянный.

— Там такое происходило, как на вокзале, — рассказывала Танечка, пытаясь держаться на соответствующей шкале юмора. — Куча народу слонялась внутри, сидеть было негде, и все такие странные, или пьяные, или, скорее, в сомнамбу-

лическом сне. Мы даже не знали толком, куда обратиться. Славка пошел узнавать, а я встала со своей торбой в углу, тут ко мне подходит женщина с каким-то странным взглядом, в одно и то же время смотрит и на меня и мимо меня и говорит так очень сочувственно, но опять же как-то до ужаса отстраненно:

— Ты что, тут в первый раз? Боишься, да? А ты не бойся, ты скоро пообвыкнешь, каждый день сюда походишь, тебе помогут... И кормют здесь (так и сказала: кормЮт), так что голодная не будешь. Еще и с ребятами познакомишься, тут есть молодые.

— Я тогда просто выскочила как ошпаренная, Славка меня уже на улице догнал, — завершила она.

Она пробыла у меня несколько дней, время от времени покрываясь мертвенной бледностью и теряя сознание. Слава в панике звонил своей приятельнице, которая и наслала на нас двух боевитых женщин-психиатров. После не очень долгих переговоров эта дама, преподававшая психологию в университете, дала нам адрес человека, который, как она сказала, мог прояснить ситуацию и помочь.

Мы ехали к нему втроем обычным трамваем. В этом полупустом летнем вагоне Таня сидела, привалившись к окну, и вся россыпь пожухлых акварельных тонов гуляла по ее лицу, перемежаясь с играми солнечных зайчиков. Мы прошли несколько хрущевских пятиэтажек, и на третьем этаже самой обшарпанной из них нас встретил человек, напоминающий одного из жюль-верновских ученых персонажей. Лицо его было плотно завешено седой растительностью, а две маленькие комнаты завалены бумагами и книгами. Скептически оглядев всех нас, он задал пару вопросов Тане и, поставив ее в центр комнаты, вынул палку, на конце которой была приделана маленькая коробочка. Он поводил коробочкой вокруг ее головы, и коробочка заверещала противным голосом. Еще две минуты этой процедуры, и он произнес нечто заковыристое по-латыни. Это был диагноз. В моем примитивном осмыслении это была угроза тромба в сосудах головного мозга. Очень реальная и скорая, если Таня не бросит курить немедленно. Не очень словоохотливый хозяин оказался бывшим

психиатром, работавшим в Бехтеревском институте и покинувшим его стены.

— Мне опротивела советская официальная медицина, — лаконично сказал он. — Я уволился в одночасье и собрал группу для разработки этого диагностического аппарата. Он основан на свойствах рыбьей чешуи и сейчас выдвинут на Нобелевскую премию.

Мы выкатились из обшарпанной парадной, пытаясь стряхнуть с себя, как наваждение, диковинный диссонанс между стандартной тоской хрущобы и разыгранной в ее стенах гофманиадой.

Таня, закаменев своим прелестным лицом и став от этого еще неотразимее, вынула из сумочки пачку сигарет и швырнула ее в притулившийся у парадной хронически зловонный мусорный бак.

Мы со Славой не комментировали это событие. Оказавшись также продиагностированными, мы пытались на ярком солнце стряхнуть с себя оцепенение: наши «тайны» обнаружились безо всяких анализов, рентгенов и осмотров: у него — болезнь почек, которой он страдал несколько лет, у меня — навязавшийся каким-то образом желвак на плече, который позже мне удалили в Вильнюсе.

Еще некоторое время личико Татьяны, окрашенное палевыми тонами, находилось в поле моего зрения. Художник Александр Бихтер в эти дни написал наш двойной портрет, он еще заканчивал его, когда Таня уже занялась нетрадиционной лечебной гимнастикой и двинулась дорогой выздоровления, однако облик ее на полотне навсегда сохранил черты душевной и физической изнуренности.

— Как ты думаешь, что же это было? — спросила я позже. — Может, тебе давно было пора в отпуск? Может, нельзя уже было изводить по пачке сигарет в день? Ведь ты курила с семнадцати лет...

— Думаю, что нет, не в этом дело, — задумалась она. — Теперь, когда я отслеживаю все это как бы в ретроспективе, мне кажется, я нашла причину. Собственно, я всегда это подсознательно понимала, только не хотелось в это углубляться.

— А сейчас ты можешь это выразить?

— Сейчас, пожалуй, могу.

И я услышала следующее:

— Примерно месяц тому назад, — начала она, — к нам в институт Гёте приехал один деятель из Германии (отлично знающая немецкий язык Таня работала в этом известном и очень популярном в городе учреждении, открытом с целью проведения совместных культурных программ обеих стран). Он затеял акцию, которую назвал «Примирение». То есть мы должны были изобразить катарсис как таковой, полное согласие и слияние в экстазе двух бывших воюющих сторон. Меня выбрали переводчиком. И тогда хмырь сказал моему боссу: «Эта рыженькая малышка будет переводить, и мы сделаем великолепную акцию». Мой босс со сдержанной такой яростью заметил, что «у этой малышки сыну пять лет», но тому было все равно.

Все это действо должно было состояться в Доме дружбы на Фонтанке. Этот тип мне тогда сказал: «Мы с вами обязаны все сделать так, чтобы люди в конце рыдали». Когда я туда вошла за сорок минут до начала, то получила первый шок. Все стены были завешаны «наглядными пособиями». Там было много фотографий блокадного Ленинграда, улицы в снегу и тут же закутанные люди, которые тащат саночки с трупами, фото из дневника Тани Савичевой, ее большая фотография. И тут же фотографии могил немецких солдат, сделанные в Ленинградской области и фотографии немецких военнопленных. Все это огромного размера. Тут начали приходить участники спектакля. Во-первых, они откуда-то нагнали группу испуганных пенсионеров, бедные старушки и старички в своих выцветших кофтах и стареньких пиджачках. Принаряженные из последних сил. Там еще была группа пионеров в галстуках, тоже испуганные. Потом там был хор, и начали они представление «Одой к радости» Бетховена. Потом пошли стихи, отрывки из дневника Тани Савичевой, некоторые из пенсионеров стали рассказывать о себе в блокаду, я все это переводила, микрофон усиливал звук до космических пределов, динамики гремели, звучала зловещая музыка из симфонии Шостаковича, а деятель наш вещал с придыханием, очень так чувствительно, на обертонах, с пафосом, все время на крещендо, как эмоциональном, так и звуковом. А я все переводила и переводила и невольно,

как в трансе, уже копировала все его интонации и звуковые нарастания. И тут я услышала, что кто-то громко, отчаянно рыдает и подумала: «Все-таки он добился своего, мы заканчиваем, и кто-то не выдержал», и тут я вдруг поняла, что все сидят молча и смотрят на меня с испугом, а это я сама рыдаю во весь голос в микрофон...

Она помолчала и тихо добавила:

— А все эти дела у меня начались почти сразу, практически на следующий день, сначала медленно, а потом уже в темпе.

Осторожное покашливание в зале возвестило об окончании двух первых частей симфонии. Оркестранты перевели дыхание. Обмякшая было на секунду спина дирижера вновь обрела твердые очертания, и вся его фигура в один миг стала похожа на затаившегося в засаде и готового к прыжку хищного зверя. Он сделал классический взмах руками, и необъятное пространство зала наполнилось звуками эмоционального центра всего произведения, патетического адажио, с его щемящим звучанием скрипок, проникающим в сознание как мольба о пощаде, как напоминание о счастье и осознание неотвратимости страдания. Руки скрипачей вздымались в поразительном единении, и все же в движениях первой скрипки, молодой женщины с восточными чертами лица, ощущалась особая, отточенная природой пластичность. Лицо ее хранило безучастное выражение, что являлось просто защитной реакцией на музыку и необходимым условием сохранения высочайшей, нечеловеческой степени концентрации. Я взглянула на подругу. Она сидела откинувшись назад и опустив голову. Казалось, она вглядывается в самые глубинные пласты своего существа. Лицо ее было ожесточившимся и беззащитным одновременно. Я смотрела на нее, смутно ощущая, какую-то неправильность, неправомерность этого бесконечного страдания, которое не просто опустошает, а разрушает и даже временами убивает человеческую душу.

Несколько лет назад, сразу после истории с Танечкой, теплым осенним вечером я сидела в трамвае, направляясь домой. Купчино, где я живу — классический пример спального района периода застоя — сейчас выглядит гораздо оживлен-

нее, чем раньше. Михалков-Кончаловский в фильме «Романс о влюбленных» использовал облик такого предместья, чтобы обнажить удушающую скуку архитектурного и духовного ландшафта советских новостроек. Трамваи, еле плетущиеся, как и в века пятилеток, по купчинским улицам, остались знаковым символом прежней эпохи. Они по-прежнему забиты в часы пик с той лишь разницей, что исчезли тяжеленные сумки в руках у женщин-пассажирок. Сидя в таком трамвае и почитывая книгу, я ехала как-то осенью по нашей Бухарестской улице. Вагон был полон усталых людей, слышен был лишь голос водителя, объявлявшего остановки. Совсем как у Кончаловского: магазин «Гранат», «Шестой квартал», «Универсам». Книга была интересная, и я увлеклась. Сквозь монотонное постукивание по рельсам какой-то не снижающийся и непонятный звук вторгался в усталое трамвайное пространство. Я пыталась продолжить чтение, но звук не уходил, а лишь становился громче. И тут я осознала, что за моей спиной два звонких молодых голоса болтают по-немецки, весело, звонко, безостановочно. Я снова уткнулась в книгу, но звук раздражал, и я поняла, что именно в нем действовало на нервы. Это была немецкая речь, громкая, не вуалирующая себя, немецкая речь в нашем убогом Купчино, расположенном во время блокады так близко к линии фронта. Когда-то приятельница моей мамы, Ольга Васильевна Бодрова, рассказывала, что сюда, в Купчино, они ходили во время войны выкапывать картошку, ходили под обстрелом, и картошки почти не было, они отыскивали несколько клубней и бежали обратно, закрывая руками голову. Не знаю, что думали пассажиры, скорее всего, ничего, но некоторые все же осторожно косились на стоящих у меня за спиной. Веселый стрекот не утихал и казался уже вызовом. И тут я повернулась и взглянула на возмутителей трамвайной тишины. Это были совершенно юные, почти подростки, юноша и девушка, с гитарой, явно направлявшиеся на какую-то вечеринку. Странно, но они тут же скисли, их веселый, по сути, детский крик прервался молчанием панически вспорхнувшей птичьей стаи. Они вышли на следующей остановке, а я, глядя на их мигом слинявшие физиономии и на гитару без футляра, только что готовую к радости, недоумевала на

собственную тему и обругивала себя за глупость и неумение сдержаться. При чем здесь эти дети и причем здесь язык Гёте, Гейне и Томаса Манна? Но ни девушки, несущиеся сквозь голодные купчинские поля и руками прикрывающиеся от рвущихся кругом снарядов, ни моя подруга, художник Ленина Никитина, девятилетней девочкой волокущая по зимнему городу на саночках труп матери, а потом сестры, почему-то никак не хотят, скорее, не могут раствориться в воздухе. Ни в холодном влажном питерском, ни в жарком мокром хьюстонском.

Симфония мощно двигалась к финалу, круша сознание и в то же время наполняя немыслимой силой. Откуда этот тридцатипятилетний человек добыл эту силу, как он со своим нежным ранимым обликом сумел создать этот каскад звучания, это неуклонное вздымание ослепительной трагической гармонии?

Да, он писал музыку к советским кинофильмам, да, это он написал кантату «Пионеры сажают леса» и «Песню о Встречном». Ему приходилось делать вид, что он идет в ногу с режимом. Чтобы выжить ему самому и его семье. Но в музыке он никогда не уклонялся от истины, никогда не лгал.

Суперкомфортабельный зал, заполненный нарядными техасскими меломанами, оцепенел, обожженный звучанием давнего и вечного страдания. И на пике этого страдания все прервалось, и музыка, словно споткнувшись, смолкла.

Зал захлебнулся воплем аплодисментов.

Мы сразу вышли. В пустынном пока фойе, где на дистанции друг от друга стояли приветливо улыбающиеся служащие, Лена вдруг остановилась и повернулась ко мне. Она была бледна и явно хотела сдержаться. Но внезапные злые слезы все же брызнули у нее из глаз.

— Даже не объяснить этим хронически сытым людям, что это такое — блокада Ленинграда, не сказать про людей, которые падали и умирали на улицах от голода. А Дорога жизни? Когда больных и детей вывозили на грузовиках по ненадежному льду Ладожского озера и их в упор расстреливали немецкие батареи? Или же грузовики просто проваливались под лед?

Шквал аплодисментов постепенно снижался и, как это всегда бывает в американских театрах, мигом иссяк. Двери зрительного зала распахнулись, и спокойные улыбающиеся люди заструились наружу.

Мы шли сквозь зной хьюстонского downtown'а, зной, от которого не могли защитить полчища небоскребов, чудом вколоченных в эту болотистую землю, где обычные дома строились без фундаментов. Группа смуглых подростков с гиканьем носилась по проезжей части на роликах. Машины спокойно объезжали их набыченные, спружиненные фигурки. Стайки редких прохожих брели нам навстречу.

— Прости, но мне во всем этом чудится какая-то высшая извечная несправедливость, — сказала Лена, постепенно умиротворяясь. Она две недели назад приехала к нам в гости из Санкт-Петербурга, вся усталая и взъерошенная, но уже как-то оттаяла, успокоилась, и этот рецидив застал меня врасплох.

— Здесь тепло и сытно, — продолжила она, — а там до сих пор многие люди не могут нормально питаться. И эти люди — все те же, оставшиеся в живых блокадники и дети блокадного Ленинграда. И вопли в прессе, что им к пенсии добавляют еще одну тысячу рублей, то есть тридцать долларов, неприличны, это просто глумление.

— Ну, а что мы можем требовать от здешних, если они понятия не имеют, что случилось на краю света шестьдесят лет назад? Леночка, они ничего этого не знают. И от благополучного австрийца мы не можем ожидать, что он станет заламывать руки в раскаянии. Он зато ответил музыкой, а переврать Шостаковича невозможно.

Две развеселые молодые женщины стояли на переходе улицы. Афроамериканки, как принято теперь обозначать чернокожих жителей этой страны. Их поющие тела были минимально и красочно задрапированы.

— How can I get to Walker Street? — спросила я.

— Keep going this way and after two blocks turn left. You can't miss it, — радостно заголосили они, усиленно жестикулируя, и их ладные фигуры обрели окончательное сходство с только что виденными на сцене виолончелями.

— Thank you very much, — вежливо сказали мы с Леной.

— Any time, — в терцию прокричали они нам вслед, вздымая вверх руки с бутылками пива.

Ансельм Кифер родился в Германии в марте 1945 года, за два месяца до самоубийства Гитлера, так что идеи и практику тысячелетнего рейха он не смог испытать на собственном опыте. Он вырос и стал знаменитым художником. В Германии к нему относятся с почтительной настороженностью. По какой-то причине в сердце этого человека, родившегося в провинциальном немецком городке, стучит пепел миллионов погибших. Он всеобъемлюще изучает в своих огромных работах нацистскую катастрофу, постигшую мир и Германию. Его холсты — это World after Auschwitz, мир после Освенцима. Его завораживает мысль, каким образом Гитлеру удалось извратить немецкую нацию и немецкую культуру. Работы его в основном огромны по размеру, в них преобладают серые пасмурные тона. Он часто использует одну из своих излюбленных техник — брызги расплавленного свинца на холст цвета человеческого пепла. Это еще более усиливает тягостное ощущение совершившейся кремации. И многие его работы смотрятся обугленными пламенем Холокоста. Словно для того, чтобы довести их до завершения, туда ткнули горящим факелом. В его холстах сплав горечи, пессимизма, любви, иронии, издевки.

Меня с самого первого раза, когда я увидела выставку Кифера в Нью-Йорке, в одной из галерей Гринвич Вилледж, гипнотизирует цикл его работ под названием «Созвездия» (Constellations). В бездонном черном космосе — мириады погасших, почти невидимых черных звезд. Они соединены четкими геометрическими линиями. И возле каждой звезды четким же шлейфом тянутся буквенные и цифровые начертания. Для меня — это души погибших, ушедших в темное небытие. А цифровые и буквенные обозначения рядом — номера узников концлагерей, отпечатанные в вечности.

Является ли это в какой-то мере искусством искупления? Хочется верить, что это так.

2004 г.

ДЯДЯ МИША И ДЯДЯ ГРИША

Мы ждали Антона Антонова-Овсеенко возле его квартиры. Недолго, не больше пяти минут. Внизу хлопнула дверь парадной и послышались легкие шаги. Потом органом завибрировал лифт, и кабинка его остановилась почти вплотную к нам.

Седовласый худощавый, в очках с гипертрофированно-толстыми стеклами человек выпрыгнул на площадку. Легкость его движений, казалось, не обременяла огромная сетка с двумя мощными арбузами.

— Это вы и есть обещанные братцы-ленинградцы? — воскликнул он, подходя к нам с протянутой свободной рукой. И тут стало видно, как он немолод и как тяжело дается ему арбузная ноша.

То была вторая половина восьмидесятых, эра интеллигентских, быстро отступивших иллюзий.

— Антон — историк, — веско заявил наш провожатый, — он уже написал значительные книги о Сталине и теперь интересуется Берией.

— Я ведь провел кучу лет в лагерях, — весело вклинился в беседу хозяин дома. — Но лучше давайте угостимся арбузами. Мне кажется, я сегодня у купил удачные образцы. Я в сезон каждый день уничтожаю по одному фрукту-овощу.

Разрезанный арбуз явил нам свое знойное-красное, впадающее в фиолет, нутро.

— Понимаешь, Фима, — обратился Антон к нашему другу, — мы играем с лукичами в какую-то веселую чехарду. — Я ведь рукописи прячу в электрощитке. Все прослушивается, но сейчас это неважно, все равно состоялось. Так вот, пару дней назад сую я свой фолиант в щиток и натыкаюсь на руку, которая его у меня из руки же вынимает. Я слепой, как крот, после лагеря, а они там проделали дыру из соседней

квартиры и закрывают ее на дверку. Вот прислали какого-то олуха.

— А теперь давай выйдем на балкон. Там такой рев с улицы, потолкуем свободней.

— А почему вы решили съедать каждый день по арбузу? — глупо осведомилась я, когда был взрезан второй гигант, и хозяин принялся разделывать его, словно тушку только что убитого ягненка.

Он резко повернул голову в мою сторону, и стало очевидно, что вся его веселость — лишь тонкая пленка, искусственное новообразование на мутном потоке пережитого отчаяния.

— Потому что арбузы очень полезны, они промывают весь организм. А я еще хочу кое-кого пережить.

Светская беседа, состоявшаяся при уничтожении арбуза, касалась красот и очарования Ленинграда. На прощанье хозяин сказал беспечно:

— Приезжайте, останавливайтесь у меня, братцы-ленинградцы. Вы мне понравились.

У моих бабушки и дедушки по маминой линии было семеро детей. Три девочки и четыре мальчика. То есть у меня и сестры с маминой стороны было две тети и четыре дяди. Одна из маминых сестер была мне незнакома. Ее с мужем выслали в Сибирь, где она, будучи тяжелым гипертоником, ослепла и скончалась от инсульта. Муж ее позже был реабилитирован и поселился вместе с дочерью в Москве в крохотной комнате коммунальной квартиры, которую ему пожаловало государство. Через несколько лет он умер в этой самой комнате от сердечного приступа.

Его дочь Нина училась в Ленинграде, в Педагогическом институте им. Герцена. Хорошо помню, как в день смерти Сталина массивная Нина, прижавшись своим жарким телом к топящейся печке, захлебывалась рыданиями. Это не был спектакль египетской плакальщицы, который нам продемонстрировала на пионерской линейке директор школы. Это были добротные искренние рыдания осиротевшей души. Глядя на нее, я ощущала неловкость. Слезы из меня не лились, хотя я и пыталась из солидарности выжать какое-то

подобие стенаний. К тому же, один момент на пресловутой линейке скорби потряс весь мой организм советской пионерки. Сквозь щедрые всхлипы напуганных детей прорвался басовитый голос моей подружки Лидки Романишко. «Сдох, собака, — внятно произнесла она, — теперь папка из лагеря вернется». Она была отличница, жила напротив школы, и мы часто к ней забегали. Иногда встречали в крохотульном пространстве их комнатки маму Лиды. Была в ней какая-то отчаянная лихость. Она в основном курила, временами роняя насмешливые реплики и резко стряхивая пепел в забитое окурками блюдце. Мы ее побаивались, хотя она была красива, с хорошо выточенной фигурой и неулыбчатыми глазами цвета пожухлой зелени. Изреченный Лидкой ужас подбитой птицей ухнул в пропасть моего сознания и тут же забылся.

Позже, на улицах, когда все пространство было заполнено прекрасной музыкой, лившейся из многочисленных репродукторов, плач стал реализовываться легкими всхлипываниями в такт «Грезам» (Traumerei) Шумана. До сих пор для меня остается неведомым, что за хор исполнял это мажорное по тональности и трагическое по духу, а в реальности достаточно простенькое двухстраничное фортепианное сочинение композитора. Одно лишь бесспорно: именно эта музыка высших сфер, явленная жертвам тирана после его смерти, была очистительной молитвой, слезой, спущенной с неба одураченным и измученным душам.

За столом родственники собирались по праздникам и на дни рождения. Все гастрономические изыски советской кухни, помогавшие человеку быстрее оставить этот свет, были явлены на большом столе: студень, варившийся из добытых ножек животных нескончаемые часы, хрен к нему, который хозяйки приготовляли сами, натирая жгучий, купленный на рынке корень и поминутно утирая слезы, рыба в томате, изобилующая костями, салаты с майонезом, винегрет, селедка простая и под шубой, колбасы и сыры. На горячее подавалось мясо на противне либо утка или курица. На сладкое — крендель с маком и корицей, который мастерски пекла одна из теток. Разговоры за столом начинались с переклички:

— У меня вчера было давление 190 на 110.

— А у меня, — тут же слышалось в ответ, — 220 на 120.

Выигрывал последний заявитель, и часто им была моя мама.

— А у меня вчера было 260 на 130, — вступала она, и все почтительно умолкали.

Обычно за столом сидели три маминых брата — Павел, Эмма и Гриша с женами, тетя Миля, ее сестра, сначала одна или с дочерью Ларисой, а потом и с мужем, дядей Мишей, вернувшимся из ссылки. Был еще один брат, дядя Абрам, которого мы почти не видели, так как он с женой жил в Москве. Их единственный сын Боренька погиб под Ленинградом в первые же дни войны. Ему было семнадцать и он только что окончил школу.

— Нам сказали, что мы все должны идти добровольцами, — заявил он, вернувшись с комсомольского собрания.

Дядя Абрам был преподавателем вуза и известным строителем. После войны они оказались без площади и жили в бараке с огромным количеством соседей. Много позже этих сдружившихся между собой людей расселили в новых пятиэтажках в районе Московского университета. Дядя был счастлив. Им выделили однокомнатную квартиру.

Родственники оказались хранителями страшной тайны московского брата. Непонятно каким образом, но Абрам Фридман, старший по возрасту среди детей и живший с семьей в Екатеринбурге, оказался учеником юнкерского училища. В один из его приездов я пошла с ним в Эрмитаж. Он был грузным, небольшого роста человеком в пенсне. Передвигаясь, он слегка пыхтел, но лицо его лучилось непередаваемым добродушием. Остановившись у окна, выходящего на Неву, он простенько сказал: «А возле этого окна я дежурил с пулеметом в октябрьские дни». Для меня, зеленой студентки советского ВУЗа, это не поддавалось осознанию и вскоре выпало из памяти. Оказывается, в 1915 году он поступил в Санкт-Петербурге в юнкерское артиллерийское училище, которое располагалось в Михайловском замке. Всегда привилегированное, училище в то военное время очень нуждалось в новых прапорщиках, а так как число молодых дворян в тот период резко сократилось, планку пришлось понизить, и туда стали принимать не только мещан, но даже евреев,

каковых в училище оказалось всего трое. Как рассказывал дядя, над ними там здорово потешались. Уйдя из Зимнего с другими юнкерами накануне штурма, дядя Абрам добрался до Екатеринбурга, где вступил в армию Колчака и сделался командиром орудия. Видимо, неплохим. Моя мама, как-то предавшись воспоминаниям, вытащила из сундука и показала мне колчаковскую газету, где была заметка, озаглавленная «Юнкер Фридман подбил красный танк». Среди родственников он считался опасным носителем крамолы и ненавистником советской власти. Однако его уважали и за советом всегда ехали в Москву.

За длинным овальным столом в нашей квартире на Петроградской родственники размещались по семьям. Дежурная перекличка с цифрами давления обрывалась паузами на еду. Младший из братьев, Павел, чье имя и сейчас с любовью произносят в Петербургском институте радиолокации, где он был начальником конструкторского отдела кораблестроительной верфи, исполнял партию тамады. Жилось ему тяжко. На войне у него было скверное ранение в ногу и ее пришлось ампутировать выше колена. Но фамильное чувство юмора цвело в нем на радость окружающим. Он любил подтрунивать над своей красоткой женой и над собой, рассказывая, как, скажем, заснул на партийном собрании и прекрасно выспался, на два дня вперед. Или как он, главный конструктор, звонил из кабинета сестре, моей маме, и тихо говорил: «Это я, Федя». И как все присутствующие дико смотрели на него, не зная, что Федя — его домашнее имя, и размышляя, не агент ли он, Павел Моисеевич, иностранной разведки.

И когда фокус внимания сосредоточивался на нем, както забывалось, что на противоположных сторонах стола с каменными лицами, стараясь не смотреть друг на друга, сидят дядя Миша и дядя Гриша.

Дядя Гриша, невысокий грузный человек с тяжелым взглядом, служил в НКВД. До войны он работал в Большом доме, откуда его сослали на Дальний Восток за то, что он выступил на собрании против изучения Краткого курса ВКП(б), написанного Сталиным. Видимо, он был ценным работником, потому что его не расстреляли и даже не по-

садили, а дали начальствовать одним из лагерей на Колыме. Его жена, птичка-колибри Фира, до опалы была на пороге артистической карьеры звезды театра оперетты. Миниатюрная, с прекрасно вылепленной фигуркой, большими синими глазами и аккуратной, с перманентом, прической, она обладала роскошным голосом. Поехав за мужем, она нашла утешение в организации лагерной самодеятельности, о чем с увлечением рассказывала за столом, сложив губки бантиком и перекрывая гомон своим сильным мелодичным сопрано.

— Фира, помолчи, тебя вызовут, — временами прерывал разрастающееся щебетание дядя Гриша. Присутствующие понимающе улыбались, оценивая жаргон сталинских трибуналов, как еще одно свидетельство фамильного юмора.

Дядя Миша никогда не вклинивался в общее ликование. Совсем небольшого роста, с редким пушком на круглой голове, в круглых же очках, он смирно сидел возле своей жены, младшей маминой сестры, тети Мили. Иногда его глаза подергивались слезами, но лицо оставалось неподвижным. Словно огонь, полыхавший в нем, изолировали надежной заслонкой и теперь он мирно догорает в пределах его припухшего тела.

До войны он был финансовым специалистом высокого ранга, работал, как почтительно говорили родственники, с самим Микояном. После ареста в 1938 году он провел восемь лет в лагере. Его выпустили в 1946 году и он приехал в Ленинград, к жене, которая не имела площади и была вынуждена снимать комнату, вернее, кусок ее, перегороженный занавеской. В то время это называлось «снимать угол». В другой части помещения обитали хозяева. У дяди Миши и тети Мили была дочь, студентка института иностранных языков, хорошенькая Лариса. Не проживший и двух лет с семьей, дядя Миша в 1948 году был снова арестован и выслан на поселение в Туруханский край, за четыреста километров от железной дороги, где он провел еще семь долгих лет. Ко времени его выхода из нового заключения тете Миле выделили комнату в новом пятиэтажном доме, на тогдашних задворках города, возле Волковского кладбища. В этом районе и сейчас худо с транспортом, а в то время передвиже-

ния новоселов и вовсе смахивали на цирковые трюки. Но тетя Миля была счастлива. И уже совсем позже дяде Мише с семьей, как жертве репрессий и реабилитированному лицу, предоставили двухкомнатную квартиру в Купчино.

Так мы и сидели за столом, заполненным жирной обильной едой, гулким смехом откликаясь на шутки дяди Павла и осторожно вглядываясь туда, где сидела семья Брейдо. Это была фамилия дяди Миши. Оба дяди, Гриша и Миша, игнорировали друг друга. Оба были очень больными людьми. Дядя Гриша, как и все мамины родственники, был тяжелым гипертоником. Усугублялось это пьянством. Он не был алкоголиком, но в застольях пил много и тяжело. Изъяснялся он рублеными фразами, поражавшими меткостью выражения и неожиданной проницательностью. Когда он говорил, все замолкали. Мама уверяла, что в детстве он был добрым и мягким мальчиком. Наверняка, лагерная эпопея хорошо прочистила его сознание, а сидение за одним столом с бывшим зэком не давало возможности расслабиться. Дядя Миша, проведя за проволокой много лет, был болен, как говорится, априори.

Однажды непонятно по какой причине, когда родственники собрались малым кругом, и дядя Миша с тетей Милей отсутствовали, дядя Гриша произнес вдруг речь, которую я запомнила в деталях на всю жизнь.

— Когда убили Кирова, — четко произнес он, и все мгновенно стихли, — в Смольный прислали лейтенанта Костю Малия. Он жил тогда в вашей квартире на Кировском, 26/28. (Дом на Кировском в Ленинграде — бывший аналог знаменитого Дома на набережной в Москве. Там жили Киров, Тухачевский, а также множество сгинувших позже партийных функционеров). Моему отцу как директору Института профзаболеваний выделили в этом доме после войны большую квартиру в первой парадной на четвертом этаже, куда позже моя мама пригласила жить две семьи братьев, Павла и Эммы. Семье последнего досталась маленькая комната в самом конце длинного коридора. Именно в этой квартире, в этой же маленькой комнате и проживал в то время лейтенант Костя Малий.

— Костя Малий приехал в Смольный и арестовал коменданта, — не сбиваясь с курса, продолжал дядя Гриша. — Он посадил его в машину и повез в Большой дом. Когда машина проезжала мимо каменной стены возле Большого дома, Костя Малий так повернул руль, что машина врезалась в стену и комендант был убит. После этого, — мерно повествовал дядя Гриша онемевшим родственникам, — Костю Малия повысили в звании. Ему дали полковника. А через пару месяцев расстреляли.

Когда дядя Гриша смолк, комментариев не последовало. Ответом ему было лишь выразительное молчание. А пиршество потекло по обыденному руслу. Пора было подавать чай.

Тогда, в конце 80-х, я вспомнила этот рассказ, сидя за арбузной трапезой в просторной квартире Антонова-Овсеенко.

— Великолепно, — воскликнул хозяин, — это как раз то, что мне очень надо для следующей книги. Вы можете написать это для меня и передать с Фимой? — просяще осведомился он. — Он ведь часто бывает в Ленинграде.

— Конечно, — с энтузиазмом ответила я и, выйдя на шумную улицу, немедленно забыла об этом.

Много позже, в результате бесконечных напоминаний и укоров москвичей, я переслала Антонову — Овсеенко рассказ дяди Гриши, кратко обрисовав по пути ситуацию со вторым дядей-страдальцем Мишей.

— Антон поместил твой рассказ в свою книгу. Он не изменил там ни слова, — значительно сообщил мне друг из Москвы.

Лишь недавно я нашла упоминание об этом эпизоде в книге Антонова-Овсеенко «Портрет тирана», издания 1994 года.

И все это было вечность назад. И в то же время как будто вчера.

Недавно, бродя по интернету, я наткнулась на интервью Антонова-Овсеенко, данное им радио «Свобода» в 2004 году. Интервью было посвящено 125-й годовщине со дня рождения Сталина. Как приятно было узнать, что Антон, этот

прелестный человек, еще здесь, с нами, что арбузная диета сработала и что он теперь директор Музея истории ГУЛАГа, а также руководитель региональной общественной организации жертв политических репрессий.

Антон громил Сталина точеными фразами. Ненависть его была облечена в лаконичную форму. Он говорил о «метастазах сталинизма». Говорил, что Сталин превратил советский народ в «народ доносчиков». Однако бьющие наотмашь аргументы и логика их построения оставляли в стороне многочисленных участников террора, вытаскивая на-гора́ лишь куклу рябого горца. Правда, было заявлено, что тоталитарный режим бывает иногда востребован самими людьми, если он «заложен в самом инстинкте народа».

Отец Антона, мифологический герой советской эпохи Владимир Антонов-Овсеенко, был фактическим руководителем октябрьского переворота. Это по его приказу было арестовано Временное правительство. «И один из ворвавшихся, пенснишки тронув, объявил, как о чем-то простом и несложном: я, предреввоенсовета Антонов, Временное правительство объявляю низложенным», — писал Маяковский в поэме «Хорошо». Во «время о́но» (Сталина) поэма Маяковского печаталась без строф об Антонове-Овсеенко.

Позже этот человек в пенсне и с мягким всепрощающим взглядом вместе с Тухачевским уничтожал в 1921 году тамбовских крестьян, поднявших восстание против поборов новой власти. Нет ни малейшего сомнения в том, что он был уверен в своей правоте, приравнивая расстрелы, взятие заложников и уничтожение газом скрывавшихся в лесах людей к почти религиозному служению революции. Его партийным псевдонимом был «Штык», а литературным — изящный «А. Гальский».

Он был арестован в начале 1938 года и в этом же году расстрелян. Самого Антона арестовали в сороковом году, когда ему было двадцать, и он провел в лагерях с перерывами в общей сложности 13 лет. В заключении он потерял и без того плохое зрение. Последний арест произошел в 1984 году и в 1986 его выпустили снова.

Как ни парадоксально, но ряд бывших узников ГУЛАГа сохранил вживленный в них еще до заключения имплантант

безумия. И ген одержимости коммунистическими идеями. Некоторые из них передали все это детям. Что не удивляет.

И все же ответ Антона на вопрос о его отношении к действующему президенту прозвучал неожиданностью. Выяснилось, что отношение это более чем положительное. И пенсия размером в три тысячи рублей не изменила мнения бывшего политзэка. Оказалось, что нынешний лидер — человек высокообразованный и к тому же собиратель земель русских. Почему-то в народе многие считают, что собираются в основном дворцы Петербурга, его окрестностей, а также замки Франции и Швейцарии. А застрявшие на декады в мозгах современников перлы типа «жевать сопли» и «мочить в сортире» бесспорно указывают на новые вехи в культурном пространстве нынешней России. Ссылка на возраст Антона здесь неуместна. Он сохранил остроту полемиста и четкость изложения. Однако логика делает ему здесь прощальный жест. И это тоже брожение гена. Ведь тот, о котором Антон с таким пиететом говорит, считает, что Сталин совсем неплох. Ибо сам он является пигмейным слепком «вождя народов». И здесь-то, скалясь, и вылезает тот самый ген безумия, который управлял человеком в пенсне, человеком с почти чеховским обликом, одним из армии изувеченных душ — Владимиром Александровичем Антоновым-Овсеенко.

Мне думается, что оба мои дяди ушли из этой жизни по канонам высшей справедливости. Дядя Гриша получил инсульт, после которого он с трудом приходил в себя. Он стал слезлив и беспомощен. Уход его был долгим и жестоким. Дядя Миша умер сразу: вышел как-то утром на кухню и тут же упал. В иудейской религии такую смерть называют «поцелуем Бога».

2008 г.

МАСТЕРА ЭПОХИ СОВЕТСКОГО РЕНЕССАНСА

Забавную формулу «Лучше изменить мужу, чем мастеру» я услышала из уст четырнадцатилетней девочки, ученицы мастера в дамской парикмахерской советского периода. Ирочка Ивлева, уютная ранняя миловидность которой стоила ей многих женских неприятностей, произнесла это, когда я впервые села к ней в кресло в пустой парикмахерской на улице Щорса Петроградской стороны. Я вошла туда под самое закрытие, полная досады и жажды реванша, поскольку мой постоянный мастер, Абрам Филиппович, впервые за два года не появился в назначенный час на пороге своей неуютной, начинавшейся прямо с кухни квартиры. Звонок уныло верещал внутри, но движения там не наблюдалось. Я вышла на улицу и, задрав голову, обозрела два равнодушных окна на четвертом этаже. Они словно застыли. Было еще светло, и я бездумно побрела в направлении площади Льва Толстого. По дороге заглянула в мясной магазин на углу, осмотрела пару несвежих мослов на прилавке, продавца в грязном фартуке, стайку посетительниц, в сомнении разглядывающих выставленные экспонаты. Следующей по пути следования была кофейня с буроватым напитком из «ведра» (большого металлического бака), куда уже была добавлена сгущенка. Я выпила этот кофе в ансамбле с песочным колечком, как положено, стоя, и, приободрившись, вышла на улицу.

И вплотную в предыдущему объекту оказалась парикмахерская. Дверь была зазывно открыта. В пустом салоне сидели двое — невыразительная блондинка с чашкой в руке и пухловатая девочка-подросток. Девочка глянула на меня индифферентно, без профессионального прицела, и спросила:

— Вам только укладка или стрижка тоже?

Я села в кресло к малышке с ознобом внутри. Я ожидала казни, но она не состоялась. Стрижка оказалась блистательной, и укладка не скрывала, а подчеркивала ее совершенство.

Здесь-то она и изрекла профессиональную формулу своего клана. Равное этому определению я много позже услышала в компании врачей-реаниматоров: «Лучше иметь твердый шанкр, чем мягкий характер». Видимо, каждая профессиональная общность имеет свод собственных, наработанных годами афоризмов, но об этом позже. Я прикипела к этой девчушке, находившейся тогда на пороге ее пятнадцатилетия, на долгое десятилетие моей следующей жизни.

Найти хорошего парикмахера в советское время было все равно, что выиграть миллион по трамвайному билету. Если представить себе основные жреческие касты того периода — директоров продуктовых и промтоварных магазинов, мясников, фармацевтов, врачей-гинекологов, венерологов и стоматологов — в ложах Мариинского театра, то гильдия мастеров стрижки могла претендовать на достойное место в партере.

Несчастные советские девушки, как страстно мы всматривались в стрижки актрис в редких французских фильмах, как по-рахметовски спали на железных бигудях, как исступленно наматывали пряди волос на раствор льняного семени, чтобы дольше держалась укладка, как неделю спали с сеточкой на голове, чтобы залакированное сооружение дожило до следующей экзекуции в парикмахерской.

Мой крестный путь по городским салонам начался в последних классах школы, когда по приказу мамы, считавшей, что из-за обилия длинных волос я выгляжу неприлично лохматой, ее подруга, архитектор Тамара Львовна Квин, сладострастно обкорнала меня под горшок, после чего тревоги мамы возросли в геометрической прогрессии. Волос, как оказалось, стало еще больше. Они топорщились на затылке, лезли в глаза и ошеломляюще быстро отрастали.

До обретения своего личного мастера я кочевала по салонам Петроградской стороны. Самый удобный располагался в трех минутах ходьбы от дома, в Пушкарских банях, куда я прекратила ходить после того, как одна из клиенток, молодая девушка, по нехорошему совпадению, дочь приятеля моего отца, погибла под феном от удара током. Тогда я начала обживать парикмахерскую на углу Гатчинской ули-

цы и Большого проспекта. Там можно было записаться на определенное время или же просто встать в очередь к своему мастеру. Затянувшееся царствование прически «бабетта», которая с триумфом прошествовала по головам советских девиц по окончании проката французского фильма «Бабетта идет на войну», закончилось, но варварский метод «начеса» остался и казался неувядаемым. Посиделки в «ожидальне» парикмахерской длились часами, особенно перед праздниками. Мы выходили в мир с пучившимися от начеса волосами, извергая запах дешевого лака из семейства клея, с целью лелеять и хранить обретенную башню не менее недели. «Ожидальня» в этой парикмахерской была маленькая, сидели и стояли впритирку, постепенно накаляясь здоровой и крепкой злобой. Мастера, почему-то всегда женщины, работали споро, наглядно подпитываясь этой энергией и осознанием своей власти. Здесь была общность, скорее даже клан, с особой системой ценностей, отработанными шутками, разговорами о всяких домашностях. Переклички мастеров звучали шифром. Сидящие под ножницами клиентки вклинивались в них заискивающими и понимающими улыбками. Это были улыбки посвященных. Иногда мне с ужасом вспоминался еще один образец монолитной спаянности женского коллектива — героинь романа Куприна «Яма». Фены в комнате рядом натужно ревели. Женщины, смахивающие на крестоносцев в шлемах из железных бигуди, старались их переорать. Иногда в «ожидальню» выбрасывались потрясающие фрагменты дамских откровений.

В салоне была своя иерархия, на вершине которой утвердилась самая востребованная из мастеров, Лариса, невысокая, с широким степным лицом, очевидный лидер команды. Как-то две девушки, из тех, кого теперь модно называть «лицами кавказской национальности», заняв очередь, ушли на какое-то время. Когда они вернулись, им агрессивно заявили, что «их здесь не стояло», и пусть они занимают очередь по новой. Девушки старались держать южный темперамент под контролем, но не совсем преуспели в этом, они упорствовали и даже повысили голос. Кучка женщин-аборигенов постепенно остервенялась, хор их звучал уже в высоком регистре, на фоне которого вдруг фистулой провизжало:

«Можете убираться, откуда приехали. И здесь все смолкло, потому что на подиум (салон находился на несколько ступенек выше «ожидальни») вышла Лариса. Она осмотрела присутствующих и безошибочно определила солистку. Выдержав паузу, в течение которой она разила экстремистку взглядом, Лариса, четко разделяя гласные, медленно произнесла:

— Ай-я-я-й, — словно отшлепала глупого ребенка.

И вернулась к клиентке.

Через какое-то время мучения мои прекратились. Я раздобыла адрес мастера, работавшего в самом знаменитом салоне города на Загородном проспекте. Звали его Абрам Филиппович, было ему под шестьдесят, и он недавно вернулся из лагеря. Это был стеснительный и краткий период жизни советского общества, который Илья Эренбург окрестил «оттепелью». После откровений Хрущева на съезде державной партии в журналах вдруг появились невиданные публикации, а в концлагерях страны наступило время исхода. Многие семьи пополнились робкими людьми с землистым цветом лица. О них говорили вполголоса, сами же они почти не разговаривали. Правда, друг моих родителей, Аркадий Брагинский, пробывший «там» двадцать пять лет, голос подавал — он орал ночами. Его сын Гаррик с кощунственным артистизмом показывал мне, как отец с совершенно разинутыми глазами вскакивает ночью ногами на кровать и улюлюкает домовым, пока его не разбудят.

У нас какое-то время жила Ксения Матвеевна, профессор химии. Она только что вернулась из лагеря и кто-то из знакомых упросил маму временно пустить ее в нашу большую и неудобную квартиру. После смерти отца со стороны управдома — так называли людей, ведавших жилыми домами — были попытки изъять у нас «лишнюю жилплощадь». К разочарованию ушлого дядьки и соседей по лестнице, отнять комнату не удалось, потому что из трех комнат две выходили в третью и не получалось никак вселить в квартиру посторонних. Сестра с мужем-военным и ребенком временно проживала на просторах Родины, сначала в Казахстане, потом на Урале. Я робела перед Ксенией Матвеевной. Она пугала молчаливостью, высотой костистой фигуры, неподд-

вижностью лица. Она хранила тайну прежней жизни с истовостью графа Монте-Кристо. Только один раз она рассказала маме, как они спали в лагере: сардинами в консервной банке, все на одном боку, вжавшись друг в друга и переворачиваясь по команде. У нее было лицо цвета пепла, и я не разу не заметила даже проблеска улыбки.

Абрам же Филиппович улыбался постоянно. Улыбка его была смутной, будто во сне. Его незавершенная лысина была утыкана кустиками волос, и жил он Петроградской, на бывшей улице Щорса, на четвертом или пятом этаже. Я даже адрес помню: Щорса, 55. У него была жена, которую клиентки почти не видели. Никогда мне в то время не приходила в голову мысль, ждала ли она его, пока он был в лагере, или появилась в его жизни после освобождения. Скорее всего, ждала, как многие в то время.

Пучки на голове Абрама Филипповича приветственно шевелились, когда он открывал дверь своей квартиры и наливал чай, если приходилось ждать. Казалось, лицезрея у себя в кресле юные лица и ведя с девицами легкие беседы за мытьем головы, стрижкой и укладкой, он догоняет украденную молодость. Сушка волос, намотанными на бигуди, была цирковым трюком: мы сидели на низкой скамеечке, держа голову на уровне духовки и накрывшись газетой. Работал он, как я теперь понимаю, на честную тройку с плюсом.

Предметом хронического любопытства девиц было место его работы — суперпарикмахерская на Загородном проспекте. Не то чтобы попасть туда, но даже и мечтать об этом было абсурдом. Все разговоры с Абрамом Филипповичем неизбежно замыкались на городской знаменитости по имени Мая. Маечка была звездой парикмахерского искусства. Она была недосягаема. Когда город посещали коронованные особы и высокие гости из неведомого нам мира, за ней, и только за ней, приезжала специальная машина и ее увозили делать прически. С намеком на некоторую зависть Абрам Филиппович упоминал странную особенность Маечки — ее необузданную, на грани психического заболевания, тягу к мужскому полу.

Однажды мне выпал неожиданный приз. Перед какими-то праздниками Абрам Филиппович сказал мне, что-

бы я приехала в салон, поскольку из-за обилия работы он почти не бывает дома. Я долго стояла в «ожидальне», оглушаясь ревом фенов и покрикиваниями мастеров: у всех был донельзя авторитетный вид. Клиентки здесь были особого сорта, с печатью привилегированности, одетые с невозможной для меня элегантностью, ухоженными руками и надменностью во взгляде. Мастера все были женщины, только Абрам Филиппович неудачно представлял противоположный пол. Возраст наглядно проступал на его свекольного цвета, с росинками пота, лице. Волоски на голове прилипли к лысине, улыбка испарилась. Он подбежал ко мне и сказал: «Детка, я совсем в запарке, сейчас я попрошу Маю тобой заняться, у нее клиентка заболела».

Она подошла ко мне, маленькая, хмурая, с угольными провалами под глазами и телом первой степени невесомости. Она не задавала вопросов заурядных парикмахеров: «Что вы хотите и на какую сторону зачесываете волосы?» Она вообще молчала и лишь один раз буркнула: «Зачем челку выстригли?»

Я вышла оттуда итальянской кинозвездой. А она всего лишь повернула прядь спереди с порченой челкой так естественно мягко, так «отутюжила» феном волосы с боков и подняла затылок, что получилось, будто я такой родилась и это непререкаемо мой подлинный облик. Никогда ничего подобного со мной больше не случалось. Она была гением.

Много позже, в начале перестройки, кто-то сказал мне, что Мая теперь работает в салоне на улице Толмачева. Я както зашла туда, проходя мимо. Мне подтвердили, что да, она работает, но сейчас болеет. Моя застарелая робость осталась, да и времени никогда не хватало. Больше я туда не заходила. Говорили, что она много пьет. Очень скоро после этого она умерла. Она навсегда осталась в памяти, как сгоревшая птица-феникс.

* * *

Незатейливый цветок Петроградской стороны, Ирочка Ивлева выросла в восьмиметровой комнате коммунальной квартиры. Отца у нее не наблюдалось. Мать ее, та самая невыразительная блондинка с чашкой в руке, выучила ее ре-

меслу парикмахера, когда ей только-только стукнуло четырнадцать и она бросила школу. Работать девочка не имела права. Мать, видимо, оформляла деньги на свое имя. Ремесло матери в исполнении Ирочки переросло в искусство. В ней не было генетического демонизма Маи. Она не могла сразу впитать в себя клиента и выразить свое, игнорируя его запросы. Однако стрижки ее были виртуозны. Два качества осложняли ей жизнь — покладистость и миловидность. К тому же она была обезоруживающе откровенна. Уже во вторую нашу встречу она сообщила, что уходит на аборт и не будет в салоне пару недель. Сказала так буднично, словно просила подождать, пока она сбегает в булочную за хлебом. В парикмахерскую заглядывали иногда тихие молодые люди, всегда разные. Потом на авансцену вышел милый парень, таксёр по профессии. В свои пятнадцать лет она самоубийственно бегала на аборты раз в четыре месяца. Она искренне не ведала, что творила. После каждого «сеанса» отчетливо, но недолго просматривался пасмурный душевный настрой, однако это не влияло на нежный окрас ее личика. Врачи в женских консультациях отказывались давать ей направления в больницу, приходилось находить лазейки.

— Кому какое дело, сколько я за день пропускаю! — возмущалась она.

— Правильно, Ириша, кому какое дело, — раболепствовала клиентка в кресле.

Вопреки злорадным прогнозам гинекологов, она, выйдя через три года замуж за таксёра Костю, родила двух крепких мальчишек и стала образцовой матерью, женой и даже невесткой.

Мои воспоминания о ней фрагментарны и окрашены светом. Несколько раз я приезжала к ней «посидеть моделью» в конкурсах, так как ее устраивала форма моего затылка. При изрядной обойме разнообразных стрижек коньком ее была короткая. А здесь затылок исполнял решающую роль. Несколько раз она приезжала ко мне в Купчино, когда я, родив, не могла явиться на Петроградскую. В потоке ленинградцев, хлынувших в кооперативные квартиры на задворки города, она переселилась с семьей на Гражданку, и лишь тогда наш альянс распался.

Полину Михайловну, мою последнюю звезду из плеяды питерских мастеров, я впервые увидела на кухне у своей приятельницы. Моя кругленькая и удачливая в тогдашней жизни подруга очень хорошо шила и прилично этим подрабатывала. Хотя изделия ее, обозреваемые с внутренней стороны, обличали дилетанта, все дамы выходили из ее квартиры, лучась от счастья. У нее была точная рука и чутье художника. Она давно бросила инженерную службу еще и потому, что муж ее был видным судостроителем и финансовых проблем в семье не наблюдалось. Я, в то время уже разведенная, с ребенком на руках и неинтересной работой, бывала у нее с особым удовольствием. Ехать до нее из моего Купчина приходилось почти полтора часа, но ее квартира с избытком мещанского довольства и сама она, с ее внешним обликом и настроем брюлловской женщины, любующейся виноградной кистью, были для меня оазисом, и раз в полтора — два месяца я сидела у нее в кухне за чашкой кофе.

Однажды я обнаружила там милую брюнетку с уютно примостившейся на голове «бабеттой». К тому времени прическа эта стала анахронизмом, но на ней она казалась классически естественной. Настораживал лишь броский макияж, тоже из «тех лет», однако он придавал особый смысл синеве ее глаз: в осаде похожих на запятые ресниц и резкой подводке век карандашом они выглядели драгоценными камнями, ограненными редким ажурным металлом.

Дамы пили чай с тортом, на столе были цветы.

— Это наша Полечка, знакомься, — уютно сказала подруга, — у нее сегодня выходной, она приехала подстричь Витю.

Мы выпили вкусный чай, после чего прибежал домашний Винни-Пух — муж подруги Виктор, человек-шарик, до упора влюбленный в жену. Начался ритуал стрижки, с неспешной беседой, разговорами о погоде и последних фильмах. Казалось, каждый отстриженный волосок, в противовес библейским откровениям о Самсоне и Далиле, не отбирал, а прибавлял энергии боровичку в кресле. Сама же Полечка смотрелась окончательно расцветшей алой розой, оправдывая английскую поговорку «She was having the time of her life».

Голос ее не баловал взлетом интонаций, а модулировал где-то в пределах малой терции. Процесс стрижки продолжался не менее пятидесяти минут. Впервые в жизни мне был явлен сеанс медитации, обрамленный позвякиванием ножниц.

Она работала в лучшем мужском салоне города на углу Невского проспекта и Садовой улицы, брала призы на международных конкурсах и обслуживала престижную клиентуру. Но что-то в ней настораживало, что-то в ее облике, не внешнем, не парадном, не вязалось с избранной ею профессией. Весь этот дешевый макияж напрочь не гармонировал с интонацией, присущей, скорее, лектору на кафедре, и спокойным достоинством. При всей ее обаятельной видимости один дефект удивлял при первом знакомстве. Когда она встала из-за стола, оказалось, что она резко и как-то совсем неуместно с ее обликом, прихрамывает, сильно припадая на левую ногу.

Позже, когда мы совсем подружились, она мирно сказала, что выросла в детском доме.

— Во время войны там было голодно. Мы только о еде и думали. Я помню, как мы сидели за обедом и ждали, что сейчас принесут хлеб. Мы знали, что в столовую привезли круглый хлеб. А мы, такие смешные дети были, думали, что раз он круглый, то каждый по горбушке получит. Принесли, и все так удивились. Почти не было горбушек. Я там и заболела костным туберкулезом.

— А родители, Полечка?

— Я про них ничего не знаю. Только когда меня выпускали в жизнь, заведующая позвала меня к себе в кабинет и сказала, что я родилась в лагере, и меня привезли еще грудным ребенком. Мой Витя, муж, тоже из этого детского дома, мы с ним так и не расставались, как семь классов закончили. У нас с ним кроме друг друг никого нет, никаких родственников.

— Он меня там защищал, мальчик все же, хотя он очень спокойный. Он тоже ничего про родителей не знает. У меня еще там подружка была, очень боевая, мы были как сестры. Она летом с ребятами по садам бегала яблоки воровать. А я не могла. Но она со мной не делилась.Такие мы всегда были голодные... Она все сама съедала. Один раз я у нее попро-

сила. А она жует свое яблоко и говорит: «Сама иди сорви». А куда я со своей ногой...

— Она уже умерла, очень плохо болела, я к ней приходила в больницу, так она как-то мне сказала, что всю жизнь мучилась из-за этих яблок, что мне не давала.

В ее глазах было спокойное приятие той жизни, которая у нее получилась.

Она приезжала ко мне домой в свободные дни, вернее, ее подвозил муж-таксёр. Он тоже как-то выпадал из профессии. Жили они в коммунальной квартире, где один сосед осваивал цистерну водки, а, освоив, умер на полу своей комнаты. Еще в одной комнате жила злобная завидущая старуха. Но даже с ней Полечка сохраняла рассудительный медитативный ход разговора.

Она хронически приносила с собой праздник: выращенный ею крепыш-кабачок немедленно вынимался из сумки, щеголеватые, начисто отмытые яблоки из собственного сада вываливались на стол в кухне. Иногда композицию натюрморта подкрепляла бутылка вина.

Полечка жила по немудрящей вольтеровской формуле — возделывала свой сад в буквальном смысле этого слова. На куцем участке из шести соток она вырастила три яблони, завела огород с овощами и клубникой, кусты смородины.

Казалось, она знает истину, которую я не в силах была ухватить. Истину неяркую и подлинную. Я ей завидовала.

Злые времена начались, когда рухнула империя. На месте парикмахерской появился салон меховой одежды. Стервозного вида кукла в дорогом манто день и ночь вращалась в огромном стеклянном цилиндре на углу Невского и Садовой. Ее целлулоидная физиономия хранила порочно-невинное выражение. Автопарк, где работал Полечкин муж, выродился в частное предприятие. Водителям достались их старые машины. Виктор ездил на древней «Победе», ловил на улицах пассажиров. Полечка перешла на обслуживание клиентов на дому. Она грустнела с каждой нашей встречей. Хромота ее прогрессировала.

— Регина, нас кинули, — говорила она, и снова на ее лице не было неподвластных ей эмоций, а лишь спокойное приятие и этой ситуации.

Она прочертила своим присутствием три эпохи моей жизни — разведенной, замужней и вдовьей. Самая последняя оказалась наиболее длинной. Последние снимки моего мужа, ленинградского художника Александра Манусова, поспешно, словно в минуту прозрения, нащелканные профессионалами и любителями поснимать «творцов», являют нам ее искусство. В ее стрижках не было сахаринового налета. Ирония, однако, присутствовала. Саша всю жизнь прожил в коммуналках, всю жизнь ел с матерью за отсутствием стола на подоконнике. Стол он купил с первой стипендии. И тут вдруг, в последние годы своей вспыхнувшей факелом жизни, обзавелся мастером из лучшего салона города.

Визиты Полечки обрамлялись чаепитиями, в середине которых можно было слышать трио из соседней комнаты: ее обволакивающий говорок, его мерное покашливание и медь ножниц. Его волосы были для нее такой же радостью, как хороший материал для живописца — масло, пастель, акварель. Она творила, наслаждаясь, и всегда пыталась подретушировать финальную, материальную часть. Если сказать проще, изобретала предлоги, чтобы не взять деньги, и всякий раз в прихожей происходило унылое противостояние. И сейчас, из будущего, которое тоже скоро окажется прошлым, я вижу, что она просто ездила к нам общаться.

После того, как его вдруг не стало, она продолжала свои визиты, соблюдая традицию теперь уже грустных посиделок.

Я вижу ее блондинкой в последние годы моей жизни в Петербурге. Я слышу ее неяркий голос и в сыром пекле хьюстонских субтропиков:

— У тебя посеченный волос последнее время. Как ты моешь голову? Ты полощешь ее травным раствором? Нет? Плохо. Я дам тебе рецепт. Полощи обязательно после каждого мытья. Сегодня я тебя подстригу по косой. Займет больше времени, зато этой стрижки хватит месяца на три.

— Я вчера полола на даче клубничные грядки, и птичка подлетела, такая невиданная, синяя. Я таких никогда не

видела. И ты представляешь, она сидела на ветке почти над моей головой, все смотрела, головку поворачивала то вправо, то влево, никуда не улетала. А я ведь такая тяжелая, пока развернусь, пока поднимусь.

Ее нашли белой ночью в начале девяностых недалеко от дома с проломленной головой. Из ушей были вырваны поддельные, под жемчуг, сережки. Она возвращалась от клиентки. Она не смогла бы убежать, даже если бы очень постаралась.

2008 г.

ЖЕНЬКА

Дождь излился как всегда. Неожиданно, нагло и оскорбительно. Он лил в моей прихожей. С антресолей устремлялись вниз толстые струи и, ударяясь о линолеум, лихо цокали и мячиком отпрыгивали вверх.

Я сидела за столом в кухне и оцепенело наблюдала игру водяных струй. Дождь был теплым. Это я почувствовала, выскочив в прихожую.

«Женька! — в процессе подставления тазов стучало в голове. — Женька, сволочь, в который раз!»

Выскочив из квартиры, я вознеслась на четвертый этаж и нажала кнопку звонка. Исковерканная дверь с половиной ручки отворилась на удивление быстро.

Женька, сосед-алкоголик, в свои неполные пятьдесят ухитрившийся выглядеть семидесятилетним стариком, стоял в проеме дверей, благостно взирая на меня некогда синими, а ныне водяными глазами. В квартире сивушно пахло. На полу валялись неопрятные шмотки. Казалось, ветром разворошило лоток из second hand'а.

— Заливаешь, Женя, — рявкнула я.

Он недоуменно вскинул на меня глазки и повернул дверь в ванную. Нельзя сказать, что ванна была полна воды. Она была ею переполнена. Кран свирепо исторгал из себя влагу, которая ударялась о водяную массу и с рокотом водопада устремлялась на пол, где ее было уже по щиколотку. В глубине вод сиротливо телепались узкие трусики и носок. Видимо, их приготовили полоскать.

— Тра-та-та-та, — взвыл Женька по направлению к кухне.

— Тра-та-та-та, — ответило ему сиплое сопрано, и обладательница его явила себя нам, как откровение. Она была в футболке и косынке, но косынка не прикрывала ее голову или плечи, а была повязана на талии. Кроме косынки на

нижней части ее тела ничего не было. Угольничек косынки покрывал сзади выпуклости, а спереди, на уровне бедер, болтались два хвостика. Эта часть ее тела отчаянно нуждалась в трусиках, бултыхавшихся в ванне.

Рот дамы был открыт и предъявлял вампирические клыки, эффектно оттенявшие провал, где когда-то жили четыре верхних зуба. Ноги ее были на ширине плеч, и когда она, растопырив руки, переваливалась с одной ноги на другую, невозможно было не вспомнить брачные танцы шимпанзе.

Это была сестра-близнец Женькиной супруги. Супруга, тридцатилетняя мордатая Ирина, приехавшая из Казахстана, проживала отдельно с каким-то кавказцем.

— А ты чего мокрая? — мирно поинтересовался Женька.

— Так у меня же ливень! — завопила я. — Сколько можно?

— Но ты еще не до конца мокрая, — решил он. — Дай я тебя еще из душа полью.

Я ринулась к себе.

Женьки уже нет на этом свете. Я не держу на него зла, хотя он превратил мою квартиру, где хранились Сашины работы, в некое подобие гнилостного болота. И не только мою, поскольку потоки мутной воды, извергнувшись сверху, находили лазейки, по которым устремлялись в квартиру на втором этаже и нередко на первом.

Первый ливень случился осенним утром. Блаженно переговариваясь, мы пили чай с приятельницей, спустившейся ко мне с пятого этажа. Странный шорох нарушил идиллию. Легкое стаккато дождевых капель в прихожей аллюром перешло в крещендо, сменившееся тропическим ливнем: вода была горячей. Коробочка купчинской квартиры резво наполнилась паром, в соседней с кухней комнате вокруг люстры как-то вдруг сразу обозначился желтоватый пухлый ореол. Он разросся атомным грибом и немедля исторг из себя столб горячей воды. Открыв дверь на площадку, мы ринулись снимать со стен работы Саши. Мы прикрывали их одеялами и, шлепая по воде, перетаскивали через зону прихожей. Подставленные тазы и ведра не справлялись с нагрузкой. В Женькиной квартире стояла мертвая тишина, и дверь с ее

искорябанной ручкой не открывалась на мой уже конвульсивный стук. Первые струйки воды пока еще нерешительно явили себя во второй комнате, когда прибыла аварийная с хмурыми молодцами.

Явившийся к вечеру пьяноватый Женька, отворачивая глазки от моего бешеного лица, сообщил явившимся членам правления кооператива, что был на похоронах отца.

Родители его, уютная, прямо-таки старинная пара любящих друг друга людей, раньше жили в том же доме, в соседней парадной, и поселились надо мной, обменявшись квартирами с молодой семьей, где было двое детей.

— Милая, вы будете очень довольны, — степенно сказала пожилая женщина, встретившись со мной на лестнице. Это было весомое заявление для нашего наспех сколоченного с кривыми стенами дома, где нервная соседка со второго этажа, бывало, звонила мне ночью и говорила, что у меня в ванной плохо закрыт кран с водой и она не может заснуть. И я, действительно, была довольна, если не считать ежедневного пробуждения в шесть утра от шагов мастодонта. Это дед собирался в очередь за свежим молоком, в «бочку», как тогда говорили.

Звуки веселья, оформленные разгильдяйским мотивчиком, донеслись однажды вечером и с тех пор стали регулярными. Это означало, что разведенный Женька, отец двух девочек школьного возраста, поселился с родителями. Старики иногда брали к себе одну из девочек на выходные. Мать как-то заметно ссыхалась, дед утрачивал молодцеватую стать. Мать ушла первой. К этому времени Женька обзавелся новой женой.

— Пошел я с другом в Казанский собор, — увлеченно говорил он мне, — ну, встали в очередь за билетом. Там ведь, знаешь, выставка-то какая — пыточные орудия времен инквизиции. Глянуть захотелось. А передо мной такая симпатичная девчонка стоит. Тут друг мне и говорит: «Женя, а ведь это твоя жена стоит перед тобой».

— И теперь мы собираемся пожениться, я так ее полюбил, не можешь себе представить, — блистал сосед широко расставленными глазами человека-амфибии. — Только я переживаю, она совсем молоденькая, а я-то уже молью по-

битый. — Она сейчас поехала в Казахстан с родителями поговорить, а вернется, и свадьбу сыграем.

Он был привлекателен тогда, с шапкой седоватых волос и с этими синими озерами доверчивых глаз.

Невеста явилась на свадьбу с подарком — сестрой-близнецом, которая так и осталась жить с ними. Дед быстро терял внешность лелеемого члена семьи, плечи его, казалось, придавливались все ниже к земле. Хроническое ликование молодоженов с дружками в тесноте квартиры перешло за грань реальности и к моменту вышеописанного ливня праздник их жизни длился уже более шести лет.

Однажды ноябрьским вечером мы сидели с компанией близких друзей у меня в квартире. Это был мой день рождения. Дождь нехотя обмывал окна, и, как бы в ритм ему, велись чинные неспешные разговоры. Потом, как всегда бывает, наступил перелом в настроении, гости расслабились, обмен репликами набирал скорость. Уже послышался смех, художники, которых было больше половины гостевого состава, с любовью пикировались друг с другом. Словом, стало шумно и совсем приятно. Поэтому звуки, вдруг донесшиеся сверху, не помешали общему отдохновению. Они, правда, становились все более назойливыми и громкими. Тяжелая беготня по всей коробочке квартиры, сопровождаемая сиплыми воплями и корявым глиссандо с помощью некоего металлического предмета по батарее отопления. Меня это тревожило, но гости мои не реагировали. Продолжалось это долго: и вопли, и топотанье тяжеловесов, и скрежещущие взвизги батарей.

— Валя, — спросила я утром соседку с девятого этажа, муж которой, боцман торгового флота, корешился с Женькой в свои редкие заходы домой, — вы не знаете, почему такой неприятный шум вчера был у Кудряшовых?

— А это Женька деда гонял, — ответила она буднично. — Он квартиру по дарственной внучке своей, Насте, отписал, а Женька и узнал.

— Шум был такой, словно кого-то убивают.

— Так это он на деда, на отца собственного, сафари устроил. Павел Степаныч к нам вчера поздно приходил, плакал. Правильно он все сделал. Чтобы этим прошмондовкам квартира досталась? — постепенно накалялась Валентина. До замужества она работала продавщицей и речь ее до сих пор отличалась категоричностью работника советского прилавка. — Да они в своей деревне в казахской унитаза ни разу не видели, в очко срать ходили. Я Коле своему, как приедет, скажу, чтоб ни ногой туда... Он, Женька, в последний приезд ему звонил, сестру этой проститутки своей предлагал. Вы эту уродину вблизи хоть видели? Да еще и без передних четырех зубов. Это ей Ирка-сестрица спьяну выбила.

Хорошенькое круглое личико Валентины заалело спелой клубникой.

— Ирка моя ее встретила в парадной на той неделе, говорит ей: «Ты прыть-то поумерь. Здесь приличный дом. Ты хоть примерно понимаешь, что такое приличный дом?» И, вообразите, в тот же день она шла мимо их окон, так эти две прошмондовки в нее с балкона картошку стали кидать... Паразитки... А ведь, говорят, у них нормальные родители в Казахстане, трудяги, посылки часто шлют. Посмотрели бы на дочурок!

Где-то через неделю после этого умер Женькин отец и случился первый потоп, с вызовом аварийной.

По стране шествовали мутные девяностые. Жизнь обновлялась. Наш интеллигентский дом стал одной из экспериментальных площадок, добротно иллюстрирующих толчки, сотрясавшие «монолитное единство советских людей». Вокруг дома зашагали стаи верзил с бритыми головами и в бордовых пиджаках. Они выслеживали торговца иномарками, поселившегося в нашей парадной. Последний изукрасил белую петербургскую ночь, застрелив в своем жилище одного из них и впридачу убив человека лет шестидесяти, труп которого, готовый к расчленению, лежал у него в ванной. Хозяин успешно бежал, оставив в квартире мешок с золотыми слитками и унитаз с золотой ручкой. Незримый ужас поселился в парадной. Какие-то угрюмые парни часами си-

дели на ступеньках лестницы, хотя парадная была на замке. Кто-то из них засунул в дверь одной из квартир тлеющий окурок, и всю ночь жильцы второго этажа бродили по площадке, принюхиваясь. И только утром из-под дверной обивки жилища одинокой пенсионерки повалил, наконец, дым. В лифте незнакомые парни избили известного пожилого актера, который направлялся домой. На площадке пятого этажа вечность лежали груды целлофановой пленки, в которую собирались заворачивать расчлененный труп. Маленькими злыми бугорками стыли на них капли крови.

Женька отреагировал на перемены с пионерской готовностью. В его квартире поселился сановного вида грузин с пухлой, несмотря на осанку джигита, грудью. Он надменно спускался по лестнице в обрамлении свиты низкорослых чернявых парней. Жировые отложения на груди он пытался закамуфлировать взором горного орла. Позже он съехал, прихватив на время Женькину супругу. Ему принадлежали несколько продуктовых и пивных ларьков неподалеку. У подъезда стояла его синяя «хонда». В час ночи чернявые привозили товары из ларьков и долго вываливали их на пол над моей головой. После чего начиналось застолье. В семь утра они забирали свои банки и бутылки и увозили их до вечера.

Невыносимая легкость их бытия обрушивалась на мою квартиру спорадическими водопадами, сиплыми воплями в ночи с вкраплением женских тремоло, грязными аккордами швыряемых на пол мешков с продуктами, разгильдяйской музыкой. Наученная боевитой Валентиной, я ножницами стучала по трубам. Иногда они даже затихали на мгновения. Но это были всего лишь антракты. Я звонила в отделение милиции, со скорбным лицемерием желала ребятам доброй ночи и излагала ситуацию. Они, на удивление, приезжали почти всегда. Сверху доносились командные скорые шаги, краткий монолог-инструктаж, хлопала дверь, и наступала тишина, как в склепе. Меня они давно вычислили и ненавидели всей командой. Кроме ненависти в их глазах читалось еще и недоумение. Хилая и одинокая тетка, вступившая

в открытый поединок со взводом мужиков, не укладывалась в понятия горных орлов о мужской и женской субординации.

Весталки домашнего очага, пробегая по утрам мимо моей квартиры, всаживали в дверь поленья своих ног. Женька частенько лежал у парадной в эти же утренние мгновения, опутанный в лучшем случае слюной. Негодующие вороны скрежетали над его головой.

По звонку жильцов снова являлись менты и отвозили его в отделение.

Как-то белым поздним вечером я вышла с собакой. Кучка детей гор стояла у парадной, оживленно гуторя с пухлым грузином. Они проводили нас с Тобой тягостными взорами. Собак они явно опасались. Дойдя до угла дома, я оглянулась. Они не поменяли позицию. Но сверкание их глаз мгновенно оборвалось, когда босс вдруг вспрыгнул в свою хонду и помчался в нашу сторону. Мы с Тобой отпрянули в кусты, за поребрик, и орел просвистел мимо.

Как-то ко мне забрела Женькина дочь Настя. Тоненькая, эфемерная, она походила на детскую скрипочку. И еще на Неточку Незванову. Скорбная героиня Федора Михайловича, прибывшая на конке в купчинскую тмутаракань.

Но работала она в бойцовом заведении — зале игровых автоматов.

— Папа был совсем другим, — шелестела она, — да, он, конечно, выпивал, но временами. Он был таким добрым, бесконфликтным, даже после развода. Он ведь раньше работал, был очень хорошим фотографом. Эта шайка его опутала. Деда он просто уничтожал. А когда узнал, что на меня отписана квартира, он приехал к тете, у которой я жила. Все родственники там собрались. Хотели по-доброму поговорить. Он сначала разговаривал, как нормальный человек, потом занервничал, собрался уходить, и вдруг, уже от двери, кинулся на меня с ножом, и так быстро, никто ведь не ожидал такой реакции. Если бы не тетя... Она повисла у него на руке. Он так мгновенно вытащил нож, он его специально привез, чтобы меня убить... Мама так переживает...

Она смотрела прямо на меня. Отцовская синь ее глаз была разбавлена таким крепким раствором страдания, что

они почти не рознились цветом с водянистыми ныне Женькиными гляделками.

Из вентиляционной решетки плавно вылезли две тоненькие антенны тараканьих усиков. Их обладатель медленно явил свое удлиненное тело и, очутившись на стене, забегал по ней детским гоночным автомобильчиком.

— Они дождем сыпятся из вентиляции, — разразилась я, — ничего не помогает. У них здесь муравьиная тропа.

— Тетя была у них дома, сказала, что там просто тараканий питомник. По столу бродят во время еды, — снова прошелестела Настя. И добавила просто:

— Я знаю, что папа хотел нанять киллера для меня. Соседи слышали, как он Ирку просил договориться с ее ребятами.

— Настя, но я тоже это слышала, — отозвалась я, — только непонятно, про кого был разговор. Мне казалось, что про меня. Они все пили среди бела дня. Орали на всю округу с открытым настежь окном. Женя не называл имя, а говорил «она». А супруга его отвечала: «Я не хочу связываться», — медленно так, раздумчиво, как будто еще не решила.

Настя вдруг выпрямилась. Голос ее неожиданно окреп, и ветхая табуретка под ней обрела сходство с портативным броневичком, когда она произнесла:

— Вы только за меня не беспокойтесь. У нас на работе хорошая охрана, профессионалы, не чета этой шпане. А я одна не хожу. Меня и сейчас у парадной ждут.

Иногда над головой вдруг становилось тихо. Это пугало. Тихие ночи приравнивались к драгоценному камню, внезапно сверкнувшему в грязной луже. Ноты безумия вкрапливались в сознание. Тишина казалась противозаконной. Вторжение в нее ожидалось ежесекундно. Если это не случалось, а сон все не являлся, я прекращала ворочаться в постели и набирала его номер. Он отвечал сразу. Было ясно, что он прекрасно понимает, с кем беседует:

— Ну что, гнида, — шипел он, и чувствовалось, что пьян, но не до конца. — Я видак смотрю, что я делаю не так? Тишина кругом. Ну чего ты прицепилась?

Мне же в мстительном порыве хотелось, чтобы он не смотрел свой видак, а крепко спал. И тогда я бы его разбудила.

Парадоксальным было то, что, сталкиваясь временами на лестнице, мы раскланивались и общались на уровне версальских вельмож, обсуждая погоду и политические моменты. (Ведь когда был жив Саша, мой муж, мы отлично ладили, и он временами забегал к нам выпить чаю и одолжить сколько-то денег, которые аккуратно возвращал.) Иногда он, блудливо отводя глаза, рассказывал, как бережет мой покой и как вчера ходил покупать тапочки, чтобы не топать. И действительно, когда чернявые молодчики вдруг исчезали на пару дней, его поступь в тапочках казалась полетом феи. Иногда, правда, в эти неземные для моего уха звуки вкрапливалось постукивание голенастых крепеньких конечностей щенка-дога, которого Женька обещал по ночам запирать в кухне. В один из его насильственных визитов в отделение милиции, когда дверь квартиры оказалась распахнута, несчастный щен выбежал на лестницу. Он состоял в основном из конечностей и был похож на изнуренную газель. Никто никогда не видел, чтобы его выгуливали. Весь в струпьях, он, счастливый, носился по лестничной клетке и ко всем лез целоваться. Щенка срочно забрала приехавшая на машине племянница одной из соседок-собачниц. Девушка на высоких каблуках, сияя, унесла припавшего к ней бедолагу.

Мирные дискуссии на лестнице случались нечасто. Зато ночные экзекуции приобрели хронический характер. Теперь к дому подруливали и занимали огромные пространства гигантские грязные фургоны, из которых опять-таки ночью выгружалось таинственное содержимое. К тому времени я хронически не спала по ночам ровно два года, и ненависть моя воспарила уже где-то на уровень греческой трагедии и существовала сама по себе, отдельным организмом. Иногда по дороге в наш лабаз я встречала чернявых ворогов, вперившихся в меня с опаской и угрозой одновременно. Я отвечала злобным непреклонным взором. Сам Женька постепенно становился подобен несчастному дожонку. Он заметно истаивал.

Домой он крался под окнами, вдоль парадных, пригибая свое тщедушное тело к самым кустам. Возможно, не хотел являть посторонним взорам физиономию с фингалом под глазом и свежерассеченной бровью. А, может, не хотел попасться на глаза председательше кооператива, требующей немедленно погасить задолженность по квартирной оплате.

В состоянии этой булькающей, отвратительно завладевшей мною ненависти, я отбыла в Америку навестить дочь. Пробыла я там около полугода. Была ранняя весна, когда я вернулась. Я стояла у парадной, делясь впечатлениями с двумя любимыми соседками, когда за кустами завиднелась знакомая крадущаяся фигура.

— Боже мой, это Женька, — затряслась я, — скорее, закройте меня от него.

Повернувшись спиной к парадной, я ждала момента освобождения и тут почувствовала, что меня нежно обнимают, и мягкий Женькин голос произнес:

— Где же ты так долго пропадала? Я так скучал...

И все началось опять. Плоть его словно истлевала на ходу. Он перестал прятаться за кустами и ходил уже по тротуару, на котором его почти не было видно. Дружки, казалось, его бросили, потому что квартира его по ночам не становилась уже филиалом продуктовой базы. Супруга не появлялась. Зато на балконе посиживала ее сестра-близнец. Раздутое лицо женщины было кривым отражением достаточно миловидной Ирины.

Как-то летним днем Женька постучался к соседке на втором этаже. Дверь ему открыла высокая красивая женщина, которую никто, ни при каких обстоятельствах, не видел без тщательно уложенных волос и макияжа.

— Вы, случайно, не огородники? — интеллигентно спросил он. И тут же прозорливо ответил на немой вопрос:

— У меня там инопланетянин прилетел, гномик, знаете. И растекся в лужу. Я хочу его на лопатку собрать и похоронить честь по чести.

— Боюсь, Женя, лопатки у меня нет. У нас и дачи никогда не было, зачем нам лопатки?

— Ну тогда еще раз простите за беспокойство, — сказал Женька. — Я теперь к Антоновым пойду. — У них дача-то есть, значит, и садовые орудия должны быть. Вы не подумайте, что я ку-ку, — вдруг спешно добавил он. — Но ведь инопланетянин весь растворился, я хотел его на лопатку собрать. Похоронить достойно. Дочка Настя свидетель, она подтвердит, она там дома на кровати лежит.

Выглядел он спокойно, достойным человеком, радеющим о христианских ценностях. И глаза его по-детски доверчиво голубели.

Он побрел к лифту, к другу-моряку Коле. Цыганистой внешности Николай походил на бывалого сомалийского пирата. На деле это был кроткий, запуганный властной хорошенькой женой Валентиной ребенок.Он хронически не бывал дома, бороздя все водяные резервуары глобуса. Возвращаясь пару раз в году домой, он спасался от пыток домашнего очага в женькином обществе.

Заход к Валентине, матери троих детей, клеймившей искусителя Женьку на всех купчинских углах, был непростым предприятием.

— Валя, — сказал Женька и приложил руку к груди, — ты только ничего не подумай, но дай мне садовую лопатку. У тебя должна быть, а мне она позарез нужна.

— Зачем тебе лопатка, Женя? — неожиданно для себя растерялась миловидная, всегда подтянутая Валентина.

— Инопланетянин к нам прилетел, — начал излагать историю Женька: — Крохотный, как гномик, посмотрел на меня и сразу растекся в прихожей. Захоронить его надо. Я уже вызвал бригаду захоронения, четыре полковника едут.

Валентина всегда была женщиной быстрого реагирования.

— Подожди здесь, Женя, — сказала она, стоически обороняя вход в квартиру, — сейчас я тебе найду что-нибудь.

Она вернулась с детской лопаткой красного цвета.

— Вот такая тебе подойдет? Все большие лопаты у нас на даче.

— Валя, я вижу, ты мне не веришь, — горько сказал Женька, — я тебя умоляю, спустись ко мне, ты сама все увидишь. Он был зеленого цвета сначала, а сейчас превратился в синий. Все время улыбается и ничего не говорит. Это он

в Настю влюбился. Я ему говорю: «Это моя дочка такая красивая, Настя». А он улыбается и головой кивает.

— Хорошо, — сказала Валентина, — только давай еще для верности позовем Галю Дворкину.

Галя жила в квартире рядом с Женькой и работала старшей сестрой в психиатрической больнице. Ее служение в наркологии уже превысило тридцатилетний срок. Поведение Женьки всегда воспринималось ею не только с профессиональным интересом, но и с настороженностью ближайшей соседки. У нее были яркие сапфировые глаза, смуглая кожа и низкий от постоянного курения голос.

Галя сразу вникла в ситуацию.

— Женя, — сказала она, — ведь это белая горячка у тебя, надо вызывать скорую. Давай я тебе пока укольчик сделаю.

— Галя, что ты мелешь, какая белая горячка, — огорчился Женька, — ну почему мне никто не верит? Пойдем ко мне, вы сами все увидите. Настя подтвердит, она на кровати лежит, она свидетель.

Зная, что Настя никогда здесь не появляется, женщины, зайдя в квартиру, остались в прихожей.

В квартире плавал мыльный запах общественной бани, в ванной булькала вода. На полу лежали мокрые брюки.

— Вот же он, — вскричал Женька, припадая к штанам. — Ну теперь-то вы видите, вот он. Ты, Валя, не прячь лопатку-то, положи ее, положи, она мне пригодится. Слышите, лифт едет? Это полковники группы захоронения прибыли, — завершил он экстатически.

— Женя, да брось ты эту чепуху, — заявила Галина.

— Галя, не перечь ему, — сказала Валентина, — дай ты ему эти портки похоронить.

— А что у тебя в ванной вода течет? — всполошилась Галина. — Ты опять заливать решил третий этаж?

— Ой, смотрите-ка, дух сидит, — засиял Женька, распахнув дверь в комнату, и кинулся к цветку герани на подоконнике. — Вот он, какой хорошенький! А ну, покажи, где у тебя ручки, где ножки? Девочки, назад, тихо- тихо, девочки, не испугайте его, а то улетит.

— Ну, с меня хватит, — рявкнула Галина, — я пошла вызывать скорую.

Женька не слышал. Он медитировал. Объектом медитации была герань. Две головы — седоголовый одуванчик и пунцовое созвездие — слились в ансамбле. Счастливое бормотание прерывалось сюсюкающими причмокиваниями.

В ванной плесканула растревоженная вода, словно гигантская рыбина мотнула хвостом. Из-под двери робко вылезла первая струйка.

— Женя, очнись, ты что, тут акулу содержишь? — спросила Валентина, распахивая дверь.

Там, грозно выпирая из капсулы ванны, колыхалось размашистое тело сестры-близнеца Женькиной законной супруги.

— Отойди, — мерно сказала она, блеснув зубовным провалом, — ты мне солнце заслоняешь. Я в Черном море купаюсь.

— А вон Ирка со шприцем лежит, — оживилась она. — Ой, да она только что в трубу убежала.

Четыре полковника группы захоронения приехали через полчаса. Врач и три санитара вывели покорного Женьку. Его тощее тело едва просматривалось в их плотном окружении.

— Ну что, белая горячка? — на правах профессионала крикнула вслед Галя.

— Белее не бывает, — отозвался молодой врач. — А за девицей вызывайте милицию. У нее то же самое. Но она без прописки, мы ее забрать не можем, пусть милиция оформит, мы тогда подъедем.

Женька вышел из лечебницы в благостном состоянии. Ему там очень понравилось. Дочка Настя ходила каждый день с передачами. Кормили три раза в день. Люди вокруг были спокойные, дружелюбные. Его лечили.

— Ты знаешь, Галя, — задушевно говорил он как-то утром, покуривая на балконе, Гале Дворкиной. Его длинный балкон и ее крохотный, смахивающий на поднос, были рядом. Она поливала цветы. — Знаешь, Галя, — повторил он доверчиво, и глаза его на солнце обрели былую синь, — мне там было так хорошо, спокойно. И вот выписали меня, иду я медленно по улице, смотрю — все куда-то мчатся, лица перекошенные, злобные, в метро толкаются. И думаю я —

так где же сумасшедшие? Вокруг нас или в психушке? Это же здесь, вокруг нас, огромный сумасшедший дом.

Женька умер во сне. Он, как обычно, сдавал одну комнату чеченцам, немолодым мужу и жене. Жили они вроде дружно, и жильцы были искренне опечалены, найдя его както днем бездыханным.

Сестра его супруги с тех пор, как ее увели, не возвращалась. В милиции уверяли, что выпустили ее вскоре после допроса. Через пару месяцев ее нашли в районе порта с проломленной головой.

Мне до сих пор снится люстра, вываливающаяся с потолка, груды воды, извергающейся из-под двери на лестницу.

2008 г.

ЗИМНИЙ ВОЯЖ

Рита Семеновна говорила:

— Путин очень умный.

Но сразу же добавляла:

— А Медведев красивый.

Ее дочь Ольга только что вышла на пенсию. Ольгу интересовали проблемы экологии, и она собиралась писать губернатору Матвиенко и просить помощи для создания особой кампании.

— Мы будем издавать маленький журнал, — мечтала она за чаем, — начнем ходить по квартирам и беседовать с людьми, а также печатать афиши. Там все будет наглядно представлено. Главное — повернуть сознание людей в нужную сторону.

Когда ей говорили, что хорошо бы совместить это с проблемой мусора и изучить западный опыт, она раздражалась:

— У нас другая страна, особая. И при чем тут Запад?

В этот день Рита Семеновна отправилась навестить подругу. Они жили на Пушкинской улице, в двух шагах от Московского вокзала. Когда Рита Семеновна работала в Эрмитаже, ей было удобно добираться до места работы. Ей нравилось каждое утро проходить мимо опекушинского Пушкина в скверике, огражденном низкой ажурной решеткой. Правда, в теплое время года там посиживали пьяницы. Они неумело маскировали водочные бутылки, но вели себя смирно.

С перестройкой число их увеличилось. Многие теперь назывались бомжами — аббревиатура от «лицо без определенного места жительства». Городской фольклор нарек их «синяками». Почему-то именно на Пушкинской, возле дома номер 10, для них была организована столовая. По улице змеилась очередь смирных неопрятных людей. Кое-кто ковырялся в мусорных баках. Лица некоторых из них ошеломляли интеллигентностью. Потом столовая исчезла, и число «синя-

ков» уменьшилось. Так как Рита Семеновна редко выходила из дома, она их уже и вовсе не видела. К тому же в сторону Невского она потеряла желание ходить. На углу Пушкинской и переулка, что соединял каменного поэта с Лиговкой, возник пункт по обмену валюты. Его охраняли хмурые мордатые парни в форменной одежде. В руках они держали миниатюрные переговорные устройства. Рите Семеновне всегда казалось, что именно в тот момент, когда она пойдет мимо, переговорные устройства материализуются в «пушки», и мордатые начнут палить в прохожих. Так что на Невский теперь Рита Семеновна выходила редко. Продуктовых магазинов там почти не было, а те, что остались, поражали дороговизной. К тому же дочь твердила с регулярностью маятника:

— Нечего тебе ходить на Невский, только давление провоцировать. Там теперь одни манкурты прогуливаются. Сиди уж лучше у памятника, алкаши тебя не обидят.

Подруга, к которой она сейчас направлялась, девяностолетняя Елизавета Леонидовна, жила рядом с Сенной площадью и ехать к ней было удобнее всего через метро «Достоевская». Поэтому, выйдя из парадной, Рита Семеновна повернула налево, в сторону Кузнечного переулка.

В эту зиму Петербург оборотился блокадным Ленинградом. Снег оккупировал город. Он сыпался сверху фантомным маскарадом и не думал останавливаться. Оказалось, что убирать его нечем. Время было новогоднее, и губернатор Матвиенко, как говорили, отбыла в Куршевель. Стада машин теснились у тротуаров. Своими снежными горбами они напоминали реликтовых животных. С крыш фрагментами замка Снежной королевы целились в затылки прохожих двухметровые сосульки. Люди струйками текли в узком ледяном русле, проложенном между крутыми снежными берегами. Учтивость вдруг завладела городским пространством. Навстречу Рите Семеновне, балансируя, продвигалась девушка. Сосредоточенное изящество доминировало в ее фигуре. Приблизившись, она извиняюще улыбнулась и сделала аккуратный шажок в сторону.

«Балет на льду стал всенародным достоянием», — решила Рита Семеновна и неожиданно совершила пируэт: под ногами заскользило. Мужчина, ковылявший сзади, галантно поддержал ее под руку. Рита Семеновна не успела поблаго-

дарить его. Он обогнал ее, шагнув в крутизну обледеневшего снега, вправо и вперед шахматным конем.

Рита Семеновна засеменила дальше. Все шло как будто гладко и впереди уже завиднелась относительно уютная снежная мини-полянка, где можно будет постоять сразу на двух ногах. Но что-то вдруг стало дискомфортно и понять, в чем дело, было сложно. Это был звук, бесплотный, какое-то настойчивое подвывание на одной ноте, словно короткое, но непрерывно повторяющееся шаманское заклинание. Рита Семеновна отставила правую ногу на ледяной холмик и глянула влево. Звук явно тянулся из арки ворот, которую она только что миновала. Теперь он поменял тональность на пару тонов ниже, загустел и зазвучал почти аккордово, в терцию. Ей очень не хотелось сворачивать с колеи, но что-то постороннее, вне ее сознания, скомандовало повернуть к арке. Она почти доползла до ее сумрачной высоты, прошла сквозь неприветные чугунные ворота и увидела в конце каменной дуги группу на уровне своих колен. Там стояли две собачки, простые, беспородные, пухленькие. Они были соединены, как ездовые собаки, упряжкой из тонкой, почти нитяной веревки, концы которой валялись на снегу. В паре шагов от них на коленях стояла женская фигура, из нее и исходил этот безнадежный звук. Рита Семеновна вгляделась близорукими глазами, ей показалось, что это мираж и так не бывает. Она давно не видела такого, еще сравнительно молодого, синюшно-багрового вспухшего лица. Женщина глянула на нее, не поворачивая головы, и продолжила свое пение. Казалось, она вмерзла в льдистую почву и не в силах выбраться оттуда. Рита Семеновна склонилась к ней:

— Вам помочь? Где вы живете? В какой квартире?

Та глянула на нее обезличенно, тихонький вой тянулся из нее деликатной струйкой.

Рита Семеновна повернулась к собакам. Они смотрели на нее с терпеливой надеждой, одна из них, бежевая, в белых заплатах девочка, будто пыталась что-то ей сообщить, она поворачивала голову вперед, туда, где относительно безопасная тропа вела к глубину двора.

— Ты мне покажешь свою парадную? — спросила Рита Семеновна и отвязала ее. Собачка благодарно глянула вверх и затрусила по тропке. Рита Семеновна шла сзади. Впереди оказались высокая каменная стена и тупик. Никакой парадной не просматривалось. Вой, утихший на время их вояжа,

спонтанно возобновился. Рима Семеновна снова связала собак веревочкой. Надежда не утихала в их глазах. Они были более чем пухленькие, они были толстенькие, как сардельки, любовно откормленные булочками и хлебными изделиями, а не той добротной витаминной и калорийной пищей, которой угощают своих любимцев патентованные владельцы собак и которой Рита Семеновна, сама отъявленная собачница в прошлом, пичкала свою последнюю любимицу, карликового шнауцера Фенечку. Они так терпеливо и с таким доверием ждали действий от Риты Семеновны, что ей стало не по себе. Она еще раз склонилась к воющему, дезодорирующему вчерашней сивухой существу и сделала попытку поставить ее на ноги. Но та вопящим гномом словно вросла в лед, и ее плотную тяжесть не то что поднять Рите Семеновне в ее восемьдесят лет, но даже сдвинуть в сторону нечего было и думать. Однако что-то изменилось в разноцветном лице, вернее в раздутых, подъятых к Рите Семеновне глазах, что-то уже пугающе осмысленное, словно заплескались там в дуэте мольба и улыбка благодарности.

— Ну что же мне с вами со всеми делать? — уже вскричала Рита Семеновна, озираясь, не идет ли кто. Пустота царила вокруг в этот, пока еще утренний час. Она побрела к арке и огляделась. Тропка в ледяной колее обезлюдела, на углу возле магазина «Дикси» виднелись какие-то фигуры, но Рита Семеновна с отчаянием поняла, что никто не ринется на помощь, да и у нее самой уже не будет сил добрести до угла и потом вернуться, в случае удачи, обратно. Она знала, что почти потерявшая зрение и слух подруга ее скоро сядет возле специального телефона, чтобы уловить мерцание звонка и в назначенный час открыть ей сверху двери ворот, а потом и парадной. Рита Семеновна еще раз глянула назад. Группа с этой дистанции казалась безнадежно скульптурной. Собачки стояли понурившись и уже не смотрели в ее сторону.

Она одолела порожек арки и вышла на улицу, чувствуя себя предателем, гадким и бессильным существом. Сердце мягко защемило, умоляя ее остановиться.

Она доковыляла до угла и повернула вправо, на Кузнечный переулок. Здесь были расположены три маленьких магазина, два из них хозяйственные. Входить приходилось, забираясь на ступени. Рита Семеновна заколебалась у одного

из них. Девица с непокрытой головой вяло отбивала ломиком лед у самых ступеней.

— Заходите, — буркнула она.

Рита Семеновна глянула на крутое крыльцо без перил и со снежными ступеньками и решительно прошла мимо.

После улицы Марата дорога пошла веселее. Здесь было даже минимальное столпотворение: возле инженерно-экономического университета кучковались студенты, а ближе к поребрику караулом стояли бабки с банками консервированных огурцов, капусты и грибов. На прохожих они смотрели с прицелом, требовательно и даже с презрением, словно не ожидая от них ничего для себя хорошего. Молодой высокий милиционер, удивляющий отсутствием деловитой злобы в выражении лица, вяло оттеснял их с торговой паперти. Каждый день, зимой и летом, возникали они здесь, востроносые, непонятно во что одетые, используя для дисплея своих хозяйственных достижений деревянные ящики, старые заношенные сумки или даже сам тротуар.

— Ну перестань ты, милок, гнать нас отсюда, — ласково внушала одна из них смущенному молодцу, — тебе и самому не хочется. Мы ведь не живем, а выживаем.

— Не положено, — смущался нетрадиционный страж закона. — Ну ладно, еще десять минут вам оставлю, а потом придется по-другому.

— Тебе нас не жалко, парень? — встряла еще одна. — Ты ведь и не мент совсем, ты же курсант, мы знаем тут всех.

Рита Семеновна двигалась стойкой лодочкой в ледяном фарватере, который вдруг снова возник у Дома-музея Достоевского, где прожил он последние три года своей жизни и добавил финальную жемчужину в ожерелье своих творений — роман «Братья Карамазовы». Низкорослое здание на углу было ограждено узкой тесьмой, потому что сверху грозно всматривалась в затылки прохожих ледяная глыба. Цепочка людей, игнорируя хилое обвислое ограждение, двигалась у самого дома, потому что проезжую часть загромождал транспорт, рвущийся к Кузнечному рынку, куда стремилась и Рита Семеновна по пути на метро. Она обещала угостить подругу рыночным творогом.

На дворе стояло третье тысячелетие, январь 2009 года.

2009 г.

ДВОЙНАЯ СЮИТА

Нора коснулась клавиши. Клавиша ответила хрустальным, тающим звуком.

Рояль был превосходным, и Норино касание достигло неимоверно нежного звука, самой души его. Звучание угасало плавно, как заход солнца на побережье. Нора приложила голову к клавиатуре и ухом приникла к истончавшемуся звуку. Казалось, он прибыл из другой вселенной. Он все не кончался, и Норино осторожное прикосновение словно прибавляло ему силы, давало возможность прожить еще несколько мгновений.

— Кавказские овощи и фрукты — это что-то необыкновенное. Они все без исключения просто великолепны. Но бакинские апельсины, лимоны и мандарины — это сказка, — сказала Нора и намочила тряпку особым натуральным составом. Ее маленькая, весомо округлая фигура, выглядела победительно аккуратной. Недорогое, любовно отглаженное платье источало флюиды опрятности.

Уже четыре часа она мыла холодильник. Она не доверяла вещам, бывшим в употреблении. Даже если их подарили прихожане местной православной церкви.

Еще немного, и агрегат можно будет заполнять тщательно проверенными продуктами.

В Баку Нора была главным врачом санитарно-эпидемиологической станции. Она была образцовым врачом, образцовой женой и матерью, образцовой и гостеприимной хозяйкой. Каждое утро она поднималась на рассвете и заново отмывала изразцы в ванной. Ее рабочая документация была достойна представления в музее. Лицо Норы, округлость которого акцентировалась короткой стрижкой, несло на себе все пометы беспорочной достойной жизни. За свои восемьдесят лет она не заработала ни одной морщины.

Оркестр вступил острой септимой сверху вниз. Окрас музыки был сумеречным, так же, как взгляд Норы. Она смотрела в объектив камеры и, казалось, не видела ничего. Взгляд был обращен внутрь. В нем читалось глубокое, но уже преодоленное страдание. Она любила импровизировать, и в этом было некое постоянство и неожиданность, что создавало сложности для дирижера и оркестра. Си и ля первой октавы, соединенные ее касанием в секунду, утрачивали обычную резкость и звучали предвестием истины.

— Для еды такой виноград, как в Баку, вы нигде не найдете, — продолжала Нора. — Но там не только виноград великолепный. Вот возьмите, например, бобовые, обыкновенную фасоль. Ее просто отваришь и можно просто так кушать. Это совершенно другой аромат, другой вкус. А я, то, что мне не нравится, кушать не буду. Здесь, в Америке, земля другая, поэтому и вкус другой, — она усиленно пыталась протереть днище холодильника. Чеканности ее движений мог позавидовать олимпийский чемпион. Щель между днищем и полом была минимальной. Намотав на длинный прутик влажную, пахнущую спиртом салфетку, Нора одолела и это препятствие. — Например, в Армении гастрономические продукты лучше, чем в Азербайджане. Там у них потрясающие колбасы, — теперь она сидела на низкой табуретке и зорко вглядывалась в сверкающее нутро холодильника. — А вот печеное их мне не нравится. В Баку печеное гораздо вкуснее.

Забыв о камере и слушателях, Нора приложила ухо к клавиатуре и зарылась в нее, будто хотела проверить, куда же уходит звук и весь ли он исчерпан, или же тоненькая ниточка еще связывает его с этим миром. Снова перебрала клавиши обеими руками и вплыла в музыку оркестра. И вдруг словно что-то встревожило ее. Приподнявшись всем корпусом, она обрушилась на черные клавиши. Секста вниз, си бемоль — ре бемоль, в ритме синкопа, прозвучала тревожным набатом. Оркестр, перейдя на мажор, резво набрал темп, проказливо зарезвилась музыка, имитируя невесомость прыжков, лицо дирижера застыло на пределе концентрации. Ему приходилось «впрыгивать» в Норину

музыку. Это было на уровне циркового трюка, но он справлялся. Легко и в то же время сочно звучали струнные.

— Мы много ездили по стране с детьми, были на самых лучших курортах. Я, конечно, предпочитала Прибалтику — Латвию, Эстонию, например... В Риге молочные продукты просто превосходные. Но там и рестораны потрясающие. А в Москве было кафе «Огни Москвы», так оно тоже было великолепное. Такая вкусная еда... А в Ленинграде мне не нравилось общественное питание. У них супа водянистые и каши все слипшиеся. А я, каша, если не рассыпчатая, я кушать не буду. У них в Литве, например, тоже превосходные гастрономические продукты. Но с ереванскими не сравнить. Многие бакинцы ездили в Ереван и привозили оттуда гастрономию. Там мясные продукты были лучше, особенно баранина. Я плов любила готовить. А чтобы сделать вкусный плов, надо обязательно масло растопить. Тогда оно дает аромат.

Честное округлое лицо Норы было освещено подлинным вдохновением. Она тосковала в американской глубинке. Хотя назвать «глубинкой» престижный университетский город Блумингтон можно было с некоторой натяжкой. Они приехали сюда с мужем и дочерью в качестве беженцев из Азербайджана. Слово «Азербайджан» было тотемом, головоломной загадкой для первого и последнего президента Советского Союза Михаила Горбачева. Он спотыкался на нем хронически. «Азебарджан», — перебирая звуки с натужным постоянством бездарного ученика в кабинете логопеда, изрекал он. Убийства и травля армянского населения в Баку в начале эры перестройки прошли почти незамеченными. Орды представителей «коренной национальности» рыскали по городу в поисках армян. Когда находили, творили невиданные кошмары. «Единство советских народов» истаивало недоброй кровавой радугой.

— Некоторые люди позволяют себе непозволительные вещи, — изумленно говорила Нора. Хотя она никогда не касалась больной темы, было ясно, что она запретила себе даже думать об этом.

Музыка гипнотизировала Нору. Она снова прошлась по любимой секунде, но уже второй октавы, введя слушателей

в состояние полной реалаксации, и вдруг, встрепенувшись, кинула вес своего тела на черноту клавиш октавой ниже. Руки ее набирали силу, черные клавиши зазвучали бархатом. Оркестровая линия теперь не прослеживалась. Нора и оркестр слились в единый организм. Синкопы прерывались коротким глиссандо. Оркестр закончил аналогом начальной сумеречной темы. Аплодисменты атомным шквалом взорвали пространство. Дирижер, по виду совсем еще мальчик, поднял оркестр.

Экран с Норой потух.

Аплодисменты еще длились.

Серая кошка-полосатка Нора живет в штате Нью-Джерси, в Америке. У нее обманчиво уютный вид до тех пор, пока она не касается клавиш. Хозяева Норы, художники и музыканты, котенком взяли ее из приюта для бездомных животных. В доме два рояля и приходят ученики. Когда Норе исполнился год, она вдруг вспрыгнула на стул у рояля и коснулась клавиш. С тех пор она «играет». Она явно импровизирует, наслаждается звуками и даже строит музыкальные фразы. В ней бездна достоинства. Завораживает в ее игре то, что она осознанно нажимает на определенные клавиши, звук которых ей импонирует. Касание ее невероятно нежно и деликатно. Вот и не верь после этого в реинкарнацию. Хозяева сняли ее на видео и пустили материал в интернет, где его нашел литовский дирижер камерного оркестра Миндаугас Пиекайтис. Он обрамил Норины экспромты собственной музыкой, более чем соответствующей характеру импровизаций четвероногой пианистки. Филигранно отделанная сюита была исполнена в концертном зале Клайпеды и над сценой помещался экран с Норой у инструмента.

Не так давно дирижер посетил Соединенные Штаты и лично познакомился с четвероногой пианисткой.

Вторая героиня, тоже Нора, продолжает свою многотрудную жизнь в Москве. Похоронив мужа в Америке, она не приняла эту страну и вернулась с дочерью в Россию, к сыну. В Баку для них не осталось места.

2006 г.

К ВОПРОСУ О КРОЛИКАХ

Самое счастливое лицо в своей жизни я видела у кролика по кличке Cotton. Я нашла его случайно, выглянув за ограду нашего участка в поисках котенка Нюси. Нюся черным комочком пришла к нашим соседям на Halloween, но законопослушные американцы боялись оставить ее, так как уже имели в наличии трех матерых котяр, явившихся к ним ранее в поисках крова, а по местным законам нельзя было держать в доме больше трех котов. К тому же экс-бродяги норовили обидеть малышку. Умиляясь смышленности пушистой крохи и сожалея, соседи отдали ее нам.

Оказалось, мы приобрели капельку черной ртути. Первая неделя привыкания к дому была относительно спокойной. Мытарства начались, когда ее, часами канючившую у двери, выпустили на участок.

Изнемогая от радости бытия, она взлетала карманной Одиллией в эпицентре рослых техасских сорняков, струилась ввысь по деревьям, алчно высматривая белок, всегда превосходящих ее размерами, отстукивала ритмы на клавикордах забора, перелезала через ограду на улицу и на соседние участки, задумчиво бродила по крыше. Однажды я заметила почти на вершине огромного дерева в соседнем дворе белку черного цвета. Она пласталась на голом стволе и смотрелась на нем очень компактно. Услышав мои вопли, она безбоязненно и ловко спустилась вниз, и я вспомнила уверения соседа-кошатника, что черные кошки самые умные из особей. Как-то, в очередной раз взглянув через забор, я увидела Нюсю в компании белого, перламутром отливающего существа. Мне показалось, что существо в опасности. Оно приникло к земле и казалось оцепеневшим, а Нюся грациозно совершала вокруг него балетные пассы. В ее плавных движениях чудилась неявная угроза. Я выскочила за калитку.

Существо оказалось кроликом, уши его были прижаты и оно почему-то не прыгало, а семенило меленькими шажками. Продолжающую резвиться Нюсю я внесла в дом и вернулась к существу. Теперь оно в изнеможении распласталось на земле, уши оставались в той же унылой позиции.

— Пегги, — почему-то воззвала я, но, вспомнив, что так звали жену нашего приятеля, быстро сменила гласную, — Пигги, Пигги.

Существо шевельнуло ухом и засеменило в сторону дороги.

— Не ходи туда, Пигги, — лебезила я, — тебя там убьют, там машины и много собак и кошек. Существо вернулось к ограде.

— Ты кто? — спрашивала я. — Если ты кролик, то почему не прыгаешь?

Оно не сопротивлялось, когда я, ощущая все его хрупкие косточки, попыталась его взять. Руки погрузились в меховое тельце, как в нирвану. Пока я несла его в дом, оно не издавало звуков, а лишь слабо лягалось.

Некоторое время Пигги находилось в гараже. Его половая принадлежность оставалась неясной. Кролик вяло слонялся среди горшков с цветами, внесенными в гараж для спасения от заморозков. Цветы его устраивали, он уютно притуливался к бочку одного из горшков и найти это перламутровое пятно было нелегко. Он ел с руки капустные листья, морковь, но больше всего уважал стебли сельдерея. Когда кроличьи ноздри впитывали в себя этот дерзкий вызывающий запах, физиономия его становилась концентратом внимания. Он поглощал хрусткий стебель с молитвенным выражением, верхняя губка вздымалась, обнажая крохотные розовые десны, он дохрустывал стебель до конца и, когда пища иссякала, на его физиономии проступал намек на удивление. Добавку он ликвидировал с той же тщательностью. Когда Нюся обманными путями врывалась в гараж, уши его плашмя ложились на спину и он привычно застывал перламутровым слитком.

У него оказалась странная привычка использовать тарелку с едой в качестве туалета. Оправдывая свое имя[1], он

[1] Piggy — свинка.

щедро рассыпал свои pills[1], как здесь метко именовали кроличьи экскременты, по всему пространству гаража. Будучи проинформирована, что кроликам жизненно необходим постоянный жевательный процесс, я дни напролет вбегала в гараж то с пучком травы, то с капустныйм листом или морковкой. Совок и метла стали моими привычными атрибутами. Перед тем, как из гаража выводилась (и наоборот) машина, приходилось всовывать брыкающееся создание в клетку, предназначенную для Нюсиных визитов к ветеринару. Учитывая, что кроме Пигги в доме находился старый, страдающий артритом овчар и вышеупомянутая Нюся, а также кое-какие люди, положение становилось тупиковым. Развешанные на столбах объявления теряли нарезки с телефонами, но никто не отозвался кроме одной женщины, которая долго выспрашивала все о кролике, а потом сообщила, что нашла гуся. Надежда убывала с каждым днем. Отдать существо в приют означало убить его. В доме появилась добротная деревянная клетка, пара изящных тарелок и туалет для кролика, который он освоил мгновенно. Пигги продолжал изучать гаражное пространство, но было очевидно, что он погружается в глубокую меланхолию.

Стремительное развитие кроличьей личности началось в период техасских «морозов» (от минус четырех до минус шести по Цельсию) с момента его переселения из гаража в дом. Метаморфоза была очевидной. Он сидел в пластмассовом корыте, обложенный сельдереем, морковью и капустой, и уши его торчали тугими побегами зеленого лука. За время гаражного пребывания он вырос и поздоровел. У него появилась осанка и неукротимость во взоре. Он по-кошачьи потягивался и даже заваливался на спину. Он комично умывался обеими лапками. Купленную для него игрушку он лихо поддевал носом и выкидывал наружу отработанным жестом профессионального баскетболиста. Нюся, с ее спичечной головкой и аккуратным, в форме банджо, тельцем, терпеливо сидела у двери в туалет, желая общаться. Когда ей открывали дверь, она, зависая над простертой лапой, с гаремной вкрадчивостью приближалась к корытцу, пытаясь в него залезть.

[1] Таблетки.

Кролик, нарушая хроническое безмолвие, издавал смутный фырк и ловко отгонял ее, притворяясь, что сейчас прыгнет.

Как-то в погожий день мы вынесли его во двор и опустили в траву. Озирнувшись, как узник, неожиданно выпущенный на свободу, он вдруг заскакал смачными крупными прыжками. Белка, сидящая на дереве, обрушила на него каскад ненормативной лексики. Ее раздувшийся хвост принял форму арки и стал похож на ершик для мытья бутылок. Конвульсивные рывки хвоста и клекот, изрыгавшийся из бежевого естества, совпадали по ритму. Кролик не реагировал. Он парил над лужайкой и смотрелся ее неотъемлемым атрибутом. Синее небо, желтое солнце, зеленая трава и белый кролик над ней — это было как детский рисунок, как начало мироздания.

Когда на следующий день позвонила женщина и с несомненым испанским акцентом заявила, что у них две недели тому назад пропал кролик, и она хочет посмотреть на Пигги, мы морально забуксовали. Новый жилец успел уже стать частью домашнего сообщества. Кроме всего прочего, нам мерещились голодные эмигранты, жаждущие отведать жаркое из крольчатины. Правда, женщина сомневалась, ее ли это кролик. Их грызун пропал две недели тому назад, говорила она, а у нас он был всего неделю. Он не мог выжить целых семь дней в районе с множеством собак и вольно гуляющих кошек. Женщина пришла на следующий день с девятилетней дочкой. Они деликатно постучали в дверь — работающая медсестрой в госпитале Альба, мать троих детей, и застенчивая Эрика. Оказалось, они живут через дорогу, в доме напротив. Как и все мексиканцы, которых мы здесь видели, они были малы ростом, широкой конструкции. На карие глаза девочки наползала челка. В них было напряжение. Когда мы вошли в кроличью резиденцию, он ел сухой корм из оранжевой, красиво изогнутой миски.

Пару секунд они молчали, глядя на Пигги.

— Это он? — спросила женщина по-испански.

— Si, — ответила девочка.

Она еще не верила в правдоподобность ситуации.

— Сколько мы вам должны?

— За что? — удивилась я.

— За то, что вы его держали у себя так долго.

— Ничего, — сказала я. — А как его зовут?

— Алгодон, — вдруг грозно и в унисон произнесли гостьи. На их миловидных физиономиях обозначился пугающий намек на свирепость далеких ацтекских предков.

Женщина отреагировала на выражение моего лица.

— It means Cotton in Spanish, — пояснила она. — My daughter, she was very depressed, when Algodon, excuse me, I mean Cotton, disappeared. My husband took the cage to the backyard to give him some fresh air and he ran away.

— How did he manage to survive the whole week,.. — прошелестела девочка.

Альба вынула кусок мягкой ткани и бережно взяла кролика. Ее машина была запаркована совсем рядом, и, когда мы вышли из дому, оттуда с радостным стрекотом выскочили двое мальчишек-черноголовиков лет пяти-шести.

Чеканное солнце техасской зимы невозмутимо смотрело с высокой синевы на эту группу: женщина с кроликом подмышкой, девочка с кроличьим туалетом, кто-то из наших с наполнителем для него и кормом, двое мальчишек в ритуальном танце.

Я не могла оторвать глаз от кролика. Ему было комфортно в тряпочке подмышкой у Альбы, и у него был очень торжественный, скорее даже, торжествующий вид. Он как-то побольшел и раздулся и, как всегда, безмолвствовал, но при этом излучал блаженство с естественностью солнца, дарящего тепло.

Никогда бы не подумала, что кроличье лицо может блистать счастьем и быть гораздо выразительнее и приятнее иного человеческого.

Группа, ликуя, направлялась через дорогу. Мальчишки приплясывали, девочка сияла, мать осторожно несла свой трофей.

В воздухе неслышно гремела бетховеновская «Ода к радости».

На следующий день в дверь требовательно застучали. На пороге стояли девочка и женщина. На лицах у них было приглушенное этикетом сияние. Медленным, почти теат-

ральным жестом, девочка протянула мне конверт. Они еще раз неуверенно просияли и ушли.

«To my best neighbor», — гласила надпись в левом углу.

Внутри на открытке с изображением двух щенков было выведено по-детски простым карандашом: «Thank you for taking care of Cotton my bunny. — God bless you for the good things you done for people».

Good-bye, Algodon — Cotton — Piggy! We are going to miss you!

2011 г.

НЕЗАБВЕННЫЙ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ

Не очень давно, гуляя, я растерзала себе руку в свободном падении. Вернее, плечо. Что-то в нем порвалось, и хлынул поток такой боли, что через неделю моя, и без того бледная видимость, обрела устойчивый пепельный оттенок.

Врача, местного виртуоза, занимавшегося лишь травмами плеча, пришлось ждать полтора месяца. Звали его доктор Эдвардс. Это был кудесник, молодое светило, гений диагностики и оперативного вмешательства. Он был многостаночник. В небольших каморках отсека, где были его владения, одновременно дожидались не менее четырех трясущихся пациентов. Слышно было, как распахивалась дверь соседней комнатки, и он влетал с радостными громкими кликами. На пациента он тратил не более 5–7 минут. Ни в диагнозе, ни в солировании возле операционного стола у него не было ни одного срыва.

Влетев ко мне, он прильнул своим длинным спортивным телом к стене, где был вмонтирован компьютер, изучил снимок, заставил сделать два-три движения притихшей на время больной рукой и описал ход операции. Она казалась нестрашной. Страшным было заживление — шесть недель с рукой на перевязи и месяцы физиотерапевтических упражнений.

Когда я явилась записываться на экзекуцию, и он вновь в свободном полете возник в крохотном отсеке, что-то удивило его в моих движениях.

— Это же frozen shoulder[1], — лицо его озарилось сиянием ребенка, которому Санта-Клаус вручил щедрый подарок в разгаре лета. — Вы слишком его оберегали, ваше плечо, от лишних движений и оно теперь буксует, не работает. Вам сейчас не нужна операция. Два месяца физиотерпии в бассейне, тогда и приходите, как закончится курс, — ликовал он.

И через секунду растворился в дверном проеме.

---

[1] Замороженное плечо.

Ровно два месяца три раза в неделю я ездила автобусом в компании веселых галдящих людей в клинику, где он работал.

Все это время спать не удавалось, и ночами я сидела в кухне, читая письма Пушкина. Читала, поражаясь, насколько близко и больно входило в душу бытие последних лет его жизни. Паутина мерзостей в самом финале не отменяла кристальную ясность сознания и любовь к жене, которую неистовая Марина считала роковым пустым местом, убившим поэта:

«Конечно, друг мой, в жизни моей кроме тебя утешения нет, — и жить с тобой в разлуке так же глупо, как и тяжело».

«Умри я сегодня, что с вами будет?»

Барону Геккерну:

«Дуэли мне уже недостаточно, и каков бы ни был ее исход, я не сочту себя достаточно отомщенным ни смертью вашего сына, ни его женитьбой, которая совсем бы походила на веселый фарс (что, впрочем, меня очень мало смущает), ни, наконец, письмом, которое я имею честь писать вам и которого копию сохраняю для личного употребления. Я хочу, чтобы вы дали себе труд и сами нашли основания, которые были бы достаточны для того, чтобы побудить меня не плюнуть вам в лицо и чтобы уничтожить самый след этого жалкого дела».

И секунданту врага:

«Я не имею ни малейшего желания посвящать петербургских зевак в мои семейные дела; поэтому я не согласен ни на какие переговоры между секундантами. Я привезу моего лишь на место встречи.

...Прошу мне поверить, что это мое последнее слово и что мне нечего ответить относительно этого дела и что я выйду из дому лишь для того, чтобы ехать на место.

Благоволите принять уверение в моем совершенном уважении.

А. Пушкин».

Моя собственная вульгарная боль на цыпочках отходила в сторону. И так каждую ночь.

* * *

Ростральной колонной спускалась ко мне раз в неделю соседка с шестого этажа. Она располагала массивное туловище на ветхом стуле и начинала делиться впечатлениями. Обычно блеклые, без ресниц, глаза были победно раскрашены. Неумолимо выпирающий живот противоречил жеманному голоску маленькой девочки.

Визиты были ритуальные и происходили после того, как отбывал ее друг, полковник в отставке Николай Степанович. Он приходил обстоятельно, надолго, на выходные. В кошелке приносил тапочки и бутылку спиртного. Она пекла особый сладкий пирог, будучи в полном знании того, что и ей и ему давно пора забыть самое это слово.

Вечер проходил степенно, патриархально, до того момента, когда уровень жидкости в бутылке упадал до нуля. Здесь, проспиртованный в меру своих возможностей и ни разу не изменивший себе, Николай Степанович обращался к Пушкину.

Он совершал прыжок во времени и следовал за тщедушным молодым мужчиной, вышедшим из дома, чтобы двинуться на Голгофу Черной речки.

— Эх, Саша, Саша, что же ты наделал, — плакал он.

* * *

И вот я, уже выскочив из бессонного темного времени, иду вместе с незабвенным Николаем Степановичем за человеком, только что оставившим на столе письмо детской писательнице Ишимовой, жду на Невском проспекте, когда он, испив стакан лимонада, выйдет из кондитерской.

Смотрю, как он садится на извозчика. При всей легкости ситуации не сажусь рядом, остаюсь одна в пространстве и плачу:

— Саша, Саша, что же ты наделал...

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

О книге 5
От автора 7

Часть I 9
Ничего особенного 10
Продолжение 76
Из памяти. 119
Кое-что из истории Сашиных работ 119
Обсуждение выставки Александра Манусова
в ДК им. Свердлова 202
Мой роман с Русским музеем 219
Pacific 262
Художники 398
Реквием. Ленина Никитина 398
Нинон и Аленушек 406
Ангелы на полу. Геннадий Устюгов 422
Магнетизм Рихарда Васми 435
Бегство в Египет. Александр Гуревич 466
Живет певчий дрозд. Евгений Тыкоцкий 482
Мост через Стикс. Вадим Воинов 498
Одиночества просторное пальто. Владислав Афоничев 509
Мгновение, размазанное на вечности. Борис Борщ 513
Вольдемар. Владимир Михайлов 523
Три фрагмента 530
Семь слоников — семь смычков на Литейном 530
Как мы ходили к нотариусу 535
Тайная вечеря советских времен 542
Неортодоксальные заметки 550
Что запомнилось... 584

Выставка, которой не было 598
«Ледовая выставка» в Гавани 601
Приложение I 604
Обращение художников в фонд «Культурная инициатива». 604
Текст Александра Манусова к ретроспективной части первой совместной выставки художников, членов ЛОСХа и неофициальных художников 606
Письмо Александра Манусова редактору журнала «Новый мир» Сергею Залыгину 608
Приложение II 611
Художники об Александре Манусове 611
Из записок Александра Манусова 617

Часть II 621
Софус 622
Урок музыки 625
Кладбище 628
Старик 632
В банановo-лимонном Петербурге 658
Город великого Ленина 679
Ленинградская симфония 704
Дядя Миша и дядя Гриша 720
Мастера эпохи советского Ренессанса 730
Женька 742
Зимний вояж 756
Двойная сюита 761
К вопросу о кроликах 765
Незабвенный Николай Степанович 771

Литературно-художественное издание

Регина Манусова

СИНЕЕ ДЕРЕВО

Оригинал-макет подготовлен
ООО «Типография «НП-Принт»
Дизайн, верстка, цветокоррекция А. Иванов

Подписано в печать 01.04.2015. Формат 60x90 1/16.
Печать офсетная. Гарнитура Newton. Усл. печ. л. 48,5. Тираж 300 экз.
Отпечатано в ООО «Типография «НП-Принт»,
Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 15

Регина Иосифовна Соловьева (Манусова) — вдова художника Александра Манусова, выдающегося представителя отечественного искусства последней трети двадцатого века. Филолог по образованию, она занималась переводческой деятельностью с немецкого и английского языков, была преподавателем музыки, работала экскурсоводом.

Со дня безвременной смерти художника занимается его творческим наследием. При ее активном участии было проведено большое количество выставок произведений А. Манусова, опубликованы альбомы его работ.

За последние несколько лет в Петербурге состоялись четыре выставки художника: в Государственном Русском музее, Государственном музее истории Санкт-Петербурга, Музее нонконформистского искусства и в Государственном музее «Царскосельская коллекция» (г. Пушкин).

ISBN 978-5-905942-90-7